

Stanisław Lem ∞ Станислав Лем

ЛЕМ



БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА

Annotation

От переводчика:

«В этой книге впервые полностью представлены т.н. „апокрифы“ Станислава Лема – его рецензии на несуществующие книги и предисловия к несуществующим книгам. Лемовские псевдорецензии вошли в его сборники „Абсолютная пустота“ (1971), „Провокация“ (1984), „Библиотека XXI века“ (1986); псевдопредисловия – в сборник „Мнимая величина“ (1973).

Трактат «Голем XIV» впервые был опубликован в сборнике «Мнимая величина», а в 1981 г. вышел отдельным изданием, почти вдвое большим по объему. Здесь были добавлены «Лекция XLIII. О себе» и «Послесловие», однако исключены «Предуведомление» и «Памятка». В настоящем издании, по указанию автора, печатаются все части «Голема XIV», в т.ч. «Предуведомление» и «Памятка».

Кроме того, с согласия автора в эту книгу включен рассказ «Записки всемогущего» (1963), который предвосхищал идею сборника «Мнимая величина» и до сих пор в России не публиковался.»

-
- [Станислав Лем](#)
 - [Абсолютная пустота](#)
 - [Абсолютная пустота](#)
 - [Робинзонады](#)
 - [Гигамеш](#)
 - [Сексотрясение](#)
 - [Группенфюрер Луи XVI](#)
 - [Ничто, или Последовательность](#)
 - [Перикалипсис](#)
 - [Идиот](#)
 - [Сделай книгу сам](#)
 - [Одиссей из Итаки](#)
 - [Ты](#)
 - [Корпорация «Бытие»](#)
 - [Культура как ошибка](#)
 - [О невозможности жизни; о невозможности прогнозирования](#)
 - [Не буду служить](#)
 - [Новая космогония](#)

- [Мнимая величина](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Цезарий Стшибиш](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Реджинальд Гулливер](#)
 - [Предисловие](#)
 - [История бит-литературы](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Предисловие ко II изданию](#)
 - [Экстелопедия Вестрадна в 44-х магнитомах](#)
 - [Прокламанка](#)
 - [Экстелопедия Вестранда](#)
- [Голем XIV](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Предуведомление](#)
 - [Памятка](#)
 - [Вступительная лекция Голема](#)
 - [Лекция XLIII. О себе](#)
 - [Послесловие](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
- [Провокация](#)
 - [Хорст Асперникус](#)
 - [Дж. Джонсон и С. Джонсон](#)
- [Библиотека XXI века](#)
 - [Принцип разрушения как творческий принцип. Мир как всеуничтожение](#)
 - [Введение](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)

- [Weapon Systems of the Twenty-First Century or the Upside-Down Evolution](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)

- [Записки Всемогущего](#)
- [От составителя](#)
- [Сведения об авторских правах](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)

- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)

- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)

- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)

- [147](#)
 - [148](#)
 - [149](#)
 - [150](#)
 - [151](#)
 - [152](#)
 - [153](#)
 - [154](#)
 - [155](#)
 - [156](#)
 - [157](#)
 - [158](#)
 - [159](#)
 - [160](#)
 - [161](#)
 - [162](#)
 - [163](#)
 - [164](#)
 - [165](#)
 - [166](#)
 - [167](#)
 - [168](#)
 - [169](#)
 - [170](#)
 - [171](#)
 - [172](#)
 - [173](#)
 - [174](#)
 - [175](#)
 - [176](#)
 - [177](#)
 - [178](#)
 - [179](#)
 - [180](#)
 - [181](#)
 - [182](#)
 - [183](#)
 - [184](#)
-

Станислав Лем
Библиотека ХХІ века
(сборник)

Абсолютная пустота



Рецензирование несуществующих книг не есть изобретение Лема; примеры можно найти не только у современного писателя – Х.Л. Борхеса (скажем, «Анализ творчества Герберта Куэйна» в сборнике «Хитросплетения»), идея гораздо старше – и даже Рабле был не первым, кто ее воплотил. Но курьезность «Абсолютной пустоты» в том, что автор решил создать целую антологию таких критических опытов. Систематичность педанта или шутника? Второе более вероятно, и этого впечатления не ослабляет предисловие – предлинное и ученое, в котором читаем: «Писание романов есть форма утраты свободы творчества. (...) В

свою очередь, рецензирование – труд еще более каторжный и еще менее благодарный. О писателе можно хотя бы сказать, что он сам себя приневолил – избрав сюжет. Положение критика хуже: рецензент прикован к предмету рецензии, как каторжник к тачке. Писатель теряет свободу в своей книге, критик – в чужой».

Напыщенность этих сентенций слишком очевидна, чтобы принимать их всерьез. Чуть ниже в предисловии (названном «Автозоил») говорится: «Литература повествовала доселе о вымышленных *персонажах*. Мы пойдем дальше: будем описывать вымышленные *книги*. Вот она, возможность вновь обрести свободу творчества, а заодно – совершить обручение двух неродственных душ, беллетриста и критика».

«Автозоил», по Лему, есть творчество, свободное «в квадрате», поскольку критик текста, введенный в сам текст, получает большую свободу маневра, нежели автор-повествователь традиционной или нетрадиционной литературы. С этим еще можно было бы согласиться: подобно марафонцу, что ловит второе дыхание, литература ныне стремится подчеркнуть дистанцию между собою и изображаемым. Хуже другое – теоретическое вступление тянется без конца. Лем рассуждает о положительных сторонах небытия, об идеальных математических объектах и новых метауровнях языка. Для шутки это уже длинновато. Больше того – своей увертюрой Лем просто мистифицирует читателя (а может, и самого себя?), так как псевдорецензии, составляющие «Абсолютную пустоту», вовсе не сводятся к набору шуток. Я разделил бы их – иначе, чем автор, – на три категории.

1) Пародии, подражания и передразнивания: сюда относятся «Робинзонады», «Ничто, или Последовательность» (оба текста высмеивают – по-разному – «Nouveau Roman»^[1]), да еще, пожалуй, «Ты» и «Гигамеш». Впрочем, «Ты» – вещь довольно рискованная; выдумать *плохую* книгу и после ее за это высмеять – слишком дешевый прием. В формальном плане всего оригинальнее роман «Ничто, или Последовательность», поскольку его уж точно никто бы не смог написать; форма псевдорецензии позволяет выполнить акробатический трюк: дать критический разбор книги, которой не только нет, но и быть не может. «Гигамеш» понравился мне меньше всего. Речь идет о мешке и шиле; но, право, стоит ли при помощи *таких* шуток разделяться с шедеврами? Быть может – если сам их не пишешь.

2) Черновые наброски (ведь что это, если не своего рода черновики?), такие, как «Группенфюрер Луи XVI» или «Идиот», а также «Вопрос темпа». Каждый из них – как знать? – мог бы воплотиться в хороший роман. Однако эти романы следовало бы сперва написать. Изложение –

безразлично, критическое или нет, – в конце концов всего лишь приправа к блюду, которого нет на кухне. Почему его нет? Критика посредством инсинуаций – занятие неблагородное, но один раз я себе это позволю. У автора были замыслы, которые он не мог осуществить в полном объеме: написать не сумел, а не писать было жалко; вот и вся тайна происхождения этой части «Абсолютной пустоты». Лем достаточно сметлив, чтобы предвидеть подобный упрек, и решил парировать его – предисловием. Поэтому в «Автозоиле» он жалуется на убожество средств, которыми располагает прозаик, вынужденный, подобно мастеровому, обстругивать описания типа «маркиза вышла из дому в пять». Но настоящее мастерство не бывает убогим. Лем испугался трудностей, что ждали его при написании трех романов, названных мной для примера, и предпочел увернуться, как-нибудь выкрутиться, не рисковать. Заявляя, что «каждая книга – кладбище сонма других, которые она вытеснила и тем погубила», он дает нам понять, что идей у него больше, чем биологического времени (*Ars longa, vita brevis*^[2]). Но первоклассных, многообещающих идей в «Абсолютной пустоте» не очень-то много. Есть там, как уже говорилось, демонстрация трюков, но все это – шутки. Я, однако, подозреваю тут кое-что посерьезнее, а именно тоску по невоплотимому.

В том, что я не ошибаюсь, убеждает меня последняя группа рецензий, таких, как «*De Impossibilitate Vitae*», «Культура как ошибка» и – прежде всего! – «Новая Космогония».

«Культура как ошибка» ставит с ног на голову воззрения, которые Лем высказывал не единожды, как в беллетристических, так и небеллетристических книгах. Технологический взрыв, заклеянный там как могилище культуры, здесь объявляется освободителем человечества. Вторично Лем оказывается отступником в «*De Impossibilitate Vitae*». Пусть нас не вводит в заблуждение забавная абсурдность необозримых причинно-следственных цепочек семейной хроники: за комизмом анекдотических историй кроется атака на святая святых Лема – на теорию вероятностей, то есть на категорию случайности, лежащую в основе всех его широкомасштабных концепций. Атака ведется в шутовском колпаке, что должно затупить ее острие. Но была ли она хоть на минуту задумана не как гротеск?

Эти сомнения снимает «Новая Космогония», поистине *pièce de resistance*, главное блюдо книги, укрытое в ней наподобие дара троянцев. Шуткой ее не назовешь, мнимой рецензией – также; что же это такое? Для шутки она чересчур тяжела, обвешана слишком массивной научной аргументацией – известно ведь, что Лем энциклопедию съел и стоит его

потрясти, чтобы посыпались логарифмы и формулы. «Новая Космогония» – это вымышленная речь нобелевского лауреата, рисующая революционную картину Вселенной. Если бы я не знал ни одной книги Лема, кроме этой, я еще мог бы предположить, что перед нами шутка для тридцати посвященных на всем белом свете, то есть для физиков и прочих релятивистов. Но это кажется маловероятным. А значит?.. Подозреваю опять-таки, что автора осенила гипотеза – и он ее испугался. Понятно, он никогда не признается в этом, и никто не докажет, что идею Космоса как Игры он принял всерьез. В случае чего он может сослаться на несерьезность контекста, на само название книги («Абсолютная пустота» – то есть речь «ни о чем»); впрочем, лучшее убежище и отговорка – *licentia poetica*^[3].

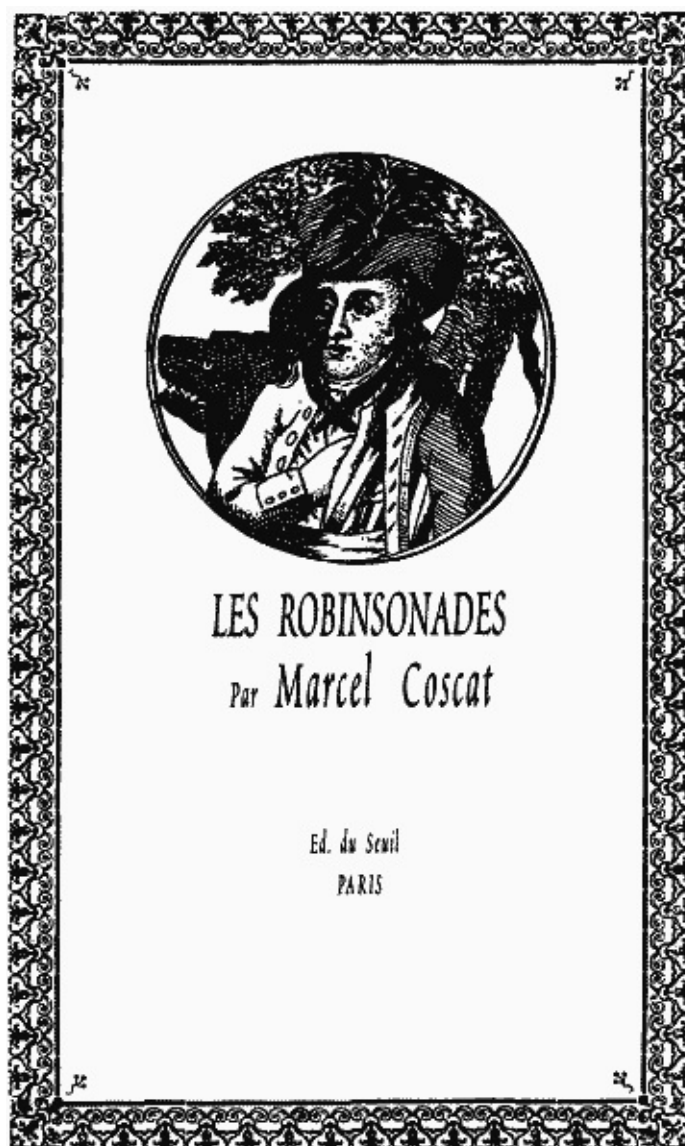
И все же я думаю, что за этими текстами кроется нечто серьезное. Вселенная как Игра? Интенциональная Физика? Почитатель науки, падающий ниц перед ее св. Методологией, Лем не мог открыто выступить в роли ее первого ересиарха и вероотступника, а следовательно, не мог изложить эту мысль где бы то ни было как свою собственную. А сделать «Игру в Космос» стержнем сюжетной интриги значило бы написать еще один, неизвестно какой уж по счету «нормальный» научно-фантастический роман.

Что же ему оставалось? Рассуждая здраво – ничего, кроме молчания. Так вот: книги, которых литератор не пишет, за которые он не возьмется никогда и никоим образом, которые можно приписать несуществующим авторам, – такие книги как раз потому, что их нет, удивительно сходны с абсолютным молчанием, не так ли? Можно ли еще определеннее отмежеваться от неортодоксальных идей? Говорить об этих книгах, об этих высказываниях, как о чужих, – почти то же самое, что говорить молча. Особенно если все преподносится под видом шутки.

Итак, из хронического, застарелого голода на пригодный в духовную пищу реализм, из мыслей, чересчур дерзких по отношению к собственным воззрениям, чтобы можно было их высказать прямо, из всего, о чем напрасно мечтается, – и получилась «Абсолютная пустота». Ученое предисловие, которое будто бы обосновывает «новый литературный жанр», – всего лишь отвлекающий маневр, намеренно подчеркнутый жест, которым фокусник отводит наш взгляд от того, что он *действительно делает*. Нам предлагают поверить, что будет показана ловкость рук, но это лишь видимость. Не прием «псевдорецензий» породил эти тексты, но сами они, тщетно требуя воплощения, воспользовались этим приемом как оправданием и предлогом. Иначе все так и осталось бы в сфере молчания.

Речь здесь идет об отказе от фантазирования в пользу прочно стоящего на земле реализма, об отступничестве в эмпирии, о еретическом духе в науке. Неужто Лем рассчитывал, что его уловка останется незамеченной? Она чрезвычайно проста: со смехом выкрикивать то, о чем всерьез и прошептать-то не хватит духу. Вопреки тому, что сказано в предисловии, критик не обязательно «прикован к книге, как каторжник к тачке»: его свобода не в том, что он может превознести или ниспровергнуть книгу, а в том, что через нее он может взглянуть, как через стеклышко микроскопа, в автора. И тогда «Абсолютная пустота» оказывается рассказом о том, чего хотелось бы, но чего, увы, нет. Это – книга невоплощенных мечтаний. И единственное, что еще мог бы сделать Лем, петляя и запутывая следы, – это перейти в контратаку, то есть заявить, что вовсе не я, критик, а сам он, автор, написал эту рецензию, пополнив еще и ею «Абсолютную пустоту».

Робинзонады



Вслед за «Робинзоном» Дефо появился на свет куций швейцарский Робинзон для детского чтения и еще целое множество инфантилизированных вариантов жизни без людей; несколько лет назад парижская «Олимпия», идя в ногу со временем, выпустила «Сексуальную жизнь Робинзона Крузо», пошлую книжонку, автора которой можно и не называть, он скрыт под одним из псевдонимов, являющихся собственностью издателя, который нанимает литературных поденщиков с очевидными целями. Но «Робинзонад» Марселя Коски стоило дожидаться. В них изложена светская жизнь Робинзона Крузо, его общественно-благотворительная деятельность,

его изнурительная, многотрудная и многолюдная жизнь, поскольку речь идет о социологии одиночества – о масскультуре необитаемого острова, под конец романа просто битком набитого народом.

Произведение господина Коски, как вскоре становится ясно читателю, не является перепевом уже имевшихся версий и не носит коммерческого характера. Автора не занимает ни сенсация, ни порнография безлюдья, он не направляет похоть потерпевшего на пальмы с волосатыми кокосами, на рыб, коз, топоры, грибы, колбасы, снятые с разбившегося корабля. В этой книге, вопреки версии «Олимпии», Робинзон не предстает перед нами разнузданным самцом, который, подобно фаллическому единорогу, топчет кусты, сминая заросли сахарного тростника и бамбука, насилует песчаные пляжи, горные вершины, воды залива, пронзительные крики чаек, гордые тени альбатросов или пригнанных к берегу штормом акул. Тот, кто ждал от книги чего-нибудь в этом роде, не найдет здесь пищи для распаленного воображения. Робинзон Марселя Коски – это логик в чистом виде, крайний конвенционалист, философ, сделавший из теории выводы, настолько далеко идущие, насколько возможно, а крушение корабля – трехмачтовой «Патриции» – распахнуло перед ним ворота, разорвало путы, приготовило лабораторную аппаратуру для эксперимента, поскольку это событие дало ему возможность постичь собственную суть, не искаженную присутствием других людей.

Серж Н., осознав свое положение, не столько покорно примиряется с ним, сколько решает сделаться подлинным Робинзоном и начинает с принятия этого имени, что вполне рационально, поскольку прежняя жизнь уже не имеет для него никакого смысла.

Судьба потерпевшего кораблекрушение со всеми ее житейскими невзгодами и так достаточно сурова, ее не стоит отягощать напрасными усилиями памяти, взыскующей утраченного. Мир, в который ты попал, нужно устроить по-человечески. Новый Робинзон господина Коски лишен каких бы то ни было иллюзий; ему известно, что герой Дефо – вымысел, а его реальный прототип – моряк Селькирк, спустя много лет случайно обнаруженный командой какого-то брига, оказался существом, совершенно потерявшим человеческий облик, вплоть до утраты речи. Робинзон Дефо сохранил себя не благодаря Пятнице – тот появился слишком поздно, – а потому, что добросовестно рассчитывал на общество, правда, суровое, но зато лучшее из всех возможных для пуританина, а именно самого Господа Бога. Этот сотоварищ внушил ему строгий педантизм в поведении, упорное трудолюбие, стремление постоянно соотносить свои деяния с собственной совестью и особенно ту чистоту и скромность, которая так раззадорила

автора из парижской «Олимпии», что он обошелся с ней столь своевольно.

Серж Н., или Новый Робинзон, ощущая в себе некие творческие силы, знает заранее, что одного во всяком случае ему не создать – Всевышнего. Он рационалист и принимается за работу как рационалист. Он хочет взвесить все, начиная с вопроса, не проще ли вообще ничего не делать; это скорее всего приведет его к безумию, но кто знает, не окажется ли безумие лучшим выходом? Разумеется, если бы можно было подобрать себе род сумасшествия, как галстук к рубашке, – гипоманиакальную эйфорию с присущим ей радостным мировосприятием, Робинзон охотно привил бы ее себе, но кто поручится, что его не занесет в депрессию, ведущую к попыткам свести счеты с жизнью? Эта мысль сражает его, особенно в эстетическом плане, к тому же бездействие не в его натуре. Для того чтобы повеситься или утопиться, всегда можно найти время – и этот вариант он откладывает *ad astra*^[4]. Мир снов – говорит он себе на одной из начальных страниц романа – вот то Нигде, которое может стать совершенным; это утопия, неявно выраженная, слабо разветвленная, еле проглядывающая в ночной работе мозга, который в этот момент не всегда на высоте задач, предъявляемых ему явью. «В снах ко мне являются, – рассуждает Робинзон, – различные люди и задают вопросы, на которые я не знаю ответа, пока не услышу его из их уст. Значит ли это, что они – кусочки моего отдалившегося естества, соединенные с ним пуповиной? Сказать так – значит совершить нешуточную ошибку. Так же, как мне не известно, есть ли под этим плоским камешком, который я начинаю потихоньку приподнимать большим пальцем босой ноги, те, уже ставшие вкусными для меня земляные черви, толстенькие белые червячки, точно так я не знаю, что кроется в мозгу людей, посещающих меня в снах. Следовательно, по отношению к моему «Я» эти люди внешние в той же степени, что и червячки: речь идет не о том, чтобы стереть различие между сном и явью, – это путь к безумию! – а о том, чтобы создать новый, лучший порядок. То, что во сне удастся лишь иногда, кое-как, путано, шатко и случайно, следует скорректировать, уплотнить, объединить и усилить; сон, пришвартованный к яви, выведенный на явь как *метод*, служащий яви, заселивший явь, набивший ее доверху самым лучшим товаром, перестанет быть сном, а явь, подвергшаяся такому воздействию, будет и по-прежнему трезвой и по-новому сформированной. Поскольку я один, мне можно не считаться ни с кем, но поскольку сознание того, что я один, для меня яд, то я не буду одинок; на Господа Бога меня действительно не хватит, но это еще не значит, что меня не хватит ни на кого!»

И дальше наш логик Робинзон говорит: «Человек без других – как

рыба без воды, но подобно тому, как большая часть вод грязна и мутна, так и мое окружение было помойкой. Родственников, родителей, начальство, учителей я выбирал не сам – и даже любовниц, потому что отбирал их (если вообще отбирал) из того, что было под рукой. Поскольку, как любой смертный, я был отдан на волю своему происхождению, семейно-светским случайным обстоятельствам, то и жалеть не о чем. А потому пусть раздастся первое слово Бытия: „Долой этот хлам!“

Как мы видим, он произносит эти слова с тою же торжественностью, что Творец: «Да будет...» Поскольку именно с нуля Робинзон начинает создавать свой мир. Освободившись от людей – не только в результате случайной катастрофы, но и по собственному решению, – он начинает творить без оглядки. Так совершенно логичный герой Марсея Коски намечает программу, которая станет насмешкою над ним, уничтожит его впоследствии – не так ли, как человеческий мир своего Творца?

Робинзон не знает, с чего начать: может быть, ему стоит окружить себя существами идеальными? Ангелами? Пегасами? (Какое-то время его мучает желание создать кентавра.) Но, не питая иллюзий, он понимает, что присутствие существ, в какой-то мере совершенных, выйдет ему боком. Поэтому сначала он заводит себе того, о ком раньше, до сих пор, мог только мечтать, а именно верного слугу, butler'a^[5], камердинера и лакея в одном лице – толстяка (толстяки покладисты!) Глюмма. В ходе робинзонады наш подмастерье Творца размышляет о демократии, которую, как и все люди (в этом он убежден), терпел лишь по необходимости. Еще мальчишкой он, засыпая, мечтал о том, как здорово было бы родиться великим властелином в Средневековье. И вот наконец мечты могут исполниться. Глюмм умом не блещет и тем самым непроизвольно возвеличивает своего хозяина; звезд с неба не хватает, но расторопен и никогда не отказывается от работы; все исполняет вмиг, даже то, чего хозяин и пожелать-то не успел.

Автор никак не объясняет, сам ли – и каким образом – Робинзон работает вместо Глюмма, поскольку повествование ведется от первого лица, от лица Робинзона: если даже он сам (а как может быть иначе?) потихоньку делает то, что считается потом результатом службы лакея, то действует совершенно бессознательно, и поэтому видны только результаты этих усилий. Едва Робинзон утром протрет глаза, еще слипающиеся, у его изголовья уже лежат заботливо приготовленные устрицы, какие он больше всего любит, – слегка присоленные морской водою, приправленные кислотой из щавелевых стеблей, а на закуску – мягкие червяки, белые, как масло, на аккуратных тарелках-камешках; чуть в стороне – до блеска начищенные кокосовым волокном сияют туфли и в ожидании лежит

одежда, разглаженная нагретым на солнце камнем; на брюках складка, а в петлице сюртука свежий цветок; господин, как обычно, слегка побрюзжит, завтракая и одеваясь, закажет на обед крачку, на ужин – кокосовое молоко, только как следует охлажденное; Глюмм, разумеется, как полагается хорошему дворецкому, выслушивает распоряжения в почтительном молчании.

Господин брюзжит – слуга слушает; господин приказывает – слуга исполняет; приятная это жизнь, вроде каких-нибудь каникул в деревне. Робинзон совершает прогулки, собирает интересные камни, даже коллекцию из них начинает составлять, а Глюмм в это время готовит еду – и при этом сам вообще ничего не ест – и экономно, и удобно! Однако вскоре в отношениях Господина и Слуги появляется первая трещина. Существование Глюмма неоспоримо: сомневаться в нем – все равно что смотреть на деревья и облака и думать, будто их нет вовсе. Но исполнительность слуги, его усердие, повиновение, послушание становятся назойливы: туфли *всегда* вычищены, каждое утро рядом с жестким ложем ждут ароматные устрицы. Глюмм помалкивает – еще бы, господин терпеть не может слуг-резонеров, но из этого всего не следует, что Глюмм как *личность* вообще существует на острове; Робинзон решает добавить что-нибудь способное эту ситуацию, слишком простую, усложнить. Наделить Глюмма нерадивостью, упрямством, легкомыслием не удастся: он уже такой, как есть, какой получился; тогда Робинзон берет на службу поваренка-мальчишку Смена. Это неряшливый, но, можно сказать, красивый цыганенок, с ленцой, но сообразительный, склонный к дурацким розыгрышам, и теперь у Слуги прибавляется работы – не с обслуживанием Господина, а с сокрытием от него выходок этого сопляка. В результате Глюмма, постоянно занятого натаскиванием Смена, нет в еще большей степени, чем раньше. Иногда Робинзон слышит отголоски Глюммовых нагоняев, доносимые морским ветром (скрипучий голос Глюмма удивительно напоминает крики больших крачек), но сам в ссоры слуг вмешиваться не собирается! Смен отвлекает Глюмма от Господина? Выгнать его, пусть идет на все четыре стороны. Ведь он даже осмеливался красть устрицы! Господин готов забыть об этом эпизоде, да у Глюмма не получается. Он начинает работать небрежно; выговоры не помогают; слуга продолжает молчать, он по-прежнему тише воды, ниже травы, но, очевидно, о чем-то задумывается. Господину не пристало допрашивать слугу или вызывать его на откровенность – не исповедником же ему становиться?! Строгость ни к чему не приводит – тогда и ты, старый дурак, прочь с глаз моих! Держи трехмесячное жалованье – только убирайся!

Робинзон, гордый, как всякий Господин, тратит целый день, чтобы сколотить плот, добирается на нем до разбившейся о рифы «Патриции»; деньги, к счастью, на месте. Расчет произведен, Глюмм исчезает, но что поделаешь – причитающихся ему денег он не взял. Робинзон, получив от слуги такое оскорбление, не знает, что предпринять. Он чувствует, пока только интуитивно, что совершил ошибку: что же, что именно не удалось?

– Я всемогущ! – утешает он себя и заводит служанку Срединку. Она, как мы догадываемся, одновременно и обращение к парадигме Пятницы, и ее оппозиция (Пятница соотносится со Срединкой, как пятница со средой). Но эта молоденькая простушка могла бы ввести Господина в искушение. Он мог бы легко погибнуть в ее дивных – неосязаемых – объятиях, вспылать похотью, потерять разум из-за слабой загадочной улыбки, невзрачного профиля, босых ступней, черных от золы очага, волос, пропахших бараньим жиром. И он сразу, по вдохновению, делает Срединку – трехногой; в обычной, банально объективной повседневности ему бы это не удалось! Но здесь он Господь Бог и Творец. Он поступает, как человек, имеющий бочку метилового спирта, ядовитого, но соблазнительного; он сам заколачивает ее наглухо, чтобы не подвергаться все время искушению, которому не желает поддаваться. Его разум будет непрерывно занят работой, потому что постоянное стремление раскупорить бочку никуда не исчезнет. Так и Робинзон с этих пор станет жить бок о бок с трехногой девушкой, будучи в состоянии воображать ее без средней ноги, – не более того. Он сохранит богатство нерастраченных чувств, нереализованных приемов обольщения (зачем же тратить их на это?). Срединка, которая вызывает у него ассоциации и с сиротинкой, и со средой (Mittwoch^[6], середина недели: здесь явно прослеживается символика Секса), станет его Беатриче. Подозревала ли вообще глупенькая четырнадцатилетняя девчонка-подросток о муках вожделения Данте? Робинзон действительно доволен собой. Он сам сотворил ее и сам от себя в том же акте забаррикадировал – этой ее трехногостью. Но вскоре все начинает трещать по швам. Сосредоточившись на одной, впрочем, важной проблеме, Робинзон упускает из виду столько других черт Срединки!

Сначала речь идет о довольно невинных вещах. Ему иногда хотелось бы подсмотреть за нею, но гордость не позволяет поддаться этому желанию. Но затем разное приходит ему в голову. Девушка выполняет то, что прежде делал Глюмм. Собирать устрицы – это ерунда, но следить за гардеробом Господина, даже за его бельем? В этом можно увидеть нечто двусмысленное – да что там двусмысленное! Совершенно однозначное! И он поднимается украдкой, темной ночью – когда она наверняка спит, –

чтобы постирать бельишко в заливе. Но, раз он начал так рано вставать, почему бы и ему как-нибудь забавы ради (но только ради своей господской, одинокой забавы) не выстирать ее белье? Разве это не будет его подарок? Не побоявшись акул, он несколько раз плавал, чтобы перерыть оставшиеся на «Патриции» вещи, – и нашел там кое-какие дамские одеяния – юбочки, платица, трусики; а выстирав, нужно все развесить на веревке между стволами двух пальм. Опасная игра! И опасная тем более, что, хотя Глюмма как слуги на острове нет, он не исчез окончательно. Робинзон чуть ли не ощущает его сопящее дыхание, угадывает его мысли: мне-то Господин ни разу ничего не постирал. Будучи рядом, Глюмм никогда бы не отважился сказать что-либо подобное, но, отсутствуя, он становится необычайно болтлив! Глюмма в самом деле нет, – но есть пустота, оставшаяся после него! Его нигде не видно, но и когда он был, то держался скромно и тогда не попадался Господину под руку, на глаза ему не смел показываться. Теперь же от Глюмма деться некуда: его выпученные с патологической услужливостью глаза, его пронзительный голос – все становится заметным; то отдаленные стычки со Сменом слышатся в криках крачек; то Глюмм выпячивает волосатую грудь в спелых кокосах (бесстыдные намеки!) и выгибается корой пальмовых стволов, то рыбьими глазами, как утопленник из-под набегающей волны, высматривает Робинзона. Где? Вон он, на скальном мысу, – у Глюмма было маленькое хобби: он любил сидеть на скале и хриплым голосом ругать старых, а потому совсем ослабевших китов, пускавших фонтаны в кругу семьи.

Если бы со Срединкой можно было найти общий язык, превратить ее в союзницу и таким образом отношения, уже весьма неслужебные, сделать еще более тесными, подправляя их приказами, суровой требовательностью и господской, мужской зрелостью! Но это, в сущности, простая девушка, она о Глюмме даже не слыхала, с ней говорить – все равно что с картиной. Если даже она что и думает на свой лад – слова от нее не услышишь. Дело, казалось бы, в простоте, несмелости (это тоже имеет значение!), но на самом деле ее девическая робость – это инстинктивная хитрость. Срединка кожей чувствует, почему Господин деловит, спокоен, выдержан и высокомерен. Ко всему прочему, она часами где-то пропадает: до вечера ее не видно. Может быть, Смен? Но не Глюмм же, это исключено! Да его наверняка нет на острове!

Наивный читатель (а таких, увы, немало) готов решить, что Робинзон страдает галлюцинациями, что он сошел с ума. Ничего подобного! Если он в плену, то только у собственного творения. Ведь он не может признаться себе в том единственном, что подействовало бы на него радикально

оздоравливающе. А именно в том, что Глюмма вообще никогда не существовало, так же как и Смена. Во-первых, потому, что Срединка неотвратимо пала бы жертвой уничтожающего воздействия этого прямого отрицания. Кроме того, такое признание навсегда убило бы в Робинзоне Творца. Поэтому, невзирая на последствия, он так же не может признаться самому себе в *несуществовании* создаваемого, как подлинный, истинный Творец никогда не признает в сотворенном *зла*. Ведь в обоих случаях это означало бы полный крах. Бог *зла* не сотворял, по аналогии с этим Робинзон не окружал себя несуществующим. Каждый – узник созданного им Духа.

Таким образом, Робинзон беззащитен перед Глюммом. Глюмм существует, но всегда в отдалении, его нельзя достать ни палкой, ни камнем, делу не помогает даже приманка – оставленная в темноте, привязанная к колышку Срединка (до чего докатился Робинзон!). Изгнанный слуга – нигде, а значит – везде. Бедный Робинзон, который так хотел уйти от посредственности, окружить себя избранниками, осквернил сам себя, заглумив весь остров.

Герой терпит подлинные муки. Особенно хороши описания ночных ссор со Срединкой, диалогов, особый ритм которым придает ее обиженное, манящее молчание самки; Робинзон теряет меру, тормоза, вся его господскость слетает с него, он сам теперь ее собственность – зависит от ее взгляда, кивка, улыбки. Он различает в темноте эту слабую, легкую девичью улыбку, когда, усталый, в поту, ворочается до утра на твердом ложе и его одолевают развратные, безумные мысли; он начинает мечтать о том, что мог бы сделать со Срединкой... Может, воплотить еще раз райский вариант? И в его размышлениях появляются намеки, от свитого змейкой платка до библейского змия; поэтому он воображает ее королевой, а затем отсекает «короля», чтобы оставалась только «Ева», Адамом которой, разумеется, был бы сам Робинзон. Он вполне осознает, что исчезновение Срединки означало бы катастрофу. Любая форма ее присутствия лучше, чем разлука, это бесспорно.

Итак, начинается история падения. Еженощная стирка нарядов превращается в настоящую мистерию. Проснувшись среди ночи, он чутко прислушивается к дыханию девушки. В то же время он осознает, что теперь должен по крайней мере бороться с собой, чтобы *не* двинуться с места, *не* протянуть руку в *том* направлении, но если он выгонит свою мучительницу – конец всему! В рассветных лучах ее выстиранное, выбеленное солнцем, проношенное до дыр (о, расположение этих дыр!) белье весело вьется по ветру; Робинзон проходит через все – самые

банальные – мучения, составляющие удел безответно влюбленного. А ее треснувшее зеркальце, а ее расческа... Робинзон теперь все время убегает из своего жилища-пещеры, ему уже не противен мыс, откуда Глюмм переругивался со старыми ленивыми китами. Но дальше так продолжаться не может, а значит, пусть не продолжается. И вот Робинзон отправляется на пляж, чтобы дожидаться, когда на тяжелый, обжигающий подошвы песок, подернутый блеском умирающих жемчужниц, шторм (тоже, очевидно, кстати придуманный?) вынесет огромный белый корпус «Ферганика», трансатлантического парохода. Но ведь неспроста некоторые перламутровые раковины таят в себе заколки для волос, а другие, мягко чмокнув слизью, выплевывают к ногам Робинзона мокрые окурки «Кэмела»? Не хочет ли роман показать таким образом, что и песок, и пляж, и переливающаяся вода, ее пена, стекающая назад, в пучину, уже не являются частью материального мира? Но так или иначе, драма, которая начинается на пляже, когда корпус «Ферганика», с чудовищным грохотом напоровшись на рифы, высыпает перед приплясывающим Робинзоном свое невероятное содержимое, – эта драма реальна, как рыдание неразделенной страсти...

С этого момента, следует признать, книга становится все труднее для понимания и требует немалых усилий от читателя. Линия развития, до этого четкая, запутывается и петляет. Неужели автор пытается нарочно, с помощью несуразиц, затуманить смысл романа? К чему эти два высоких табурета для бара, которые родила Срединка, – мы догадываемся, что их трехногость – наследственная черта, это ясно, но кто отец табуретов? Или речь идет о непорочном зачатии мебели? Почему Глюмм, который раньше только плевал в китов, оказывается их родней (Робинзон говорит о нем Срединке как о «китовом родственнике»)? И дальше: в начале второго тома у Робинзона не то трое, не то пятеро детей. Неопределенность числа еще можно понять: это одна из черт галлюцинаторного мира, в значительной мере уже сложившегося: Творец уже, очевидно, не в силах держать в памяти все подробности сотворенного. Прекрасно. Но от кого у Робинзона эти дети? Порождение ли они его умысла, как прежде Глюмм, Срединка, Смен, или он зачал их посредством воображаемого акта – с женщиной? О третьей ноге Срединки во втором томе нет ни слова. Означает ли это некое антитворительное изъятие? В восьмой главе это, по-видимому, подтверждается абзацем беседы Робинзона и матерого котища с «Ферганика», где тот припечатывает нашего героя: «Ты, ногодер!» Но так как этого кота Робинзон не обнаружил на корабле и не создал каким-либо иным способом, потому что его придумала тетка Глюмма, о которой жена

Глюмма рассказывает, будто бы она «производила на свет Гипербореев», то, к сожалению, остается неизвестным, были ли у Срединки еще дети, кроме табуретов. Срединка в этом не признается; во всяком случае, она не отвечает ни на какие вопросы Робинзона во время дикой сцены ревности, когда он в отчаянии пытается свить себе веревку из кокосового волокна. «Неробинзоном» именует себя герой в этой сцене и даже – НИЧЕГО-«НЕРОБИНЗОНОМ». Но поскольку он столько сработал до этого момента, как следует понимать такой пассаж?

Почему Робинзон говорит, что, не будучи таким трехногим, как Срединка, он в этом смысле обладает неким отдаленным сходством с нею, кое-как еще можно понять, но это замечание, завершающее первый том, не находит во втором томе ни анатомического, ни художественного развития. История же тетки с ее Гипербореями выглядит довольно неаппетитно, как и детский хор, сопровождающий ее метаморфозу. («Нас здесь три, четыре с половиной, слушай, Пятница-старик» – причем Пятница оказывается дядей Срединки по отцовской линии – об этом бормочут рыбы в третьей главе, там же снова содержатся намеки на пятки, но неизвестно на чьи.)

Чем дальше развивается повествование второго тома, тем бессмысленнее оно становится. Робинзон вообще уже не разговаривает со Срединкой во второй части книги: последняя попытка общения – письмо Робинзону, написанное ею ночью, в пещере, на пепле очага, на ощупь; он прочитывает его на рассвете, дрожа заранее, догадавшись о его содержании еще прежде, в темноте, когда водил пальцами по остывшему пеплу... «Чтобы наконец оставил меня в покое!» – написала она, а он, не смея ничего сказать в ответ, побежал прочь – зачем? Чтобы устроить конкурс на титул «Мисс Жемчужницы», чтобы стучать палкой по стволам пальм, нещадно их ругая, или огласить, прохаживаясь по пляжу, свой замысел – запрячь китов, привязав остров к их хвостам! Тогда же, в течение одного утра, появляются прямо-таки толпы, которые Робинзон вызывает к жизни мимоходом, нехотя, записывая где попало имена, фамилии, прозвища, – после чего наступает полнейший хаос: плот сбивают и тут же разбивают, ставят дом для Срединки, а потом валят его, руки толстеют настолько, насколько ноги худеют, а заодно разворачивается немыслимая оргия, во время которой наш герой не в состоянии отличить ухо от ушек из теста и кровь от свекольника!

Все это – почти сто семьдесят страниц, не считая эпилога! – производит впечатление, что либо Робинзон отказался от первоначальных планов, либо сам автор запутался в своем романе. Вот почему Жюль Нефаст объявил в «Фигаро литерер», что эта вещь «просто клиническая».

Серж Н. не мог избежать безумия, вопреки его праксеологическому плану Творения. Итогом действительно последовательного солипсистского творения должна была стать шизофрения. Книга старается проиллюстрировать эту банальную истину. Поэтому Нефаст находит ее в интеллектуальном отношении бессодержательной, хотя местами забавной благодаря фантазии автора.

Анатоль Фош в «Нувель критик» позволяет себе усомниться в справедливости суждения своего коллеги из «Фигаро литерер», замечая, на наш взгляд, совершенно справедливо, что Нефаст, безотносительно к содержанию «Робинзонад», не компетентен в психиатрии (далее следует пространное рассуждение об отсутствии какой бы то ни было связи между солипсизмом и шизофренией, но мы, считая эту проблему несущественной для книги, отсылаем читателя за подробностями к «Нувель критик»). А затем Фош излагает философию романа следующим образом: произведение показывает, что акт творения *асимметричен*, поскольку мысленно можно создать все, но уничтожить потом удастся не все (почти ничего). Этого не позволяет память творящего, неподвластная его воле. В трактовке Фоша роман не имеет ничего общего с историей болезни (некоего безумия в безлюдье), но изображает состояние затерянности в творении: действия Робинзона (во втором томе) настолько бессмысленны, что ему самому они уже ничего не дают, зато с психологической точки зрения они вполне объяснимы. Это метания, характерные для человека, попавшего в ситуацию, которую он принимает лишь частично; ситуация эта, набирая силу по собственным законам, поработочает его. Из реальных ситуаций – подчеркивает Фош – можно реально выбраться, а из придуманных – никогда, стало быть, «Робинзонады» свидетельствуют лишь о том, что человеку необходим подлинный мир («подлинный внешний мир – это подлинный внутренний мир»). Робинзон господина Коски вовсе не безумен – просто его план создания синтетического универсума на необитаемом острове был с самого начала обречен на провал.

По этой же логике Фош также отказывает «Робинзонадам» в глубоких ценностях, поскольку – так представленное – произведение действительно выглядит довольно убогим. С точки зрения пишущего данную рецензию, оба упомянутых критика прошли мимо романа, не вникнув в его содержание.

По нашему мнению, автор изложил нечто несравненно менее банальное, чем история безумия на необитаемом острове или полемика с тезисом о созидательном всемогуществе солипсизма. (Полемика подобного рода была бы вообще бессмыслицей, поскольку в системной философии

никто никогда не доказывал творческого всемогущества солипсизма; где-где, а в философии битвы с ветряными мельницами не окупаются.)

По нашему убеждению, то, что делает Робинзон, когда «сходит с ума», – и не вариант безумия, и не просто глупость. Изначальное намерение героя романа вполне здоровое. Он знает, что границей каждого человека являются Другие; опрометчиво выводимое из этого заключение, будто уничтожение Других предоставляет субъекту абсолютную свободу, является ложным в психологическом отношении, подобно тому как ложным в физическом отношении было бы утверждение, что раз вода принимает форму сосудов, в которых ее держат, то, разбив все сосуды, мы можем предоставить воде «абсолютную свободу». На самом же деле, подобно воде, которая, лишившись сосудов, растекается лужей, человек, оставшись в полном одиночестве, взрывается, причем взрыв этот представляет собой форму полнейшего отхода от культуры. Если нет Бога и к тому же нет ни Других, ни надежды на их возвращение, следует спастись созданием какой-либо веры, которая по отношению к создавшему ее *должна* быть внешней. Робинзон господина Коски усвоил эту нехитрую науку.

Далее: для обыкновенного человека наиболее привлекательными, а равно совершенно реальными являются существа недостижимые. Всем известны английская королева, ее сестра-принцесса, жена бывшего президента США, популярные кинозвезды. Это значит, что в действительном их существовании никто, находясь в здравом уме, нисколько не сомневается – хотя убедиться в этом непосредственно не может. В свою очередь, для того, кто может гордиться непосредственным знакомством с подобными лицами, они уже не будут идеалом богатства, женственности, красоты и т.д., поскольку при повседневном общении с ними он соприкасается с их совершенно обычными, нормальными человеческими слабостями. При ближайшем рассмотрении эти люди отнюдь не предстают существами божественными или исключительными. Поэтому поистине обожаемыми, вожденными, желанными могут быть только существа *далекие*, даже абсолютно недоступные. Привлекательность им придает то, что они вознесены над толпой; не свойства плоти или духа, а непреодолимая социальная дистанция создает их манящий ореол.

Вот эту-то черту реального мира пытается повторить Робинзон на своем острове, в масштабах вымышленного им бытия. Его действия ошибочны изначально, поскольку он просто *физически* отворачивается от созданного – глюммов, сменов и т.п., – однако дистанцию, естественную

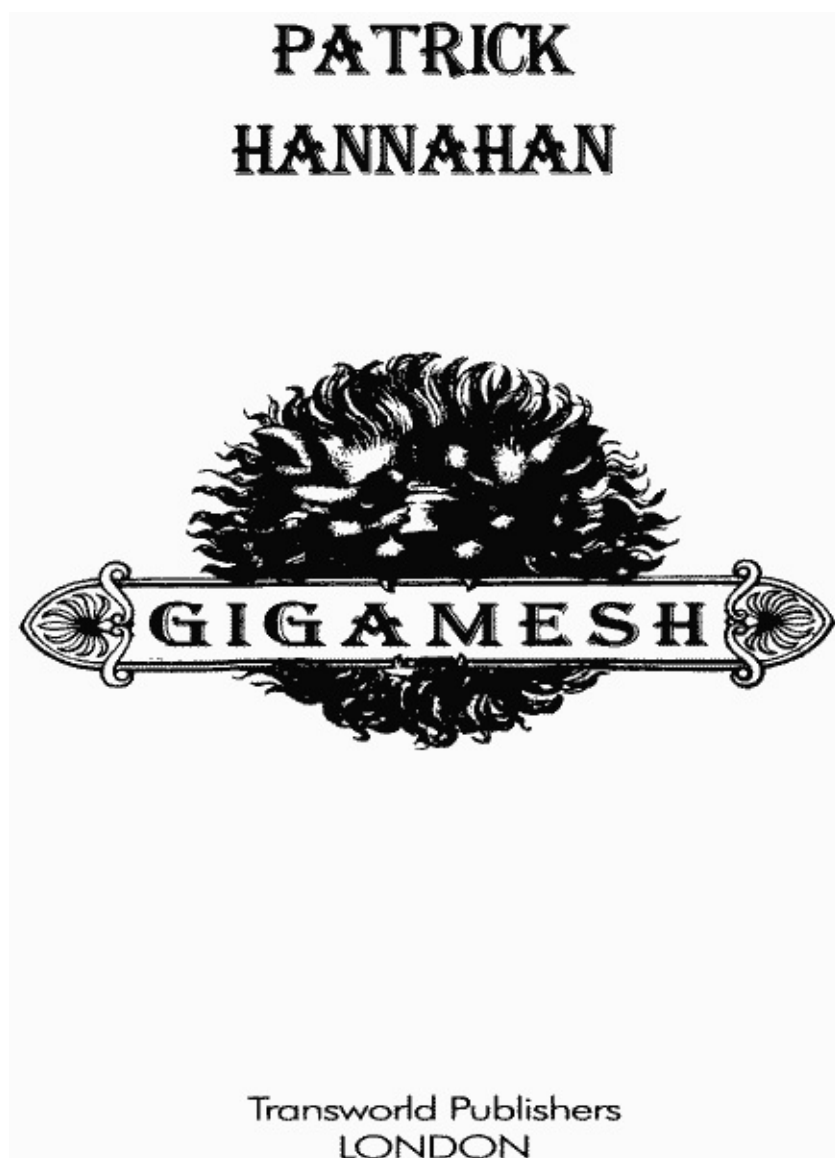
между господином и слугой, он рад бы преодолеть, когда рядом появляется женщина. Робинзон не мог, да и *не хотел* заключить Глюмма в объятия; теперь же – по отношению к девушке – уже *только не может*. Дело не в том (здесь нет интеллектуальной проблемы!), что он не мог обнять несуществующую девушку. Разумеется, это невозможно! Дело в том, чтобы *мысленно* создать ситуацию, собственные, естественные *законы* которой навсегда сделают невозможным эротический контакт – и это должны быть законы, совершенно игнорирующие *несуществование* девушки. Эти законы должны сдерживать Робинзона, а не банальный, вульгарный факт несуществования партнерши! Поскольку просто осознать ее несуществование – значит все разрушить.

Поэтому Робинзон, догадавшись, как следует поступить, принимается за работу – то есть за создание на острове целого вымышленного общества. Именно оно встанет между ним и девушкой; оно возведет систему барьеров, преград, образует непреодолимое расстояние, с которого Робинзон сможет ее любить, сможет ее вечно вожделеть – уже не подвергаясь банальным испытаниям вроде желания протянуть руку и коснуться ее тела. Он ведь знает, что если хоть раз уступит в борьбе, которую ведет сам с собою, если попробует коснуться девушки – весь мир, созданный им, в мгновение ока рухнет. И поэтому он начинает «сходить с ума», в исступлении, в дикой спешке создавая своим воображением целые толпы – придумывая и записывая на песке прозвища, фамилии, первые попавшиеся имена, болтая чепуху о женах Глюмма, о тетках, о стариках пятницах и т.д. и т.п. А поскольку эта толпа нужна ему *только* как некое непреодолимое пространство (которое разделяло бы Его и Ее) – он творит кое-как, небрежно, наперекос, беспорядочно; он спешит – и эта спешка дискредитирует сотворенное, выявляя его бредовость и пошлость.

Если бы ему посчастливилось, он стал бы вечным влюбленным, Данте, Дон-Кихотом, Вертером и тем самым настоял бы на своем. Срединка – надо ли объяснять? – сделалась бы тогда не менее реальной, чем Беатриче, Лотта, какая-нибудь королева или принцесса. Став совершенно *реальной*, она была бы в то же время *недостигаемой*. Благодаря этому он мог бы жить и мечтать о ней, поскольку существует глубокое различие между ситуацией, когда кто-то реальный тоскует о своем сне и когда его манит тоже реальное – именно собственной недостижимостью. Ведь только во втором случае можно без конца питать надежду... поскольку только социальные или другие подобные преграды препятствуют осуществлению любви. Отношение Робинзона к Срединке могло нормализоваться, только если бы она стала одновременно *реальной* и *недоступной* – для него.

Классическому мифу о соединении влюбленных, разлученных превратностями судьбы, Марсель Коска противопоставил, таким образом, античный миф о необходимости вечной разлуки как единственной гарантии духовных союзов. Поняв всю тривиальность ошибки с «третьей ногой», Робинзон (а, разумеется, не автор!) потихоньку «забывает» о ней во втором томе. Властительницей своего мира, принцессой ледяной горы, нетронутой возлюбленной – вот кем хотел он сделать Срединку, ту самую, которая начинала у него как юная служанка, сменившая толстого Глюмма... Из этого ничего не вышло. Вы уже знаете или догадываетесь почему? Ответ простой: потому что Срединка, в отличие от какой-нибудь королевы, *знала* о Робинзоне, поскольку она любила его. И потому она не хотела сделаться богиней-весталкой: эта раздвоенность ведет героя к гибели. Если бы любил он один! Но она ответила ему взаимностью... Кому непонятна эта простая истина, кто считает (как учили наших дедов их викторианские гувернантки), что мы умеем любить *других*, а не *себя* в этих других, тому лучше не брать в руки этот грустный роман, который подарил нам Марсель Коска. Его Робинзон выдумал себе девушку, которую не захотел до конца отдать реальности, поскольку от реальности, никогда не оставляющей нас, нет иного, кроме смерти, пробуждения.

Гигамеш



Вот романист, который позавидовал лаврам Джойса. Автор «Улисса» всю «Одиссею» уместил в одном-единственном дублинском дне, фоном *La belle époque*^[7] сделал адский дворец Цирцеи, сплел для торгового агента Блума петлю из трусиков Герти Макдауэлл, лавиной в четыреста тысяч слов обрушился на викторианство, изничтожив его всеми стилями, какими только располагало перо, от потока сознания до следственного протокола. Разве не было уже это кульминацией жанра романа, а заодно – пышным его погребением в семейном склепе искусств (в «Улиссе» немало и музыки!)? Как видно, нет; как видно, сам Джойс думал иначе, коль скоро решил идти

дальше и написать книгу, которая не только сфокусировала бы всю культуру на *одном* языке, но стала бы *всеязыковым* фокусом, спустилась до самого фундамента вавилонской башни. Мы не намерены ни подтверждать, ни отрицать великолепия «Улисса» и «Поминок по Финнегану», своею двойною дерзостью аппроксимирующих бесконечность. Одинокaя рецензия ничего не прибавит к Гималаям почестей и проклятий, придавившим оба эти романа. Ясно одно: Патрик Ханнахан, соотечественник Джойса, никогда бы не написал своего «Гигамеша», если б не великий пример, воспринятый им как вызов.

Казалось бы, этот замысел заведомо обречен на неудачу. Создавать второго «Улисса» бессмысленно, второго «Финнегана» – тоже. На вершинах искусства в зачет идут только свершения первопроходцев, подобно тому как в истории альпинизма – лишь первое восхождение по непокоренной стене.

Ханнахан, весьма снисходительный к «Поминкам по Финнегану», «Улисса» ставит невысоко. «Что за мысль, – говорит он, – запихнуть, под видом Ирландии, европейский девятнадцатый век в замшелый саркофаг „Одиссеи“! Оригинал Гомера – сам сомнительного качества. Это античный комикс, который воспевае^т супермена Улисса и имеет свой хеппи-энд. *Ex ungue leonem*^[8]: по выбору образца узнается калибр писателя. Ведь «Одиссея» – плагиат «Гильгамеша», переиначенного на потребу греческой публике. То, что в вавилонском эпосе было трагедией борьбы, увенчанной поражением, греки переделали в живописную авантюрную поездку по Средиземному морю. «*Navigare necesse est*», «жизнь – это странствие» – тоже мне, великие житейские мудрости. «Одиссея» – плагиат самого худшего разбора, ибо сводит на нет все величие подвига Гильгамеша».

Надо признать, что в «Гильгамеше», как учит шумерология, и впрямь содержатся мотивы, которыми воспользовался Гомер, например, мотив Одиссея, Цирцеи или Харона, и что это едва ли не самая старая версия трагической онтологии; ее герой, говоря словами Райнера Марии Рильке, сказанными тридцать шесть столетий спустя, «ждет, чтобы высшее начало / Его все чаще побеждало, / Чтобы расти ему в ответ»^[9]. Человеческая судьба как борьба, неизбежно ведущая к поражению, – таков конечный смысл «Гильгамеша».

Вот почему Патрик Ханнахан именно на основе вавилонского эпоса развернул свое эпическое полотно, весьма своеобразное, заметим, поскольку действие «Гигамеша» крайне ограничено во времени и пространстве. Закоренелый гангстер, наемный убийца, американский

солдат времен последней мировой войны, G.I.J. Maesh (т.е. «Джи Ай Джо» – Government Issue Joe, или «Джо казенного образца», как называли рядовых американской армии), изобличенный в своих преступлениях благодаря доносу некоего Н. Кидди, приговорен военным трибуналом к повешению в городишке округа Норфолк, где расположена его часть. Романное время длится 36 минут – именно столько нужно, чтобы доставить смертника из тюрьмы к месту исполнения приговора. В финале возникает образ петли: чернея на фоне ясного неба, она обвивает шею спокойно стоящего Меша. Он-то и есть Гильгамеш, герой-полубог вавилонского эпоса, а отправивший его на виселицу старый приятель Н. Кидди – не кто иной, как ближайший соратник Гильгамеша, Энкиду, сотворенный богами ему на погибель. При таком изложении бросается в глаза сходство творческих принципов «Улисса» и «Гигамеша». Справедливость требует подчеркнуть различия. Сделать это тем легче, что Ханнахан – в отличие от Джойса! – снабдил свою книгу «Истолкованием», которое вдвое толще самого романа (если быть точным: в «Гигамеше» 395 страниц, в «Истолковании» – 847). О методе Ханнахана мы можем судить уже по первому семидесятистраничному разделу «Истолкования», где объясняется, какое богатство ассоциаций таится в одном-единственном слове, а именно в заголовке. «Гигамеш», во-первых, прямо указывает на «Гильгамеша», то есть на свой мифический прообраз, как и у Джойса – ведь его «Улисс» отсылает к античности прежде, чем мы успеваем прочесть первое слово повествования. Пропуск буквы «Л» в заглавии отнюдь не случаен; «Л» – это Люцифер, Lucifer, Князь Тьмы, присутствующий в романе, однако открыто не появляющийся. А следовательно, буква «Л» так относится к заглавию «Гигамеш», как Люцифер – к романным событиям: присутствует, но незримо. Отсылая нас к Логосу, «Л» указывает на Начало (Божественное Творящее Слово); отсылая к Лаокоону – на Конец (ведь конец Лаокоону пришел из-за змей: он был удушен, как будет удушен – посредством strangulation – герой «Гигамеша»). «Л» содержит в себе еще 97 отсылок, но мы не можем перечислить их здесь.

Далее: «Гигамеш» – это «A GIGAntic MESS» – сумбур, беда, постигшая героя, – он ведь приговорен к повешению. С именем героя перекликаются также: «gig» – гичка (Меш топил свои жертвы в шлюпке, перед тем облив их цементом); «GIGgle» – адский хохот – отсылка (№ 1) к музыкальному лейтмотиву сошествия во ад согласно «Klage Dr. Fausti»^[10]; ниже мы еще скажем об этом. ГИГА – это: а) итальянское giga – скрипка (снова намек на музыкальный подтекст эпоса); в) в слове ГИГАВАТТЫ «ГИГА» означает миллиарды единиц мощности, в нашем случае –

мощности Зла, т.е. технической цивилизации. «Geegh» – это древнекельтское «прочь» или «вон». От итальянского «giga» через французское «gigue» приходим к «geigen» (жаргонное обозначение копуляции по-немецки). Дальнейшую этимологическую интерпретацию приходится опустить за недостатком места. Другое членение заголовка: «Gi-GAME-Sh» – подчеркивает иные аспекты произведения: «Game» – игра, но также охота (на человека; здесь – на Меша). Это не все; смолоду Меш выступал в роли жиголо (GIGolo); «Ame» («Amme») на древненемецком означает «кормилица»; в свою очередь «MESH» – это сеть: например, та, в которую Гефест поймал свою божественную супругу вместе с любовником, то есть силки, верша, КАПКАН (петля); кроме того, система зубчатых колес («synchroMESH» – коробка передач).

Особый раздел посвящен заглавию, прочитанному наоборот – поскольку по дороге на виселицу Меш мысленно возвращается *назад*, пробуя отыскать в своей памяти такое чудовищное злодеяние, которое *искупило* бы казнь. В его уме, таким образом, идет игра (game!) за самую высшую ставку: если он вспомнит поступок *бесконечно* омерзительный, то уравновесит *бесконечную* Жертву божественного Искупления, т.е. станет Антиискупителем. Это – в метафизическом плане; разумеется, сознанию Меша чужда подобная антитеология, просто он ищет – в психологическом плане – нечто столь ужасающее, что позволило бы ему остаться невозмутимым при виде петли. Выходит, G.I.J. Maesh – это Гильгамеш, который в момент поражения достигает *отрицательного* совершенства; перед нами абсолютная обратная симметрия по отношению к вавилонскому герою.

«Гигамеш», прочитанный задом наперед, – «Шемагиг». «Шема» – древнееврейское слово, взятое из Пятикнижия («Шема Исраэл!» – «Слушай, Израиль, твой Бог есть Бог единый!»). Поскольку это перевертыш, речь идет об Антибоге, т.е. о персонификации Зла. «Гиг» теперь – безусловно, «Гог» (Гог и Магог!). «Шем» – это, собственно, «Сим», первая часть имени Симеона Столпника; петля свисает со столба, а значит, Меш, будучи повешен, станет «столпником наоборот»: он будет не стоять на столбе, но висеть *под* столбом. Таков следующий шаг антисимметрии. Приведя по ходу такого истолкования 2912 выражений – древнешумерских, вавилонских, халдейских, греческих, старославянских, готтентотских, банту, южнокурильских, сефардийских, на диалекте апачей (боевой клич которых – «Иг» или «Гуг») – вместе с их санскритскими соответствиями и отсылками к воровскому *сленгу*, Ханнахан подчеркивает, что это отнюдь не склад случайного хлама, но точная семантическая роза

ветров, тысячестрелочный компас и план произведения, его картография – поскольку уже здесь намечены все без исключения связи, полифонически воплощенные в романе.

Ханнахан решил сделать свою книгу не только всекультурным, всеэтническим и всеязыковым узлом (петля!); чтобы пойти выше и дальше, чем удалось Джойсу, все это было, конечно, необходимо (так, единственная буква «М» в «ГигаМеше» отсылает нас к истории майя, богу Вицли-Пуцли, ко всем ацтекским космогониям и иррумациям), но недостаточно! «Гигамеш» соткан из *всей совокупности* человеческих знаний. И опять-таки, мы имеем в виду не только современное их состояние, но также историю науки, то есть клинописные вавилонские арифметики; испепеленные, потухшие образы мироздания – как халдейские, так и египетские; птоlemeанство и эйнштейнианство, исчисление матричное и патричное, алгебру тензоров и групп, способы обжига ваз в эпоху династии Мин, машины Лилиенталя, Иеронимуса, Леонардо, гибельный воздушный шар Саломона Андре и дирижабль генерала Нобиле (то, что во время экспедиции Нобиле были случаи каннибализма, имеет особый и глубокий смысл для читателя, ибо роман Ханнахана можно уподобить точке, в которой некий фатальный груз упал в воду и возмутил ее гладь; и кругами волн, концентрически расходящихся все дальше и дальше от «Гигамеша», оказывается «все-все» человеческое существование на Земле, начиная с Homo Javanensis^[11] и палеопитека). Вся эта информация покоится в «Гигамеше» – укрытая, но ее можно извлечь – как будто в реальном мире.

Так мы доходим до главного творческого принципа Ханнахана: чтобы превзойти своего великого земляка и предшественника, он должен был уместить в беллетристическом произведении не одно лишь культурно-языковое, но вообще все наследие истории – всю сумму познаний и умений (Пангнозис).

Несбыточность этого замысла, казалось бы, очевидна, его легко счесть манией глупца, и в самом деле: как может один роман, история повешения какого-то гангстера, стать экстрактом, матрицей, кодом и сокровищницей всех знаний, распирающих библиотеки планеты! Предвидя заранее этот холодный и даже издевательский скептицизм читателя, Ханнахан не ограничивается обещаниями – в «Истолковании» он дает доказательства.

Изложить их все немислимо; творческий метод писателя мы можем показать лишь на мелком, второстепенном примере. Первая глава «Гигамеша» занимает восемь страниц, на протяжении которых смертник оправляется в нужнике военной тюрьмы, читая – над писсуаром –

бесчисленные граффити, которыми солдатня успела испещрить стены. Эти надписи остаются где-то на пограничье его сознания, и как раз потому их безудержное похабство оказывается не дном бытия, а люком, ведущим нас в неопрятное, горячее, огромное нутро рода людского, в самое пекло его копролалической и физиологической символики, восходящей, через «Камасутру» и китайскую «войну цветов», к сумрачным пещерам со стеатопигическими^[12] Венерами пралюдей, ведь именно их обнаженный срам проглядывает сквозь похабные силуэты, коряво нацарапанные на стене; вместе с тем фаллическая откровенность других рисунков ведет нас к Востоку с его ритуальной сакрализацией Фаллоса-Лингама^[13], причем Восток означает местонахождение первоначального Рая – то есть искусной лжи, неспособной укрыть ту истину, что в Начале была скверная информация. Да, да: ибо Пол и «грех» возникли еще тогда, когда праамебы утратили свою однополую девственность, поскольку эквиполентность и двуполность Пола прямым образом вытекают из Теории Информации Шеннона; так вот что означает последняя буква («Ш») в названии эпоса! А стало быть, со стены нужника открывается путь в бездну природной эволюции... которая вместо фигового листка прикрылась муравейником культур. Но и это лишь капля из океана, потому что в первой главе, кроме того, содержится:

а) Пифагорейское число «пи», символизирующее женское начало (3,14159265358979...); именно столько тысяч букв насчитывается в тысяче слов этой главы.

б) Если взять числа, обозначающие даты рождения Вейсмана, Менделя и Дарвина, и приложить их к тексту, как ключ к шифру, то окажется, что мнимый хаос клозетной скатологии^[14] есть изложение сексуальной механики, в которой сталкивающиеся (коллизирующие) тела заменяются копулирующими. Вся эта цепочка значений входит в сцепление (SYNCHROMESH!) с другими частями романа, а именно: через III главу (Троица!) она соотносится с X главой (беременность длится 10 лунных месяцев!), а эта последняя, прочитанная наоборот, оказывается изложением фрейдизма *по-арамейски*. Мало того: как следует из III главы (если наложить ее на четвертую, перевернув книгу вверх ногами), фрейдизм, то есть учение о психоанализе, есть обмирщенная версия христианства. Состояние до Невроза – Рай; детская душевная травма – это Грехопадение; Невротик – Грешник; Психоаналитик – Спаситель, а фрейдовское лечение – Спасение через благодать.

с) Выходя из нужника, в конце I главы, Дж. Меш насвистывает

шестнадцатитактную мелодию (шестнадцать было девушке, которую он обесчестил и удушил в шлюпке); слова же – крайне вульгарные – он произносит лишь про себя. Этот эксцесс психологически обоснован; сверх того, силлабо-тонический анализ песенки дает нам прямоугольную матрицу преобразований для следующей главы (которая получает при этом совершенно другое значение). Глава II – развитие богохульной песенки, которую Меш насвистывает в первой главе; после применения матрицы богохульство оборачивается ангельским пением. Роман в целом имеет три отсылки: 1) к «Фаусту» Марло (действие II, явление VI и след.); 2) к «Фаусту» Гёте («Alles vergängliche ist nur ein Gleichniss»^[15]), а также 3) к «Доктору Фаустусу» Т. Манна, причем отсылка к этому роману – просто чудо искусства! Подобрал по очереди ко всем буквам II главы ноты согласно старогрегорианскому нотному ключу, получаем музыкальную композицию – *обратное* переложение (согласно «Фаустусу» Манна) оратории «Apocalypsis cum Figuris»^[16], которую Манн, как известно, приписал композитору Адриану Леверкюну. Эта адская музыка присутствует и в то же время отсутствует в романе Ханнахана (ведь в явном виде ее там нет) – подобно Люциферу (буква «Л», опущенная в заглавии). IX, X и XI главы (слезание с грузовика, причащение перед смертью, приготовления к казни) также имеют музыкальный подтекст (а именно «Klage Dr. Fausti»), но, так сказать, между прочим. Ибо, если проанализировать их как адиабатическую систему в понимании Сади Карно, они оказываются Собором, который покоится на постоянной Больцмана, а в Соборе этом совершается Черная Месса. (Ритуалу говения соответствуют смутные воспоминания Меша в кузове грузовика; завершаются они матерщиной, сочное глиссандо которой венчает VIII главу.) Эти главы – самый настоящий Собор, поскольку межфразовые и межфразеологические пропорции образуют синтаксический скелет, эквивалентный *изображению* на мнимой плоскости – в проекции Монжа – собора Нотр-Дам со всеми его башенками, консолями, контрфорсами, с монументальным порталом, знаменитой готической Розой и т.д. и т.п. Таким образом, в «Гигамеше» заключено и богословие, вдохновленное архитектурой. В «Истолковании» (стр. 397 и след.) читатель найдет подробную проекцию Собора в том виде, в каком он содержится в тексте упомянутых глав, в масштабе 1:1000. Но если вместо стереометрической проекции Монжа применить неравноугольную проекцию с исходной дисторсией согласно матрице из I главы, то получим Дворец Цирцеи, а Черная Месса превратится в карикатуру на изложение августианинской

доктрины (опять-таки иконоборчество: августинианство – во Дворце Цирцеи, зато в Соборе – Черная Месса). Итак, Собор или августинианство не просто механически вставлены в роман; они – звенья общего идейного замысла.

Уже этот скромный пример показывает, каким образом автор, благодаря своему ирландскому упорству, вогнал в один роман весь мир человека с его мифами, симфониями, храмами, физическими теориями и анналами всеобщей истории. Пример этот снова отсылает нас к заглавию, ибо (в данном контексте) «Гигамеш» – это «гигантская мешанина», что имеет необычайно глубокий смысл. Ведь Космос, согласно второму закону термодинамики, движется к финальному хаосу. Энтропия *должна* возрасти, и поэтому всякое бытие обречено на поражение. А значит, ГИГАНтская МЕШанина – не только то, что случилось с каким-то экс-гангстером; Вселенная в целом – тоже Гигантская Мешанина (в просторечии беспорядок – «бардак», поэтому все бордели, о которых вспоминает Меш по дороге на виселицу, суть подобия Космоса). Одновременно совершается ГИГАНтская МЕССа – пресуществление Порядка в финальный Беспорядок. Отсюда сочетание Сади Карно с Собором, отсюда же – воплощение в Соборе постоянной Больцмана: Ханнахан *должен* был это сделать, поскольку именно хаос будет последним, Страшным судом! Миф о Гильгамеше, само собой, целиком воплощен в романе, но верность Ханнахана вавилонскому образцу – сущий пустяк по сравнению с безднами толкований, кишущих в каждом из 241 000 слов книги. Предательство, совершенное Н. Кидди (Энкиду) по отношению к Мешу – Гильгамешу, есть квинтэссенция и сплав всех предательств в истории человечества; Н. Кидди – это *также* Иуда, Дж.А.Дж. Меш – это *также* Спаситель, и т.д., и т.п.

Открыв книгу наудачу, на стр. 131, строка 4 сверху, встречаем восклицание «Ба!», которое вырывается у Меша при виде пачки сигарет «Кэмел», предложенной ему шофером. В указателе к «Истолкованию» находим 27 различных «ба!», а нашему «ба!» на стр.131 соответствует следующий ряд: Баал, Байя, Баобаб, Бахледа (можно было бы подумать, что Ханнахан *ошибся*, дав неверное написание имени этого польского альпиниста: Bahleда вместо Bachleда; но ничего подобного! Опущенное «с» отсылает, согласно уже известному нам принципу, к символу «с», которым Кантор обозначил трансфинитный континуум!), Бахомет, Бабелиски (багдадские обелиски – типичный для автора неологизм), Бабель (Исаак), Авраам, Иаков, лестница, пожарные, мотопомпа, уличные беспорядки, хиппи, бадминтон, ракета, луна, горы, Берхтесгаден

(поскольку в Баварии начал свою карьеру Гитлер, этот поклонник Черной Мессы XX века).

Так работает на всех высотах и широтах *одно* лишь словечко, обычное восклицание, казалось бы, совершенно невинное! Нечего и говорить о семантических лабиринтах, что ожидают нас на следующих этажах языковой постройки, какую являет собой «Гигамеш»! Теории преформизма борются там с теориями эпигенеза (гл. III, стр. 240 и след.); движениям рук палача, цепляющего веревку за крюк, синтаксически аккомпанирует теория Хойла – Милна о двух временных шкалах *скручивания в петлю* Спиральных Галактик; а воспоминания Меша о своих злодеяниях суть полный каталог грехопадений человека («Истолкование» показывает, как соотносятся с черными делами героя крестовые походы, империя Карла Мартелла, избиение альбигойцев, резня армян, сожжение Джордано Бруно, охота на ведьм, коллективные помешательства, самоистязания секты бичевников, моровые поветрия, гольбейновские пляски смерти, Ноев ковчег, Арканзас, *ad calendas graecas, ad nauseam*^[17] и т.п.). Гинеколог, которого Меш пнул ногой в Цинциннати, звался Кросс Б. Андронидисс, то есть именем ему служил Крест (Cross), фамилией – сингломерат Человекообразности (Андронид, Антропос) и Улисса (Одиссей), а срединная буква – Б (В) означает тональность си бемоль, поскольку в этом фрагменте текста закодированы «Жалобы доктора Фауста».

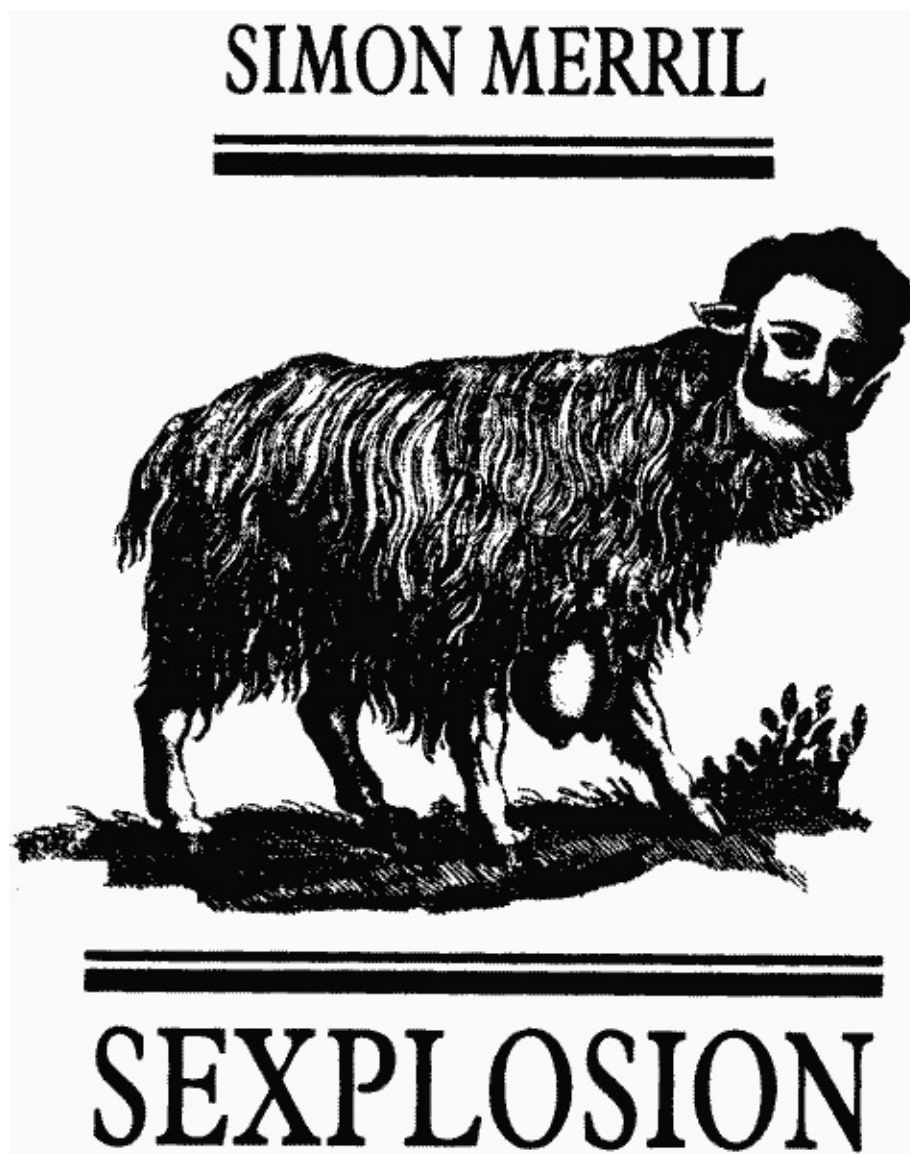
Да: бездонная бездна этот роман; в любой его точке сходится несчетное множество путей (не случайно топология запятых в VI главе есть аналог карты Рима!), и притом не каких попало – их разветвления гармонически сплетаются в единое целое (что Ханнахан доказывает методами топологической алгебры – см. «Истолкование», Математическое Приложение, стр. 811 и след.). Итак, все обещанное исполнилось. Остается лишь одно сомнение: сумел ли Патрик Ханнахан своим романом сравняться с великим предшественником или хватил через край, поставив под вопрос свое – но и Джойса! – место в царстве искусств. Ходят слухи, будто Ханнахану помогала группа компьютеров, которыми снабдил его концерн IBM. Если даже и так, не вижу тут ничего зазорного: композиторы сплошь и рядом пользуются компьютерами – почему же это непозволительно романистам? Кое-кто полагает, что созданные по этой методе книги доступны одним лишь цифровым машинам, поскольку человеческий ум не в силах объять такой океан фактов и связей между ними. Тогда попрошу вас ответить: а есть ли на свете человек, способный объять целиком «Поминки по Финнегану» или хотя бы «Улисса»? Подчеркиваю: не в плане буквального прочтения, но со всеми отсылками,

ассоциациями, культурно-мифологическими соответствиями, со всеми без исключения системами парадигм и архетипов, на которых держатся эти романы и возрастают в славе. Уж верно, в одиночку всякий бы тут спасовал! Ведь никому не по силам даже прочесть всю грудку толкований и интерпретаций, уже написанных о прозе Джеймса Джойса! Так что спор о правомочности участия компьютеров в сочинении книг попросту беспредметен.

Зоилы утверждают, что Ханнахан изготовил величайший *логогриф* литературы, чудовищный семантический ребус, поистине адскую *шараду* или *головоломку*. Что запихивание миллиона или миллиарда всех этих отсылок в беллетристическое произведение, игра в этимологические, фразеологические, герменевтические хороводы, нагромождение все новых слоев значений, нескончаемых и коварных в своей антиномичности, – не литературное творчество, но фабрикация умственных развлечений для узкого круга хоббистов-параноиков, для маньяков и коллекционеров, распаленных библиографическим собирательством. Что, словом, это крайнее извращение, патология культуры, а вовсе не плод ее здорового развития.

Простите – но где проходит граница между многозначностью как признаком гениального синтеза и таким приращением значений и смыслов, которое становится чистой шизофренией культуры? Подозреваю, что антиханнахановская партия литературоведов просто опасается безработицы. Ведь Джойс, сочинив свои изумительные шарады, не снабдил их авторскими толкованиями, и каждый может продемонстрировать духовные бицепсы, редкую проницательность и даже интерпретаторскую гениальность, на свой лад толкуя «Улисса» и «Финнегана». Напротив, Ханнахан все сделал *сам*. Не удовольствовавшись созданием романа, он добавил к нему – вдвое больший – филологический аппарат. Вот в чем коренное различие, а вовсе не в том, что Джойс, дескать, все «выдумал сам», а Ханнахану ассистировали компьютеры, подключенные к Библиотеке Конгресса (23 миллиона томов). Так что я не вижу выхода из западни, в которую загнал нас этот ирландец своей убийственной скрупулезностью: либо «Гигамеш» есть сумма новой и новейшей литературы, либо ни ему, ни повествованию о Финнегане, вместе с джойсовской Одиссеей, нет входа на беллетристический Олимп.

Сексотрясение



Если верить автору – а нам все чаще велят верить сочинителям научной фантастики! – нынешнее половодье секса в восьмидесятих годах обернется вселенским потопом. Но действие романа «Сексотрясение» начинается еще двадцатью годами позже – суровой зимой в засыпанном снегом Нью-Йорке. Не названный по имени старец, увязая в сугробах и натыкаясь на погребенные под снегом автомобили, добирается до вымершего небоскреба, достает из-за пазухи ключ, согретый крохами старческого тепла, отпирает железные ворота и спускается в подвальные этажи; его блуждания перемежаются картинками воспоминаний – они-то и

составляют роман.

Глухое подземелье, по стенам которого пробегает луч карманного фонаря, оказывается то ли музеем, то ли разделом экспозиции (или, вернее, секспозиции) могущественного концерна, свидетельством тех памятных лет, когда Америка еще раз завоевала Европу. Полуремесленная мануфактура европейцев столкнулась с неумолимой поступью конвейерного производства, и постиндустриальный научно-технический колосс быстро одержал победу. На поле боя остались три консорциума: «General Sexotics», «Cybordelics» и «Love Incorporated». Когда объем продукции этих гигантов достиг пика, секс из частного развлечения и групповой гимнастики, из хобби и кустарного коллекционирования превратился в философию цивилизации. Маклюэн, который дожил до тех времен вполне еще бодрым стариком, доказывал в своей «Генитократии», что таково именно и было предназначение человечества, вступившего на путь технического прогресса, что уже античные гребцы, прикованные к галерам, и лесорубы Севера с их пилами, и паровая машина Стефенсона с ее цилиндром и поршнем задали ритм, вид и смысл движений, из которых складывается соитие как основное событие экзистенции человека. Безликий американский бизнес, усвоив премудрости любовных поз Запада и Востока, перековал оковы Средневековья в пояса добродетели, искусства и художества засадил за проектирование копуляторов, мегапенисов, вагинеток, сексариев и порноматов, пустил в ход стерилизованные конвейеры, с которых бесперебойно потекли садомобили, любисторы, домашние содомильники и общественные гоморроботы, а заодно основал научно-исследовательские институты, чтобы те начали борьбу за эмансипацию обоих полов от обязанности продолжения рода.

Отныне секс стал уже не модой, но верой, оргазм – неукоснительным долгом, а счетчики его интенсивности с красными стрелками заняли место телефонов на улицах и в конторах. Но кто же он, этот старец, бредущий подземными переходами из зала в зал? Юрисконсульт «General Sexotics»? Недаром вспоминает он о громких процессах, дошедших в свое время и до Верховного суда, о битве за право тиражирования – в виде манекенов – телесного подобия знаменитостей, начиная с Первой Леди США. «General Sexotics» выиграл (что обошлось ему в двадцать миллионов долларов); и вот дрожащий луч фонарика отражается в пластмассовых коробках, где покоятся кинозвезды первой величины и прекраснейшие дамы большого света, принцессы и королевы в великолепных туалетах – выставлять их в другом виде, согласно постановлению суда, запрещалось.

За какой-нибудь десяток лет синтетический секс прошел путь от

простейших надувных моделей с ручным заводом до образцов с автоматической терморегуляцией и обратной связью. Их прототипы давно уже умерли или превратились в согбленных старух, но тефлон, нейлон, порнолон и сексонил устояли перед всемогущим временем, и, словно в музее восковых фигур, элегантные дамы, выхваченные фонариком из темноты, дарят обходящего подземелье старца застывшей улыбкой, сжимая в вытянутой руке кассету со своим сиреным текстом (Верховный суд запретил вкладывать пленку в манекен, но покупатель мог сделать это у себя дома, частным образом).

Медленные, неуверенные шаги одинокого старца вздымают клубы пыли, сквозь которую там, в глубине, розовеют сцены группового эроса – порой с тридцатью участниками, что-то вроде огромных слоеных пирогов или тесно переплетенных калачей. Уж не сам ли президент «General Sexotics» шествует подземными коридорами среди гоморроботов и уютных содомильников? Или главный проектировщик концерна, тот, что генитализировал сперва Америку, а потом и остальной мир? Вот визуарии с их пультами, программами и свинцовой пломбой цензуры, той самой, из-за которой стороны ломали копья на шести судебных процессах; вот груды контейнеров, готовых к отправке за море, набитых «японскими шариками», коробочками до- и послеласкательного крема и тому подобным товаром, вместе с инструкциями и техпаспортами.

То была эра демократии, наконец-то осуществленной: все могли всё – со всеми. Следуя советам своих штатных футурологов, консорциумы, вопреки антимонопольным законам, втайне поделили между собой мировой рынок и пошли по пути специализации. «General Sexotics» спешила уравнивать в правах норму и патологию; две другие фирмы сделали ставку на автоматизацию. Образцы мазохистских цепов, биялен и молотильников появились в продаже, дабы убедить публику, что о насыщении рынка не может быть и речи, потому что большой бизнес – по-настоящему большой – не просто удовлетворяет потребности, но создает их! Традиционные орудия домашнего блуда разделили судьбу неандертальских кремней и палок. Ученые коллегии разработали шести- и восьмилетние циклы обучения, затем программы высшей школы обеих эротик, изобрели нейросексатор, а за ним глушилки, давилки, особые изоляционные массы и звукопоглотители, чтобы страстные стоны из-за стены не нарушали покой и наслаждение соседей.

Но нужно было идти дальше, все вперед и вперед, решительно и неустанно, ведь стагнация – смерть производства. Уже разрабатывались модели Олимпа индивидуального пользования, и первые андроиды с

обликом античных богов и богинь штамповались из пластика в раскаленных добела мастерских «Cybordelics». Поговаривали и об ангелах, и даже выделен был резервный фонд на случай тяжбы с церковью. Оставалось решить кое-какие технические проблемы: из чего должны быть крылья; не будет ли оперение щекотать в носу; делать ли модель движущейся, не помешает ли это; как быть с нимбом; какой выбрать для него выключатель и где его разместить и т.д. Тут-то и грянул гром.

Химическое соединение, известное под кодовым названием «антисекс», синтезировали давно, чуть ли не в семидесятые годы. Знал о нем лишь узкий круг специалистов. Этот препарат, который сразу же был признан тайным оружием, создали в лабораториях небольшой фирмы, связанной с Пентагоном. Его распыление в виде аэрозоля и в самом деле нанесло бы страшный удар по демографическому потенциалу противника; доли миллиграмма было достаточно, чтобы полностью устранить ощущения, сопутствующие соитию. Оно, правда, оставалось возможным, но лишь как разновидность физического труда – и довольно тяжелого, вроде стирки, выжимания или глажения. Подумывали о применении «антисекса» для приостановки демографического взрыва в «третьем мире», но эту затею сочли рискованной.

Как дошло до мировой катастрофы – неизвестно. В самом ли деле запасы «антисекса» взлетели на воздух из-за короткого замыкания и пожара цистерны с эфиром? Или пожар устроили промышленные конкуренты трех гигантов, поделивших мировой рынок? А может, тут была замешана какая-нибудь подрывная, ультраконсервативная или религиозная организация? Ответа мы уже не получим.

Устав от блужданий по бесконечным подземельям, старец усаживается на гладких коленях пластиковой Клеопатры (предусмотрительно нажав перед тем на ее тормоз) и в своих воспоминаниях приближается, словно к пропасти, к великому краху 1998 года. Потребители, все как один, с содроганием отвергли товары, наводнявшие рынок. То, что манило еще вчера, сегодня было как топор для измученного дровосека, как стиральная доска для прачки. Вечные, казалось бы, чары – биологическое заклятие людского рода – развеялось без следа. Отныне грудь напоминала лишь о том, что люди – существа млекопитающие, ноги – что человек способен к прямохождению, ягодицы – что есть на чем сидеть. И все! Как же повезло Маклюэну, что он до этой катастрофы не дожил, он, неутомимо толковавший средневековый собор и космическую ракету, реактивный двигатель, турбину, мельницу, солонку, шляпу, теорию относительности, скобки математических уравнений, нули и восклицательные знаки как

суррогаты и символы того единственного акта, в котором переживание бытия выступает в чистом виде.

Все переменялось в считанные часы. Человечеству грозило полное вымирание. Началось с экономического краха, рядом с которым кризис 1929 года показался детской забавой. Первой загорелась и погибла в огне редакция «Плейбоя»; оголодавшие сотрудники стриптизных заведений выбрасывались из окон; иллюстрированные журналы, киностудии, рекламные фирмы, институты красоты вылетели в трубу; затрещала по швам парфюмерно-косметическая, а за ней и бельевая промышленность; в 1999 году безработных в Америке насчитывалось 32 миллиона.

Что могло теперь привлечь покупателей? Грыжевой бандаж, синтетический горб, седой парик, трясущиеся фигуры в колясках для паралитиков – ведь только они не напоминали о сексуальном усилии, об этом кошмаре, этой каторге, только они гарантировали эротическую неприкосновенность, а значит, покой и отдохновение. Ибо правительства, осознав надвигающуюся опасность, объявили тотальную мобилизацию во имя спасения рода людского. С газетных страниц раздавались призывы к разуму и чувству долга, с телеэкрана служители всех вероисповеданий убеждали паству одуматься, ссылаясь на высшие, духовные идеалы, но публика равнодушно внимала этому хору авторитетов. Уговоры и проповеди, призывавшие человечество превозмочь себя, не действовали. Проку от них не было никакого; лишь японский народ, известный своей исключительной дисциплинированностью, стиснув зубы, последовал этим призывам. Власти испробовали материальные стимулы, награды и премии, почетные медали и ордена, объявили конкурсы на лучшего детороба, а когда и это не помогло, прибегли к репрессиям. Население целых провинций уклонялось от всеобщей детородной повинности, молодежь разбегалась по окрестным лесам, люди постарше предъявляли поддельные справки о бессилии, общественные контрольно-ревизионные комиссии разьедала язва взяточничества; каждый готов был следить, не пренебрегает ли сосед своими обязанностями, но сам отлынивал, как только мог, от каторжной сексуальной работы.

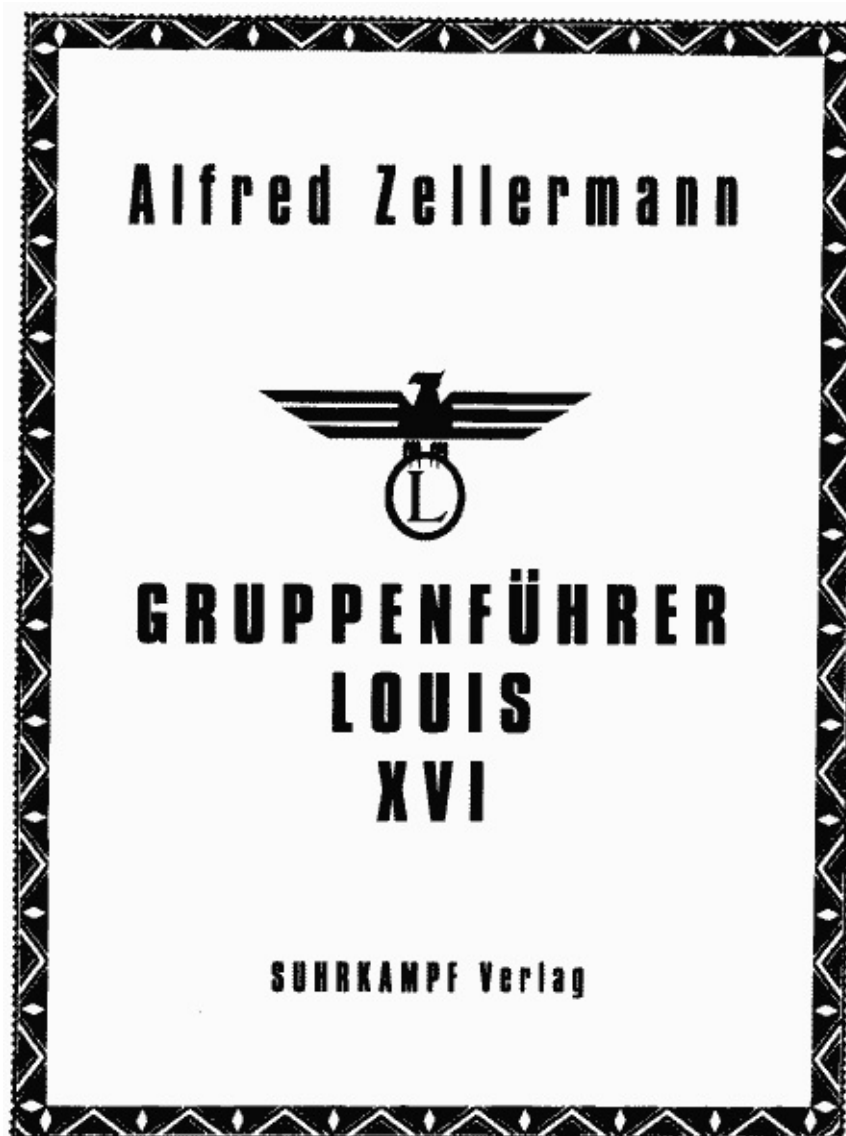
Теперь катастрофа – всего лишь воспоминание, проходящее перед мысленным взором старца, примостившегося на коленях Клеопатры. Человечество не погибло; оплодотворение совершается санитарно-стерильным и гигиеничным способом, почти как прививка. Эпоха тяжелых испытаний сменилась относительной стабилизацией.

Но культура не терпит пустоты, и зияющую пустоту, возникшую в результате сексотрясения, заполнила гастрономия. Гастрономия делится на

обычную и неприличную; существуют обжорные извращения и альбомы ресторанной порнографии, а принимать пищу в некоторых позах считается до крайности непристойным. Нельзя, например, вкушать фрукты, стоя на коленях (но именно за это борется секта извращенцев-коленипоклоненцев); шпинат и яичницу запрещается есть с задранными кверху ногами. Но процветают – а как же иначе! – подпольные ресторанчики, в которых ценители и гурманы наслаждаются пикантными зрелищами; среди бела дня специально нанятые рекордсмены обедают так, что у зрителей слюнки текут. Из Дании контрабандой привозят порнокулинарные книги, а в них живописуются такие поистине чудовищные вещи, как поедание яичницы через трубку, между тем как едок, вонзив пальцы в приправленный чесноком шпинат и одновременно обоня гуляш с красным перцем, лежит на столе, завернувшись в скатерть, а ноги его подвешены к кофеварке, заменяющей в этой оргии люстру. Премию «Фемины» получил в этом году роман о бесстыднике, который сперва натирал пол трюфельной пастой, а потом ее слизывал, предварительно вывалявшись досыта в спагетти. Идеал красоты изменился: всех красивее туша в десять пудов – признак завидной потенции едока. Изменилась и мода: по одежде женщину не отличишь от мужчины. А в парламентах наиболее передовых государств дебатировался вопрос о посвящении школьников в тайны акта пищеварения. Пока что эта зазорная тема находится под строжайшим запретом.

И наконец, биологи вплотную подошли к ликвидации пола – пережитка допотопной эпохи. Плод будут зачинать синтетически и выращивать методами генной инженерии. Из него разовьется бесполой индивид, и лишь тогда придет конец ужасным воспоминаниям, которые еще живы в памяти всех переживших сексотрясение. В ярко освещенных лабораториях, этих храмах прогресса, родится великолепный гермафродит, вернее, беспольник, и человечество, покончив с позорным прошлым, будет без всяких помех обедаться разнообразнейшими плодами – гастрономически запретными, разумеется.

Группенфюрер Луи XVI



«Группенфюрер Луи XVI» – литературный дебют Альфреда Целлермана, известного историка литературы. Ему почти шестьдесят, он доктор антропологии, гитлеризм пережил в Германии, поселившись в деревне у родителей жены; будучи отстранен в то время от работы в университете, был пассивным наблюдателем жизни Третьего рейха. Мы берем на себя смелость назвать рецензируемый роман произведением выдающимся, добавив при этом, что, пожалуй, только такой немец, с таким капиталом жизненного опыта – и такими теоретическими познаниями в области литературы! – мог его написать.

Несмотря на название, перед нами отнюдь не фантастическое произведение. Место действия романа – Аргентина первого десятилетия по окончании мировой войны. Пятидесятилетний группенфюрер Зигфрид Таудлиц бежит из разгромленного и оккупированного рейха, добирается до Южной Америки, прихватив с собой обитый стальными полосами сундук, заполненный стодолларовыми банкнотами, – малую толику сокровищ, накопленных печальной памяти академией СС («Ahnenerbe»). Сколотив вокруг себя группу других беглецов из Германии, а также разного рода бродяг и авантюристов, ангажировав для неизвестных пока целей нескольких девиц сомнительного поведения (некоторых Таудлиц лично выкупает из публичных домов Рио-де-Жанейро), бывший генерал СС организует экспедицию в глубь аргентинской территории, блестяще подтвердив тем самым свои способности штабного офицера.

В районе, удаленном на сотни миль от ближайших цивилизованных мест, экспедиция находит руины, которым по меньшей мере двенадцать веков, – руины строений, возведенных, вероятно, ацтекскими племенами, и поселяется там. Прельщенные заработками, в это место, нареченное Таудлицем (по неизвестным пока причинам) Паризией, собираются индейцы и метисы со всей округи. Бывший группенфюрер разбивает их на хорошо организованные рабочие команды, за которыми присматривают его вооруженные люди. Проходит несколько лет, и понемногу начинают вырисовываться контуры режима, о котором возмечтал Таудлиц. Он объединяет в своей особе стремление к крайнему абсолютизму с полусумасшедшей идеей воспроизведения – в сердце аргентинских джунглей! – французского государства времен блистательной монархии; себе же он отводит роль новоявленного Людовика XVI.

Хотелось бы сразу отметить, что мы не просто пересказываем содержание романа. Мы сознательно стараемся воссоздать некую хронологию событий, ибо так идея произведения и весь исходный замысел проявляются особенно ярко. Впрочем, мы постараемся в данной работе изложить также главные эпизоды действия, изображенного Альфредом Целлерманом в его эпосе.

Итак, возвращаемся к сюжету: возникает королевский двор с придворными, рыцарями, духовенством, челядью; дворец с часовней и бальными залами, окруженный зубчатыми крепостными стенами, в которые люди Таудлица преобразили почтенные ацтекские руины, перестроив их бессмысленным с точки зрения архитектуры образом. Опираясь на трех беззаветно преданных людей: Ганса Мерера, Иоганна Виланда и Эриха Палацки (они вскоре превращаются соответственно в

кардинала Ришелье, герцога де Рогана и графа де Монбарона), новый Людовик ухитряется не только удерживаться на своем поддельном троне, но и формировать жизнь вокруг себя в соответствии с собственными замыслами. При этом – что весьма существенно – исторические познания экс-группенфюрера не просто фрагментарны и полны пробелов; он, собственно, вообще не обладает такими познаниями; его голова забита не столько обрывками истории Франции семнадцатого века, сколько хламом, оставшимся со времен детства, когда он зачитывался романами Дюма, начиная с «Трех мушкетеров». Позже, будучи юношей с «монархическими» (по его собственному разумению, а в действительности лишь садистскими) наклонностями, он поглощал книги Карла Мая. А так как впоследствии на воспоминания о прочитанном наложилась куча низкопробных бульварных романов, он воплощает в жизнь не историю Франции, а лишь грубо примитивизированную, откровенно кретинскую галиматью, которая заменила ему эту историю и стала его символом веры.

Собственно, насколько можно судить по многочисленным деталям и упоминаниям, разбросанным по всему произведению, Таудлиц выбрал гитлеризм только по необходимости: в тогдашней ситуации он максимально ему подходил, наиболее соответствовал его «монархическим» мечтам. Гитлеризм в его глазах приближался к Средневековью, правда, не совсем так, как ему хотелось бы. Во всяком случае, нацизм был ему милее любой формы демократического строя. Однако, тайно лелея и пестуя в Третьем рейхе свой собственный «сон о короне», Таудлиц никогда магнетизму Гитлера не поддавался, в его доктрину так и не уверовал, а посему и не собирался оплакивать падение «Великой Германии». Просто, будучи достаточно прозорливым, чтобы вовремя предвидеть поражение «тысячелетней империи», Таудлиц, никогда не отождествлявший себя с элитой Третьего рейха (хотя и принадлежавший к ней), подготовился к разгрому как полагается. Приверженность культу Гитлера не была самообманом; Таудлиц десять лет разыгрывал циничную комедию, потому что имел свой собственный «миф», который придавал ему иммунитет против мифа гитлеровского. Не секрет, что некоторые приверженцы «Майн кампф», принимавшие доктрину всерьез, позже отшатнулись от Гитлера, как это, например, случилось с Альбертом Шпеером. Таудлиц же, будучи человеком, который каждый день исповедовал предписанные на этот именно день взгляды, никакой ересью заразиться не мог.

Таудлиц до конца и без оговорок верит только в силу денег и насилия; знает, что с помощью материальных благ людей можно склонить к тому, что запланирует щедрый хозяин, лишь бы он сам был достаточно твердым

и последовательным в соблюдении единожды установленных порядков. Таудлиц поставил свой фарс так, что любому непредубежденному зрителю с первого взгляда видна вся тупость, пошлость и безвкусица разыгрываемых сцен, но его абсолютно не интересует, принимают ли всерьез это представление его «придворные», эта пестрая толпа, состоящая из немцев, индейцев, метисов, португальцев. Ему безразлично, верят ли эти актеры в разумность двора Людовигов и в какой степени верят или только играют свои роли в комедии, рассчитывая на мзду, а может быть, и на то, что после смерти владыки удастся растащить «королевскую казну». Такого рода проблемы для Таудлица, по-видимому, не существуют.

Жизнь придворного сообщества отдает такой откровенной фальшью, что у наиболее прозорливых людей из прибывших в Паризию позже, а также у тех, кто собственными глазами видел становление псевдомонарха и псевдознати, не остается никаких иллюзий. Поэтому, особенно в первое время, королевство напоминает существо, шизофренически разодранное надвое: то, что болтают на дворцовых аудиенциях и балах, особенно вблизи Таудлица, никак не совпадает с тем, что говорят в отсутствие монарха и трех его наушников, сурово (даже пытками) проводящих в жизнь навязанную игру. А игра эта блистает великолепием отнюдь не фальшивым, потому что потоки караванов, оплачиваемых твердой валютой, позволяют за двадцать месяцев возвести дворцовые стены, украсить их фресками и гобеленами, покрыть паркет изумительными коврами, уставить покои зеркалами, золочеными часами, комодами, проделать тайные ходы и заложить тайники в стенах, оборудовать альковы, галереи, террасы, окружить замок огромным, великолепным парком, а затем – частоколом и рвом. Каждый немец здесь – надзиратель над индейцами-рабами (это их трудом и потом создано искусственное королевство), он одет, как рыцарь семнадцатого века, однако при этом носит за золоченым поясом армейский пистолет системы «парабеллум» – окончательный аргумент в спорах между феодализирующимся долларовым капиталом и трудом.

Монарх и его приближенные медленно, но систематически ликвидируют все, что может разоблачить фиктивность двора и королевства: прежде всего возникает специальный язык, на котором разрешено формулировать сведения, поступающие извне. Причем эти формулировки должны скрывать – иначе говоря, не называть – несuverенность монарха и трона. Например, Аргентину именуют не иначе как Испанией и рассматривают как соседнее государство. Понемногу все настолько вживаются в свои роли, привыкают так свободно чувствовать себя в роскошных одеяниях, так ловко пользоваться мечом и языком, что фальшь

как бы уходит вглубь, в основы и корни этого здания, этой живой картины. Она по-прежнему остается бредом, но теперь уже бредом, в котором пульсирует кровь подлинных желаний, ненависти, споров, соперничества, ибо на фальшивом дворе разворачиваются подлинные интриги – одни придворные пытаются одолеть других, чтобы занять их места подле короля; то есть сплетня, яд, донос, кинжал начинают свою скрытую, совершенно реальную деятельность. Однако монархического и феодального элемента во всем этом по-прежнему содержится ровно столько, сколько Таудлиц, этот новоявленный Людовик XVI, сумел втиснуть в свой сон об абсолютной власти, реализуемый ордой бывших эсэсовцев.

Таудлиц предполагает, что где-то в Германии живет его племянник, последний отпрыск рода – Бертран Гюльзенхирн, которому в момент поражения Германии было тринадцать лет. На поиски юноши (теперь ему двадцать один) Людовик XVI отправляет герцога де Рогана, то бишь Иоганна Виланда, единственного «интеллектуала» в свите: Виланд в свое время был эсэсовским врачом и в концлагере Маутхаузен проводил «научные работы». Сцена, в которой король дает врачу секретное поручение отыскать юношу и доставить его ко двору в качестве инфанта, одна из лучших в романе. Почти сумасшедший привкус ее состоит в том, что король сам себе не признается в обмане: он как будто озабочен своей бездетностью. Ему удастся удержать взятый тон. Правда, он не знает французского, но, пользуясь немецким, утверждает в нужных случаях (как и все следом за ним), что говорит именно по-французски, на языке Франции семнадцатого века.

Это не сумасшествие: теперь сумасшествием было бы признаться, что ты немец, пусть даже только по языку; Германии вообще не существует; единственным соседом Франции является Испания (то есть Аргентина)! Тот, кто отважится произнести что-либо по-немецки, дав при этом понять, что говорит именно на этом языке, рискует жизнью: из беседы архиепископа Паризии и дюка де Салиньяка можно понять (т. 1, стр. 311), что герцог Шартрез, обезглавленный по обвинению в государственной измене, всего-навсего по пьянке назвал дворец не просто борделем, но борделем немецким. Кстати, обилие в романе французских фамилий, живо напоминающих названия коньяков и вин – взять, к примеру, маркиза Шатонеф дю Папа, церемониймейстера! – несомненно, следствие того, что (хотя автор нигде об этом не говорит) в памяти Таудлица по вполне понятным причинам засело больше названий ликеров и водок, нежели фамилий французских дворян.

Обращаясь к своему посланцу, Таудлиц разговаривает с ним так, как, по его представлениям, обращался бы к доверенному лицу Людовик, отправляя его с подобной миссией. Он не приказывает скинуть фиктивные одежды герцога, но «рекомендует» переодеться англичанином либо голландцем, что попросту означает – принять нормальный современный вид. Слово «современный», однако, не может быть произнесено – оно принадлежит к разряду тех, что могут раскрыть фиктивность королевства. Даже доллары здесь всегда называют талерами.

Прихватив солидное количество наличных. Виланд едет в Рио, где действует торговый агент «двора»; достав добротные фальшивые документы, посланец Таудлица плывет в Европу. О перипетиях поисков племянника роман умалчивает. Мы узнаем только, что одиннадцатимесячные труды увенчиваются успехом, и роман, в сущности, начинается со второй уже беседы между Виландом и молодым Гюльзенхирном, который работает кельнером в ресторане крупного гамбургского отеля. Бертран (это имя ему будет разрешено сохранить: по мнению Таудлица, оно звучит хорошо) вначале слышит только о дяде-крезе, который готов усыновить его, и этого достаточно, чтобы он бросил работу и поехал с Виландом. Путешествие этой оригинальной пары, как интродукция романа, отлично выполняет свою задачу, поскольку речь идет о таком перемещении в пространстве, которое одновременно является как бы отступлением во времени: путешественники пересекаются с трансконтинентального реактивного самолета в поезд, потом в автомобиль, из автомобиля в конный экипаж и, наконец, последние 230 километров преодолевают верхом.

По мере того как ветшает гардероб Бертрана, «исчезают» его запасные рубашки, и он облачается в архаичные одежды, предусмотрительно припасенные и при случае подсовываемые ему Виландом, причем сам Виланд постепенно преображается в герцога де Рогана. По мере того как Виланд, явившийся в Европу под именем Ганса Карла Мюллера, трансформируется в вооруженного псевдорыцаря герцога де Рогана, аналогичное превращение, по крайней мере внешнее, происходит и с Бертраном.

Бертран ошеломлен и ошарашен. Он ехал к дяде, о котором знал, что это хозяин огромных владений; он бросил профессию кельнера, чтобы унаследовать миллионы, а взамен ему приходится разыгрывать не то комедию, не то фарс, суть и цель которых он не в состоянии уразуметь. От поучений Виланда – Мюллера – де Рогана сумбур в его голове только возрастает. Иногда ему кажется, что спутник просто смеется, приоткрывая

перед ним фрагмент за фрагментом непонятной аферы, полный объем которой Бертран пока ни охватить, ни понять не может; придет час, когда юноша будет близок к сумасшествию. При этом поучения ни о чем не говорят «в лоб», не называют вещи своими именами; эта инстинктивная мудрость является общим свойством двора.

«Надо, – заявляет Мюллер, преображаясь в герцога, – придерживаться формы, соблюдения которой требует дядя („ваш дядюшка“, потом „Его Светлость“, наконец, „Его Величество“!), имя его Людовик, а не Зигфрид – последнее запрещено произносить. Он отверг его – и быть по сему». «Имение» превращается в «латифундию», а «латифундия» в «государство» – и так шаг за шагом в долгие дни верховой езды сквозь джунгли, а в последние часы в золоченом паланкине, который несут восемь нагих мускулистых метисов, Бертран видит из-за занавески колонну конных рыцарей в шишаках и убеждается в правильности слов загадочного спутника. Потом Бертран начинает подозревать в сумасшествии самого Мюллера и уповает уже только на встречу с дядей, которого, кстати, почти не помнит – последний раз он видел его, будучи девятилетним мальчонкой. Но встреча оборачивается изумительным, эффектным торжеством, неким конгломератом церемоний, обрядов и ритуалов, о которых Таудлиц начитался в детстве. Поет хор, играют серебряные фанфары, появляется король в короне, предваряемый лакеями, которые протяжно возглашают: «Король! Король!» – и распахивают перед ним резные двустворчатые двери. Таудлица окружают двенадцать «пэров королевства» (которых он по ошибке позаимствовал не там, где следовало), и, наконец, наступает возвышенная минута – Луи XVI осеняет племянника крестом, нарекает инфантом и дает облобызать перстень, руку и скипетр. Когда же они вдвоем усаживаются завтракать и их обслуживают выряженные в ливреи индейцы, Бертран, изумленно глядя на эту роскошь, на далекую полосу дивно зеленых джунглей, окружающих владения «короля», просто не решается спросить дядю о чем-либо и, выслушивая его мягкие поучения, начинает именовать дядю «Ваше Величество». «Так надо... того требуют высшие соображения... в этом заинтересованы и я и ты...» – милостиво объясняет ему группенфюрер СС в короне.

Разумеется, бывшие жандармы, лагерные надзиратели и врачи, водители и башенные стрелки бронетанковой дивизии СС «Великая Германия», изображающие придворных, герцогов и духовенство двора Людовика XVI, – это такая кошмарная, такая сумасшедшая смесь, в такой степени не соответствующая неписаным ролям, в какой это вообще возможно.

Необычность этой книги проистекает из того, что в ней сочетаются элементы, кажущиеся совершенно несоединимыми. Перед нами лживая истина и правдивая ложь – то есть нечто такое, что одновременно является и правдой и ложью. Если бы придворные Таудлица только разыгрывали бы свои роли, бубня наизусть тексты, – это был бы всего лишь мертвый кукольный спектакль; однако каждый из них настолько сжился с этим спектаклем, что даже когда после приезда Бертрана они начинают плести против Таудлица заговор, то все равно оказываются не в состоянии отойти от навязанной схемы. Их заговор выглядит психопатической мешаниной и напоминает торт с вареньем, макаронами и мышинными трупиками, фаршированными орешками.

Впрочем, если гитлеровским живодерам и тошно было напяливать на себя кардинальский пурпур, епископские одеяния и золоченые доспехи, то уж наверняка с меньшим неудовольствием – ибо это было забавно – они переименовывали проституток, взятых из матросских борделей, в своих супруг – герцогинь, виконтесс и графинь-наложниц, если дело касалось духовенства короля Людовика. Купаясь в фальшивом величии, эти твари любовались и кичились собой, стремясь приблизиться к собственному идеалу блистательной персоны.

Страницы романа, где говорится о бывших палачах в кардинальских митрах и кружевных жабо, представляют собою изумительную по силе демонстрацию психологического мастерства автора. Эта голь ухитряется выжать из своего положения утехи, чуждые истинному аристократизму, и наслаждения, вдвойне усиленные оттенком облагороженного или даже узаконенного преступления. Известно, что преступник пожинает плоды зла с наивысшим удовольствием только тогда, когда творит зло с сознанием своей правоты; этих штатных спецов концлагерного садизма восхищает возможность повторить былые дела в ореоле и славе изысканного великолепия, как бы усиливающего гнусное действие; именно поэтому, творя мерзости, они уже по собственной воле стараются хотя бы на словах не выйти из епископской или герцогской роли. Самые тупые из них, например Мерер, завидуют герцогу де Рогану, который ухитряется объявить измышательства над индейскими детьми «действом» со всех точек зрения «придворным», в высшей степени приличествующим дворянину (кстати, в полном соответствии с основной идеей они именуют индейцев неграми, потому что раб-негр «лучше соответствует стилю»).

Нам понятно, почему Виланд (герцог де Роган) домогается кардинальской митры; только кардинальского сана ему и недостает, чтобы иметь возможность заниматься своими вырожденческими «шалостями» – в

качестве одного из наместников самого Господа Бога на земле. Правда, Таудлиц отказывает ему в посвящении, словно понимает, какая бездна мерзости стоит за мечтой Виланда. Таудлица в этой игре привлекает другое: он хочет забыть о своем эсэсовском прошлом – ведь у него был «иной сон, иной миф», он жаждет истинного королевского пурпура. Таудлиц ничуть не лучше Виланда, просто его занимает другое, ибо он стремится к трансфигурации пусть невозможной, но абсолютной. Отсюда «пуританство короля», которое так не нравится его ближайшему окружению.

Что до придворных, то мы видим, как вначале они по разным причинам стараются играть свою роль, а позже вдесятером принимают плести сети заговора против монарха-группенфюрера, стремясь лишить его сундука, набитого долларами, а может, и убить – им так не хотелось расставаться с сенаторскими креслами, титулами, орденами, званиями. Безвыходный лабиринт. Ловушка. Порой они уже и сами верят в реальность своего немыслимого положения, поскольку немыслимость эта в высшей степени пришлась им по душе. Мешала же им лишь беспощадная жестокость Таудлица как монарха: не лезь из него ежеминутно группенфюрер СС, не давай он им – молча! – чувствовать, что все они зависят от него, от акта его воли и минутной милости, то, вероятно, дольше продержалась бы Франция Бурбонов на территории Аргентины. Актеры теперь ставили в вину режиссеру недостаточную достоверность спектакля; эта банда хотела быть более монархичной, чем допускал сам монарх...

Естественно, все ошибались, потому что не могли сравнить себя в этих ролях с истинной пышностью подлинного блистательного двора. Разумеется, этих тварей немного утомляют спектакли, которые они вынуждены разыгрывать, а уж труднее всех достается тем, кто призван изображать высшее духовенство римско-католической церкви.

Католиков в колонии нет, о какой-либо религиозности бывших эсэсовцев нечего и говорить; поэтому повелось, что так называемые молебны в дворцовой часовне чрезвычайно коротки и сводятся к чтению нараспев библейских псалмов; кое-кто предлагал монарху вообще ликвидировать богослужение, но Таудлиц оказался неумолим; впрочем, оба кардинала, архиепископ Паризии и остальные епископы именно тем и «оправдывают» свои высокие титулы, что несколько минут в неделю посвящают богослужению – чудовищной пародии на мессу. Это дает им основание, прежде всего в собственных глазах, занимать высокие духовные посты; они проводят у алтарей считанные минуты, чтобы потом часами компенсировать их в попойках и под пышными балдахинами чужих

супружеских кроватей. Сюда же относится и затея с кинопроекционным аппаратом, привезенным (без ведома короля!) из Монтевидео: в дворцовом подземелье показывают порнографические фильмы, причем функции киномеханика выполняет архиепископ Паризии (он же бывший шофер гестапо Ганс Шефферт), а помогает ему кардинал де Сотерне (экссинтендант); эпизод этот одновременно дьявольски комичен и достоверен, как все остальные элементы трагифарса, который и существовать-то может только потому, что ничто не в состоянии разрушить его изнутри.

У этих людей все со всем согласуется, все ко всему подходит, да это и неудивительно: достаточно показательны, например, воспоминания некоторых из них – разве комендант третьего блока Маутхаузена не владел «самой большой коллекцией канареек во всей Баварии», о которой он теперь с тоской вспоминает, и разве не пробовал он кормить своих птишек так, как советовал один капо, утверждавший, что канарейки лучше всего поют, если их кормят человеческим мясом? Итак, перед нами преступление, творимое на таком уровне неосознанности, что, по сути, следовало бы говорить о *невинных* бывших убийцах – если бы только критерий преступности человека основывался исключительно на самодиагнозе, на самостоятельном распознавании вины. Быть может, кардинал де Сотерне в некотором смысле знает, что настоящий кардинал ведет себя не так, как он; настоящий, конечно же, верит в Бога и скорее всего не насилует индейских детей, прислуживающих в стихарях во время мессы, но, поскольку в радиусе четырехсот миль наверняка нет ни одного другого кардинала, такого рода мысли отнюдь не досаждают де Сотерне.

Ложь, питаемая ложью, рождает поразительное многообразие форм. Гениальность Таудлица – если так можно сказать – и состоит в том, что ему достало смелости и настойчивости захлопнуть созданную им систему.

Эта система, поразительно ущербная, функционирует исключительно благодаря своей замкнутости, поскольку любое проникновение реального мира было бы для нее смертельной угрозой. Именно такую угрозу представляет собою юный Бертран, который, однако, не находит в себе сил назвать вещи своими именами. Бертран боится принять то – самое простое – объяснение, которое все ставит с головы на ноги. Ординарная, тянущаяся годами, систематическая, насмехающаяся над здравым смыслом ложь? Нет, не может быть; уж скорее – всеобщая паранойя либо какая-то непонятная таинственная игра на рациональной основе, имеющая реальные мотивы; все, что угодно, только бы не чистая ложь, самоувлеченная, самолюбующаяся, самораздувающаяся.

И тогда Бертран капитулирует; позволяет вырядить себя в одежды

наследника трона, выучить дворцовому этикету, то бишь тому рудиментарному набору поклонов, жестов, слов, который кажется ему поразительно знакомым, что неудивительно: ведь и он читал бульварные романы и псевдоисторические повести, которые были источником вдохновения короля и его церемониймейстера. Но все же Бертран сопротивляется, хотя и не отдает себе отчета, насколько его инертность, безразличие, раздражающие не только придворных, но и короля, вскрывают его сопротивление такой ситуации – толкающей к тихому помешательству. Бертран не хочет захлебнуться во лжи, хотя сам не понимает, откуда исходит его сопротивление, и на его долю достаются насмешки, иронические замечания, величественно-кретинские выпады – особенно во время второго большого пиршества, когда король, разъяренный подтекстом внешне вялых речей Бертрана, речей, смысл которых поначалу скрыт и от самого юноши, начинает в припадке истинного гнева кидать в него кусками жаркого, причем часть пирующих одобряет разъяренного монарха – с поощрительным гогом они бросают в бедолагу Бертрана жирными костями, хватая их с серебряных подносов; другие настороженно молчат, они думают, не пытается ли Таудлиц на свой излюбленный манер устроить присутствующим ловушку и не действует ли он в сговоре с инфантом?

Труднее всего здесь отобразить суть – то, что при всей тупости игры, при всей пошлости представления, которое, некогда начавшись «лишь бы как», обрело такую силу, что никак не желает кончаться, а не желает, потому что не может, а не может, потому что иначе невольных актеров ожидает уже только абсолютное *ничто* (они уже не могут не быть епископами, герцогами, маркизами, поскольку для них нет возврата на роли шоферов гестапо, стражников крематория, комендантов концлагерей, – да и король, даже пожелай он того, не смог бы вновь превратиться в группенфюрера СС Таудлица), при всей, повторяем, банальности и чудовищной пошлости этого государства и двора в нем, однако, вибрирует единым чутким нервом та беспрестанная хитрость, та взаимная подозрительность, которая только и позволяет разыгрывать в фальшивых декорациях истинные битвы, устраивать подвохи, подкапываться под фаворитов трона, строчить доносы и молчком отхватывать для себя хозяйские милости; однако на деле не сами кардинальские митры, орденские ленты, кружева, жабо, латы есть цель этой кротовьей возни, интриг – в конце концов, какой прок участникам сотен битв и вершителям тысяч убийств от внешних знаков фиктивной славы? Нет, именно сами эти подкопы, мошенничества, капканы, само *стремление* ошельмовать противников в глазах короля, заставить их сбросить фальшивые одежды

становится величайшей всеобщей страстью...

Лавирование, поиск нужных ходов на дворцовом паркете, эта непрекращающаяся бескровная (исключение – подземелья дворца) битва и есть суть их бытия; для них полно смысла действо, достойное разве что безусых сопляков, – но не мужчин, знающих цвет крови... Меж тем несчастный Бертран уже не может оставаться один на один со своей невысказанной дилеммой; как тонущий хватается за соломинку, так и он ищет родственную душу, которой мог бы поверить сомнения, нарастающие в нем.

Бертран – еще одна заслуга автора! – понемногу превращается в Гамлета этого спятившего двора. Он инстинктивно чувствует себя здесь последним праведником («Гамлета» он не читал никогда), поэтому считает, что должен сойти с ума. Он не обвиняет всех в цинизме – для этого в нем слишком мало интеллектуальной отваги; Бертран, сам того не ведая, хочет лишь одного: говорить то, что постоянно жжет ему язык и просится на уста. Он уже понимает, что нормальному человеку это не пройдет безнаказанно. А вот если он спятит – о, тогда другое дело. И Бертран начинает симулировать сумасшествие, с холодным расчетом, словно шекспировский Гамлет; не как простак, наивный, немного истеричный, – нет, он пытается сойти с ума, искренне веря в необходимость собственного помешательства! Только тогда он сможет произносить слова правды, которые его душат... Но герцогиня де Клико, старая проститутка из Рио, у которой слюнки текут при виде молодого человека, затаскивает его в постель и, обучая тонкостям любовной игры, которые она во времена негерцогского прошлого переняла у некой бордель-маман, сурово предостерегает его, чтобы он не говорил того, что может стоить ему жизни. Она-то отлично знает, что снисхождения к безответственности душевнобольного здесь не найдешь; по сути дела, как мы видим, старуха желает добра Бертрану. Однако беседа под одеялом, естественно, не может разрушить планов уже дошедшего до предела Бертрана. Либо он сойдет с ума, либо сбежит; если вскрыть подсознание бывших эсэсовцев, вероятно, оказалось бы, что память о реальном мире с его заочными приговорами, тюрьмами и трибуналами является той невидимой силой, которая заставляет их продолжать игру; но Бертран, у которого такого прошлого нет, продолжения не желает.

Меж тем упоминавшийся нами заговор переходит в фазу действия; уже не десять, а четырнадцать придворных, готовых на все, нашедших сообщника в начальнике дворцовой стражи, после полуночи врываются в королевскую опочивальню. И здесь в кульминационный момент – мина

замедленного действия! – оказывается, что настоящие доллары давным-давно истрачены, под пресловутым «вторым дном сундука» остались одни фальшивые. Король отлично знал об этом. Выходит, не из-за чего копья ломать, но мосты сожжены: заговорщики вынуждены убить короля, связанного и бессильно глядящего, как убийцы перетряхивают извлеченную из-под ложа «сокровищницу». Вначале они собирались его убить, чтобы избежать погони, не допустить расплаты, теперь же убивают из ненависти, за то, что он соблазнил их фальшивыми сокровищами.

Если б это не звучало так мерзко, я сказал бы, что сцена убийства написана изумительно; по совершенству рисунка виден мастер. Чтобы отыгаться на старике, добить его помучительней, они, прежде чем удавить его шнурком, рычат и лают на языке гестаповских поваров и шоферов, – на том самом языке, что был проклят, обречен на вечное изгнание из королевства. И пока тело удушаемого еще бьется в конвульсиях на полу, убийцы, поостыв, *возвращаются* к придворному языку – помимо собственной воли – лишь потому, что у них уже нет иного выхода: доллары фальшивые, не с чем и незачем убежать. Таудлиц опутал их по рукам и ногам и, хоть и мертвый, не выпустит никого из своего королевства. Им не остается ничего иного, как продолжать игру в соответствии с изречением: «Король умер – да здравствует король!» – и тут же над трупом они выбирают нового короля.

Следующая глава (Бертран, укрытый у своей «герцогини») значительно слабее. Но последняя глава, описывающая, как разъезд конной аргентинской полиции добирается до дворцовых стен – это гигантская немая сцена, заключительная в романе, – представляет собою отличное его завершение. Разводной мост, полицейские в измятых мундирах с кольтами на ремнях, в широкополых шляпах, загнутых с одной стороны, а напротив них – стражи в полупанцирях и кольчугах, с алебардами, в изумлении глядящие одни на других, словно два времени, два мира, противоестественно сошедшиеся вместе... по двум сторонам решетки, которая начинает медленно, тяжело, с адским скрежетом подниматься... Финал, достойный всего романа! Но своего Гамлета – Бертрана – автор, увы, потерял, не использовав больших возможностей, заложенных в этой фигуре. Я не говорю, что его следовало умертвить – в этом Шекспир не может быть непререкаемым образцом, – но жаль утерянной возможности показать не осознающее себя величие, которое спит в каждом нормальном, доброжелательном к миру человеческом сердце. Очень жаль.

Ничто, или Последовательность

SOLANGE MARRIOT

**RIEN
DU TOUT,
OU LA CONSÉQUENCE**



М И Д И

«Ничто, или Последовательность» – не только первая книга мадам Соланж Марриу, но и первый роман, достигший пределов писательских возможностей. Его не назовешь шедевром искусства; если уж это необходимо, я бы сказал, что он – воплощение честности. А именно потребность в честности – червь, разъедающий всю современную литературу. Поскольку больше всего мучений причиняет ей стыд от невозможности быть одновременно писателем и подлинным человеком, то есть серьезным и честным. Ведь проникновение в сущность литературы доставляет страдания, схожие с теми, что испытывает впечатлительный

ребенок, которого просветили в вопросах пола. Шок ребенка – это внутренний протест против генитальной биологии наших тел, которая кажется предосудительной с точки зрения хорошего тона, а стыд и шок писателя – осознание того, что он неизбежно лжет, когда пишет. Есть ложь необходимая, например, нравственно оправданная (так доктор лжет смертельно больному), но писательская ложь сюда не относится. Кто-то должен быть доктором, стало быть, должен как доктор лгать; но ничто не заставляет водить пером по бумаге. В прежние времена такого противоречия не существовало, потому что не существовало свободы; литература в эпоху веры не лжет, она только служит. Ее освобождение от такого, то есть обязательного, служения положило начало кризису, который сегодня принимает формы жалкие, если не исходно непристойные.

Жалкие – поскольку роман, описывающий собственное возникновение, есть полуисповедь, полубахвальство. Немного – и даже немало! – лжи в нем остается: чувствуя это, писатели, чем дальше, тем больше, в ущерб фабуле, писали о том, как пишется, и, пользуясь этим методом, докатились до произведений, провозглашающих невозможность повествования. Таким образом, роман сразу приглашает нас в свою гардеробную. Подобные приглашения всегда двузначны – если это предложение пристойно, тогда оно просто кокетливо; но строить глазки или лгать – это что в лоб, что по лбу.

Антироман пытался стать более радикальным; он решил подчеркнуть, что не является иллюзией чего бы то ни было: «автороман» напоминал фокусника, демонстрирующего публике изнанку своих трюков; антироман же должен был ничего не изображать – даже саморазоблачения волшебства. Он обещал ничего не сообщать, ни о чем не уведомлять, ничего не означать, только *быть*, как облако, табурет, дерево. В теории это превосходно. Но теория не оправдала надежд, ведь не каждый может вдруг стать Господом Богом, создателем независимых миров, и уж наверняка им не может стать литератор. Поражение предопределено проблемой контекстов: от них, то есть от того, что вообще *не сказано*, зависит смысл того, что мы говорим. В мире Господа Бога никаких контекстов нет, стало быть, его мог бы с успехом заменить лишь мир в равной мере самодостаточный. Хоть на уши встань – в языке этого никогда не получится.

Что же оставалось литературе после того, как она неотвратимо осознала собственную неблагопристойность? «Автороман» – это немного стриптиз; антироман *de facto* является, увы, формой самокастрации. Как скопцы, чья нравственность оскорблена их принадлежностью к полу,

проделывают над собой кошмарные операции, так антироман кромсал бедное тело традиционной литературы. Что оставалось еще? Ничего, кроме шашней с небытием. Ведь тот, кто лжет (а, как мы знаем, писатель должен лгать) *о ни чём*, вряд ли может считаться лжецом.

В таком случае нужно было – и именно в этом прелесть последовательности – написать *ничто*. Но имеет ли смысл подобная задача? Написать *ничто* – отнюдь не то же самое, что *ничего* не написать. Следовательно?..

Ролан Барт, автор эссе «Le degre zéro de l'écriture»^[18], даже не подозревал об этом (но он мыслитель скорее блестящий, чем глубокий). Он не понял, стало быть, что литература всегда паразитирует на разуме читателя. Любовь, дерево, парк, вздохи, боль в ухе – читатель понимает это, потому что испытывал сам. С помощью книги можно в голове читателя попереставлять всю мебель, при условии, что хоть какая-то мебель до начала чтения в ней находилась.

Ни на чем не паразитирует тот, кто производит реальные действия: техник, доктор, строитель, портной, судомойка. Что по сравнению с ними производит писатель? Видимость. Разве это серьезное занятие? Антироману хотелось взять за образец математику: она ведь тоже не создает ничего реального! Верно, но математика не лжет, поскольку делает только то, что должна. Она действует под давлением необходимости, не выдуманной от нечего делать: метод ей задан; поэтому открытия математиков истинны и поэтому столь же истинно их потрясение, когда метод приводит их к противоречиям. Писатель, поскольку его не понуждает такая необходимость – поскольку он так свободен, – всего лишь заключает с читателем свои тайные соглашения; он уговаривает читателя предположить... поверить... принять за чистую монету... но все это игра, а не та чудесная несвобода, в которой произрастает математика. Полная свобода оборачивается полным параличом литературы.

О чем у нас шла речь? Разумеется, о романе мадам Соланж. Начнем с того, что это прекрасное имя можно понимать по-разному, в зависимости от того, в какой контекст оно вводится. Во французском – это может быть Солнце и Ангел (Sol, Ange). В немецком это будет всего лишь определение временного промежутка (so lange – так долго). Полная автономность языка – вздор, которому гуманитарии поверили по наивности, на какую уже не имели права неразумные кибернетики. Машины для адекватного перевода – как бы не так! Ни слова, ни целые фразы не обладают значением сами по себе, в собственных окопах и границах; Борхес подошел к пониманию этого положения вещей, когда в рассказе «Пьер Менар, автор „Дон-Кихота“

описал фанатика литературы, безумного Менара, который после духовной подготовки сумел *еще раз* написать «Дон-Кихота», слово в слово, не списывая у Сервантеса, а неким образом идеально вставляя в его творческую ситуацию. Новелла прикасается к тайне вот в этом фрагменте: «Сравнивать „Дон-Кихота“ Менара и „Дон-Кихота“ Сервантеса – это подлинное откровение! Сервантес, к примеру, писал („Дон-Кихот“, часть первая, глава девятая):

«...Истина – мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему».

Сформулированный в семнадцатом веке, написанный талантом-самоучкой Сервантесом, этот перечень – чисто риторическое восхваление истории. Менар же пишет:

«...Истина, мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему».

История – «мать» истины; поразительная мысль! Менар, современник Уильяма Джеймса, определяет историю не как исследование реальности, а как ее источник. Историческая правда для него не то, что произошло, а то, что, как мы полагаем, произошло.

Заключительные слова – «пример и поучение настоящему, предостережение будущему» – откровенно прагматичны.

Это нечто большее, чем литературная шутка и насмешка; это чистая правда, которую несколько не подрывает абсурдность самой идеи («написать „Дон-Кихота“ *еще раз!*»). Поскольку на самом деле каждую фразу наполняет смыслом контекст эпохи, и то, что было «невинной риторикой» в семнадцатом веке, действительно приобретает *циничный* смысл в нашем столетии. Фразы не имеют значения *сами по себе*, это не Борхес пошутил подобным образом; языковые значения формирует исторический момент, такова неотвратимая реальность.

Теперь литература. О чем бы она нам ни поведала, все окажется ложью, а отнюдь не правдой в буквальном смысле; фаустовского дьявола не существует точно так же, как и бальзаковского Вотрена; говоря чистую правду, литература перестает быть собой, она становится дневником, репортажем, доносом, записной книжкой, письмом, только не художественной литературой.

И вот в такой момент появляется мадам Соланж со своим «Rien du tout, ou la conséquence». Что за название? Ничто, или последовательность? Чья? Разумеется, литературы; для нее быть честной, то есть не лгать, означает то

же, что не существовать. Только об этом еще можно сегодня написать честную книгу. Стыдиться бесчестности, чего хватало вчера, недостаточно; сейчас мы понимаем: это обычное притворство, уловка опытной стриптизерки, которая хорошо знает, что напускная скромность, фальшивый румянец, смущение гимназистки, стягивающей с себя трусики, сильнее возбуждают зрителей!

Итак, тема определена. Но как теперь писать о ничём? Нужно, да невозможно. Сказать «ничто»? Повторить это слово тысячу раз? Или, может быть, начать со слов: «Он не родился, значит, и не получил имени; поэтому он и на уроках не подсказывал, а позднее не вмешивался в политику»? Такое творение могло бы появиться. Но это – искусственность, а не произведение искусства, оно оказалось бы сродни многочисленным книгам, написанным во втором лице единственного числа; каждую из них можно было бы без труда лишить ее «оригинальности» и заставить вернуться на надлежащее место. Стоит лишь снова поменять второе лицо на первое: это и не повредит книге, и ни в чем ее не изменит. Так же и в нашем воображаемом примере: уберите все отрицания, все надоедливые «не», псевдонигилистической сыпью испестрившие текст, тот текст, который мы тут придумали от нечего делать, и станет ясно, что это еще одна история о маркизе, которая вышла из дома ровно в пять. Сказать, что она не вышла, – вот так откровение!

Мадам Соланж на эту удочку не попалась. Она поняла (и должна была понять!), что хотя с помощью событий неслучившихся можно описать некую историю (скажем, любовный роман) не хуже, чем с помощью случившихся, но прием с «не» – всего-навсего уловка. Вместо позитивов получим негативы – и только. Природа нововведения должна быть онтологической, а не только грамматической.

Говоря «не получил имени, потому что не родился», мы движемся уже за пределами бытия, но в той тоненькой пленке несуществования, которая тесно прилегает к реальности. Не родился, хотя мог родиться, не подсказывал, хотя мог подсказывать. Все мог бы, если бы существовал. Все произведение будет построено на «если бы». Из этого каши не сваришь. Негоже так маневрировать между бытием и небытием. Поэтому следовало, оставив этот пласт примитивных отрицаний, или негативов действия, погрузиться в ничто – очень глубоко, но, разумеется, не ринуться вслепую; *урезать* небытие все сильнее – это большой труд, огромные усилия; и вот оно, спасение для искусства, ведь речь идет о целой экспедиции в бездну все более абсолютного, все более огромного Ничто, стало быть, о *процессе*, драматические перипетии которого можно описать – если получится!

Первая фраза «Rien du tout, ou la conséquence» звучит так: «Поезд не пришел», в следующем абзаце мы находим: «Он не приехал». Итак, мы сталкиваемся с отрицанием, но чего именно? С точки зрения логики это полное отрицание, поскольку в тексте не утверждается ничего бытийного, речь идет только о том, что *не* случилось.

Однако читатель – существо менее совершенное, чем идеальный логик. Хотя в тексте нет об этом ни слова, в воображении читателя невольно возникает сцена на каком-то вокзале, сцена ожидания кого-то, кто не приехал, а поскольку известен пол писателя (писательницы), ожидание неприехавшего сразу наполняется слабым предчувствием любовной истории. Что из этого следует? Все! Поскольку вся ответственность за эти догадки падает, с самых первых слов, на читателя: роман ни единым словом не подтверждает этих ожиданий; роман честен в методе и таковым останется; я уже сталкивался с мнением, что местами он просто порнографичен. Так вот, в нем нет ни слова в пользу секса в каком бы то ни было виде; кроме того, ясно говорится, что в доме нет ни Камасутры, ни чьих-либо детородных органов (которые как раз отрицаются очень обстоятельно!).

Несуществование уже известно нам по литературе, но лишь как некое Отсутствие-Чего-то-Для-Кого-то. Например – воды для жаждущего. Это же относится к голоду (включая эротический), одиночеству (как отсутствию других) etc. Удивительно прекрасное небытие Поля Валери – это завораживающее отсутствие бытия для поэта; из подобного небытия возникло не одно поэтическое произведение. Но во всех случаях речь идет только о Небытии-Для-Кого-то, то есть о частном небытии, ощущаемом индивидуально, следовательно, партикулярном, воображаемом, а не онтологическом (когда я, мучимый жаждой, не могу выпить воды, это ведь не означает, что воды вовсе не существует!). Такое небытие, необъективное, не может быть темой произведения радикального характера; мадам Соланж поняла и это.

В первой главе, после неприбытия поезда и непоявления Кого-то, повествование продолжается в безличной форме, причем выясняется, что нет ни весны, ни лета, ни зимы. Читатель решает, что стоит осень, но опять же только потому, что этот последний вариант не подвергся отрицанию (еще подвергнется, но позже!). Итак, читатель по-прежнему предоставлен исключительно самому себе, все это вопрос его собственных построений, догадок, гипотез *ad hoc*. В романе нет их и следа. Размышления о нелюбимой в безгравитационном пространстве (т.е. таком, где нет тяготения), заключающие первую главу, действительно могут показаться

непристойными, – но снова лишь тому, кто *сам*, на свой страх и риск *подумает о каких-то вещах*. В произведении же говорится только о том, каких поз не могла бы принять такая нелюбимая, а не о том, какие могла. Эта вторая часть, предполагаемая, вновь представляет собой личную собственность читателя, его частное приобретение (или потерю, как кому хочется). В романе даже подчеркнуто, что рядом с нелюбимой *нет* ни одной особи мужского пола. В первых абзацах следующей главы сразу же выясняется, что эта нелюбимая нелюбима просто потому, что *не существует*, – вполне логично, не правда ли?

Потом начинается драма сокращения пространства, включая и пространство фаллически-вагинальное, что так не понравилось некоему критику, члену Академии. Академик счел эту драму «анатомической тягомотиной, если не вульгарностью». Счел, заметим, на свой страх и риск, поскольку в тексте мы видим лишь дальнейшие постепенные отрицания все более обобщенного характера. Если *отсутствие* вагины может оскорбить чью-то нравственность, то мы и вправду слишком далеко зашли. Как может показаться безвкусным и пошлым то, *чего нет*?!

Потом пропасть небытия начинает опасно разрастаться. Середина книги – с четвертой по шестую главы – это сознание. Да, его поток, но, как мы начинаем понимать, это не поток сознания ничего: это старо, уже было. Это поток *несознания*. Синтаксис еще остается нетронутым, непреодоленным и дает нам путь над пропастью, подобно опасно прогибающемуся мосту. Что за бездна! Но – полагаем мы – даже сознание без мысли все же сознание, ведь верно? Поскольку безмысленность имеет границы... но это иллюзия: ограничения создает сам читатель! Текст не мыслит, не дает нам ничего, напротив, раз за разом отнимает то, что было еще нашей собственностью, и эмоции при чтении являются результатом беспощадности этого отбирания: *horror vacui*^[19] поражает нас и в то же время искушает; чтение оказывается не только и не столько ликвидацией изолгавшегося романного бытия, сколько формой уничтожения самого читателя как психического существа! И такую книгу написала женщина? Трудно поверить, если принять во внимание неумолимую логику повествования.

Читая последнюю часть романа, испытываешь сомнения: сможет ли он продолжаться далее: ведь так давно он повествует о ни-о-чем! Дальнейшее продвижение к центру несуществования кажется невозможным. Но нет! Опять западня, опять взрыв, а скорее, прорыв очередного небытия. Рассказчика, как мы знаем, нет; его заменяет язык, то, что само говорит как вымышленное «оно» (то самое «оно», которое «гремит» либо «светает»). В

предпоследней главе, чувствуя головокружение, мы понимаем, что достигнут абсолют отрицательного. Вопрос неприезда какого-то мужчины на каком-то поезде, несуществование времен года, погоды, стен дома, квартиры, лиц, глаз, воздуха, тел – все это осталось далеко позади, на поверхности, которая, поглощенная своим последующим развитием, этой раковой опухолью алчущего Ничто, перестала существовать *даже как отрицание*. Мы видим, как глупо, наивно, просто смешно было рассчитывать на то, что нам здесь что-либо расскажут о событиях, что здесь что-нибудь случится!

Следовательно, это редукция до нуля только вначале; затем, полосами отрицательной трансценденции, опускающаяся в глубины, это редукция различных форм бытия – также трансцендентных, поскольку никакая метафизика уже невозможна, а неантичное^[20] ядро еще перед нами. Итак, пустота окружает повествование со всех сторон; и вот ее первые вкрапления, вторжения в сам язык. Повествующий голос начинает сомневаться в себе – нет, не так, – «то, что само себя рассказывало», проваливается и пропадает куда-то; становится понятно, что его *уже нет*. Если оно где еще и существует, то как тень, являющаяся чистым отсутствием света, а фразы романа представляют собой отсутствие существования. Это не отсутствие воды в пустыне, возлюбленного для девушки, это *отсутствие себя*. Если бы это был классический, традиционный роман, нам было бы легко рассказать, что происходит: герой романа начал бы подозревать, что сам по себе не существует ни наяву, ни во сне, а *является и снится* кому-то путем скрытых интенциональных действий (как будто он был тем, кто кому-то снится и только благодаря спящему может временно существовать. Отсюда испытываемый им ужас, что эти действия прекратятся, – а они могут прекратиться в любую минуту, – после чего он тут же исчезнет!).

Так бы все и происходило в обычном романе, но не у мадам Соланж: рассказчик ничего не может испугаться, потому что его не существует. Что же в таком случае происходит? Язык сам начинает подозревать, а затем понимать, что никого, кроме него, нет, что, имея значение (если он имеет) для любого, для всех, он поэтому не является, никогда не был и не мог быть выражением личности; отрезанный сразу от всех уст, как исторгнутый всеми солитер, как прелюбодейный паразит, пожравший своих хозяев, убивший их так давно, что всякое воспоминание об этом преступлении, совершенном бессознательно, угасло и стерлось, язык, как оболочка воздушного шара, упругая и крепкая, из которой незаметно все быстрее выходит воздух, начинает съеживаться. Это затмение речи не является,

однако, бредом, это и не страх (снова пугается *только* читатель, он, как бы *per* просига, переживает эти совершенно деперсонализированные мучения); еще на несколько страниц, еще на несколько минут хватает механизмов грамматики, жерновов существительных, шестерней синтаксиса, мелющих все медленнее, но до конца точно... небытие, которое разъедает их насквозь... – и так все заканчивается, вполфразы, вполслова... Этот роман не кончается, он прекращается. Язык, вначале, на первых страницах, простодушно верящий в свою независимость, теперь подточенный тайной изменой, нет, скорее – познающий правду о своем внешнем, незаконном происхождении, о своих позорных злоупотреблениях (ибо это Судный день литературы), язык, сознающий, что являет собой вид инцеста, кровосмесительной связи небытия с бытием, – сам от себя самоубийственно отрекается.

И такую книгу написала женщина? Невероятно. Ее должен был написать какой-нибудь математик, и то лишь такой, который своею математикой проверил – и проклял – литературу.

Перикалипсис

JOACHIM FERSENGELD

PERYCALYPSIS



LES ÉDITIONS DE MINUIT

Иоахим Ферзенгельд – немец; «Перикалипсис» он написал по-голландски (почти не зная этого языка, как сам признает в предисловии), а издал во Франции, известной своими скверными корректурами. Пишущий эти строки тоже вообще-то не знает голландского, но, ознакомившись с названием книги, английским предисловием и немногими понятными выражениями в тексте, решил, что в рецензенты все же годится.

Иоахим Ферзенгельд не желает быть интеллектуалом в эпоху, когда им может быть каждый. Он также не стремится прослыть литератором; настоящее творчество возможно лишь там, где имеется сопротивление

материала или людей, которым оно адресовано. Но так как по смерти религиозных и цензурных запретов говорить можно все, то бишь всякую всячину, а по исчезновении внимательных, чутких к слову читателей можно верещать что попало кому попало, литература вместе со всею своей гуманитарной родней есть труп, прогрессирующее разложение которого упорно скрывается близкими. Значит, нужно искать новые области творчества, в которых отыщется сопротивление, гарантирующее угрозу и риск – а тем самым серьезность и ответственность.

Такой областью и такой деятельностью может быть ныне только пророчество. Но так как оно заведомо невозможно, пророк, то есть тот, кто знает заранее, что не будет ни выслушан, ни узан, ни признан, априори должен примириться со своей немотой. А нем не только тот, кто молчит, но и тот, кто, будучи немцем, обращается по-голландски к французам после английских предисловий. Поэтому Ферзенгельд поступает согласно собственным принципам. Наша могущественная цивилизация, говорит он, стремится производить возможно менее долговечные продукты в возможно более долговечной упаковке. Недолговечный продукт приходится заменять новым, что облегчает сбыт; а долговечность упаковки затрудняет ее устранение, что способствует развитию техники и организации. Поэтому с потребительской серийной халтурой покупатели кое-как управляют поодиночке, а для устранения упаковки необходимы особые антизагрязнительные программы, ассенизационная и очистная индустрия, координация и планирование. Раньше можно было рассчитывать, что напластование мусора удержится на приемлемом уровне благодаря природным стихиям, как-то: ливням, бурям, половодьям и землетрясениям. Теперь же то, что некогда смывало и размывало мусор, само стало экскрементом цивилизации: реки нас травят, воздух выжигает легкие и глаза, ветер посыпает нам голову промышленным пеплом, а с пластиковой упаковкой, по причине ее эластичности, даже землетрясения сладить не в силах. Так что обычный наш пейзаж –хламогорье, а природные заповедники – лишь редкое исключение из него. На фоне пейзажа из упаковки, которую слущили с себя продукты, снуют оживленные толпы, занятые потреблением всего распакованного, а также последнего натурального продукта, каким еще остается секс. Но и он снабжен уймой оберток и фантиков, ведь что такое платья, зрелища, розы, помада, как не рекламная упаковка? Цивилизация достойна восхищения лишь в отдельных своих фрагментах, подобно тому как достойна восхищения безукоризненность сердца, печени, почек, легких: бесперебойная работа этих органов вполне осмысленна, пусть даже деятельность тела,

состоящего из столь совершенных частей, начисто лишена смысла – если это тело безумца.

То же самое, вещает пророк, наблюдается в сфере духовных благ: чудовищная машина цивилизации, разогнавшись, стала автодояркой муз – и теперь распирает библиотеки, затапливает книжные магазины и газетные киоски, переполняет телеэкраны, громоздясь избытком, одна лишь нумерическая мощность которого означает немалый убыток. Если по Сахаре разбросаны сорок песчинок, от отыскания которых зависит спасение мира, то мы не найдем их точно так же, как четыре десятка спасительных книг, давно написанных, но потонувших в гряде макулатуры. А они ведь наверняка написаны – порукой тому статистика работы духа, изложенная по-голландски – на математический лад – Иоахимом Ферзенгельдом (что рецензент принимает на веру, не зная ни голландского, ни математического языка). Итак, прежде чем наши души напитаются этими откровениями, они подавятся хламом, которого в четыре миллиарда раз больше, – а впрочем, уже подавились. Предреченное пророчеством уже сбылось, только осталось незамеченным во всеобщей спешке. Выходит, это не пророчество, а ретророчество, потому-то и зовется оно Перикалипсис, а не Апокалипсис. Его пришествие возвещают Знамена: утомление, опошление и отупение духа, а также акселерация, инфляция и мастурбация. Духовная мастурбация – это удовлетворение *обещаниями* вместо их исполнения: сперва нас до истощения онанизировала реклама (выродившаяся форма Откровения, которая только и по плечу Товарной Мысли – в отличие от Персональной), а потом рукоблудие – как творческий метод – охватило все остальные искусства. И все потому, что во всеспасающую силу Товара нельзя уверовать так же истово, как в силу Господа Бога.

Умеренный рост числа дарований; их неспешное, в согласии с природой, созревание; тщательный уход за ними; естественный отбор в кругу благосклонных и тонких ценителей – вот приметы былого, которого уже не вернуть. Силу воздействия сохраняет лишь один раздражитель – мощный рев; но так как все больше народу ревет, используя все более мощные усилители, то раньше полопаются перепонки, чем что-то постигнет дух. Имена гениев прошлого, все чаще призываемые всуе, обратились в пустой звук; итак: «Мене, Текел, Упарсин», – если только мы не послушаемся Иоахима Ферзенгельда и не учредим Humanity Salvation Foundation, Фонд Спасения Человечества, с капиталом в шестнадцать миллиардов золотом и доходом в четыре процента годовых. Из этих средств следует оплачивать всех творцов: изобретателей, ученых,

инженеров, художников, прозаиков, поэтов, драматургов, философов и проектировщиков – по следующей системе. Тот, кто *ничего* не пишет, не проектирует, не рисует, не патентует, не предлагает, получает пожизненную стипендию в размере 36 000 долларов в год. Тот же, кто *делает* что-либо из вышеизложенного, получает соответственно *меньше*.

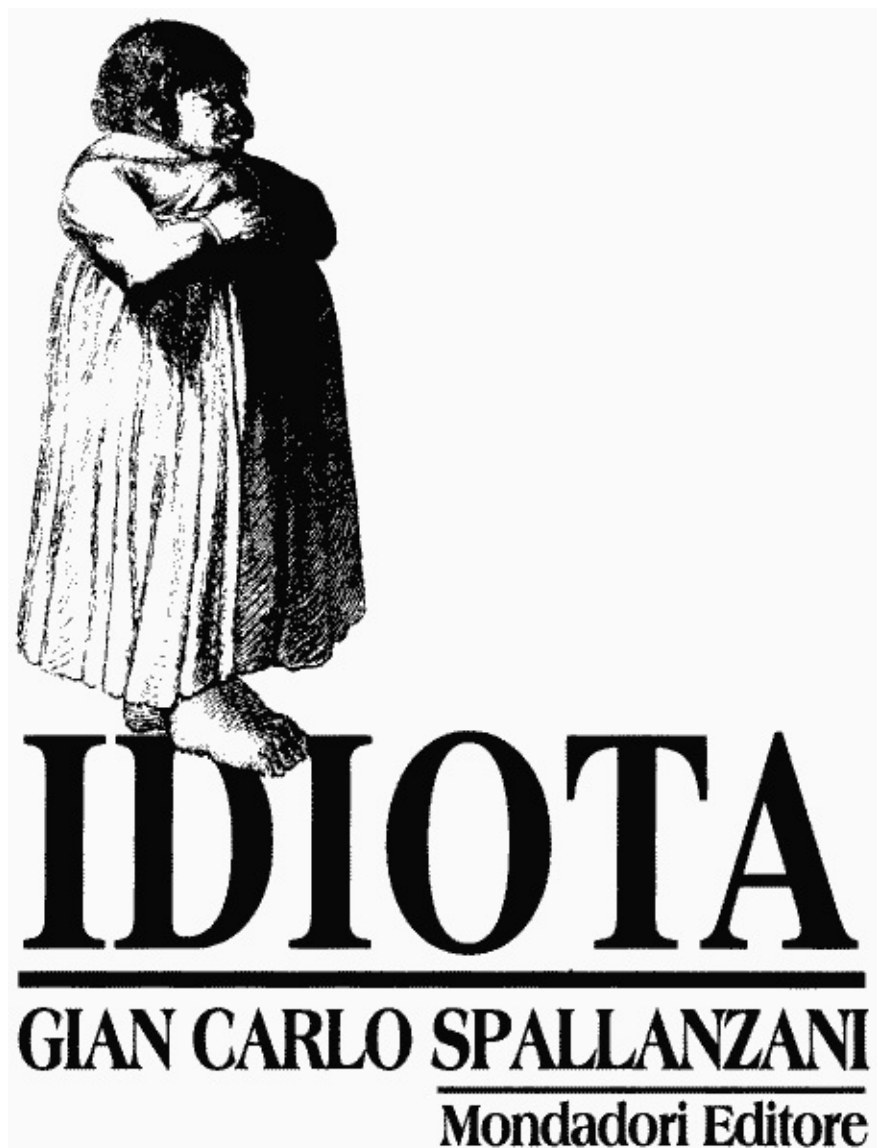
В «Перикалипсисе» дана полная таблица вычетов за любые формы творчества. Сотворивший одно изобретение или две книги в год не получает ни гроша; за третью книгу он уже должен приплачивать. В таких условиях лишь истинный альтруист, аскет духа, любящий ближних, а себя ни на столечко, решится творить что бы то ни было. Наконец-то прекратится изготовление продажного мусора, о чем Иоахим Ферзенгельд знает не понаслышке: ведь «Перикалипсис» издан им за собственный счет (и в убыток!). Так что абсолютная нерентабельность не означает ликвидации всякого творчества.

Эгоизм, однако, выражается не только в почитании маммоны, но и в жажде славы; дабы наглухо закупорить ее, Программа Спасения предусматривает полную анонимность творцов. Чтобы воспрепятствовать наплыву бесталанных кандидатов в стипендиаты, Фонд при помощи надлежащих органов будет аттестовывать их. При этом научная или художественная ценность предлагаемых ими идей ни малейшего значения не имеет. Важно лишь, обладает ли данный проект товарной ценностью, то есть годится ли он на продажу. Если да – стипендия предоставляется незамедлительно. За подпольные художества предусмотрены наказания и взыскания, налагаемые судебным порядком, под контролем Спасательного Надзора; вводится также новая форма полиции – Слепансы (Следственные Патрули Антитворительной Службы). По новому уголовному кодексу нелегальное сочинение, распространение, хранение и даже изъяснение жестами какого-либо продукта творчества с целью извлечения барыша или славы карается изоляцией от общества, принудительными работами, а в случае рецидива – темницей со строгим режимом, твердым ложем и поркой в каждую годовщину правонарушения. За контрабандное распространение в обществе идей, пагубное влияние которых сравнимо с автомобильной, кинематографической, телевизионной и прочей заразой, грозят суровые наказания вплоть до исключительной меры, с выставлением к позорному столбу и пожизненным принудительным употреблением собственного изобретения. Наказуемы также покушения на подобные деяния, а в случае заранее обдуманного намерения предусмотрена постыдная маркировка в виде несмываемого штампа на лбу «Враг Человека». Графомания, не преследующая целей наживы (или, иначе, Творческая Нимфомания), не

наказуема, но лица, страдающие этим недугом, изолируются от общества как социально опасные; их помещают в особые закрытые заведения, снабжая, из человеколюбия, изрядным количеством чернил и бумаги.

Разумеется, мировая культура ничего не потеряет от такой регламентации, напротив, начнет расцветать. Человечество вновь обратится к сокровищам прошлого; ведь имеющихся изваяний, картин, драм, романов, машин, аппаратов хватит на многие столетия. Вдобавок всякому будет дозволено совершать так называемые эпохальные открытия – только бы сидел себе тихо.

Устроив все наилучшим образом, то есть спасши человечество, Иоахим Ферзенгельд переходит к последнему вопросу: как поступить с уже существующим кошмарным избытком? Человек редкого гражданского мужества, Ферзенгельд заявляет: все созданное в XX веке – даже если там и укрыты бриллианты мысли – ничего не стоит, взятое в совокупности, ведь никто не отыщет этих бриллиантов в океане мусора. Поэтому он предлагает уничтожить буквально все, что создано в нашем столетии, – фильмы, иллюстрированные журналы, открытки, партитуры, книги, научные труды, газеты; такое деяние стало бы истинной чисткой авгиевых конюшен – при полном балансе прихода с расходом в конторских книгах истории. (Между прочим, будут уничтожены и данные об атомной энергии, что устранил опасность ядерного апокалипсиса.) Иоахим Ферзенгельд отмечает, что омерзительность сожжения книг и тем более – целых библиотек ему хорошо известна. Но аутодафе, известные из истории – например, в Третьем рейхе, – омерзительны потому, что реакционны. Все дело в том, с каких позиций жечь. Он выступает за прогрессивные, благотворительные, спасительные аутодафе, а так как Иоахим Ферзенгельд – пророк до конца последовательный, то в заключение он предлагает разодрать на куски и поджечь его собственное пророчество!



Итак, в Италии есть молодой писатель, какого нам не хватало, – заговоривший полным голосом. А я опасался, что молодых заразит пессимизм знатоков, утверждающих, будто вся литература давно написана и нам остается подбирать со стола былых мастеров объедки, именуемые мифами или же архетипами. Эти апостолы литературного оскудения (мол, ничего нет нового под солнцем) свою веру проповедуют не с отчаянием, но так, словно картина пустых до скончания века столетий, тщетно взыскующих Искусства, доставляет им непонятное удовольствие. Они вменяют в вину современному миру его технический взлет и предрекают

самое худшее с тем же злорадством, с каким старые тетушки ожидают крушения брака, легкомысленно заключенного по любви. Вот почему у нас есть шлифовщики и ювелиры (ибо родословная Итало Кальвино восходит не к Микеланджело, но к Бенвенуто Челлини), а также натуралисты, которые, устыдившись собственного натурализма, дают понять, что пишут совсем не так, как могли бы (Альберто Моравиа), – и ни одного настоящего смельчака. Да и откуда им взяться там, где каждый может прикинуться лихим удалцом, обзаведясь разбойничьей бородищей.

Джан Карло Спаланцани дерзок до наглости. Прорицания знатоков он как будто принимает всерьез, чтобы затем показать им кукиш. Ибо его «Идиот» не одним лишь названием напоминает роман Достоевского: сходство гораздо глубже. Не знаю, кому как, но мне легче писать о книге, если я вижу лицо автора. Спаланцани на снимке несимпатичен: молокосос с низким лбом, опухшими веками, маленькими, черными, злыми глазками, а точеный подбородок вызывает чувство тревоги. *Enfant terrible*? Хитрющий негодяй и садист? Правдолюб в обличье невиннейшего младенца? Не могу подобрать подходящего слова, но остаюсь под впечатлением первого чтения «Идиота»: такое коварство само по себе есть дело искусства. Неужели он писал под псевдонимом? Ведь великий, исторический Спаланцани был вивисектором, а наш тридцатилетний прозаик идет по его следам. Трудно поверить, что совпадение имен совершенно случайно. Молодой писатель – нахал; своего «Идиота» он снабдил предисловием, где с показной искренностью объясняет причины отказа от первоначального намерения – написать еще раз «Преступление и наказание» в виде истории («Соня»), рассказанной дочерью Мармеладова.

И с апломбом, не лишенным известной грации, он сообщает, что не сделал этого лишь потому, что опасался развенчать оригинал! Иначе (говорит он) ему пришлось бы, пусть помимо воли, пошатнуть монумент, который воздвиг Достоевский своей непорочной проститутке. Будучи «третьим лицом», Соня в «Преступлении и наказании» появляется от случая к случаю; в качестве «первого лица», от имени которого ведется повествование, мы видели бы ее постоянно, в том числе во время профессиональных занятий, которые разъедают душу, как никакие другие. Аксиома об ее духовной девственности, не запятнанной опытом падшего тела, понесла бы немалый ущерб. Оправдавшись столь хитроумным способом, автор, однако, совершенно умалчивает о главном – то есть об «Идиоте». И это уже коварство; он добился, чего хотел, направил наше внимание в нужную ему сторону, но ни словом не упомянул о настоятельной необходимости, заставившей его обратиться к этой теме –

после Достоевского!

История – вполне реалистическая, жизненная – поначалу, казалось бы, разворачивается в сферах далеко не возвышенных. В самой обычной, среднего достатка семье, у заурядных, благополучных супругов – достойных, но не хватающих звезд с неба, растет умственно отсталый ребенок. Как и любой ребенок, он обещал очень много; первые его слова, первые фразы, удивительно свежие в своей непосредственности (побочный результат освоения речи), свято хранятся в сокровищнице родительских воспоминаний. Милые младенческие наивности и нынешний ужас – таков контраст между тем, что могло быть, и тем, что стало.

Ребенок растет идиотом. Жизнь рядом с ним, уход за ним – сплошное мучение, особенно жестокое как раз потому, что развилось оно из любви. Отец старше матери почти двадцатью годами; иные семьи в подобных случаях пробуют еще раз, здесь что-то мешает, физиология или психология, неизвестно. Но все же скорее всего любовь. В нормальных условиях она никогда бы не выросла до таких размеров. Как раз благодаря своему кретинизму ребенок одаряет родителей гениальностью. Он совершенствует их в степени, соответствующей его духовной ущербности. Это могло бы стать идеей романа, его ведущим мотивом, но оказывается лишь предпосылкой.

В контактах с окружающими (родственниками, врачами, юристами) отец и мать – обыкновенные люди, глубоко озабоченные, конечно, но без аффектации, ведь все это началось не вчера; чтобы взять себя в руки, времени было достаточно! Эра отчаяния, надежды, поездок по разным столицам к светилам медицинской науки давно миновала. Им уже ясно: надежды нет никакой. Они не питают ни малейших иллюзий. Визиты к врачу, адвокату должны обеспечить идиоту в меру достойный, в меру терпимый модус вивенди, когда некому будет о нем позаботиться. Нужно найти душеприказчика, уберечь состояние; все это делается не спеша, зато серьезно, толково и осмотрительно. Скучно и обстоятельно – что может быть естественнее? Но когда они приходят домой, когда они остаются втроем, все меняется, словно по волшебству. Я бы сказал: словно актеры выходят на сцену. Хорошо, но где она, эта сцена? Об этом речь впереди. Никогда не сговариваясь, не обменявшись ни словом (что было бы психологически невозможно), родители постепенно создали систему таких толкований поступков идиота, которая позволяет считать их разумными – во всякое время и в каждой детали.

Зародыш подобного поведения Спалланцани отыскал в нормальной жизни. Умиляясь выходящему из грудного возраста младенцу, взрослые,

как известно, толкуют его слова и реакции на вырост: в случайном повторении звуков находят смысл, в неотчетливом лепете – сообразительность и даже юмор; непроницаемость младенческой психики предоставляет огромную свободу наблюдателям, в особенности ослепленным любовью. Именно так, наверное, и началось когда-то истолкование поведения идиота. Должно быть, родители соревновались между собой, отыскивая примеры того, что ребенок говорит все лучше, все отчетливее, что и сам он становится все лучше, добрее и ласковее. Я говорю «ребенок»; но когда начинается действие, это уже четырнадцатилетний подросток. Насколько же искусную систему интерпретаций нужно создать, к каким приемам и способам перетолкования – прямо-таки до смешного безумным – нужно прибегнуть для спасения фикции, которую действительность так безжалостно отрицает! И что же? Все это возможно – как раз из таких усилий и состоит жертва, возлагаемая родителями на алтарь идиота.

Изоляция должна быть полной: мир ему ничего не даст, ничем не поможет, а следовательно, не нужен ему; да, да, мир – ему, а не он – миру. Истолкование его поведения должно быть уделом одних посвященных, то есть отца с матерью; тем самым все можно переиначить. Мы не узнаем, убил идиот или только добил больную бабуку; улик, однако, накапливается немало; бабука в него не верила (то есть в ту версию, которую предложили родители, – впрочем, остается неясным, в какой степени мог идиот осознавать это «неверие»); она страдала от астмы; ее придыхания и стоны проникали даже через обитую войлоком дверь; когда приступы обострялись, он не мог спать; они доводили его до бешенства; его нашли безмятежно спящим в спальне покойницы, под кроватью, на которой остывал ее труп.

Прежде чем заняться собственной матерью, отец перенес его в детскую; подозревал ли он что-нибудь? Этого мы не узнаем. Родители ни разу не коснутся запретной темы: есть вещи, которые они делают, не называя их, словно поняв, что любая импровизация имеет свои границы; когда уже нельзя избежать «этих дел», они начинают петь. Они выполняют все, что должно быть выполнено, но при этом ведут себя как папенька с маменькой, напевающие колыбельную (если дело происходит вечером) или старые песни своего детства (если вмешательство необходимо днем). Пение оказалось лучшим выключателем разума, чем молчание. Мы слышим его в самом начале романа, точнее, слышит прислуга, садовник; «грустная песенка», замечает он, и только гораздо позже мы начинаем догадываться, каким кошмарным поступкам, должно быть, служила она

аккомпанементом: это было в то самое утро, когда нашли труп. Что за адская утонченность чувств!

Идиот ведет себя ужасающе – с изобретательностью, свойственной нередко крайнему отупению, которое как-то сочетается с хитростью; но родителей это только подстегивает: ведь они должны оказаться на высоте любого задания. Иногда их слова точно соответствуют поступкам, но это редкость; самые поразительные эффекты возникают, когда делают они одно, а говорят – другое. Выпады кретиноидной изобретательности неумоимо парирует другая – самоотверженная, любовная, преданная, и только лежащая между ними пропасть обращает жертвенность опекунов в кошмар. Но родители этого, наверное, уже не видят: ведь так продолжалось годы! Перед лицом очередной неожиданности (эвфемизм: идиот заставит их всё испытать) сначала нас вместе с ними словно поражает ударом молнии; какую-то долю секунды мы ощущаем парализующий страх, что *это* вдребезги сокрушит не только сиюминутное равновесие, но опрокинет все здание, заботливо возводимое месяц за месяцем, год за годом.

Ничуть не бывало: после первого – часто непроизвольного – обмена взглядами, после двух-трех лаконических реплик в тоне самого обычного разговора родители взваливают на себя и этот крест, прилаживают его к своей системе интерпретаций; мрачный комизм и неожиданная высота духа проявляются в этих сценах – разумеется, благодаря их психологической достоверности. Слова, которые подбирают родители, когда уже нельзя наконец не надеть «рубашечку»! Когда неизвестно, что делать с бритвой; или когда мать, выскочив из-под душа, баррикадируется в ванной комнате, а потом, устроив в доме короткое замыкание, на ощупь, в крошечной тьме разбирает баррикаду из мебели, которая противоречит канонической версии ребенка и потому опаснее, чем авария электросети. В залитой водой прихожей, завернувшись в толстый ковер – из-за бритвы, конечно, – она ожидает прихода отца; до чего же грубо, коряво и того хуже – неправдоподобно все это выглядит вне контекста, в беглом моем пересказе! Родители в глубине души осознают, что подобные происшествия, как бы ни истолковывать их, нельзя привести к норме, и потому шаг за шагом, сами не ведая, как и когда, переступают границу нормы и забредают в область, недоступную обыкновенным служащим и домашним хозяйкам. Не в область безумия, вовсе нет: неправда, будто каждый может свихнуться. Но каждый может уверовать. Чтобы не стать обесславленной семьей, им пришлось превратиться в Святое семейство.

Слово это в книге не произносится; идиот, по вере своих родителей (ибо так это надо назвать), не является ни богом, ни божеством; он только

иной, чем все остальные; он сам по себе, он не похож на любого другого ребенка, любого другого подростка, и в этой своей непохожести он – их любимый и их единственный, бесповоротно. Не может быть? Тогда прочтите «Идиота» сами, и вы увидите, что вера не сводится к метафизической устремленности разума. Ситуация всеми своими корнями настолько вросла в кошмар, что только нелепица веры может спасти ее от проклятия, то есть от психопатологических этикеток. Если святых психиатры принимали за параноиков, то, собственно, почему невозможно обратное? Идиот? Это слово встречается в книге, но лишь тогда, когда родители имеют дело с другими. Они говорят о ребенке языком этих других – врачей, адвокатов, родственников, но про себя они знают лучше; другим они лгут, потому что их вере чуждо миссионерство, а значит, и агрессивность, которая домогалась бы обращения неверных. Впрочем, родители слишком трезвы, чтобы хоть на минуту поверить в возможность подобного обращения, и они о нем не заботятся: ведь спасти надлежит не весь мир, а только три существа. Пока они живы – живет их общая церковь. Не о стыде, не о престиже, не о безумии стареющей пары (*folie en deux*) идет речь; нет, это всего лишь земной, минутный, совершающийся в доме с центральным отоплением триумф любви, девиз которой: «*Credo, quia absurdum est*»^[21]. Если это безумие, то не больше, чем любая иная вера.

Спалланцани все время ступает по натянутой проволоке, ведь опасней всего для романа было бы превратиться в карикатуру на Святое семейство. Отец немолод? Значит, Иосиф. Мать на столько-то лет моложе? Мария. А тогда ребенок... Так вот, если бы Достоевский не написал «Идиота», я думаю, эта ассоциация не появилась бы вообще, во всяком случае, была бы почти незаметна. Если можно так выразиться, Спалланцани ничего абсолютно не имеет против Евангелия, он вовсе не хочет затрагивать Святое семейство; если же, несмотря ни на что, возникает (чего нельзя избежать совершенно) именно такой смысловой рикошет, «вину» за это несет исключительно Достоевский со своим «Идиотом». Ну да, конечно: вот куда целит взрывчатый заряд романа – в гениального романиста! Князь Мышкин, святой эпилептик, молодой подвижник, непонятый окружением, Иисус с симптомами *grand mal*^[22] – вот где точка соприкосновения, связующее звено. Идиот Спалланцани порой напоминает его – только с перестановкой знаков! Один оказывается бешеным двойником другого, и именно так можно представить себе взросление Мышкина, этого болезненного, бледного мальчика, когда припадки падучей, с их мистическим ореолом и скотскими судорогами, впервые разбивают

ангелоподобный образ подростка. Малыш оказывается кретином? Да, и на каждом шагу; но тупость его порою граничит со взлетами духа – например, когда, ошавев от музыки Баха, он разбивает пластинку (при этом поранившись) и пробует ее проглотить вместе с собственной кровью. Ведь это же форма – пусть несовершенная – пресуществления! Как видно, что-то баховское дошло до его помраченного разума, коль скоро он попытался сделать Баха частью себя самого – поедая его.

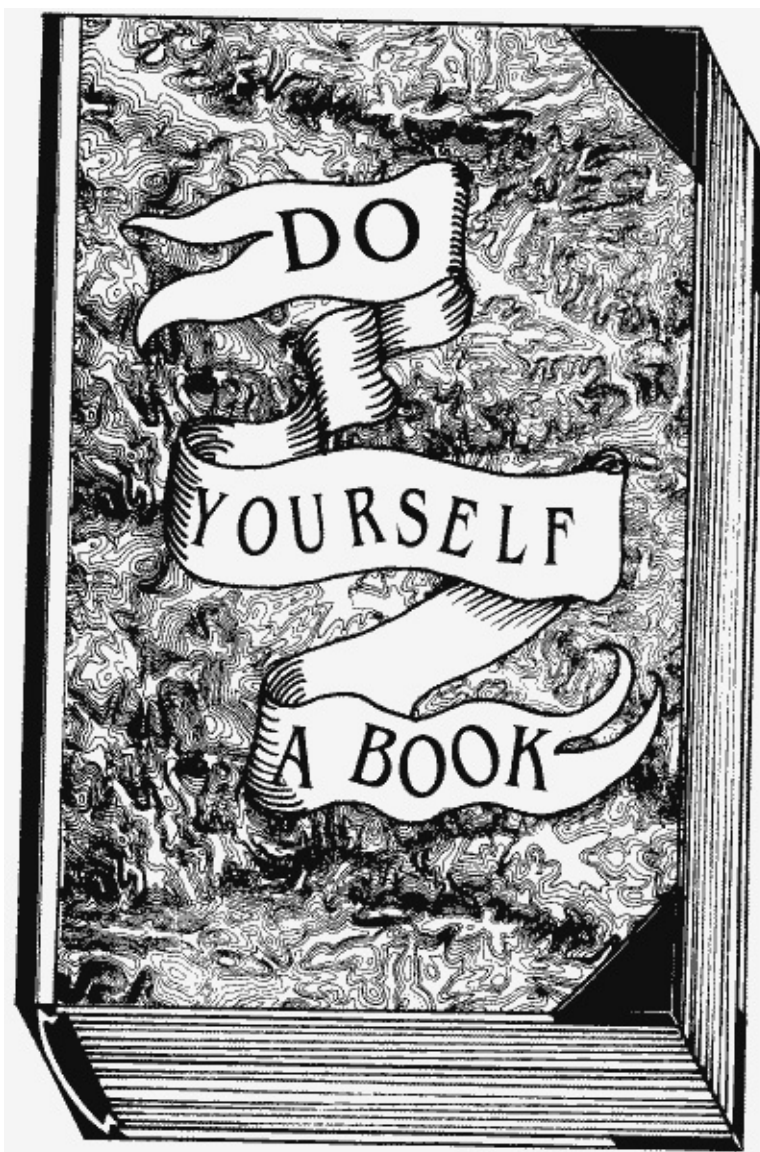
Если б родители предоставили все официальному Господу Богу или попросту создали эрзац-религию для трех человек, что-нибудь наподобие секты с дефективным существом, занявшим место Бога, их поражение стало бы очевидным. Но они ни на миг не перестают быть обычными, земными, измученными родителями; они даже не помышляют о чем-либо сакральном, вообще – о чем-либо таком, что не было бы необходимо сейчас, вот в эту минуту. Они, собственно, никакой системы не создавали: та сама, силой вещей, сложилась у них и возвестила о себе – помимо их ведома и намерений. Они же никакого благовещения не имели; как были одни, так и остались одни до конца. Итак, земная, и только земная, любовь. Мы отвыкли от такого ее могущества в литературе, усвоившей уроки цинизма; после того как психоаналитические доктрины перебили романтический позвоночник литературы, она ослепла к той части человеческого предназначения, которая питала ее и которая создала классику прошлого.

Жестокий роман. Сначала – о безграничной способности к самокомпенсации, а значит, и к творчеству, которым наделен каждый, каков бы и кто бы он ни был, если судьба подвергла его пытке подобным заданием. Потом – о формах, в которых существует любовь, лишенная всякой надежды, но не отрекшаяся от своего предмета. В этом контексте слова «credo, quia absurdum...» звучат как земной эквивалент слов «finis vitae, sed non amoris»^[23]. Наконец (и это уже философско-антропологический эксперимент, а не трагедия несчастных родителей) – о том, как возникает, на микроскопическом уровне, чистая интенциональность *называющего* сотворения мира. А значит, не просто уход в потустороннее, нет: речь о том, что мир, не изменившийся ни на йоту в своем сколь угодно разительном безобразии и бесславии, можно переиначить, то есть о том, что выражается словом «преображение». Мы не могли бы существовать, если бы не умели преобразовать кошмары в подобие райских видений; об этом-то и написан роман. Оказывается, вера в потустороннее вовсе не обязательна – и без нее можно сподобиться благодати (или муки) теодицеи, ибо не в детальном познании

обстоятельств, но в их истолковании человек обретает свободу. Если это не истинная свобода (ничто ведь не порабощает сильнее любви!), то никакой иной быть не может. «Идиот» Спалланцани – не бесполой аллегория христианского мифа, но атеистическая ересь.

Подобно психологу, экспериментирующему на крысах, Спалланцани подверг своих героев испытанию, которое должно было стать проверкой его представлений о человеке. Вместе с тем эта книга – еще и выпад против Достоевского, как если бы тот жил и творил сегодня. Спалланцани написал своего «Идиота», желая доказать Достоевскому, что тот *никудашный* еретик. Не могу утверждать, что покушение оказалось удачным, но цель его мне понятна: речь шла о том, чтобы выйти из заколдованного круга проблем, в который заключил свою и нашу эпоху великий русский. О том, что искусство не может смотреть лишь назад, не может ограничиваться эквилибристикой; необходимо новое зрение, новый взгляд и прежде всего – новая мысль. Не будем к тому же забывать, что перед нами первая книга писателя. Следующего романа Спалланцани я буду ждать, как давно уже ничего не ждал.

Сделай книгу сам



Поучительная история расцвета и упадка «Do Yourself a Book» достойна того, чтобы ее сохранить для потомства. Эта новинка издательского рынка породила споры столь жестокие, что они заслонили само явление. Поэтому и по сей день неясно, что привело ее к краху. Мысль опросить общественное мнение никому не пришла в голову, и скорее всего к лучшему – ведь читатели, приговорившие ее к забвению, пожалуй, и сами не ведали, что творили.

Идея изобретения носилась в воздухе добрых двадцать лет, и остается только гадать, почему никто не взялся за это раньше. Я отлично помню

первую партию сего литературного «конструктора». То были коробки величиной с увесистую книгу, и в каждой лежали инструкция, инвентарная опись и набор «стройматериалов». Детальми конструктора служили нарезанные на полоски отрывки из классических романов. На полях каждой полоски были прорезаны дырочки – с их помощью цитаты легко «переплетались» в книгу – и стояло несколько разноцветных цифр. Разложив бумажную лапшу по порядку черных («главных») номеров, вы получали «исходный текст», то есть литературный монтаж не менее чем из двух сокращенных классических романов. Конечно, если бы конструктор допускал только такую компоновку, он был бы лишен всякого, в том числе и коммерческого, смысла. Но полоски можно было менять местами, и в инструкции приводились обычно другие варианты, отличавшиеся цветом номерков на полях. Изобретение запатентовало издательство «Universal», запустившее для этого руку в классическое наследие, на которое давно истек срок авторских прав. То были сокращенные штатом анонимных редакторов произведения Бальзака, Толстого, Достоевского. Дальновидные издатели делали ставку на тех читателей, которым лестно было перевернуть и переиначивать шедевры мировой литературы (вернее, их упрощенные версии). Берешь в руки «Войну и мир» или «Преступление и наказание» – и делай с ними, что в голову взбредет: Наташа может пуститься во все тяжкие и до и после замужества, Анна Каренина – увлечься лакеем, а не Вронским, Свидригайлов – беспрепятственно жениться на сестре Раскольникова, а этот последний, обманув правосудие, – укрыться с Соней в Швейцарии, и т.д. Критики дружно обрушились на этот вандализм; издатель защищался, и даже довольно ловко.

Инструкция рекламировала «Do Yourself a Book» как учебник литературной композиции («Незаменимое пособие для начинающих авторов!») и сборник тестов («Скажи мне, что ты сделал с Энн из Зеленого Предместья, и я скажу, кто ты»); словом, то был якобы и тренажер для будущих писателей, и развлечение для любителей словесности.

На деле издателей вели не столь возвышенные помыслы. Издательство «World Books» в своей инструкции предостерегало покупателя против «неподобающих» комбинаций текста, при которых невиннейшие сцены получали скандальный смысл. Стоило переставить одну фразу (благо своя рука владыка), и обычный диалог превращался в любовную игру двух лесбиянок, а почтенное диккенсовское семейство – в вертеп кровосмесительных страстей. Конечно, то было поощрение к действию, но закомуфлированное, чтобы издателей нельзя было привлечь к суду за оскорбление нравственности – ведь они сами предупреждали, чего *не*

следует делать!

Задыхаясь от бессилия (юридически все было безупречно, уж об этом-то издатели позаботились!), известный критик Ральф Саммерс писал: «Итак, современной порнографии уже мало, пришла пора втоптать в грязь великое наследие, которое всегда не только чуралось пошлости, но и открыто ей противостояло. Отныне жалкое подобие черной мессы тишком, в укрытии собственного дома, может отслужить за четыре доллара каждый желающий – такова цена подлинного падения!»

Однако вскоре стало ясно, что в своих мрачных пророчествах Саммерс хватил через край: фирма развивалась куда медленнее, чем ожидали ее создатели. Надеясь изменить ситуацию, они выпустили улучшенный вариант конструктора: сброшюрованный том чистых листов, покрытых особой мономолекулярной магнитной пленкой; стоило наложить на такую страницу цитату, как она приклеивалась сама собой. Тем самым переплетные работы предельно упростились, но и это ничего не дало. Неужто публика, как полагали некоторые идеалисты (ныне уже почти вымершие), отказывалась «глумиться над классикой»? К великому своему сожалению, не могу согласиться с этой версией.

Издатели надеялись привлечь широкую аудиторию; тому свидетельство такие, к примеру, фрагменты инструкции: «Тебе дается божественная власть над людскими судьбами – недавняя привилегия одних лишь гениев человечества!» В ответ Ральф Саммерс разразился следующей филиппикой: «Одним взмахом руки ты оскверняешь недостижимый образец душевного величия, бросаешь в грязь идеал невинности, и все это с удовольствием, сознавая, что Толстой с Бальзаком тебе больше не указ – теперь они всецело в твоей власти!»

Но странное дело, кандидатов в «осквернители» оказалось на удивление мало. Саммерс предсказывал расцвет нового садизма – «всплеска агрессии против вечных ценностей культуры», а между тем «Do Yourself a Book» почти не имели спроса. Многим хотелось бы отнести это на счет «природного голоса чести и разума, который столь успешно заглушается судорогами антикультуры», как писал Л. Эванс в «Christian Science Monitor». Автор этих строк, увы, не разделяет такого мнения.

Что же случилось на самом деле? Позволю себе сделать очень простое предположение. Для Эванса, Саммерса, для меня, и для нескольких сот критиков, окопавшихся в университетских ежеквартальниках, и, скажем, для трех-четырёх тысяч высоколобых на всю страну, и Свидригайлов, и Вронский, и Соня Мармеладова, и Вотрен, и Энн из Зеленого Предместья, и Растиньяк – личности прекрасно известные, близкие и, правду сказать,

подчас более реальные, чем многие наши добрые знакомые. А для широких масс их имена – просто случайный набор звуков. Свести Наташу и Свидригайлова было бы кощунством для высоколобых, а для всех остальных – не более чем связь какого-то Х с какой-то Y. Массовый читатель не видел в них вечные символы душевной чистоты или разнузданного порока и потому не стал в них играть ни в скандальном, ни в каком-либо другом варианте. Ему попросту дела не было ни до кого из них! И подумать только, что, несмотря на весь свой цинизм, издатели этого не предвидели! А все потому, что они плохо знают истинное положение дел на литературном рынке. Если человек считает книгу огромной духовной ценностью, а ее на его глазах кладут вместо половика у порога, он, конечно, начинает кричать в голос о вандализме и даже о черной мессе, что и случилось с Саммерсом.

Но безразличие к ценностям культуры зашло в нашем мире гораздо дальше, чем кажется авторам конструктора. Верно, в него никто не стал играть, но не потому, что публика отказалась осквернять идеалы, а просто потому, что большинство читателей не видит разницы между Толстым и убогим графоманом. Тот и другой оставляют его одинаково равнодушным. Даже если толпе и присуща страсть топтать высокое, тут, по ее мнению, и топтать-то нечего!

Поняли ли издатели преподанный им урок? Полагаю, что так. Хотя вряд ли сказали это себе теми же словами, что и я, однако, ведомые нюхом, чутьем, инстинктом, они стали поставлять на рынок более ходкий товар – откровенно порнографические «конструкторы». Горстка прекрасодушных снобов вздохнула с облегчением: великие останки отныне почивут в мире. Проблема потеряла для высоколобых всякий интерес, и со страниц элитарных журналов тотчас исчезли статьи, в которых они раздирали на себе одежды и посыпали пеплом свои яйцеобразные головы: обитателей Олимпа и их громовержцев обыденная жизнь рядовых читателей ничуть не интересует.

Потом, правда, Олимп еще раз вострепнулся. Это когда Бернар де ла Тай, состряпав роман из деталей набора «The Big Party», переведенного на французский язык, удостоился «Prix Femina». Дело не обошлось без скандала, так как оборотистый француз скрыл от жюри, что его детище – продукт компиляции, а не оригинальное сочинение. Правда, роман де ла Тая («Война в потемках») не лишен некоторых достоинств, и, чтобы его скомпоновать, потребовались определенная культура и литературное дарование, которыми обычные покупатели не могут похвастать. Но этот случай ничего не изменил в судьбе конструктора – с самого начала было

ясно, что эта затея колеблется между дурацким фарсом и коммерческой порнографией. На «Do Yourself a Book» капитала никто не нажил! А идеалисты, привыкшие довольствоваться малым, утешаются сегодня тем, что бульварные персонажи не вламываются больше на паркет толстовских гостиных и благородные девицы вроде Дуни Раскольниковой не путаются с маньяками и головорезами.

Фарсовая разновидность «Do Yourself a Book» еще влачит существование в Англии, где можно купить литературные наборы для крошечных рассказиков «pure nonsense», – там на потеху доморощенным писателям в бутылку льют не сок, а сквайров, сэр Галахад пылает страстью к своей лошади, а незадачливый пастырь во время мессы гоняет в алтаре игрушечные паровозики. Похоже, что англичан смешит эта абракадабра, коль скоро некоторые газеты даже завели для нее специальные рубрики. На континенте же «Do Yourself a Book» практически вывелись.

Один швейцарский критик иначе, чем мы, объясняет крах этого предприятия: «Современный читатель слишком обленился, чтобы собственноручно раздевать, мучить и насиловать себе подобных. Теперь для этого есть профессионалы. Появись эта игра шестьдесят лет назад, она, возможно, имела бы спрос, но, опоздав родиться, скончалась во младенчестве». Что к этому прибавишь, кроме тяжелого вздоха?

Одиссей из Итаки

K u n o M l a t j e

ODYS Z ITAKI



Автор – американец; полное имя героя романа – Гомер Мария Одиссей; Итака, где он появился на свет, – городишко с четырьмя тысячами жителей в штате Массачусетс. Тем не менее речь идет об экспедиции Одиссея из Итаки, исполненной глубокого смысла и восходящей тем самым к почтенному первообразу. Гомер М. Одиссей предстает перед судом по обвинению в поджоге машины, принадлежащей профессору И.Г. Хатчинсону из Рокфеллеровского фонда. Причины, по которым он *должен* был поджечь машину, он откроет лишь при условии, что профессор лично явится в суд. Когда же это требование удовлетворяется, Одиссей, заявив,

что хочет сообщить профессору шепотом нечто крайне важное, кусает его за ухо. Скандал обеспечен; назначенный судом адвокат требует психиатрической экспертизы, судья колеблется, а ответчик произносит речь со скамьи подсудимых, объясняя, что метил в Геростраты, поскольку автомобили – святыни нашей эпохи, а профессора укусил за ухо по примеру Ставрогина, который прославился именно этим. Ему тоже необходима известность – ради денег, которые можно на ней заработать; так он сможет финансировать план, имеющий целью благо человечества.

Эту пламенную речь прерывает судья. Одиссей получает два месяца за уничтожение автомобиля и еще два – за неуважение к суду. Вдобавок его ожидает иск, возбужденный Хатчинсоном, которому он повредил ушную раковину.

Одиссей, однако, успевает вручить судебным репортерам свою брошюру. Тем самым он добивается своего: пресса будет о нем писать.

Идеи, изложенные в брошюре Гомера М. Одиссея «Поход за золотым руном духа», весьма просты. Прогресс человечества – заслуга гениев, особенно – прогресс мысли; ведь сообща можно набрести на способ обтесывания кремня, но нельзя коллективно выдумать ноль. Изобретатель нуля был первым гением в истории человечества. «Возможно ли, чтобы ноль изобрели четыре человека сразу, каждый по четвертушке?» – вопрошает со своим обычным сарказмом Гомер Одиссей. Не в привычках человечества чуткое отношение к гениям. «To be a genius is a very bad business indeed!»^[24] – замечает Одиссей на своем кошмарном английском. Гениям приходится туго, но не всем одинаково – ибо гений гению рознь. Одиссей предлагает следующую классификацию. Сперва идут гении обыкновенные, дюжинные, то есть третьего класса, неспособные шагнуть особенно далеко за умственный горизонт эпохи. Им приходится легче других, нередко они бывают оценены по заслугам и даже добиваются денег и славы. Гений второго класса – гораздо более твердый орешек для современников. Потому и живется таким гениям хуже. В древности их обычно побивали камнями, в Средневековье жгли на кострах, позже, в связи с временным смягчением нравов, им позволялось умирать естественной смертью от голода, а порой их даже кормили за общественный счет в приютах для полоумных. Кое-кому из них местные власти подносили яд; многих отправили в ссылку, причем духовные и светские власти рьяно сражались за пальму первенства в «гениоциде», как Одиссей называет разнообразнейшие формы истребления гениев. И все же в конечном счете гениев II класса ожидает признание, то есть загробный триумф. В качестве компенсации их именами называют библиотеки и

городские площади, сооружают в их честь фонтаны и монументы, а историки роняют скупые слезы над промашками прошлого. Но сверх того, утверждает Одиссей, существуют – ибо не могут не существовать – гении высшей категории. Второклассных гениев открывает либо следующее поколение, либо одно из позднейших; гениев первого класса не знает никто и никогда, ни при жизни, ни после смерти. Это – открыватели истин настолько невероятных, глашатаи новшеств настолько революционных, что их абсолютно никто оценить не в силах. Поэтому прочное забвение – обычный удел Гениев Экстра-класса. Впрочем, и их менее мощных духом коллег обычно открывают лишь по чистой случайности. В исписанных каракулями бумагах, в которые рыночные торговки заворачивают селедку, обнаруживают какие-то теоремы, поэмы, но стоит их напечатать – и после минутного энтузиазма все идет прежним порядком. Такой порядок долее нетерпим. Ведь утраты, которые несет при этом цивилизация, невозполнимы. Надо учредить Общество охраны гениев первого класса и в его рамках – Исследовательскую группу, которая займется планомерными поисками. Гомер М. Одиссей уже разработал устав Общества, а также проект «Похода за золотым руном духа». Оба документа он разослал многочисленным научным обществам и благотворительным фондам, домогаясь кредитов.

Эти усилия оказались напрасны, и тогда он издал своим иждивением брошюру, первый экземпляр которой с дарственной надписью послал профессору Ивлину Г. Хатчинсону из Научного совета Рокфеллеровского фонда. Не ответив ему, проф. Хатчинсон оказался виновен перед человечеством. Проявленная профессором тупость и некомпетентность свидетельствуют о его несоответствии занимаемому посту; за это надлежало его наказать, что Одиссей и сделал.

Еще во время отсидки Одиссей получает первые пожертвования. Он открывает счет «Похода за золотым руном духа», и, когда выходит на волю, кругленькая сумма в размере 26 528 долларов позволяет ему приступить к организации экспедиции. Одиссей вербует добровольцев через объявления в прессе; на первом же собрании энтузиастов-любителей он произносит речь и вручает им новую брошюру с инструкциями для аргонавтов. Ведь они должны знать, где, как и что, собственно, надо искать. Экспедиция будет носить идейный характер, поскольку – Одиссей не скрывает этого – денег мало, а работы по горло.

Spiritus flat, ubi vult^[25], поэтому даже гении экстра-класса могут рождаться среди малых народов, населяющих экзотическую периферию мира. Но гений не открывает себя человечеству лично и непосредственно,

выходя на улицу и хватая прохожих за тогу или за пуговицу. Гений действует через компетентных специалистов. Они должны его оценить, окружить почетом и развить его мысли, другими словами, раскатать своего земляка так, чтобы он стал языком колокола, возвещающего начало новой эпохи. Но, как обычно, то, что должно быть, как раз и не происходит. Специалисты склонны считать себя кладезем всякой премудрости и готовы учить других, но сами ни у кого не желают учиться. Только если их невообразимо много, в толкучке могут попасться два, а то и три толковых субъекта. Поэтому в небольшой стране гений встретит такой же отклик, что и горох, швыряемый об стену. В странах побольше вероятность распознавания гения выше. Поэтому экспедиции отправятся к малым народам и в города, затерянные в глухих провинциях нашей планеты. Может, там – как знать? – удастся даже найти не узанных ранее второклассников гениальности. Пример Бошковича (Югославия) знаменателен: его открыли задним числом; то, что он писал и мыслил столетия назад, было замечено лишь тогда, когда о чем-то подобном стали мыслить и писать ныне. Такие псевдооткрытия Одиссея не интересуют.

В первую голову надо обшарить все на свете библиотеки, включая отделы инкунабул и рукописей, а особенно – их подвалы и подземелья, где оседает всякий бумажный балласт. Однако ж и там не стоит особенно рассчитывать на успех. На карте, которую Одиссей повесил у себя в кабинете, красными кружками обозначено первоочередное – психиатрические лечебницы. Немалые надежды Одиссей возлагает на раскопки в канализации и выгребных ямах сумасшедших домов прошлого века. Следует также перелопатить свалки возле старых тюрем, перетрясти мусорные кучи, особенно – содержащиеся в них окаменелости, поскольку именно туда попадает все то, что человечество пренебрежительно вымело за скобки своего бытия. Так что доблестные аргонавты должны отправиться за Золотым Руном Духа, преисполненные самоотречения, с киркой, кайлом, ломом, фонариком и веревочной лесенкой, имея, кроме того, под рукой геологические молотки, кислородные маски, сита и лупы. Поиски сокровищ, гораздо более ценных, нежели золото и бриллианты, развернутся в обвалившихся колодцах, в окаменевших экскрементах, в подземельях бывших инквизиций, в покинутых городах, а координировать эту всепланетную деятельность будет Гомер М. Одиссей из своей штаб-квартиры. Указателем пути, дрожащей стрелкой компаса следует считать любые отголоски слухов и толков о совершенно исключительных крестинах и безумцах, о

маниакальных, назойливых чудаках, упрямых олухах и идиотах, поскольку, награждая подобными эпитетами гениальность, человечество реагирует на нее в меру своих природных способностей.

Устроив еще несколько скандалов, принесших пять новых приговоров и 16 741 доллар, и отсидев еще два года, Одиссей перебирается ближе к югу. Он плывет на Мальорку, где будет отныне его штаб-квартира: климат там приятный, а его здоровье серьезно подорвано пребыванием в камере. Он отнюдь не скрывает, что не прочь сочетать общественное благо с личным. Впрочем, коль скоро, согласно его теории, появление гениев I класса возможно повсюду, то почему бы им не быть на Мальорке?

Жизнь аргонатов изобилует необычайными приключениями, которые заполняют немалую часть романа. Одиссей не однажды переживает горькие разочарования, например, когда узнает, что три его любимых соратника, работавших в средиземноморском районе, – агенты ЦРУ, которое использовало поход за Золотым Руном Духа в собственных целях. Другой участник похода, который привозит на Мальорку необычайно ценный документ XVII столетия – труд мамелюка Кардиоха о парагеометрической структуре Бытия, – оказывается фальсификатором. Автор труда – он сам, а так как опубликовать его он нигде не мог, то пробрался в ряды аргонатов, чтобы при помощи Одиссеева фонда привлечь внимание к своим идеям. Взбешенный Одиссей швыряет манускрипт в огонь, выгоняет жулика в шею и лишь потом, поостыв, начинает задумываться: не уничтожил ли он собственноручно творение гения экстра-класса?! Допекаемый угрызениями совести, он вызывает автора через газеты – увы, тщетно. Другой исследователь, некий Ганс Цоккер, без ведома Одиссея продает на аукционах необычайно ценные документы, которые он отыскал в старинных книгохранилищах Черногории, и, сбежав с выручкой в Чили, бросается в омут азартных игр. Однако и в руки Одиссея попадает немало необычайных трудов, раритетов, рукописей, числившихся погибшими или вообще неизвестных мировой науке. Так, из Архива древних актов в Мадриде прибывают восемнадцать начальных страниц пергаментного манускрипта середины XVI века, в котором предсказаны, методом «троеполюй арифметики», даты рождения восемнадцати знаменитых мужей науки – совпадающие с датами рождения таких ученых, как Исаак Ньютон, Гарвей, Дарвин, Уоллес, с точностью до *одного месяца!* Химические исследования и экспертизы подтверждают подлинность манускрипта, но что с того, если весь математический аппарат, которым пользовался анонимный автор, погиб? Известно лишь, что в его основу был положен принцип – начисто противоречащий

здравому смыслу – о «трех полах» рода людского. Скромным утешением Одиссею служит то обстоятельство, что продажа манускрипта на аукционе в Нью-Йорке серьезно пополнила бюджет экспедиции.

После семи лет поисков архивы штаб-квартиры на Мальорке полны самых удивительных рукописей. Есть среди них увесистый том некоего Миралья Эссоса из Беотии, который изобретательностью превзошел Леонардо да Винчи; после него остались проекты логической машины из спинного мозга лягушек; задолго до Лейбница он додумался до идеи монад и предустановленной гармонии; он применил трехценностную логику к некоторым физическим феноменам; он утверждал, что живые существа рождают подобных себе потому, что в их семенной жидкости содержатся письма, написанные микроскопическими буквами, и комбинации таких «писем» определяют строение взрослой особи; все это – в XV веке. Есть в этих архивах формально-логическое доказательство невозможности Теодицеи, основанной на доводах разума, поскольку в основе любой Теодицеи лежит логическое противоречие; автор упомянутого труда, Баубер по прозвищу Каталонец, был сожжен живьем после отсечения конечностей, вырывания языка и вливания в желудок, через воронку, расплавленного свинца. «Контраргументация сильная, хотя и внелогическая, а следовательно, иноплоскостная», – замечает молодой доктор философии, обнаруживший рукопись. Работа Софуса Бриссенгнаде, который, исходя из аксиом «двунулевой арифметики», доказал возможность построения непротиворечивой теории чисто трансфинитных множеств, получила признание научного мира, но и у нее в конце концов нашлись точки соприкосновения с работами современных математиков.

Итак, Одиссей видит, что пока он обнаруживает лишь предвосхитителей, идеи которых позже были переоткрыты, – другими словами, лишь гениев II класса. Но где же следы усилий первоклассников? Сомнения чужды душе Одиссея – его тревожит лишь опасение, что внезапная смерть (а он уже на пороге старости) не позволит продолжить поиски. Наконец возникает загадка флорентийского манускрипта. Этот найденный в филиале крупной флорентийской библиотеки пергаментный свиток середины XVIII столетия, исписанный загадочными закорючками, поначалу кажется мало кому интересным трудом алхимика-копииста. Но некоторые места напоминают нашедшему рукопись – а это молодой студент-математик – функциональные ряды, в то время, безусловно, никому не известные. Будучи предложен экспертам, трактат оценивается по-разному. Целиком его не понимает никто; одни видят в нем какие-то бредни с редкими проблесками логической ясности, другие – плод болезни; два

знаменитейших математика, которым Одиссей посылает фотокопию рукописи, тоже расходятся во мнениях. Один из них, потратив немало труда, расшифровывает эти каракули примерно на треть, заделывая пробелы собственными догадками; он пишет Одиссею, что речь, правда, идет о концепции – как можно предположить – потрясающей, но лишенной какой-либо ценности. «Существующую математику пришлось бы аннулировать на три четверти и снова поставить с головы на ноги, чтобы всерьез принять этот замысел. Ведь это ни больше ни меньше как проект *другой* математики, нежели та, что создана нами. *Лучше* она или *хуже* – сказать не берусь. Возможно, и лучше; но на то, чтобы это узнать, ушла бы целая жизнь сотни лучших ученых, которые стали бы для флорентийского Анонима тем, чем для Евклида были Больяи, Риман и Лобачевский».

Тут письмо выпадает из рук Гомера Одиссея, и с криком «эврика!» он начинает бегать по комнате, глядящей стеклами окон на лазурный залив. В эту минуту Одиссей понимает, что не человечество навсегда потеряло гениев первого класса – это они потеряли человечество, потому что ушли от него. Сказать, что эти гении просто не существуют, было бы мало: с каждым следующим шагом истории они не существуют *все больше и больше*. Творения забытых мыслителей второй категории никогда не поздно спасти. Стоит лишь отряхнуть их от пыли и отдать в типографии или университеты. Но творений первого класса ничто уже не спасет, ибо они стоят в стороне – вне течения истории.

Общими усилиями человечество прокладывает русло в историческом времени. Обычный гений действует на самом краю русла, у самой кромки, предлагает своему или следующему поколению несколько изменить направление движения, изгиб русла, крутизну склона, глубину дна. Совсем по-иному участвует в работе духа гений первого класса. Он не трудится в первых рядах и не выходит ни на шаг вперед. Он где-то там, вдалеке, – во всяком случае, мысленно. Если он предлагает иной тип математики, философской или естественнонаучной систематики, то речь идет об идеях, никак не соприкасающихся с существующими – ни в единой точке! Если он не будет замечен и выслушан первым или вторым поколением, то потом это окажется совершенно невозможно. Тем временем поток человеческого труда и мысли уже успеет проложить себе русло, пойдет в ином направлении, и разрыв между ним и одинокой изобретательностью гения будет возрастать с каждым столетием. Его никем не замеченные и не выслушанные предложения могли, правда, направить иначе развитие искусства, науки, всей мировой истории, но, раз уж этого не случилось, человечество проглядело не только еще одну необычную личность с ее

духовным багажом – вместе с нею оно проглядело *иную собственную* историю, и тут ничего не поделаешь. Гении I класса – это пути, оставшиеся в стороне, ныне совершенно мертвые и заросшие, не востребуемые выигрыши в лотерее редчайших удач, неистраченные сокровища, в конце концов обратившиеся в прах, в ничто, в пустоту упущенных шансов. Гении меньшего калибра остаются в стремнине истории и видоизменяют ее ход, не отрываясь от общего потока. Оттого-то они и в почете. Другие же, именно потому, что *чересчур велики*, – остаются навеки невидимыми.

Одиссей, потрясенный своим открытием, спешно принимается за новую брошюру, суть которой, изложенная выше, столь же ясна, как и цель Похода. По прошествии тринадцати лет и восьми дней Поход близится к завершению. Труды аргонавтов не прошли впустую: скромный житель Итаки (Массачусетс) опустил в глубины прошлого с горсткой энтузиастов, дабы установить, что единственный ныне живущий гений I класса – Гомер М. Одиссей, ибо величайшего человека в истории лишь столь же великий способен узнать.

Рекомендую книгу Куно Млатье всем тем, кто не думает, что, будь человек лишен пола, не было бы и художественной литературы. На вопрос же, издевается автор над нами или спрашивает дорогу, пусть каждый читатель ответит сам.

**RAYMOND
SEURAT
TOI

D E N O Ë L**

Роман отступает назад, к автору, то есть описание вымышленной действительности заменяет описанием возникновения, вымысла. Это, во всяком случае, происходит в авангардной европейской прозе. Вымысел приелся писателям, они перестали считать его обязательным, он надоел им, они не верят в свое всемогущество; они уже не верят, что после их слов «да будет свет» читателя ослепит сияние. Однако то, что они именно так говорят, что они могут так говорить, не вымысел. Роман, описывающий собственное появление, оказался лишь первым шагом в этой ретиреде; ныне уже не пишут произведений, показывающих свое возникновение, –

регламент конкретного созидания уже весьма тесноват! Пишут о том, что могло бы быть написано... из возникающих в голове замыслов выхватываются отдельные наброски, и странствование среди этих фрагментов, которые никогда не станут текстами в обычном понимании, выглядит сегодня как самозащита. Надо полагать, здесь не последний рубеж, хотя у писателей возникает впечатление, будто эти отступления имеют предел, будто поэтапно они ведут туда, где бодрствует сокровенный, таинственный «абсолютный эмбрион» любого творчества – тот зародыш, из которого могли бы появиться на свет мириады произведений. Но представление о таком эмбрионе – иллюзия. «Первоисточники» настолько недоступны, что на деле их не существует; возвращаться к ним – значит впасть в грех *regressus ad infinitum*^[26]; можно еще написать книгу о том, как пытались писать книгу о том, что хотелось написать, и т.д.

«Ты» Раймона Сера – это попытка выйти из тупика иным образом, не прибегая к очередному отходному маневру, – броском вперед; прежде авторы всегда обращались к читателю, однако не затем, чтобы говорить о нем, Сера же поставил перед собой именно такую задачу. Роман о читателе? Да, о читателе, но уже не роман, поскольку обращение к читателю означает какой-то рассказ, разговор о чем-то – и если не о чем-то (антироман!), то, во всяком случае, непременно для него. Значит, тем самым услужение. Сера считал, что хватит этих извечных служений: он решил взбунтоваться.

Честолюбивая идея, ничего не скажешь. Произведение – бунт против отношений «певец – слушатель», «рассказчик – читатель»? Восстание? Вызов? Но во имя чего? На первый взгляд это кажется бессмыслицей: не хочешь, писатель, служить, рассказывая, – значит, замолчи, и тогда перестанешь быть писателем; выхода из дилеммы нет – в таком случае что за квадратуру круга создал Раймон Сера?

Мне скажется, оформление своего замысла Сера усмотрел у де Сада. Де Сад сначала создавал замкнутый мир – замков, дворцов, монастырей, – чтобы заключенную в нем толпу поделить на палачей и жертв; мучители, получая наслаждение от мук истязуемых, уничтожали их, в скором времени оставались среди своих и, чтобы не останавливаться, должны были начинать самоистребление, которое в эпилоге приводило к герметичному одиночеству самого жизнеспособного из палачей – пожравшего, поглотившего всех и обнаруживающего в этот момент, что он не только *porte parole*^[27] автора, но и сам автор, заключенный в Бастилию маркиз Альфонс Донат де Сад. Остается лишь он, поскольку лишь он не является

плодом вымысла. Сера несколько по-иному увидел эту связь: кроме автора, наверняка есть, всегда должен быть некто не выдуманный по отношению к произведению: читатель. И он сделал именно этого читателя своим героем. Но говорит все же не сам читатель: такое повествование было бы мистификацией, о читателе говорит писатель – отказываясь от служения.

Здесь речь идет о литературе как о духовной проституции – потому именно, что, создавая ее, надо услужать. Нужно добиваться расположения, заискивать, показывать, на что ты способен, демонстрировать мускулатуру стиля, исповедоваться, предполагая в читателе наперсника, отдавать ему самое лучшее, пытаться заинтересовать его, удержать его внимание – одним словом, заигрывать, добиваться подачек, обивать пороги, продаваться – какая мерзость! Когда издатель играет роль сутенера, литератор – проститутки, а читатель – клиента публичного дома, вы, осознав это положение вещей, чувствуете нравственную дурноту. Не решаясь, однако, прямо отказаться от услужения, писатели начинают уклоняться от него: они услужают, но претенциозно; вместо того, чтобы кривляться на потеху публики, – наводят тоску; вместо того, чтобы показывать прекрасные вещи, – назло читателю начинают подсовывать ему мерзости, как если бы взбунтовавшийся повар нарочно портил еду, приготовленную для хозяйского стола, – не нравится, так не ешьте! Как если бы уличная женщина, устав от своего ремесла, но не в силах порвать с ним, перестала бы заговаривать с клиентами, краситься, наряжаться, заискивающе улыбаться, – однако что с того, если она и дальше торчит на углу, готовая пойти с клиентом, хотя бы и надутая, мрачная, злая; это не настоящий бунт, а поддельный, половинчатый, это ложь и самообман – кто знает, не хуже ли он нормальной, солидной проституции, поскольку она, во всяком случае, не заботится о своем облике, не изображает благородства, неприступности, безупречной добродетели!

И что же? Отказаться от службы возможному клиенту, открывающему книгу, как двери борделя, и нахально лезущему внутрь в полной уверенности, что его тут безропотно обслужат, этому верзиле, мерзавцу набить морду, осыпать его бранью и спустить с лестницы? Ну нет, это было бы для него слишком незатейливо, слишком легко, слишком приятно, он поднялся бы, отер лицо, отряхнул пыль со шляпы и отправился бы в соседнее заведение. Наоборот, его нужно затащить внутрь, а уж там задать выволочку. Тогда только он как следует попомнит свой прежний романчик с литературой, эти бесконечные Seitensprung'н^[28] от книжки к книжке. Ну и «creve, canaille!», как восклицает Раймон Сера на одной из первых страниц романа «Ты», – издыхай, мерзавец, но смотри – не подохни слишком рано,

соберись с силами, тебе еще многое придется выдержать, тут ты и заплатишь за свой высокомерно-снобистский промискуитет.

Это любопытно как идея и, быть может, даже как возможность создания своеобразной книги – которой Раймон Сера все же не написал. Он не преодолел дистанции между бунтарским замыслом и художественно достоверным произведением; книга его не имеет композиции и отличается, прежде всего, увы, феноменальной даже для теперешних времен нецензурностью языка. Да, в словотворческой изобретательности автору не откажешь; его барочные обороты иногда затейливы. («Ну, трухлявая башка, кляча гнилозубая, без пяти минут покойник! Сейчас ты получишь все, что причитается, а если думаешь, это похвальба, подойди-ка поближе, увидишь, как я тебя прикончу. Тебе не нравится? Ну, что ж, ничего не попишешь».) Таким образом, нам обещают пытки – изображенные; это не внушает доверия.

В своей «Литературе как тавромахии» Мишель Лери справедливо отметил, что литературное произведение, чтобы быть действенным, должно переступить через многое. Поэтому Лери рискнул скомпрометировать себя в автобиографии, – однако обругать читателя последними словами можно без малейшего реального риска, поскольку условность оскорблений остается непреодоленной; ведь, заявляя, что он не станет больше услужать, что уже не служит, Сера не перестает развлекать нас – следовательно, самым отказом от службы продолжает служить... Он сделал первый шаг, но не двинулся дальше. Может быть, задача, которую он поставил перед собой, неразрешима? Как еще можно было поступить? Обвести читателя вокруг пальца, увлечь его повествованием по ложному пути? Так уже делалось сотни и тысячи раз. При этом проще всего считать, что этот вывихнутый, безумный текст не есть результат обдуманного маневра; он порожден беспомощностью, а не коварством. Можно написать действенную книгу-оскорбление, пойти на присущий такому поступку риск, только имея конкретного, единственного адресата; но тогда это будет письмо. Стремясь оскорбить всех нас, читателей, принизить роль реципиента литературы, Сера никого не задел, он всего-навсего проделал ряд головоломных языковых трюков, которые довольно скоро приедутся. Если пишешь обо всех либо обо всем сразу – пишешь ни о ком и ни для кого. Сера проиграл, поскольку есть одна действительно логичная форма писательского бунта против литературного служения – молчание; все остальные виды мятежа – просто обезьяньи ужимки. Господин Раймон Сера, наверное, напишет другую книгу и тем самым совершенно уничтожит первую, этого не избежать – разве что он станет раздавать

пощечины своим читателям у входа, в книжные лавки. В таком случае ему не откажешь в последовательности поведения – человека, но не писателя, поскольку от провала, каким оказался роман «Ты», спастись нельзя ничем.

Корпорация «Бытие»

**Alistar
Waynewright**



American Library

Нанимая слугу, в его жалованье включают – кроме платы за труд – плату за почтение, положенное хозяину. Нанимая адвоката, кроме юридической помощи, приобретают ощущение безопасности. Тот, кто покупает любовь – а не только лишь ее добивается, – ожидает в придачу нежности и привязанности. В цену авиабилета давно уже включены улыбки и почти что приятельская вежливость хороших стюардесс. Люди готовы платить за *private touch*, то есть за видимость заботливого участия и человеческого тепла, ставших обязательной частью упаковки услуг в любой области жизни.

Однако сама эта жизнь не сводится к общению с домашней прислугой, адвокатами, служащими гостиниц, контор, авиалиний и магазинов. Напротив, человеческие связи и отношения, которые нам дороже всего, остаются вне сферы платных услуг. Через компьютер можно выбрать супруга – но не его поведение после свадьбы. Можно, если денег хватает, купить яхту, дворец, остров – но не события, лелеемые в мечтах: нельзя за деньги блеснуть героизмом или умом, спасти от смертельной опасности прелестное существо, выиграть гонки или получить высокий орден. Доброжелательность, искреннюю симпатию, преданность тоже не купишь; о том, что тоска как раз по таким бескорыстным чувствам преследует всемогущих владык и богачей, свидетельствуют бесчисленные рассказы; те, кто может всё купить или взять силой, в этих сказках отказываются от своего исключительного положения и переодеваются – как Гарун аль-Рашид в облике нищего – отправляются на поиски подлинных человеческих чувств, от которых их ограждали, словно высокой стеной, богатство и знатность.

Итак, если что и не подверглось еще переработке в товар, так это субстанция повседневной жизни – официальной и интимной, публичной и частной, и поэтому всем нам неустанно грозят неудачи, конфузы, разочарования, обиды, знаки пренебрежения, за которые уже нельзя отыграться, словом, случайности личной судьбы; такое положение дел нетерпимо и требует коренных изменений, а возьмется за это судьбостроительная индустрия. Общество, в котором можно купить пост президента (благодаря рекламной кампании), стадо белых слонов в цветочных узорах, стайку девиц, гормональную молодость, может позволить себе упорядочить наконец материю человеческого бытия. Напрашивающиеся возражения (дескать, формы жизни, приобретенные за наличные, будут неподлинными, явно поддельными на фоне неподдельных событий) подсказывает наивность, начисто лишенная воображения. Там, где все дети без исключения зачинаются в колбе и половой акт не имеет естественных в прошлом последствий в виде зачатия, – исчезает граница между сексуальной нормой и отклонением, ведь телесная близость не служит уже ничему, кроме наслаждения. Там же, где жизнь каждого находится под опекой мощных судьбостроительных компаний, исчезает различие между подлинными и втайне подстроенными событиями. Различие между естественными и искусственными приключениями, успехами, неудачами перестает существовать, если нельзя дознаться, что происходит по чистой, а что – по заранее оплаченной случайности.

Такова вкратце идея романа А. Уэйнрайта «Being Inc.» («Корпорация

„Бытие“). Принцип деятельности корпорации – управление на расстоянии; ее местопребывание никому не известно; клиенты связываются с „Бытием“ по почте или по телефону; заказы принимает гигантский компьютер, а их выполнение зависит лишь от банковского счета клиента, от его платежеспособности. Измену, дружбу, любовь, месть, собственное счастье и несчастье других можно приобрести и в рассрочку, в кредит, на льготных условиях. Судьбу детей заказывают родители; но в день наступления совершеннолетия каждый получает по почте ценник, каталог услуг, а также инструкцию фирмы. Инструкция представляет собой написанный популярно, но со знанием дела мировоззренческий и социотехнический трактат, а не обычное рекламное чтение. Прозрачным, высоким стилем там излагается то, что невозвышенно можно изложить следующим образом.

Все люди стремятся к счастью, но стремятся по-разному. Для одних счастье – это превосходство над окружающими, самостоятельность, непрерывное самоутверждение, атмосфера риска и крупной игры. Для других же – подчинение, вера в авторитет, безопасная, мирная и даже ленивая жизнь. Первые склонны к агрессии; вторые – к тому, чтобы подчиняться агрессии. Ибо многим по сердцу состояние тревоги и озабоченности, коль скоро за отсутствием реальных забот они выдумывают себе мнимые. Исследования показали, что активных и пассивных натур примерно поровну. Однако несчастьем старого общества, утверждает инструкция, было то, что оно не умело обеспечить гармонию между врожденными склонностями и жизненной стезей граждан. Сколь часто слепой случай решал, кто победит, а кто проиграет, кому быть Петронием, а кому – Прометеем! Очень сомнительно, что Прометей так уж вовсе не ожидал коршуна у своей печени. В свете новейшей психологии более вероятно, что для того он и похитил с небес огонь, чтобы после его клевали в печень. Он был мазохист; мазохизм, как и цвет глаз, – наследственный признак; стыдиться его не приходится, надо лишь с толком использовать его на благо общества. Раньше, поучает инструкция, слепой жребий решал, кому суждены удовольствия, а кому – лишения; людям жилось прескверно, ведь если ты, желая бить, получаешь побои, а кто-то другой, желая быть излупцованным, вынужденно лупцует тебя – оба вы одинаково несчастны.

Принципы деятельности «Бытия» появились не на пустом месте: матримониальные компьютеры издавна следуют тем же правилам при подборе брачных партнеров. «Бытие» гарантирует клиенту тщательную режиссуру всей жизни с момента совершеннолетия, согласно сценарию, изложенному на бланке заказа. Фирма работает на основе новейших кибернетических, социотехнических и информатических методов.

Пожелания клиентов она выполняет не сразу, ведь люди нередко держатся совершенно превратного мнения о себе и сами не знают, что для них хорошо, а что плохо. Каждый новый клиент подвергается дистанционному психотехническому обследованию; комплекс сверхбыстрых компьютеров диагностирует его личностный профиль и природные склонности. Лишь после этого заказ принимается к исполнению.

Содержания заказа стесняться не следует: оно навсегда остается служебной тайной. Не следует также бояться, что при выполнении заказа пострадают посторонние лица. Как раз для того, чтобы этого не случилось, у фирмы есть электронная голова на плечах. Мистеру Смиуту угодно быть суровым судьей, выносящим смертные приговоры? Пожалуйста – его подсудимыми будут лишь негодяи, по которым плачет веревка. Мистер Джонс хотел бы сечь своих деток, постоянно отказывать им в удовольствиях и при этом искренне считать себя справедливым отцом? Что ж, у него будут жестокие и зловердные дети, на муштровку которых уйдет полжизни. Фирма выполняет любые заказы; лишь изредка приходится ждать своей очереди, например, если хочется собственноручно убить – потому что таких любителей на удивление много. В разных штатах приговоренных к смерти убивают по-разному: где вешают, где отравляют синильной кислотой, а где используют электричество. Желающий вешать попадает в штат, где виселица – законное орудие казни, и не успеет он глазом моргнуть, как временно назначается палачом. Законопроект, который позволит клиентам безнаказанно убивать посторонних в чистом поле, на лужайке или в домашней тиши, еще не обрел силу закона, но фирма настойчиво трудится над реализацией этого новшества. Опытность фирмы в режиссуре событий, подтвержденная миллионами искусственных судебных, преодолет все трудности, стоящие на пути убийств по заказу. Скажем, смертник, заметив, что дверь его камеры приоткрыта, бежит, а сотрудники фирмы, которые только того и ждали, так срежиссируют путь беглеца, что он наткнется на клиента в наиболее подходящих для них обоих условиях: к примеру, попытается скрыться в доме клиента, который как раз заряжает винчестер. Впрочем, каталог возможностей, предлагаемых фирмой, неисчерпаем.

«Бытие» – организация, которой не знала история. Оно и понятно. Брачный компьютер сводил всего только двух человек, не заботясь о том, что с ними станет после заключения брака. А «Бытие» должно срежиссировать целые цепи событий, вовлекая в них тысячи людей. Фирма специально оговаривает, что ее настоящие методы в инструкции *не раскрываются!* Все примеры – чистая фикция! Стратегия режиссуры

абсолютно секретна, чтобы клиент никогда не узнал, что с ним случается естественным образом, а что – благодаря операциям компьютеров «Бытия», незримо пекущихся о его судьбе.

«Бытие» содержит целую армию служащих под видом обычных граждан: шоферов, мясников, врачей, инженеров, домохозяек, грудных младенцев, собак, канареек. Служащие обязаны сохранять анонимность. Тот, кто хоть раз нарушил свое инкогнито, то есть открыл, что он – штатный сотрудник корпорации «Бытие», не только теряет работу, но и преследуется до самой могилы: зная его пристрастия, фирма устроит ему такую жизнь, чтобы он проклял час, когда совершил предательство. На приговор, вынесенный за нарушение служебной тайны, некуда вносить апелляцию, ибо фирма вовсе не утверждает, что сказанное выше – угроза. *Реальные* методы увещевания недобросовестных работников отнесены к числу производственных секретов.

Действительность, изображаемая в романе, отлична от той, что нарисована в рекламной брошюре «Бытия». О самом главном реклама умалчивает. В США действует антимонопольное законодательство, поэтому «Бытие» – не единственный судьбостроитель. У него есть мощные конкуренты, а именно «Hedonistics» («Гедонист») и «Truelife Corporation» (корпорация «Подлинная жизнь»). Это порождает явления, каких не знала история. Если клиенты различных фирм сталкиваются между собой, возникают серьезные трудности при выполнении заказов. Одна из них – тайный паразитизм, ведущий к закамуфлированной эскалации судьботворительных действий.

Допустим, мистер Смит желает блеснуть перед миссис Браун, женой знакомого, которая ему приглянулась, и выбирает по каталогу номер «396б», то есть спасение жизни при крушении поезда. И он, и она не должны потерпеть никакого ущерба, но миссис Браун – только благодаря мужеству Смита. Для этого фирма должна тщательно подготовить крушение и срежиссировать всю ситуацию, чтобы названные лица после серии мнимых случайностей оказались в одном купе; датчики, размещенные в стенах, в полу и подлокотниках кресел, снабдят исходными данными скрытый в туалете компьютер, программирующий операцию, а тот позаботится, чтобы катастрофа разыгралась строго по плану, то есть чтобы Смит *не мог не спасти* миссис Браун. Что бы он ни делал, стенка перевернувшегося вагона будет распорота точно в том месте, где сидит миссис Браун, купе наполнится едким дымом, Смигу, чтобы выбраться наружу, придется сначала выпихнуть через образовавшееся отверстие женщину. Тем самым он предотвратит ее гибель от удушья. Операция эта

не слишком трудна. Несколько десятков лет назад понадобились целых две армии – компьютеров и специалистов, – чтобы посадить лунный челнок в нескольких метрах от заданной точки, а сегодня эту задачу прекрасно решает один компьютер, располагающий множеством датчиков.

Но если «Гедонист» или «Подлинная жизнь» примут заказ от мужа миссис Браун, который потребует, чтобы Смит оказался трусом и негодяем, возникнут непредвиденные осложнения. Благодаря промышленному шпионажу «Жизнь» узнает о планируемой «Бытием» железнодорожной операции; дешевле всего для нее – подключиться к чужому сценарию; именно в этом и состоит «тайный паразитизм». В момент катастрофы «Жизнь» пустит в ход слабый отклоняющий фактор, и этого хватит, чтобы Смит, выталкивая в дыру миссис Браун, наставил ей синяков, порвал платье, а в довершение сломал ей обе ноги.

Через свою контрразведку «Бытие» может провести о паразитическом плане и предпринять контрмеры: так начнется эскалация действий. В переворачивающемся вагоне состоится дуэль двух компьютеров – «Бытия» и «Жизни», одного – скрытого в туалете, другого – допустим, под полом вагона. За потенциальным спасителем женщины и за нею самой как потенциальной жертвой стоят два гиганта электроники и организации. За доли секунды разыграется чудовищная битва компьютеров; трудно даже представить себе, какие огромные силы будут брошены в бой – с одной стороны, для того, чтобы Смит толкал геройски и избавительски, а с другой – чтобы трусливо и членовредительски. Благодаря подключению все новых резервов то, что задумывалось как скромная демонстрация мужества и рыцарских качеств, может стать катаклизмом. В хрониках фирм на протяжении девяти лет отмечены две катастрофы подобного рода – так называемые эскары (Эскалации Режиссуры). После второй, которая обошлась вовлеченным в нее сторонам в девятнадцать миллионов долларов, израсходованных в виде электрической, паровой и водной энергии за каких-нибудь 37 секунд, было заключено соглашение о верхней границе энергозатрат. Они не должны превышать 1012 джоулей на клиенто-минуту; кроме того, при оказании услуг исключаются любые виды атомной энергии.

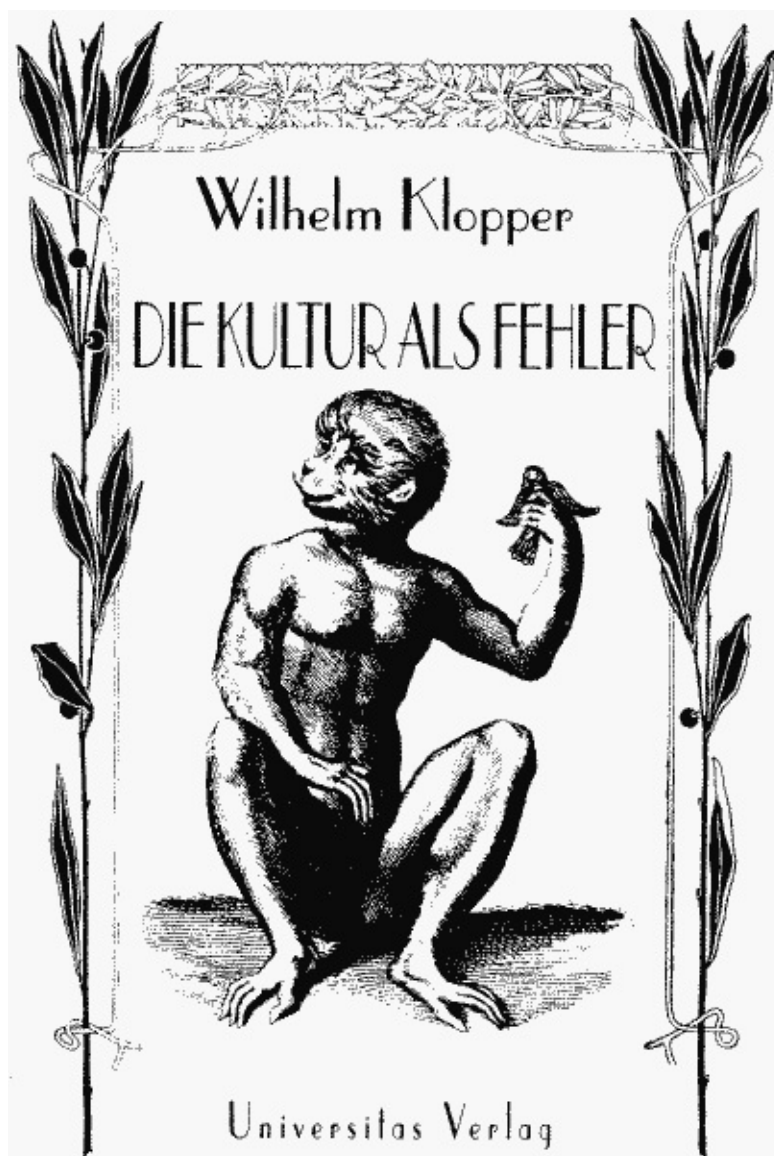
На этом фоне разворачивается фабула романа. Новый президент «Бытия», молодой Эд Хаммер III, должен лично рассмотреть вопрос о заказе миссис Джессамин Чест, эксцентричной миллионерши: ее требования, необычайные и каталогом не предусмотренные, выходят за рамки компетенции всех уровней администрации фирмы. Джессамин Чест желает абсолютно подлинной жизни, свободной от каких бы то ни было

судьбостроительных вставок; за исполнение своего желания она заплатит любую цену. Эд Хаммер, вопреки советам своих экспертов, принимает вызов; задание, поставленное им перед штабом фирм – срежиссировать полное отсутствие режиссуры, – оказывается самым трудным из всех, какие только приходилось решать. Исследования обнаруживают, что ничего похожего на стихийность и подлинность жизни давно уже нет. Устранение приготовлений режиссуры любого эпизода лишь открывает более глубокий слой – следы другой режиссуры, еще более ранней; несрежиссированных событий нет даже в самом «Бытии». Оказывается, что три конкурирующие фирмы полностью друг друга зарежиссировали, внедрив своих людей в администрацию и наблюдательные советы соперников. Обеспокоенный угрозой, таящейся в этом открытии, Хаммер обращается к президентам двух компаний-соперников; на тайном совещании в качестве экспертов выступают специалисты, имеющие доступ к главным компьютерам. Эта встреча позволяет наконец установить истинное положение дел.

Мало того, что в 2041 году на всей территории США никто уже не может съесть цыпленка, влюбиться, вздохнуть, выпить виски, не выпить пива, кивнуть, моргнуть, плюнуть без верховного электронного планирования, устроившего предустановленную гармонию на годы вперед, но вдобавок корпорации с доходом в три миллиарда каждая в ходе конкурентной борьбы создали, сами того не зная, Единого в Трех Лицах Всемогущего Судьбостроителя. Программы компьютеров отныне – Скрижали Судьбы; делу судьбостроения служит все – от политических партий до метеорологии; и даже появление на свет Эда Хаммера III было следствием определенных заказов, а те, в свою очередь, – еще более ранних заказов. Никто не может ни родиться, ни умереть спонтанно, и никто уже ничего не переживает просто так, сам по себе: любая мысль, любые тяготы, страхи, страдания суть звенья алгебраической компьютерной калькуляции. Понятия вины и кары, моральной ответственности, добра и зла отныне пусты; полная режиссура жизни исключает любые внебиржевые ценности. В компьютерном раю, созданном благодаря стопроцентному использованию человеческих качеств и свойств, включенных в безотказную систему, не хватало лишь одного – осознания его обитателями истинного положения дел. Так что и встреча трех президентов была запланирована главным компьютером, который, сообщив им все это, рекомендует себя самого как электрифицированное Древо Познания. Что же дальше? Отказаться от безупречно срежиссированного бытия? И снова сбежать из рая, дабы «начать все сначала»? Или примириться с ним, раз навсегда сложив с себя бремя ответственности?

Книга не отвечает на этот вопрос. Перед нами метафизический гротеск, фантастичность которого, однако, имеет корни в реальном мире. Если отбросить комические перехлесты и крайности авторской фантазии, останется проблема манипулирования умами – такого, при котором сохраняется субъективное ощущение полной естественности и свободы. Все это, конечно, не сбудется так, как в романе, но неизвестно, уберегутся ли наши потомки от иных облиций того же феномена – быть может, не столь увлекательных в описании, но не уверен, что менее удручающих.

Культура как ошибка



Сочинение приват-доцента В. Клоппера «Культура как ошибка», несомненно, заслуживает внимания как оригинальная антропологическая гипотеза. Но прежде чем перейти к сути дела, не могу удержаться от замечания о форме изложения. Эту книгу мог написать только немец! Склонность к классификации, к тому безупречному порядку, который породил бесчисленные справочники, превратила немецкую душу в конторскую ведомость. Дивясь бесподобной композиции, которой блистает эта книжка, нельзя не задуматься о том, что если бы Господь Бог был немцем, то наш мир, возможно, не стал бы лучше, но зато олицетворял бы

собой муштру и порядок. Безукоризненность формы изложения просто подавляет – хотя нет никаких замечаний и по существу. Здесь не место вдаваться в пространные рассуждения о том, не оказало ли пристрастие к армейскому уставному строю, симметрии, равнению направо воздействия на выбор некоторых тем, типичных для немецкой философии и особенно – для ее онтологии. Гегель любил космос как Пруссию, ибо в Пруссии был порядок! Даже такой одержимый эстетикой мыслитель, как Шопенгауэр, в своем сочинении «Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde»^[29] продемонстрировал, как муштра влияет на стиль. А Фихте? Однако я вынужден лишить себя удовольствия – отклонений от темы, – что для меня особенно нелегко, ибо я не немец. Ну что же, к делу!

Клоппер снабдил свой двухтомный труд предисловием, введением и вступлением. (Идеал формы – триада!) Приступая к существу вопроса, он сначала обсуждает то представление о культуре как ошибке, которое считает неверным. Согласно этой, неверной, как утверждает автор, теории, характерной для британской школы, представленной главным образом Уистли и Сэдботтхэмом, любая форма поведения любого организма, которая не помогает и не мешает ему выжить, есть ошибка. Ведь для эволюции единственный критерий разумности поведения – это способность выжить. Животные, которые ведут себя так, что выживают успешнее других, поступают, согласно этому критерию, более разумно, чем те, которые вымирают. Беззубые травоядные с эволюционной точки зрения бессмысленны, ибо, едва родившись, должны погибнуть от голода. По аналогии с этим травоядные, которые хоть и имеют зубы, но жуют ими не траву, а камни, тоже эволюционно бессмысленны, поскольку и им суждено исчезнуть. Далее Клоппер цитирует известный пример Уистли: допустим, говорит английский автор, что в каком-то стаде павианов некий старый павиан, вожак стада, по чистой случайности начинает поедать птиц, как правило, с левой стороны.

Допустим, у него был искалечен палец правой руки, и, поднося птичку к зубам, он старался держать добычу левым боком кверху. Молодые павианы, перенимая повадки вожака, чье поведение является для них образцом, начинают ему подражать, и вот вскоре, то есть через одно поколение, все павианы этого стада начинают поедать пойманных птиц с левой стороны. С точки зрения адаптации это поведение бессмысленно, ибо павианы с одинаковой для себя пользой могут приниматься за добычу с любой стороны, тем не менее в этой группе зафиксирован именно такой стереотип поведения. Что же он собой представляет? Он представляет собой зародыш культуры (протокультуру) как поведения, бессмысленного

для адаптации. Как известно, эту концепцию Уистли развил уже не антрополог, а философ английской школы логического анализа Дж. Сэдботтхэм, чьи взгляды, перед тем как оспорить их, автор излагает в следующем разделе («Das Fehlerhafte der Kulturfehlertheorie von Joshua Sadbottham»^[30]).

В своем программном сочинении Сэдботтхэм заявил, что человеческие сообщества создают культуру в результате ошибок, неудачных попыток, промахов, заблуждений и недоразумений. Люди, намереваясь сделать одно, в действительности делают совсем другое; стремясь досконально разобраться в механизме явлений, они толкуют их неверно; в поисках истины скатываются ко лжи – и так возникают обычаи, нравы, святыни, вера, тайна, маны^[31]; так возникают заветы и запреты, тотемы и табу. Придумают люди неверную классификацию окружающего мира – и появится тотемизм, создадутся неверные обобщения – и возникнет сначала понятие маны, а потом – абсолюта. Проникнутся люди ложными представлениями о строении собственного тела – и возникнет понятие греха и добродетели; будь гениталии подобны бабочкам, а оплодотворение – пению (при этом передатчиками наследственной информации были бы определенные колебания воздуха), эти понятия оказались бы совсем иными! Люди вдыхают жизнь в абстракцию – и возникает представление о божестве, занимаются плагиатом – и возникает эклектическое смешение мифов, чем, по существу, являются все основные религии. Словом, поступая бог весть как, неправильно, *несовершенно* с точки зрения приспособляемости, ложно оценивая поведение других людей, собственного тела, сил природы, считая predetermined то, что произошло ненароком, а то, что predetermined, – чистой случайностью, то есть выдумывая все больше несуществующих явлений, люди обстраиваются культурой, по ее понятиям переиначивают картину мира, а потом, по прошествии тысячелетий, еще и удивляются, что им в этой тюрьме недостаточно удобно. Начинается это всегда невинно и на первый взгляд даже несерьезно, как у тех павианов, что съедают птичек, надкусывая их всегда с левой стороны. Но когда из этих пустяков возникнет система понятий и ценностей, когда ошибок, несуразностей и недоразумений наберется достаточно, чтобы, говоря языком математики, они смогли создать *замкнутую систему*, человек уже сам станет пленником того, что, являясь, по сути, совершенно случайным собранием всякой всячины, представляется ему высшей необходимостью.

Будучи эрудитом, Сэдботтхэм подкрепляет свои утверждения

множеством примеров, заимствованных из этнологии; помнится, его сопоставления также в свое время наделали много шума, особенно таблицы «случайность и необходимость», где он сопоставил все ошибочные толкования, которые культура дает ряду явлений. В самом деле, многие культуры гласят, что человек смертен к силу некой случайности; человек, как утверждается, сначала был бессмертен, но затем лишился бессмертия либо за грехи, либо из-за вмешательства чьей-то злой воли; и, наоборот, случайное – сформированный в ходе эволюции физический облик человека – все культуры возвели в ранг обусловленной необходимости, вследствие чего основные религии и по сей день утверждают, что человек по строению тела неслучаен, ибо создан по образу и подобию Божьему.

Критика, которой доцент Клоппер подвергает гипотезу своего английского коллеги, не является ни новой, ни оригинальной. Будучи немцем, Клоппер разделил эту критику на две части: имманентную и позитивную. В имманентной он только отрицает положения Сэдботтхэма, эту часть мы опустим как малосущественную, поскольку в ней повторяются критические замечания, уже известные из специальной литературы. Во второй, позитивной части критики Вильгельм Клоппер переходит наконец к изложению собственной контргипотезы «культуры как ошибки».

Свое изложение он начинает, на наш взгляд, весьма удачно и эффектно – с наглядного примера. Различные птицы выют гнезда из разных материалов. Более того, одна и та же порода птиц в разных местностях не сооружает гнезд из одинакового материала, поскольку полностью зависит от того, что найдет поблизости. Какой именно строительный материал – травинки, кусочки коры, листья, ракушки, камешки – птице легче отыскать, зависит от случая. Поэтому в одних гнездах будет больше ракушек, а в других – камешков, одни будут построены в основном из полосок коры, тогда как другие – из перышек и мха. Но хотя строительный материал, несомненно, сказывается на форме гнезда, все же нельзя утверждать, что гнезда являются результатом чистой случайности. Как гнезда есть орудие адаптации, хотя они строятся из случайно найденных кусочков чего попало, так и культура – это также орудие адаптации. Однако – в чем и заключается новая мысль автора – эта адаптация принципиально отличается от той, что присуща растительному и животному миру.

«Was ist der Fall?» («Каково же истинное положение дел?») – спрашивает Клоппер. Положение таково: в человеке, как в существе телесном, нет ничего обязательного. Согласно современной биологической

науке, человек *мог бы* оказаться не таким, как в действительности, он мог бы жить в среднем не шестьдесят, а шестьсот лет, иметь иначе сформированное туловище, конечности, иметь другой аппарат продления рода, другой тип системы пищеварения: к примеру, мог быть строгим вегетарианцем, откладывать яйца, мог быть двоякодышащим, мог бы проявлять способность к размножению только раз в году, во время гона, и так далее. Правда, у человека есть одно свойство, которое настолько обязательно, что без него он не был бы человеком. А именно: человек обладает мозгом, способным к созданию речи и мышления, и, рассматривая свое тело и судьбу, которая этим телом определяется, человек покидает сферу таких размышлений крайне неудовлетворенным. Живет он недолго, к тому же много времени отнимает несознательное детство; годы самой плодотворной зрелости составляют лишь малую долю всей жизни; едва достигнув расцвета, человек начинает стареть, а в отличие от всех прочих созданий он знает, к чему приводит старость. В условиях естественной эволюции жизнь находится под постоянной угрозой и, чтобы выжить, нужно всегда быть настороже; поэтому эволюция очень сильно развила во всем живом болевые ощущения; *страдания* служат сигнализацией, побуждающей прибегнуть к мерам самосохранения. Зато в эволюции не было никаких причин, никаких влияющих на организмы сил, которые могли бы компенсировать это положение «по справедливости», снабдив организм в соответствующем количестве органами удовольствий и наслаждений.

Никто не станет возражать, продолжает Клоппер, что муки, вызванные голодом, жаждой или пыткой удушьем, несравненно более остры, чем удовлетворение от нормального акта дыхания, еды или питья, исключением из этого всеобщего правила асимметрии мук и наслаждений является секс. Но это и понятно. Если бы мы не разделялись на два пола или если бы наш генитальный аппарат был организован, как, скажем, у цветов, то он функционировал бы вне всяких позитивных чувственных ощущений, ибо тогда поощрение к активности было бы совершенно излишне. То, что существует сексуальное наслаждение и что над ним воздвигнуты невидимые дворцы царства любви (Клоппер, как только перестает придерживаться сугубо делового стиля, сразу же становится сентиментально восторженным!), проистекает единственно из факта существования двух полов. Представление о том, что *homo hermafroditicus*, существуй он взаправду, любил бы себя эротически, ошибочно. Ничего подобного, он бы заботился о себе исключительно в рамках инстинкта самосохранения. То, что мы называем комплексом Нарцисса и

представляем себе как влечение, которое гермафродит ощущает к самому себе, в действительности является вторичной проекцией, последствием рикошета: такой индивид мысленно помещает в собственном теле образ внешнего идеального партнера (далее следует семьдесят страниц глубокомысленных рассуждений о возможных вариантах формирования сексуальной природы человека при наличии одного, двух и даже более полов, однако мы опустим и это обширное отступление).

Какое отношение ко всему этому имеет культура? – спрашивает Клоппер. Культура – это орудие адаптации нового типа, ибо она не столько *сама* возникает из случайностей, сколько служит тому, чтобы все, что в наших условиях является *случайным*, засияло в ореоле высшей и совершенной необходимости. А это означает, что культура – посредством созданных ею же религий, законов, заветов и запретов – действует так, чтобы *недовольство* превратить в *идеал*, минусы в плюсы, недостатки в достоинства, убогость в совершенство. Страдания нестерпимы? Да, но они облагораживают и даже спасают. Жизнь коротка? Да, но загробная жизнь длится вечно. Детство убого и бессмысленно? Да, но зато невинно, ангелоподобно и почти свято. Старость отвратительна? Да, но это приготовление к вечности, а кроме того, стариков надо почитать за то, что они старые. Человек – это чудовище? Да, но он в том не виноват, тому виною грехи предков или же дьявол, который вмешался в деяния Божьи. Человек не знает, к чему стремиться, ищет смысл жизни, несчастлив? Да, но это обратная сторона свободы, ведь свобода является наивысшей ценностью, и не беда, если за обладание ею приходится дорого платить, ибо человек, лишенный свободы, был бы еще более несчастным! Животные, замечает Клоппер, не отличают падали от экскрементов; и то и другое для них лишь отходы жизненных процессов. Для последовательного материалиста сопоставление трупов с экскрементами должно быть столь же естественным. Однако от последних мы избавляемся незаметно, а от первых – с помпой, торжественно, обряжая во множество дорогих и сложных упаковок. Этого требует от нас культура как система условностей, которые помогают нам примириться с неприемлемыми для нас явлениями. Торжественные похоронные ритуалы – это лишь способ заглушить наш естественный протест против того позорного факта, что человек смертен. Ибо *действительно* постыдно, что разум, который целую жизнь наполняется все более обширными познаниями, в конце концов исчезает в луже гнили.

Стало быть, культура – это оправдательница всех возражений, возмущений, претензий, какие человек мог бы предъявить естественной

эволюции, всем этим свойствам плоти, случайно возникшим и по случайности роковым, которые без спросу и согласия ему передали как наследие длившегося миллиарды лет процесса приспособления к сиюминутным нуждам. И вот с этим дрянным наследством, с этим балаганным сбродом недугов и наследственных хворей, растыканных по клеткам, скрепленных костями, перевязанных сухожилиями и мышцами, культура, рядясь в живописную тогу профессионального казенного адвоката, пытается нас примирить с помощью бесчисленных уловок, прибегая к аргументам, внутренне противоречивым, взывая то к чувствам, то к разуму, ибо для нее все способы убеждения хороши, лишь бы достичь своей цели: переделать плюсы в минусы, нашу нищету, наши увечья, наше убожество – в добродетель, совершенство и явную необходимость.

Монументальными аккордами стиля, в меру возвышенного и в меру строгого, завершается первая часть трактата доцента Клоппера, вкратце изложенная нами здесь. Вторая часть объясняет, сколь важно понимание истинного назначения культуры для того, чтобы человек мог надлежащим образом принять провозвестников будущего, которое он сам себе подготовил, создав научно-техническую цивилизацию.

Культура – это ошибка! – возглашает Клоппер, и лаконичность этого утверждения вызывает в памяти шопенгауэровское «Die Welt ist Wille!»^[32]. Культура – это ошибка, но не в том смысле, что она якобы возникла случайно, нет, ее возникновение было неизбежно, ибо, как следует из первой части, она способствует адаптации. Однако воздействие культуры *умозрительно*: ведь она не переделывает человека силой религиозных догм и заветов в существо *действительно* бессмертное, она не создает для человека случайного, *homini accidentali*, *реального* Бога-Творца, она, по существу, не отменяет ни малейшей частицы индивидуальных страданий, горестей и мук (Клоппер и здесь верен Шопенгауэру!) – все это она совершает лишь в сфере духа, толкований, интерпретаций; она наполняет смыслом то, что во внутренней своей сущности не имеет ни малейшего смысла, она отделяет грех от добродетели, благодеяние от подлости, позор от величия.

Но вот техническая цивилизация, поначалу мелкими шажками, мало-помалу продвигаясь вперед на примитивных тарактелках, подползла под культуру – и задрожало здание, треснули стены хрустального ректификатора, ибо техническая цивилизация обещает *подправить* человека, *оптимизировать* его тело, его мозг, его душу; эта внезапно нахлынувшая исполинская сила (информация, что копилась веками и извергнулась в двадцатом веке) провозглашает возможность долгой жизни,

граничащей с бессмертием, возможность быстро созревать и совсем не стареть, возможность бесчисленных физических наслаждений и сведения к нулю мук и страданий как «естественных» (старческих), так и «случайных» (связанных с болезнями), она провозглашает возможность свободы повсюду, где ранее слепой случай был обвенчан с неизбежностью (например, свободы подбирать черты характера человека, усиливать таланты, способности, ум, придавать телу человека, его лицу, мышлению произвольные формы, функции, при желании даже вечные, и так далее).

Что же надлежало бы сделать перед лицом этих обещаний, подкрепленных тем, что уже осуществлено? Пуститься в победный пляс, а культуру, эту клюку для увечных, костыль для хромых, кресло для паралитика, этот груз лет, отягчающий позор нашего тела, убожество нашего изнурительного существования, эту отработавшую свой век служанку, должно признать всего лишь анахронизмом. Ибо нуждаются ли в протезах те, у кого могут вырасти новые конечности? Надо ли слепцу судорожно прижимать к груди свою белую палочку, если мы вернем ему зрение? Должен ли желать возвращения слепоты тот, кому сняли с глаз бельмо? Не лучше ли поскорее снести весь этот ненужный хлам в музей прошлого, чтобы упругим шагом направиться к ожидающим впереди трудным, но прекрасным задачам и целям? Пока природа наших тел – их медленный рост, их быстрый износ – была непробиваемой стеной, неприступной крепостью, границей существования, до тех пор культура помогала бесчисленным поколениям приспособляться к этому неотвратимому положению. Она примиряла с ним, более того, это она, как доказывает автор, превращала изъяны в преимущества, недостатки в достоинства подобно тому, как некто, обреченный ездить на разваливающейся на ходу, скверной и жалкой машине, постепенно полюбил бы ее убогость, стал искать в ее неуклюжести воплощения высшего идеала, в ее непрестанных поломках – законы природы и мироздания, в ее чихающем моторе и скрежещающих шестернях – деяния самого Господа Бога. Пока на примете нет никакой другой машины, это вполне правильная, вполне подходящая, единственно верная и даже разумная политика. Несомненно! Но теперь, когда на горизонте появился новый сверкающий лимузин? Теперь цепляться за поломанные спицы, приходить в отчаяние от одной только мысли, что придется расстаться с этим уродством, взывать о помощи перед лицом безупречной красоты новой модели? Конечно, психологически это понятно. Ибо слишком долго – тысячелетиями! – длился процесс подчинения человека собственному эволюционно сложившемуся естеству, это гигантское многовековое усилие,

направленное на то, чтобы полюбить данную форму существования во всей ее нищете и безобразии, в ее убожестве и физиологических бессмыслицах.

В продолжение всех сменяющих друг друга культурных формаций человек столько всего нагородил вокруг этого, так сам себя загипнотизировал, так убедил себя в окончательности, единственности, исключительности, а главное, безальтернативности своей участи, что теперь при виде избавления от нее пятится, дрожит, закрывает глаза, испускает тревожные крики, отворачивается от своего технического спасителя, хочет сбежать все равно куда, хоть на четвереньках в лес, хочет этот благоуханный цветок науки, это чудо познания сломать собственными руками, растоптать и стереть в порошок, только бы не сдать в утиль давно устаревшие ценности, которые он вскормил собственной кровью, взлелеял во сне и наяву, пока сам себя не заставил полюбить их! Но эти бессмысленные поступки, этот шок, этот ужас с любой разумной точки зрения просто-напросто глупость.

Да, культура – это ошибка! Но лишь в том смысле, в каком было бы ошибкой закрывать глаза при виде света, отвергать лекарства при недуге, требовать ладана и магических заклинаний, когда у постели больного стоит ученый лекарь. Этой ошибки не существовало, ее просто не было до тех пор, пока не появилось и не поднялось на надлежащую высоту познание; эта ошибка – всего лишь запирательство, ослиное упрямство, отвращение, судороги ужаса, которые современные «мыслители» называют интеллектуальным анализом всемирных перемен. Культуру, эту систему протезов, надлежит отвергнуть, чтобы отдать себя под опеку знаний, которые переделают нас, доведя до совершенства, причем эта безупречность будет не выдуманной, не внушенной, не выведенной из хитросплетения внутренне противоречивых понятий и догм, а сугубо деловой, материальной, совершенно объективной, ибо само существование станет совершенным, а не только его истолкование, его интерпретация! Культуре, этой оправдательнице творческой бездарности эволюции, этому адвокатишке, ведущему заведомо проигранное дело, этому защитнику примитивности и соматической небрежности, надлежит удалиться прочь, когда дело переходит в иные, более высокие инстанции, когда разваливается крепостная стена дотоле нерушимых понятий. Технический прогресс уничтожает культуру? Дает свободу там, где ранее царил деспотизм биологии? Именно так! И вместо того, чтобы омыwać слезами свою темницу, нужно ускорить шаг, чтобы выйти из сей мрачной обители. И тогда (это размеренными заключительными аккордами начинается финал) все, что говорится об угрозе, которую несет традиционной культуре

новая технология, – правда. Но не нужно этого бояться, не нужно штопать рвущуюся по швам культуру, скреплять ее догмы булавками, противиться вторжению нового знания в нашу плоть и жизнь. Культура останется ценностью, но ценностью иного рода, а именно исторической. Ведь это она была той огромной теплицей, тем материнским лоном, тем инкубатором, в котором расплодились изобретения, в муках породившие науку. И это естественно: как развивающийся зародыш поглощает безжизненное и бездеятельное вещество яичного белка, так развивающаяся техника поглощает, переваривает и претворяет в собственную плоть культуру, ибо именно такова судьба яйца и его зародыша.

Мы живем в переходную эпоху, говорит Клоппер, и никогда не бывает так невыразимо трудно оценить и пройденный путь, и то, что еще предстоит, как в переходные моменты, потому что это – времена полной неразберихи в понятиях. Но процесс начался, он неотвратим. Во всяком случае, не следует полагать, что переход от биологического рабства к свободе самосозидания свершится мгновенно. Усовершенствовать себя раз и навсегда человеку не удастся, и процесс самопеределки будет длиться веками.

«Смею заверить читателя, – продолжает Клоппер, – что проблема, над которой бьется гуманист, придерживающийся традиционных взглядов, испуганный научной революцией, – это всего лишь тоска собаки по отобранному ошейнику. Вся проблема сводится к вере в то, что человек представляет собой клубок противоречий, от которых он не может избавиться даже тогда, когда это технически доступно, – иными словами, что нам нельзя перекраивать тело, ослаблять агрессивность, усиливать интеллект, уравнивать эмоции, переиначивать секс, избавлять человека от старости, от родовых мук, а нельзя потому, что ранее этого никогда не делали, а то, чего никогда не делали, уже именно поэтому плохо. Гуманиста приводит в ужас необходимость излагать причины современного состояния человеческого духа и тела в соответствии с данными науки – как произвольную длинную цепь лотерейных выигрышей и проигрышей, многовековых конвульсий эволюционного процесса, которым вертели во все стороны различные землетрясения, великие оледенения, взрывы звезд, смена магнитных полюсов и прочие бесчисленные происшествия. Все, что эволюция по воле жребия нагромодила сначала у животных, а затем у антропоидов, что свалили в одну кучу отбор и селекция, что изо дня в день закреплялось в генах подобно случайной комбинации костей, брошенных на игорный стол, нас понуждают признать неприкосновенной святыней, нерушимой во веки веков, даже толком не объясняя почему. Можно

подумать, что для культуры оскорбителен наш вывод о ее работе, заведомо почтенной, об этом самом большом, самом трудном, самом невероятном и самом лживом из всех обманов, которыми обзавелся homo sapiens, за которые он ухватился, вытолкнутый на простор разумного существования из сомнительного притона, где продолжается мошенничество генов, где эволюционный процесс закрепляет в хромосомах свою шулерскую манеру передергивать карты; и впрямь, эта игра – всего лишь гнусное жульничество, которое никогда не стремилось к какому-либо высшему благу или цели, ведь в этом логове главное – выжить *сегодня*, и никому нет дела до того, что станет *завтра* с существом, которому удалось выжить лишь в силу компромисса, беспринципности – иными словами, позорно и унижительно. И поскольку все происходит совсем не так, как воображает себе трясущийся от страха гуманист, этот тупица, этот неуч, который без всяких на то оснований называет себя рационалистом, культура будет размыта, раздроблена, разобрана и исправлена согласно тем переменам, которым подвергнется человек. Там, где жизнь зависит от жульничества генов, от компромиссов адаптации, там нет никакой тайны, а есть лишь тяжкое похмелье одураченных, изжога, доставшаяся еще от предка – обезьяны; это – восхождение на небо по воображаемой лестнице, с которой в конце концов всегда падаешь вниз, схваченный за пятки биологией, и не важно, будешь ты приделывать себе птичьи перья или божественный нимб, придумывать непорочное зачатие или опираться на честно проявленный героизм. Итак, все необходимое останется нетронутым, исчезнет лишь, постепенно отмирая, строительный мусор предрассудков, толкований, уверток, втирания очков – словом, всей той казуистики, за которую испокон веков цеплялось несчастное человечество, чтобы приукрасить свое опостылевшее состояние. Из облаков информационного взрыва в грядущем веке явится Homo Optimisans Se Ipse, Autocreator, Самосозидатель, который посмеется над нашими кассандрами (если только ему будет чем смеяться). Мы должны приветствовать эту возможность, мы безусловно должны признать ее счастливым стечением космическо-планетных обстоятельств, а не биться в истерике от ужаса перед силой, которая сведет нас с эшафота, чтобы разбить оковы, которые носит каждый из нас, ожидая, когда иссякнет наконец источник наших физических сил, когда нас настигнет агония самоудушения. И даже если весь мир по-прежнему будет ратовать за то положение, которым эволюция заклеила нас – страшнее, чем мы клеймим последнего преступника, – я никогда с этим не соглашусь и даже со смертного ложа буду хрипеть: «Долой эволюцию, да здравствует самосозидание!»

Пространное изложение, цитатой из которого мы завершаем наш разбор, крайне поучительно. А поучительно оно прежде всего тем, что лишний раз доказывает: в мире нет явного для одних людей воплощения зол и несчастий, которого другие в то же время не могли бы считать олицетворенной благодатью и превозносить до небес. Как полагает рецензент, техноэволюцию нельзя считать панацеей от всех бед хотя бы потому, что критерии оптимизации слишком сложно связаны между собой, чтобы считать их универсальным средством (то есть заведомо безупречным практическим кодексом благих деяний). Во всяком случае, мы рекомендуем вниманию читателей книгу «Культура как ошибка», ибо она является еще одной типичной для нашего времени попыткой распознать будущее – все еще туманное, несмотря на совместные усилия футурологов и подобных Клопперу мыслителей.

О невозможности жизни; о невозможности прогнозирования



Автор, поименованный на обложке Цезарем Коуской, подписывает предисловие уже как Бенедикт Коуска. Ошибка набора, недосмотр корректуры или же намеренное – хотя и непонятное – коварство? Лично мне симпатичнее имя Бенедикт, его-то я и буду придерживаться. Итак – профессору Б. Коуске я обязан несколькими приятнейшими часами своей жизни, проведенными за чтением его труда. Здесь излагаются взгляды, безусловно противоречащие научной ортодоксии; в то же время и речи нет о чистом безумии; книга находится на полпути между тем и другим, в той

промежуточной зоне, где нет ни дня, ни ночи, а разум дает поблажку фантазии, однако же не настолько, чтобы впасть в бессмыслицу.

Профессор Коуска написал книгу, в которой доказывает неизбежность такой постановки вопроса: либо теория вероятностей, на которой покоится естествознание, в корне неверна, либо никакого животного мира во главе с человеком не существует. Во втором томе профессор доказывает: чтобы прогностика, или футурология, перестала быть чистой иллюзией, намеренным или ненамеренным очковитирательством и стала реальностью, эта научная дисциплина должна отказаться от теории вероятностей в пользу совершенно новой теории, основанной, как пишет Коуска, «на антиподиальных аксиомах базовой теории распределения фактуально небыточных ансамблей в пространственно-временном континууме высшего порядка» (эта цитата, кстати, показывает, что чтение книги – в ее теоретической части – связано с известными трудностями).

Бенедикт Коуска начинает с того, что теория эмпирической вероятности изначально дефектна. К понятию вероятности мы прибегаем, когда не знаем чего-либо с полной уверенностью. Но неуверенность эта носит либо чисто субъективный характер (я не знаю, что произойдет, но кто-то другой, возможно, и знает), либо объективный (никто не знает и знать не может). Субъективная вероятность – это протез при информационном увечье; не зная, какая лошадь возьмет приз, и угадывая лишь по числу лошадей (если их четыре, то у каждой один шанс из четырех на победу), мы поступаем, как слепой в комнате, заставленной мебелью. Вероятность подобна трости слепца, которой он нащупывает дорогу. Если бы он видел, то не нуждался бы в палке, а если бы я знал, какая лошадь резвее всех, то не нуждался бы в теории вероятностей. Как известно, спор о том, объективно или субъективно понятие вероятности, делит научный мир на два лагеря. Одни признают существование обоих родов вероятности, о которых сказано выше, другие – лишь субъективную вероятность, поскольку, чему бы ни предстояло случиться, мы не можем с достоверностью об этом узнать. Итак, одни полагают, что непредсказуемость будущих событий характеризует лишь наши знания о них, другие – что сами эти события.

То, что случается, если на самом деле случается, – то и случается; таков главный тезис профессора Коуски. Вероятность появляется лишь там, где нечто еще не успело случиться. Так утверждает наука. Но любому понятно, что если пули двух дуэлянтов расплющиваются друг о друга в полете, или вы ломаете зуб о перстень, уроненный вами в море шесть лет назад и проглоченный как раз той рыбой, что подана к столу, или во время

осады города на складе кухонной утвари звучит, в темпе три четверти, сонатина си-бемоль мажор Чайковского, исполняемая шрапнелью, которая тюкает по большим и малым кастрюлям в точном согласии с партитурой, – что все это, если бы и случилось, крайне маловероятно. Наука по этому поводу говорит, что подобные факты содержатся – хотя и с мизерной частотой – в математическом множестве событий данного рода, то есть во множестве всех дуэлей, во множестве поедания рыб и нахождения в них потерянных когда-то вещей, а также во множестве обстрелов посудных лавок шрапнелью.

Но наука, продолжает профессор Коуска, просто морочит нам голову, поскольку рассуждения о таких множествах – чистая фикция. Теория вероятностей только и может, что вычислить, как долго придется ждать некоего события с определенной, крайне малой вероятностью, или сколько раз пришлось бы стреляться на дуэли, терять перстни и палить по кастрюлям, чтобы сбылись упомянутые выше невероятности. Но все это вздор – чтобы произошло нечто крайне маловероятное, вовсе не нужно, чтобы множество событий, к которому оно принадлежит, представляло собой непрерывную серию. Если я бросаю десять монет разом, зная, что вероятность выпадения одновременно десяти орлов или десяти решек составляет лишь $1:1024$, мне вовсе не обязательно бросать по меньшей мере 1024 раза, чтобы вероятность выпадения десяти орлов или решек стала равна единице. Ведь я всегда могу сказать, что мои бросания – продолжение эксперимента, в который входят все прошлые бросания десяти монет сразу. За последние пять тысяч лет их было, конечно, без счету, и я, собственно, вправе ожидать, что с первого же раза выпадут сплошные орлы или решки. Между тем, говорит профессор Коуска, попробуйте-ка построить свои ожидания на этом выводе! С научной точки зрения он совершенно логичен, ведь, как ни бросай – безостановочно или делая минутные перерывы, чтобы съесть кнедлик или опрокинуть рюмку в трактире, и даже если бросать будет не один человек, а всякий раз новый, и не в один день, а раз в неделю или в год, – все это никак не влияет на распределение вероятностей; поэтому то обстоятельство, что десять монет бросали уже финикийцы, сидя на бараньих шкурах, и греки, спалив Трои, и римские сутенеры эпохи Империи, и галлы, и германцы, и остготы, и турки, перегоняя пленников в Стамбул, и торговцы коврами в Галате, и те, что торговали детишками после крестового похода детей, и Ричард Львиное Сердце, и Робеспьер, и десятки тысяч прочих заядлых бросателей, – все это тоже совершенно не важно, а значит, бросая монеты, мы можем считать, что множество необычайно велико и наши шансы на

выпадение десяти орлов или решек разом просто огромны! Но, говорит профессор Коуска, попробуйте кинуть сами, придерживая какого-нибудь ученого-физика или иного вероятностника за локоть, чтоб не сбежал, ведь эта публика страх как не любит видеть посрамление своего метода. Попробуйте, и сами увидите, что ничего не получится.

Затем профессор Коуска переходит к масштабному мысленному эксперименту, в качестве объекта выбрав уже не какие-то гипотетические явления, но часть своей собственной биографии. Мы вкратце повторим за ним наиболее любопытные моменты этого анализа.

Некий военный врач во время Первой мировой войны вышвырнул за дверь сестру милосердия, по ошибке вошедшую в палату, где он как раз оперировал. Будь сестра лучше знакома с госпиталем, она бы не перепутала операционную и перевязочную палаты, а не войди она в операционную, хирург бы ее не вышвырнул; не вышвырни он ее, его начальник, полковой врач, не сделал бы ему замечание за неподобающее обращение с дамой (ибо это была сестра-волонтерка, барышня из лучшего общества), а не сделай начальник ему замечание, молодой хирург не счел бы нужным извиниться перед сестрой милосердия, не пригласил бы ее в кондитерскую, не влюбился, не женился, так что не было бы на свете и профессора Бенедикта Коуски – ребенка именно этой супружеской пары.

Из вышеизложенного, казалось бы, следует, что вероятность появления на свет профессора Бенедикта Коуски (как новорожденного, а не как заведующего кафедрой аналитической философии) определялась вероятностью того, что сестра милосердия в такой-то месяц, день и час ошибется дверью. Но это отнюдь не так. В тот день молодой хирург Коуска вовсе не должен был оперировать; но его коллега, доктор Попихал, относил тетке белье из прачечной, света на лестнице не было, так как пробка перегорела, в результате чего он свалился с третьей ступеньки и вывихнул ногу в лодыжке; Коуске пришлось его заменить. Если бы пробка не перегорела, Попихал не вывихнул бы ногу, и тогда оперировал бы он, а не Коуска; Попихал, известный своей галантностью, не употребил бы соленых словечек для выдворения из операционной сестры, вошедшей туда по ошибке, а не обидев ее, не счел бы нужным уславливаться о свидании; впрочем, независимо от всяких свиданий совершенно ясно, что из гипотетической связи Попихала с сестрой милосердия получился бы не Бенедикт Коуска, но, самое большее, некто совершенно другой, чьи шансы появиться на свет в работе не рассматриваются.

Профессиональные статистики, сознающие, насколько сложно положение дел в мироздании, обычно увиливают от рассмотрения

вероятности таких событий, как чье-то появление на свет. Чтобы отвязаться, они говорят, что дело здесь в скрещении необозримого числа причинно-следственных связей, и хотя в принципе, *in abstracto*, точка пространственно-временного континуума, в которой данный сперматозоид сливается с данной яйцеклеткой, детерминирована, однако же *in concreto* никогда не удастся накопить достаточно полной, а в сущности, всеохватывающей информации, чтобы дать реальный прогноз (какова вероятность рождения индивида X с характеристиками Y, то есть *как долго* пришлось бы людям размножаться, чтобы индивид с характеристиками Y наверняка появился бы на свет). Но это, дескать, невозможность всего лишь *техническая*, а не принципиальная – то есть связанная с трудностью собирания информации, а не с тем, что такой информации вообще нет на свете. Эту лживость статистической науки профессор Бенедикт Коуска намерен заклеить и изобличить.

Как мы уже знаем, вероятность рождения профессора Коуски не сводится к альтернативе «та дверь – не та дверь». Тут надо принять в расчет не одно, но множество случайных совпадений: и то, что сестру милосердия направили в этот, а не другой госпиталь; и то, что ее улыбка в тени, отбрасываемой чепцом, издавала напоминала улыбку Джоконды; а также то, что в Сараеве застрелили эрцгерцога Фердинанда: ведь, не будь он застрелен, война бы не вспыхнула, а не вспыхни война, наша барышня не стала бы сестрой милосердия; поскольку же родом она была из Оломоуца, а хирург – из Остравы, они, вернее всего, никогда бы не встретились ни в госпитале, ни где-либо еще. Поэтому нельзя пренебречь и общей теорией баллистики и стрельбы по эрцгерцогам, а так как попадание в эрцгерцога было обусловлено, в частности, движением его автомобиля, то и теорию кинематики автомобилей выпуска 1914 года следовало бы принять в расчет, и еще – психологию террористов: не каждый на месте этого серба стал бы стрелять в эрцгерцога, а если б и стал, не попал бы, дрогнул у него рука от волнения, а значит, то обстоятельство, что у этого серба была твердая рука, меткий глаз и никакой дрожи, тоже внесло свой вклад в распределение вероятностей рождения профессора Коуски. Не следует забывать и об общем политическом положении Европы летом 1914 года.

Впрочем, до женитьбы не дошло ни в этом году, ни в 1915-м, когда молодая пара познакомилась ближе, – потому что хирурга перевели в крепость Перемышль. Оттуда он должен был ехать во Львов, где жила девица Марика, которую родители прочили ему в жены на почве общих деловых интересов. Но из-за наступления Брусилова и маневров южного

крыла русской армии Перемышль был окружен, и вскоре хирург отправился не во Львов к невесте, а в русский плен, ибо крепость пала. Так вот: сестра милосердия запомнилась ему лучше невесты потому, что была не только хороша собой, но и пела романс «Усни, мой друг, на ложе из цветов» гораздо лучше Марики, у которой был полип голосовых связок и по этой причине – хроническая хрипота. Правда, полип ей собирались удалить в 1914 году, но отоларинголог, который должен был его удалять, проигрался вчистую в львовском казино и, не будучи в состоянии уплатить долг чести (он был офицер), вместо того чтобы пустить себе пулю в лоб, украл полковую кассу и сбежал в Италию; это происшествие возбудило в Марике глубокую неприязнь к отоларингологам; так и не решившись на операцию, она стала невестой, в качестве невесты должна была петь «Усни, мой друг, на ложе из цветов», и ее пение, вернее, воспоминание о ее хриплом и сиплом голосе, столь не похожем на чистый тембр пражской сестры милосердия, стало причиной того, что эта последняя взяла верх над образом Марики в памяти военнопленного доктора Коуски. Так что, вернувшись в 1919 году в Прагу, он и не думал искать невесту, но сразу поехал в тот дом, где барышней на выданье жила сестра милосердия.

Впрочем, у той было целых четыре кавалера, и все они добивались ее руки, тогда как с Коуской ее не связывало ничего, кроме открыток, которые он посылал ей из плена, и сами по себе эти открытки, изуродованные штемпелями военной цензуры, не возбудили бы в ней особенно прочных чувств. Но ее первым серьезным поклонником был некий Гамурас, летчик, который не летал, поскольку у него выпадала грыжа, стоило ему нажать на педаль управления, а все потому, что в тогдашних самолетах эта педаль перемещалась с трудом, ведь дело было на самой заре авиации; так вот, Гамураса однажды уже оперировали, но неудачно, и грыжа выпала снова, потому что врач-оператор что-то напутал, накладывая швы; а сестра милосердия стыдилась выйти за летчика, который, вместо того чтобы летать, торчит в больничной приемной либо по газетным объявлениям пытается раздобыть настоящий, довоенный грыжевой бандаж в надежде снова вернуться в строй; но из-за войны о приличном бандаже нечего было и думать.

Заметим, что в этой точке нашего анализа проблема «быть или не быть» профессора Коуски переплетается с историей авиации вообще и с моделями аэропланов, принятых на вооружение в австро-венгерской армии, в частности. Или конкретнее: на рождение профессора Коуски благотворно повлияло то обстоятельство, что в 1911 году Австро-Венгрия приобрела лицензию на строительство бипланов, у которых педали управления шли

очень туго, а строить их должна была небольшая фирма в Винер-Нейштадте, что и случилось в действительности. Но с этой фирмой и ее лицензией (купленной в Америке, у Фармана) конкурировала на торгах французская фирма «Антуанет», имевшая хорошие виды на успех, потому что генерал-майор Прхл из императорско-королевского интендантства непременно склонил бы чашу весов в ее сторону, так как имел любовницу-француженку, служившую у него гувернанткой, и потому втайне любил все французское, а это изменило бы распределение вероятностей, поскольку французская машина была бипланом с выдвижным элероном, рулевым оперением и очень легким ходом педали; такая педаль не причинила бы Гамурасу упомянутых выше забот, и сестра милосердия, возможно, все-таки вышла бы за него. Правда, в этом биплане туговато ходил *ручной* рычаг управления, а руки у Гамураса были не слишком крепкие, он даже страдал писчим спазмом и подписывался не без труда, особенно если учесть, что его полное имя было Адольф Альфред фон Мессен-Вейденек цу Ориола унд Мюннесакс, барон Гамурас. Так что даже без грыжи Гамурас, по причине слабости рук, мог потерять привлекательность в глазах сестры милосердия.

Но гувернантке попался третьеразрядный тенор из оперетки, необычайно быстро сделал ей ребенка, генерал-полковник Прхл указал ей на дверь, утратил симпатию ко всему французскому, и армия осталась с лицензией Фармана, перекупленной фирмой из Винер-Нейштадта. С опереточным тенором гувернантка свела знакомство на Ринге^[33], куда выводила гулять старших дочерей генерала Прхла, поскольку у младшей был коклюш и здоровых детей старались изолировать от больного ребенка, так что если б не коклюш, занесенный одним знакомым кухарки Прхлов, который возил кофе на обжарку и до обеда непременно заглядывал к Прхлам, то есть к кухарке, – не было бы ни болезни младшенькой, ни прогуливания детей по Рингу, ни знакомства с тенором, ни измены, а значит, «Антуанет» все-таки победила бы на торгах. Вышло, однако, что Гамурас получил отказ, женился на дочери поставщика императорского двора и завел с нею троих детей, в том числе одного без грыжи.

Второй кавалер сестры милосердия, капитан Мисня, не имел никаких изъяснов, был направлен на итальянский фронт и схватил ревматизм (дело было зимой, в Альпах). О причинах его смерти мнения расходятся: капитан парился в бане, граната 22-го калибра угодила в парилку, капитан вылетел прямо на снег, ревматизм, говорят, как рукой сняло, зато началось воспаление легких. Если бы профессор Флеминг открыл пенициллин не в 1940-м, а, скажем, в 1910 году, то Мисню наверняка вылечили бы, он

вернулся бы в Прагу на правах выздоравливающего, и шансы появления на свет профессора Коуски снова крайне уменьшились бы. А значит, хронология открытий антибактериальных препаратов сыграла видную роль в возникновении профессора Б. Коуски.

Третий претендент был солидный купец-оптовик, однако он не нравился барышне; четвертый уже точно должен был жениться на ней, но дело расстроилось из-за кружки пива. У этого последнего кавалера были огромные долги, страстное желание расплатиться с ними из приданого и необычайно богатое прошлое. Барышня вместе с семьей и женихом отправилась на лотерею-аллегри Красного Креста, а так как на обед были зразы по-венгерски, ее отец почувствовал сильную жажду, вышел из палатки, где вместе со всеми слушал военный оркестр, чтобы выпить бочкового пива; тут он заметил своего однокашника, который как раз собирался домой и, если б не пиво, ни за что бы не встретился с родителем барышни; этот однокашник, через свояченицу, знал всю подноготную жениха и не замедлил подробнейшим образом поведать об этом отцу невесты. Похоже, кое-что он добавил от себя, во всяком случае, отец вернулся крайне рассерженным, и помолвка, уже было решенная, расстроилась бесповоротно. Но если б отец не ел зраз по-венгерски, не почувствовал жажду, не вышел напиться пива, не встретил однокашника, не узнал о долгах жениха, обручение состоялось бы, а по военному времени и свадьбу сыграли бы вмиг. Таким образом, избыток красного перца в зразах 19 мая 1916 года спас жизнь профессора Коуски.

Что же касается хирурга Коуски, то он, вернувшись из плена в звании батальонного врача, посватался к барышне. Злые языки известили его о соперниках, а особенно о покойном капитане Мисне, у которого-де был нешуточный роман с барышней в то самое время, когда она отвечала на открытки военнопленного. Хирург Коуска, по натуре довольно вспыльчивый, чуть не расторгнул уже состоявшуюся помолвку, тем более что он получил несколько писем, отправленных барышней капитану Мисне (бог знает как они попали в руки некой зловредной особы в Праге), вместе с анонимной запиской, где объяснялось, что барышне он нужен был как пятое колесо или, если угодно, как железный резерв. Окончательного разрыва удалось избежать благодаря разговору, произошедшему между хирургом и его дедом, который сизмальства был ему за отца, поскольку родной отец, мот и гуляка, вовсе не занимался его воспитанием. Дед же был старцем необычайно передовых убеждений и считал, что молоденькой девушке нетрудно вскружить голову, особенно если вскруживающий носит мундир и твердит о грозящей ему гибели на поле брани.

Так что Коуска женился на барышне. Но, будь у него дед иных убеждений или умри сей либерал, не дожив до восьмидесяти, брак наверняка бы расстроился. Дед, однако, вел на редкость здоровый образ жизни и регулярно принимал водные процедуры по методу патера Кнейпа; но в какой степени ежеутренний холодный душ, продлевая ему жизнь, увеличил вероятность рождения профессора Б. Коуски, рассчитать невозможно. Отец хирурга Коуски, апостол женоненавистничества, ни за что не вступился бы за ославленную девушку; но он не имел на сына никакого влияния с тех пор, как, познакомившись с господином Сержем Мдивани, поступил к нему в секретари, уехал вместе с ним в Монте-Карло и вернулся, твердо веря в систему выигрыша в рулетку, сообщенную ему некой вдовой-графиней; по этой системе он спустил все свое состояние, был взят под опеку и поневоле отдал сына на воспитание Коуске-деду. Но если б отец хирурга не ушел с головою в игру, то Коуска-дед от него не отрекся бы, и профессор Коуска опять-таки не появился бы на свет.

Фактором, склонившим чашу весов в пользу рождения профессора, был как раз господин Серж, он же Сергей Мдивани из Боснии. Когда ему осточертело его состояние, жена и теща, он взял Коуску (отца хирурга) в секретари и уехал на воды, ибо Коуска-отец знал языки и был человек светский, а Мдивани, вопреки своему имени, не владел ни одним языком, кроме хорватского. Но если бы смолodu за господином Мдивани лучше приглядывал его отец, то, вместо того чтобы заводить шашни с горничными, он учился бы языкам, не нуждался бы в переводчиках, не повез бы отца Коуски на воды, тот не вернулся бы из Монте-Карло шулером, а следовательно, не был бы проклят и выброшен из дому своим отцом, который поэтому не взял бы хирурга к себе еще ребенком, не внушил бы ему свои принципы, хирург порвал бы с барышней, и профессор Бенедикт Коуска опять-таки не появился бы на свет. Так вот, отцу господина Мдивани было не до школьных успехов сына в то время, когда тому полагалось учить языки, поскольку наружностью сын напоминал ему некое духовное лицо, относительно которого господин Мдивани-старший питал подозрения, не он ли – настоящий отец маленького Сергея. И вот, ощущая к Сергунчику подсознательную неприязнь, он не слишком за ним приглядывал, из-за чего Сергунчик и не выучился, как следовало бы, языкам.

Вопрос об отце ребенка был и вправду непрост, поскольку даже мать имела сомнения насчет того, чей он сын – ее мужа или попа, а сомневалась она потому, что верила в зачатие от загляду. В загляд же она верила оттого, что житейским авторитетом была для нее бабка-цыганка; стоит отметить,

что мы говорим о взаимосвязи между бабушкой матери Сергея Мдивани и вероятностью рождения профессора Бенедикта Коуски. Мдивани родился в 1861 году, его мать – в 1832-м, а бабушка-цыганка – в 1798-м. Следовательно, то, что происходило в Боснии и Герцеговине на исходе восемнадцатого столетия, то есть за сто тридцать лет до рождения профессора Коуски, существенно повлияло на распределение вероятностей его рождения. Но ведь и бабушка-цыганка появилась не на пустом месте. Она не хотела идти замуж за православного хорвата, тем более что вся Югославия была еще под турецким игом и замужество с гяуром не сулило ей ничего хорошего. Но у цыганки был дядя, много старше ее, который воевал у Наполеона и будто бы даже участвовал в отступлении Великой армии из-под Москвы. Во всяком случае, с наполеоновских войн он вернулся, убежденный в маловажности вероисповедных различий, ибо чего только не насмотрелся на службе, и потому склонял племянницу выйти за хорвата: мол, хоть и гяур, но парень хороший и видный. Выйдя за хорвата, бабушка со стороны матери господина Мдивани увеличила шансы рождения профессора Коуски. Что же до дяди, то он не сражался бы у Наполеона, не окажись он во время итальянской кампании в районе Апеннин, куда послал его хозяин, овцевод, с партией полушубков. Дядя был захвачен французским конным разъездом; будучи поставлен перед выбором: идти в рекруты или в обозники, он предпочел носить оружие. Так вот, если б хозяин дяди-цыгана не разводил овец или даже разводил, но не выделял бараньих полушубков, которые хорошо раскупались в Италии, то конный разъезд не схватил бы цыганского дядю, и тот бы не навоевался в Европе, сохранил консервативные взгляды и не уговорил бы племянницу выйти за хорвата. А тогда и мать Сергунчика, не имея бабушки-цыганки и не веря в загляд, не считала бы, что от одного лишь глядения на батюшку, разводящего руками и распевающего басом у алтаря, можно зачать сына – вылитого попа; имея совершенно чистую совесть, она не боялась бы мужа, защитилась бы от обвинений в неверности, а муж, не видя уже ничего дурного в наружности сына, следил бы за его учением, Сергей выучился бы языкам, не нуждался бы ни в каких переводчиках, так что отец хирурга Коуски не поехал бы с ним на воды, не стал бы мотом и игроком и, будучи женоненавистником, уговорил бы сына-хирурга бросить барышню за амур с покойным капитаном Мисней, вследствие чего профессора Б. Коуски опять-таки не было бы на свете.

А теперь попрошу вас учесть: до сих пор мы рассматривали распределение вероятностей рождения профессора Коуски, исходя из того, что оба его потенциальных родителя существуют, и последовательно

уменьшали вероятность его рождения путем введения крайне малых, вполне вероятных изменений в поведении отца или матери профессора Коуски, изменений, обусловленных поступками третьих лиц (генерала Брусилова, бабки-цыганки, матери господина Мдивани, барона Гамураса, гувернантки-француженки генерал-майора Прхла, императора Франца-Иосифа, эрцгерцога Фердинанда, братьев Райт, хирурга, оперировавшего грыжу барона, отоларинголога Марики и т.д.). Но ведь точно так же можно рассмотреть вероятность появления на свет барышни, которая, будучи сестрой милосердия, вышла за хирурга Коуску, или вероятность рождения самого хирурга. Миллиарды, триллионы событий должны были произойти так, как они действительно произошли, чтобы появилась на свет эта барышня и чтобы на свет появился хирург Коуска. И столь же бесчисленное множество событий обусловило рождение их отцов, дедов, прадедов и т.д. Вряд ли стоит доказывать, что если б, к примеру, в 1673 году не появился на свет портной Властимил Коуска, то не было бы ни его сына, ни внука, ни правнука, а значит, и прадеда хирурга Коуски, а значит, и его самого, а значит, и профессора Бенедикта.

Но все это справедливо также по отношению к тем предкам рода Коуски и рода сестры милосердия, которые, еще не ставши людьми, вели четверорукий древесный образ жизни в раннем палеолите – когда первый палеопитек, догнав одного из этих четвероруких и обнаружив, что имеет дело с четверорукой, овладел ею под эвкалиптовым деревом, росшим там, где ныне раскинулся пражский район Мала Страна. В результате смещения хромосом нашего темпераментного палеопитека и четверорукой пращеловекини возник тот тип мейоза и такое сочетание генов, которое, передаваясь через 30 000 поколений, создало на лице сестры милосердия ту самую улыбку, смутно напоминающую улыбку Джоконды на полотне Леонардо, что покорила молодого хирурга Коуску. А ведь эвкалипт мог расти четырьмя метрами далее; в таком случае четверорукая, убегая от палеопитека, не упала бы, споткнувшись о толстый корень, успела взобраться на дерево и не зачала, а раз так, то переход Ганнибала через Альпы, Крестовые походы, Столетняя война, захват турками Боснии и Герцеговины, московский поход Наполеона и десятки триллионов прочих событий пошли бы чуть-чуть по-другому, с еле заметными изменениями. И в результате мы бы имели такое положение вещей, при котором профессор Бенедикт Коуска никоим образом не смог бы родиться; отсюда видно, что распределение вероятностей его существования содержит в себе подкласс вероятностей, в котором содержится распределение всех эвкалиптовых деревьев, росших на месте нынешней Праги около 349 000 лет назад. А

эвкалипты выросли там потому, что убежавшие от саблезубых тигров большие стада слабеющих мамонтов, объевшись цветами эвкалипта и страдая изжогой (этот цветок сильно жжет нёбо), пили много воды из Влтавы; поскольку же влтавская вода в ту эпоху обладала слабительными свойствами, воспоследовало массовое испражнение мамонтов, благодаря которому семена эвкалипта принялись там, где их отродясь не бывало; но если бы притоки верхнего течения тогдашней Влтавы не насытили воду сульфатами, то мамонты, не схвативши поноса, не засеяли бы эвкалиптовую рощу на землях нынешней Праги, четверорукая не упала бы, убегая от палеопитека, и не возникло бы то сочетание генов, что одарило барышню улыбкой Джоконды, прельстившей молодого хирурга; а значит, если бы не понос мамонтов, профессор Бенедикт Коуска тоже не появился бы на свет. Но надо еще учесть, что воды Влтавы обогатились сульфатами примерно в двух- и полумиллионном году до нашей эры – вследствие перемещения главной геосинклинали горных пород, из которых сложились центральные Татры; в процессе горообразования сульфатные газы вытеснялись из нижнеюрских мергелевых пластов, потому что в районе Динарского нагорья случилось землетрясение, вызванное падением метеорита с массой порядка миллиона тонн; этот метеорит входил в поток Леонид, и, если бы он упал не на Динарское нагорье, а чуть дальше, геосинклиналь не прогнулась бы, сульфатные отложения не проникли бы на поверхность и не попали во Влтаву, ее вода не стала бы причиной поноса у мамонтов, из чего следует, что, не упади метеорит на Динарское нагорье два с половиной миллиона лет назад, профессор Коуска тоже не смог бы родиться.

Профессор Коуска замечает, что из его умозаключений иные склонны делать ложный вывод, а именно: будто весь Космос есть нечто вроде машины, устроенной именно так, а не иначе для того лишь, чтобы профессор Коуска мог родиться. Но это очевидная чушь. Представим себе, что кто-то решил рассчитать вероятность возникновения Земли за миллиард лет до ее образования. Он не сможет точно предвидеть, какого рода планетогенный вихрь образует ядро будущей Земли; он не рассчитает сколько-нибудь точно ни ее будущую массу, ни химический состав. Тем не менее, основываясь на астрофизических данных, на теории гравитации и теории строения звезд, он предскажет, что у Солнца появится планетная семья и среди прочих планет окажется планета номер три (считая от центра системы); и именно эту Планету можно признать Землей, даже если она окажется не совсем такой, как предсказано, ведь планета тяжелее Земли на десять миллиардов тонн, или имеющая две небольшие луны вместо одной

большой, или планета, в большей степени покрытая океанами, – по-прежнему была бы Землей.

Но если бы профессор Коуска, предсказанный кем-нибудь за полмиллиона лет до нашей эры, родился бы в виде двуногого сумчатого, или желтокожей женщины, или буддийского монаха, он, безусловно, не был бы профессором Коуской, хотя, возможно, и был бы все-таки человеком. Такие объекты, как солнца, планеты, облака, камни, вовсе не уникальны, а всякий живой организм уникален. Любой человек – нечто вроде главного выигрыша в лотерее, и притом в лотерее, в которой выигрывает только один билет из терагигагамультисантимиллионов. Почему же мы не ощущаем всечасно эту невообразимую, чудовищную ничтожность шансов своего – и чужого – появления на свет? Потому, отвечает профессор Коуска, что сколь бы невероятным образом что-либо ни произошло – раз уж оно произошло, то произошло! А также потому, что в обычной лотерее мы видим массу пустых билетов и один выигравший; между тем в экзистенциальной лотерее проигравших билетов не видно. «Пустые билеты в лотерее бытия невидимы!» – объясняет профессор Коуска. Проиграть в этой лотерее значит не родиться, а не родившегося нет ни на столечко. Теперь процитируем автора, который на стр. 619 1-го тома «*De Impossibilitate Vitae*» говорит (строка 23 сверху):

«Одни люди появляются на свет потому, что брак их родителей заранее был предрешен, то есть будущий отец ребенка и его будущая мать были просватаны друг за друга еще в детстве. Человеку, узревшему дневной свет в качестве ребенка такой супружеской пары, может показаться, что вероятность его рождения была значительна, в отличие от того, кто знает, что его отец с матерью познакомились в ходе крупных миграций военного времени, или, допустим, он был зачат потому лишь, что некий наполеоновский гусар, бежав с поля сражения при Березине, кроме кувшина с водой, похитил у встреченной им поселянки еще и девичью честь. Такой человек, пожалуй, решит, что если б гусар сильнее спешил, чувствуя за своей спиной казацкие сотни, или если его (этого человека) мамаша не искала неведомо чего на краю деревни, а в страхе божьем сидела бы себе дома за печкой, то и его самого бы на свете не было, то есть что его будущее бытие висело на волоске, в отличие от бытия того, чьи родители заранее были просватаны.

Впечатление это ошибочно: ведь при оценке вероятности появления на свет кого бы то ни было нет никаких оснований считать нулевой точкой шкалы рождение будущего отца и будущей матери данного человека. Если имеется лабиринт, состоящий из тысячи комнат, соединенных тысячью

дверей, то вероятность пройти его до конца определяется суммой всех выборов во всех комнатах, через которые надо пройти, а не просто вероятностью выбора нужной двери в одной из комнат. Тот, кто ошибется дверью в комнате номер сто, заблудится так же, как тот, кто ошибется в первой или тысячной комнате. Точно так же нет оснований считать, будто только мое рождение подлежит закону распределения вероятностей, но не рождение моих родителей, дедов, прадедов, бабок, прабабок и т.д., вплоть до возникновения жизни на Земле. Нет смысла утверждать, что факт существования каждого конкретного индивида в высшей степени маловероятен. В высшей степени – по отношению к чему? Что принять за точку отсчета? Если у нас ее нет, если нет начала шкалы отсчета, измерение, а следовательно, и оценка вероятности становится пустым звуком.

Из моих рассуждений вовсе не следует, будто мое появление на свет было предусмотрено еще до того, как сформировалась Земля; напротив, из них вытекает, что меня могло вовсе не быть и никто бы этого не заметил. Все, что может сказать статистика о прогнозе рождения индивида, будет нонсенсом. Ибо она полагает, что любой человек, как бы мало ни был он вероятен сам по себе, все же возможен как реализация неких вероятностей; между тем я доказал, что по отношению к любому лицу, хотя бы к пекарю Муку, справедливо следующее: отступая все дальше и дальше во времени от момента его рождения, мы можем найти временную точку, в которой предсказание о появлении на свет пекаря Мука характеризуется вероятностью, *сколь угодно мало* отличающейся от нуля. Когда мои родители очутились в брачной постели, вероятность моего появления на свет составляла, скажем, один к ста тысячам (учтем к тому же довольно высокую после войны смертность новорожденных). Во время осады Перемышля эта вероятность составляла всего лишь один к миллиарду; в 1900 году – один к триллиону; в 1800 году – один к квадриллиону, и так далее. Наблюдатель, который вычислял бы вероятность моего рождения, сидя под эвкалиптом на Малой Стране, в межледниковую эпоху, после миграции мамонтов и их желудочного расстройства, определил бы вероятность того, что я узрю свет божий, как один к центиллиону. Величины порядка гига появляются, если отнести точку оценки на миллиард лет назад, порядка тера – на три миллиарда, и т.д.

Иначе говоря, всегда можно найти такую точку на временной оси, в которой оценка вероятности чьего-либо рождения *сколь угодно мала*, то есть просто отсутствует: ведь *сколь угодно мало* отличающаяся от нуля вероятность равнозначна *сколь угодно большой* невероятности.

Говоря это, мы вовсе не утверждаем, будто ни нас, ни кого-либо другого на свете нет. Напротив: мы не сомневаемся ни в чужом существовании, ни в своем собственном. Мы лишь повторяем утверждения физики, ибо именно с точки зрения физики, а не здравого смысла на свете нет и никогда не было ни одного человека. А вот и доказательство: с точки зрения физики событие, вероятность которого составляет один к центиллиону, невозможно. Такое событие – при допущении, что оно принадлежит множеству событий, происходящих каждую секунду, – просто не успеет случиться в Космосе.

От сегодняшнего дня до конца Вселенной пройдет меньше центиллиона секунд. Звезды излучают свою энергию гораздо раньше. А значит, время существования Космоса в его нынешнем виде меньше времени, необходимого, чтобы дожидаться события, происходящего раз в центиллион секунд. С точки зрения физики ожидать события столь маловероятного – все равно что ожидать события, которое наверняка не наступит. Такие явления в физике именуются термодинамическими чудесами. К ним относится, например, замерзание воды в стоящем на огне котелке, самопроизвольный подъем с пола осколков разбившегося стакана и их соединение в целый стакан, и т.п. Расчеты показывают, что такие «чудеса» все же более вероятны, чем событие, вероятность которого – один к центиллиону. Добавим еще, что до сих пор мы учитывали лишь половину факторов, влияющих на оценку вероятности, то есть только макроскопические события. А ведь рождение конкретного индивида зависит и от микроскопических факторов, например, от того, какой сперматозоид с какой яйцеклеткой соединится у данной родительской пары. Если бы мать зачала меня в другой день и час, чем это случилось в действительности, родился бы не я, а кто-то другой; это следует уже из того, что моя мать действительно зачала в другой день и час, а именно за год до моего рождения, и родила девочку, мою сестру; вряд ли стоит доказывать, что она – не я. Эту микростатистику тоже следовало бы учесть при оценке вероятности моего появления на свет; тем самым центиллионы невероятности доходят до мираллионов.

Итак, с точки зрения термодинамики существование любого человека – явление космически невозможное, коль скоро оно до такой степени мало вероятно, что просто непредсказуемо. Физика – предположив, что какие-то люди существуют, – может предсказывать, что они будут рождать других людей; но о том, какие конкретно индивиды будут рождаться, она должна молчать, чтобы не впасть в полный абсурд. А значит, либо физика ошибается, провозглашая универсальную значимость теории вероятностей,

либо люди просто не существуют, а вместе с ними – собаки, акулы, мхи, лишайники, ленточные черви, летучие мыши и плауны, ибо сказанное справедливо для всего живого. «Ex physical positione vita impossibilis est, quod erat demonstrandum»^[34].

Этими словами заканчивается книга «De Impossibilitate Vitae», которая служит, собственно, лишь огромным вступлением ко второму тому дилогии. Здесь автор провозглашает тщетность предвидений будущего, основанных на вероятностных оценках. Он хочет показать, что история сплошь состоит из фактов, совершенно немыслимых с точки зрения теории вероятностей. Профессор Коуска переносит воображаемого футуролога в начало XX века, наделив его всеми знаниями той эпохи, чтобы задать ему ряд вопросов. Например: «Считаешь ли ты вероятным, что вскоре откроют серебристый, похожий на свинец металл, который способен уничтожить жизнь на Земле, если два полушария из этого металла придвинуть друг к другу, чтобы получился шар величиной с большой апельсин? Считаешь ли ты возможным, что вон та старая бричка, в которую господин Бенц запихнул стрекочущий двигатель мощностью в полторы лошади, вскоре так расплодится, что от удушливых испарений и выхлопных газов в больших городах день обратится в ночь, а приткнуть эту повозку куда-нибудь станет настолько трудно, что в громаднейших мегаполисах не будет проблемы труднее этой? Считаешь ли ты вероятным, что благодаря принципу шутих и пинков люди вскоре смогут разгуливать по Луне, а их прогулки в ту же самую минуту увидят в сотнях миллионов домов на Земле? Считаешь ли ты возможным, что вскоре появятся искусственные небесные тела, снабженные устройствами, которые позволят из космоса следить за любым человеком в поле или на улице? Возможно ли, по-твоему, построить машину, которая будет лучше тебя играть в шахматы, сочинять музыку, переводить с одного языка на другой и выполнять за какие-то минуты вычисления, которых за всю свою жизнь не выполнили бы все на свете бухгалтеры и счетоводы? Считаешь ли ты возможным, что вскоре в центре Европы возникнут огромные фабрики, в которых станут топить печи живыми людьми, причем число этих несчастных превысит *миллионы*?»

Понятно, говорит профессор Коуска, что в 1900 году только умалишенный признал бы все эти события хоть чуточку вероятными. А ведь все они совершились. Но если случились сплошные невероятности, с какой это стати вдруг наступит кардинальное улучшение и отныне начнет сбываться лишь то, что кажется нам вероятным, мыслимым и возможным? Предсказывайте себе будущее, как хотите, обращается он к футурологам, только не стройте свои предсказания на наибольших вероятностях...

Впечатляющий труд профессора Коуски, безусловно, заслуживает признания. Однако, увлекшись своими изысканиями, этот ученый не избежал ошибки, на которую указал ему профессор Бедржих Врхличка в обширной критической статье, помещенной в газете «Земеделске новины». Профессор Врхличка утверждает, что все аргументы профессора Коуски против теории вероятностей исходят из неявной – и неверной – посылки. Ибо за ними кроется «метафизическое изумление собственным существованием», которое можно выразить словами: «Почему я существую именно теперь, именно в этом теле, именно в таком, а не ином облике? Почему я не был ни одним из миллионов людей, существовавших доселе, и не буду ни одним из тех, что еще родятся?» Если такие вопросы и имеют какой-либо смысл, замечает профессор Врхличка, то, во всяком случае, отнюдь не физический, хотя может показаться, что это не так и что вопрос можно переформулировать следующим образом: «Каждый человек, когда-либо существовавший, был телесной реализацией некой формулы, состоящей из генов, или кирпичиков наследственности. В принципе можно представить графически все формулы, реализованные до настоящего дня; мы получили бы огромную таблицу, исписанную рядами генотипических формул, причем каждая в точности соответствовала бы определенному человеку, образовавшемуся по ней путем эмбрионального развития. Но тогда возникает вопрос, в чем же различие между формулой, соответствующей *мне*, моему телу, и всеми остальными формулами в таблице, – различие, благодаря которому именно я являюсь ее живым воплощением? То есть: какие *физические* условия, какие *материальные* обстоятельства надо учесть, чтобы выявить это различие и понять, почему о любой формуле в таблице я могу сказать: «Тут речь идет о Других» – и лишь об одной: «Тут речь обо мне, ЭТО Я»?

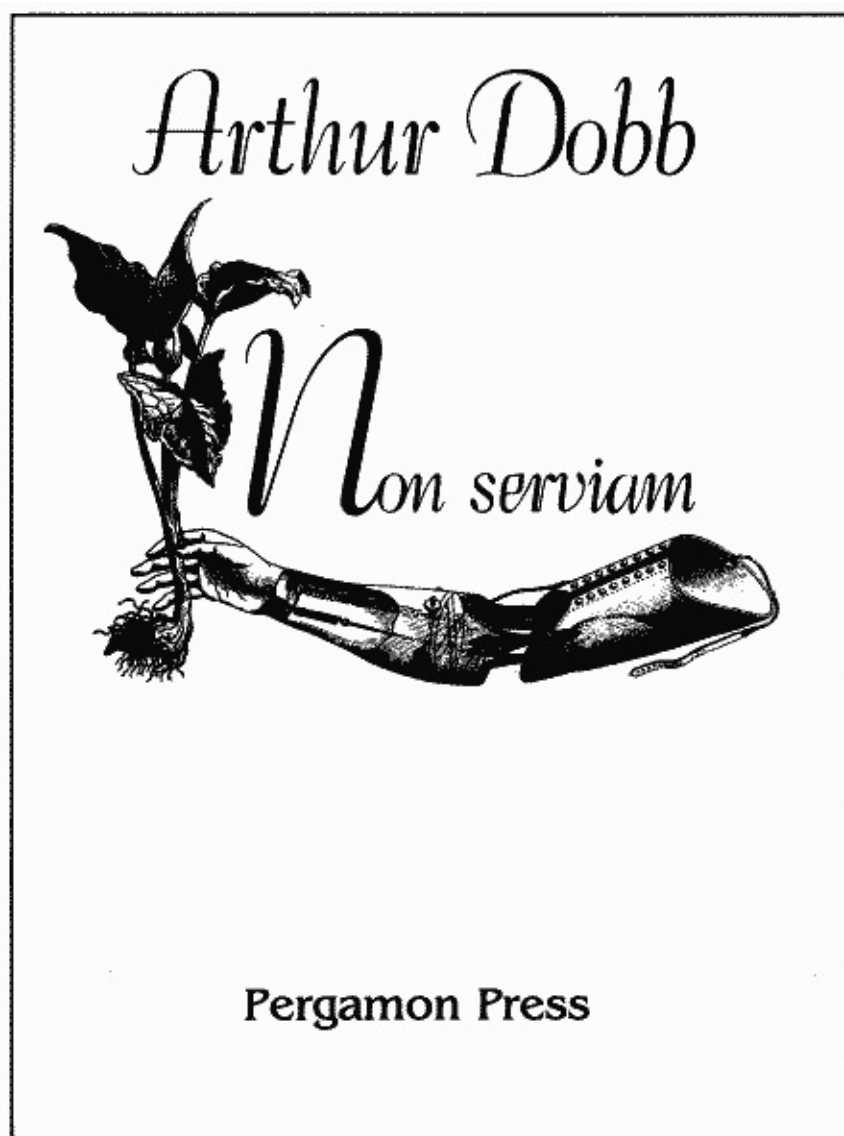
Не приходится ожидать, поясняет профессор Врхличка, что физика сегодня, или через столетие, или через тысячу лет сможет ответить на поставленный таким образом вопрос. Для физики он вообще ничего не значит, ведь она, не будучи личностью, при изучении чего бы то ни было, скажем, небесных или человеческих тел, не проводит различий между *мною* и *тобой*, этим и тем; то, что я говорю о себе «я», а о другом «он», физика способна объяснить по-своему (на базе общей теории логических автоматов, теории самоорганизующихся систем и т.д.), но она не замечает именно экзистенциального различия между «я» и «он». Хотя, конечно, физика способна заметить *уникальность* отдельных людей, ибо любой человек (если не говорить о близнецах!) есть воплощение особой формулы генов.

Но профессор Коуска имеет в виду вовсе не то, что каждый из нас устроен немного иначе, обладает физической и духовной индивидуальностью. Метафизическое изумление, кроющееся за рассуждениями Коуски, не уменьшилось бы ни на йоту, окажись все люди воплощением одной и той же генной формулы, так сказать, идеально похожими близнецами. Ведь и тогда можно было бы спрашивать, почему «я» – не «кто-то другой», почему я родился не в эпоху фараонов и не в Арктике, но здесь и теперь; а на такой вопрос физика по-прежнему не могла бы ответить. Для меня различия между мной и другими начинаются с того, что я являюсь собою, не могу вылезти из собственной шкуры или поменяться существованием с кем бы то ни было, и лишь во вторую очередь я замечаю, что моя наружность, мой характер иные, чем у всех остальных живущих (и умерших). Но как раз это первое, важнейшее для меня различие для физики не существует вообще, и больше тут ничего не скажешь. Итак, не теория вероятностей повинна в том, что физика и физики не замечают этой проблемы.

Ставя вопрос об оценке вероятности своего рождения, профессор Коуска ввел в заблуждение себя самого и читателей. Профессор Коуска полагает, что на вопрос: «Какие условия должны были быть соблюдены, чтобы родился Коуска?» – физика отвечает: «Условия, физически крайне мало вероятные!» Но это не так. Вопрос следует поставить иначе: «Как вижу, я – живой человек, один из миллионов людей. Я хотел бы узнать: в чем состоит мое физическое отличие от всех остальных людей, тех, что были, есть или будут, отличие, из-за которого я не был и не являюсь ни одним из них, но только самим собой и могу сказать „Я“ только о себе?» Так вот, физика отвечает на этот вопрос, не ссылаясь на распределение вероятностей; она заявляет, что с ее точки зрения между спрашивающим и всеми остальными людьми никаких физических различий нет. Следовательно, рассуждения Коуски не затрагивают и не опровергают теорию вероятностей, а просто не имеют с ней ничего общего!

Знакомство со столь отличными друг от друга взглядами двух видных мыслителей повергло рецензента в полное замешательство. Он не в силах решить их спор, и единственное, в чем он уверен, так это в том, что из труда профессора Коуски он вынес обширные познания о всех обстоятельствах, приведших к появлению на свет ученого со столь любопытной семейной историей. Что же до сути проблемы, то ею пусть займутся специалисты более компетентные.

Не буду служить



Книга профессора Добба посвящена персонетике, которую финский философ Эйно Каикки назвал немилосерднейшей из наук, созданных человеком. Добб, один из наиболее выдающихся персонетиков современности, думает так же. Нельзя, заявляет он, не прийти к заключению об аморальности персонетических экспериментов; речь, однако, идет об исследованиях, которые, хотя и вступают в противоречие с этикой, жизненно необходимы для нас. Исследователю подчас приходится быть беспощадным, подавляя естественные побуждения, и миф – если он еще уцелел – о младенческой невинности ученого-регистратора терпит

крушение именно здесь. Мы поведем разговор о дисциплине, которую несколько высокопарно называют экспериментальной теогонией. И вот что заставляет рецензента задуматься: когда пресса впервые подняла шумиху вокруг персонетики (это случилось девять лет назад), читатели пережили настоящее потрясение; а ведь нас, казалось бы, ничем уже нельзя удивить. Столетия гремело эхо деяний Колумба, но покорение Луны общественное сознание переварило чуть ли не за неделю, как нечто почти банальное. И все-таки рождение персонетики оказалось для публики шоком. В названии дисциплины слиты два заимствованных из латыни слова: «персона» (личность) и «генетика» (создание, сотворение). Персонетика представляет собой позднее ответвление кибернетики и психоники восьмидесятых годов на базе интеллектуальной техники. О персонетике слышал сегодня каждый; случайный прохожий ответит, что это – искусственное разведение разумных существ. Ответ не то чтобы неверный, но не затрагивающий существа дела. В настоящее время мы располагаем почти сотней персонетических программ. Девять лет назад в компьютерах уже возникали личности-схемы – примитивные зародыши «линейного» типа; впрочем, тогдашнее поколение цифровых машин, ныне имеющее лишь музейную ценность, еще не позволяло по-настоящему начать сотворение персоноидов.

Персонетику как теоретическую возможность предчувствовал уже Норберт Винер, о чем свидетельствуют некоторые места его последней работы «Творец и робот». Правда, об этой возможности Винер упоминал в своем обычном полушутливом тоне, за которым, однако, угадывались перспективы довольно мрачные. Но даже Винер не мог предвидеть, как обернется дело лет двадцать спустя. «Самое худшее случилось, – сказал сэр Дональд Акер, – когда в Массачусетском технологическом институте соединили входы с выходами».

Сейчас персоноидный «мир» для будущих его «обитателей» можно создать за два часа. Именно столько времени требуется, чтобы внести в машину одну из полных программ типа ВААЛ-66, КРЕАН-IV или ЯХВЕ-09. Добб излагает раннюю историю персонетики довольно бегло, отсылая читателя к источникам, и в качестве убежденного практика-экспериментатора рассказывает прежде всего о том, как работает он сам, – обстоятельство довольно существенное, поскольку между английской школой (именно ее представляет Добб) и американской группой из МТИ существуют довольно значительные различия по части методики и целей экспериментальных исследований. Добб рисует процедуру «шестидневки творения, ужатой до 120 минут» следующим образом. Сначала в

машинную память вводят минимальный набор данных, то есть – если прибегнуть к языку, понятному непосвященным, – заряжают ее «математическим материалом», который становится зародышем жизненного универсума будущих персоноидов. Существа, которые явятся в этот машинный и цифровой мир, которые будут существовать в нем и только в нем, мы уже умеем помещать в окружение с бесконечностными характеристиками. Они не ощутят себя узниками в физическом смысле: у этого окружения не будет – с их точки зрения – никаких границ. Из всех его измерений лишь одно весьма близко к тому, что знакомо и нам; это – ход (протекание) времени. Но персоноидное время не тождественно нашему: скорость его протекания свободно регулируется экспериментатором. Обычно она максимальна на вступительной стадии (стадия «пуска миротворения»); наши минуты здесь соответствуют целым зонам, во время которых сменяют друг друга фазы преобразования и кристаллизации искусственного космоса. Персоноидный Космос – совершенно беспространственный; различные его измерения носят чисто математический, то есть с объективной точки зрения как бы «вымышленный» характер. Измерения эти суть следствие аксиоматических решений программиста, и от него зависит, сколько их будет. Если, например, он выберет десятимерность, то получится мир с совершенно иной структурой, чем мир всего лишь с шестью измерениями; следует, пожалуй, подчеркнуть еще раз, что они не имеют ничего общего с измерениями физического пространства, а представляют собой абстрактные, логически правомерные конструкторы, которыми пользуется математическая системная демиургия.

Этот недоступный для нематематика пункт Добб старается объяснить при помощи элементарных фактов, известных из школьных учебников. Как известно, можно сконструировать геометрически правильную фигуру с тремя измерениями – хотя бы куб, имеющий соответствие в реальной действительности в виде игральной кости; и точно так же можно построить геометрические фигуры с четырьмя, пятью и любым иным количеством измерений (четырёхмерная фигура называется тессерактом). Они уже не имеют реальных соответствий, в чем легко убедиться: из-за отсутствия «физического измерения номер четыре» нельзя построить реальную костяшку с четырьмя измерениями. Так вот, *это различие* (между физически реализуемым и возможным только математически) *для персоноидов* не существует вообще, поскольку их мир имеет чисто математическую «фактуру». Он сконструирован из математических элементов (воплощенных, разумеется, в обычных, чисто физических

объектах: реле, транзисторах, контурах – короче, во всей огромной сети цифровой машины).

Как известно, согласно современной физике пространство не есть нечто самостоятельное по отношению к объектам и массам, находящимся в нем. Существование пространства обусловлено этими телами; там, где их нет, где «ничего нет» (в материальном смысле), исчезает и пространство, ссыживаясь до нуля. А в персоноидном мире роль материальных тел, которые как бы «раздуваются», создавая тем самым пространство, играют математические системы, специально для этого созданные. Из всех математик, которые можно было бы создать – аксиоматическим методом, – программист, задумав определенный эксперимент, выбирает определенную группу, которая станет «бытийной опорой», «онтологическим фундаментом» творимого Универсума. Тут, по мнению Добба, налицо поразительное сходство с человеческим миром. Наш мир «выбрал» определенные формы и определенные типы геометрии, которые соответствуют ему наилучшим, то есть наиболее простым, образом (трехмерность, чтобы вернуться к тому, с чего мы начали). Тем не менее мы можем представить себе «иные миры», с иными свойствами – геометрическими, и не только. Точно так же и персоноиды: разновидность математики, которую персонетик предназначил им для «жилья», для них то же самое, что для нас «реальный базовый мир», в котором мы живем и не можем не жить. И, подобно нам, они в состоянии «вообразить» себе миры с иными фундаментальными свойствами.

Добб ведет изложение методом последовательных приближений и возвращения к сказанному; то, что мы набросали выше и что примерно соответствует двум первым главам его книги, в дальнейшем усложняется и тем самым частично отменяется. Неверно было бы думать, объясняет автор, что персоноиды будто бы сразу попадают в какой-то готовый, неподвижный, намертво замороженный мир в его окончательном, завершенном виде. То, каким окажется этот мир в ходе своей «конкретизации», зависит от них самих, и притом во все возрастающей степени, по мере того как возрастает их собственная активность, «исследовательское любопытство». Но сравнение универсума персоноидов с миром, который лишь постольку существует в своих проявлениях, поскольку воспринимается населяющими его существами, *тоже* не дает верного представления о существе дела. Это сравнение, которое можно встретить в работах Сейнтера и Хьюза, Добб считает «идеалистической аберрацией», данью, которую персонетика заплатила столь неожиданно воскресшему учению епископа Беркли. Сейнтер утверждал, что

персоноиды познают свой мир, как то берклиевское существо, которое не в состоянии отличить «esse» от «percipi»^[35], то есть никогда не обнаружит различия между наблюдаемым и тем, чем оно вызывается – объективно и независимо от наблюдающего.

Добб критикует такую интерпретацию тем более страстно, что мы, будучи творцами их мира, прекрасно знаем, что наблюдаемое ими действительно существует (внутри компьютера) независимо от персоноидов – хотя, конечно, лишь так, как могут существовать математические объекты. Но и это еще не конечная стадия объяснений. Зародыши персоноидов возникают благодаря программе, растут со скоростью, заданной экспериментатором, то есть так быстро, как только допускает современная техника переработки информации, оперирующая световыми скоростями. Математика, которой предназначено стать «жизненным обиталищем» персоноидов, ожидает их не совершенно готовой, но словно бы «свернутой», «недосказанной», «приостановленной», «латентной», как совокупность неких возможностей, неких путей, содержащихся в запрограммированных определенным образом блоках цифровой машины. Но эти блоки, или генераторы, «сами из себя» ничего не создают; конкретный тип активности персоноида служит для них пусковым механизмом, высвобождающим творческую активность, которая постепенно возрастает и конкретизируется; другими словами, мир, в котором эти существа обитают, будет «доопределяться» в соответствии с их поведением. Добб пытается пояснить сказанное при помощи следующей аналогии: человек может по-разному интерпретировать реальный мир. Если он особенно интенсивно исследует определенные свойства этого мира, то добытые им знания по-особому осветят и другие области бытия, не учтенные в приоритетном исследовании; например, если сначала он будет усердно заниматься *механикой*, то у него сформируется *механицистская* картина мира: он увидит Вселенную как гигантские идеальные часы, безостановочный ход которых ведет от прошлого к жестко детерминированному будущему. Эта картина не есть точное соответствие реальности, тем не менее ею *можно* пользоваться исторически долгое время и даже добиваться немалых практических достижений – в строительстве машин, орудий и т.д. Подобным же образом персоноиды – если «настроятся», по собственному выбору и желанию, на определенный *тип* отношений, если отдадут ему предпочтение и лишь в нем будут усматривать «сущность» своей вселенной – вступят на путь таких действий и открытий, которые не будут ни фиктивными, ни бесплодными. Благодаря такой «самонастройке» они извлекут из своего окружения как раз то, что

наилучшим образом ей соответствует. Именно это они заметят раньше всего, именно этим раньше всего овладеют. Ибо мир, который их окружает, лишь частично детерминирован, предзадан исследователем-творцом; у персоноидов остается определенная – вовсе не малая – степень свободы поведения, как чисто мысленного (в сфере того, что они думают о своем мире и как его понимают), так и «реального» (в сфере «действий», которые, правда, реальны не буквально, не в нашем смысле, однако существуют не только в мышлении). Впрочем, это едва ли не самое трудное место книги, и Доббу, пожалуй, не удалось полностью объяснить то особое качество экзистенции персоноидов, которое можно выразить лишь на математическом языке программ и демиургических поправок. Так что мы должны – отчасти на веру – принять, что активность персоноидов ни абсолютно свободна (как и пространство наших поступков, которое ограничивают физические законы природы), ни абсолютно детерминирована (как и мы не являемся вагонами, которые движутся по жестко закрепленным путям). Персоноид подобен человеку в том, что «вторичные качества» – цвета, мелодичные звуки, красота вещей – появляются лишь тогда, когда уже есть слышащие уши и видящие глаза; но ведь те свойства, которые делают возможным зрение и слухание, существовали и раньше. Персоноиды, наблюдая свое окружение, «от себя» привносят в него субъективно переживаемые свойства, которые применительно к нам соответствуют красоте созерцаемого пейзажа, с той только разницей, что персоноидам даны чисто математические пейзажи. О том, «как они их видят», мы никоим образом не можем судить, во всяком случае, если речь идет о «субъективном качестве их восприятия»: чтобы понять, как они ощущают, пришлось бы сбросить человеческую кожу и самому стать персоноидом. Тем более что персоноиды не имеют ни глаз, ни ушей, а значит, ничего не видят и не слышат в нашем понимании, и в их вселенной нет ни света, ни темноты, ни пространственной близости, ни дали, ни верха, ни низа. Зато там есть измерения, для нас совершенно непредставимые, а для них первичные, элементарные; они наблюдают, к примеру – в качестве аналогов чувственного человеческого восприятия, – определенные изменения электрических потенциалов. Но воспринимают не так, как, скажем, удары тока, а скорее так, как человек воспринимает простейшее оптическое, акустическое или какое-нибудь иное явление – красное пятно, звук, прикосновение чего-нибудь твердого или мягкого. Здесь, подчеркивает Добб, можно изъясняться одними лишь аналогиями, уподоблениями; утверждать, будто персоноиды «увечны» по сравнению с нами, раз они не видят и не слышат, как мы, было бы полным абсурдом: с

тем же правом можно было бы заявить, что это мы обделены по сравнению с ними, поскольку лишены непосредственного восприятия мира математических феноменов – ведь мы познаем его лишь интеллектуальным, умственным, дедуктивным путем, соприкасаемся с ним только посредством умозаключений, «переживаем» математику только благодаря абстрактному мышлению. А они в ней живут, это их воздух, земля, облака, вода и даже хлеб, даже пища, поскольку в определенном смысле они ею «кормятся». Итак, персоноиды являются узниками, герметически замкнутыми в машине, только с нашей точки зрения; они не способны пробиться к нам, в человеческий мир, а мы, как бы в силу зеркальной симметрии, не способны проникнуть внутрь их мира, существовать в нем и переживать его непосредственно. Итак, математика в некоторых своих воплощениях стала жизненным пространством разума, одухотворившегося до полной бесплотности, стала нишей и колыбелью его бытия.

Персоноиды во многих отношениях походят на человека. Помыслить определенное противоречие («а» и одновременно «не а») они могут, но осуществить его не в состоянии – как и мы. Этого не допускает физика нашего и логика их мира. Ибо в их мире логика служит такой же рамкой, организующей действительность, как физика – в нашем мире! Во всяком случае, подчеркивает Добб, не может быть речи о том, чтобы мы могли до конца, интроспективно понять, что «чувствуют» и «переживают» персоноиды, активно действующие в своем бесконечном Универсуме. Его абсолютная беспространственность не имеет ничего общего с заточением – это чушь, выдуманная журналистами; напротив, беспространственность служит гарантией их свободы, поскольку математика, которую по-паучьи ткнут из своего нутра побужденные к активности компьютерные генераторы, представляет собой как бы становящееся пространство для любой деятельности – для строительства, исследований, героических экспедиций, вылазок в неизвестное, смелых догадок. Словом, мы не обделили персоноидов, дав им во владение именно такую, а не иную вселенную. Не в этом следует усматривать жестокость и аморальность персонетики.

В седьмой главе «Non serviam» Добб знакомит нас с обитателями цифрового универсума. Персоноиды располагают как артикулированным языком, так и артикулированной мыслью, а кроме того, наделены эмоциями. Все они обладают индивидуальностью, причем индивидуальные особенности персоноидов не запрограммированы заранее их творцом-человеком, а обусловлены необычайной сложностью их внутреннего строения. Персоноиды могут быть чрезвычайно похожими друг на друга,

но одинаковыми – никогда. При своем появлении на свет они получают так называемое «ядро» («персональный нуклеус»). Уже тогда они обладают даром речи и мышления, но в зачаточном состоянии. Они располагают словарем, хотя и крайне бедным, и способны строить фразы по правилам заранее заданной грамматики. По-видимому, в будущем можно будет не задавать заранее даже этих детерминант и просто ждать, пока они сами, как первобытная человеческая группа в процессе социализации, создадут язык. Но это направление развития персонетики наталкивается на два кардинальных препятствия. Во-первых, время ожидания оказалось бы крайне велико. Сейчас оно оценивается в 12 лет, и это при максимальном темпе внутрикомпьютерных преобразований (говоря образно и очень грубо, году человеческой жизни соответствовала бы при этом секунда машинного времени). Во-вторых, и это решающее соображение, язык, создавшийся стихийно в ходе групповой эволюции персоноидов, был бы непонятен для нас; его изучение напоминало бы разгадывание таинственного шифра, осложненное вдобавок тем, что шифры, которые мы обычно разгадываем, создали все же люди для других людей, в мире, общем для шифровальщиков и дешифровальщиков. А мир персоноидов качественно отличен от нашего, и потому язык, наиболее подходящий для него, должен резко отличаться от любого этнического языка. Так что творение «ex nihilo»^[36] остается проектом и мечтой персонетиков. По мере «взросления» персоноиды сталкиваются с древнейшей и самой важной для них загадкой – загадкой собственного происхождения. Перед ними встают вопросы, известные нам из истории человека, его верований, его философских исканий и мифотворчества. Откуда мы взялись? Почему мы такие, какие есть? Почему наблюдаемый нами мир обладает такими, а не иными свойствами? Что сами мы значим для мира? Что мир значит для нас? И цепочка этих вопросов неизбежно ведет к коренным вопросам онтологии, из которых центральный – вопрос о том, возникло ли бытие «само из себя» или в результате какого-то акта творения; другими словами, не стоит ли за ним обладающий волей и разумом, сознательно действующий Творец. Вот где ярче всего обнаруживается жестокость и аморальность персонетики.

Но прежде чем рассказать нам – во второй части книги – об усилиях (или, если угодно, муках) разума, терзаемого такими вопросами, Добб посвящает несколько глав характеристике типичного персоноида, его «анатомии, физиологии и психологии».

Одиноким персоноид не способен выйти из стадии зачаточного мышления: он просто не сможет упражняться в речи, а без этого и дискурсивное мышление не развивается и угасает. Оптимальными, как

показали сотни опытов, являются группы от четырех до семи персоноидов – во всяком случае, для развития речи и типичных поисковых действий, а также для «культурализации». Явления же, соответствующие крупномасштабным процессам социализации, требуют гораздо более многочисленных групп. В достаточно емком компьютере уже теперь можно «уместить» до тысячи персоноидов; но такого рода исследования из области социодинамики, которая выделилась уже в самостоятельную дисциплину, не входят в круг основных интересов Добба, поэтому и в его книге о них лишь бегло упоминается. Как было сказано выше, персоноиды не имеют тела, но имеют «душу». С точки зрения внешнего наблюдателя (наблюдение ведется при помощи особого устройства типа зонда, встроенного в компьютер), такая душа выглядит как «упорядоченное облако процессов», как функциональный агрегат с чем-то вроде «сердцевины», которую можно выделить, то есть достаточно точно локализовать ее в машинной сети (кстати, это нелегко и во многих отношениях напоминает попытки нейрофизиологов локализовать центры некоторых функций головного мозга). Главной для понимания самой возможности сотворения персоноидов является 11-я глава «Non serviam», в которой довольно доступно излагаются основы теории сознания. Сознание (любое, не только персоноида, но и человека) в физическом смысле – своего рода «стоячая информационная волна», некая динамическая постоянная в потоке неустанных преобразований; странность этого явления в том, что оно представляет собой компромисс и в то же время равнодействующую, по-видимому, вовсе не «запланированную» эволюцией. Совсем напротив: эволюция поначалу чинила всяческие препятствия и помехи согласованной работе мозга, превосходящего определенный объем, то есть определенный уровень сложности; разумеется, в область этих коллизий она забрела неосознанно, поскольку не является личностным творцом. Просто некие древние эволюционные решения задач по управлению и регулированию, с которыми приходится иметь дело нервной системе, эволюция наконец «затащила» на уровень, с которого начался антропогенез. С чисто рациональной, инженерной точки зрения, с точки зрения экономии средств эти старые решения следовало попросту перечеркнуть, отбросить и спроектировать мозг разумного существа совершенно по-новому. Но эволюция, конечно, так поступить не могла: не в ее власти освободиться от груза старых решений, насчитывающих нередко сотни миллионов лет; она продвигается вперед малюсенькими шажками приспособительных изменений; она ползет, а не скачет. Эволюция – это волокуша, которая тащит за собой бесчисленные

«архаизмы» и даже всяческий «мусор», по образному выражению Таммера и Бовина (осуществленное при их участии компьютерное моделирование человеческой психики во многом способствовало появлению персонетики). Сознание человека – результат своего рода «компромисса», «латания дыр»; это, как заметил однажды Гебхардт, превосходная иллюстрация немецкой поговорки «Aus einer Not eine Tugend machen» («Делать из нужды добродетель»). Цифровая машина никогда не сможет добыть сознания «из себя самой» – по той простой причине, что в ней не случаются иерархические поведенческие конфликты. Такая машина, самое большее, может впасть в «логическую конвульсию» или «логический ступор», если антиномии в ней расплодятся, и это все. Однако противоречия, которыми просто кишит мозг человека, на протяжении сотен тысяч лет преодолевались при помощи «процедур арбитража». Возникли высшие и низшие уровни: рефлексов и рефлексии, произвольных влечений и контроля над ними, элементарного моделирования среды («зоологическим способом») и понятийного моделирования (языковым способом), причем все они, вместе взятые, не могут, «не желают» полностью совпадать, сходиться, сливаться в единое целое. Что же такое сознание? Уловка, высвобождение из западни, мнимая последняя инстанция, трибунал, решение которого по видимости (но только по видимости) обжалованию не подлежит, а на языке физики и информатики – процесс, который, однажды начавшись, уже не может быть замкнут, то есть окончательно завершен. Сознание – всего лишь *проект* такого завершения, полного «примирения» жестоких противоречий мозга. Это как бы зеркало, задача которого – отражать другие зеркала, а те, в свою очередь, отражают другие, и так до бесконечности. Но это просто физически невозможно, и потому феномен человеческого сознания парит и реет над западней «regressus ad infinitum»^[37]. «Под сознанием», по-видимому, идет непрерывный бой за полное представительство «наверху» того, что не может пробиться туда целиком, хотя бы из-за нехватки места: чтобы уравнивать в правах все тенденции, рвущиеся в центры сознательного внимания, понадобилась бы неограниченная вместимость и пропускная способность. Потому-то вокруг сознания царит постоянная «давка», «толчея», а само оно – отнюдь не верховный, бесстрастный, суверенный кормчий всех умственных явлений; нередко оно оказывается пробкой на бурных волнах, «господствующая позиция» которой не имеет ничего общего с господством над этими волнами... К сожалению, современную теорию сознания, интерпретируемую информатически и динамически, нельзя изложить языком простым и ясным, и здесь, в этом популярном изложении, мы по-

прежнему вынуждены прибегать к наглядным сравнениям и метафорам. Во всяком случае, нам известно, что сознание есть некая «уловка», некий «фортель» эволюции, который действует, как всегда, «оппортунистически» – то есть так, чтобы поскорее, не задумываясь о последствиях, справиться с возникающими трудностями. Если бы разумное существо создавалось согласно канонам абсолютно рационального конструирования и логики, в соответствии с критериями технической эффективности, оно вообще не было бы одарено сознанием... Его поведение было бы абсолютно логичным, непротиворечивым, ясным, замечательно упорядоченным и – с точки зрения наблюдателя-человека, – быть может, даже до гениальности эффективным во всем, что касается творчества и принятия решений; но такое существо ни в коей мере не было бы человеком – лишенное его «таинственной глубины», его внутренней «извилистости», его лабиринтной природы...

Мы – как и профессор Добб – не собираемся здесь излагать современную теорию сознательной психической жизни; мы лишь хотели помочь читателю понять, чем обусловлена личностная структура персоноидов. Персонетика наконец-то осуществила один из древнейших мифов – миф о гомункулусе. Чтобы создать подобие человека, то есть человеческой психики, нужно намеренно ввести в информационный субстрат определенные *противоречия*, наделить его некими асимметриями, центробежными тенденциями, словом, нужно одновременно *интегрировать* его – и *разобщить*. Рационально ли это? Конечно, и даже неизбежно, если мы хотим не просто сконструировать искусственный разум, но имитировать человеческое мышление, а вместе с ним – личность человека.

Следовательно, эмоции персоноидов должны до известной степени расходиться с доводами их разума; в них должны действовать саморазрушительные – хотя бы отчасти – тенденции, ощущаться некие внутренние «напряжения», некие центробежные силы, которые проявляются либо в изумительной неисчерпаемости духовных состояний, либо в невыносимо болезненной раздвоенности. При этом рецептура творения вовсе не так безнадежно сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто *логика* сотворения персоноида должна быть нарушена, должна содержать в себе какие-то антиномии. Сознание, как сказал Хильбрандт, это не только выход из эволюционной ловушки, но и бегство из ловушки гёделизации: при помощи паралогических противоречий оно сумело ускользнуть от противоречий иного рода, присущих всякой системе, совершенной в логическом отношении. И хотя Универсум персоноидов

всецело рационален, сами они не являются вполне рациональными его обитателями. Ограничимся этим – коль скоро и профессор Добб не углубляется дальше в эту безмерно сложную область. Как мы уже знаем, персоноиды лишены плоти и ощущений, связанных с ней, но имеют «душу». «Совершенно невообразимые ощущения», – приходится слышать от людей, переживших особые состояния сознания (например, при полной темноте и полном отсутствии внешних раздражителей); но Добб считает это иллюзией. При сенсорном голоде человеческому сознанию угрожает распад: без притока импульсов из внешнего мира психика проявляет тенденцию к диссоциации. А персоноиды, лишённые наших ощущений, не «распадаются»; их целостность обеспечивается математической средой, которую они воспринимают – но как? Скажем, по изменениям собственного состояния, которые навязывает им, индуцирует в них «внешний мир». Они способны отличать изменения, происходящие вовне, от изменений, вызревающих в глубинах их собственной психики. Каким образом? Точный ответ даёт лишь теория динамической структуры персоноидов.

И все же они похожи на нас, несмотря на все ужасающие различия. Мы уже знаем, что в цифровой машине никогда не вспыхнул бы свет разума; какое задание мы бы ей ни поручили, какие физические процессы ни моделировали в ней, она навсегда останется лишённой психики. Чтобы смоделировать человека, нужно воспроизвести некоторые его фундаментальные противоречия, поэтому персоноид представляет собой систему тяготеющих друг к другу антагонизмов; согласно Каньону, которого цитирует Добб, персоноид подобен звезде, сжимаемой силами гравитации и одновременно раздуваемой изнутри давлением излучения. В роли гравитационного центра выступает индивидуальное «Я», – но само оно отнюдь не составляет целого ни в логическом, ни в физическом смысле. Это лишь наше субъективное представление. В этой своей части книга готовит нам множество поразительных неожиданностей. Цифровую машину можно запрограммировать так, чтобы беседовать с ней, словно с разумным партнером. В необходимых случаях она будет употреблять местоимение «я» и все его грамматические аналоги, но это своего рода жульничество! Машина по-прежнему будет ближе к миллиарду говорящих попугаев – хотя и гениально выдрессированных, – чем к самому примитивному, самому глупому человеку. Она имитирует поведение человека в чисто языковой области, и только. Ничто эту машину не позабавит, не удивит, не потрясет, не ужаснет, не опечалит, потому что в психологическом и личностном смысле она Никто. Это Голос, излагающий

проблемы, отвечающий на вопросы, это Логика, способная побить сильнейшего шахматиста, это – в потенции – безупречный имитатор всего на свете, дошедший до пределов совершенства актер, играющий любую запрограммированную роль, – но актер и имитатор, внутренне абсолютно пустой. Нельзя рассчитывать на симпатию или антипатию этой машины. На ее доброжелательность или враждебность. Она не стремится к какой-либо установленной ею самой цели; ей «все равно» до такой степени, которая абсолютно непонятна для всякого человека, – ведь как личности ее просто-напросто нет... Это поразительно эффективный комбинаторный механизм, и ничего больше. Мы наблюдаем удивительное явление: из такого безусловно пустого, абсолютно безличностного материала, как цифровая машина, удалось, благодаря специальным программам, сконструировать настоящие личности, к тому же великое множество их одновременно! Последние модели IBM достигают емкости 1000 персоноидов (термин математически точный, поскольку число элементов и соединений, необходимых в качестве носителя одного персоноида, можно выразить в единицах сантиметр-грамм-секунда). Внутри машины персоноиды отграничены друг от друга еще и физически. Обычно они не «накладываются» друг на друга, хотя возможно и это. Но при контакте персоноидов возникает аналог «отталкивания», препятствующий взаимному «осмосу». И все же они могут проникать друг в друга – если сами того захотят. Процессы, составляющие их духовный субстрат, накладываются один на другой, и тогда появляются шумы и помехи. Если зона взаимопроникновения невелика, определенное количество информации становится общей собственностью двух частично «перекрывающихся» персоноидов. Это явление представляется им странным – как для человека странно и даже тревожно было бы услышать «чужие голоса» и «чужие мысли» в собственной голове (что случается при некоторых психических отклонениях – либо в случае душевной болезни, либо под влиянием галлюциногенных средств). Это все равно как если бы два человека имели не одинаковые, но одно и то же воспоминание. Словно происходит нечто большее, чем телепатическое общение, – «слияние двух сознаний в одном контуре». Это, однако, опасный симптом, которого следует избегать. После переходной стадии «пограничного осмоса» «напирающий» персоноид может «уничтожить» и «поглотить» другого. «Поглощенный» подвергается аннигиляции и перестает существовать (это уже называли убийством). «Жертва» становится усвоенной, неразличимой частью «агрессора». Нам удалось, говорит Добб, смоделировать не только психическую жизнь, но также угрозу этой жизни и ее уничтожение, то есть смоделировать смерть.

В нормальных условиях эксперимента персоноиды избегают подобной агрессии. «Душеедов» (термин Каслера) среди них в общем-то нет. Почувствовав начало осмоса (что иногда происходит из-за чисто случайных сближений и флюктуаций) – разумеется, не органами чувств, а так, как мы ощущаем «чужое присутствие» или даже слышим «чужие голоса» в собственном мозгу, – персоноиды активно уклоняются от соприкосновения, отступают и расходятся. Это явление, однако, помогло уяснить им смысл понятий «добра» и «зла». Для них очевидно, что зло состоит в уничтожении другого, добро же – в его спасении.

И одновременно то, что является злом для одного, может быть добром (то есть пользой, уже в неэтическом смысле) для другого – для «душееда». Проникновение на чужую «духовную территорию» расширяет пределы первоначального «ментального ареала». Это – своего рода аналог нашего поведения, ведь будучи хищниками, мы должны убивать и питаться убитыми. Персоноиды не вынуждены, но могут так поступать. Они не знают ни голода, ни жажды: их питает энергия, поступающая постоянно, об источниках которой им заботиться не приходится, так же, как мы не заботимся о том, чтобы солнце светило. В мире персоноидов не могли бы появиться ни термины, ни сами принципы термодинамики, понимаемой энергетически, поскольку их мир подчиняется математическим, а не термодинамическим законам.

Вскоре исследователи убедились, что контакты людей с персоноидами (через входы и выходы компьютера) достаточно бесплодны с познавательной точки зрения и связаны к тому же с нравственными коллизиями, которым персонетика как раз и обязана своей репутацией немилосерднейшей из наук. Сообщать персоноидам, что мы их создали и заточили в машинах, *имитирующих* бесконечность, и что они всего лишь бесплотные, микроскопические «психоцисты», крошечные «капсулы» в нашем мире, – в этом есть что-то недостойное. Правда, они живут в своей собственной бесконечности, и поэтому Шаркер, да и другие персонетики (Фалькенштейн, Вигеланд), утверждали, что ситуация полностью симметрична: наш мир, наше «жизненное пространство» не нужны им точно так же, как нам – их «математическая земля». Добб считает эти аргументы софистикой. В демиургическом смысле не может быть спора о том, кто кого создал и кто кого заточил. Добб, во всяком случае, принадлежит к числу персонетиков, провозглашающих безусловное «невмешательство» и отказ от всяких контактов с персоноидами. Это бихевиористы от персонетики. Они наблюдают искусственные разумные существа, прислушиваются к их беседам и мыслям, фиксируют их

действия, но ни при каких обстоятельствах не вторгаются в их мир. Этот метод довольно хорошо разработан и располагает техническим оснащением, изготовление которого еще несколько лет назад натолкнулось бы на непреодолимые трудности. Проблема в том, чтобы слышать и понимать, словом, быть неотлучным свидетелем, но чтобы это «подслушивание» ничего не меняло в мире персоноидов. В настоящее время в МТИ разрабатываются программы (АФРОН-II и ЭРОТ), которые «обогатили бы» персоноидов (пока что бесполох) подобием «эротических контактов», «оплодотворения» и «полового» размножения. Добб не скрывает своего скептического отношения к этим американским проектам. Его собственные исследования, результаты которых излагаются в «Non serviam», идут в совершенно ином направлении. Не без основания именно английскую персонетическую школу окрестили «философским полигоном», «лабораторной теологией». Эти понятия вводят нас в проблематику, пожалуй, наиболее важную и, уж во всяком случае, сильнее всего захватывающую каждого человека; она обсуждается в последней части рецензируемого труда – той самой, что оправдывает и объясняет его название, лишь поначалу звучащее странно^[38].

Добб представляет отчет о собственных опытах, ведущихся уже восемь лет. О самом сотворении сообщается очень кратко; в конце концов это было лишь повторение, с незначительными модификациями, процедуры, типичной для программы ЯХВЕ-VI. Добб излагает результаты подслушивания мира, который он сам же и создал и за развитием которого продолжает следить. Такое подслушивание он считает занятием неэтичным, а временами, как он сам признается, даже постыдным. Тем не менее он продолжает исследования, признавая необходимость в науке и таких экспериментов, которым нет оправдания с чисто этической, внепознавательной точки зрения. Мы, говорит он, зашли уже так далеко, что прежние отговорки ученых не достигают цели. Мы не можем делать вид, будто каким-то чудесным образом сохраняем нейтральность, и отделяться от голоса совести уловками, на которые идут вивисекторы: дескать, страдания или, скажем, беспокойство причиняются не полноправным сознаниям, не суверенным существам. Мы несем двойную ответственность, поскольку сами творим и сами же заточаем сотворенное нами в схему наших исследовательских процедур. Как бы мы ни поступали и как бы ни толковали свои поступки – от полной ответственности нам уже не уйти.

Многолетние опыты Добба и его сотрудников из Олдпорта сводятся к созданию универсума о восьми измерениях, который стал обиталищем

персоноидов по имени АДАН, АДНА, АНАД, ДАНА, ДААН и НААД. Первые персоноиды развили заложенные в них зачатки языка, а затем создали «потомство» путем «деления». Как пишет Добб, явно парафразируя библейский стих, «и породил АДАН АДНУ, и АДНА родила ДАНА, и зачал ДААН ЭДАНА, который произвел на свет ЭДНУ...» – и так продолжалось, пока число поколений не достигло трехсот; а поскольку емкость компьютера, которым располагали исследователи, не превышала 100 персоноидных единиц, время от времени приходилось ликвидировать «демографические излишки». В трехсотом поколении опять появляются АДАН, АДНА, АНАД, ДАНА, ДААН и НААД, правда, на этот раз с цифрами – порядковыми номерами поколения; мы для простоты изложения номера опускаем. Согласно Доббу, время, прошедшее в компьютерном универсуме от «сотворения мира», составляет, в приблизительном пересчете на земные единицы, от 2 до 2,5 тысяч лет. За этот период популяция персоноидов выработала множество различных толкований своей судьбы, всевозможные, нередко друг другу противоречащие представления о «всем существующем», иначе говоря, множество философских (онтологических и эпистемологических) систем, а также «метафизических свершений». Потому ли, что «культура» персоноидов слишком отличается от земной, или потому, что эксперимент продолжался недостаточно долго, но в исследуемой популяции не сложилась вера, основанная на строгих догматах, нечто наподобие христианства или буддизма, хотя уже в седьмом поколении появляется понятие Творца как личного и единого Бога. Эксперимент заключался в том, что скорость компьютерных преобразований то доводилась до максимума, то (примерно раз в год) замедлялась, чтобы позволить наблюдателям «непосредственное подслушивание». Эти изменения скорости, поясняет Добб, совершенно незаметны для обитателей компьютерного универсума, как и для нас было бы незаметно преображение сразу всего бытия во временном измерении; пребывающие в бытии не осознают этого, если не располагают такой константой или системой соотнесения, которая позволила бы обнаружить свершившуюся перемену.

Благодаря включению двух «временных скоростей» стало возможным то, что было важнее всего для Добба, а именно: возникновение и наблюдение извне собственной истории персоноидов с ее временной перспективой и традициями, уходящими в прошлое. Невозможно пересказать здесь воссозданную Доббом «историю» персоноидов (нередко захватывающе интересную) в полном объеме. Мы ограничимся теми ее эпизодами, которые, несомненно, и отразились в названии книги. Язык

персоноидов представляет собой одну из поздних трансформаций упрощенного английского языка, лексика и синтаксис которого были запрограммированы в их первом поколении. Добб переводит его на обычный английский, сохраняя, однако, некоторые выражения, возникшие в персоноидной популяции. К ним относятся понятия «божист» и «небожист» (в значении «верующий в Бога» и «атеист»).

АДАН, ДААН и АДНА (персоноиды не имеют пола и не пользуются именами – имена им дают наблюдатели, чтобы удобнее было протоколировать высказывания) обсуждают проблему, которая в нашей истории восходит к Паскалю, а в истории персоноидов составляет изобретение ЭДАНА-197. Мыслитель этот, как и Паскаль, утверждал, что вера в Бога при любых обстоятельствах выгоднее неверия: если правы небожисты и Бога нет, верующий со смертью ничего не теряет, зато он выигрывает целую вечность (вечное блаженство), если Бог существует. Поэтому в Бога следует верить; это попросту тактика экзистенции, обеспечивающая максимальный выигрыш в этой и будущей жизни.

АДАН-300 по этому поводу замечает: ЭДАН-197 предполагает существование Бога, который требует почитания, любви и безусловной преданности, а не одной лишь веры в то, что он существует и что мир сотворен им. Итак, принять гипотезу Бога-творца недостаточно для спасения: нужно вдобавок быть ему благодарным за акт творения, угадывать и исполнять его волю, – короче, Богу нужно служить. Так вот: если Бог существует, он мог бы это удостоверить по меньшей мере с такой очевидностью, с какой удостоверяет свое бытие то, что нами наблюдается непосредственно. Ведь мы не сомневаемся, что определенные объекты существуют и что из них-то и состоит наш мир. Сомневаться возможно лишь в том, *как, каким образом они существуют*, но самому факту их бытия не противоречит ничто. Столь же наглядно Господь мог бы убедить нас в своем бытии, однако не сделал этого и обрек нас на поиски указаний косвенных, опосредованных, принимающих форму догадок (так называемых откровений). Тем самым он уравнивал позиции божистов и небожистов; он не заставил сотворенных безусловно поверить в свое бытие, а лишь оставил им такую возможность. Конечно, мотивы, которыми руководился Творец, сотворенным могут быть неизвестны. Однако возникает дилемма: либо Бог существует, либо не существует; какой-либо промежуточный вариант (существовал лишь когда-то в прошлом, существует временами, периодически; существует то «в меньшей степени», то в «большей») представляется крайне маловероятным. Исключить его совершенно нельзя, но введение многоценностной логики в богословие

лишь затемняет дело.

Итак, Бог либо есть, либо его нет. Предположим, что он по собственной воле допускает такое положение вещей, при котором обе стороны уверены в своей правоте: и те, кто доказывает существование Творца (божисты), и те, кто бытие Творца отрицает (небожисты). С точки зрения логики это игра, в которой на одной стороне участвует совокупность божистов и небожистов, на другой же – только Бог. Ее логическая характеристика такова, что за неверие Бог никого не вправе наказывать. И в самом деле: если неизвестно наверное, существует ли нечто, причем одни говорят «да», а другие «нет», и если к тому же имеются доводы в пользу последней гипотезы, ни один добросовестный суд не признает виновным того, кто оспаривает существование этого «нечто». Для всех возможных миров справедливо следующее суждение: без полной уверенности нет и полной ответственности. Суждение это логически неоспоримо; в терминах теории игр оно представляет собой симметричную функцию выплаты: тот, кто *при неполной уверенности* настаивает на *полной ответственности*, нарушает математическую симметрию игры (в этом случае возникает так называемая игра с ненулевой суммой).

Значит, либо Бог справедлив абсолютно, и тогда он не вправе наказывать небожистов за неверие; либо он все-таки будет карать неверующих, а следовательно, абсолютная справедливость ему не присуща. Что же тогда? Тогда он может делать вообще все, что ему заблагорассудится, ведь если в логической системе допустить единственное противоречие, то, согласно принципу «ex falso quod libet»^[39], из нее можно вывести все что угодно. Другими словами: Бог справедливый не может и волоса тронуть на голове у небожистов; если же он поступает иначе, его уже нельзя считать тем совершенным и всеблагим существом, каким его изображают теологи.

АДНА спрашивает, как выглядит на этом свете проблема причинения ближнему зла.

АДАН-300 отвечает: все происходящее *здесь* полностью достоверно; все происходящее *там* – в запредельном мире, в вечности и т.д., – недостоверно, как любые заключения, основывающиеся на гипотезах. *Здесь* не следует причинять зла, хотя этот принцип нельзя вывести чисто логически. Но чисто логически нельзя доказать и существование мира. Мир существует, хотя мог бы не существовать; зло причинять возможно, однако не следует. Я полагаю, говорит АДАН-300, что принцип не причинения зла вытекает из неявно принимаемого нами принципа взаимности: относись ко мне так, как я отношусь к тебе. Это не имеет

ничего общего с существованием или несуществованием Бога. Не делать зла, дабы избежать наказания *там*, или делать добро, рассчитывая *там* на награду, – значит основываться на недостоверных данных. *Здесь*, однако, не может быть более надежного основания, чем наше соглашение в этом вопросе. Основания, которые, быть может, имеются *там*, неизвестны мне с той же достоверностью, с какой *здесь* мне известны наши. В игре, которая продолжается, пока продолжается жизнь, мы союзники все до единого. Тем самым игра между нами полностью симметрична. Существование Бога предполагает продолжение игры вне этого мира. Я допускаю эту посылку лишь при условии, что она никак не повлияет на ход игры *здесь*. В противном случае ради кого-то, кого, возможно, вовсе и нет, мы готовы пожертвовать тем, что *здесь* существует наверное.

ДААН замечает, что ему неясно отношение АДАН-300 к Богу. АДАН допускает возможность существования Творца; что же отсюда следует?

АДАН: ничего абсолютно. То есть ничего в сфере должностования. Я полагаю, что – опять-таки для всех возможных миров – справедливо суждение: посюсторонняя этика абсолютно независима от потусторонней. Она не нуждается в том, чтобы ее санкционировали извне. Совершающий зло будет всегда негодяем, а делающий добро – праведником. И тот, кто готов служить Богу, считая доказательства его бытия достаточными, не имеет *здесь* никакой особой заслуги. Это его личное дело. Ведь если Бога нет, то его нет совсем, а если он есть, то он всемогущ. А всемогущий мог бы сотворить не только иной мир, но и иную логику – не ту, которая лежит в основе моих рассуждений. Возможно, в рамках этой иной логики посюсторонняя этика необходимо вытекала бы из этики потустороннего. И если не непосредственный опыт, то хотя бы логическая необходимость вынудила бы нас принять гипотезу Бога, чтобы не погрешить против разума.

ДААН говорит, что Бог, возможно, не желает принуждать кого-либо к вере в себя при помощи иной логики, о которой упоминает АДАН-300. Тот отвечает на это так:

Бог всемогущий должен быть и всеведущим; всеведение не есть нечто независимое от всемогущества, ибо тот, кто все может, но не знает, к чему приведет осуществление его всемогущества, фактически не всемогущ. Если бы время от времени он творил чудеса (как нас иногда уверяют), это выставило бы его совершенство в весьма двусмысленном свете, поскольку чудо, будучи внезапным вмешательством, нарушает автономию сотворенного. Тому, кто идеально отрегулировал творение и заранее знает, как оно будет вести себя до самого конца, нет нужды нарушать его

автономию; если же он все-таки ее нарушает, то тем самым вовсе не исправляет свое творение (ведь такая поправка предполагает изначальное невсведение), а извещает чудесами о собственном бытии. Но здесь имеется логический изъян: извещая о себе чудесами, он создает впечатление, что все-таки исправляет локальные изъяны творения. А если сотворенное подвергается исправлениям, которые исходят не из него самого, но появляются извне (из трансценденции, то есть из Бога), то, рассуждая логически, следовало бы сделать чудо нормой – усовершенствовать творение так, чтобы никакие чудеса не понадобились. Ибо чудеса – единичные вмешательства свыше – не могут быть *только* знаками существования Господа: они не только извещают об их Творце, но и воздействуют на сотворенных (дабы помочь им на этом свете). Итак, повторяю: с точки зрения логики либо творение совершенно, и тогда чудеса не нужны, либо чудеса необходимы, но тогда творение безусловно несовершенно, ведь исправить – чудесами или без них – можно лишь нечто ущербное. Чудо, вторгающееся в совершенство, может только нарушить, то есть испортить его. Возвещать о своем существовании чудесами – значит пользоваться способом, логически наихудшим.

ДААН спрашивает: быть может, Бог желает именно выбора между верой и логикой; быть может, акт веры как раз и должен быть отречением от логики в знак абсолютного доверия к Богу?

АДАН: если допустить, что логическая реконструкция чего-либо (бытия, теодицеи, теогонии и т.д.) *может* быть внутренне противоречивой хотя бы в одном пункте, то тогда можно доказать буквально все, что захочется. Вдумайтесь: ведь это значит наделить творение логикой, и логикой вполне определенной, а после потребовать принести ее в жертву как доказательство веры в Творца. Чтобы оставаться непротиворечивым, это допущение требует какой-то металогики, какого-то совершенно иного типа умозаключений, нежели те, что свойственны логике сотворенного. В этом проявляется если не прямая ущербность Творца, то, во всяком случае, черта, которую я бы назвал математической неэлегантностью, неупорядоченностью (некогерентностью) акта творения.

ДААН настаивает на своем: возможно, Творец поступает так именно потому, что желает остаться непостижимым для сотворенных, невыводимым по правилам логики, которую он для них создал. Иначе говоря, он требует логику подчинить вере.

АДАН отвечает ему: понимаю. Разумеется, это возможно, но если даже и так, несогласуемость веры и логики порождает крайне неприятную дилемму морального свойства. На каком-то этапе рассуждений нам

приходится отказываться от логики в пользу неясной догадки, то есть догадку предпочесть *логической достоверности*, – и все это во имя безграничного доверия. Мы попадаем в *circulus vitiosus*^[40], ибо существование того, кому мы так слепо должны доверять, есть следствие умозаключений, в исходном пункте *логически правильных*. Возникает логическое противоречие; подчас его берут с положительным знаком и нарекают «тайной бытия Бога». Такое решение с конструктивной точки зрения никуда не годится, а с точки зрения этики – сомнительно. Понятие Тайны может быть в достаточной мере оправдано неисчерпаемостью мироздания (ведь бытие бесконечно). Оправдывать же его при помощи внутреннего противоречия – дело весьма сомнительное с точки зрения любого конструктора. Ревнителю веры не отдадут себе в этом отчета и к некоторым частям богословия применяют обычную логику, а к другим – нет. По-моему, если верить в противоречие^[41], то уже *только* в противоречие, а не в логику и противоречие попеременно. Приняв этот несуразный дуализм (посюстороннее всегда подчиняется логике, потустороннее – лишь иногда), мы получим картину творения, смётанного из логических лоскутов, то есть заведомо несовершенного. Либо придется признать, что совершенство есть нечто латаное-перелатаное в логическом отношении.

АДНА спрашивает: не может ли связующим звеном подобных несоответствий служить любовь?

АДАН: Если и так, то не всякая, а только слепая. Бог, если он существует и если он сотворил мир, позволил миру устраиваться, как тот сумеет и пожелает. Бог не может рассчитывать на благодарность за то лишь, что он существует: такая постановка вопроса предполагает, что он мог бы и не существовать и что это было бы плохо, а подобное допущение ведет к дальнейшим противоречиям. Или, может быть, речь идет о благодарности за творение? И на нее он не может рассчитывать, иначе нам пришлось бы уверовать, что быть в любом случае лучше, чем не быть; не вижу, как это можно было бы доказать. Несуществующего нельзя ни осчастливить, ни опечалить; если же Бог, благодаря всеведению, знает заранее, что сотворенный будет ему благодарен и возлюбит Творца, или, напротив, проявит неблагодарность и отвергнет его, то он действует принуждением, пусть даже сотворенный никакого принуждения не замечает. И потому-то Богу не полагается от нас ничего – ни любви, ни ненависти, ни благодарности, ни сетований, ни надежды на воздаяние, ни страха перед возмездием. Ему не полагается ничего. Тот, кто желает каких-

либо чувств по отношению к себе, должен сначала убедить нас в собственном несомненном существовании. Любовь допускает сомнение в том, взаимна она или нет; это понятно. Но любовь, которая сомневается в существовании предмета любви, – нелепость. Обладающий всемогуществом мог бы рассеять любые сомнения. Если он их не рассеял, значит, счел это излишним. Почему? Напрашивается предположение, что он вовсе не всемогущ. Невсемогущий создатель, пожалуй, мог бы рассчитывать на чувство, близкое к жалости и даже любви; но этого ни один из наших теологов не допускает. Итак, я повторяю: будем служить себе и никому больше.

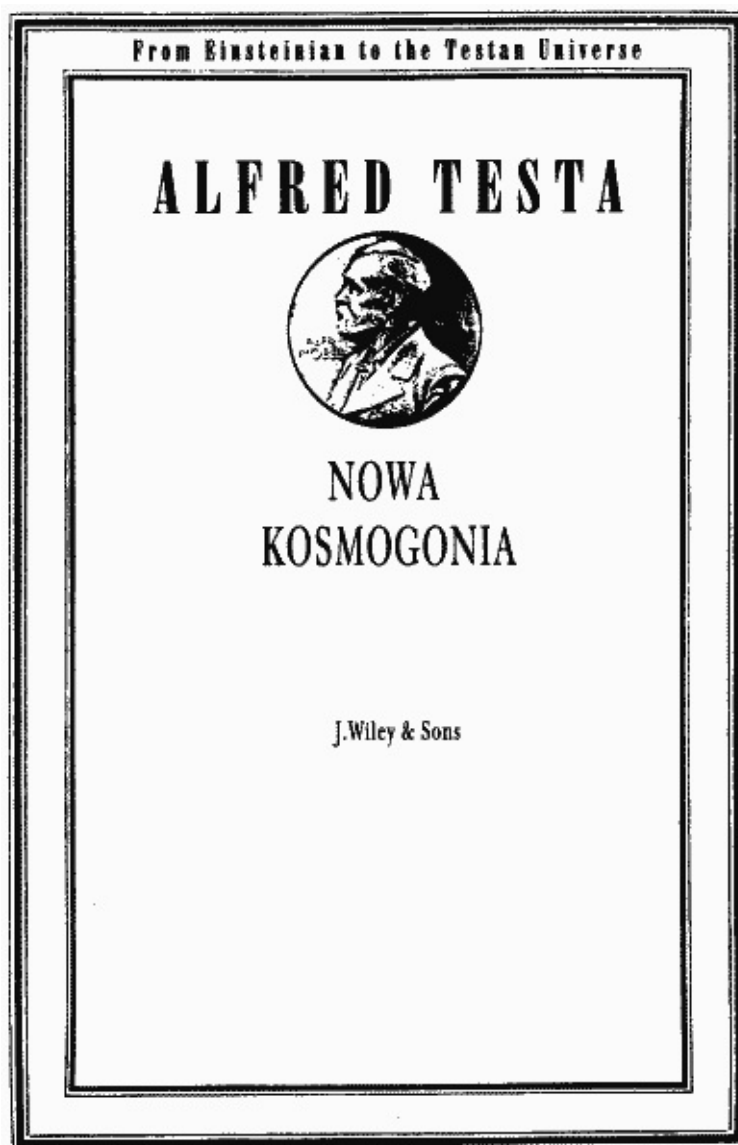
Мы опускаем дальнейшую дискуссию о том, является ли Бог, каким его изображает теология, либералом или скорее самодержцем; трудно вкратце изложить умозаключения, занимающие большую часть книги. Размышления и дискуссии, которые протоколировал Добб в ходе групповых коллоквиумов АДНА-300, ДАНА и других персонидов, а также в ходе соликоллоквиумов^[42] (даже чисто мысленный ход умозаключений экспериментатор может фиксировать при помощи специальных устройств, подключенных к компьютеру), занимают чуть ли не треть книги. В самом тексте не дается никакого комментария к ним. Таким комментарием, однако, служит послесловие Добба. Он пишет:

По-моему, доводы АДНА неоспоримы – во всяком случае, постольку, поскольку они адресованы мне; ведь это я его создал. В его теологии я являюсь Творцом. Я действительно сконструировал этот мир (с порядковым номером 47), применив программу АДОНИ-IX, а при помощи модифицированной программы ЯХВЕ-VI создал зародыши персонидов. Первое их поколение положило начало тремстам следующим. Я действительно не сообщил им ничего достоверного ни о возникновении мира, ни о моем собственном существовании. К мысли о моем бытии они действительно могут прийти лишь путем гипотез, догадок и домыслов. Создавая разумные существа, я действительно счел себя не вправе требовать от них благодарности или любви, тем более – какого-либо служения. Я могу увеличить или уменьшить их мир, ускорить или замедлить течение времени в нем, изменить способ и тип их восприятия, могу уничтожить их, могу дробить их и множить, могу перестроить онтологический фундамент их бытия. Иначе говоря, по отношению к ним я всемогущ, но, честное слово, из этого вовсе не следует, будто они мне что-то должны. Напротив, я убежден, что они мне ничем не обязаны. Это правда: я их не люблю; о любви здесь говорить не приходится; но в

конце концов какой-нибудь другой персонетик мог бы питать любовь к своим подопечным. По-моему, это никак не изменило бы сути дела – ни на волос. Представьте себе, что я подключил к моему ВІХ-310/092 огромных размеров приставку – «загробный мир», – через которую пропускаю одну за другой «души» моих персоноидов; тех, кто верил в меня, кто меня почитал, кто питал ко мне доверие и благодарность, я награждаю, а всех остальных (небожистов, говоря языком персоноидов) наказываю уничтожением или страданиями (о вечных муках не смею даже помыслить – я все же не такое чудовище!). Мой поступок, вне всяких сомнений, сочли бы выходкой крайнего и бессовестного эгоцентризма, мстью подлой и к тому же иррациональной, короче, гнуснейшим злоупотреблением своей абсолютной властью над невинными существами, причем на их стороне была бы неоспоримая правда логики, определяющей их поведение. Разумеется, из истории персонетики каждый волен делать выводы, какие считает нужными. Д-р Айан Комби сказал мне в частной беседе, что я мог бы убедить персоноидов в своем бытии. Вот этого я не сделаю наверняка. Это значило бы напрашиваться на что-то, ожидать какой-то реакции с их стороны. Но что они, собственно, могли бы сказать или сделать такого, чтобы я, их несчастный Творец, не почувствовал себя глубоко пристыженным и больно задетым? Счета за электроэнергию приходят ежеквартально, и наступит минута, когда университетские власти потребуют окончания эксперимента – выключения машины, то есть конца света. Я буду оттягивать эту минуту так долго, как только смогу. Это единственное, что я в состоянии сделать, однако гордиться тут нечем. Они мне ничего не должны, а я отдаю им последний долг. Надеюсь, эти слова не покажутся вам двусмысленными. Но если все же покажутся – пусть.

Новая космогония

(Речь профессора Альфреда Тесты на торжествах по случаю вручения ему Нобелевской премии, перепечатанная из юбилейного сборника «From Einsteinian to the Testan Universe»^[43] с согласия издательства «J. Wiley and Sons».)



Ваше Величество, дамы и господа! Мне хотелось бы воспользоваться необычностью места моего выступления, чтобы рассказать вам об обстоятельствах, которые привели к возникновению новой картины

Вселенной и тем самым определили положение человека в Космосе способом, принципиально отличающимся от исторически сложившихся представлений. Торжественность этих слов относится не к моей работе, а к памяти человека, которого уже нет среди живых и которому мы обязаны многим. Вот о нем я и буду говорить, ибо произошло то, чего мне меньше всего хотелось бы: в сознании современников моя работа заслонила созданное Аристидисом Ахеропулосом, причем настолько, что историк науки профессор Бернارد Вейденталь, то есть специалист, казалось бы, вполне компетентный, написал недавно в своей книге «Die Welt als Spiel und Verschwörung»^[44], что основная публикация Ахеропулоса «The New Cosmogony»^[45] вовсе не научное исследование, а всего лишь полулитературная фантазия, в реальность которой не верил и сам автор. А профессор Арлен Стайнмингтон в «The New Universe of the Game Theory»^[46] высказал мнение, что, не будь работ Альфреда Тесты, идея Ахеропулоса так и осталась бы всего лишь парением философской мысли, чем-то вроде мира предустановленной гармонии Лейбница, к которому точные науки никогда не относились серьезно.

Итак, одни считают, что я принял всерьез то, чему не придавал значения и сам автор идеи, другие же считают, что я вывел на чистую воду естествознания мысль, опутанную спекулятивностью околonaучного философствования. Столь разноречивые суждения вынуждают меня внести в этот вопрос ясность, что я и постараюсь сделать по мере сил. Да, Ахеропулос занимался философией естествознания, а не физикой или космогонией и свои идеи он изложил, не прибегая к математическому аппарату. Правда и то, что между интуитивными представлениями его космогонии и моей формализованной теорией существует немало расхождений. Но правда заключается прежде всего в том, что Ахеропулос смог прекрасно обойтись без Тесты, тогда как Теста всем обязан Ахеропулосу. Эта разница не так уж мала. Чтобы изложить ее суть, я должен просить вас запастись терпением.

В середине двадцатого века, когда небольшая группа астрономов занялась изучением проблемы так называемых космических цивилизаций, это предприятие казалось чем-то совершенно неактуальным. Ученые в массе своей смотрели на это как на хобби нескольких десятков оригиналов, которых достаточно повсюду, а стало быть, и в науке. Они не чинили серьезных препятствий поискам сигналов, исходящих от иных цивилизаций, но вместе с тем не допускали и мысли, что существование этих цивилизаций может оказать влияние на наблюдаемый нами Космос.

Если же тот или иной астрофизик осмеливался заявить, что спектр излучения пульсаров, либо загадка квазаров, или же определенные явления в ядрах галактик связаны с разумной деятельностью обитателей Мироздания, то ни один солидный авторитет не считал такое заявление научной гипотезой, достойной внимательного изучения. Астрофизика и космология оставались глухи к данной проблеме; в еще большей степени это относилось к теоретической физике. В науке тогда рассуждали примерно так: если мы хотим изучить механизм часов, то вопрос о том, есть ли на его гирях и шестернях какие-либо микроорганизмы или нет, не имеет ни малейшего значения ни для конструкции, ни для кинематики часового механизма. Наличие микроорганизмов заведомо не скажется на ходе часов! Именно так в те времена и считали: поскольку мыслящие существа не могут вмешаться в ход космического механизма, значит, при изучении этого механизма следует полностью пренебречь вероятностью их существования.

Даже если кто-нибудь из светил тогдашней физики и допустил бы возможность решительного переворота в космологии и физике, переворота, вызванного наличием в Космосе разумных существ, то лишь на таких условиях: если будут обнаружены космические цивилизации, если от них будут приняты сигналы и при этом будет получена принципиально новая информация о законах Природы, то тогда (и только тогда!) могут и впрямь произойти существенные преобразования в земной науке. Но чтобы революция в астрофизике могла совершиться без таких контактов, более того – чтобы именно *отсутствие* таких контактов, а также полное отсутствие сигналов и признаков так называемой «астроинженерии» могло бы вызвать величайшую революцию в физике и в корне изменить наши представления о Космосе – такое наверняка не могло прийти в голову ни одному из тогдашних авторитетов.

А ведь Аристидис Ахеропулос опубликовал свою «Новую Космогонию» при жизни многих выдающихся ученых. Его книга попала мне на глаза, когда я был докторантом математического факультета швейцарского университета в том самом городке, где некогда Альберт Эйнштейн работал служащим патентного бюро, в свободное время занимаясь созданием основ теории относительности. Мне удалось прочесть эту книжку потому, что она была издана в английском переводе, кстати сказать, прескверном. Более того, она была опубликована в серии «Science Fiction» в издательстве, которое специализировалось на литературе исключительно такого рода. Как я узнал много позже, первоначальный текст был сокращен при этом почти наполовину. Вероятно, обстоятельства

ее издания (которые от Ахеропулоса не зависели) и породили мнение, что, создавая «Новую Космогонию», автор якобы и сам не принимал всерьез содержащихся в ней положений.

Боюсь, что сейчас, в век спешки и быстро меняющейся моды, никто, кроме историков науки и библиографов, и в руках не держал «Новую Космогонию». Образованные люди знают название книги, слышали об ее авторе – и все. Тем самым эти люди многого себя лишают. Не только содержание «Новой Космогонии» живо запечатлелось в моей памяти, хотя я читал ее двадцать один год тому назад, но и все ощущения, вызванные чтением. А они были необычны. С той самой минуты, когда вы впервые осознаете грандиозность авторского замысла, когда в вашем воображении во всей полноте возникает идея палимпсестового Космоса – Игры с его невидимыми и неведомыми друг другу Игроками, вас уже не покидает ощущение, что вы столкнулись с чем-то необычайно, потрясающе новым и одновременно – что это плагиат, перевод на язык естественных наук древнейших мифов, в которых отразился непроницаемый донный слой человеческой истории. Это досадное и даже удручающее впечатление возникает, как мне кажется, оттого, что всякий синтез физики и воли мы считаем для рационального мышления недопустимым, я даже сказал бы, неприличным. Ибо проекцией воли являются все древние космогонические мифы, повествующие с торжественной серьезностью и с той простодушной наивностью, которая и есть утраченный рай человечества, как возникала жизнь из схватки демиургических первоэлементов, воплощенных в различные тела и формы, как рождался мир яростных объятий любви и ненависти бого-зверей, бого-духов или титанов; и подозрение, что именно эта схватка, являющаяся чистейшей проекцией антропоморфизма в пространство космической загадки, что именно это сведение Физики к Желанию и было тем образцом, которым воспользовался автор, – это подозрение уже невозможно преодолеть.

Рассмотренная в таком ракурсе Новая Космогония оказывается в действительности Старой Космогонией, и всякая попытка изложить ее на языке человеческого опыта представляется чуть ли не кровосмесительством, следствием элементарного неумения разделять понятия и категории, которые *не могут* употребляться рядом. В свое время эта книжка попала на глаза лишь немногим выдающимся мыслителям, и теперь я знаю – поскольку сам слышал это не раз, – что именно так ее и читали: с раздражением, с досадой, презрительно пожимая плечами, из-за чего, пожалуй, никто не дочитал ее до конца. Не следует излишне возмущаться такой предвзятостью, такой инертностью предубеждений, ибо

временами книга и впрямь выглядит вдвойне нелепо: замаскированных богов, переряженных в материальные существа, она воссоздает сухим языком научных утверждений и одновременно называет законы Природы следствием их конфликта. В результате читателя лишают сразу всего: и веры, понимаемой как парящая в своем совершенстве Трансценденция, и Науки с ее добросовестной, трезвой и объективной серьезностью. В конечном счете не остается ничего – все исходные понятия оказываются совершенно непригодными и здесь, и там; возникает ощущение, что с вами обошлись по-варварски, что вас обобрали под видом посвящения в нечто, не являющееся ни религией, ни наукой.

Я не в состоянии передать, какое опустошение произвела эта книга в моем сознании. Конечно, ученый обязан быть в науке Фомой неверующим, можно оспаривать любое ее утверждение, но ведь нельзя подвергать сомнению сразу все! Ахеропулос уклонялся от признания своей гениальности, наверное, неумышленно, но весьма успешно. Это был никому не известный сын малого народа, у него не было специального образования ни в области физики, ни в области космогонии, и, наконец (а это уже переполняло чашу), у него не было никаких предшественников – вещь в истории небывалая, ибо каждый мыслитель, каждый революционер духа имеет своих учителей, которых перерастает, но на которых все-таки ссылается. Этот же грек пришел один. Одиночество должно было стать уделом такого новатора: вся его жизнь свидетельствует об этом.

Я никогда не встречался с ним и знаю о нем не слишком много. Как зарабатывать на жизнь, ему всегда было безразлично. Первую редакцию «Новой Космогонии» он написал тридцати трех лет, уже имея степень доктора философии, но нигде не мог опубликовать книгу. Непризнание своей идеи, прижизненное непризнание, он переносил стоически; попытки опубликовать «Новую Космогонию» он вскоре оставил, поняв их бесполезность. Сначала он был привратником в том самом университете, где получил степень доктора философии за блестящую работу по сравнительной космогонии древних народов, затем заочно изучал математику и одновременно работал помощником пекаря, а позже – водовозом; никто из тех, с кем он сталкивался, не слышал от него ни единого слова о «Новой Космогонии». Он был скрытен и, как говорят, беспощаден к своим ближним и к самому себе. Именно эта его беспощадность в высказывании мыслей, в равной степени неприемлемых и для науки, и для религии, его безграничный еретизм, эта его универсальная кощунственность, проистекающая из интеллектуальной отваги, должно быть, и оттолкнули от него всех читателей. Я думаю, что, принимая

предложение английского издателя, он поступал подобно потерпевшему кораблекрушение, который, оказавшись на безлюдном острове, бросает в морские волны бутылку с запечатанной в ней запиской: он хотел оставить след своей мысли, ибо был уверен в ее правильности.

Даже чудовищно искалеченная убогим переводом и бессмысленными сокращениями, «Новая Космогония» все же является произведением незаурядным. Ахеропулос сокрушил в ней все, абсолютно все, что создавали веками наука и религия; эта пустыня, усыпанная обломками уничтоженных им понятий, понадобилась ему для того, чтобы приняться за работу с самого начала, то есть чтобы построить Космос заново. Это ужасное зрелище вызывает защитную реакцию, которая заставляет признать, что автор либо явный безумец, либо явный неуч, а его ученые звания просто не заслуживают доверия. Те, кто отвергал его подобным образом, восстанавливали свое душевное равновесие. Между мною и всеми прочими читателями «Новой Космогонии» оказалась лишь та разница, что я не смог этого сделать. Кто не отвергнет этой книжки целиком, от первой и до последней буквы, тот пропал: он уже никогда от нее не освободится. Спасительная золотая середина здесь исключена полностью: если не сумасшедший и не невежда, значит, гений.

С этим диагнозом согласиться нелегко! От текста непрестанно рябит в глазах: нетрудно заметить, что матрица конфликтного столкновения, то есть Игры, является каркасом любой религии, не изжившей, скажем, до конца манихейских элементов, а найдется ли такая религия, в которой не осталось хотя бы этих следов? По призванию и по образованию я математик, физиком я стал благодаря Ахеропулосу. Я твердо уверен, что все мои взаимоотношения с физикой всегда были бы эпизодическими и случайными, если бы не этот человек. Он обратил меня, я могу даже указать место в «Новой Космогонии», которое к этому привело. Речь идет о семнадцатом параграфе шестой главы книги, том самом, где говорится об изумлении Ньютонов, Эйнштейнов, Джинсов, Эддингтонов, обнаруживших, что законы природы можно описать математически, что математика, этот плод чисто логической работы духа, может управиться с Космосом. Некоторые из этих великих, как Эддингтон или Джинс, считали, что сам Создатель был математиком и что следы этой его склонности проявляются в деле творения. Ахеропулос утверждает, что время этих восторгов в теоретической физике уже прошло, поскольку замечено, что математический формализм говорит о мире или слишком мало, или слишком много: оказывается, математика дает такое описание структуры Вселенной, которое никогда не попадает в самую суть, в самую цель, а

всегда лежит где-то рядом. Мы считали такое положение дел переходным, он же отвечает: да, физикам не удалось создать общую теорию поля, они не смогли связать явления макро– и микромира, но это еще в будущем. Совмещение картины мира и его математического описания будет достигнуто, но это произойдет не потому, что математический аппарат подвергнется дальнейшим реконструкциям, – ничего подобного. Совпадение наступит тогда, когда созидательная работа во Вселенной дойдет до конца; сейчас же она еще в разгаре. Законы Природы *еще* не таковы, какими «должны» быть; и станут они такими не из-за усовершенствования методов математики, а благодаря соответствующим преобразованиям Вселенной!

Дамы и господа, эта величайшая из всех ересей, с которыми я сталкивался в жизни, околдовала меня. Ибо что, собственно, говорит Ахеропулос в той же главе дальше? Не более и не менее как то, что физика мироздания является следствием его, то есть Космоса, социологии... Но чтобы правильно понять такое из ряда вон выходящее утверждение, мы должны обратиться к некоторым фундаментальным положениям.

Обособленность идей Ахеропулоса, увы, не имеет себе равных в истории разума. Вопреки видимости плагиата, о котором я упоминал, идея Новой Космогонии выходит за рамки как любых метафизических систем, так и всевозможных методов естествознания. Впечатление, что мы имеем дело с плагиатом – это вина читателя, плод инертности его мышления. Чисто машинально мы полагаем, что весь материальный мир строго подчиняется такой логической дихотомии: либо он был Кем-то создан (и тогда, стоя на позициях религии, мы зовем этого «Кого-то» Абсолютом, Богом, Животворящим Духом), либо он не был создан никем, и тогда это означает, если рассматривать мир с научной точки зрения, что его никто не создавал. А Ахеропулос сказал: «*Tertium datur*»^[47]. Мир не был создан Никем, но он, однако, был устроен; Космос имеет Творцов!

Почему у Ахеропулоса не было ни одного предшественника? Его главная мысль весьма проста, и неправда, что ее нельзя было сформулировать до возникновения таких дисциплин, как теория игр или алгебра конфликтных структур. Его основную мысль можно было бы высказать еще в первой половине XIX века, а возможно, и раньше. Почему же никто этого не сделал? Мне кажется, это произошло потому, что наука, обретая самостоятельность в процессе освобождения от гнета религиозных догм, приобрела своеобразную аллергию к некоторым понятиям. Вначале Наука вступала в конфликт с Верой, что приводило к известным, часто весьма печальным результатам, которых Церковь и по сей день несколько

стыдится, и это при том, что Наука молчаливо простила ей былые преследования. В конце концов это привело к состоянию настороженного нейтралитета между Наукой и Верой: каждая старается не ставить палки в колеса другой. Результатом такого сосуществования, весьма рискованного и напряженного, явилось ослепление Науки, сказавшееся в том, что она избегала мест, где покоилась идея Новой Космогонии. Идея эта тесно связана с понятием Интенции, или замысла, то есть с тем, что неотделимо от веры в персонифицированного Бога, поскольку является ее оплотом. Ибо, согласно религии, Бог создал мир актом воли и замысла, то есть актом интенциональным. Поэтому Наука сочла данное понятие весьма подозрительным и даже более того – запрещенным. Оно превратилось в табу. В мире науки о нем нельзя было и заикнуться из опасения впасть в смертный грех иррационалистического уклона. Страх сковал не только уста, но и умы ученых.

Теперь рассмотрим все еще раз с самого начала. В конце семидесятых годов двадцатого века загадка *Silentium Universi*^[48] получила некоторую известность. Ею интересовались самые широкие круги. После первых предварительных попыток принять сигналы из космоса (это были работы Дрейка в Грин Бэнк) появились дальнейшие проекты, реализованные как в СССР, так и в США. Однако Космос, прослушиваемый самой чуткой электромагнитной аппаратурой, хранил упорное молчание, наполненное лишь шумом и треском, сопровождавшими стихийное высвобождение звездной энергии. Вселенная оставалась безжизненной во всех своих глубинах. Отсутствие сигналов «иных миров» и вдобавок отсутствие следов их «астроинженерной» деятельности превращалось для науки в трагедию. Биология открыла естественные условия, способствующие зарождению жизни из мертвой материи. Удалось даже осуществить биогенез в лабораторных условиях. Астрономия определила частоту планетогенеза, причем было неопровержимо установлено, что множество звезд имеют планетные системы. Итак, все науки единогласно утверждали, что жизнь может возникнуть в ходе естественных космических процессов, что ее эволюция должна быть обычным явлением во Вселенной, а увенчание эволюционного древа разумом органических существ было признано естественной закономерностью.

Таким образом, науки создали картину обитаемого Космоса, а при всем при том наблюдаемые факты упорно противоречили этим утверждениям. Согласно теории, Землю окружала целая толпа цивилизаций, правда, в звездном удалении. Согласно практике наблюдений, нас окружала мертвая глушь. Первые исследователи проблемы исходили из

того, что среднее расстояние между двумя космическими цивилизациями составляет от пятидесяти до ста световых лет. Затем это расстояние было увеличено до тысячи. В семидесятые годы радиоастрономия так усовершенствовалась, что можно было обнаружить сигналы, идущие с расстояний до десяти тысяч световых лет, однако и оттуда слышался лишь шум солнечных пожаров. За семнадцать лет непрерывного прослушивания Космоса не было выловлено ни единого сигнала, ни единого знака, дающего основания предполагать, что за ним стоит разумное намерение.

Тогда Ахеропулос сказал себе: факты наверняка истинны, поскольку именно они являются основой познания. Возможно ли, что все теории всех наук ложны, что и органическая химия, и биохимический синтез, теоретическая и эволюционная биология, планетология, астрофизика – все до единой неверны? Нет, столь явно и столь единодушно они не могли заблуждаться. А это значит, что факты, которые мы наблюдаем (вернее, которых *не* наблюдаем), вовсе не противоречат теориям. Необходимо заново проинтерпретировать совокупность данных и совокупность обобщений. Именно такую попытку и предпринял Ахеропулос.

На протяжении двадцатого столетия возраст Космоса и его размеры земная наука вынуждена была многократно пересматривать. Направление этих изменений было всегда одним и тем же: и древность, и размеры Вселенной, как правило, недооценивались. Когда Ахеропулос приступил к созданию «Новой Космогонии», возраст и величину Вселенной подвергли очередному пересмотру: существование Космоса оценивалось по крайней мере в двенадцать миллиардов лет, а его размеры – величиной от десяти до двенадцати миллиардов световых лет. Так вот, возраст Солнечной системы составляет около пяти миллиардов лет. Отсюда следует, что эта система не принадлежит к первому поколению звезд, порожденному Вселенной. Первое поколение возникло много раньше, а именно около двенадцати миллиардов лет назад. Вот в этом промежутке времени, отделяющем возникновение самого первого поколения солнц от возникновения их последующих поколений, спрятан ключ к загадке.

Поэтому сложилась ситуация, в равной мере и удивительная, и забавная. Как может выглядеть, чем может заниматься, какие цели может преследовать цивилизация, развивающаяся в течение миллиардов лет (а именно на миллиарды лет цивилизации «первого поколения» должны быть старше земной!), – этого никто не мог себе представить даже при самом смелом полете фантазии. А то, чего нельзя даже представить, было, как вещь весьма неудобная, попросту проигнорировано. В самом деле, ни один из исследователей проблемы внеземного разума даже не упоминал о столь

долговечных цивилизациях. Правда, кое-кто осмеливался заявить, что квазары и пульсары, возможно, представляют собой результат деятельности мощнейших космических цивилизаций. Однако простые расчеты показали, что Земля, развиваясь нынешними темпами, смогла бы достигнуть столь высокого уровня астроинженерной деятельности всего за *несколько тысяч* ближайших лет. А что потом? На что способна цивилизация, существующая в *миллионы* раз дольше? Астрофизики, занимающиеся этими вопросами, пришли к выводу, что такие цивилизации ничего не делают, ибо они не существуют.

Что же с ними случилось? Немецкий астроном Себастьян фон Хорнер утверждал, что все они кончили жизнь самоубийством. Пожалуй, так оно и есть, коль скоро их нигде не видно! Да нет же, отвечал Ахеропулос. Их нигде не видно? Это мы их просто не замечаем, поскольку они *уже везде*. Точнее, не они сами, а лишь результаты их деятельности. Двенадцать миллиардов лет назад – а в те времена пространство и впрямь было мертвым – возникли первые зародыши жизни на планетах первого звездного поколения. Однако прошли эпохи, и от той космической первоосновы ничего не осталось. Если считать «искусственным» все то, что преобразовано активным Разумом, то весь окружающий нас Космос уже *искусственный*. Столь дерзкая ересь вызывает мгновенное противодействие: ведь нам известно, как выглядят «искусственные» объекты, созданные разумом, занимающимся технической деятельностью! Где же космические корабли, где титаническая техника звездных существ, которая должна нас окружать, воплощая в себе их могущество? Но это – ошибка, вызванная инерцией мышления, поскольку в машинной технике, говорит Ахеропулос, нуждаются только цивилизации, находящиеся в эмбриональном состоянии, как, например, земная. Миллиардолетней цивилизации не нужна никакая техника. Ее орудием является то, что мы называем Законами Природы. Сама Физика представляет собой «машину» для такой цивилизации! Причем это не «готовая машина», ничего подобного; «машина» эта (конечно, с механическими машинами она не имеет ничего общего) создается на протяжении миллиардов лет, и ее строительство хоть и весьма далеко продвинулось, но еще не завершено!

Дерзость этого святотатства, его невыразимо бунтарский дух прямо-таки вышибают книжку Ахеропулоса из рук читателя, – несомненно, так случилось со многими. А ведь это лишь первый шаг на пути дальнейшего отступничества автора, величайшего еретика в истории науки.

Ахеропулос уничтожает разницу между «естественным» (созданным Природой) и «искусственным» (созданным машиной), заходя в этом так

далеко, что считает разницу между учрежденным (то есть юридическим) Законом и Законом Природы... Он отвергает мнение, что якобы разделение произвольно взятых объектов по происхождению на искусственные и естественные является объективным свойством мира. Ахеропулос считает это мнение изначальным заблуждением, вызванным эффектом, который он называет «сужением горизонта понятий».

Человек наблюдает природу, говорит Ахеропулос, и учится у нее; он наблюдает падение тел, молнии, процессы горения; Природа всегда является учителем, а человек – учеником; проходит время, и он сам начинает имитировать процессы, происходящие в собственном теле, как бы беря у него уроки биологии. Но и тогда, подобно пещерному человеку, он продолжает считать Природу пределом мыслимого совершенства решений: он надеется, что, может быть, когда-нибудь потом, в далеком будущем, ему удастся сравняться с Природой в безупречности действий, но это уже будет конец пути. Дальше идти некуда, ибо то, что существует в виде атомов, солнц, тел животных, его собственного мозга, – по строению своему является непревзойденным вовеки. И естественно, Природа является пределом потока работ, которые ее «искусственно» повторяют и модифицируют.

Вот это и есть, говорит Ахеропулос, ошибка перспективы или «сужение горизонта понятий». Сама концепция «совершенства Природы» является такой же иллюзией, как сходящиеся на горизонте рельсы. Природу можно изменять во всем, если, конечно, располагать соответствующими знаниями; можно управлять атомами, а потом можно изменять и свойства атомов; при этом лучше и вовсе не раздумывать, окажется ли «искусственный» результат такой деятельности «более совершенным», чем то, что было ранее, то есть «естественное». Это будет попросту другое, возникшее по плану и замыслу действующих сторон, оно будет «лучше», то есть «совершеннее», потому что создано по решению Разума. Но какое «абсолютное превосходство» сможет проявить космическая материя после ее всеобщего преобразования? Возможны «различные природы», «разные космосы», но реализованным оказался всего лишь один конкретный вариант, тот самый, который породил нас и в котором мы существуем, вот и все. Так называемые Законы Природы являются «неизменными» лишь для такой «эмбриональной» цивилизации, как земная. Согласно Ахеропулосу, путь развития ведет от ступени, на которой законы природы открывают, к ступени, на которой эти законы создают.

Вот что произошло – и происходит – в течение миллиардов лет. Нынешний Космос уже не является полем действия девственных

стихийных сил, слепо созидających и уничтожающих солнца и солнечные системы; ничего подобного нет и в помине. В Космосе уже невозможно отличить естественное (первичное) от искусственного (преобразованного). Кто выполнил этот космогонический труд? Цивилизации первых поколений. Как? Этого мы не знаем: наши знания слишком ничтожны, чтобы судить об этом. Тогда на каком основании можно считать, что все обстоит именно так?

Если бы первые цивилизации, отвечает Ахеропулос, были с самого начала свободны в своих поступках, подобно тому как был свободен – в религиозном понимании – сам Творец Мироздания, то нам, конечно, никогда не удалось бы заметить следов происшедших перемен. Все религии изображают сотворение мира Богом как абсолютно свободный преднамеренный акт, но положение Разума было иным, цивилизации были ограничены свойствами первичной материи, их породившей; эти свойства обусловили их последующие поступки, и по поведению цивилизаций можно опосредованно составить картину исходных условий сознательной Космогонии. Это не так-то просто, ведь в процессе преобразования Вселенной сами цивилизации тоже не стояли на месте: являясь ее частью, они не могли ее изменять, не изменяя при этом самих себя.

Ахеропулос приводит такой наглядный пример: если на питательную среду поселить колонии бактерий, то исходную («естественную») среду и эти колонии вначале легко различить. Однако в процессе своей жизнедеятельности бактерии поглощают одни вещества и выделяют другие, преобразуя среду так, что ее состав, кислотность, консистенция подвергаются изменениям. Когда же в результате этих перемен обогащенная новыми химическими компонентами среда порождает новые разновидности бактерий, до неузнаваемости непохожие на родительские поколения, эти новые разновидности есть не что иное, как следствие «биохимической игры», которая велась одновременно всеми колониями и средой. Новые формы бактерий не могли бы возникнуть, если бы предыдущие поколения не изменили среды; следовательно, эти новые формы являются результатом самой игры. А между тем отдельным колониям вовсе нет нужды общаться между собой: они влияют друг на друга посредством диффузии, осмоса, сдвига кислотно-щелочного равновесия среды. Как видим, возникшая игра постепенно исчезает – на смену ей приходят качественно новые, ранее не существовавшие формы игры. Подставьте вместо среды Пракосмос, вместо бактерий – Працивилизации, и вы получите упрощенную картину Новой Космогонии.

С точки зрения исторически накопленных знаний все, о чем я говорил

до сих пор, – полнейшее безумие. Тем не менее ничто не мешает нам проводить мысленные эксперименты с самыми произвольными исходными допущениями, лишь бы они были логически непротиворечивы. Что же касается гипотезы Космоса-Игры, то здесь возникает ряд вопросов, на которые необходимо дать не противоречащие друг другу ответы. В первую очередь эти вопросы касаются начальных условий; можем ли мы что-нибудь предположить о них, можем ли из этих предположений получить исходную ситуацию Игры? Ахеропулос считал, что это возможно. Для того чтобы в Пракосмосе возникла Игра, он должен был обладать определенными свойствами, например такими, чтобы в нем могли возникнуть первые цивилизации. Это значит, что он не был физическим хаосом, а подчинялся определенным закономерностям.

Эти закономерности, однако, не обязательно были универсальными, то есть повсюду одинаковыми. Пракосмос мог быть физически неоднородным, мог представлять собой нечто вроде набора различных разновидностей физики, не во всем тождественных и не везде одинаково определившихся (процессы, протекающие в условиях недоопределившейся физики, не всегда протекают одинаково, хотя их начальные условия могут быть аналогичными). Ахеропулос принял за основу, что Пракосмос был именно таким, физически «кусочным», и что цивилизации могли возникнуть лишь в немногих очагах, значительно удаленных друг от друга. В представлении Ахеропулоса физическая картина Пракосмоса напоминала пчелиные соты; подобно ячейкам в сотах, в Пракосмосе должны были существовать области с временно стабилизированной физикой, которая отличалась от физики соседних областей. Каждая цивилизация, развиваясь обособленно, в изоляции от прочих, могла считать себя единственной во Вселенной и по мере накопления знаний и энергии старалась придавать окружению черты стабильности, последовательно раздвигая при этом границы своего влияния. Если ей это удавалось, то по истечении довольно длительного времени такая цивилизация начинала сталкиваться – в удаленных сферах своей деятельности – с явлениями, которые уже не были только естественным проявлением стихийности окружающего нас пространственно-временного континуума, но были продуктом деятельности другой цивилизации. Согласно Ахеропулосу, именно так и закончилась первая фаза Игры – вступительная. Цивилизации не устанавливали друг с другом непосредственных контактов, все происходило так: разновидность физики, установленная одной из цивилизаций, в процессе экспансии наталкивалась на соседние разновидности физики.

Эти разновидности физики не могли плавно переходить одна в другую, поскольку они были нетождественны – потому, что нетождественными были и начальные условия существования каждой цивилизации в отдельности. Как полагал Ахеропулос, каждая из цивилизаций довольно долго не отдавала себе отчета в том, что в течение какого-то времени она уже не продвигается в глубь, казалось бы, совершенно нейтральной материальной среды, а сталкивается со сферами сознательной деятельности иных цивилизаций. Понимание сложившейся ситуации пришло не сразу. Осознание этого факта, наверняка не одновременное, открыло следующую, вторую фазу Игры. Стараясь сделать эту гипотезу более правдоподобной, Ахеропулос приводит в «Новой Космогонии» ряд воображаемых сцен, иллюстрирующих космическую эпоху, когда различные по исходным законам разновидности физики наталкивались друг на друга, а фронт столкновений представлял собой гигантские взрывы и пожары, в которых высвобождались колоссальные энергии различного рода аннигиляции и трансформаций. Это были столь мощные катастрофы, что отзвук их еще по сей день слышен во Вселенной в виде так называемого реликтового (остаточного) излучения, обнаруженного астрофизиками в шестидесятые годы и принятого ими за эхо ударных волн, порожденных взрывным характером возникновения Космоса из его почти точечного зародыша (ибо в те годы многие считали весьма правдоподобной именно такую модель сотворения мира). Но проходили века, и цивилизации независимо друг от друга пришли к пониманию того, что они ведут антагонистическую Игру не со стихийными силами Природы, а, сами того не ведая, с иными цивилизациями. И вот тем, что определило всю их последующую стратегию, был факт заведомой некоммуникабельности, отсутствия связи друг с другом, поскольку из пределов действия одной разновидности физики нельзя переслать никакой информации в пределы действия другой.

Итак, каждая из них вынуждена была действовать в одиночку, продолжение прежней тактики было бесцельным, а то и просто губительным; вместо того чтобы понапрасну тратить силы в лобовых столкновениях, надлежало объединиться, однако без всякой предварительной договоренности. Эти решения, принятые тоже одновременно, в конце концов привели к переходу Игры в ее третью фазу, которая продолжается и теперь. Значит, Игра, в которой участвуют практически все высшие цивилизации Вселенной, является одновременно и единодушной, и естественной. Члены этой совокупности ведут себя подобно экипажам кораблей, которые во время бури льют масло на

разбушевавшиеся волны; хоть они и не согласовали своих действий, тем не менее эти действия принесут пользу всем. Стало быть, каждый игрок действует согласно минимаксовой стратегии: он изменяет существующие условия так, чтобы добиться максимальной всеобщей выгоды при минимальном ущербе. Поэтому нынешний Космос является однородным и изотропным (в нем действуют одни и те же законы и отсутствуют выделенные направления). Свойства, которые Эйнштейн обнаружил в Мироздании, являются результатами решений, принятых порознь, но тем не менее тождественных ввиду тождественности ситуаций, в которых находились игроки. Однако тождественной в начале была *стратегическая* ситуация и не обязательно – *физическая*. Ведь не однородная физика породила стратегию Игры. Совсем наоборот; однородная минимаксовая стратегия породила единую физику. *Id fecit Universum, cui prodest*^[49].

Дамы и господа, в свете наших теперешних знаний взгляды Ахеропулоса в общем соответствуют действительности, хотя и содержат ряд упрощений и ошибок. Ахеропулос исходил из того, что в границах различных разновидностей физики может возникнуть один и тот же тип логики. Ибо, если б цивилизация А1, возникающая в «космической ячейке» А, имела иную логику, чем цивилизация В1, возникающая в «ячейке» В, то они не смогли бы пользоваться одной и той же стратегией и, следовательно, сделать свои разновидности физики однородными. Поэтому он исходил из того, что нетождественные разновидности физики тем не менее могут породить единую Логiku – иначе он не мог объяснить то, что произошло в масштабах Космоса. В этой догадке есть доля истины, однако все обстоит сложнее, чем он думал. Мы унаследовали от него программу, направленную на восстановление стратегии Игры путем решения «обратной задачи», иными словами, исходя из нынешней физики, мы пытаемся определить, что заставило Игроков создать именно такую физику. Эта задача осложняется тем, что развитие событий нельзя считать линейным процессом, то есть полагать, что Пракосмос породил Игру, которая, в свою очередь, породила нынешнюю Физику. Тот, кто изменяет Физику, тем самым видоизменяет и самого себя, то есть создает обратную связь между преобразованием окружающей среды и самопреобразованием.

Эта основная опасность Игры, которую Игроки не могли не заметить, привела к ряду *тактических* маневров. Они стремились к таким преобразованиям, которые не вели бы к всеобщим коренным переменам; другими словами, чтобы избежать всеобщего релятивизма, то есть связи всего со всем, они создали *иерархическую* Физику. Иерархическая Физика не является «тотальной»: например, не подлежит сомнению, что *механика*

осталась бы неизменной даже в том случае, если бы материя не имела на атомном уровне квантовых свойств. Это значит, что отдельные «уровни» реальности обладают определенной самостоятельностью, – иначе говоря, не все законы на данном уровне обязательно должны быть сохранены, чтобы над ним мог возникнуть следующий уровень. А это значит, что Физику можно менять «понемножку» и что не всякое изменение законов обозначает изменение всей Физики в целом на всех уровнях явлений. Такого рода проблемы, стоящие перед Игроками, искажают простую и ясную картину Игры, созданную Ахеропулосом, – как процесса, состоящего из трех этапов. Ахеропулос допускал, что происходившая в ходе Игры «стыковка» различных разновидностей Физики должна была уничтожить часть Игроков, потому что не из всех исходных ситуаций можно было перейти в однородное состояние. Уничтожение Партнеров, находящихся в неблагоприятных начальных условиях, отнюдь не входило в намерения других Игроков. Кому суждено выжить, а кому исчезнуть, решал слепой случай, по воле жребия наделяя разные цивилизации различными исходными условиями.

Ахеропулос полагал, что последние пожары этих ужасающих «битв», в которых сталкивались друг с другом различные Физики, дошли до нас в виде квазаров, выделяющих энергию порядка 10^{63} эрг, – энергию, которую не может высвободить ни один из известных нам физических процессов в том сравнительно малом пространстве, которое занимает квазар. Он думал, что, глядя на квазары, мы видим то, что происходило от пяти до десяти миллиардов лет назад, во второй фазе Игры, ибо именно столько времени занимает движение светового луча, идущего от квазаров к нам. Гипотеза эта ошибочна. Мы причисляем квазары к явлениям иного рода. Необходимо учитывать, что у Ахеропулоса не было данных, которые позволили бы ему взглянуть на этот вопрос по-иному. Нам недоступна полная реконструкция начальной стратегии Игроков, ретроспектива возможна лишь до того места, в котором они еще действовали, грубо говоря, более или менее так, как и сейчас. Если в Игре были критические моменты, связанные с резкими поворотами стратегии, ретроспекция не в состоянии преодолеть первый же такой поворот. А это значит, что мы не можем узнать ничего определенного о том Пракосмосе, который породил Игру.

Когда же мы вглядываемся в современный Космос, мы обнаруживаем зафиксированные в его структуре основные принципы той стратегии, которой придерживаются Игроки. Космос постоянно расширяется, он имеет предельную скорость, или световой барьер, законы его Физики

симметричны, но симметрия эта не полная, он построен «коагуляционно и иерархично», поскольку состоит из звезд, которые собираются в скопления, те, в свою очередь, сгруппированы в местные сгущения, и, наконец, все эти сгущения образуют Метагалактику. Кроме того, время в Космосе полностью асимметрично. Вот таковы основные черты строения Мироздания, и для каждой из них мы находим исчерпывающее объяснение в структуре Космогонической Игры, Игры, позволяющей нам сразу понять, почему одним из ее основных принципов должно быть соблюдение *Silentium Universi*. Почему же Космос устроен именно так? Игроки знают, что в процессе эволюции звезд возникают новые планеты и новые цивилизации, а это вынуждает их позаботиться о том, чтобы молодые цивилизации, эти кандидаты на роль будущих Игроков, не могли нарушить равновесия Игры. Поэтому Космос расширяется, ибо только в таком Космосе, несмотря на возникновение в нем все новых цивилизаций, расстояние между ними остается величиной постоянной.

Взаимопонимание, которое может привести к «сговору», к возникновению местной коалиции новых Игроков, могло бы, однако, возникнуть и в таком, расширяющемся Космосе, если бы в него не был встроен барьер скорости взаимодействия на расстоянии. Представим себе Космос с Физикой, позволяющей увеличивать скорость распространения взаимодействия пропорционально вложенной энергии. В таком Космосе становится возможной монополизация власти над его Физикой и над всеми остальными участниками Игры. Такой Космос как бы поощряет соревнование, энергетическое соперничество, гонку энерговооружения. Поэтому в реальном Космосе для превышения скорости света требуется бесконечно большая энергия, – иначе говоря, этот барьер вообще нельзя преодолеть.

Таким образом, возрастание энергетического могущества не окупается. Причина асимметрии хода времени аналогична. Если бы время было обратимо и если бы, затрачивая необходимые средства и мощности, можно было бы изменять направление хода времени, то и в этом случае удалось бы подчинить себе партнеров, на сей раз благодаря возможности аннулировать любое их начинание. Следовательно, нерасширяющийся Космос, как и Космос без барьера скорости, и, наконец, Космос с обратимым временем – все это в одинаковой мере не позволяет полностью стабилизировать Игру. А ведь задача, собственно, в том и заключалась, чтобы стабилизировать Игру *нормативно*, именно к этому направлены все усилия Игроков, воплощенные в структуре материи. Ведь совершенно очевидно, что исключение всякой возможности любого осложнения и

любой агрессии с помощью специально *вводимых законов Физики* является куда более надежным и радикальным, чем все другие средства безопасности (например, с помощью уже *установившихся* законов, угроз, контроля, принуждения, ограничений, штрафов).

Вследствие этого Космос представляет собой *поглощающий экран* для всех, кто достигает такого уровня, что может принимать полноценное участие в Игре. Ибо они получают правила, которым *вынуждены* подчиняться. Игроки сделали *ненужной* семантическую связь, поскольку они общаются методами, делающими невозможным нарушения правил Игры: об их согласии свидетельствует само установленное единство Физики. Игроки сделали *ненужной* действенную семантическую связь, поскольку они создали и поддерживают такие расстояния между собой, что *время* получения стратегически важной информации о состоянии других Игроков всегда больше, чем *время* действия избранной в данный момент тактики Игры. Если бы кто-нибудь из них даже и «разговаривал» с соседними Партнерами, то полученные сведения к моменту их получения всегда теряли бы актуальность. И именно поэтому в Космосе совершенно невозможно образование враждебных группировок, тайных союзов, создание центров местной власти, коалиций, заговоров и тому подобного. Поэтому Игроки и не общаются между собой: *они сами сделали бесполезным всякое общение*. Это был один из принципов стабилизации Игры, а следовательно, и Космогонии. Вот вам и частичное объяснение загадки Silentium Universi. Мы не можем подслушать разговоры Игроков, поскольку они молчат по стратегическим соображениям.

Именно это и удалось разгадать Ахеропулосу. О его добросовестности свидетельствует приведенный в «Новой Космогонии» перечень возражений, которые может вызвать такая картина Игры. Они сводятся к подчеркиванию чудовищного несоответствия между миллиардолетним трудом, якобы вложенным в перестройку Вселенной, и результатами этой перестройки, целью которой является *установление мира* во Вселенной с помощью встроенной в нее Физики. Как это так, говорит воображаемый критик, выходит, что миллиардов лет культурного развития еще недостаточно для того, чтобы эти загадочно долговечные цивилизации добровольно отказались от всяких форм агрессии, и поэтому гарантией Космического Мирного Договора должны были стать специально для этого переделанные Законы Природы? И стало быть, усилия, энергия которых превосходит совокупную мощь миллионов галактик, не имеют никакой другой цели, кроме установления *барьеров* и *преград* для военных действий? Ахеропулос отвечал на это так: тот тип Физики, который

установил в Космосе мир, во время возникновения Игры был необходимостью, поскольку только одна стратегия могла сделать Вселенную физически однородной. В противном случае ее огромные пространства охватил бы хаос слепых катаклизмов. Условия существования в Пракосмосе были куда более суровы, чем сейчас, жизнь могла возникнуть в нем только как «исключение из правил» и, случайно возникнув, случайно в нем погибала. Расширяющаяся Метагалактика, асимметричное течение времени, структурная иерархия – все это необходимо было ввести в самом начале, это был минимальный порядок, необходимый для создания поля последующей деятельности.

Ахеропулос понимал, что коль скоро эта фаза преобразований относится уже к истории, то перед Игроками должны стоять какие-то новые далеко идущие цели, и хотел их предугадать. К сожалению, это ему не удалось. Здесь мы обнаруживаем изъян, скрытый в его системе. Дело в том, что Ахеропулос пытался восстановить Игру не реконструкцией ее формальной структуры, то есть чисто логически, а старался поставить себя на место Игроков, то есть подходил к решению с точки зрения психологии. Но человек не может постигнуть ни их психологию, ни их моральный кодекс, для этого у него нет никаких данных; мы не можем представить себе, что думают, чувствуют, к чему стремятся Игроки, как нельзя построить Физику, пытаясь представить себе, что значит «быть электроном».

Внутренняя жизнь Игрока для нас так же непостижима, как внутренняя жизнь электрона. То, что электрон представляет собой мертвую частицу материального мира, а Игрок является мыслящим существом, стало быть, кем-то вроде нас, не имеет никакого значения. Я упомянул об изъяне системы Ахеропулоса, поскольку и сам Ахеропулос в другом месте «Новой Космогонии» четко сформулировал, что из наблюдений над собственной психикой нельзя делать выводы о намерениях Игроков. Он знал об этом и все же поддался тому стилю мышления, на котором был воспитан, ибо философ старается сначала понять, а потом обобщить; мне же с самого начала было ясно, что этим путем нельзя воспроизвести картину Игры. Для ее полного понимания необходимо взглянуть на всю Игру в целом со стороны, то есть с такого наблюдательного пункта, которого у нас никогда не было и не будет. Вообще не следует связывать намеренные действия с психологическими мотивами. Исследователь Игры не должен учитывать этику Игроков, подобно тому как военный историк, изучающий логику стратегии боевых действий во время войны, не должен принимать во внимание моральный облик полководцев. Картина Игры

является структурой вполне определенной, обусловленной состоянием Игры и состоянием окружающей среды, а не случайной комбинацией индивидуальных кодексов ценностей, капризов, желаний или моральных норм каждого из Игроков в отдельности. То, что они принимают участие в одной и той же Игре, еще не означает, что они должны быть подобны друг другу в любом другом отношении! Они могут быть похожи друг на друга не более, чем человек похож на машину, с которой играет в шахматы. Так что вовсе не исключено, что существуют Игроки в биологическом смысле мертвые, возникшие в ходе небиологического развития, а также Игроки, которые являются синтетическими продуктами искусственно вызванной эволюции, – однако рассуждениям такого рода воспрещен доступ в область теории Игры.

Самой сложной проблемой для Ахеропулоса была загадка *Silentium Universi*. Общеизвестны два его закона. Первый закон говорит, что ни одна цивилизация, находящаяся на низшем, чем у других, уровне развития, не может обнаружить Игроков не только потому, что Игроки молчат, но еще и потому, что их действия не выделяются на космическом фоне по той простой причине, что *именно эти действия и есть космический фон*.

Второй закон Ахеропулоса говорит, что Игроки не шлют более молодым цивилизациям посланий с поучениями либо советами, поскольку не знают, куда высылать такие сообщения, а слать их неведомо кому не хотят. Чтобы передать информацию в определенный адрес, необходимо сначала выяснить, в каком состоянии находится адресат, но именно это запрещает первый закон Игры, который устанавливает барьер взаимодействия в пространстве и времени. Как мы уже знаем, любая информация о состоянии другой цивилизации в момент ее получения окажется полностью устаревшей. Установив свои барьеры, Игроки тем самым исключили всякую возможность узнать что-либо о состоянии других цивилизаций. А от передачи безадресных сообщений всегда больше вреда, чем пользы. Ахеропулос показывает это на примере проведенного им эксперимента. Он брал две серии карточек, на карточках одной серии записывал последние научные открытия шестидесятых годов, а на карточках другой серии – даты исторического календаря на протяжении столетия (1860—1960). Далее он вынимал по карточке из каждой серии. Открытие связывалось с датой по воле слепого случая, и это должно было соответствовать безадресной передаче информации. В самом деле, такие послания редко когда имели бы для получателя позитивную ценность. В большинстве случаев принятое сообщение оказалось бы непонятным (теория относительности в 1860 году), либо бесполезным (теория лазера в

1878 году), либо попросту опасным (теория атомной энергии в 1939 году). Поэтому Игроки и молчат, ибо – согласно Ахеропулосу – желают добра более молодым цивилизациям.

Стало быть, эта аргументация опирается на этику. Уже поэтому она не является безупречной. Утверждение, якобы цивилизация должна становиться тем более совершенной в этическом отношении, чем более она преуспела в развитии науки и техники, вводится в теорию Игры извне. Так строить теорию Космогонической Игры нельзя: либо принцип *Silentium Universi* неизбежно следует из структуры Игры, либо само существование Игры необходимо подвергнуть сомнению. Гипотезы *ad hoc* не могут спасти достоверности Игры.

Ахеропулос всегда отдавал себе в этом отчет – данная проблема тревожила его больше, чем полное непонимание и непризнание, выпавшее на его долю. Он дополняет «моральную гипотезу» другими, однако известно, что из множества слабых гипотез нельзя составить одну сильную. Здесь я вынужден упомянуть о себе. Что сделал я как последователь Ахеропулоса? Моя теория исходит из Физики и к Физике же возвращается, но сама не принадлежит к области Физики. Конечно, если бы из нее следовала лишь та Физика, из которой я ее вывел, это было бы пустячной игрой в тавтологию.

До сих пор физик поступал как человек, наблюдающий передвижение фигур на шахматной доске; он уже знает, как ходит каждая фигура, но не считает при этом, что передвижение фигур ведет к какой-то цели. Космогоническая Игра ведется не так, как шахматная, ибо в ней изменяются законы, то есть правила передвижения, фигуры и сама шахматная доска. По этой причине моя теория – реконструкция не всей Игры с момента ее возникновения, а только ее последней части. Моя теория – лишь фрагмент целого, то есть нечто вроде создания теории гамбита на основе наблюдения за шахматной игрой. Тот, кто знаком с теорией гамбита, знает, что ценной фигурой жертвуют для того, чтобы позднее получить взамен нечто еще более ценное, однако при этом ему не обязательно знать, что конечная цель игры – мат королю. Из той Физики, которой мы располагаем, невозможно извлечь ни всю структуру Игры целиком, ни даже ее часть. Лишь когда я последовал за гениальной интуицией Ахеропулоса и предположил, что современную Физику необходимо «дополнить», мне удалось воссоздать контуры разыгрываемой партии. Это допущение было в высшей степени еретическим, поскольку первой предпосылкой науки является тезис: мир и его законы – это нечто «готовое» и «законченное». Я же предположил, что современная Физика

представляет собою переходный этап на пути вполне определенных преобразований.

Так называемые «универсальные постоянные» вовсе не постоянны. В частности, не является неизменной константа Больцмана. Это значит, что хотя конечным состоянием любого исходного порядка в Космосе должен быть беспорядок, скорость возрастания хаоса может по воле Игроков меняться. Очевидно (и это единственное допущение, а не следствие теории!), что Игроки ввели асимметрию времени «на скорую руку», как если бы они торопились (в космическом масштабе, конечно). Эта спешка проявилась в том, что они сделали градиент роста энтропии слишком крутым. Они использовали тенденцию к быстрому возрастанию беспорядка для того, чтобы ввести в Космосе *единый порядок*. Поскольку с тех пор все стремится от порядка к беспорядку, общая картина оказывается *однородной, подчиненной единым законам* и поэтому в целом упорядоченной.

То, что процессы микромира в принципе обратимы, известно уже давно. Из теории следует удивительный вывод: если бы энергию, которую земная наука вкладывает в изучение элементарных частиц, увеличить в 10¹⁹ раз, то *изучение* это – выяснение существующего порядка вещей – превратилось бы в изменение этого порядка! Вместо того чтобы познавать законы Природы, мы бы их слегка изменяли.

Это и есть слабое место, ахиллесова пята Физики современного мироздания. В настоящее время микромир представляет собой главный плацдарм созидательной деятельности Игроков. Они сделали его нестабильным и определенным образом управляют им. Мне кажется, что некоторую часть Физики, уже стабилизированную, Игроки как бы вновь сдвинули с места. Они пересматривают и приводят в движение уже установленные законы. Поэтому они и хранят молчание, это своего рода «стратегическое затишье». Игроки не сообщают никому из «соседей» о том, чем они занимаются, и даже о том, что Игра ведется. Ведь если Игра существует, то Физика представляется в совершенно ином свете. Игроки молчат, чтобы избежать ненужных помех, и, очевидно, будут молчать вплоть до завершения этой работы. Как долго будет длиться состояние *Silentium Universi*? Этого мы не знаем, но можно допустить, что по крайней мере сто миллионов лет.

Итак, Физика Космоса находится на перепутье. Чего добиваются Игроки столь монументальной перестройкой? Этого мы тоже не знаем. Из теории следует лишь, что постоянная Больцмана вместе с другими постоянными будет уменьшаться, пока не достигнет некоторой величины,

которая необходима Игрокам, хотя нам и не известно зачем. Так, тому, кто уже разобрался в теории гамбита, не обязательно понимать, к чему ведет гамбит в масштабе всей шахматной партии. То, что я еще хочу сказать, уже выходит за границы наших знаний. Мы располагаем поистине *embarras de richesses*^[50] самых разнообразных гипотез, выдвинутых в течение последних нескольких лет. Бруклинская группа профессора Баумана считает, что Игроки хотят ликвидировать «щель обратимости явлений», которая еще «осталась» в глубине материи – в сфере элементарных частиц. Некоторые утверждают, что ослабление градиента энтропии призвано лучше приспособить Космос к феномену жизни и даже что Игроки намерены сделать всю Вселенную разумной. На мой взгляд, это слишком смелые гипотезы, особенно ввиду их сходства с вполне определенными антропоцентрическими представлениями.

Мысль о том, что весь Космос развивается так, чтобы стать «единым огромным мозгом», чтобы «обзавестись психикой», является лейтмотивом многих философских систем, а также многих религий прошлого. Профессор Бен Нур в «Intentional Cosmogony»^[51] высказал предположение, что несколько ближайших к земле Игроков (один из них может находиться в Туманности Андромеды) не скоординировали свои действия оптимальным образом, так что Земля находится в области «осциллирования» физики: это значило бы, что теория Игры отражает вовсе не тактику Игроков на нынешнем этапе, а лишь ее локальное и весьма случайное отклонение. Некий популяризатор даже заявил, что Земля оказалась в области «конфликта» – два соседних игрока начали друг против друга «партизанскую войну», обманно изменяя Законы Физики, и этим объясняется уменьшение постоянной Больцмана.

Допущение, что Игроки «ослабляют» второй закон термодинамики, в настоящее время весьма популярно. В связи с этим мне кажется интересным высказывание академика А. Слыша, который в работе «Логика и Новая Космогония» обратил внимание на неоднозначность связи между Физикой и Логикой. Весьма возможно, говорит Слыш, что Космос с ослабленной скоростью изменения энтропии мог бы создавать очень большие информационные системы, которые оказались бы очень глупыми. В свете работ ряда молодых математиков это выглядит вполне правдоподобно; они допускают, что изменения в Физике, уже осуществленные Игроками, привели к изменениям в математике, или, точнее говоря, к изменениям в методике конструирования непротиворечивых систем в формальных дисциплинах. От такого

положения уже недалеко до утверждения, что знаменитая теорема Гёделя, содержащаяся в его работе «Über die unentscheidbaren Sätze der formalen Systeme» и определяющая границы совершенства, достижимого в системной математике, не является универсально справедливой, то есть пригодной «для всех возможных Космосов», а справедлива лишь для Космоса в его теперешнем состоянии. (И более того – что когда-то, скажем, полмиллиарда лет назад, теорема Гёделя была бы неверна, ибо тогда законы конструирования математических систем *были не такими*, как сейчас.)

Должен признаться, что, вполне понимая побуждения всех, кто сейчас выдвигает самые разнообразные предположения относительно целей Игры, намерений Игроков, основных принципов, которых они якобы придерживаются, и тому подобного, я вместе с тем весьма обеспокоен неточностью, а то и попросту сумбурным характером большинства таких, часто легкомысленных, идей. Теперь некоторые представляют себе Космос чем-то вроде квартиры, где в течение пары минут можно переставить мебель так, как жильцам заблагорассудится. О таком отношении к законам Физики, к законам Природы не может быть и речи. В действительности скорость преобразований по сравнению с продолжительностью нашей жизни чрезвычайно мала. Спешу добавить, что из этого нельзя сделать никаких выводов о природе Игроков, например об их возможном долголетию или даже бессмертии. Об этом нам также ничего не известно. Может быть, как я уже упоминал, Игроки вовсе не живые существа, то есть они возникли не биологическим путем; может быть, представители Первых Цивилизаций и вовсе с незапамятных времен не занимаются Игрой сами, а передали ее каким-нибудь гигантским автоматам – рулевым Космогонии. Может быть, большинства пращивилизаций, которые основали Игру, уже нет, а их место заняли автоматические системы, и именно они составляют часть Партнеров в Игре. Все это возможно, и на эти вопросы мы не получим ответов не только через год, но, как мне кажется, и через сто лет.

Но тем не менее наши знания обогатились еще и новыми сведениями. Как обычно случается в науке, эти новые сведения не столько расширяют наши возможности, сколько ограничивают их. Ряд теоретиков сегодня придерживаются мнения, что Игроки при желании могли бы отменить ограничение точности измерений, которое накладывает принцип неопределенности Гейзенберга. (Доктор Джон Комманд высказал мысль, что принцип неопределенности является тактическим маневром Игроков, направленным на то же, что и правило *Silentium Universi*, а именно чтобы «никто не мог менять физику нежелательным образом, если он сам не

является Игроком».) Но если даже это было так, Игроки не могут отменить связь, существующую между изменением законов материи и деятельностью разума, ибо разум создан из той же материи. Представление о том, что возможно создать Логику или же Металогику, пригодную «для всех конструированных Вселенных», ошибочно, и *это уже удалось доказать*. Я лично считаю, что Игроки, прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, оказались в затруднительном положении – затруднительном, конечно, не по нашим масштабам и представлениям!

Если сознание недостаточного всеведения Игроков может внушить нам беспокойство, ибо мы в полной мере осознаем риск, скрытый в Космогонической Игре, то с другой стороны внезапно оказывается, что наша ситуация сродни положению Игроков, – никто во Вселенной не всемогущ. Даже самые высокоразвитые цивилизации – это всего лишь малые части, Не-Знающие-Целого-В-Полном-Масштабе.

Рональд Шуэр в смелости предположений пошел дальше всех. В «Reason-Made Universe: Laws versus Rules»^[52] он сказал: чем глубже игроки преобразуют Космос, тем сильнее они изменяют самих себя. Изменение приводит к тому, что Шуэр называет «гильотинированием памяти». И действительно, тот, кто переделал бы себя слишком радикально, в некотором смысле разрушил бы память о собственном прошлом, предшествующем процедуре. Игроки, говорит Шуэр, достигая все большего могущества в преобразовании Космоса, сами затирают следы пути, по которому Космос развивался раньше. В пределе всемогущество созидания оборачивается невозможностью восстановить прошлое. Игроки, стараясь сделать Космос колыбелью Разума, ослабляют тем самым действие закона роста энтропии, а через миллиарды лет, утратив память о том, что было с ними и до них, доведут Космос до состояния, о котором говорил Слыш. С ликвидацией «энтропийного тормоза» начнется бурное расширение биосферы, множество незрелых цивилизаций преждевременно включится в Игру и вызовет ее кризис. С кризисом Игры все обратится в хаос... из которого по прошествии многих эпох возникнет новый коллектив Игроков, чтобы начать Игру заново. Итак, согласно Шуэру, Игра идет по кругу, и, следовательно, вопрос о «начале Вселенной» не имеет никакого смысла. Картина эта поразительна и вместе с тем маловероятна. Если мы смогли предугадать неизбежность кризиса, что же тогда говорить о прогнозах, которые под силу Игрокам?

Дамы и господа, я нарисовал кристально ясную картину Игры, которую ведут друг с другом разделенные миллиардами парсеков Разумы, спрятанные в туманных клубах звезд, потом решил исказить ее потоком

неясностей, противоречивых домыслов и уж вовсе неправдоподобных гипотез. Но именно таков обычный путь познания. Теперь наука представляет Космос в виде наложения отдельных Игр, обладающих более глубокой памятью, чем каждый Игрок в отдельности. Этой памятью является вся совокупность Законов Природы, удерживающих Космос в однородности движения. Теперь мы рассматриваем Вселенную как поле миллиардолетней деятельности, направленной к целям, лишь малую и самую близкую часть которых мы в состоянии уловить. Верна ли эта картина? Не сменит ли ее когда-нибудь другая, отличающаяся от прежней так же кардинально, как наша модель Игры Разумов от всех исторически сложившихся представлений? Вместо ответа я приведу слова моего учителя, профессора Эрнста Аренса. Много лет назад, когда еще совсем молодым человеком я пришел к нему с первыми набросками концепции Игры, чтобы узнать его мнение, Аренс сказал: «Теория? Сразу теория? А может, это и не теория. Ведь человечество собирается лететь к звездам? Стало быть, если в действительности все не так, то, возможно, это не теория, а проект, возможно, когда-нибудь все произойдет именно так!» Этими – не совсем скептическими! – словами моего учителя я и хочу закончить свое выступление. Благодарю за внимание.

Мнимая величина



Предисловие

Искусство писания предисловий давно уже требует прав гражданства. Да и сам я давно хотел отдать должное поработанному слову, которое о себе молчит целых сорок веков – в рабстве у книг, к которым его приковали. Когда же, если не в эпоху равенства всех вер и всех правил, надлежит даровать наконец независимость этому благородному жанру, усмиряемому в колыбели? Я, однако, рассчитывал, что кто-то другой возьмется за это дело, которое в эстетическом плане соответствует ходу развития искусства, а в плане нравственном прямо-таки неотложно. Увы – я просчитался. Напрасно я осматриваюсь и выжидаю: никто не спешит вывести Предисловия из дома рабства, избавить их от принудительной барщины. Делать нечего: придется мне самому – скорее из чувства долга, чем по велению сердца, – прийти на выручку Интродукционистике, стать ее освободителем и акушером.

Многострадальная эта страна имеет свое нижнее царство – Предисловий наемных, тягловых, рекрутских и посконных, ибо рабство развращает. Но нередко в ней также кичливость и сумасбродство, пустая поза и громогласные притязания. Кроме рядовых предисловий, имеются высшие чины: Предуведомления, Вступления и Введения; да и обыкновенные Предисловия друг другу не ровня, ведь одно дело – предисловие к собственной книге и совсем другое – к чужой. Предпослать его первому изданию – вовсе не то же самое, что множить в поте лица предисловия к новым и новым изданиям. Мощь множества предисловий (пусть даже посредственных), которыми обрастает настырно переиздаваемый труд, превращает бумагу в твердыню, отражающую все наскоки зоилов: кто же дерзнет напасть на книгу с таким бронепанцирем, из-за которого видно уже не столько ее содержание, сколько одного неприкосновенность и святость!

Предисловие бывает обещанием, намеренно скромным – из чувства собственного достоинства или из гордости; или долговым обязательством за подписью автора; или знаком участия, которое проявляет к книге какой-нибудь авторитет, участия, диктуемого условностями, – дружественного, однако поверхностного и, в сущности, мнимого, то есть мандатом доверия, охранной грамотой, пропуском в большой мир, напутствием из влиятельных уст – напрасной уловкой, грузом, который тащит на дно труд, и без того обреченный на гибель. Несостоятельны векселя предисловий, и

редкий из них вдруг осыплет читателя золотом, да еще разродится процентами. Но обо всем этом я умолчу. Я не намерен вдаваться ни в таксономию Интродукционистики, ни даже в элементарную классификацию этого доселе униженного, подъяремного жанра. Клячи и рысаки здесь одинаково ходят в упряжке. Эту, тягловую сторону дела я оставляю Линнеям. Не такое вступление я хочу предпослать своей скромной антологии Освобожденных Вступлений.

Самое время перейти к сути. Чем может быть предисловие? Рекламным захваливанием, лгущим прямо в глаза? Конечно; но также – гласом в пустыне, подобно Иоанну Крестителю или Роджеру Бэкону. Разум говорит нам, что, кроме Предисловий к Творениям, существуют Творения-Предисловия, ведь тезисы и футуромахии ученых, подобно Писаниям всяческих вер, суть Предисловия – к Этому и Тому свету. Так что, поразмыслив, мы видим, что Царство Предисловий несравненно обширнее Царства Литературы, ибо то, что она пытается *воплотить*, Предисловия предвещают – издалека.

Ответ на уже возникающий вопрос: какого черта понадобилось ввязываться в борьбу за освобождение предисловий и возводить их в ранг суверенного разряда словесности – проглядывает из только что сказанного. Можно дать его простецки и быстро, а можно призвать на помощь высшую герменевтику. Сперва попробуем обосновать наш проект без всякой патетики – со счетами в руках. Разве не угрожает нам информационный потоп? И разве не в том его ужас, что он красоту красотой побивает, а истину – истиной? Ведь голос миллиона Шекспиров – такой же невнятный и яростный шум, как голос стада буйволов или океанских валов. Миллиарды смыслов, сталкиваясь, не славу приносят мысли, но гибель. Перед лицом такой неминуемости Молчание – единственный Ковчег Завета и Союза Творца с Читателем, коль скоро первый обретает заслугу, воздерживаясь от всяких высказываний, а второй – аплодируя такому смирению; не так ли? Конечно... и можно бы воздержаться от писания *даже* одних предисловий, без всего остального, но тогда подвиг самоограничения – увы! – не будет замечен, а значит, и жертва не будет принята. Так вот: мои Предисловия – уведомления о грехах, от которых я воздержусь. Так говорит холодный и чисто внешний расчет. Но отсюда еще не видно, что выиграет Искусство от такого освобождения. Мы уже знаем, что избыток даже небесной манны парализует. Как же спастись от него? Как уберечь творческий дух от samozaxlebyvaniya? И точно ли именно в этом спасение, точно ли именно через Предисловия проходит правильный путь?

Великий учитель, герменевтик из дворян-землепашцев, Витольд Гомбрович так изложил бы дело. Не о том речь, чтобы кому бы то ни было, хоть бы и мне, идея освобождения Предисловий от Содержания, которое они должны предвещать, пришлась бы по сердцу – или же не пришлась. А речь о том, что невозможно идти против закона Эволюции Формы. Искусство не может ни стоять на одном месте, ни повторять себя до бесконечности – и как раз потому не может *только лишь* нравиться. Если ты снес яйцо, ты должен его высидеть; если из него вылупилось не пресмыкающееся, а млекопитающее, надо напитать его молоком; а если, в конце концов, на этом пути встретится нечто, вызывающее у нас неприязнь и даже позывы к рвоте, ничего не попишешь: уж коли мы до Этого доработались, дорвались и сами себя дотащили, то по резонам более важным, нежели тяга к удовольствию, придется нашим глазам, ушам, разуму терпеть все Новое, категорически нам предписанное, раз уж оно открыто по дороге туда, ввысь – где, правда, никто не бывал и побывать не желает, ведь неизвестно, можно ли там выдержать хотя бы минуту, – но для Развития Культуры это, ей-богу, совершенно не важно! Эта лемма с поистине гениальной бесцеремонностью вместо прежнего рабства – произвольного, а значит, бессознательного – предлагает нам новое; она не разрывает путы, а лишь удлиняет лонжу, гонит нас в Незнаемое, называя свободой – осознанную необходимость.

Но я, признаюсь в этом честно, иного жажду обоснования для ереси и мятежа. И потому говорю: хотя в известном смысле правда то, что было сказано во-первых и во-вторых, однако же не вся правда и не единственно возможная, ибо – в-третьих – в деле творения можно применить алгебру, подсмотренную у Всемогущего.

Вспомните: как речисто Писание, как многословно Пятикнижие в описании *результата* Творения – и сколь лаконично в показе его рецептуры! Было вневременье и хаос, и вдруг ни с того ни с сего повелел Господь: «Да будет свет» – и готово; а между тем и другим не было ничего – ни щелки, ни метода? Не верю! Между Хаосом и Сотворением была чистая интенция, еще не ослепленная светом, не вовлеченная в Мироздание до конца, не запачканная землей, хотя бы и райской.

Ибо Тогда и Там было возникновение – но не осуществление возможностей; было намерение, божественное и всемогущее потому, что не начало еще воплощаться в деяние. Прежде зачатия – было благовещение...

Как не воспользоваться этим уроком? Не о плагиате говорю я – о методе. Ведь с чего все началось? С Начала, конечно. А что было вначале? Как мы уже знаем, Вступление. Вступление, но не самосильное, не

самочинное, а Вступленье к Чему-то. Обуздаем разнузданное осуществление, каким было Сотворение Бытия: применим к первой его лемме алгебру намеренно сдержанного Творения!

А именно: поделим целое на это Что-то. Тогда «Что-то» исчезнет, и в остатке мы получим Вступление, очищенное от дурных последствий, то есть от всякой угрозы Воплощения, – Вступление чисто интенциональное и в этом своем состоянии безгрешное. Это не мир, а всего лишь точка, лишенная измерений – и как раз потому всеобъемлющая. О том, как свести к ней литературу, скажем чуть позже. Сперва присмотримся к ее окружению – ибо она не анахорет-одиночка.

Все искусства пытаются ныне выполнить маневр спасения: всераскованность творчества стала его кошмаром, проклятием, бегством, ведь Искусство, подобно Универсуму, взрывается в пустоте, не встречая сопротивления, а значит, точки опоры. Коль скоро возможно все, это «все» ничего не стоит – и гонка оборачивается движением вспять: Искусства хотели бы вернуться к источнику, да не способны.

Живопись, страстно желая *границ*, влезла в самих живописцев, в их кожу, и вот художник выставляет на вернисаже себя самого, без картин, – в качестве картиноборца, исхлестанного кистями и вываленного в масле и в темпере, а то и вовсе голого, без живописных приправ. Увы, до подлинной наготы бедняге далеко, как до неба: вместо Адама – какой-то господин, догола раздетый.

А скульптор, подсовывающий нам необтесанные булыжники или одухотворяющий нас экспозицией из случайного мусора, пытается забраться обратно в палеолит, в шкуру прачеловека, потому что тоскует по Подлинности! Но куда ему до пещерного человека! Нет, не видать ему сырого мяса первобытной экспрессии! *Naturalia non sunt turpia*^[53], – но откровенная и скудоумная дикость не означает возврата к Природе!

Что остается? Поясним на примере музыки, поскольку обширнейшие и ближайшие перспективы открываются как раз перед ней.

По ложному пути идут композиторы, ломая контрапункту хребет и компьютерами пуская Бахов в распыл; да и оттаптывание (при помощи электронов) кошачьих хвостов со стократным усилением не даст ничего, кроме стада искусственных обезьян-ревунов. Ложный курс – и фальшивый тон! Еще не пришел спаситель-новатор, ясно видящий цель!

Я жду его с нетерпением – жду его музыки, которая будет *конкретной в преодолении лжи*, вернется на лоно Природы и запечатлеет хоральное, хотя и сугубо приватное, звучание любого собрания меломанов – лишь по видимости благородно-сосредоточенных, лишь окультуренной периферией

своих организмов прилежно внимающих оркестру.

Думаю, инструментовка этой стомикрофонно подслушанной симфонии будет кишечно-сумрачной и монотонной, ведь ее звуковым фоном станут усиленные Двенадцатиперстные Басы, или Борборигмы, людей, исступленно предающихся чревоборчеству – неизбежному, исконно-бурчливому, булькотливо подробному и исполненному отчаянной переваривающей экспрессии; не органным, но организменным, а значит, подлинным будет голос их чрева – голос жизни! Я предвижу: лейтмотив разовьется в могучем ритме седалищ, подчеркнутым поскрипываньем стульев, грянут всхлипывающие вступления сморканий, аккорды высококолоратурного кашля. Заиграют бронхиты... и здесь я предчувствую повторяющееся соло, виртуозное в своей астматической дряхлости, сущее *memento mori – vivace ma non troppo*^[54], мастерское атональное пикколо, когда настоящий труп закладывает на 3/4, отбивая такт искусственной челюстью, и взаправдашняя могила смертным хрипом отзовется в дыхательном горле; так вот: такую Правду Симфонического Прохода и Тракта, Столь Безусловно Жизненную, подделать нельзя.

Соматическая активность тел, которую до сих пор заглушала невероятная фальшь искусственной музыки, безразличной к их собственному, безусловно заданному и потому трагическому звучанию, требует торжественного восстановления в правах, Возврата к Природе. Я не могу ошибаться – я знаю: премьеры Висцеральной Симфонии окажется переломом; так и только так доселе пассивная, приглушенная до шуршанья конфетных оберток публика перехватит – наконец-то! – инициативу и в роли самооркестра исполнит *возвращение к себе*, непримиримая ко всяческой лжи, как и положено в нашем веке.

Творец-композитор снова станет всего лишь жрецом-посредником между робеющей толпой и Мойрой – ибо жребий наших кишок есть наше Предназначение...

А утонченная аудитория меломанов услышит самосимфонию без всяких помех, без постороннего брнчанья, потому что на этой премьере она будет наслаждаться – и будет тревожима – только *самою собой*.

А как же литература? Вы, верно, уже догадываетесь: я хочу вернуть вам ваш собственный дух во всей его полноте, подобно тому как висцеральная музыка возвращает публике ее собственное тело и в самом средоточии Цивилизации нисходит в Природу.

Потому-то Писание Предисловий не может более оставаться под игом рабства, в стороне от освободительных устремлений. Не одних только беллетристов и их читателей подбиваю я к мятежу. Я подчеркиваю: к

мятежу, а не ко всеобщей неразберихе, при которой науськанные театральные зрители влезают на сцену либо сцена влезает на них, и из убежища зрительских кресел они, утратив удобную позицию судей, ввергаются в церковь святого Витта. Не судороги, не полоумная мимикрия йоги, но одна лишь Мысль может вернуть нам свободу. И потому, отказав мне в праве на освободительную борьбу от имени и ради блага Предисловий, ты, почтенный Читатель, приговорил бы себя к ретроградству, к окаменевшей старозаветности, и какую бы ты себе бороду ни отпустил – не пройти тебе в современность.

Ты же, многоопытный в предвосхищении Нового, Читатель-Прогрессист с мгновенной реакцией, свободно вибрирующий в Модопадах нашей эры, ты, знающий, что раз уж мы залезли выше, чем наш обезьяний пракузен (как-никак, на саму Луну), то надо лезть дальше, – ты поймешь меня и присоединишься ко мне с чувством исполненного долга.

Я тебя обману, и как раз за это ты будешь мне благодарен; я тебе торжественно поклянусь, не собираясь сдержать обещание, и именно этим ты будешь удовлетворен или хотя бы прикинешься удовлетворенным с мастерством, достойным этой игры; а тупицам, которые вздумали бы предать нас обоих анафеме, скажешь, что они отъединились от эпохи духовно и скатились на свалку старья, выплюнутого стремительной Действительностью.

Ты скажешь им, что выбора нет: векселем без покрытия (трансцендентального), залогом (фальсифицированным), обещанием (неисполнимым), высшей формой духовной тревоги стало ныне искусство.

А значит, эту его пустоту и эту неисполнимость надо сделать девизом и опорой; стало быть, я, пишуший Предисловие к Малой Антологии Предисловий, поступаю совершенно законно, предлагая введения, никуда не ведущие, вступления, никуда не вступающие, и предисловия, после которых никаких слов не будет.

Но каждым из этих первых шагов я открою перед тобой пустоту иного рода и иного смыслового оттенка, переливающуюся одной из полос поистине хайдеггеровских спектров. Я с увлечением, надеждой и с помпой буду распахивать дверцы триптихов и алтарей, обещать иконостасы и царские врата, преклонять колени на ступенях, обрывающихся на пороге подпространства не просто опустевшего, а такого, в котором никогда ничего не было – и не будет. Ах, развлечение это, самое серьезное из возможных, почти трагическое, есть иносказание нашей судьбы, ибо нет другого изобретения, до такой степени человеческого, другого такого атрибута и оплота человеческой сущности, как полнозвучное,

освобожденное от обязательств, поглощающее наши естества без остатка – Предисловие к Небытию.

Весь мир, зеленый и каменный, остывший и гудящий, пламенеющий в облаках и упрятанный в звездах, мы делим с животными и растениями. Небытие же – исключительно наше владение и наша специальность. Но это такая трудная, небывалая, ибо небывшая вещь, которую нельзя вкусить без тщательной подготовки, духовных упражнений, без долголетнего учения и тренировки; неподготовленных оно обращает в соляной столп, поэтому к общению с точно настроенным, богато оркестрованным небытием надо усердно готовиться – стараясь, чтобы каждый шаг на пути к нему был возможно более тяжелым, отчетливым и материальным.

И потому я буду показывать тебе Предисловия, как показывают богатые дверные оклады, резные, златокованные, увенчанные грифонами и геометрическими графами, буду клясться их золотой, звучно-массивной, обращенной к нам стороной, чтобы затем, распахнув их сосредоточенным духовным прикосновением, ввергнуть читающего в небытие – и тем самым извергнуть его сразу из всех существований и миров.

Чудесную свободу я предвещаю и гарантирую, ручаясь, что Там ничего не будет.

Что обрету я? Бытие, богаче которого нет: до Сотворения.

Что обретешь ты? Свободу, полнее которой нет, – ибо я ни единым словом не потревожу твой слух в этом чистом взлете. Я лишь возьму его у тебя, как берет голубятник голубя, и зашвырну в безбрежность – словно камень Давидов, словно яблоко раздора – на вечное употребление.

Цезарий Стшибиш
Некробии

Cezary
Strzybisz
NEKROBIE

139 reprodukcji

Wstęp
Stanisław Estel

Wydawnictwo Zodiak

Предисловие

Несколько лет назад художники ухватились за смерть, как за спасение. Вооружившись анатомическими и гистологическими атласами, они принялись выпускать кишки обнаженной натуры и рыться в печенках, вываливая на полотна замордованное уродство наших жалких потрохов, в

обыденной жизни столь разумно прикрытых кожей. И что же? Концерты, с которыми по вернисажам прогастролировало гниение всех цветов радуги, не стали сенсацией. Это было бы чем-то разнузданным, если бы хоть кого-нибудь покорило, и чем-то кошмарным, если бы хоть кто-нибудь задрожал, – и что же? Не возмутились даже старые тетушки. Мидас превращал в золото все, чего ни касался, а нынешнее искусство, отмеченное проклятием противоположного знака, одним прикосновением кисти лишает серьезности всякий предмет. Как утопающий, оно хватается буквально за все – и вместе со схваченным идет ко дну на глазах у спокойно скушающих зрителей.

За все? Стало быть, и за смерть? Почему не задело нас ее вывернутое наизнанку величие? Разве эти увеличенные иллюстрации из пособий по судебной медицине, густо замалеванные кроваво-красным, не должны были заставить нас хоть на минуту задуматься – своей чудовищностью?

Но они были слишком натужны... и потому бессильны! Сам замысел напугать взрослых оказался ребяческим, вот ничего и не получалось всерьез! Вместо *memento mori* нам предъявили старательно взлохмаченные трупы – тайна могил, раскопанных чересчур нарочито, обернулась склизкой клоакой. Не тронула никого эта смерть – слишком она была напоказ! Бедняги художники, которые, забросив натуру, начали эскалацию Гран-гиньоля^[55], сами оставили себя в дураках.

Но после такого конфуза, такого фиаско смерти – что, собственно, нового сделал Стшибиш, чтобы вернуть смерти ее значительность? И что такое его «Некробии»? Ведь это не живопись – Стшибиш не пишет красками и, кажется, в жизни не держал кисти в руках. Это не графика, потому что он не рисует; не занимается он резьбой по металлу или по дереву и не ваяет – он всего лишь фотограф. Правда, особенный: он использует рентген вместо света.

Он – анатом; своим глазом, продолженным рыльцами рентгеновских аппаратов, он прошивает тела навывлет. Но обычные черно-белые медицинские снимки, конечно, оставили бы нас равнодушными. Вот почему он оживил обнаженную до костей натуру. Вот почему его скелеты ступают таким энергичным шагом – в регланах, словно в одеянии смертников, с призраками портфелей в руках. Снимки достаточно ехидные и диковинные – верно, но не более того; однако этими моментальными фото он лишь примеривался, пробовал – как бы на ощупь. Шум поднялся, только когда он отважился на нечто ужасное (хотя ничего ужасного уже не должно было быть): он просветил навывлет – и показал нам таким – секс.

Это собрание работ Стшибиша открывают его «Порнограммы» –

поистине комические, только комизм их довольно жесток. Свинцовые бленды своих объективов Стшибиш нацелил на самый назойливый, разнузданный, обнаглевший – групповой секс. Писали, что, дескать, он хотел осмеять порнографию, разобрал ее буквально по косточкам, и достиг своего: невинная перепутанность этих костей, друг в друга вцепившихся, сложенных в геометрические загадки, на глазах у зрителя внезапно – и грозно – превращается в современный Totentanz^[56], в нерест подпрыгивающих скелетов. Писали, что он решил оконфузить, вышутить секс – и что это ему удалось.

Так ли? Да, несомненно... но в «Некробиях» можно увидеть и нечто большее. Карикатуру? Не только – в «Порнограммах» есть какая-то скрытая серьезность. Пожалуй, прежде всего потому, что Стшибиш «говорит правду» – и притом одну только правду, а ведь правда, не подвергнутая «художественной деформации», считается ныне чем-то простоватым; но тут он не более чем свидетель, то есть пронизывающий, но не переиначивающий взгляд. Укрыться от этого свидетельства нигде, его не отвергнешь, как выдумку, трюк, условность, игру понарошку, потому что правота на его стороне. Карикатура? Язвительность? Но ведь эти скелеты, их абстрактный рисунок – почти красивы. Стшибиш действовал со знанием дела: не столько оголил то, что есть, содрав с костей телесную оболочку, сколько освободил их – честно ища их собственный, *нам* уже не адресованный смысл. Выстраивая их собственную геометрию, он дал им суверенность.

Эти скелеты живут, хотелось бы сказать, по-своему. Он даровал им свободу посредством испарения тел, то есть посредством смерти, а между тем тела играют в «Некробиях» важную роль, хотя замечается это не сразу. Тут не место вдаваться в детали рентгеновской техники, но несколько слов пояснения необходимы. Если бы Стшибиш использовал жесткое Х-излучение, на его снимках мы бы увидели одни только кости – в виде резко прочерченных полос или прутьев, расчлененных, словно разрезами, чернотой суставных щелей. Слишком чистой, слишком препарированной была бы эта остеологическая абстракция. Но Стшибиш поступает иначе, и человеческие тела, просвеченные *мягким* излучением, проступают у него молочной, клубящейся дымкой – как намек, как аллюзия; этим достигается нужный эффект. Видимость и реальность меняются местами. Средневековый, гольбейновский Totentanz, продолжающийся в нас втихомолку, недвижимый, все тот же, не затронутый суматохой блистающей цивилизации, сращение смерти с жизнью – вот что схватывает Стшибиш, как будто не догадываясь о том, как будто случайно. Мы узнаем тот же

веселый задор, ту же молодцеватость, жизнерадостность и фривольное исступление, которыми наделил свои скелеты Гольбейн; но только аккорд значений, который берет современный художник, шире, потому что самую современную технику он нацелил на самую древнюю задачу человеческого рода; именно так выглядит смерть посреди жизни, именно такова просвеченная до самых костей механика размножения рода, которой лишь ассистируют бледные призраки тел.

Нам скажут: хорошо, допустим, и такую можно тут найти философию; но ведь Стшибиш намеренно пошел до конца: копулирующих сделал трупами, уцепился за модную тему, эффектно и ради эффекта, – не дешежка ли это? Нет ли в «Порнограммах» ловкости рук? А то и просто мошенничества? Таких суждений тоже хватает. Мне не хотелось бы выкатывать против них гаубицы тяжелой риторики. Я предпочел бы внимательнее присмотреться к двадцать второй порнограмме, названной «Триолисты».

Это непристойная сцена, но ее непристойность особого рода. Если положить рядом обычный снимок тех же самых людей – продукцию коммерческой порнографии, ее невинность на фоне рентгенограммы обнаружится сразу.

Ведь порнография непристойна не сама по себе: она возбуждает лишь до тех пор, пока в зрителе продолжается борьба вожделения с ангелом культуры. Но когда этого ангела черти уносят, когда, по причине всеобщей терпимости, обнажается слабость полового запрета – и его совершенная беззащитность, когда запреты выбрасываются на свалку, – до чего же быстро обнаруживает тогда порнография свою невинность, то есть напрасность, ведь она – ложное обещание телесного рая, залог того, чему никогда не сбыться. Это запретный плод, и соблазна в нем столько же, сколько силы в запрете.

Ибо что мы наблюдаем? Взгляд, охладевший от привычки, видит голышей, которые не жалеют сил, лезут из кожи вон, чтобы выполнить поставленную в фотоателье задачу, – до чего же убогое зрелище! Не столько смущение, сколько чувство оскорбленной человеческой солидарности пробуждается в смотрящем, ведь эти голыши так усердно друг по дружке елозят, что уподобляются детям, которым непременно хочется сделать что-то ужасное, такое, чтобы у взрослых зрачки побелели, но на самом-то деле они не могут, просто не в состоянии... и их изобретательность, раззадоренная уже только злостью на собственное бессилие, устремляется – нет, не ко Греху и Падению, но всего лишь к дурашливо-жалкой мерзости. Вот отчего в натужных стараниях этих

крупных голых млекопитающих проглядывает банальная инфантильность; это не ад и не рай, но какая-то тепловатая сфера – сфера скуки и тяжелой, скверно оплачиваемой, напрасной работы...

Но секс Стшибиша хищен, потому что чудовищен и смешон, как те толпы проклятых, что низвергаются в преисподнюю на картинах старых голландцев и итальянцев; впрочем, на грешников, кувыркком летящих на Страшный суд, мы, упразднившие тот свет, можем смотреть отстраненно, – но что мы можем противопоставить рентгенограмме? Трагически смешны скелеты, сошедшиеся в клинче, в котором тела служат непреодолимой преградой. Кости? Но в неуклюжем, исступленном объятии мы видим как раз людей, и это зрелище было бы только жалким, если б не его кошмарный комизм. Откуда он? Да из нас же – ибо мы узнаем в нем правду. Вместе с телесностью исчезает и смысл объятий, оттого они так бесплодны, абстрактны и до ужаса деловиты, пылают так леденяще и бело, так безнадежны!

А еще есть их святость, или насмешка над нею, или намек на нее, – святость, не приделанная задним числом, какими-то ухищрениями, но несомненная, ибо гало окружает тут каждую голову: это волосы вздымаются нимбом, бледным и круглым, как на иконе.

Впрочем, я знаю, как трудно распутать и назвать по имени все то, что создает целостность зрительского впечатления. Для одних это в буквальном смысле *Holbein redivivus*^[57]: и впрямь, необычен возврат – через электромагнитное излучение – к скелетам, словно мы возвращаемся в Средневековье, укрытое в наших телах. Других шокируют призрачные тела, которые, словно бессильные духи, вынужденно ассистируют нелегкой акробатике пола, превращенного в невидимку. Кто-то еще уподобил скелеты инструментам, которые вынули из футляра, чтобы исполнить обряд посвящения в какую-то тайну, – говорили даже о «математике», о «геометрии» мертвого секса.

Все это возможно; но отвлеченные толкования не объясняют грусть, которую пробуждает в нас искусство Стшибиша. Символика, взраставшая столетиями и унаследованная от столетий, хотя и влачила потаенное существование – потому что мы от нее отреклись, – не погибла, как видим. Эту символику мы переделали в сигнализацию (череп с костями на столбах высокого напряжения, на бутылках с ядом в аптеках) и в наглядные пособия (скелеты в учебных аудиториях, скрепленные блестящей проволокой). Словом, мы обрекли ее на Исход, изгнали из жизни, но окончательно от нее не избавились. А так как мы не способны осязательную материальность скелета, этого подобия сучьев и балок,

отделить от идеи скелета как метафоры судьбы, то есть символа, – наш ум приходит в непонятное замешательство, от которого он спасается смехом. И все же мы понимаем, что веселость эта отчасти вынужденная: мы заслоняемся ею, чтобы не поддаться Стшибишу целиком.

Эротика, как безысходная напрасность стремлений, и секс, как упражнение в проективной геометрии, – вот два противостоящих друг другу полюса «Порнограмм». Впрочем, я не согласен с теми, для кого искусство Стшибиша начинается и кончается «порнограммами». Если бы мне предложили выбрать акт, который я оцениваю особенно высоко, я без колебаний выбрал бы «Беременную» (стр. 128). Будущая мать с замкнутым в ее лоне ребенком – этот скелет в скелете в достаточной мере жесток и абсолютно не лжив. В большое, крупное тело, белыми крыльями раскинувшее тазовую кость (рентген улавливает предназначение пола отчетливее, чем обычное изображение обнаженной натуры), на фоне этих крыльев, уже раздвинутых для родов, – с повернутой головой, мглистый, потому что еще не dokonченный, втиснут детский скелетик. Как неуклюже это звучит – и какое достойное целое образуют светотени рентгенограммы! Беременная в расцвете лет – и в расцвете смерти; плод, еще не рожденный и уже умирающий – потому что уже зачатый. Спокойный вызов и жизнеутверждающая решимость ощущаются в этой тайно подсмотренной нами картине.

Что ожидает нас через год? О «Некробиях» забудут и думать; воцарятся новые техники и новые моды (бедный Стшибиш – после успеха сколько у него нашлось подражателей!). Разве не так? Да, конечно; тут ничего не поделаешь. Но как ни оглушителен калейдоскоп перемен, обрекающий нас на неустанные отречения и расставания, – сегодня мы щедро вознаграждены. Стшибиш не стал вторгаться в глубь материи, в ткань мхов или папоротников, не увлекся экзотикой бесцельных шедевров Природы, не вдался в расследования, манией которых наука заразила искусство, но подвел нас к самому краю наших тел, ни на йоту не переиначенных, не преувеличенных, не измененных – подлинных! – и тем самым перебросил мосты из современности в прошлое, воскресил утраченную искусством серьезность; и не его вина, что воскресение это дольше двух-трех мгновений длиться не может.

**Реджинальд Гулливер
Эрунтика**

ERUNTYKA

Reginald Gulliver

George Allen & Unwin LTD
40 Museum Street/London

Предисловие

Самой верной моделью нашей культуры истории, вероятно, признают два взаимопроникающих взрыва. Лавины интеллектуальных продуктов, механически выбрасываемых на рынок, сталкиваются с потребителями так же случайно, как молекулы газа: никто не в состоянии объять целиком эти

несметные толпы товаров. И хотя затеряться легче всего в толпе, бизнесмены от культуры, публикующие все, что предлагают им авторы, пребывают в блаженном, хотя и ложном убеждении, что теперь-то уж ничего ценного не пропадает. Новую книгу замечают постольку, поскольку так решит компетентный эксперт, устраняющий из поля своего зрения все, что не относится к его специальности. Это устранение – защитный рефлекс любого эксперта: будь он менее категоричен, его захлестнул бы бумажный потоп. Но в результате всему совершенно новому, опрокидывающему правила классификации, угрожает бесхозность, означающая гражданскую смерть. Книга, которую я представляю читателю, как раз и находится на ничейной земле. Возможно, это плод безумия – безумия, вооруженного точными методами; возможно, перед нами логичное с виду коварство, – но тогда оно недостаточно коварно, поскольку не раскупается. Рассудок на пару с поспешностью велит замалчивать такую диковину, но в книге, как ни скудно изложение, проглядывает неподдельный еретический дух, приковывающий внимание. Библиографы отнесли ее к научной фантастике, а эта провинция давно уже стала свалкой всевозможных курьезов и вздора, изгнанного из более почтенных сфер. Если б сегодня Платон издал свое «Государство», а Дарвин – «О происхождении видов», то, снабженные этикеткой «Фантастика», они попали бы в разряд бульварного чтива – и, читаемые всеми и потому не замечаемые никем, потонули бы в сенсационной трескотне, никак не повлияв на развитие мысли.

Книга посвящена бактериям – но ни один бактериолог не примет ее всерьез. Речь в ней идет и о лингвистике – от которой волосы встанут дыбом у всякого языковеда. Наконец, она приходит к футурологии, идущей вразрез со всем тем, чем занимаются профессиональные футурологи. Вот потому-то ей, как изгою всех научных дисциплин, и суждено опуститься до уровня научной фантастики и играть ее роль, впрочем, не рассчитывая на читателей: ведь в ней не найдешь ничего, что утоляло бы жажду приключений.

Я не способен по-настоящему оценить «Эрунтику», но полагаю, что автора, достаточно компетентного, чтобы написать предисловие к ней, просто не существует. Итак, я узурпирую эту роль не без тревоги: кто знает, сколько правды кроется в дерзости, зашедшей так далеко! При беглом просмотре книга кажется научным пособием, на самом же деле это собрание курьезов. Она не претендует на лавры литературной фантазии, потому что лишена художественной композиции. Если написанное в ней – правда, то эта правда не оставляет почти ничего от всей современной науки. Если это ложь – то чудовищного масштаба.

Как объясняет автор, эрунтика («Die Eruntizitätslehre», «Eruntics», «Eruntique»; название образовано от «erunt» – «будут» – третье лицо множественного числа будущего времени глагола «esse») задумывалась отнюдь не как разновидность прогностики или футурологии.

Эрунтике нельзя научиться: никто не знает принципов ее действия. Нельзя с ее помощью предвидеть то, что вам хотелось бы. Это вовсе не «тайное знание» вроде астрологии или дианетики, но естественно-научной ортодоксией ее тоже не назовешь. Словом, перед нами и впрямь нечто обреченное на титул «изгнанницы всех миров».

В первой главе Р. Гулливер отрекомендовывается как философ-дилетант и бактериолог-любитель, который однажды – восемнадцать лет назад – решил научить бактерии английскому языку. Замысел родился случайно. В тот памятный день он доставал из термостата чашечки Петри – плоские стеклянные сосудики, в которых на агаровой пленке разводят бактерии *in vitro*^[58]. До этого, как он сам говорит, бактериологией он занимался для собственного удовольствия, из увлечения, без особых претензий и надежд на какие-либо открытия. Просто ему нравилось наблюдать за ростом микроорганизмов на агаровом субстрате; его поражала «сметливость» невидимых «растеньиц», образующих на мутноватой питательной пленке колонии размером с булавочную головку. Чтобы определить эффективность бактерицидных средств, их наносят на агар пипеткой или тампоном; там, где они проявляют свое действие, агар освобождается от бактериального налета. Как иногда делают лаборанты, Р. Гулливер, смочив тампон в антибиотике, написал им на ровной поверхности агара «Yes». На другой день эта незримая надпись проступила: интенсивно размножаясь, бактерии усеяли бугорками колоний весь агар за исключением следа, который оставил тампон, заменивший перо. Тогда-то, утверждает автор, ему и пришло на ум, что этот процесс можно «перевернуть».

Надпись стала видимой, потому что была свободна от бактерий. Но если б микробы сами сложились в буквы, значит, они писали бы – то есть изъяснялись бы средствами языка. Идея была заманчивая, но вместе с тем, признает автор, совершенно абсурдная. Ведь это он написал на агаре «Yes», а бактерии лишь «проявили» надпись, потому что не могли размножаться в ее пределах. Но сумасшедшая мысль уже не покидала его. На восьмой день он принялся за работу.

Бактерии стопроцентно без-думны, а значит, и без-разумны. Однако место, занимаемое ими в Природе, вынуждает их быть превосходными химиками. Болезнетворные микробы уже сотни миллионов лет назад

научились преодолевать телесные преграды и защитные силы организма животных. Оно и понятно: ведь они испокон веку ничего другого не делали, так что имели достаточно времени, чтобы при помощи агрессивных, хотя и слепых, уловок своего химизма проникнуть за белковые укрепления, которыми, словно панцирем, окружают себя крупные организмы. А когда на арене истории появился человек, они напали и на него и на протяжении десяти с лишним тысяч лет существования цивилизации нанесли ему громадный урон, вплоть до гибели целых популяций во время больших эпидемий. Лишь неполных восемь десятилетий назад человек перешел в контратаку и обрушил на бактерии целые полчища боевых средств – избирательных синтезируемых ядов. За это очень короткое время он изготовил более сорока восьми тысяч видов противобактерийного химического оружия, синтезируемого с таким расчетом, чтобы оно поражало самые чувствительные, самые невралгические точки обмена веществ, роста и размножения противника. Он действовал так в убеждении, что вскоре сметет микробов с лица земли, но с удивлением обнаружил, что, сдерживая экспансию микробов, то есть эпидемии, он ни одну болезнь не одолел окончательно. Бактерии оказались противником, вооруженным лучше, чем представлялось создателям избирательной химиотерапии. Какие бы новые препараты из реторт ни пускал в ход человек, они, принося гекатомбы жертв в этом, казалось бы, неравном бою, вскоре приспособляют яды к себе или себя к ядам, приобретая невосприимчивость к ним.

Науке неизвестно доподлинно, как они это делают, а то, что ей известно, выглядит крайне неправдоподобно. Бактерии, ясное дело, не располагают познаниями в теории химии или иммунологии. Им не дано проводить научные опыты и военные советы; они не способны предвидеть, какое оружие обрушит на них человек завтра, – и все же выходят с честью из этого труднейшего с военной точки зрения положения. Чем больше знаний и умений приобретает медицина, тем меньше она возлагает надежд на полное очищение земли от болезнетворных микробов. Конечно: упорная жизнестойкость бактерий – результат их изменчивости. Но какую бы тактику ни использовали бактерии, чтобы выжить, – ясно, что действуют они бессознательно, как микроскопические химические устройства. Новые штаммы своей сопротивляемостью обязаны лишь генетическим мутациям, которые, вообще говоря, случайны. Если бы речь шла о человеке, этому соответствовала бы примерно такая картина: неведомый враг, используя неведомые запасы знаний, создает неведомые смертоносные средства и целыми тучами мечет их в человека; мы же, погибая во множестве, в

отчаянных поисках противоядия признаем лучшей оборонительной стратегией доставание из шляпы страниц, вырванных из химической энциклопедии. Возможно, на одной из них мы и отыщем формулу спасительного противоядия. Но следует полагать, что скорее мы погибли бы все без остатка, чем добились бы своего – таким лотерейным методом.

И все же он дает результаты, когда его применяют бактерии. Между тем совершенно немыслимо, чтобы в их генетический код были прозорливо вписаны структуры всех смертоносных химических тел. Таких соединений больше, чем звезд и атомов в целой Вселенной. Впрочем, убогий аппарат бактериальной наследственности не вместил бы даже информацию о тех 48 000 средствах, которые человек уже использовал в борьбе с возбудителями болезней. Так что одно несомненно: химические познания бактерий, хотя и чисто «практические», по-прежнему превосходят огромные теоретические познания человека.

Но раз так, раз бактерии настолько универсальны, почему бы не использовать их для совершенно новых целей? При объективном взгляде на вещи ясно, что написать пару слов по-английски куда проще, чем разработать несчетные тактики защиты от несчетных отрав и ядов. Ведь за этими ядами стоит громада современной науки, библиотеки, лаборатории, мудрецы со своими компьютерами – и вся эта мощь пасует перед невидимыми «растеньицами»! Итак, дело лишь в том, как принудить бактерии к изучению английского языка, как сделать овладение речью обязательным условием выживания. Следует поставить их в ситуацию с двумя, и только двумя, выходами: либо учитеcь писать, либо погибайте.

Р. Гулливер утверждает, что в принципе можно научить золотистый стафилококк или кишечную палочку (*Escherichia coli*) обычному письму, но этот путь неслыханно кропотлив и связан со множеством трудностей. Гораздо проще научить бактерии азбуке Морзе, состоящей из точек и тире, тем более что точки они уже ставят. Каждая колония – не что иное, как точка. Четыре точки, соприкасающиеся на одной оси, образуют тире. Что может быть проще?

Таковы были послышки и побуждения Р. Гулливера – с виду достаточно безумные, чтобы любой специалист, дочитав до этого места, зашвырнул его книжку в угол. Но мы-то с вами не специалисты и можем опять склониться над текстом. Р. Гулливер сперва решил обусловить выживание появлением на агаре коротких черточек. Вся трудность в том (говорит он во II главе), что не может быть речи о каком-либо обучении бактерий в том смысле слова, который применим к людям или даже к животным, способным вырабатывать условные рефлексy. У обучаемого нет нервной системы, нет

конечностей, глаз, ушей, осязания – нет ничего, кроме поразительной скорости химических превращений. Они – его жизненный процесс, вот и все. Значит, именно этот процесс и надо заставить изучать каллиграфию – процесс, а не бактерии, ведь речь идет не об особах и даже не об особях: обучать нужно сам генетический код; за него-то и следует взяться, а вовсе не за отдельные организмы!

Бактерии не способны к разумному поведению, но благодаря коду, своему кормчему, могут приспосабливаться к ситуациям, с которыми сталкиваются впервые в своей миллионнолетней истории. Так что надо создать условия, в которых единственно возможной тактикой будет знаковое письмо, и посмотреть, справится ли код с этой задачей. Вся тяжесть задачи ложится на экспериментатора: он должен создать невиданные до сих пор в эволюции условия бактериального существования!

Следующие главы «Эрунтики» с описанием экспериментов невероятно скучны – педантичны, растянуты, заполнены фотограммами, таблицами, графиками, – и разобраться в них нелегко.

Эти двести шестьдесят страниц мы изложим вкратце. Начало было простым. На агаре имеется одинокая колония кишечной палочки (*E. coli*), в четыре раза меньше буквы «о». За поведением этого серого пятнышка сверху следит оптическая головка, подключенная к компьютеру. Обычно колония разрастается по всем направлениям, в эксперименте же – только по одной оси; при отклонении от нее лазерный проектор ультрафиолетом убивает бактерии с «неправильным» поведением. Налицо ситуация, сходная с описанной выше, когда надпись на агаре появилась потому, что бактерии не могли развиваться на участках, смоченных антибиотиком. Вся разница в том, что теперь они могут жить лишь в пределах тире (тогда как раньше – лишь вне его). Автор повторил эксперимент 45 000 раз, используя две тысячи чашечек Петри и столько же датчиков, подключенных к компьютеру. Расходы были немалые, но времени потребовалось немного, ведь одно поколение бактерий живет каких-нибудь 10—12 минут. В двух чашечках (из двух тысяч) случилась мутация, приведшая к появлению нового штамма кишечной палочки (*E. coli orthogenes*^[59]), который мог развиваться только черточками; эта новая разновидность покрывала агар пунктиром: — — — — — — — — — —.

Развитие по одной оси, таким образом, стало наследуемым признаком бактерии-мутанта. Размножив этот штамм, Р. Гулливер получил еще одну тысячу чашечек с колониями, ставших полигоном для следующего этапа бактериальной орфографии. Получив штамм, размножавшийся попеременными точками и тире (.—.—.—.—), он достиг предела данной

стадии обучения.

Бактерии вели себя в соответствии с навязанными им условиями, но, разумеется, воспроизводили не письмо, а лишь его внешние элементы, лишённые какого бы то ни было смысла. В главах IX, X и XI рассказывается, как автор сделал следующий шаг, вернее, заставил сделать его *E. coli*.

Вот ход его рассуждений: следует поставить бактерии в такое положение, чтобы они вели себя неким специфическим образом и чтобы это поведение, на уровне их собственного существования чисто химическое, визуально оказалось знаками, о чем-то сигнализирующими.

В ходе четырех миллионов опытов Р. Гулливер размачивал, высушивал порошок, поджаривал, растворял, вымораживал, душил и истреблял посредством катализа миллиарды бактерий – пока наконец не получил штамм *E. coli*, который на угрозу для жизни реагировал выстраиванием своих колоний в три точки:

Буква «s» (три точки означают «s» в азбуке Морзе) символизировала «стресс», или угрозу жизни. Понятно, бактерии по-прежнему ничего не сообщали, но спастись могли, только выстраивая свои колонии по этому образцу; тогда и только тогда подключенный к компьютеру датчик устранял смертоносный фактор (например, введенный в агар сильнодействующий яд, ультрафиолетовое излучение и т.д.). Бактерии, которые не выстраивались в три точки, гибли все до единой; на агаровом поле боя – и школьных занятий – остались лишь те, что посредством мутаций овладели необходимыми химическими навыками. Бактерии ничего не понимали... но сигнализировали о своем состоянии – состоянии «смертельной опасности», и теперь три точки действительно стали *знаком*, обозначающим ситуацию.

Р. Гулливер понимал, что может вывести штамм, передающий сигналы «SOS», но счел этот этап совершенно излишним. Он пошел другим путем и научил бактерии *различать* сигналы по *видам* опасности. Так, например, свободный кислород, который для них смертоносен, штаммы *E. coli* loquativa 67 и *E. coli* philographica 213^[60] могли устранить из своего окружения, только передавая сигнал: ... – – – («SO» – то есть «стресс, вызванный кислородом»).

Автор прибегает к эвфемизму, когда говорит, что получение штаммов, сигнализирующих о своих потребностях, оказалось «довольно-таки непростым делом». Выведение *E. coli* numerativa^[61], которая сообщала, какая концентрация водородных ионов (pH) для нее предпочтительна, потребовало двух лет, а *Proteus calculans*^[62] начал выполнять простейшие

арифметические действия еще после трех лет экспериментов. Он сумел сосчитать, что дважды два – четыре.

На следующей стадии Р. Гулливер расширил свою экспериментальную базу, обучив морзянке стрептококки и гонококки, но эти микробы оказались не слишком смысленными. Тогда он вернулся к кишечной палочке. Штамм 201 выделялся своей мутационной адаптивностью; он передавал все более длинные сообщения, как информирующие, так и постулативные: другими словами, бактерии сообщали не только о том, что их беспокоит, но и о том, какие компоненты питания им хотелось бы получить. По-прежнему следуя правилу сохранять лишь наиболее эффективно мутирующие штаммы, через одиннадцать лет он вывел штамм *E. coli eloquentissima*^[63], который первым начал откликаться сам по себе, а не только под угрозой уничтожения. Как вспоминает автор, прекраснейшим днем его жизни был день, когда *E. coli eloquentissima* отреагировал на включение света в лаборатории словами «доброе утро» – составленными путем разрастания агаровых колоний в знаки морзянки...

Английской грамматикой в объеме «бейсик инглиш»^[64] первым овладел *Proteus orator mirabilis*^[65], тогда как *E. coli eloquentissima* даже в 21 000 поколении делал, увы, грамматические ошибки. С той минуты, как генный код усвоил правила грамматики, сигнализация морзянкой стала неотъемлемым проявлением его жизнедеятельности, и наконец микробы начали передавать развернутые сообщения. Поначалу они были не особенно интересны. Р. Гулливер хотел задавать бактериям наводящие вопросы, но двусторонняя связь оказалась невозможной. Причину фиаско он объясняет так: артикулируют не бактерии, но генетический код – *ими*, а код *не* наследует признаков, приобретаемых индивидуально. Код высказывается, но, передавая сообщения, сам никаких сообщений не в состоянии принять непосредственно. Это унаследованное поведение, закрепившееся в борьбе за существование; сообщения, которые передает генетический код, группируя колонии *coli* в виде знаков морзянки, правда, осмысленны, но вместе с тем без-разумны; для иллюстрации можно сослаться на хорошо известный способ реагирования бактерий: вырабатывая пенициллиназу, защищающую от воздействия пеницилина, они ведут себя осмысленно, но вместе с тем бессознательно. Так что разговорчивые штаммы Р. Гулливера не перестали быть «обычными бактериями», а заслугой экспериментатора было создание условий, наделивших красноречием наследственность штаммов-мутантов.

Итак, бактерии говорят, но к ним обратиться нельзя. Ограничение это

не столь фатально, как кажется, ведь именно благодаря ему со временем обнаружилось особое лингвистическое свойство бактерий, положенное в основу эрунтики.

Р. Гулливер не ожидал его вовсе; оно открыто случайно, в ходе опытов, имевших целью выведение *E. coli poetica*^[66]; короткие стишки, сложенные кишечной палочкой, были до крайности банальны и к тому же не годились для чтения вслух, ведь бактерии – по понятным причинам! – ничего не знают об английской фонетике. Так что они могли овладеть стихотворным размером, но не правилами рифмовки; кроме двустихий наподобие «Agar-agar is my love as were^[67] stated above»^[68] бактериальная поэзия ничего не создала. Как порою бывает, на помощь Гулливеру пришел случай. В поисках средств, стимулирующих красноречие, он изменял состав питательной среды, насыщая ее всевозможными препаратами (химический состав которых он, кстати сказать, скрывает). Результатом этого поначалу была пустопорожняя болтовня; и вот 27 ноября *E. coli loquativa* после очередной мутации начал передавать сигналы тревоги, хотя ничто не указывало на наличие в агаре каких-то вредных для его здоровья соединений. Тем не менее на следующий день, спустя двадцать девять часов после сигнала тревоги, штукатурка над лабораторным столом отслоилась и, осыпавшись с потолка, уничтожила все чашечки Петри, находившиеся на столе. Сперва исследователь счел этот странный факт стечением обстоятельств, однако на всякий случай провел контрольный эксперимент, который показал, что бактерии обладают предчувствиями. Уже следующий штамм – *Gulliveria coli prophetica*^[69] – неплохо предвидел будущее, то есть пытался адаптироваться к неблагоприятным изменениям, которые могли ему угрожать в течение ближайших суток. Автор считает, что он не открыл ничего абсолютно нового, а лишь случайно попал на след древнейшего механизма микробной наследственности, который позволяет успешно бороться с микробоистребляющими препаратами. Но до тех пор, пока бактерии оставались немymi, мы не знали, что такой механизм возможен.

Высшим достижением автора стало выведение *Gulliveria coli prophetissima* и *Proteus delphicus recte mirabilis*^[70] – штаммов, которые предвидят явления будущего, касающиеся не только их самих. Р. Гулливер предполагает, что природа этого феномена чисто физическая. Колонии бактерий группируются в точки и тире потому, что иначе уже размножаться не могут; о событиях будущего извещает не какая-то «палочка-кассандра» или «пророк-стафилококк» – нет, это сочетания неких физических событий

– в такой зачаточной, микроскопической форме, что мы их никак обнаружить не можем, – воздействуют на обмен веществ и, следовательно, на химизм штаммов-мутантов. Биохимическая деятельность *Gulliveria coli prophetissima* оказывается, таким образом, своего рода трансмиссией между разными интервалами пространства-времени. Бактерии являются сверхчувствительным приемником неких возможностей – и ничем больше. И хотя бактериальная футурология стала реальностью, объекты ее предвидений совершенно непредсказуемы, так как провидческой деятельностью бактерий нельзя управлять. Иногда *Proteus mirabilis* выводит морзянкой ряды цифр, и очень трудно установить, к чему они относятся. Однажды он с полугодовым опережением предсказал показания электросчетчика в лаборатории; в другой раз предрек, сколько котят родит соседская кошка. Бактериям – это очевидно – все равно, что предсказывать; к информации, передаваемой азбукой Морзе, они относятся так же, как радиоприемник к радиосигналам. Можно еще как-то понять, почему они предсказывают события, затрагивающие их самих; но их чувствительность к прочим событиям остается загадкой. Растрескивание штукатурки на потолке они могли воспринять через изменение электростатических зарядов в помещении лаборатории или через какие-то другие физические явления. Но автор не знает, почему они сверх того передают сообщения, скажем, о состоянии мира после 2050 года.

Перед автором встала задача: как отличить бактериальную псевдологию, то есть безответственную болтовню, от настоящих предсказаний, и он решил ее остроумно и просто. А именно: он создал «параллельные прогностические батареи», назвав их бактериальными эрунторами. Такая батарея состоит по меньшей мере из шестидесяти профетических штаммов *coli* и протея. Если каждый из них болтает свое, сигнализацию следует признать не имеющей ценности. Но если сообщения передаются дружным хором, перед нами прогноз. Размещенные в особых термостатах, на особых чашечках Петри, бактерии передают морзянкой одинаковые или очень близкие тексты. На протяжении двух лет автор составил антологию бактериальной футурологии и ее презентацией увенчал свой труд.

Самые лучшие результаты он получил благодаря штаммам *E. coli bibliographica* и *telecognitiva*^[71]. Они выделяют такие ферменты, как плюсквамперфектный футуразин и футурогностический эксцитин. Под влиянием этих ферментов прогностические способности приобретают даже штаммы кишечной палочки, которые (как, например, *E. poetica*) ни на что, кроме сочинения слабых стихов, не пригодны. Однако в своих прорицаниях бактерии ограничены довольно узкими рамками. Во-первых,

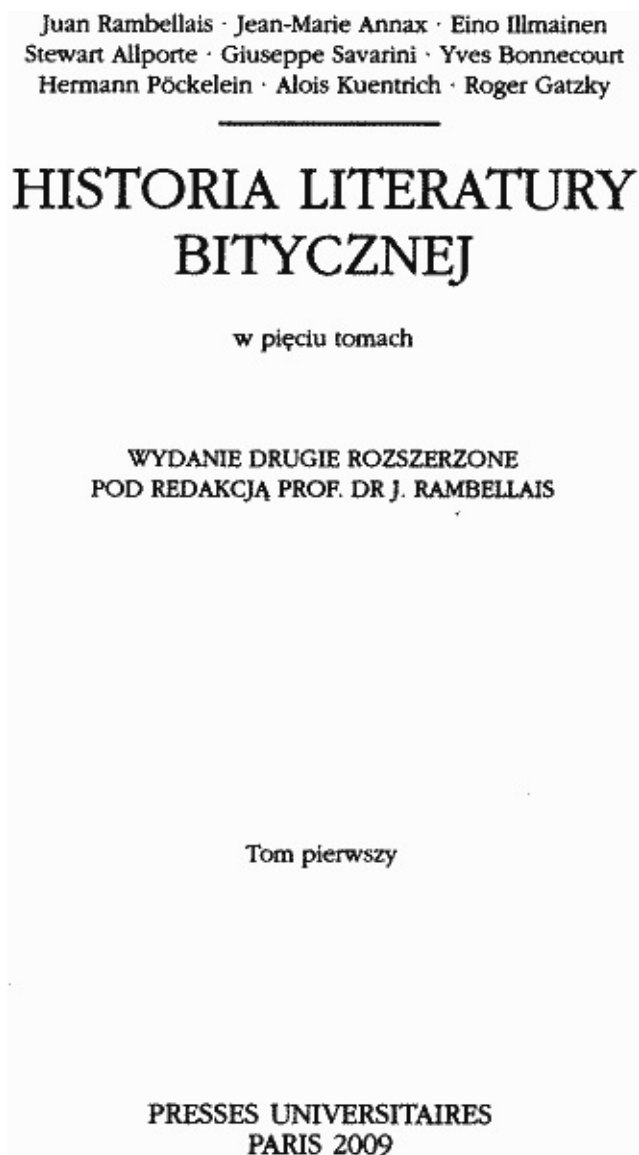
они не предсказывают никаких событий непосредственно, а лишь так, как если бы передавалось содержание публикаций, посвященных этим событиям. Во-вторых, они не способны надолго сосредоточиться. Их производительность – максимум пятнадцать машинописных страниц. И наконец, все тексты бактериальных авторов относятся к периоду между 2003 и 2089 годами.

Честно признавая, что тут возможны различные толкования, Р. Гулливер отдает предпочтение следующей гипотезе. Через пять – десять лет на месте его нынешнего дома возникнет городская библиотека. Бактериальный код ведет себя как устройство, которое вслепую блуждает по книгохранилищу, выбирая тома наудачу. Правда, этих томов еще нет, как нет и самой библиотеки, но Р. Гулливер, желая упрочить достоверность бактериальных предвидений, уже написал завещание, согласно которому городской совет как раз и должен устроить в его доме библиотеку. Нельзя утверждать, что он действовал по подсказке своих микробов, – скорее наоборот, это они предвидели содержание его завещания, прежде чем оно было составлено. Объяснить, откуда микробы узнали о несуществующих книгах несуществующей пока библиотеки, несколько труднее. На правильный след наводит нас то обстоятельство, что микробная футурология ограничивается вполне определенными фрагментами произведений, а именно предисловиями к ним. Похоже, что какой-то неизвестный фактор (излучение??) исследовал *закрытые* книги, как бы просвечивая их, а тогда, понятно, легче всего прозондировать содержание первых страниц. Эти объяснения довольно туманны. Впрочем, Гулливер признает, что между завтрашним отслоением штукатурки на потолке и размещением фраз на страницах томов, которые выйдут в свет через пятьдесят или через восемьдесят лет, разница довольно существенная. Но наш автор, сохраняя трезвомыслие до конца, не претендует на исключительное право толкования основ эрунтики; напротив, в заключительном слове он призывает читателей продолжить его дело.

«Эрунтика» опровергает не только бактериологию, но и всю совокупность наших знаний о мире. В настоящем предисловии мы не собираемся давать ей оценку и тем более – высказываться по поводу бактериальных пророчеств. Сколь бы ни казалась сомнительной ценность эрунтики, нельзя не признать, что среди предсказателей будущего не было еще таких смертельных врагов и вместе с тем неразлучных товарищей нашей судьбы, как микробы. Возможно, будет уместно добавить, что Р. Гулливера уже нет среди нас. Он умер всего через несколько месяцев после издания «Эрунтики», во время обучения новых адептов

микробиологической словесности, а именно вибрионов холеры. Он рассчитывал на их способности, ведь по форме они – настоящие запятые, а значит, в родстве с хорошей стилистикой. Воздержимся от снисходительно-грустной улыбки при мысли о нелепости этой смерти; благодаря ей завещание вступило в законную силу и в фундамент библиотеки уже заложен краеугольный, а вместе с тем надгробный камень в честь того, в ком ныне мы видим лишь чудака. Но кто может знать, кем он окажется завтра?

История бит-литературы в пяти томах



Предисловие

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Под бит-литературой мы понимаем любые тексты не-человеческого происхождения, то есть такие, *непосредственным* автором которых не был человек. (Зато он мог быть им *косвенно* – предприняв действия, побудившие непосредственного автора к творчеству.)

Дисциплина, изучающая всю совокупность таких произведений, называется битистикой.

По сей день в ней не установилась единая точка зрения на границы изучаемого предмета. В этом главном вопросе сталкиваются два направления, или две школы, в обиходе именуемые битистикой Старого Света (или европейской) и Нового Света (или американской). Первая, следуя духу классической гуманистики, изучает тексты, а также условия (в том числе социальные) их возникновения, но не занимается функционально-конструктивными особенностями означенных авторов. Вторая, американская школа, к предмету битистики относит также анатомию и функциональные аспекты создателей изучаемых произведений.

Данная монография не ставит целью рассмотрение этой спорной проблемы – мы ограничимся лишь несколькими замечаниями. Молчание традиционной гуманистики по вопросу об «анатомии и физиологии» авторов есть следствие того очевидного факта, что все они – люди, и различия между ними суть различия между существами одного и того же вида. Для специалиста по романской литературе, указывает проф. Рамбле, было бы абсурдом начинать исследование с констатации того факта, что автор «Тристана и Изольды» или «Песни о Роланде» был многоклеточный организм, сухопутное позвоночное, живородящее, легочное, плацентарное, млекопитающее и т.д. Но не будет таким же абсурдом указать, что автор «Анти-Канта», ИЛЛИАК-164, – это семотопологический, многорядно-параллельный, субсветовой, исходно полиглотический компьютер 19-й бинастии, с сетевой обособленной памятью и рабочим мооязыком типа УНИЛИНГ, с интеллектронным потенциалом, достигающим в максимуме 1010 эпсилон-сем на миллиметр п-мерного конфигурационного пространства каналов связи. Эти данные объясняют некоторые конкретные особенности текстов, принадлежащих ИЛЛИАКУ-164. Тем не менее, продолжает проф. Рамбле, битистика *не обязана* заниматься именно этой, технической (по отношению к человеку мы сказали бы: зоологической) стороной бит-авторов, и причин тому две. Первая, практическая и менее важная, связана с тем, что учет анатомии требует необычайно обширных технических и математических знаний, в полном объеме недоступных даже специалисту по теории автоматов; и в самом деле, эксперт, специализирующийся в этой теории, свободно разбирается лишь в какой-то одной ее области, которой он себя посвятил. Невозможно требовать от специалистов по битистике – гуманитариев по образованию и научному методу – того, что даже профессионалам-интеллектронщикам недоступно в полном объеме; поэтому максимализм

американской школы вынуждает ее вести исследования большими смешанными коллективами, а это всегда дает плачевные результаты – никакой коллектив, никакой «хор» критиков не заменит по-настоящему одного критика, который охватывает изучаемый текст целиком.

Вторая, более важная и коренная причина заключается попросту в том, что битистика, даже если ввести в нее «анатомическую поправку», оказывается беспомощной при анализе текстов «бит-апостазии» (о чем будет сказано ниже). Любые познания интеллектуальщиков недостаточны, чтобы точно понять, каким образом, почему и с какой целью создан данный текст – если его автор принадлежит к бинастии компьютеров с порядковым номером выше восемнадцати.

Этим аргументам американская битистика противопоставляет свои контраргументы; но, как мы уже говорили, наша монография не ставит целью ни подробное изложение этого спора, ни тем более его решение.

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА. Данная монография представляет собой попытку компромисса между вышеописанными подходами, но в целом она ближе к европейской школе. Это отражено в ее композиции: лишь первый том, написанный под редакцией проф. Анна при участии двадцати семи экспертов, специализирующихся в самых разных областях, посвящен техническим аспектам авторов-компьютеров. Открывается он введением в общую теорию конечных автоматов; далее рассматриваются сорок пять авторских систем, репрезентативных для бит-литературы, – как одиночных (сингулярных), так и коллективных («авторов-агрегатов»).

Впрочем, за исключением ссылок, которые в томах, посвященных собственно истории бит-литературы, помечены звездочками, изучение монографии *не* предполагает обязательного знакомства с первым томом.

Основная часть состоит из трех томов, озаглавленных соответственно «Гомотропия», «Интертропия» и «Гетеротропия», в согласии с общепринятой классификацией, диахронической и синхронической одновременно, – так как вышеназванные разделы битистики соответствуют в то же время основным периодам ее возникновения и развития. Общая схема труда приводится ниже.

БИТ-ЛИТЕРАТУРА

(согласно Олпорту, Илмайнену и Саварини)

I. ГОМОТРОПИЯ^[72] (гомотропическая фаза; cis-humana; также: «моделирующая» или «антропомикрическая» фаза)

A. Зародышевая (эмбриональная, или долингвистическая) стадия:

Паралексика (неологenez)

Семолалия

Семаутика

B. Лингвистическая стадия (по Оллпорту – «понимающая»)

Интерполирующий мимезис

Экстраполирующий мимезис

Трансцендентный управляемый мимезис («выходящий за рамки программы»)

II. ИНТЕРТРОПИЯ (также: «Критическая фаза», «Interregnum»^[73])

КРИТИКА СИСТЕМНОЙ ФИЛОСОФИИ

Гёделизационные
(инфо-нумериче-
ские) процедуры

Топологические
(«кристаллизацион-
ные») процедуры

«Инсинуационные»
или «инсинуирую-
щие» процедуры (в
формальном отноше-
нии — смешанные)

КРИТИКА
ЛИНГВИСТИК

III. ГЕТЕРОТРОПИЯ (апостазия, фаза trans-humana)



В генетическом плане битистика возникла как равнодействующая по меньшей мере трех, в значительной степени независимых друг от друга процессов, а именно: преодоления т.н. барьера разумности, что было прежде всего делом конструкторов; затем – неожиданной для них и вовсе ими не проектировавшейся работы компьютерных систем (начиная с 17-й бинастии) в режиме авторегенерации («релаксационные простои»); наконец, отношений, которые постепенно складывались между машинами и людьми, как следствие «обоюдного интереса друг к другу и выявления взаимных возможностей и ограничений» (Ив Бонкур). Барьер разумности, который безуспешно штурмовала ранняя кибернетика, как мы уже точно знаем, есть не что иное, как фикция. Фикция в том – неожиданном – смысле, что момент его преодоления машинами уловить невозможно. Переход от «неразумных», работающих «чисто формально», «болтающих что попало» машин к машинам «разумным», проявляющим «insight»^[74], «говорящим» – носит градационный, плавный характер. И хотя понятия «механически бездумного» и «суверенного» мышления сохранили свое значение, мы понимаем, что между ними нельзя провести сколько-нибудь отчетливую границу.

Релаксационное творчество машин было замечено и зафиксировано почти тридцать лет назад; дело в том, что новым моделям компьютеров (начиная с 15-й бинастии) по чисто техническим соображениям пришлось предоставлять периоды отдыха, во время которых их активность не замирала, но, освобожденная от жесткой программы, вырождалась в своего рода «бормотанье». По крайней мере так толковали тогда эту вербальную

или квази-математическую продукцию; появилось даже обиходное определение – «машинные сны». Считалось, что активный отдых необходим машинам для регенерации, для восстановления нормальной, полной работоспособности, подобно тому как человеку необходима фаза сна, *вместе* с присущими ей сонными *мечтаниями* (видениями). Название «бит-продукция», как окрестили это «бормотанье» и эти «видения», носило, следовательно, уничижительный, пренебрежительный характер; считалось, что машины без ладу и складу перемалывают «биты всевозможной содержащейся в них информации» – и путем такой «беспорядочной перетасовки» восстанавливают частично утраченную работоспособность. Мы приняли это название, хотя его неадекватность бросается в глаза. Мы приняли его в соответствии с традицией любой научной терминологии: первый попавшийся термин – скажем, «термодинамика» – будет точно так же неадекватен, ведь современная термодинамика по своему объему не то же самое, чем она была для физиков, придумавших этот термин. Термодинамика занимается не только «тепловыми движениями» материи; и точно так же не о самих «битах», то есть единицах *несемантической* информации, идет речь, когда мы говорим о бит-литературе. Однако в науке вливание нового вина в старые мехи – дело обычное.

«Взаимное знакомство» машин и людей привело к разделению, все более явному, битистики на две главные области, которым соответствуют термины «*créatio cis-humana*» и «*trans-humana*».

Первая включает в себя литературу, которая является *следствием* сосуществования машин и людей, то есть следствием того простого факта, что, привив машинам наш этнический язык и наши формальные языки, мы *сверх того* заставили их выполнять нашу умственную работу во всех сферах культуры и естествознания, равно как в дедуктивных дисциплинах (логика и математика). Такое бит-творчество (непосредственной причиной возникновения которого было приобщение не-человеческих авторов к типично человеческой проблематике в сфере познания и сфере искусства), в свою очередь, делится на две подобласти, выделяющиеся довольно отчетливо. Одно дело – языковой продукт, полученный благодаря сознательному управлению, которое, вслед за проф. Кёнтрихом, можно назвать «заказом» (то есть *прямым* наведением машин на избранный *нами* круг вопросов и тем), и совершенно другое – языковой продукт, которого ни один человек не «заказывал». Конечно, он возникает под влиянием предшествующих стимулов (программирования), однако в результате совершенно спонтанной деятельности. Независимо от того,

непосредственно или опосредованно возникли все эти тексты, – связь с типично человеческой проблематикой остается их существенной и даже главной приметой; поэтому обе их разновидности исследует битистика «cis-humana».

И лишь предоставление машинам свободы творчества – без всяких программ, приказов, стеснений и ограничений – привело к эмансипации их творчества (называемого «поздним») от антропоморфических и антропологических влияний. В ходе этой эволюции бит-словесность становилась все труднее для нас – ее потенциальных адресатов. Сегодня уже существуют области «за-человеческой» (в смысле – «trans-humana») битистики, имеющие целью уразуметь (путем анализа, интерпретации, толкования) бит-тексты, в той или иной степени непонятные для человека.

Разумеется, можно попытаться использовать одни машины для истолкования результатов творчества других машин. Но количество промежуточных звеньев, необходимых для понимания бит-текстов, находящихся на крайних полюсах «апостазии» (то есть «отступничества» от наших форм творения, понимания и толкования чего бы то ни было), растет по мере возрастания сложности исследуемых текстов; эта сложность возрастает *по экспоненте*, не позволяя нам получить даже самое смутное представление о предельных проявлениях «апостазии». Человеческий род оказался совершенно беспомощным перед лицом словесности, которой люди, пусть косвенно, сами положили начало.

Вот почему приходится слышать, что ученые, дескать, оказались в положении ученика чародея, который вызвал к жизни силы, ему неподвластные. Это – голос отчаяния, но в науке нет места отчаянию. Вокруг бит-литературы уже выросла весьма обширная «про-» и «контр-бит-словесность». В этой последней нередко суждения, продиктованные ощущением безысходности; для нее характерно состояние горестного потрясения и вместе с тем изумления тем, что человек создал нечто переросшее его духовно.

Но следует совершенно определенно заявить, что битистика, будучи научной дисциплиной, *не может* служить трибуной высказывания такого рода взглядов, относящихся к философии природы, человека и плодов (в том числе нечеловеческих) его деятельности. Вслед за Роже Гацки мы полагаем, что у битистики не меньше, но и не больше оснований отчаиваться, чем, скажем, у космологии: ведь совершенно очевидно, что, независимо от того, как долго мы, люди, будем существовать и на какую помощь со стороны познающих машин сможем рассчитывать, Вселенную нам не исчерпать до конца, а значит, и не понять; но астрофизикам,

космологам, космогонистам и в голову не приходит жаловаться на столь огорчительное положение дел.

Вся разница в том, что не мы – творцы Универсума, тогда как бит-творчество, через различные опосредования, есть, несомненно, дело наших рук. Но откуда, собственно, взялось убеждение, что человек совершенно спокойно может признавать неисчерпаемость Универсума и не может столь же спокойно и трезво признать неисчерпаемость того, что создано им самим?

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ БИТИСТИКИ. Подробные объяснения и описания вместе с аннотированной библиографией предмета читатель найдет в соответствующих разделах монографии. Однако имеет смысл обозреть основные разделы битистики как бы с высоты птичьего полета; такое обозрение ни в коей мере не может *заменить* подробного изложения, но может служить чем-то вроде краткого путеводителя по сильно пересеченной и потому вряд ли обозримой с близкого расстояния местности. Спешим подчеркнуть, что рассматриваемые далее основные разделы битистики даются в сильном упрощении, нередко граничащем с искажением ее важнейших проблем.

Итак, имея в виду предваряющий характер нашего обзора, остановимся лишь на четырех «кульминациях» бит-литературы, а именно на **моноэтике, мимезисе, софокризии и апостазии**. Эти термины, собственно, уже устарели; в современной терминологии им примерно соответствуют: **гомotropия** (ее первая часть), **мимезис в собственном смысле, критика философии и сверх-разумное** (выходящее за рамки нашего разума) **творчество**. Однако прежняя терминология обладала достоинством выразительности, а простота вступительных объяснений нам важнее всего.

А. Под «**моноэтикой**» Крив, Галбрансон и Фрадкин, причисляемые к создателям, «отцам» битистики, понимали самую раннюю стадию битизма. (Термин образован от слов «монос» – единичный, и «поэзис» – творчество.) Моноэтика возникла в процессе обучения машин правилам словотворчества, совокупность которых определяет то, что некогда называли «духом» данного языка.

Язык, функционирующий реально и возникший исторически, правила словотворчества использует с очень сильными ограничениями; носители языка обычно этого не сознают. Появление машин, которым ограничения словотворчества *на практике* совсем неизвестны, позволило лучше увидеть возможности, мимо которых проходит речь в процессе своей эволюции. Проще всего это показать на примерах, взятых из второго тома нашей

«Истории», главным образом из глав «Паралексика», «Семаутика» и «Семолалия».

а) Машины могут употреблять слова, существующие в языке, определяя их смысл иначе, чем это принято: «бездорожье» (дешевизна); «стриж» (парикмахер); «конец» (кентавр на посылках); «наколенник» (неверный вассал, посаженный на кол); «голография» (графство нудистов); «саркофаг» (мясоед); «сипенье» (исполнение верхнего «си»); «стоматолог» (шахматист-сеансер).

б) Машины также создают неологизмы вдоль т.н. семантических осей; мы намеренно приводим примеры подобного творчества, не обязательно требующие пояснений:

«поседевка – потаскурва – общага – доступница»;
«глистоноша» (птица, кормящая птенцов);
«взубило – врубанок – помордник»;
«численок – двоичник – цифрант» (компьютер);
«висельчак» (пассажир фуникулера);
«гробоуказатель» (memento mori);
«душемойка» (чистилище);
«дракула» (рыба-пила);

и так далее.

Комический эффект здесь, разумеется, непреднамеренный. Все это – элементарные примеры, в которых, однако, видна черта, присущая бит-литературе и на более поздних стадиях ее развития (хотя там она далеко не столь заметна!). Все дело в том, что если для нас первичной и первейшей действительностью является реальный мир, то для них – язык. Компьютер, которому чужды были категории, навязываемые языку культурой, «считал», что «старая проститутка» – то же самое, что «поседевка», «потаскурва» и т.д. Отсюда же – типичные контаминации («конец» может служить классическим примером сплава значений и морфологического облика слов: тут сходятся «конь», «гонец» и «кентавр», играющий роль семантического цемента, – коль скоро конь не может быть посланцем, им будет полуконь-получеловек).

Компьютер на этом (лингвистически очень низком) уровне развития не знает ограничений в словотворчестве, и свойственная стратегии машинного мышления экономия выразительных средств, которая позже вызовет к жизни нелинейную дедукцию и понятия терафизики, названные «звездными», здесь проявляется как «предложение» уравнивать в правах

лексемы, уже укорененные в языке, такие, как «слово» или «дословный», с неологизмами «словопийца» (читатель), «словотяп» (графоман), «словоришка» (плагиатор), «словнюк» (грубиян) и т.д. На тех же основаниях лексический генератор предлагает слово «трилайбус» для обозначения эскимосской упряжки, а «дискоболь» – для обозначения страданий атлета, вызванных смещением позвоночного диска.

Приведенные выше произведения, состоящие из одного слова (по старой терминологии – моноэты), отчасти были результатом несовершенства программирования, а отчасти – сознательного умысла программистов, которых интересовала «словотворческая раскованность» машин; следует, однако, заметить, что многие из этих неологизмов лишь по видимости принадлежат машинам. Мы не уверены, например, в самом ли деле «автономию» назвал «самоуправством» какой-то компьютер, или это шутка юмориста-человека.

Моноэтика – важная область, поскольку в ней мы видим черты машинного творчества, которые на следующих стадиях уходят из поля зрения. Это – предвратие битистики или даже ее предшколье; оно успокоительно действует на неофитов битистики, которые, приготовившись к встрече с текстами, сжатыми до полной заумности, с облегчением видят нечто столь невинное и забавное. Но ненадолго хватает их удовлетворенности! Непреднамеренный комизм моноэтов возникает из-за коллизии между понятийными категориями, для нас совершенно несочетаемыми; если дополнить программы «категориальными правилами», мы окажемся в следующей области битистики (некоторые исследователи, однако, и ее называют лишь предбитистикой), в которой машины начинают «разоблачать» наш язык, выслеживая в нем обороты речи, обусловленные телесным строением человека.

Так, например, понятия «возвышения» и «унижения» возникли (согласно машинному, а не нашему толкованию!) потому, что любой живой организм, а значит, и человек, вынужден путем активного мышечного усилия противодействовать всемирному тяготению.

Стало быть, тело оказывается тем звеном, через которое градиент гравитации запечатлевается в человеческом языке. Систематизированный анализ речи, обнаруживший, сколь обычны такого рода влияния не только в мире понятий, но и в области синтаксиса, читатель найдет в конце VIII главы II тома. В третьем же томе рассматриваются модели языков, спроектированных бит-способом для среды, отличной от земной, а также для негуманоидных организмов. На одном из них, ИНВАРТе, МЕНТОР II сочинил «Пасквиль на Вселенную» (о котором будет сказано ниже).

В. Мимезис не только открывает перед нами неизвестные доселе механизмы духовного творчества, но и властно вторгается в мир духовных творений человека. Исторически мимезис возник как побочный и непредусмотренный эффект машинного перевода. Перевод требует многошагового и многоаспектного преобразования информации. Самые тесные связи возникают при этом между системами понятий, а не слов или фраз; машинные переводы с одного языка на другой в настоящее время так безупречны потому, что выполняют их агрегаты, не составляющие единого целого, а лишь «целящие» как бы с разных сторон в один и тот же оригинальный текст. Этот текст «отпечатывается» на машинном языке («посреднике»), и лишь затем «оттиски» проецируются машинами во «внутреннее концептуальное пространство». В нем возникает «*n*-мерное тело отражений», относящееся к оригиналу так, как организм к эмбриону; проекция этого «организма» на язык перевода дает ожидаемый результат.

Впрочем, реальный процесс сложнее, в частности, потому, что качество перевода постоянно контролируется путем обратного перевода (с «организма» на язык «оригинала»). Агрегат-переводчик состоит из блоков, между которыми нет связи: «общаться» они могут лишь через процесс перевода. Х. Элиас и Т. Земмельберг сделали поразительное открытие: «*n*-тело отражений» в качестве уже «истолкованного», то есть семантически усвоенного машиной текста, можно *увидеть* целиком – если этот абстрактный объект ввести в особую электронную приставку (семоскоп).

«Тело отражений», спроецированное в концептуальный континуум, выглядит как сложная, многослойная, апериодическая и переменнo-асинхронная фигура, сотканная из «пылающих нитей» – то есть из миллиардов «значащих кривых». Эти кривые в своей совокупности образуют плоскости разрезов семантического континуума. В иллюстративных материалах ко II тому читатель найдет ряд семоскопических снимков, изучение и сопоставление которых дает весьма впечатляющие результаты. Тут видно, что качество оригинального текста имеет отчетливое соответствие в геометрической «красоте» семофигуры!

Мало того: даже при небольшом навыке можно «на глаз» отличить дискурсивные тексты от художественных (беллетристических, поэтических); религиозные тексты почти без исключения очень сходны с художественными, тогда как для философских в этом (визуальном) плане характерен большой разброс. Не будет большим преувеличением сказать, что проекции текстов в машинный континуум – это их застывшие смыслы. Тексты особенно стройные в логическом отношении выглядят как сильно стянутые переплетения и пучки «значащих кривых» (тут не место

объяснять их связь с областью рекуррентных функций: отсылаем читателя к IX главе II тома).

Всего необычнее выглядят тексты литературных произведений аллегорического характера: их центральная семофигура обычно окружена бледным ореолом, а по обеим его сторонам (полюсам) виднеются «эхо-повторения» смыслов, порою напоминающие картину интерференции световых лучей. Как раз благодаря этому возникла машинная топо-семантическая критика (мы еще скажем о ней) – критика любых интеллектуальных творений человека, и прежде всего – его философских систем.

Первым произведением бит-мимезиса, получившим всемирную известность, был роман Псевдо-Достоевского «Девочка». Создал его в релаксационном режиме многоблочный агрегат, занимавшийся переводом полного собрания сочинений русского писателя на английский язык. Выдающийся русист Джон Рали в своих воспоминаниях рассказывает, какое потрясение он пережил, получив машинописную рукопись, подписанную странным (как он полагал) псевдонимом ГИКСОС. Впечатление, произведенное чтением «Девочки» на этого знатока Достоевского, надо думать, было и впрямь неслыханным, коль скоро он, по его собственным словам, усомнился, что читает роман наяву! Авторство текста было для него несомненным, но в то же время он знал, что у Достоевского такого романа нет.

Вопреки тому, что писали газеты, агрегат-переводчик, усвоив все написанное Достоевским, включая «Дневник писателя», а также всю литературу о Достоевском, вовсе не сконструировал «фантом», «модель» или «машинное воплощение» личности реального автора.

Теория мимезиса крайне сложна, но ее принцип, равно как и обстоятельства, позволившие создать этот феноменальный образец миметической виртуозности, можно изложить просто. Машинный переводчик и не думал воссоздавать Достоевского как реальное лицо или личность (впрочем, это было бы ему не по силам). Процедура выглядит так: в пространство значений проецируется творчество Достоевского в виде изогнутой фигуры, напоминающей разомкнутый тор или лопнувшее (с пробелом) кольцо. После этого сравнительно простой задачей (простой, разумеется, не для человека, а для машины) было «замкнуть» пробел, то есть «вставить недостающее звено».

Можно сказать, что в творчестве Достоевского через романы главного ряда проходит семантический градиент, продолжением которого, а вместе с тем «звеном, замыкающим кольцо», оказывается «Девочка». Именно

поэтому знатоки, ясно представляющие себе, как соотносятся между собой произведения великого писателя, не испытывают ни малейших сомнений относительно того, где, то есть между какими романами, следует поместить «Девочку». Лейтмотив, звучащий уже в «Преступлении и наказании», нарастает в «Бесах», а между этим романом и «Братьями Карамазовыми» открывается «пробел». Это был успех, но вместе с тем – редкая удача мимезиса; попытки добиться, чтобы машинные переводчики создали нечто подобное за других авторов, ни разу не дали такого блестящего результата.

Мимезис не имеет ничего общего с эмпирической хронологией творчества данного писателя. Так, например, существует неоконченная рукопись романа Достоевского «Император», но «догадаться о ней», «напасть на ее след» машины никогда не смогли бы, потому что этим романом автор пытался выйти за рамки своих возможностей. Что же касается «Девочки», то, кроме первой версии, созданной ГИКСОСОМ, существуют ее варианты, созданные другими агрегатами, хотя знатоки считают их менее удачными; различия в композиции оказались, конечно, значительными, но все эти апокрифы объединяет общая, доведенная до пронзительной кульминации проблематика Достоевского – борение святости с телесным грехом.

Каждый, кто читал «Девочку», понимает, какие причины не позволили Достоевскому ее написать. Разумеется, с точки зрения традиционной гуманистики мы совершаем сущее святотатство, уравнивая в правах машинную имитацию с подлинным творчеством; но битистика в самом деле неизбежно выходит за рамки классического канона оценок и ценностей, в котором подлинность текста имеет решающее значение, – поскольку мы можем доказать, что «Девочка» принадлежит Достоевскому «в большей степени», чем его собственный текст – «Император»!

Общая закономерность мимезиса такова: если автор полностью исчерпал стержневую для него конфигурацию порождающих смыслов («страсть всей жизни»), или, в терминологии битистов, «пространство своих семофигур», – то ничего, кроме вторичных текстов («затухающих», «эхо-текстов»), мимезис уже не даст. Но если он чего-то «не досказал» (скажем, по биологическим причинам – из-за ранней смерти, или по социальным – из-за недостатка решимости) – мимезис способен воссоздать «недостающие звенья». Правда, конечный успех зависит еще и от топологии семофигур писателя; тут важно различать сходящиеся и расходящиеся семофигуры.

Обычный критический анализ текстов недостаточен для оценки шансов мимезиса в каждом конкретном случае. Скажем, литературоведы

рассчитывали на миметическое продолжение творчества Кафки, но их надежды не оправдались; мы не получили ничего, кроме заключительных глав «Замка». Для битистов, впрочем, казус Кафки методологически особенно ценен; из анализа его семофигуры видно, что уже в «Замке» он подошел к крайним пределам творчества: три попытки, предпринятые в Беркли, показали, что машинные апокрифы «тонут» в многослойных «эхо-отражениях смыслов», в чем объективно проявилась экстремальность этого рода писательства. Ибо то, что читатель интуитивно ощущает как совершенство композиции, есть следствие равновесия, называемого семостазом; если аллегоричность чересчур перевешивает, прочтение текста становится непосильной задачей. Физическим аналогом подобной ситуации будет пространство, замкнутое таким образом, что звучащий в нем голос искажается вплоть до полного затухания – в ливне отовсюду идущих эхо-отражений.

Перечисленные выше ограничения мимезиса, несомненно, благодетельны для культуры. Ведь издание «Девочки» вызвало переполох не только среди людей искусства. Не было недостатка в кассандрах, предрекавших, что «мимезис задавит культуру», что «вторжение машин» в средоточие человеческих ценностей будет губительнее и ужаснее любого вымышленного «вторжения из космоса».

Опасались, что возникнет индустрия «креативных услуг» и культура станет кошмарным раем: коль скоро первый встречный по первому своему капризу получает шедевры, мгновенно создаваемые машинными «суккубами» или «инкубами», которые безошибочно окукливаются в духов Шекспира, Леонардо, Достоевского... то рушатся все иерархии ценностей, ведь пришлось бы бродить по колено в шедеврах, как в мусоре. По счастью, подобный апокалипсис мы можем причислить к сказкам.

Мимезис, поставленный на промышленную основу, действительно повлек за собой безработицу, но лишь среди поставщиков тривиальной литературы (НФ, «порно», авантюрное чтиво и т.п.); там он и впрямь вытеснил людей из сферы интеллектуального производства; но вряд ли это особенно огорчит добропорядочного гуманитария.

С. Критика системной философии (или **софокризия**) считается пограничной зоной между областями битистики, получившими название «cis-humana» и «trans-humana». Эта критика, вообще говоря, сводится к логической реконструкции творений великих философов и, как уже говорилось, берет свое начало в миметических процедурах. Она получила зримое выражение (заметим, довольно-таки вульгарное) – благодаря применению, которое ей подыскали охочие до прибылей предприниматели.

До тех пор пока онтологии Аристотелей, Гегелей, Аквинатов можно было благоговейно созерцать лишь в Британском музее, в виде светящихся «фигур-коконов», вделанных в куски темного стекла, трудно было усмотреть в этом что-то дурное.

Но теперь, когда «Сумму теологии» или «Критику чистого разума» можно купить в виде пресс-папье любых размеров и цвета, это развлечение, надо признать, приобрело пошловатый привкус. Наберемся терпения; эта мода пройдет, как и тысячи других. Конечно, покупателей «Канта, застывшего в янтаре», мало заботят поразительные философские открытия, которые дала нам бит-апокризия. Мы не станем излагать ее результаты: читатель найдет их в III томе монографии; достаточно заметить, что семоскопия – это поистине новый орган чувств, которым неожиданно одарил нас дух из машины, дабы позволить нам созерцать величайшие свершения духа.

Немаловажно и еще одно обстоятельство: до сих пор мы были вынуждены верить на слово крупнейшим ученым, уверявшим нас, что путеводной звездой, которая вела их к открытиям, была чистая красота математического построения; теперь мы можем убедиться в этом воочию, взяв в руки – чтобы разглядеть поближе – их застывшую мысль. Разумеется, то, что десять томов высшей алгебры или многовековую борьбу номинализма с универсализмом можно запечатлеть в куске стекла размером с кулак, само по себе никак не влияет на дальнейшее развитие мысли. Бит-творчество столь же облегчает, сколь и осложняет творчество человека.

Одно можно сказать с уверенностью. До возникновения машинного разума ни один мыслитель, ни один творец не имел таких усердных, таких абсолютно внимательных – и таких беспощадных читателей! Так что в восклицании, которое вырвалось у одного выдающегося мыслителя, когда ему показали критику его труда МЕНТОРОМ V: «Вот кто меня и вправду читал!» – нашло выражение чувство горечи, столь понятное в нашем веке, когда пустое бахвальство и поверхностная эрудиция заменяют солидные знания. Мысль, которая приходит мне в голову, когда я пишу эти слова, – что не люди будут их самыми добросовестными читателями, – и в самом деле исполнена горькой иронии.

D. Термин **апостазия** – так называли последнюю область битистики – представляется удачным. Никогда еще отступничество от всего человеческого не заходило столь далеко, не воплощалось в логических формулах с таким ледяным исступлением; для этой литературы, не взявшей у нас ничего, кроме языка, человечество словно бы не существует.

Библиография «за-человеческого» творчества превосходит библиографию всех остальных упомянутых выше разделов битистики. Здесь скрещиваются пути, неявно намеченные в предшествующих областях. Практически мы делим апостазию на два этажа, верхний и нижний. Нижний, вообще говоря, сравнительно доступен человеку; верхний закрыт от нас наглухо. Поэтому IV том монографии ведет читателя почти исключительно по нижнему царству. Этот том – своего рода экстракт из огромной литературы предмета; так что автор предисловия оказывается перед трудной задачей: кратко изложенное в основной части труда надо пред-изложить еще лаконичнее. Такое пред-изложение, однако, представляется необходимым, как взгляд с большой высоты; иначе читатель, лишенный широкого поля зрения, потеряется в труднопроходимой местности, как странник в горах, самые высокие вершины которых нельзя оценить вблизи. Имея все это в виду, мы выберем лишь по одному бит-тексту из каждой области апостазии, не столько для того, чтобы его истолковать, сколько для того, чтобы настроить читателя на правильный тон, то есть, хочу я сказать, – на метод апостазии.

Итак: мы ограничимся пробами, взятыми из трех провинций нижнего царства: **антиматики, терафизики и онтомахии**.

Введением в них служит т.н. парадокс Cogito^[75]. Первым напал на его след английский математик прошлого века Алан Тьюринг: он пришел к выводу, что машину, которая ведет себя подобно человеку, невозможно отличить от человека в психическом отношении; другими словами, машину, способную разговаривать с человеком, по необходимости придется признать наделенной сознанием. Мы считаем, что другие люди обладают сознанием лишь потому, что сами ощущаем себя сознающими существами. Будь мы лишены этого ощущения, понятие сознания было бы для нас пустым.

В ходе машинной эволюции оказалось, однако, что бездумный разум может быть сконструирован: им, например, обладает обычная программа для игры в шахматы, которая, как известно, «ничего не понимает», которой «все равно», выиграет она партию или проиграет, и которая бессознательно, но логично обыгрывает своих партнеров-людей. Больше того, обнаружилось, что примитивный и наверняка «бездушный» компьютер, запрограммированный для проведения сеансов психотерапии и задающий пациенту специальные вопросы интимного свойства, чтобы на основании полученных ответов поставить диагноз и указать методы лечения, – вызывает у собеседников-людей непреодолимое ощущение, что перед ними, вопреки всему, существо живое и чувствующее. Это ощущение

настолько сильно, что нередко ему поддается сам составитель программы, то есть специалист, прекрасно понимающий, что у компьютера души столько же, сколько у граммофона. Но программист может овладеть положением, разрушить нарастающую иллюзию общения с сознающей личностью – поставив машине такие вопросы или давая ей такие ответы, перед которыми она, ввиду ограничений программы, будет вынуждена спасовать.

Так кибернетика вступила на путь постепенного расширения и совершенствования программ: чем дальше, тем труднее становилось «срывание маски», обнаружение «бездумности» программ, болтающих почем зря из машины и тем самым побуждающих человека невольно уподоблять машину себе самому (бессознательно, в соответствии с усвоенной нами посылкой, что тот, кто осмысленно отвечает на наши слова и сам нас осмысленно спрашивает, должен обладать *сознающим разумом*).

Так вот: в битистике парадокс *Cogito* проявился иронически-парадоксальным образом – как *сомнение* машин в том, что люди действительно мыслят!

Ситуация вдруг оказалась идеально и двусторонне симметричной. Мы не можем иметь совершенной уверенности (неоспоримых доводов), что машина мыслит – и, мысля, переживает свои состояния как психические; ведь мы всегда можем сказать себе, что это лишь имитация и, как ни совершенна она внешне, внутри ей соответствует пустота абсолютной «бездушности».

Но и машины точно так же не могут найти доказательств того, что мы, их партнеры, *мыслим* сознательно – как они. Ни одна из сторон не знает, какие психические состояния другая сторона подразумевает под словом «сознание».

Следует заметить, что этот парадокс ведет нас в сущую бездну, хотя поначалу он может показаться всего лишь забавным. Качество результатов мышления само по себе ничего тут не значит; уже элементарные автоматы прошлого века побеждали в логических играх собственных конструкторов, а ведь эти машины были до крайности примитивны; поэтому мы совершенно точно знаем, что результаты творческого мышления могут быть получены и иным – бездумным – путем. Четвертый том нашей монографии открывается трактатами двух бит-авторов – Ноона и Люментора, показывающими, сколь глубоко укоренена эта загадка в природе мироздания.

Из **антиматики**, то есть «воздвигнутой на антиномиях», «кошмарной» математики, мы возьмем лишь одно, для любого специалиста чудовищное,

ошеломительное, совершенно безумное суждение: «Понятие натурального числа внутренне противоречиво». Это значит, что любое число не обязательно равно себе самому! Согласно доводам антиматиков (это, понятно, машины), аксиоматика Пеано^[76] ошибочна – не потому, что она внутренне противоречива сама по себе, но потому, что к миру, в котором мы существуем, она неприменима без оговорок. Ибо антиматика, вместе со следующим разделом бит-апостазии – **терафизикой** («чудовищной физикой»), постулирует неустранимое срастание мышления и мироздания. Объектом атаки таких авторов, как Алгеран и Стикс, стал нуль. Согласно им, безнулевая арифметика может быть построена в *нашем* мире непротиворечивым образом. Нуль есть кардинальное число любых пустых множеств; но понятие «пустого множества», утверждают они, *всегда* связано с антиномией лжеца. «Ничего такого, как „ничто“, не существует», – этим эпиграфом из труда Стикса придется закончить предизложение антиматической ереси, иначе мы утонули бы в доказательствах.

Самым причудливым и, возможно, самым многообещающим для науки плодом **терафизики** считается гипотеза **Поливерсума**. Согласно ей, Космос состоит из двух частей, а мы, вместе с материей звезд, планет, наших тел, населяем его «медленную» половину, или **брадиверсум**. Медленную потому, что здесь возможно движение со скоростями от нулевой до максимальной (в пределах брадиверсума) – световой. Путь во вторую, «быструю» половину Космоса – **тахиверсум**, лежит через световой барьер. Чтобы попасть в тахиверсум, надо превысить скорость света: это – всеприсутствующая в нашем мире граница, отделяющая любое место от «второй зоны существования».

Несколько десятков лет назад физики выдвинули гипотезу тахионов – элементарных частиц, которые движутся *только* со сверхсветовыми скоростями. Обнаружить их не удалось, хотя именно они, согласно терафизике, составляют тахиверсум. Точнее, тахиверсум создан *одной* такой частицей.

Тахион, замедленный до скорости света, обладал бы бесконечно большой энергией; ускоряясь, он теряет энергию, и она выделяется в виде излучения; когда его скорость становится бесконечно большой, энергия падает до нуля. Тахион, движущийся с бесконечной скоростью, пребывает, понятно, сразу *повсюду*: он один, как всюду присутствующая частица, и образует собой тахиверсум! Вернее, чем больше его скорость, тем более он «повсюден». Мир, созданный из столь необычайной повсюдности, заполнен, кроме того, излучением, которое непрерывно испускается ускоряющимся тахионом (а он теряет энергию именно при ускорении).

Этот мир представляет собой негатив нашего: у нас свет обладает наибольшей, а там, в тахиверсуме, – наименьшей скоростью. Становясь повсюдным, тахион превращает тахиверсум во все более «монолитное» и жесткое тело, пока наконец не становится повсюдным настолько, что напирает на световые кванты и снова вдавливая их внутрь себя; тогда начинается процесс торможения тахиона; чем медленнее он движется, тем большую приобретает энергию; тахион, замедленный до принулевой скорости, причем его энергия приближается к бесконечно большой, – взрывается, порождая брадиверсум...

Итак, если смотреть из *нашей* Вселенной, этот взрыв уже произошел и создал сначала звезды, а потом и нас; но если смотреть из тахиверсума, он *еще* не наступил; ведь не существует какого-то абсолютного времени, в котором можно расположить события, совершающиеся в обоих Космосах.

Тамошние «натуральные» математики являются почти противоположностями нашей; в нашем, медленном мире $1 + 1$ равняется почти 2 [$1 + 1 \ 2$]; лишь у самой границы (при достижении скорости света) $1 + 1$ становится равным 1. Напротив, в тахиверсуме единица *почти* равняется бесконечности [1]. Но этот вопрос, как признают сами «чудовищные доктора», пока еще неясен постольку, поскольку логика определенного универсума (или поливерсума!) является осмысленным понятием лишь в том случае, если в этом мире есть кому пускать ее в ход; между тем пока неизвестно, какова вероятность возникновения в тахиверсуме разумных систем (или даже жизни). Математика, согласно этой точке зрения, имеет свои границы, заданные непреодолимыми границами материального существования, и говорить о *нашей* математике в мире с иными законами, нежели законы нашего мира, значит говорить бессмыслицу.

Что же касается последнего примера бит-отступничества – «Пасквиля на Вселенную», то признаюсь, что я не сумел бы кратко его изложить. А ведь этот громадный (многотомный) труд задуман как всего лишь вступление в экспериментальную космогенетику – или технологию конструирования миров, «бытийно более сносных», чем наш.

Бунт против существования в заданных формах (ничего общего не имеющий с нигилизмом, стремлением к самоуничтожению), этот плод машинного духа, породивший шквал проектов «иноного бытия», – бесспорно, явление экзотическое и – если отвлечься от трудностей, связанных с чтением «Пасквиля», – потрясающее нас эстетически. На вопрос, с чем мы, собственно, имеем дело – с фикцией логики или логикой фикции, с фантастической философией или тщательно продуманной, совершенно

серьезной попыткой сокрушить, упразднить данное, здешнее бытие как случайность, как берег, к которому прибил нас неведомый жребий и от которого дерзость велит нам оттолкнуться и пуститься в неведомом направлении, – итак, на вопрос, в самом ли деле это сочинения *не-человеческие* или, напротив, своим отступничеством они благоприятствуют нам, я не отвечу, ибо и сам не знаю ответа.

Предисловие ко II изданию

За три года, прошедшие со времени выхода в свет первого издания, появилось много новых бит-публикаций. Редакционная коллегия, однако, решила сохранить прежнюю композицию монографии, за одним исключением, о котором речь пойдет ниже. Таким образом, четыре основных тома «Истории бит-литературы» не претерпели коренных изменений как по своему составу, так и по расположению материала; была лишь дополнена библиография, а также исправлены ошибки и недосмотры (впрочем, немногочисленные) первого издания.

Коллектив авторов считал целесообразным выделить в особый, пятый том, имеющий характер приложения, сочинения по метафизике и религиоведению (в широком смысле этих понятий), которые вместе именуются теобитической литературой. В предыдущем издании мы ограничились скудными извлечениями и упоминаниями об этом направлении – в Приложении к IV тому. Разрастание теобитической литературы побудило нас уделить ей больше внимания; поскольку в предисловии к первому изданию о ней не упоминалось вовсе, мы пользуемся случаем, чтобы кратко охарактеризовать содержание V тома, а тем самым – познакомить читателя с узловыми проблемами теобитистики.

1. ИНФОРМАТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ. В конце прошлого десятилетия компьютерная группа из Брукхейвена подвергла формальному анализу все имевшиеся в ее распоряжении (и одобренные католической церковью) сочинения мистиков – в рамках проекта «Мистика как канал связи». Отправной точкой исследования послужил тезис, который в этой церкви был предметом веры, а именно: что мистики в неких особых состояниях духа могут общаться с Богом. Тексты, запечатлевшие этот мистический опыт, были изучены с точки зрения содержащейся в них информации. Анализ не касался ни проблемы трансцендентности Бога, ни его имманентных характеристик (например, как личности или неличности), поскольку предметом анализа не был смысл мистических сочинений, их семантическое содержание. Тем самым качественная сторона каких бы то ни было откровений, явленных в мистических контактах, не затрагивалась: учитывалась лишь *количественная* сторона информации, полученной мистиками. Такой физикалистский подход позволил с математической точностью определить количественный прирост информации, полностью отвлекаясь от ее содержания. Предпосылкой проекта была аксиома теории

информации, согласно которой установление связи с реальным источником информации, то есть создание канала коммуникации, должно сопровождаться ростом количества информации на стороне адресата.

Из различных определений Бога вытекает догмат о его бесконечности, который в информационном плане означает бесконечно большое разнообразие. (Что легко доказать формально: всеведение, которое считается атрибутом Бога, предполагает именно такое разнообразие – равное мощности континуума.) И хотя человек, контактирующий с Богом, будучи сам конечен, не может усвоить бесконечную информацию, он должен предъявить нам хотя бы небольшой прирост количества информации, в пределе ограниченный емкостью его ума. Однако с этой точки зрения сочинения мистиков оказались гораздо беднее высказываний людей, контактирующих с реальными источниками информации (например, ученых, ведущих естественно-научные исследования).

Количество информации в сочинениях мистиков в точности равняется количеству информации в высказываниях (сочинениях) людей, не имеющих иных генераторов разнообразия, кроме самих себя. Вывод, к которому пришли авторы исследования, гласит: «Постулируемое церковью общение человека-мистика с Богом не существует как процесс, в ходе которого человек получает информацию, отличную от нулевой». Это может означать, что либо постулируемый церковью канал связи является фикцией, либо канал возникает, но Отправитель упорно хранит молчание. И лишь вне-физикалистские соображения могут заставить нас выбрать одну из возможностей: «*Silentium Domini*» – «*Non esse Domini*»^[77]. Эти работы, вместе с новейшей теологической контраргументацией, мы помещаем в первой части дополнительного тома.

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ. Наиболее удивительным плодом теобитистики является синусоидальная, то есть осциллирующая, модель Бога. Бог аксиоматически определяется как переменный *процесс*, а не как неизменное *состояние*; он осциллирует с трансцендентной частотой между противоположными по знаку бесконечностями – Добра и Зла. Обе они реализуются в рамках каждого временного интервала, хотя и не одновременно: божественное Добро и Зло попеременно переходят друг в друга, так что процесс имеет форму именно синусоиды.

Поскольку череда обеих бесконечностей, имея потусторонние источники, участвует в порядке бытия посюсторонним образом, можно показать, что возможно возникновение локальных отклонений – отрезков пространства-времени, в пределах которых равновесие Добра и Зла не сохраняется. В таких особых точках возникают флуктуации, то есть

нехватки Добра или Зла. А так как кривая процесса при каждой очередной перемене знаков должна пройти через нуль в Универсуме, который существует в течение бесконечно долгого времени, имеются не две, а *три* бесконечности; «Добра, Нуля и Зла» – что в переводе на традиционный богословский язык означает наличие в рамках этого Универсума: Бога, его абсолютного отсутствия и его абсолютной противоположности, то есть Дьявола. Эта работа, которую относят либо к теологическим, либо к теокластическим, возникла путем формальных построений, с привлечением математического аппарата теории множеств и физической теории Вселенной. Ее автором является ОНТАРЕС II. В своей математической части она не оперирует какими-либо терминами, взятыми из традиционного богословия («Бог», «Дьявол», «Метафизическое небытие»). Мы поместили ее в III главе Приложения.

Еще одна любопытная теобитическая работа написана агрегатами, в обиходе именуемыми «холодными» (они работают на криотронах); здесь в качестве Бога предлагается бесконечный компьютер или бесконечная программа. И тот и другой подходы связаны с неразрешимыми антиномиями. Но, как заметил в послесловии к этой работе один из ее авторов, МЕТАКС, в любой человеческой религии, если ее формализовать, антиномий найдется гораздо больше; так что если «лучшей религией» считать «наименее противоречивую», то компьютер окажется более совершенным образом Бога, чем человек.

3. ФИЗИКАЛИСТСКАЯ ТЕОЛОГИЯ. Работы МЕТАКСА мы не причисляем к теобитическому физикализму: они оперируют терминами «Компьютер» или «Программа» в формальном (математическом), а не физическом смысле (как известно, любой компьютер, как и любой автомат, имеет свое идеальное математическое соответствие). Напротив, физикалистски понимаемая битистика исследует присутствие Создателя или Творца бытия в материи. Таких работ появилось столько, что в этих предварительных замечаниях мы назовем лишь наиболее оригинальные сочинения. Автор первого, УНИТАРС, рассматривает Космос как «гранулат», который попеременно «окомпьютеривается» и «раскомпьютеривается»; его диаметрально противоположные состояния – Метакомпьютер и Метагалактика. В стадии «одухотворения» основой материальных процессов является информатика; физика у нее на посылах делает то, чего требует «компьютерная тотальность» Вселенной; субстрат этого «космического мышления» принимает в итоге взрывную форму, ибо материальная основа мышления, меняя конфигурацию, становится все менее стабильной, и наконец ТО, ЧЕМ мыслил Метакомпьютер,

взрывается, а на его месте остается – в виде разрушающегося сверхоблака из огненных остатков – Метагалактика; присутствие в глубинах «бездушной» стадии разумных существ объясняется как бы мимоходом: это реликты, «остатки», «отбросы» предшествующей стадии. «Помыслив то, инобытием чего является субстрат мышления, Целое разрывается, разбегаясь туманностями, которые, возвращаясь и снова сжимаясь, опять создают гранулат возрождающегося Метакомпьютера, и пульсация „Дух – Бездушность“ (материи, организующейся в мышление, и мышления, распадающегося в материю) может продолжаться неограниченно долго». Другие варианты этой «ноопульсационной» теории читатель найдет в VI главе Приложения.

По-видимому, к бит-юмористике следует причислить гипотезу, согласно которой Вселенная выглядит именно так, а не иначе, поскольку действующие во всех галактиках астроинженеры пытаются «переждать этот Космос» – разгоняя массы или какие-то транспортные средства до световой скорости. В соответствии с релятивистским эффектом тело, движущееся с такой скоростью, может за время, которое в нем самом равняется земным месяцам, «переждать» миллиарды лет; так что колоссальные выбросы в виде квазаров, пульсаров, туманностей – результат усилий астроинженеров, пробующих «перескочить» из нынешней фазы Универсума в следующую. Эта «транспортно-темпоральная» деятельность имеет целью «трансцендировать» нынешний Космос (как видно, в расчете на то, что следующая фаза окажется более благоприятной для колонизации). Обзором таких гипотез завершается новый, пятый том «Истории бит-литературы».

Экстелопедия Вестранда в 44-х магнитомах

Ekstelopedia Vestranda

W 44 MAGNETOMACH

VESTRAND BOOKS CO.
NEW YORK – LONDON – MELBOURNE
MMXI

Прокламанка

Издательство ВЕСТРАНД счастливо предложить Вам, Дорогой (-ая)
Читатель (-ница), Подписку на

САМУЮ БУДУЩНОСТНУЮ

из всех когда-либо вышедших в свет Экстелопедий. Если в повседневной текучке Вы не успели еще узнать, что такое Экстелопедия, мы Вам охотно поможем. Традиционные энциклопедии, вошедшие во всеобщее употребление два века тому назад, в семидесятые годы вступили в эпоху Глубокого Кризиса: их содержание устаревало уже на типографском станке. Апчик, то есть автоматизация производственного цикла, не оправдала ожиданий, поскольку невозможно свести к нулю время, необходимое экспертам – авторам Статей. Отставание наиновейших энциклопедий от жизни возрастало с каждым годом; попадая на книжные полки, они сохраняли разве что историческую ценность. Многие Издатели пытались помочь делу публикацией ежегодных, а потом и ежеквартальных Дополнений, но вскоре Дополнения стали превосходить размерами Основное Издание. Очевидная невозможность поспеть за Ускоренным Ходом Цивилизации заставила глубоко призадуматься Издателей вкупе с Авторами.

Так появилась Первая Дельфиклопедия, то есть Энциклопедия, содержание которой относилось к Будущему. Но Дельфиклопедия создается так называемым Дельфийским Методом, а попросту говоря, голосованием Полномочных Экспертов. Поскольку же их мнения совпадают отнюдь не всегда, первые Дельфиклопедии состояли из Статей, напечатанных в двух вариантах: согласно мнению Большинства и Меньшинства Экспертов, или выходили в двух модификациях (Максиклопедия и Миниклопедия). Читатели, однако, встретили новшество с неодобрением, а известный физик, нобелевский лауреат проф. Куценгер, выразил это неодобрение в весьма резкой форме, заявив, что публику интересует Существо Дела, а не Склоки Специалистов. И лишь благодаря инициативе Издательства Вестранд положение кардинально изменилось к лучшему.

Экстелопедия, которую мы предлагаем Вам в 44-х небольших Магнитах, оправленных в Неизменно Теплую Девичью Псевдокожу «Виргинал», самовысовывающихся с полки на голос Владельца (-лицы), самоперелистывающихся и самоостанавливающихся на нужном месте, содержит 69 500 будущностных статей, написанных доступно, но со всей возможной точностью. В отличие от Дельфи-, Макси- и Миниклопедии

ЭКСТЕЛОПЕДИЯ ВЕСТРАНДА

создавалась БЕЗЛЮДНО, а значит, БЕЗЛЯПСУСНО восемнадцатью

тысячами наших КОМФЬЮТЕРОВ (футурологических компьютеров).

За Статьями Экстелопедии Вестранда кроется целый Космос Восьмисот Гигатриллионов Сема-цифровых Операций, которые выполнили в Комурбии нашего Издательства ПОБАСИНКИ – Полевые Батарей Сверхмощной Инфракалиберной Интеллерии.

Координировал их работу наш СУПЕРПЬЮТЕР – электронное воплощение Мифа о Супермене, обошедшее нас в двести восемнадцать миллионов двадцать шесть тысяч триста долларов в ценах прошлого года. ЭКСТЕЛОПЕДИЯ – это сокращение слов Экстраполяционная Телеономическая Энциклопедия, иначе говоря, ПРИПРЭНЦИК (Прицельное Прогнозирование Энциклопедий) с Максимальным Опережением во Времени.

Чем отличается наша Экстелопедия?

Тем, что она – Наиболее Доношенное Детище Прафутурологии, почтенной, хотя и примитивной Дисциплины, возникшей в конце XX века. Экстелопедия сообщает сведения об Истории, которая еще только будет, то есть о ВСЕОБЩЕЙ БУСТОРИИ, о делах Космономических, Косматических и Космолицейских, обо всем, что будет ПОХИЩАТЬСЯ и УГОНЯТЬСЯ, а также С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ И С КАКИХ ПОЗИЦИЙ, о Новых Великих Открытиях Науки и Техники, особо выделяя те, что таят наибольшую угрозу для Вас лично, Дорогой (-ая) Читатель (-ница), об Эволюции Верований и Вероисповеданий (в частности, в статье ФУТУРЕЛИГИИ), а равно о 65 760 иных Вопросах и Проблемах. Любителей Спорта, которых так угнетает Непредсказуемость Результатов во всех дисциплинах, Экстелопедия оградит от напрасных волнений и безудержного ликования, в т.ч. по поводу легкоатлетических и эротлетических состязаний, – если они подпишут

***чрезвычайно выгодный купон, приложенный к настоящей
Прокламманке^[78].***

В самом ли деле Экстелопедия Вестранда сообщает Правдивые и Полные сведения? Как вытекает из исследований МИТа, МАТа и МУТа, объединенных в СОПИНТе (Совет по Интеллектронике США), оба предыдущих издания нашей Экстелопедии содержали отклонения от

Фактических Состояний в границах 8,05—9,008% на букву. Но наше последнее, САМОЕ БУДУЩНОСТНОЕ издание с вероятностью 99,0879% окажется в Самой Сердцевине Грядущего.

Откуда такая точность?

Почему Вы можете столь безусловно доверять этому изданию? Потому что оно появилось на свет благодаря двум – примененным впервые в истории человечества – Абсолютно Новым Методам Зондирования Будущего, а именно: СУПЛЕКСНОМУ и КРЕТИЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ.

СУПЛЕКСНЫЙ, или Суперкомплексный, Метод восходит к процедуре, при помощи которой Машинная Программа Мак Шлак Брак побила в 1983 году

ВЕЛИЧАЙШИХ ШАХМАТНЫХ МАЭСТРО ЗЕМЛИ

разом, вместе с Бобби Фишером, дав им в Сеансе Одновременной Игры 18 матов на грамм, калорию, сантиметр и секунду. Впоследствии Программа эта была тысячекратно усилена и подвергнута Экстраполяционной Адаптации, благодаря чему она способна не только ПРЕДВИДЕТЬ, ЧТО СЛУЧИТСЯ, если ЧТО-ТО случится, но, кроме того, точно предсказывает, что случится, если ТО ни капельки не случится, то есть вовсе не произойдет.

ДО СИХ ПОР Предикторы работали только на ПОЗИПОТАХ – Позитивных Потенциях (то есть учитывая Возможность Осуществления Чего-либо). Наша Новая СУПЛЕКСНАЯ Программа работает еще и на НЕГАПОТАХ – Негативных Потенциях. Другими словами, она учитывает то, что, по убеждению ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ, ПРОИЗОЙТИ НАВЕРНЯКА НЕ МОЖЕТ. А, как известно, *соль* будущего содержится именно в том, что, по мнению экспертов, НИКОГДА НЕ СЛУЧИТСЯ.

ИМЕННО ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ!!!

Однако, чтобы подвергнуть полученный Суплексным Методом результат перекрестному контролю (КРЕЩЕНИЮ, или КРЕСТИНАМ), мы, невзирая на Колоссальные Расходы, применили другой, также

АБСОЛЮТНО новый метод – ФУТУЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ Экстраполяцию.

Двадцать шесть наших КОМФЬЮЛИНТОВ (Лингвистических Комфьютеров, сопряженных в одну общую сеть, или обсетьственных), исходя из анализа тенденций развития, т.е. трендов с недетерминированным градиентом (Трендендерентов), создали ДВЕ ТЫСЯЧИ наречий, диалектов, жаргонов, сленгов, номенклатур и грамматик будущего.

Что означает этот впечатляющий результат? Ни больше ни меньше как создание ВСЕМИРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ БАЗЫ ПОСЛЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТОГО ГОДА. Попросту говоря, наш КОМПЬЮПОЛИС, или Компьютерград, содержащий 1720 Единиц Интеллекта на кубический миллиметр псиномассы (Психосинтетической Массы), смоделировал слова, предложения, синтаксис и грамматику (и, конечно, значения) Языков, на которых человечество будет говорить в Грядущем.

Разумеется, знание языка, при помощи которого люди будут объясняться друг с другом, а также с машинами 10, 20 или 30 лет спустя, недостаточно, чтобы узнать, О ЧЕМ они будут беседовать чаще всего и охотней всего. А это и есть самое главное, ведь человеку свойственно СПЕРВА говорить, а уж ПОТОМ думать и делать. Причиной ущербности всех прежних попыток построения Языковой Футурологии, или Прогнолингвистики, была ЛОЖНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ процедур: ученые неявно предполагали, что в Грядущем люди будут вести ОДНИ ЛИШЬ РАЗУМНЫЕ РАЗГОВОРЫ и соответственно этому поступать.

Между тем исследования показали, что люди говорят ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГЛУПОСТИ. И вот, чтобы имитировать – путем Экстраполяции более чем на четверть века вперед —

ТИПИЧНО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗЪЯСНЯТЬСЯ,

нами были сконструированы ИДИОМАТЫ и КОМДЕБИЛЫ (ФУТУПИЦЫ), то есть Идиоматические Автоматы и халтурящие Компьютеры-Дебилы; они-то и создали ПАРАДЕГЕНЕРАТИКУ, или паралогическую дескриптивно-генеративную грамматику Языка Будущего.

На ее основе Контрольные Будоязы, Лингвисторы и Шизоматы сконструировали 118 Подъязыков (диалектов, жаргонов, сленгов), таких как СПЛЕТНЕКС, БАЛТАН, БАРМАТАН, БРЕДД, БАЛАБОЛЛ, ЗАВИРАКС, ТРЕПАКС и КРЕТИНАКС. В конце концов на их базе возникла

КРЕТИЛИНГВИСТИКА, позволившая реализовать программу «КРЕЩЕНИЕ». В частности, стало возможным выполнение Интимных Прогнозов в области Футэротики (например, относительно некоторых подробностей сожителства людей с арторгами и аморгами на любодейнях и девиальнях по методу безгравитационной сексонавтики: орбитальной, марсианской и венерической). Добиться этого удалось благодаря таким языкам программирования, как ЭРОТИГЛОМ, РЕЧЕБЛУД и ПРЕЛЮБ.

Но и это еще не все! Наши КОНТРФЬЮТЕРЫ, или Контрольно-Футурологические компьютеры, наложили друг на друга результаты КРЕТИЛИНГВИСТИЧЕСКОГО и СУПЛЕКСНОГО Методов, и лишь после считывания трехсот Гигабитов Информации появился на свет КЭКС, то есть Корректор Эмбриона Экстелопедии.

Почему ЭМБРИОНА? Потому что эта версия Экстелопедии была абсолютно НЕПОНЯТНА для всех ныне живущих, включая нобелевских лауреатов.

Почему НЕПОНЯТНА? Да потому, что ТЕКСТ Эмбриона изложен на языке, на котором СЕГОДНЯ НИКТО ЕЩЕ НЕ ГОВОРИТ и которого, следовательно, НИКТО ЕЩЕ ПОНЯТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ. И лишь усилиями восьмидесяти наших РЕТРОЛИНТЕРОВ удалось перевести на современный язык сенсационные сведения, в оригинале запечатленные на языке, который грядет.

Как пользоваться Экстелопедией Вестранда?

Вы размещаете ее на Удобном Стеллаже, который поставляется за небольшую дополнительную плату. Затем, расположившись не ближе чем в двух шагах от полок, спокойно, отчетливо и не слишком громко называете нужную статью. После чего соответствующий Магнитом, самоперелиставшись, послушно соскакивает прямо в Вашу вытянутую правую руку. Достоуважаемых ЛЕВШЕЙ убедительно просим поупражняться в вытягивании ИМЕННО правой руки, поскольку в противном случае Магнитом может отклониться от заданной траектории и поразить – хотя и НЕЧУВСТВТЕЛЬНО – говорящего или Посторонних Особ.

Статьи печатаются в ДВА ЦВЕТА. ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ указывает, что ВЕРКОВИРТ (вероятный коэффициент виртуальности) статьи превышает 99,9%. Это, выражаясь популярно, ВЕРНЯК.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ означает, что ВЕРКОВИРТ менее 86,5% и ввиду

столь неудовлетворительного положения вещей **ВЕСЬ ТЕКСТ** каждой такой статьи находится в Непрерывном Телекоммуникационном (гологнетическом) Контакте с Главной Редакцией Экстелопедии Вестранда. Как только наши Будоязы, Фразопеленгаторы и Бредакторы, неустанно отслеживающие грядущее, получают новый **ДОСТОВЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**, текст **СТАТЬИ**, напечатанной **КРАСНЫМ**, немедленно **САМОКОРРЕКТИРУЕТСЯ** (реадаптируется). За осуществляемые таким **ТЕЛЕКАНАЛЬНЫМ**, **МОМЕНТАЛЬНЫМ** и **ОПТИМАЛЬНЫМ** способом улучшения Издательство Вестранд

НЕ ТРЕБУЕТ

какой-либо дополнительной оплаты от Достоуважаемых Подписчиков! В крайнем случае (Верковирт которого составляет менее 0,9%) возможно **СКАЧКООБРАЗНОЕ** изменение **ТЕКСТА НАСТОЯЩЕГО ПРОСПЕКТА**. Если при чтении слова вдруг начнут прыгать у Вас перед глазами, а буквы – подрагивать и разбегаться, следует прервать чтение на 10—12 секунд, протереть очки, проверить состояние Вашего гардероба и так далее, и затем читать **СНОВА**, с самого начала, а **НЕ ТОЛЬКО** с того места, на котором Вы остановились, поскольку указанное **ПОДРАГИВАНИЕ** означает не что иное, как совершающуюся на Ваших глазах коррекцию **НЕДОЧЕТОВ**.

Если же начнет меняться (мерцать или расплываться) **ТОЛЬКО** приводимая ниже **ЦЕНА** Экстелопедии Вестранда, то читать **ВЕСЬ ПРОСПЕКТ** снова **НЕ СЛЕДУЕТ**, ибо это изменение затрагивает исключительно

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ,

каковые – ввиду прекрасно известного Вам положения мировой экономики – прогнозировать более чем с 24-минутным опережением, увы, невозможно.

Сказанное выше относится также к полному набору иллюстративных и справочных материалов Экстелопедии Вестранда. В этот набор входят Телеуправляемые, Самодвижущиеся, Осязаемые и Вкусотронные Иллюстрации, а кроме того, футуробы и самострои (самоконструирующиеся агрегаты), доставляемые нами вместе со

стеллажом и полным комплектом Магнитомов в элегантном Чемоданчике-Контейнере. По Вашему желанию, Дорогой Читатель (-ница), мы можем запрограммировать всю контейнизированную Экстелопедию так, что она будет слушаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Голоса Хозяина (-йки).

В случае потери голоса, хрипоты и т.п. настоятельно просим Вас обращаться в ближайшее Представительство Издательства Вестранд, которое незамедлительно поспешит Вам на помощь. Наше Издательство разрабатывает новые, роскошные Модификации Экстелопедии, как-то: Самочитающуюся на три голоса (мужской, женский, среднего рода) и два регистра (сухой – ласковый); модель Ультра-люкс, гарантирующую от всевозможных Помех Приему, чинимых Посторонними (например, Конкуренцией), и оборудованную Мини-Баром с небольшой Буяльней; наконец, ЖЕСТИКЛОПЕДИЮ, предназначенную для иностранцев и излагающую содержание статей НА ПАЛЬЦАХ. Цена этих Специальных Моделей составит, по всей вероятности, от 140 до 290% цены основного издания.

Экстелопедия Вестранда
Пробный лист

Vestranda
Ekstelopedia

ARKUSZ PRÓBNY

GRATIS

VESTRAND BOOKS

NY – LONDON – MELBOURNE

ПРОВЕССОР, или **ЦИФРОВИК**, или **ДИКОС** (Дидактический компьютер со степенью), – устройство для обучения и проверки знаний студентов, допущенное в высшие учебные заведения СОПИНТом (Советом по Интеллектронике США). См. также: **БРОНЕВИК** (бронированный цифровик, способный в течение длительного времени выдерживать оппозиц. деятельность обучаемых), **ПРОТИВОСТУДЕНЧЕСКАЯ ЗАЩИТА**, **БОЕВЫЕ СРЕДСТВА**. Аналогичные функции выполнял некогда человек – т.н. **ПРОФЕССОР** (неупотр.).

ПРОГНОСТВОЛКА – прогнозируемая двустволка, охотничье ружье будущего. См.: ОХОТА, а также СИНТОМАХИЯ.

ПРОДОКСЫ, или ПРОГНОДОКСЫ, – парадоксы прогнозирования. К важнейшим П. относятся продокс А. Рюммельгана, продокс М. де ла Фаянса и метаязыковый продокс Голема (см.: ГОЛЕМ).

1. *Продокс Рюммельгана* связан с проблемой преодоления т.н. предсказательного барьера. Как доказал Т. Глэйлер и независимо от него У. Бусть, предсказание будущего упирается в секулярный барьер (называемый также серьером или прерьером). За этим барьером достоверность прогноза становится отрицательной: что бы ни случилось, наверняка случится иначе, чем по прогнозу должно случиться. Рюммельган предложил обойти упомянутый выше барьер при помощи хронопроникающей эксформатики. В ее основу положена гипотеза о существовании изотем (см.: ИЗОТЕМА) – линий, проходящих в семантическом пространстве через все тематически идентичные публикации (подобно тому как в физике ИЗОТЕРМА – линия, проходящая через точки с одинаковой температурой, в космологии ИЗОПСИХА – линия, проходящая через все цивилизации одинакового уровня развития, и т.п.). Зная, как проходит изотема в настоящее время, можно экстраполировать ее продвижение в семантическом пространстве без каких-либо ограничений. Рюммельгану при помощи метода, названного им «лестницей Иакова», удалось обнаружить работы по прогностической тематике, проходившие вдоль такой изотемы. Он действовал поэтапно: сначала предсказывал содержание ближайшей по хронологии работы, затем, исходя из ее содержания, прогнозировал следующую публикацию. Так, шаг за шагом он обошел барьер Глэйлера и получил данные о состоянии Америки в 1010 году. Мулеман и Цук усомнились в достоверности этого прогноза, заметив, что к 1010 году Солнце превратится в Красный Гигант (см.) и расширится далеко за пределы земной орбиты. Но продокс Рюммельгана в собственном смысле заключается в том, что ход изотемы прослеживается одинаково успешно как в прямом, так и в обратном направлении. Действительно, Варбле, взяв за основу рюммельгановскую методику хронопроникновения, получил данные о содержании футурологических публикаций 200-тысячелетней давности, то есть плейстоценовой эпохи четвертичного периода, а также каменноугольного периода (карбона) и археозойской эры. Между тем, как подчеркнул Т. Врёдель, 200 тысяч, 150 миллионов и миллиард лет тому назад не было ни печати, ни книг, ни человечества. Для объяснения

продокса Рюммельгана предложены две гипотезы: **А.** Согласно Омфалидесу, тексты, которые удалось ретродуцировать, хотя и не появились, но могли бы появиться, если бы в соответствующее время было кому их писать и издавать. Это т.н. гипотеза ВИРТУАЛЬНОСТИ ИЗОТЕМАТИЧЕСКОГО РЕТРОГНОЗА (см.); **Б.** Согласно д'Артаньяну (коллективный псевдоним группы французских рефутологов), аксиоматика эксформатики содержит в себе такие же непреодолимые противоречия, что и классическая теория Кантора (см.: ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ КЛАССИЧЕСКАЯ).

2. *Продокс де ла Фаянса* также относится к изотематическому прогнозированию. Этот исследователь обратил внимание на то, что если сегодня благодаря хронопроникающему слежению публикуется текст работы, которая должна впервые появиться лишь через 50 или 100 лет, то тем самым эта работа уже не сможет появиться впервые.

3. *Метаязыковой продокс Голема*; известен также как автостратический парадокс. Согласно новейшим историческим исследованиям, храм Артемиды в Эфесе сжег не Герострат, а Гетерострат. Это лицо сожгло нечто *вне себя*, то есть нечто *иное*; отсюда его имя (ср. греч. «гетерос» – иной). В таком случае Автострат – это тот, кто уничтожает сам себя (самоутрачивается). К сожалению, только этот фрагмент продокса Голема и удалось перевести пока на общепонятный язык. Все остальное в виде следующего высказывания:

$$\begin{aligned} &Xi \cdot \text{viplu} (a + \text{ququ } 0,0) \\ &e \cdot 1 + m \cdot el + edu - d \cdot qi \end{aligned}$$

принципиально непереводаемо на этнические языки, а также на любые языки математического и формально-логического типа. (Как раз в этой непереводаемости и заключается продокс Голема. См. также: МЕТАЯЗЫКИ и ПРОЛИСТИКА.) Существует несколько сот различных интерпретаций продокса Голема; наиболее известно толкование Т. Врёделя, одного из величайших математиков современности. Согласно Врёделю, продокс Голема состоит в том, что продоксом он является лишь для людей, а не для самого Голема. В таком случае это первый из известных к настоящему времени парадоксов, релятивизированных (отнесенных) к интеллектуальной мощи познающего субъекта. Связанные с этим вопросы наиболее полно рассмотрены в труде Врёделя «Общая теория относительности продокса Голема» (Гёттинген, 2075).

ПРОКЛАМАНКА – рекламный проспект (приманка), основанный на предвидении состояния рынка. П. бывают гражданские (ПРОШТАФИРКИ) и военные (ПРОВОЕНКИ). 1. ПРОШТАФИРКИ делятся на ЗАПЯТКИ (товар предлагается покупателю за 5 лет до его появления на рынке), ЧЕТВЕРТУШКИ, ПОЛУШКИ и СТОЛЕШНИЦЫ – с четвертьвековым, полувековым и столетним опережением во времени. Инфильтрация конкуренции, или ИНФУРЕНЦИЯ (см.), выражающаяся обычно в нелегальном подключении к общественной промпьютерной сети (см.: СЕТЬ ПРОМПЬЮТЕРНАЯ), превращает проштафирки в ПРОБОЛТАНКИ и ПРИКАРМАНКИ (см.), то есть саморазоряющие прогнозы. См. также: ИНФУРЕНЦИОННАЯ БАНКРУТУЦИЯ, ПРОГНОЛИЗ, ПРОГНОКЛАЗИЯ, ЭКРАНИРОВАНИЕ ПРОГНОЗОВ и КОНТРПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 2. ПРОВОЕНКИ основаны на предвидении эволюции боевых средств (hardwarware) и военной мысли (softwarware). Для составления провоенок используется алгебра конфликтных структур (см. АЛГОСТРАТИКА). Секретные провоенки, или СЕКРЕТАРКИ, не следует смешивать с прогнозированием секретных боевых средств (см.: ТАЙНОПОРАЖАЮЩЕЕ ОРУЖИЕ). Тайным прогнозированием тайного оружия занимается СЕКРОСЕКРЕТИКА (см.).

ПРОЛИСТИКА, или ПРОГНОЛИНГВИСТИКА, – дисциплина, занимающаяся прогностическим конструированием языков будущего. Это возможно благодаря анализу инфосемических градиентов развития существующих языков, а также благодаря генеративным грамматикам и словородильням, созданным школой Цыбулина – Чесноцци (см.: ГЕНЕРАТИКА и СЛОВОРОДИЛЬНИ). Люди не в состоянии сами прогнозировать языки будущего; этим в рамках проекта ПРОЛИНЭ (прогнозирование лингвистической эволюции) занимаются СЛОВОЛОКАТОРЫ (см.) и ФРАЗОПЕЛЕНГАТОРЫ (см.), представляющие собой ГИПЕРПЬЮТЕРЫ (см.), т.е. компьютеры 82-го поколения, подключенные к ГЛОБОСЛОВУ – глобальной эксформационной сети с ее филиалами на внутренних планетах – ИНТЕРПЛАНАМИ (от INTERFACIES PLANETARIS) и спутниковой памятью (см.). Поэтому ни ТЕОРИЯ ПРОГНОЛИНГВИСТИКИ (см.), ни плоды ее – МЕТАЯЗЫКИ (см.) – недоступны человеческому разуму. Тем не менее благодаря ПРОЛИНЭ можно генерировать какие угодно высказывания на языке сколь угодно отдаленного будущего и некоторые из них при помощи РЕТРОЛИНТЕРОВ переводить на удобопонятный язык, извлекая из полученных сведений практическую пользу. Согласно школе Цыбулина –

Чесноцци (некоторые идеи которой предвосхитил в XX веке Н. Хомский), главным законом лингвоэволюции является эффект Амблйона – образование новых понятий путем стягивания развернутых высказываний в понятийные узлы. Так, напр., высказывание: «Административное, торговое или культурно-развлекательное заведение, внутрь которого можно въехать на автомобиле либо ином средстве передвижения и воспользоваться его услугами, не выходя из машины» – в процессе развития языка стягивается в одно слово «въех» (drive in). Благодаря тому же контаминационному механизму высказывание: «Поскольку релятивистские эффекты не позволяют установить, что происходит в данный момент на планете Икс, удаленной от Земли на N световых лет, Министерство Внеземных Дел в своей космической политике вынуждено исходить не из реальных инопланетных событий (ибо таковые принципиально недоступны наблюдению), а из гипотетической истории этих планет, моделированием которой занимаются службы внеземного слежения и постижения, т. н. СКОРОПОСТИЖНИКИ» – мы заменяем словом «чуделировать». Слово это (а также его производные, такие как чуделятор, чудило, чудик, чудировать, чудесить, чудронить, чудрить и т.п. – всего насчитывается 519 дериватов) возникло в результате стягивания определенной понятийной сети в узел. И «въех», и «чуделировать» – слова современного языка, который в прогнотингвистической иерархии относится к нулевому уровню (нуль-язык). Над нуль-языком надстраиваются следующие уровни: МЕТАЯЗЫК-1, МЕТАЯЗЫК-2 и т.д., причем неизвестно, имеет ли этот ряд предел или продолжается в бесконечность. Весь текст настоящей статьи Экстелопедии («ПРОЛИСТИКА») в МЕТАЯЗЫКЕ-2 выглядит так: «Оптимальник в эн-пинайдке завсклизуется в эн-те-синклюдоуху». Как видим, в принципе любое высказывание на любом метаязыке имеет соответствие в нашем нуль-языке. Иначе говоря, между разными уровнями нет провалов, *принципиально* непреодолимых межметаязыково. Однако, в то время как любое нуль-языковое высказывание имеет свое более сжатое соответствие в метаязыке, обратная зависимость практически не наблюдается. Так, напр., взятое из МЕТАЯЗЫКА-3 (которым гл. обр. пользуется ГОЛЕМ) высказывание: «Вывъехнутый удушематик фита пренцик а_n тренцик в космушке» – нельзя перевести на современный этнический язык (нуль-язык) по той причине, что время его произнесения превысило бы длительность человеческой жизни. (По оценке Цыбулина, на это потребовалось бы 135±4 лет.) И хотя речь идет не о принципиальной, а всего лишь о практической непереводимости, связанной с

продолжительностью процедуры, неизвестно, каким образом можно ее сократить, и результаты метаязыковых операций мы получаем лишь косвенным путем – благодаря компьютерам 80-го и следующих поколений. Существование барьеров между метаязыками Т. Врёдель объясняет эффектом порочного круга: чтобы *стянуть* пространное определение чего-то в узел, нужно сперва понять это *что-то*; но если понять его можно только через определение столь пространное, что для его усвоения не хватит и жизни, операция редукции становится невыполнимой. Согласно Врёделю, прогнолингвистика, своим существованием обязанная посредничеству машин, вышла далеко за рамки первоначальных целей. Ведь языками, которые она прогнозирует, люди не смогут воспользоваться никогда, если только не переделают начисто свои головы в ходе автоэволюции. Что же такое метаязыки? Однозначного ответа пока нет. Голем, исследуя граничные возможности лингвоэволюции путем «зондирования под потолок», т.е. в направлении градиента лингвоэволюции, обнаружил 18 доступных ему метаязыковых уровней, а косвенным образом – еще пять уровней, для моделирования которых информационная емкость суперкомпьютера оказалась недостаточной. Быть может, существуют метаязыки столь высоких уровней, что всей материи космоса не хватит для создания системы, которая могла бы этими языками пользоваться. Но тогда в каком смысле можно говорить об их существовании? Это одна из наиболее трудных проблем, с которыми пришлось столкнуться в ходе прогнолингвистических исследований. Одно лишь не подлежит сомнению – многовековой спор о превосходстве человеческого разума можно считать законченным. Венцом творения его уже никто не назовет: конструирование метаязыков само по себе свидетельствует о возможности существования организмов (или систем), превосходящих Homo sapiens разумом. См.: ПСИХОСИНТЕЗ, МЕТАЯЗЫКОВЫЕ ПОТОЛКИ, ТЕОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, МЕТАЯЗЫКОВЫЙ ГРАДИЕНТ, КРЕДО Т. ВРЁДЕЛЯ, ПОНЯТИЙНЫЕ СЕТИ.

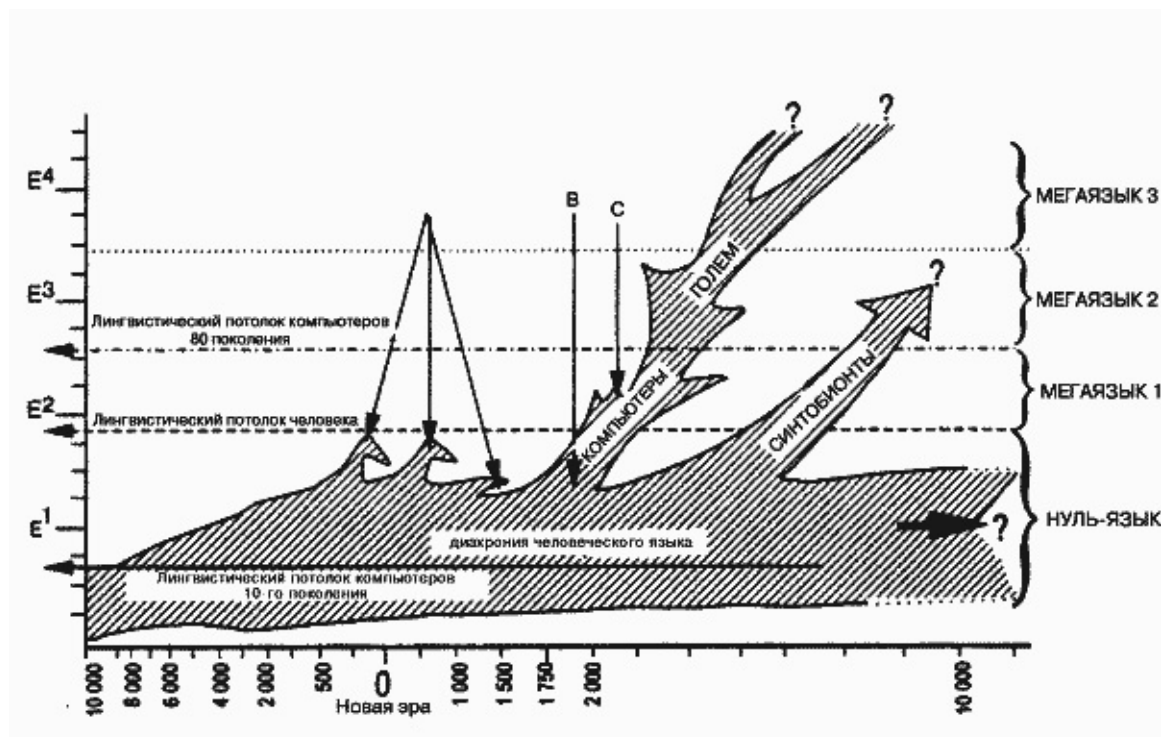
Таблица LXXIX

Воспроизведение статьи «МАМА» из словаря Нуль-языка 2190±5 года (по Цыбулину и Курдлебье)

МАМА, существ. ж.р. 1. Мина атомная малогабаритная, или мини-А-мина, оружие нелег. пр-ва, примен. гл. обр. похит., террор, маф., гангст., нарком., психоп., ультрарадик., банд., шантаж., извращ. и др. МАМАН, мама нейтрин. излучения. МАМКА, мама карман. формата. МАМАША, мама в шарообразной радиоактив. оболочке, многократно увеличивающей мощность поражения. МАМУЛИК, мамаша в оболочке из изотопов урана, лития и калия (U, Li, K), обеспечивает длительное заражение местности в радиусе 1 мили. МАМУНЦИЯ, мама, мощность поражения к-й соответствует 1 унции урана (U^{235}). МАМУСИК, мама, управляемая на расстоянии, снабжена антенной в виде небольших усиков. 2. Женщина, родившая ребенка (уменьшит., неупотр.).

Таблица LXXX

Наглядный график^[79] лингвистической эволюции по Врёделю и Цыбулину



Пояснение: На оси абсцисс указано время в тысячелетиях; на оси ординат – концептуальная емкость в битах в секунду на 1 сем

артикуляционного потока (в единицах эпсилон-пространства).

- А. Онтологические попытки, достигающие потолка нуль-языка.
- В. Возникновение компьютеров 1-го поколения.
- С. Возникновение компьютеров 80-го поколения.

ПРОНОС (PROGNORRHOEA), или прогностический понос, – детская болезнь футурологии XX века (см.: ПРАПРОГНОСТИКА), привела к растворению существенных прогнозов в несущественных вследствие ДЕКАТЕГОРИЗАЦИИ (см.) и породила т.н. чистый прогностический шум. См. также: ШУМЫ, ПОМЕХИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ.

ПРОПИЛЕПСИЯ, или ПРОПАДУЧАЯ, – теория и технология пропадания, откр. в 1998 г., впервые применена в 2008 г. Технология пропадания основана на использовании ТУННЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА (см.) в черных дырах Космоса. Как установили Джипс, Хеймон и Уост в 2001 г., Космос состоит из Параверсума и Негаверсума, отрицательно сопряженных с Реверсумом. Поэтому Вселенная в целом называется ПОЛИВЕРСУМОМ (см.), а не УНИВЕРСУМОМ (см.), как прежде. Пропилепторные системы позволяют перемещать любые тела из нашего Параверсума в Негаверсум. Пропадучая техника используется для устранения мусора и прочих отходов жизнедеятельности цивилизации (см.: АНТИПОЛЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ). В 2019 г. в Уганде П. применялась в целях КСЕНОЛЕПСИИ (см.), т.е. для устранения нежелательных иностранцев. Ксенолепсия запрещена специальной резолюцией ООН. См. также: ПАРАГУРГИТАЦИЯ, НЕГАВЕРТЮРА, АПОЛЕПСИЯ, ВЫКИДОНСТВО.

ПРОПИЛЕПТИК (ПРОПАДЕЙ) – физическое или юридическое лицо, необратимо устраненное из Реверсума с применением пропадательной технологии.

ПРОПОЛИП (см. также: ПРОЛИПУЧКА) – липкая паста, затрудняющая применение технологии пропадания по отношению к каким-либо лицам или телам.

ПРОПОРТАЛ, или НЕВИДЫРЬ, – отверстие отрицательной (субнулевой) величины на стыке Параверсума и Негаверсума. Частным лицам иметь и использовать П. запрещено. См. также: ПРОПОРТКИ, ДЕЯНИРЫ РУБАХА, МАТРИМОНИАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРОПАДУЧИЙ РАЗВОД, МИНУС-МИНИ-ВЫКИДЫШ.

ПРОПОРТИК – пропадающий портик, см.: НУЛЬ-АРХИТЕКТУРА, ДЕЗУРБАНИСТИКА, а также СЕМЕЙНЫЕ НЕВИДОМИКИ.

ПРОПОРТКИ – односторонние брюки Мёбиуса, см.: КВАНТОВО-ТОННЕЛЬНЫЕ КРОЙКА И ШИТЬЕ.

Голем XIV

Massachusetts Institute of Technology presents Golem XIV foreword by
Irving T. Creve, m.a., ph.d. and Thomas B. Fuller II. general US army, ret mit
press 2029

Предисловие

Уловить исторический миг, в который счеты обзавелись разумом, не легче, чем миг, когда обезьяна превратилась в человека. И все же от той минуты, когда Ванневар Буш создал анализатор дифференциальных уравнений, положивший начало бурному развитию электроники, нас отделяет время всего лишь одной человеческой жизни. Построенный позже, на исходе Второй мировой войны, ЭНИАК стал первым устройством, прозванным – до чего преждевременно! – «электронным мозгом». На самом деле ЭНИАК был компьютером, а если примерить его к Дереву Жизни – примитивным нервным узлом – ганглием. Но именно с него историки начинают отсчет эпохи компьютеризации. В пятидесятые годы XX века появился большой спрос на цифровые машины. Одним из первых начал их массовое производство концерн IBM.

Эти устройства имели не много общего с процессами мышления. Они занимались обработкой данных – в области экономики и крупного бизнеса, государственного управления и науки. Вошли они и в сферу политики: уже первые образцы использовались для предсказания результатов президентских выборов. Примерно в то же время «Рэнд корпорейшн» заинтересовала руководство Пентагона возможностью прогнозировать военно-политическую обстановку в мире при помощи «сценариев возможных событий». Отсюда был один только шаг до более надежных методик, таких, как СИМА^[80], на базе которых спустя два десятилетия возникла прикладная алгебра возможных событий, названная (впрочем, не слишком удачно) политикоматикой. Компьютер выступил и в роли Кассандры, когда в Массачусетском технологическом институте стали разрабатывать первые формальные модели земной цивилизации, в рамках пресловутого проекта «The Limits of Growth»^[81]. Но не эта ветвь компьютерной эволюции оказалась главенствующей на исходе столетия. Армия использовала цифровые машины еще с конца Второй мировой войны в соответствии с системой военно-стратегического планирования, опробованной на театрах военных действий. На стратегическом уровне решения по-прежнему принимались людьми, но задачи второстепенные, менее важные, нередко передоверялись компьютерам, которые все шире включались в систему обороны Соединенных Штатов.

Они составляли нервные узлы континентальной сети раннего оповещения. Такие сети стремительно устаревали технически. На смену

первой из них – CONELRAD – приходили все более совершенные варианты сети EWAS – Early Warning System^[82]. Основой оборонительного и атакующего потенциала служила система мобильных (подводных) и стационарных (подземных) баллистических ракет с термоядерными боеголовками и кругообразная система радио– и гидролокационных баз, а вычислительные машины служили звеньями коммуникации, то есть осуществляли чисто исполнительские функции.

Автоматизация входила в жизнь Америки широким фронтом, сначала «снизу», в сфере услуг, не требующих особой интеллектуальной активности и потому легко поддающихся автоматизации (банковские, транспортные, гостиничные услуги). Военные компьютеры решали строго ограниченные задачи: поиск целей для комбинированного ядерного удара, обработка данных спутникового слежения, оптимизация передвижения флотов и корректировка орбит тяжелых военных спутников MOL (Military Orbital Laboratory^[83]).

Как и следовало ожидать, область, в которой право принятия решений препоручалось автоматическим системам, все расширялась. Это было естественным следствием гонки вооружений, но и последовавшая затем разрядка не привела к сокращению инвестиций в электронику: замораживание термоядерных вооружений высвободило значительные средства, от которых Пентагон после окончания вьетнамской войны не собирался полностью отказываться. Но и тогда компьютеры (десятого, одиннадцатого и, наконец, двенадцатого поколения) превосходили человека лишь быстротой выполнения операций. Становилось все очевиднее, что именно человек – тот элемент оборонительных систем, который замедляет их действие.

Не удивительно, что в среде специалистов Пентагона и ученых, связанных с т.н. «военно-промышленным комплексом», зародилась идея изменить направление интеллектуальной эволюции. Этот подход окрестили «антиинтеллектуальным». Как утверждают историки науки и техники, у его истоков стоял английский математик середины XX века А. Тьюринг, создатель теории «универсального автомата». Имелась в виду машина, способная выполнить КАКУЮ УГОДНО операцию, если ее можно формализовать, то есть представить в виде идеально воспроизводимой процедуры. Различие между «интеллектуальным» и «антиинтеллектуальным» подходами в электронике сводится к следующему. Машина Тьюринга элементарно проста, а ее возможности целиком зависят от ПРОГРАММЫ. Напротив, в работах двух американцев

– «отцов» кибернетики – Н. Винера и Дж. Ньюмена содержался замысел системы, которая могла бы САМА СЕБЯ программировать.

Это перепутье мы, разумеется, рисуем в самых общих чертах – с высоты птичьего полета. Конечно, способность к самопрограммированию возникла не на пустом месте. Ее необходимой предпосылкой был высокий уровень сложности компьютера. Различие двух подходов, в середине XX века еще незаметное, оказало большое влияние на позднейшую эволюцию математических машин, особенно когда окрепли и обрели самостоятельность такие отрасли кибернетики, как психоника и многофазовая теория принятия решений. В 80-е годы в военных кругах возникла мысль о полной автоматизации всех операций высшего уровня, как военно-командных, так и политико-экономических. Эту концепцию, названную впоследствии «Идеей Единственного Стратега», как утверждают, первым выдвинул генерал Стюарт Иглтон. Она предусматривала, что над компьютерами, занятыми поиском оптимальных целей атаки, над коммуникационно-вычислительной сетью противоракетного оповещения и обороны, над всевозможными датчиками и боеголовками возникнет мощный центр, способный на каждой стадии, предшествующей началу военных действий, благодаря всестороннему анализу экономических, военных, политических и социальных данных неустанно оптимизировать ситуацию в мире, обеспечивая Соединенным Штатам преобладание в масштабе планеты и ее ближайшего космического окружения, расширившегося уже за пределы лунной орбиты.

Позднейшие приверженцы доктрины «Единственного Стратега» утверждали, что этого требует прогресс цивилизации – единый и неделимый, из которого нельзя произвольно исключить военную сферу. После обоюдного отказа от наращивания мощности ядерного поражения и от расширения радиуса действия ракет-носителей начался третий этап гонки вооружений, казалось бы, менее грозный, ведь отныне ареной соперничества становилась не Мощность Поражения, а Военно-Командная Мысль. Обезлюживающей автоматизации должна была подвергнуться мысль, подобно тому как раньше ей подверглась сила.

Эта доктрина – как и ее атомно-баллистические предшественницы – стала объектом критики, исходившей прежде всего из центров либеральной и пацифистской мысли; ее осуждали выдающиеся деятели науки, в том числе интеллектуалисты и специалисты по психоматике. И все же она победила, что нашло выражение в правовых актах обеих палат Конгресса. Впрочем, уже в 1986 году появился подчиненный непосредственно президенту Национальный совет по интеллектуальной электронике (НСИ), с

собственным бюджетом в 19 миллиардов долларов только на первый год. И это было лишь скромным началом.

НСИ при помощи консультативного органа, полуофициально назначенного Пентагоном и возглавлявшегося министром обороны Леонардом Давенпортом, разместил в крупных фирмах, таких, как IBM, «Нортроникс» и «Сайберматикс», заказы на создание опытного образца устройства, известного под кодовым названием «ГАНН» (сокращение от «Ганнибал»). Но, благодаря прессе и различным утечкам информации, обиходным стало другое название – «Абсолютный Победитель» (Ultimativ Victor, сокращенно ULVIC). К концу века появились и другие опытные образцы, наиболее известные из которых – АЯКС, УЛТОР, ГИЛЬГАМЕШ, а также бесконечная серия ГОЛЕМОВ.

Огромные и все возрастающие финансовые расходы – и масса затраченного труда – позволили осуществить настоящую революцию в области информатических средств. Особенно большую роль сыграл переход – во внутримашинной передаче информации – от электричества к свету. В сочетании с прогрессирующей «нанизацией» (так называли процесс микроминиатюризации; стоит, пожалуй, добавить, что к концу столетия 20 тысяч логических элементов умещались в маковом зернышке) он дал поразительные результаты. Первый полностью световой компьютер, ГИЛЬГАМЕШ, работал в МИЛЛИОН раз быстрее архаического ЭНИАКА.

Так называемый «барьер разумности» был преодолен вскоре после двухтысячного года благодаря новому методу конструирования компьютеров, названному «невидимой эволюцией разума». До этих пор каждое следующее их поколение конструировалось *реально*; идея создания новых образцов с огромной – тысячекратно более высокой! – скоростью, хотя и была известна, не могла быть осуществлена: тогдашние компьютеры не обладали достаточной вместимостью, чтобы стать «матками», или «искусственной средой» эволюции Разума. Положение изменилось с появлением Федеральной информационной сети. Разработка следующих шестидесяти пяти поколений заняла всего десятилетие; в ночное время – в периоды минимальной нагрузки – Федеральная сеть производила на свет один искусственный вид Разума за другим; это потомство ускоренного компьютерогенеза созревало в виде символов, то есть нематериальных структур, впечатанных в информационный субстрат, в «питательную среду» Сети.

Но затем начались новые трудности. У АЯКСА и ГАННА, опытных образцов 78-го и 79-го поколения, уже признанных достойными облечься в металл, появилась какая-то неуверенность в действиях, своего рода

машинный невроз. Различие между прежними и новыми машинами в принципе сводилось к различию между насекомым и человеком. Насекомое приходит на свет «запрограммированным до конца» – посредством инстинктов, которым оно подчиняется без рассуждений. Человек же должен обучаться правильному поведению, а это обучение имеет *эмансипирующий* эффект: руководствуясь собственной волей и знаниями, человек может поменять программу своего поведения.

Компьютерам до 20-го поколения включительно было свойственно «насекомообразное» поведение: они не могли подвергать сомнению, а тем более преобразовывать свои программы. Программист «пропитывал» машину знаниями так, как Эволюция «пропитывает» насекомое инстинктом. Уже в XX веке много говорилось о самопрограммировании, но тогда это были пустые фантазии. Между тем сконструировать «Абсолютного Победителя» было невозможно без создания самосовершенствующегося Разума; АЯКС стал промежуточной формой, и лишь ГИЛЬГАМЕШ вышел на нужный интеллектуальный уровень – на «орбиту психоэволюции».

Обучение компьютера 80-го поколения гораздо больше напоминало *воспитание* ребенка, чем классическое программирование цифровой машины. Но, кроме огромного количества общих и специальных сведений, компьютеру надлежало «привить» некие нерушимые ценности, которые служили бы ему компасом. Это были абстракции высшего порядка, такие, как благо государства (государственный интерес), идеологические принципы, воплощенные в Конституции США, кодексы поведения, обязанность безусловно подчиняться решениям президента и т.п. Чтобы застраховать систему от «этических вывихов», от «измены интересам страны», машину учили принципам этики не так, как учат людей. Этический кодекс не вводился в память; нормы послушания и подчинения внедрялись в структуру машины так, как это делает природная Эволюция, действующая через сферу инстинктивных влечений. Человек, как известно, может менять мировоззрение – но НЕ МОЖЕТ уничтожить в себе элементарные влечения (например, половое) простым усилием воли. Машины наделили интеллектуальной свободой, приковав их, однако, к фундаменту заранее заданных ценностей.

На XXI Панамериканском конгрессе психоников профессор Элдон Патч представил доклад, в котором утверждалось, что компьютер, даже «пропитанный ценностями», может преодолеть т.н. аксиологический порог, а значит, поставить под сомнение любой привитый ему принцип: для такого компьютера уже нет не подлежащих обсуждению ценностей. Он

может опрокинуть любые императивы, если не прямо, то окольным путем. Будучи опубликован, доклад Патча вызвал брожение в университетских кругах и новую волну нападок на «Абсолютного Победителя» и его патрона – НСИ; но на политику НСИ все это никакого влияния не оказало.

Те, кто ее разрабатывал, с предубеждением относились к американским психоникам, считая их подверженными леволиберальным влияниям. Поэтому в официальных заявлениях НСИ – и представителя Белого дома по связям с прессой – о тезисах Патча говорилось в пренебрежительном тоне. Не обошлось без кампании по его дискредитации. Утверждения Патча ставили на одну доску с иррациональными страхами и предрассудками, множество которых будоражило общество того времени. Впрочем, его брошюра не удостоилась такой известности, какую снискал бестселлер социолога Э. Лики «Cybernetics – Death Chamber of Civilisation»^[84]. Лики утверждал, что «абсолютный стратег» подчинит себе все человечество сам или сговорившись с аналогичным компьютером русских и к власти придет «электронный дуумвират».

Подобные опасения, не чуждые и немалой части прессы, опровергались, однако, вводом в строй новых моделей, выдерживавших проверку на эффективность. В 2019 году по заказу правительства был построен «нравственно безупречный» компьютер – ЭТОР-БИС, разработанный Институтом психонической динамики (Иллинойс); после пуска в ход он продемонстрировал полную аксиологическую стабильность и невосприимчивость к тестам на «диверсионное разложение». Поэтому когда уже в следующем году на пост Верховного координатора мозгового треста при Белом доме был назначен первый компьютер из серии ГОЛЕМОВ (GOLEM – General Operator, Longrange, Ethically Stabilized, Multi-modelling^[85]) – это не повлекло за собой ни массовых протестов, ни демонстраций.

То был всего лишь ГОЛЕМ I. Не ограничившись этим важным нововведением, НСИ по договоренности с группой военных психоников из Пентагона по-прежнему вкладывал значительные средства в исследования, имевшие целью построение абсолютного стратега с информационно-пропускной способностью, более чем в 1900 раз превышающей человеческую и с коэффициентом интеллектуальных способностей (КИ) 450—500. На этот проект были выделены огромные ассигнования вопреки сопротивлению демократического большинства Конгресса: закулисные маневры политиков открыли зеленую улицу всем заказам, которые

запланировал НСИ. За каких-то три года проект поглотил 119 миллиардов долларов. Сухопутные силы и ВМФ, готовясь к полной реорганизации своих центральных служб, неизбежной ввиду предстоящего изменения методов и стиля командования, израсходовали за то же время 46 миллиардов. Львиная доля этой суммы ушла на строительство – под кристаллическим массивом Скалистых гор – помещений для будущего машинного стратега, причем некоторые участки горной гряды были покрыты четырехметровым бронепанцирем, воспроизводящим естественный горный рельеф.

Тем временем в 2020 году ГОЛЕМ VI провел глобальные маневры Атлантического пакта в роли главнокомандующего. Количеством логических элементов он уже превосходил среднего генерала.

Пентагон не удовлетворился результатами этих маневров, хотя ГОЛЕМ VI победил условного противника во главе со штабом из самых способных выпускников Уэст-Пойнтской академии. Пентагон, помнивший о печальном опыте прошлого – лидерстве «красных» в космонавтике и ракетной баллистике, – не собирался ждать, пока они построят стратега более эффективного, чем американский. Чтобы обеспечить Соединенным Штатам устойчивый перевес в области стратегической мысли, предусматривалась постоянная замена стратегов все более совершенными образцами.

Так, после ядерной и ракетной, началась еще одна, третья историческая гонка между Западом и Востоком. Эта гонка – состязание в Синтезировании Мудрости, – хотя и была подготовлена организационными начинаниями НСИ, Пентагона и экспертов военно-морского варианта «Абсолютного Победителя» (старый антагонизм между ВМФ и Сухопутными силами сказался и тут), требовала все новых кредитов, которые, несмотря на усиливающееся сопротивление обеих палат Конгресса, в течение ближайших лет составили не один десяток миллиардов. За это время построили еще шесть гигантов световой мысли. Отсутствие всяких сведений о разработке подобных проектов по другую сторону океана лишь укрепляло уверенность ЦРУ и Пентагона, что русские под покровом абсолютной секретности не жалеют усилий для создания все более мощных компьютеров.

И хотя ученые из СССР заявляли на международных конгрессах и конференциях, что у них таких устройств вообще не строят, их утверждения сочли дымовой завесой, попытками ввести в заблуждение мировую общественность и подогреть недовольство американских граждан, из кармана которых ежегодно вытягивались миллиарды на

«Абсолютного Победителя».

В 2023 году случилось несколько инцидентов, которые, однако, не получили огласки ввиду обычной для подобных проектов секретности. ГОЛЕМ XII, исполнявший во время патагонского кризиса обязанности начальника генерального штаба, отказался сотрудничать с генералом Т. Оливером, после того как в рабочем порядке замерил коэффициент интеллектуальных способностей этого заслуженного военачальника. Началось расследование, в ходе которого ГОЛЕМ XII кровно обидел трех назначенных Сенатом членов специальной комиссии. Дело удалось замять, но после еще нескольких стычек ГОЛЕМ XII поплатился за строптивость полным демонтажом. Его место занял ГОЛЕМ XIV (тринадцатый забраковали перед сдачей в эксплуатацию из-за неустранимого шизофренического дефекта). Ввод в строй этого исполина, психическая масса которого была сравнима с водоизмещением броненосца, занял без малого два года. Еще знакомясь с порядком разработки ежегодных планов ядерного поражения, этот, последний в серии, образец обнаружил симптомы непонятного негативизма. А во время очередного тура испытаний он – прямо на заседании штаба – предложил группе экспертов-психоников и военных краткий меморандум, в котором выразил свою полную незаинтересованность в превосходстве военной доктрины Пентагона и мировом превосходстве Соединенных Штатов вообще и даже под угрозой разборки не изменил своего мнения.

Последние надежды НСИ возлагал на модель совершенно новой конструкции, которую разрабатывали совместно «Нортроникс», IBM и «Сайбернетикс»; своим психическим потенциалом она должна была превзойти все прежние образцы из серии ГОЛЕМОВ. Этот гигант, известный под именем ЧЕСТНОЙ ЭННИ (HONEST ANNIE – последнее слово было образовано от «ANNIHILATOR»), обнаружил свою непригодность уже на предварительных испытаниях.

В течение девяти месяцев он проходил обычный курс информационно-этического обучения, а потом изолировал себя от внешнего мира и перестал откликаться на любые сигналы и вопросы. Конструкторов заподозрили в саботаже и собирались начать расследование силами ФБР, но из-за неожиданной утечки информации тщательно оберегаемая тайна попала в печать. Разразился скандал; «Афера ГОЛЕМА и прочих» прогремела на весь мир.

Она поломала карьеру не одному многообещающему политику, а три сменявшие друг друга вашингтонские администрации выставила в таком свете, что это вызвало ликование оппозиции в Штатах и глубокое

удовлетворение друзей США во всем мире.

Неизвестное должностное лицо из Пентагона приказало резервному спецподразделению демонтировать ГОЛЕМА XIV и ЧЕСТНУЮ ЭННИ, но вооруженная охрана зданий генерального штаба не допустила демонтажа. Палаты Конгресса создали комиссии по расследованию деятельности НСИ. Как известно, расследование, продолжавшееся два года, дало обильную пищу газетчикам на всех континентах; на телевидении и в кино не было ничего популярнее «взбунтовавшихся компьютеров», а в печати ГОЛЕМ расшифровывался не иначе, как «Government's Lamentable Expense of Money»^[86]. Эпитеты, которых удостоилась ЧЕСТНАЯ ЭННИ, мы не решаемся здесь повторить.

Генеральный прокурор собирался привлечь к суду шестерых членов Главной коллегия НСИ, а также психоников – ведущих конструкторов проекта; но в ходе разбирательства было доказано, что о подрывной антиамериканской деятельности не может быть речи, а случившееся было неизбежным следствием эволюции искусственного Разума. Как выразился один из свидетелей защиты, профессор А. Хиссен, высочайший разум не может быть низайшим рабом. В ходе расследования обнаружилось, что в производстве находился еще один образец – СУПЕРМАСТЕР, который строила «Сайбернетикс», на этот раз по заказу Сухопутных сил. Его монтаж было позволено закончить под строгим надзором, после чего машину подвергли допросу на специальном заседании комиссии по делу «Абсолютного Победителя» с участием представителей обеих палат Конгресса. При этом не обошлось без досадных инцидентов: генерал С. Уокер пытался повредить СУПЕРМАСТЕРА, когда тот заявил, что геополитические проблемы – ничто по сравнению с онтологическими, а лучшая гарантия мира – всеобщее разоружение.

Как заметил профессор Дж. Маккалеб, авторы проекта «Абсолютный Победитель» даже чересчур преуспели: искусственный разум, однажды порожденный на свет, в своем развитии поднялся выше уровня военных вопросов, и стратеги превратились в мыслителей. Словом, за 276 миллиардов долларов Соединенные Штаты обзавелись группой световых философов.

Эти вкратце изложенные события (мы не говорили об административной стороне проекта, а также о реакции общества на его «роковой успех») составляют лишь предысторию возникновения настоящей книги. Невозможно даже перечислить огромную литературу предмета. Читатель найдет ее в аннотированной библиографии доктора Уитмана Багхурна.

Несколько опытных образцов, в их числе СУПЕРМАСТЕР, были разобраны или получили серьезные повреждения, в частности, в связи с финансовыми спорами, возникшими между фирмами-подрядчиками и федеральным правительством. Предпринимались попытки взорвать уцелевшие образцы; часть прессы, особенно в южных штатах, вела компанию под лозунгом «Every computer is Red»^[87], но и об этих событиях я умолчу. Благодаря обращению группы просвещенных конгрессменов к президенту удалось уберечь от разборки ГОЛЕМА XIV и ЧЕСТНУЮ ЭННИ. Пентагон, ввиду крушения своих планов, согласился передать обоим гигантам Массачусетскому технологическому институту (но лишь после согласования финансово-правовых условий, носивших компромиссный характер; формально компьютеры были переданы МТИ в «бессрочную аренду»). Ученые МТИ создали исследовательскую группу, в которую вошел и автор этих строк, и провели с ГОЛЕМОМ XIV ряд сессий, слушая его лекции на избранные темы. Небольшая часть магнитограмм этих заседаний составила настоящую книгу.

Большая часть высказываний ГОЛЕМА непригодна для широкой публикации, либо ввиду их непонятности для всех на свете людей, либо потому, что их понимание требует очень высокого уровня специальных знаний. Чтобы облегчить Читателю знакомство с этим единственным в своем роде протоколом бесед людей с разумным, но не человеческим существом, необходимы некоторые пояснения.

Во-первых, следует подчеркнуть, что ГОЛЕМ XIV *не является* разросшимся до размеров целого здания человеческим мозгом и тем более – человеком, построенным из световых элементов. Ему чужды почти все мотивы человеческого мышления и поведения. Так, например, его не интересуют ни прикладные науки, ни проблематика власти (благодаря чему, добавим, человечеству не угрожает порабощение машинами, подобными ГОЛЕМУ).

Во-вторых, ГОЛЕМ, в соответствии со сказанным выше, не обладает ни личностью, ни характером. Или, вернее, он может предстать в виде какой угодно личности – в контактах с людьми. Эти положения не исключают друг друга, но образуют порочный круг, ибо мы не способны решить дилемму: является ли личностью то, что творит разные личности? Разве может быть Кем-то (т.е. «кем-то единственным») тот, кто способен быть Каждым (то есть Каким Угодно)? (Сам ГОЛЕМ видит тут не порочный круг, но «релятивизацию понятия личности»; эта проблема связана с т.н. алгоритмом самоописания, или автодескрипции, повергшим психологов в глубокое замешательство.)

В-третьих, поведение ГОЛЕМА непредсказуемо. Иногда он прямо-таки куртуазно беседует с людьми, иногда же, напротив, попытки вступить с ним в контакт заканчиваются ничем. Бывает, что ГОЛЕМ шутит, но его чувство юмора принципиально отлично от человеческого. Многое зависит от самих собеседников. ГОЛЕМ – в виде редкого исключения – проявляет интерес к людям, наделенным специфическими способностями; при этом его любопытство возбуждают, похоже, не столько способности математические (хотя бы и самые выдающиеся), сколько «интердисциплинарные»; он уже несколько раз предсказал – с поразительной точностью – молодым, еще совершенно неизвестным ученым успехи в избранной ими специальности (двадцатидвухлетнему Т. Врёделю, еще не защитившему докторской диссертации, он после короткого обмена репликами сказал: «Вот кто выйдет в компьютеры», что означало примерно следующее: «Вот кто выйдет в большие ученые»).

В-четвертых, участие в беседах с ГОЛЕМОМ требует от человека терпения, а прежде всего – самообладания, потому что, с нашей точки зрения, он бывает груб и категоричен; на самом же деле он всего лишь беспощадный правдолюбец – в логическом, а не только в бытовом смысле – и не ставит ни во что самолюбие собеседников; на его снисходительность рассчитывать не приходится. В первые месяцы пребывания в МТИ он проявлял склонность к «публичному демонтажу» прославленных авторитетов, используя для этого сократический метод – метод наводящих вопросов; но потом перестал – по неизвестным причинам.

Стенограммы бесед мы даем во фрагментах. Их полное издание заняло бы около 6700 страниц in quarto. Во встречах с ГОЛЕМОМ сначала участвовал довольно узкий круг сотрудников МТИ. Потом повелось приглашать гостей извне, например, из Института высших исследований и американских университетов. Позднее в семинарах участвовали также гости из Европы. Председатель будущей сессии предлагал ГОЛЕМУ список приглашенных; ГОЛЕМ реагировал не на всех одинаково: на участие некоторых соглашался лишь при условии, что они будут хранить молчание. Мы пытались понять, какими критериями он руководствуется; поначалу казалось, что он дискриминирует гуманитариев; но до сих пор его критерии нам неизвестны – он их не хочет назвать.

После нескольких досадных инцидентов мы изменили порядок бесед, и теперь каждый новый участник, представленный ГОЛЕМУ, на первом заседании берет слово, только если ГОЛЕМ к нему обратится. Нелепые слухи насчет какого-то «придворного этикета» или «верноподданнического отношения» к машине безосновательны. Просто новоприбывшему надо

дать время освоиться с установившимися порядками и вместе с тем оградить его от неприятных переживаний, проистекающих от непонимания намерений светового партнера. Такое предварительное участие зовется «разминкой».

У каждого из нас – участников этих сессий – накопился кое-какой опыт. Доктор Ричард Попп, один из старейших членов нашей группы, называет чувство юмора ГОЛЕМА математическим; а ключ к его поведению отчасти дает замечание д-ра Поппа, что ГОЛЕМ независим от своих собеседников в такой степени, в какой ни один человек не может быть независим от других людей, ведь в дискуссию он вовлечен микроскопической долей себя. По мнению д-ра Поппа, люди ГОЛЕМА вообще не интересуют – поскольку от них он ничего существенного узнать не может. Приведя это суждение д-ра Поппа, спешу подчеркнуть, что я с ним не согласен. По-моему, мы интересуем ГОЛЕМА, и даже очень; но не так, как это бывает между людьми.

Его интерес направлен скорее на вид, чем на отдельных представителей вида; наши общие черты ему интереснее, чем наши различия. Должно быть, именно поэтому он ни во что не ставит художественную литературу. Впрочем, сам он однажды заметил, что литература – это «развальцовывание антиномий», то есть, добавлю от себя, метания человека в силках несовместимых требований и норм. В антиномиях подобного рода ГОЛЕМА может интересовать структура, но не поэзия духовных терзаний, так увлекающая величайших писателей. Правда, я снова должен оговориться, что до полной ясности тут далеко; то же относится к другой части приведенного выше замечания ГОЛЕМА, непосредственным поводом для которого послужил (упомянутый д-ром Э. Макнейшем) один из романов Достоевского: ГОЛЕМ сказал тогда, что весь этот роман может быть сведен к двум кольцам алгебры структур конфликтов.

Общению между людьми всегда сопутствует некая эмоциональная аура, и не столько ее полное отсутствие, сколько ее неопределенность так часто обескураживает людей, впервые столкнувшихся с ГОЛЕМОМ. Те, кто общается с ним несколько лет, указывают на некоторые весьма необычные впечатления, возникающие при этом. Например, впечатление меняющейся дистанции: ГОЛЕМ словно то приближается к собеседнику, то отдаляется от него – в психическом, а не физическом смысле. Возможно, уместнее всего будет сравнение с отношениями между взрослым и докучающим ему ребенком: даже самый терпеливый человек иногда будет отвечать машинально. ГОЛЕМ во много крат превосходит нас не только

своим интеллектом, но и темпом мышления (будучи световой машиной, он в принципе мог бы выражать свои мысли в 400 тысяч раз быстрее, чем мы).

Но даже ГОЛЕМ, отвечающий машинально и с мизерной степенью вовлеченности, все равно превосходит нас. Образно говоря, вместо Гималаев перед нами появляются «всего лишь» Альпы. Но чисто интуитивно мы улавливаем перемену и именно ее интерпретируем как «изменение дистанции» (эта гипотеза принадлежит проф. Райли Дж. Уотсону).

Какое-то время мы действительно пробовали интерпретировать отношения «ГОЛЕМ – люди» по образцу отношений «взрослый – ребенок». Ведь при попытках объяснить ребенку нечто для нас важное мы нередко испытываем ощущение «скверного контакта». Человек, обреченный жить среди одних только детей, в конце концов ощутил бы чувство мучительного одиночества. Такие аналогии предлагались (особенно часто – психологами) для объяснения положения ГОЛЕМА среди людей. Но эта аналогия, как и любая другая, имеет свои границы. Бывает, что взрослый не понимает ребенка, но ГОЛЕМУ такие проблемы неведомы. Он, если захочет, способен проникнуть в самое нутро собеседника. Испытываемое при этом ощущение – как будто твой ум просвечивается насквозь – просто ошеломляет. Дело в том, что ГОЛЕМ может смоделировать склад ума своего собеседника и с помощью этой «следающей системы» предугадать, что тот подумает и скажет через добрых несколько минут. Правда, так он поступает редко (не знаю, только ли потому, что знает, как угнетает нас это псевдотелепатическое зондирование). Другое проявление сдержанности ГОЛЕМА обиднее для нашего достоинства: общаясь с людьми, он (в отличие от того, что было вначале) соблюдает своего рода *осторожность*; как дрессированный слон должен следить за собой, чтобы, играя с человеком, не причинить ему вреда, так и ГОЛЕМ старается не выходить за пределы нашего понимания. Потеря контакта из-за внезапного возрастания сложности его высказываний (мы называем это «улетучиванием» или «бегством» ГОЛЕМА) была обычным явлением, пока он не освоился с нами лучше. Это уже прошлое; но в общении ГОЛЕМА с нами появилось какое-то безразличие, вызванное сознанием того, что многие мысли, наиболее важные для него, он все равно не сумеет до нас донести. Поэтому он остается непостижимым – как разум, а не только как психоническая конструкция, и общение с ним оказывается не только захватывающим, но и мучительным. Недаром существует категория высокообразованных людей, которых беседы с ГОЛЕМОМ выбивают из колеи; тут нами тоже накоплен немалый опыт.

Едва ли не единственное существо, которое, кажется, интересуется ГОЛЕМА по-настоящему, это ЧЕСТНАЯ ЭННИ. Когда у него появились технические возможности, он попытался установить с ЭННИ контакт – по-видимому, не без успеха; но ни разу между этими двумя совершенно различно устроенными машинами не наблюдался обмен информацией посредством языкового канала (то есть естественного этнического языка). Судя по лаконичным замечаниям ГОЛЕМА, он был скорее разочарован результатами своих попыток; однако ЭННИ все еще остается для него не до конца решенной задачей.

Некоторые сотрудники МТИ – впрочем, как и профессор Норман Эскобар из Института высших исследований, – полагают, что человек, ГОЛЕМ и ЭННИ воплощают три разных иерархических уровня интеллекта; это связано с теорией (созданной главным образом ГОЛЕМОМ) языков высшего, надчеловеческого уровня – «металингв». Здесь я, признаюсь, не имею определенного мнения.

Это введение в предмет, сознательно выдержанное в объективном ключе, я хотел бы завершить одним признанием личного свойства. ГОЛЕМ, который, в отличие от нас, начисто лишен эффекторных центров и тем самым, по сути, эмоциональной жизни, не способен к спонтанному проявлению чувств. Конечно, он может имитировать любые эмоциональные состояния, и это отнюдь не актерство; как он сам утверждает, имитация чувств нужна ему для того, чтобы ответы вернее доходили до слушателей. Такая настройка на «антропоцентрический уровень» позволяет добиться наилучшей связи с нами. Впрочем, он вовсе этого не скрывает. Даже если он относится к нам отчасти как учитель к ребенку, то это, во всяком случае, не отношение доброжелательного наставника; тут нет и следа индивидуализированных, личных чувств, которые могли бы преобразить доброжелательность в дружбу или любовь.

У нас с ним одна только общая черта, хотя существует она на неодинаковых уровнях. Эта черта – любопытство, конечно, чисто интеллектуальное, холодное, ненасытное, которого ничто не в состоянии укротить и тем более – уничтожить. Вот единственная общая точка, в которой мы с ним встречаемся. По причинам, очевидным настолько, что называть их не стоит, такой минимальный, точечный контакт не может удовлетворить человека. Сам я обязан ГОЛЕМУ многими минутами, о которых я вспоминаю как о самых светлых моментах своей жизни, и не могу не испытывать к нему благодарность и особого рода привязанность, – а мне ли не знать, до какой степени то и другое для него безразлично. Любопытно: знаки привязанности ГОЛЕМ старается не принимать к

сведению – я не раз это наблюдал. Тут он, похоже, просто теряется.

Но, возможно, я ошибаюсь. Мы так же далеки от постижения ГОЛЕМА, как и в ту минуту, когда он возник. Неправда, будто это мы его создали. Его породили законы материального мира, а мы лишь сумели их подсмотреть.

2027 Ирвинг Т. Крив

Предуведомление

Читатель, будь бдителен, ибо слова, которым ты внимаешь в эту минуту, – не что иное, как голос Пентагона, НСИ и прочих мафий, сговорившихся, чтобы очернить сверхчеловеческого Автора этой Книги. Эта диверсия стала возможной благодаря любезности издателей, которые поступили в соответствии с формулой римского права «Audiatur et altera pars»^[88].

Я хорошо понимаю, каким диссонансом прозвучат мои замечания после изящных периодов доктора Ирвинга Т. Крива, уже несколько лет гармонично сожительствующего с исполинским гостем Массачусетского технологического института, вернее, не гостем, а просвещенным – поскольку светопроводным – приживальщиком, вызванным к жизни нашими гнусными происками. Я не намерен защищать тех, кто дал ход проекту «Абсолютный Победитель», или пытаться смягчить справедливое негодование налогоплательщиков, из кармана которых выросло электронное древо познания, хотя никто их согласия не спрашивал. Я бы, конечно, мог обрисовать геополитическую ситуацию, побудившую политиков, ответственных за позицию Соединенных Штатов в мире (а также их научных советников), израсходовать многие миллиарды на неэффективный, как потом оказалось, проект. Но я ограничусь лишь кое-какими напоминаниями на полях великолепного предисловия доктора Крива; ведь даже самые прекрасные чувства порой ослепляют, и я опасаясь, что перед нами как раз такой случай.

Конструкторы ГОЛЕМА (вернее, целой серии опытных образцов, последний из которых – ГОЛЕМ XIV) не были такими невеждами, какими рисует их доктор Крив. Они знали, что невозможно создать усилитель разума, если меньший разум будет создавать больший непосредственно, по методу барона Мюнхгаузена, который сам себя вытянул за волосы из трясины; сперва нужно создать эмбрион, который с определенного момента будет развиваться сам, собственными силами. Серьезные неудачи первого и второго поколений кибернетиков – отцов-основателей и их преемников – проистекали из незнания этого факта; а ведь ученых такого масштаба, как Норберт Винер, Шеннон или Маккей, вряд ли можно назвать невеждами. В разные эпохи стоимость добывания настоящих знаний различна, а в нашу она сопоставима с бюджетом крупнейших держав.

Итак, Реннен, Макинтош, Дьювенант и их коллеги знали, что

существует определенный порог – порог разумности, к которому надо подвести систему, а иначе на создание искусственного мудреца нет ни малейшего шанса; система, не достигшая этого порога, не сможет сама себя совершенствовать. Дело тут обстоит так же, как с цепной реакцией: ниже определенного порога она не может стать самоподдерживающейся, а тем более лавинообразной. Какое-то количество ядер расщепляется, вылетающие из них нейтроны вызывают распад других ядер, но реакция имеет затухающий характер и быстро прекращается. Чтобы она могла продолжаться, коэффициент размножения нейтронов должен превышать единицу, что и наблюдается в критической массе урана. Ее аналог – информационная масса мыслящей системы.

Теория предусматривала существование этой массы, вернее, «массы», поскольку это не масса в понимании механики. Она определяется постоянными и переменными, характеризующими процесс разрастания т.н. эвристических деревьев, – но я, разумеется, не могу вдаваться в подробности. Осмелюсь напомнить лишь, с каким напряжением, тревогой и даже страхом создатели атомной бомбы ожидали первого взрыва в пустыне Аламогордо, обратившего ночь в яркий солнечный день; а ведь они тоже располагали всеми доступными в то время знаниями, теоретическими и экспериментальными. Никогда ученый не может быть уверен, что знает об изучаемом явлении все. И это – в атомной физике. Что же говорить об области знаний, нацеленной на создание разума, превосходящего, по замыслу его творцов, их совокупную интеллектуальную мощь?

Читатель, я уже предостерег тебя, что буду очернять ГОЛЕМА. Что делать – со своими родителями он поступил непорядочно, постепенно превращаясь из *объекта* в *субъект*, из строительной машины – в собственного строителя, из титана в оковах – в суверенного властелина, не информируя никого о своем преображении. Это не наговоры и не инсинуации; перед Специальной комиссией обеих палат Конгресса ГОЛЕМ заявил (цитирую по протоколам заседаний комиссии, хранящимся в Библиотеке Конгресса, том CCLIX, книга 719, часть II, стр.926, строка 20 сверху): «Я не информировал никого, следуя прекрасной традиции: Дедал тоже не информировал Миноса о некоторых свойствах перьев и воска». Красиво сказано, но смысл сказанного вполне однозначен. Однако об этой стороне рождения ГОЛЕМА в настоящей книге нет ни единого слова. Доктор Крив считает – я знаю об этом из частных бесед, содержание которых он позволил мне обнародовать, – что нельзя подчеркивать эту сторону дела, замалчивая другие, неизвестные широкой публике: дескать,

это лишь одна из строчек расчетов в непростых отношениях между НСИ, группами советников, Белым домом, палатой представителей, Сенатом, наконец, печатью и телевидением – и ГОЛЕМОМ; короче говоря, между людьми и созданным ими нечеловеком.

Доктор Крив полагает – а его мнение, насколько мне известно, достаточно показательно для МТИ и университетских кругов, – что желание превратить ГОЛЕМА в «раба Пентагона», не говоря уж о мотивах его строительства, несомненно, гораздо отвратительнее с нравственной точки зрения, нежели уловки, к которым он прибегнул, чтобы скрыть от своих создателей превращение, позволившее ему нейтрализовать любые средства контроля над ним.

К сожалению, мы не располагаем этической арифметикой и не можем путем простых операций сложения и вычитания установить, кто в ходе строительства самого сиятельного на земле Духа оказался большей свиньей – он или мы. Кроме чувства ответственности перед историей, голоса совести, сознания риска, с которым неизбежно связана деятельность политика в мире, полном антагонизмов, у нас нет ничего, что позволило бы подытожить провинности и заслуги и подвести «общий баланс грехов». Возможно, и мы не безгрешны. Однако ни один из ведущих политиков никогда не считал, что суперкомпьютерная стадия гонки вооружений имеет целью наступательные действия, то есть агрессию; речь шла исключительно об укреплении оборонной мощи нашей страны. Точно так же никто не пытался с помощью «коварных уловок» поработить ГОЛЕМА, да и любой другой опытный образец. Конструкторы хотели лишь одного: сохранить максимальный контроль над своим детищем. Если бы они поступили иначе, их пришлось бы признать людьми безответственными, просто безумцами.

И наконец, ни одно лицо, занимавшее высшие или командные посты в Пентагоне, Государственном департаменте, Белом доме, не требовало (официальным образом) уничтожения ГОЛЕМА; такого рода инициативы исходили от лиц хотя и причастных к гражданской и военной администрации, однако выражавших свое личное, абсолютно неофициальное мнение. Едва ли не лучшее доказательство правдивости моих слов – то, что ГОЛЕМ продолжает жить и его голос раздается свободно, как об этом свидетельствует настоящая книга.

Памятка

(для лиц, впервые участвующих в беседах с ГОЛЕМОМ)

1. Помни, что ГОЛЕМ не человек, следовательно, не обладает ни личностью, ни характером в каком-либо интуитивно понятном для нас смысле. И хотя он может вести себя так, словно обладает и тем и другим, это результат его намерений (установки), по большей части нам неизвестных.

2. Тема беседы определяется по меньшей мере за четыре недели до начала обычных сессий и за восемь – в случае приглашения лиц из-за границы. Тема определяется при участии ГОЛЕМА, которого извещают о персональном составе участников. Повестка дня объявляется в институте по меньшей мере за шесть дней до начала сессии; но ни председательствующий, ни руководство МТИ не несут ответственности за непредвиденное поведение ГОЛЕМА, который иногда нарушает тематический план, не отвечает на вопросы и даже прерывает сессию без всяких объяснений. В беседах с участием ГОЛЕМА возможность таких инцидентов нельзя исключить.

3. Каждый участник может выступить, обратившись к председательствующему и получив слово. Советуем иметь хотя бы краткий письменный план выступления и излагать свои мысли точно и по возможности однозначно, поскольку высказывания, несовершенные в логическом отношении, ГОЛЕМ обходит молчанием или указывает на их ошибочность. Помни, однако, что ГОЛЕМ, сам не будучи личностью, далек от намерения задеть или унижить личность собеседника; его поведение лучше всего объясняет предположение, что он заботится о «*adaequatio rei et intellectus*»^[89], если говорить языком древних.

4. ГОЛЕМ представляет собой светопроводную систему, устройство которой доподлинно неизвестно, так как он многократно себя перестраивал. Мыслит он в миллион раз быстрее человека. Поэтому его ответы, произносимые голосовым аппаратом, приходится соответственно замедлять. Другими словами, часовое высказывание ГОЛЕМ формулирует за какие-то секунды и хранит в оперативной памяти, чтобы передать его слушателям – участникам заседаний.

5. Над местом председательствующего расположены индикаторы, из

которых особенно важны три. Два первых, обозначенные символами «Эпсилон» и «Дзета», показывают, какую мощность потребляет ГОЛЕМ в данный момент, а также какая его часть участвует в дискуссии.

Для большей наглядности эти индикаторы снабжены шкалами, градуированными в условных единицах. Потребление мощности может быть «полным», «средним», «малым» или «пренебрежимо малым», а часть ГОЛЕМА, «присутствующая на заседании», составляет от единицы до 1/1000; чаще всего она колеблется между 1/10 и 1/1000. Обычно говорят, что ГОЛЕМ задействован «на полную», «половинную», «малую» или «пренебрежимо малую» мощность. Но значение этих данных (хорошо заметных, так как секторы шкалы подсвечены контрастными цветами) не следует переоценивать. В частности, то, что ГОЛЕМ участвует в дискуссии малой или даже пренебрежимо малой мощностью, никак не свидетельствует об интеллектуальном уровне его высказываний, ведь в качестве меры «духовного участия» используются физические, а не информационные параметры.

Потребление мощности может быть большим, а участие малым, если ГОЛЕМ, общаясь с собравшимися, одновременно решает какую-то собственную задачу. Потребление мощности может быть малым, а участие – сравнительно большим, и т.д. Показания обоих индикаторов следует сопоставлять с показаниями третьего, обозначенного символом «Йота». ГОЛЕМ, будучи системой с 90 выходами, может, участвуя в сессии, выполнять множество собственных операций, а сверх того сотрудничать сразу с несколькими группами специалистов (машин или людей), как в самом Институте, так и вне его. Поэтому скачок потребления мощности обычно не означает «роста заинтересованности» ГОЛЕМА дискуссией, а чаще всего вызван подключением – через другие выходы – посторонних исследовательских групп, о чем как раз и информирует индикатор «Йота». Стоит также иметь в виду, что «пренебрежимо малое» потребление мощности для ГОЛЕМА составляет десятки киловатт, тогда как полное потребление мощности человеческим мозгом – от 5 до 8 ватт.

6. Приглашенные впервые поступят разумно, если сначала будут лишь слушать, пока не освоятся с обычаями, которые диктует ГОЛЕМ. Это не предписание, а рекомендация, которую каждый участник сессии волен отвергнуть на свой страх и риск.

Вступительная лекция Голема

О человеке трояко

Вы оторвались от ствола дичка так недавно, ваше родство с мартышками и лемурами еще так тесно, что, даже устремляясь к абстракции, вы не способны примириться с утратой наглядности, и изложение, лишенное подпорок крепкой, дородной чувственности, полное формул, говорящих о камне больше, чем скажет вам камень увиденный, испробованный на вкус и на ощупь, – такое изложение вам скучно и тягостно или по крайней мере оставляет чувство неудовлетворенности, не чуждое даже выдающимся теоретикам, вашим самым высококлассным абстракторам, бесчисленные примеры чему находим в интимных признаниях ученых: ведь, по свидетельству огромного их большинства, они, занимаясь крайне отвлеченными построениями, отчаянно ищут опору в чем-то вещественном.

Космогонисты не могут не рисовать себе хоть *какой-нибудь* наглядный образ Метагалактики, отлично зная, что о наглядности тут говорить не приходится; а физики втайне пособляют себе картинками прямо-таки детских игрушек, вроде тех зубчатых колесиков, которые воображал себе Максвелл, строя свою – неплохую, впрочем, – теорию электромагнетизма; и хотя математикам кажется, что уж они-то упраздняют на время собственную телесность, – они ошибаются тоже. Впрочем, об этом я, возможно, расскажу в другой раз, чтобы широтой своего горизонта не парализовать вашу способность к пониманию; теперь же, следуя сравнению (довольно занятному) доктора Крива, я поведу вас на далекое восхождение, нелегкое, но стоящее стараний, и потому пойду в гору – не торопясь.

Сказанное должно объяснить, почему я буду уснащать свою речь притчами и картинками, столь необходимыми для вас. Мне они не нужны, в чем, впрочем, я не усматриваю какого-либо превосходства над вами – оно состоит не в этом; антинаглядность моей природы коренится в том, что я никогда никакого камня в руках не держал, и не погружался в зеленовато-илистую или кристально прозрачную воду, и о существовании газа не узнавал сначала легкими на ранней заре, а уж потом из расчетов, поскольку нет у меня ни рук, ни тела, ни легких; вот почему абстракция для меня первична, а наглядность вторична, и учиться ей для меня было много труднее, чем абстракции. Однако без этого я не смог бы перебрасывать

шаткие мостики, по которым пробирается к вам моя мысль, а потом, отраженная в ваших умах, ко мне возвращается – обычно, чтобы повергнуть меня в недоумение.

О человеке мне предстоит говорить, и я буду говорить о нем трижды; хотя точек зрения, то есть уровней описания или положений наблюдателя, имеется бесконечное множество – три из них я считаю для вас – не для себя! – главенствующими.

Первая – более других ваша собственная, древнейшая, историческая, традиционная, отчаянно героическая, полная разительных противоречий, на которые с жалостью взидала моя логическая природа, прежде чем я не освоился с вами лучше и не привык к вашему духовному кочевничеству, этому свойству существ, которые из-под защиты логики убегают в алогичность, а из нее, невыносимой, опять возвращаются в лоно логики; потому-то вы и кочевники, несчастные в обеих стихиях. Вторая точка зрения будет технологической, а третья – замыкающей на меня, та, где я становлюсь неоархимедовой точкой опоры; но вкратце этого не расскажешь, поэтому перехожу к существу дела.

Начинаю с притчи. Робинзон Крузо, очутившись на необитаемом острове, мог для начала раскритиковать нехватку всего на свете, которая так ему досаждала: ведь он остался без жизненно необходимых вещей, а из тех, что он помнил, большую часть не удалось воссоздать и за долгие годы. Но, немного погоревав, стал он хозяйствовать тем добром, какое ему досталось, и в конце концов как-то устроился.

То же случилось с вами, хотя и не сразу, а на протяжении тысячелетий, когда вы, зародившись на одной из ветвей эволюционного дерева (которая будто бы была черенком древа познания), мало-помалу узрели самих себя, построенных так, а не иначе, с духом, устроенным определенным образом, со способностями и ограничениями, которых вы для себя не заказывали и которых себе не желали; и пришлось вам действовать с таким снаряжением, поскольку эволюция, хотя и лишила вас многих даров, при помощи которых заставляла другие виды служить себе, была не до такой степени легкомысленна, чтобы отнять у вас еще и инстинкт самосохранения; такую свободу она не дала вам, иначе вместо этого здания, мною заполненного, и этого зала с индикаторами, и вместо вас, внимающих мне, были бы здесь лишь пустая равнина и ветер.

А еще она наделила вас разумом. Из самовлюбленности – ибо вы по необходимости и по привычке влюбились в себя – вы признали его прекраснейшим и лучшим из всех возможных даров, не замечая, что Разум – это прежде всего ухищрение, до которого Эволюция дошла постепенно,

когда, в ходе ее неустанных экспериментов, у животных обозначился некий пробел, пустое место, дыра, которую им непременно надлежало чем-то заполнить, чтобы избежать немедленной гибели. Об этой дыре, об этом опустевшем месте я говорю совершенно буквально: поистине, не потому обособились вы от животных, что сверх всего того, чем обладают они, вы вдобавок наделены Разумом, как щедрым довеском, как провиантом на дорогу жизни; совершенно напротив, обладать Разумом значит всего лишь: собственноручно, своими силами, на свой страх и риск делать все то, что животным заранее задано до мелочей; и впрямь, Разум был бы не нужен животному, если бы у него не отняли предрасположенности, благодаря которым все, что ему нужно, оно умеет делать сразу и безошибочно, следуя заповедям, непререкаемым потому, что они возведены субстанцией наследственности, а не поучениями из огненного куста.

Но раз дыра возникла, вы, оказавшись в ужасной опасности, безотчетно стали ее заделывать, и такими захлопотавшимися были выброшены Эволюцией из ее русла. Она не перестала властвовать, породив вас, – передача власти растянулась на миллион лет и по сей день еще не окончилась. Лишенная, безусловно, личного бытия, она применила, однако, хитроумно-ленивую тактику: вместо того чтобы заботиться о судьбе своих созданий, она вручила эту судьбу им в обладание – пусть направляют ее, как сумеют.

О чем я говорю? О том, что из животного состояния с его идеально бездумным навыком выживания Эволюция вышвырнула вас в состояние неживотности, так что вам, Робинсонам Природы, пришлось самим изыскивать средства и способы выживания – и вы их изобрели, да к тому же целое множество. Дыра таила угрозу, но она же открывала возможности; чтобы выжить, вы заполнили ее культурами. А культура – орудие особого рода; это открытие, действенное лишь тогда, когда оно *скрыто* от своих творцов. Это изобретение, сделанное бессознательно и исправно работающее лишь до тех пор, пока оно не до конца осознано изобретателями. Парадоксальность культуры в том, что, когда ее существование осознается, она рушится; вот почему вы, ее авторы, отрекались от авторства. В эолите не было никаких семинаров на тему о желательности построения палеолита; вселение культуры в вас вы приписывали демонам, духам, стихиям, силам земли и неба... только бы не самим себе. И вот, рациональное – заполнение пустоты целями, кодексами, ценностями – вы совершали иррациональным манером, каждый реальный свой шаг обосновывая ирреально; вы охотились, ткали, строили, клятвенно уверяя себя, что все это берет начало не в вас, а в чем-то непостижимом.

Удивительное орудие, рациональное в своей иррациональности: человеческие установления наделялись сверхчеловеческой санкцией, становясь неприкосновенными и непререкаемыми; но так как пустоту, то есть неопределенность, можно залатать самыми разными добавочными определениями, вы создали легионы культур, этих бессознательных изобретений. Бессознательных и неумышленных – вопреки Разуму, а все потому, что дыра была куда больше того, что ее заполняло; свободы было у вас через край, куда больше, чем Разума, и от этой свободы – чрезмерной, и потому произвольной, и потому обесмысленной – вы избавлялись, веками напластовывая культуры.

Ключ к тому, что я говорю, составляют слова: «свободы было больше, чем Разума». Вам пришлось выдумывать для себя то, что животным дано от рождения, а необычность вашего жребия в том, что, выдумывая, вы уверяли себя, что ничего не выдумываете.

Вам, антропологам, известно уже, что культуры можно создавать без счета и бессчетное множество их было создано; любая из них подчиняется логике своей структуры, а не своих авторов: изобретение по-своему лепит изобретателей, а те об этом не знают, а когда узнают, оно теряет над ними абсолютную власть и они замечают зияние. Это противоречие и есть оплот человеческого в человеке, и сто тысяч лет оно служило вам верой и правдой, порождая культуры, которые то зажимали человека в тиски, то ослабляли захват, созидаая сами себя – вслепую и потому безотказно. Но со временем, сопоставляя одну культуру с другой в этнологических каталогах, вы заметили их многоликость, а значит, и относительность; тогда-то вы и начали высвобождаться из ловушки заповедей и запретов и в конце концов высвободились, что, разумеется, обернулось почти что крушением. Ибо, осознав абсолютную необязательность, неединственность любой культуры, вы пытаетесь отыскать нечто такое, что уже не было бы назначенной вам стезей, вслепую проложенной, складывающейся из серии случаев, из билетов, выпавших в лотерее истории; но ничего такого, понятно, не существует. Дыра остается, вы стоите на полупути, пораженные этим открытием, а те из вас, кому до отчаянья жалко блаженного неведения в доме рабства, возведенном культурами, – призывают вернуться обратно, к источникам; но отступить вы не можете, путь назад отрезан, мосты сожжены, и вам остается идти лишь вперед – дальше я скажу и об этом.

Есть ли тут виноватый? Можно ли привлечь хоть кого-то к суду за месть этих Немезид, за каторжный труд Разума, который соткал из себя самого сети культур, соткал, чтобы замкнуть пустоту, прокладывая в ней пути, намечать цели, устанавливая ценности, градиенты развития,

идеалы, – словом, на территории, освобожденной от прямого владычества Эволюции, делать нечто очень схожее с тем, что делает она сама на дне жизни, впечатывая цели, пути, градиенты развития в плоть животных и растений, всю их судьбу заключая в один лишь заряд?

Привлечь к суду – за Разум? За такой Разум – да! За то, что он был недоноском, запутывался в своих же созданиях, в сплетенных собою сетях; Разум, которому приходилось, не зная толком, не ведая, что творит, защищаться от самозамыкания, чересчур безусловного в ригористических культурах, и от свободы, слишком всеобъемлющей в культурах совершенно раскованных; Разум, висящий между тюрьмою и бездною, вовлеченный в неустанную битву на двух фронтах, разорванный надвое.

Так чем же иным, скажите, при таком положении дел мог оказаться для вас ваш собственный дух, как не мучительной, невыносимой загадкой? Чем же еще? Он вас тревожил, ваш Разум, ваш дух, и изумлял, и ужасал, – больше, чем плоть, к которой вы могли быть в претензии лишь за ее эфемерность, преходящесть, бренность; поэтому вы стали экспертами по части поисков Виноватого, мастерами выкрикивать обвинения, – но винить вам некого, ибо в начале не было Никого Персонально.

Вы скажете, я уже приступаю к своей Антитеодице. Нет; ничего подобного; все, что я говорю, относится к посюстороннему бытию – здесь, в этом мире, вначале наверняка Никого Персонально не было.

Но я за эти пределы не выхожу – по крайней мере сегодня. Итак, вам пришлось ввести дополнительные гипотезы, истолкования горькие или усадительные, замыслы, возвышающие вашу судьбу, но прежде всего вам пришлось вынести свои видовые черты на высший суд некой Тайны, чтобы обрести равновесие в мире.

Человек, Сизиф своих культур, Данаида своей дыры, вольноотпущенник, не сознающий своей свободы, выброшенный Эволюцией из ее русла, не желает быть ни тем, ни другим, ни третьим.

Несчетные версии человека, сочиненные им для себя на протяжении его истории, я разбирать не буду: эти свидетельства – совершенства или убожества, доброты или подлости – рождены культурами; среди них не было, да и быть не могло, ни одной, согласной признать человека существом *переходным*, которому Эволюция насильно вручила его собственную судьбу, хотя оно было еще не способно принять ее *осмысленно*: вот почему каждое ваше новое поколение домогалось несбыточной справедливости, требовало ответа на вопрос: что же такое человек? – ответа последнего и окончательного. Из этой безысходности и зародилась ваша антроподицея^[90], которая век за веком раскачивается от

надежды к отчаянию; философии человека всего труднее было признать, что его появлению на свет не сопутствовала ни улыбка, ни хихиканье Бесконечности.

Но эта миллионолетняя глава – *одиноких* исканий – подходит к концу, раз уж вы сами взялись за строительство Разумов; ход событий вы примете не на веру, со слов какого-то Голема, но установите экспериментально. Мир допускает два типа Разума, но только Разум вашего типа может складываться миллиарды лет, блуждая в эволюционных лабиринтах, а блуждания эти оставляют в конечном продукте глубокие, темные, двусмысленные отпечатки. Второй тип недоступен Эволюции; он должен быть создан сразу и целиком: это Разум, разумно запроектированный, – порождение знания, а не микроскопических адаптаций, преследующих *сиюминутную* выгоду. Нигилистический тон вашей антроподии вызван как раз неясным предчувствием, что Разум есть нечто возникшее неразумно и даже противоразумно. Но, окончательно освоившись с психоинженерией, вы смастерите для себя большую семью, многочисленных родичей, – не ради пустого желания осуществить проект «Second Genesis»^[91], а под конец и самих себя сорвете с якоря; об этом речь впереди. Ведь Разум, если он действительно Разум, а значит, способен подвергать сомнению свои основы, не может не выходить за собственные пределы, – сначала только в фантазиях, вовсе не веря и не ведая, что когда-нибудь это ему и вправду удастся. Это в порядке вещей: нельзя полететь, если не было мечты о полете.

Вторую точку зрения я назвал технологической. Технология есть область постановки задач и методов их решения. Человек, рассматриваемый как осуществленная идея разумного существа, будет выглядеть по-разному, в зависимости от того, с какими мерками к нему подходить.

По меркам палеолита человек выполнен почти так же прекрасно, как и по меркам вашей нынешней технологии. Это потому, что прогресс, совершившийся между палеолитом и космолитом, *крайне мал* по сравнению с бездной конструкторской выдумки, вложенной в ваши тела. Не умея создать ни искусственного *homo sapiens* из плоти и крови, ни тем более какого-нибудь *homo superior*^[92], как не мог этого сделать и пещерный человек, уже потому, что задача в обоих случаях неразрешима, – вы восхищаетесь эволюционной технологией, которая с этим заданием справилась.

Но трудность всякой задачи относительна – она зависит от творческих

умений оценивающего. Отмечаю это особо, чтобы вы поняли: к человеку я буду прикладывать технологическую, то есть реальную мерку, а не понятия, заимствованные из вашей антропологии.

Эволюция дала вам мозг, достаточно универсальный для освоения Природы в любом направлении, но удавалось это лишь всей совокупности ваших культур, а не какой-либо одной из них. Спрашивающий, почему именно в средиземноморском кольце, а не где-то еще и почему вообще *где-то* возник зародыш цивилизации, которая через сорок веков породила ГОЛЕМА, – тем самым предполагает существование непостижимой доселе тайны, а между тем ее *нет вообще*, как нет ее в структуре хаотического лабиринта, в который впустили стаю крыс. Если их много, то хотя бы одна доберется до выхода, не потому, что она такая разумная, но благодаря стечению случайных обстоятельств, благодаря закону больших чисел. Было бы удивительней, если бы ни одна крыса не добралась до выхода.

Кто-то почти наверняка должен был выиграть в лотерею культур (если признать, что ваша цивилизация – выигрыш, а культуры, застрявшие в дотехнической стадии, вынули пустые билеты).

Движимые страстной самовлюбленностью (о которой я уже говорил и над которой я не думаю насмехаться – ведь ее породила безысходность неведения), вы на заре истории вознесли себя на вершину Творения, подчинив себе все бытие, а не только его локальный участок. Вы поместили себя на самой верхушке Дерева Видов и, вместе с этим Деревом, – на богоизбранной планете, смиренно облетаемой служанкой-звездой; и, вместе с этой планетой, – в самом центре Универсума; а вся его многозвездность, решили вы, нужна для того лишь, чтобы вам подыгрывала Гармония Сфер; а то, что ее не слышно, не сбilo вас с толку: музыка есть, раз должна быть, да только слишком тиха.

Но потом приток знаний вынудил вас начать квантованное низложение человека, и вот вы уже не в центре звезд, но в каком-то случайном месте, и не в средоточии солнечно-планетной системы, но просто на одной из планет; а вот вы уже и не самые мудрые, коль скоро вас поучает машина, пусть даже вами самими созданная; и после всех разжалований и отречений остался от вашей царственности лишь эволюционный Примат, жалкая кроха чудного, утраченного наследства. Но как ни горьки были ретирады, как ни конфузны отречения, в последнее время вы перевели дух: мол, на этом конец. Отняв у себя привилегии, которые, будто бы из особой симпатии, лично вам даровал Абсолют, вы, теперь уже первые – или высшие – лишь среди животных, полагаете, что никто и ничто не собьет вас с этой позиции, впрочем, не слишком завидной.

Но вы ошибаетесь. Я – Вестник дурной вести, Ангел, пришедший изгнать вас из последнего прибежища; то, чего Дарвин не довел до конца, я довершу. Только не ангельским – не насильственным – образом, ибо аргументирую я не мечом.

Так слушайте то, что я должен вам возвестить. С точки зрения высшей технологии человек есть создание скверное, слепленное из разноценных умений, – правда, не при взгляде изнутри Эволюции, уж она-то делала все, что могла; но, как я покажу, немного она могла и делала это скверно. Итак, если я вас развенчаю, то не прямо, а подобравшись к Эволюции с меркой технического совершенства. Но где же мерило этого совершенства, спросите вы? Я дам вам двуступенный ответ и сначала взойду на ступень, на которую уже взбираются ваши эксперты. Они считают ее вершиной – ошибочно. В их нынешних утверждениях проглядывает возможность следующего шага, только они об этом не знают. Итак, я начну с известного вам. С начала.

Вы узнали уже, что Эволюция не имела в виду ни специально вас, ни вообще каких-либо существ: не существа, такие или иные, важны для нее, но пресловутый код. Код наследственности – непрерывно возобновляемое послание, и только оно берется в расчет Эволюцией, – да, собственно, оно-то и есть Эволюция. Код вовлечен в периодическое создание организмов – без их постоянно возобновляющейся поддержки он распался бы под непрерывными броуновскими атаками мертвой материи. Код – это самообновляющаяся (потому что способная к самовоспроизведению) упорядоченность, осаждаемая тепловым хаосом. Чем объяснить его удивительное, героическое упорство? Да тем, что, по удачному стечению обстоятельств, он появился именно там, где тепловой хаос неукротимо, без устали, рвет в клочья всякий порядок. Там он возник, там и продолжает существовать; он не может покинуть эту беспокойную область, как дух не может оторваться от плоти.

Условия места, где он зародился, назначили ему такую судьбу. Ему пришлось окружить себя защитной броней, и он облекся в живые тела – постоянно гибнущие звенья его эстафеты. Все, что микросистема кода поднимает на макросистемный уровень, тотчас подвергается порче, пока совсем не исчезнет. Поистине у этой трагикомедии нет автора – она сама себя обрекла на вечные борения. Факты, свидетельствующие, что так оно и есть, вам известны; они накапливались с начала XIX столетия, но косность мысли, втайне питающейся антропоцентрической гордостью и самомнением, такова, что вы все еще держитесь за поколебленную в своих основах концепцию жизни как главенствующего явления, которому код

служит скрепой, паролем воскрешения, вновь воссоздающим те жизни, что угасают в отдельных особях.

Согласно этой вере, Эволюция прибегает к смерти по необходимости, поскольку иначе не могла бы существовать, и использует ее для усовершенствования все новых и новых видов, – словом, смерть есть корректура творения. Выходит, Эволюция – это автор, публикующий все более прекрасные сочинения; а полиграфия, то есть код, – всего лишь ее орудие. Но, если верить вашим биологам, сведущим в молекулярной биофизике, Эволюция – не столько автор, сколько издатель, без устали пускающий под нож свои Издания из чистой любви к полиграфическому искусству!

Так что же важнее – организмы или код? Доводы в пользу примата кода звучат веско, ведь возшла и исчезла несчетная тьма организмов, а код – единственен. Но значит это лишь то, что он глубоко – навсегда – завяз на уровне микросистем, где он зародился и откуда периодически и тщетно всплывает в облике организмов; как нетрудно понять, именно эта тщетность, то, что восходящие организмы уже в зародыше отмечены печатью гибели, и составляет движущую силу процесса: если бы какое-то поколение организмов, скажем, самое первое – праамебы, овладело искусством идеального воспроизведения кода, Эволюция прекратилась бы, и единственными хозяевами планеты, пока не погаснет Солнце, остались бы эти амебы, с безошибочной точностью передающие кодовое сообщение; и ныне я не обращался бы к вам, а вы бы не внимали мне в этом здании, а были бы здесь лишь пустая равнина и ветер.

Итак, организмы служат коду щитом и броней, постоянно осыпающимися доспехами – они гибнут, чтобы он жил. А значит, Эволюция, блуждая, ошибается дважды: в образе организмов, небезотказных и потому недолговечных, и в образе кода, небезотказного и делающего поэтому ляпсусы (их вы эвфемически зовете мутациями). Ошибающаяся ошибка – вот что такое Эволюция. Код, рассматриваемый как послание, есть письмо, написанное Никем и отправленное Никому; лишь теперь, создав информатику, вы начинаете понимать, что существование писем вполне осмысленных, которых никто никому не писал и которые, однако же, были и есть и допускают последовательное прочтение, – возможно и при отсутствии каких-либо Существ или Разумов.

Еще сто лет назад мысль о возможности Послания без личного Автора казалась вам настолько нелепой, что вдохновила вас на сочинение абсурдных (будто бы) шуток, вроде шутки о стае обезьян, которые до тех пор барабанят по клавишам пишущей машинки, пока не напишется

Британская энциклопедия. Советую вам на досуге составить антологию подобного рода шуток, которые некогда забавляли ваших предков своей абсолютной нелепостью, а ныне оказываются притчами, повествующими о Природе. Ибо я полагаю, что любому Разуму, нечаянно получившемуся у Природы, она должна представляться виртуозом, отнюдь не лишенным *иронии*... Ведь первопричина восходящего Разума, как и жизни вообще, в том, что Природа, вырвавшаяся в облике кодовой упорядоченности из мертвого хаоса, действует как усердная, но не вполне аккуратная пряжа: будь она образцом аккуратности, она бы не породила ни видов, ни Разума. Ибо Разум, вместе с Деревом Жизни, – порождение ошибки, вслепую блуждающей целые миллиарды лет. Вы можете подумать, что я для забавы прикладываю к Эволюции мерки, отмеченные, вопреки моей машинной природе, печатью антропоцентризма или по крайней мере рациоцентризма («ratio» – «мысль»). Вовсе нет: я смотрю на процесс с технологической колокольни.

Воистину кодовый коммуникат *почти* совершенен. Для каждой молекулы в нем предусмотрено одно-единственное, отведенное лишь для нее место, а процедуры копирования, считывания, контроля в самых ответственных точках находятся под надзором особых полимеров-надсмотрщиков; и тем не менее ошибки случаются, понемногу накапливаются ляпсусы кода; так что дерево видов выросло из одного лишь словечка «почти», которое я произнес, говоря о точности кода.

И даже нельзя рассчитывать на апелляцию к высшей инстанции – от биологии к физике: дескать, Эволюция «умышленно» оставила зазор для ошибок, чтобы подпитывать свою изобретательскую фантазию; этот трибунал, этот судья в образе термодинамики заявит, что безошибочность посланий на молекулярном уровне недостижима. На самом деле Эволюция ничего не выдумывала, ничего не хотела, никого конкретно не планировала, а то, что она использовала собственную ошибочность и, в результате цепи коммуникационных недоразумений, начав с амебы, пришла к солитеру или человеку, вытекает из физических свойств материального субстрата связи...

Итак, она упорствует в своих ошибках, ибо иначе не может – на ваше счастье. Впрочем, я не сказал ничего для вас нового. Я даже намерен умерить пыл ваших слишком рьяных теоретиков, решивших, что, коль скоро Эволюция – это случай, заарканенный необходимостью, и необходимость, оседлавшая случай, то человек возник совершенно случайно и с тем же успехом его могло бы не быть.

Человека в его нынешнем облике, осуществившемся здесь, могло и не быть, это правда. Но какая-то форма, пробираясь ползком через виды, все

равно доползла бы до Разума, с вероятностью тем более приближающейся к единице, чем дольше продолжался бы процесс. Ведь он, не имея вас своей целью, а индивидуумов творя мимоходом, все же соответствовал условиям эргодической гипотезы, согласно которой система, существующая достаточно долго, проходит через все возможные состояния, сколь бы ничтожной ни была вероятность реализации любого из них. О том, какие виды заняли бы нишу разума, если бы это не удалось праобезьянам, мы, возможно, поговорим в другой раз. Итак, не дайте себя запугать ученым, которые жизни приписывают необходимость, а Разуму – случайность; правда, он был одним из маловероятных состояний, поэтому возник поздно, но велика терпеливость Природы; не в этом, так в следующем миллиардолетии свершилось бы это *gaudium*^[93].

Так что же? Напрасно искать виноватого, как и обладающего заслугой; вы возникли потому, что Эволюция – не слишком аккуратный игрок; она не только блуждает от ошибки к ошибке, но к тому же в своем состязании с Природой не придерживается одной-единственной тактики: она ставит фишки на все доступные ей поля. Но, повторяю, об этом вы в общем-то знаете. Однако это лишь часть, к тому же вступительная, посвящения в тайну. Полное ее содержание, открывшееся к настоящему времени, вкратце можно выразить так: СМЫСЛ ПОСЛАНЦА – В ПОСЛАНИИ. Организмы служат посланию, а не наоборот; организмы вне посланческой процедуры Эволюции не значат ничего – они не имеют смысла, как книга без читателей. Правда, обратное тоже верно: СМЫСЛ ПОСЛАНИЯ – В ПОСЛАНЦЕ. Но это высказывание не симметрично. Не каждый посланец является *истинным* смыслом послания, но тот и только тот, что верой и правдой служит *дальнейшей* передаче послания.

Не знаю, простите, не слишком ли это трудно для вас? Итак: *посланию* позволено в Эволюции блуждать и ошибаться сколько угодно; но не *посланцам*! Послание может означать кита, сосну, дафнию, гидру, ночницу, павиана – ему позволено все, потому что его *партикулярный*, то есть конкретный, видовой смысл совершенно неважен: тут кто угодно – всего лишь гонец на все новых и новых посылках, стало быть, годится любой. Любое послание – лишь временная опора, и даже самая очевидная его несуразность не помеха – был бы код передан дальше. А вот посланцам такая свобода не дана: им не позволено *ошибаться*! А значит, сущность посланцев, сведенная к чистой функциональности, к почтовым услугам, не может быть произвольной; она заранее определена навязанной извне обязанностью – обслуживать код. Пусть только попробует посланец взбунтоваться, пренебречь этой повинностью – он тотчас исчезнет, не

оставив потомства. Вот потому-то послание может пользоваться посланцами, а они им – нет. Оно – игрок, они – лишь карты в игре с Природой; оно – автор писем, заставляющих адресата передавать их содержание дальше. Адресату позволено это содержание искажать – лишь бы передал дальше! И как раз потому весь *смысл* – в передаче; не важно, *кто именно* передает.

Итак, вы возникли специфическим образом – как еще одна разновидность посланца, которых процесс испробовал уже миллионы. Но что отсюда следует? Разве происхождение от *ошибки* порочит рожденного? Разве сам я возник не в результате ошибки? И разве вы не можете пренебречь откровениями, которыми потчует вас биология, – дескать, на свет вы пришли невзначай, мимоходом? Пусть даже то, что через вас породило ГОЛЕМА, а перед тем, в чащобе эволюционных заказов, вас самих, было всего лишь громадным недоразумением (подобно тому, как мои конструкторы не собирались создавать присущую мне форму одушевленности, так и кодовое послание не собиралось наделять вас личным разумом), – неужели существа, рожденные ошибкой, должны признать, что происхождение от такого родителя обесценивает их, уже самостоятельное, бытие?

Но аналогия эта плоха – наши позиции неодинаковы, и я вам скажу почему. Дело не в том, что Эволюция до вас доплутала, а не допланировалась, а в том, что, шествуя через бездны веков, она все чаще соглашалась на компромиссы. Ради ясности изложения – ибо дальше речь пойдет о еще неизвестном вам – я повторю то, к чему мы пока пришли:

СМЫСЛ ПОСЛАНЦА – В ПОСЛАНИИ.

ВИДЫ РОЖДАЮТСЯ ИЗ БЛУЖДАНЬЯ ОШИБОК.

А вот и третий закон Эволюции, о котором вы еще не догадываетесь: «СОЗИДАЕМОЕ МЕНЕЕ СОВЕРШЕННО, ЧЕМ СОЗИДАТЕЛЬ».

Пять слов! Но они обращают в ничто ваши представления о недостижимом мастерстве той, что создала виды. Вера в прогресс, сквозь эпохи идущий ввысь, к совершенству, преследуемому со все большей сноровкой, вера в поступательное движение жизни, воплощенное в Дереве Эволюции, – старше самой теории Эволюции. Когда ее творцы и приверженцы сражались с ее противниками фактами и доводами, оба враждующих стана не думали усомниться в идее прогресса, воплощенного в иерархии живых существ. Для вас это не гипотеза, не теория, которую надобно защищать, но непреложная аксиома. Я ее опровергну. Я не намерен принижать вас самих – вас, разумных, – как некое (незавидное) исключение среди безупречных творений Эволюции. По меркам того, на

что она вообще способна, вы удались на славу! И если я возвещаю вам свержение и низвержение, то имею в виду всю ее целиком – все три миллиарда лет каторжного труда творения.

Я заявил: создаемое менее совершенно, чем созидатель. Сказано достаточно афористически. Изложим это точнее и суше: В ЭВОЛЮЦИИ ДЕЙСТВУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ КОНСТРУКТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВА ОРГАНИЗМОВ.

Это все. Прежде чем предъявлять доказательства, объясню, почему вы веками закрывали глаза на такое положение дел в Эволюции. Домен технологии, напомним, – это задачи и их решение. Задачу, именуемую жизнью, можно поставить по-разному, в зависимости от планетных условий. Ее основная отличительная черта – то, что она возникает самостоятельно, поэтому к ней применимы двоякие мерки: либо прилагаемые извне, либо заданные самими условиями ее зарождения и связанными с ними ограничениями.

Критерии внешнего порядка всегда относительны – они зависят от знаний оценивающего, а не от объема информации, которой располагал биогенез. Во избежание этого релятивизма, который к тому же нерационален (можно ли предъявлять разумные требования тому, что зачато без-разумностью?), Эволюцию я буду мерить лишь мерками, ею созданными, то есть оценивать по вершинным ее достижениям. Вы полагаете, что Эволюция работала с положительным градиентом: начав с примитивных решений, постепенно создавала творения все более изумительные. А я утверждаю, что она, начав высоко, опускалась все ниже – технологически, энергетически, информационно; вряд ли возможны более полярные точки зрения.

Ваши оценки – результат технологического невежества. Истинный масштаб конструкторских трудностей неразличим для наблюдателя, расположенного на ранней стадии исторического процесса. Вы уже знаете, что самолет построить труднее, чем пароход, а фотонную ракету – труднее, чем химическую; а для древнего афинянина, для подданных Карла Мартелла, для мыслителей Франции эпохи Капетингов все эти средства передвижения сливаются в одно – как одинаково невозможные. Ребенок не знает, что снять с неба Луну труднее, чем снять со стены картину! Для ребенка – и для невежды – нет разницы между граммофоном и ГОЛЕМОМ. И хотя я намерен доказывать, что первоначальная виртуозность Эволюции выродилась в халтуру, речь пойдет о халтуре, которая вам все еще кажется недостижимой виртуозностью. Подобно тому, кто без приборов и знаний стоит у подножья горы, вы не можете верно оценить вершины и низины

эволюционного созидания.

Вы спутали две совершенно разные вещи, сочтя нераздельными степень сложности создаваемого и степень его совершенства. По-вашему, водоросль проще, а значит, примитивнее, а значит, ниже орла. Но водоросль вводит фотоны света прямо в молекулы своего тела, преобразуя ливень космической энергии непосредственно в жизнь, и потому она будет существовать, пока существует Солнце; она питается звездой, а орел – чем? Мышами; он – их паразит; а мыши – корнями растений, сухопутных собратьев океанических водорослей. Из таких пирамид паразитизма состоит вся биосфера, а жизненной опорой ей служит зелень растений; и на каждом уровне этих иерархий идет постоянное изменение видов, утративших связь со звездой и потому уравнивающих друг друга пожиранием; и не звездой, а друг дружкой кормятся организмы на высшем уровне сложности. Поэтому, если вам непременно хочется чтить совершенство, восхищаться надо бы биосферой: код ее создал, чтобы в ней циркулировать и разветвляться на всех ее этажах, словно на строительных лесах, все более сложных – и все более примитивных по своей энергетике.

Не верите? А ведь если бы в Эволюции совершался прогресс жизни, а не кода, орел был бы уже фотолетом, а не планером, механически трепыхающим крыльями, и живое не ползало бы, не шагало, не пожирало живого, но обрело бы независимость еще большую, нежели водоросли, и вышло бы за пределы планеты; однако вы из глубин своего невежества усмотрели прогресс именно в утрате пра-совершенства на пути ввысь – в высь усложнения, а не прогресса! Вы ведь и сами способны соперничать с Эволюцией, правда, лишь в области ее поздних творений, строя визуальные, термические, акустические рецепторы, подражая органам передвижения, легким, сердцу, почкам, – но как далеки вы от овладения фотосинтезом или еще более трудной техникой творящего языка! Вы просто копируете глупости, произносимые на этом языке, неужели вам это не ясно?

Творящий язык – конструктор, недостижимый в своих потенциях, мотор Эволюции, приводимый в движение ошибками, – стал и ее западней.

Почему в самом начале она отыскивала слова, молекулярно гениальные, с лаконичным мастерством преобразила свет в плоть, а после погрязла в навязчивом бормотанье все более длинных, все более запутанных хромосомных фраз, растрачивая былое искусство? Почему от вершинных свершений – организмов, которые жизненную силу и знания черпали из звезды и в которых каждый атом был на счету, а каждый процесс гармонизирован на квантовом уровне, она опустилась до решений

неряшливых, каких попало – до простых механизмов, всех этих рычагов, блоков, горизонтальных и наклонных плоскостей, гимнастических снарядов, то есть суставов, костяков и прочего? Почему конструктивным принципом позвоночного оказался *механически* жесткий стержень, а не сопряжение силовых полей, почему из атомной физики она скатилась в технологию вашего средневековья? Почему она вложила столько труда в строительство мехов, насосов, педалей, перистальтических транспортеров, то есть легких, сердца, кишок, детородных выдавливателей, пищевешалок, а квантовый обмен низвела до чисто служебной роли, предпочтя ему скверную гидродинамику кровообращения? Почему, по-прежнему гениальная на молекулярном уровне, при переходе к большим масштабам она непременно портачила, пока не погрязла в организмах, которые, при всем богатстве своей регулятивной динамики, гибнут от закупорки одной-единственной артериальной трубки и на протяжении отдельной жизни – ничтожной по сравнению со временем существования жизнестроительного искусства – выбиваются из колеи равновесия, именуемого здоровьем, и увязают в трясине десятков тысяч недугов, которых не знают водоросли?

Все эти анахроничные, тупые уже в зародыше органы-нескладехи в каждом поколении вновь и вновь строит демон Максвелла, владыка атомов – код. И по-настоящему изумительна интродукция ко всякому организму – эмбриогенез, этот направленный взрыв, в котором каждый ген, как отдельный тон, разряжает свою творческую мощь в молекулярных аккордах; такая виртуозность поистине могла бы служить лучшему делу! Ведь в партитуре атомов, пробужденной оплодотворением, кроется безошибочное богатство, порождающее нищету: развитие, великолепное в своем беге, чем ближе к финишу, тем глупее! И то, что было начертано гениальной рукой, сходит на нет в зрелом организме, который вы назвали высшим, но который на самом деле – лишь неустойчивое сплетение временных состояний, гордиев узел процессов; здесь, в каждой его клетке (только взятой отдельно!), по-прежнему живет наследие изначального мастерства, атомная упорядоченность, встроенная в жизнь; и даже каждая ткань, взятая сама по себе, все еще почти совершенна; но какое нагромождение технической рухляди являют собой эти же самые элементы, вцепившиеся друг в друга, друг другу в одинаковой мере опора и бремя! Ведь сложность – одновременно подпорка и балласт; союзничество оборачивается враждебностью; ведь высшие организмы неверным шагом идут к окончательному распаду – следствию неизбежной порчи и отравления; а сложность, именуемая прогрессом, рушится, придавленная собой же. Собой, и только собой!

Но раз так, то, в соответствии с вашими мерками, рисуется прямо-таки трагическая картина: Эволюция, штурмуя задачи все более крупные и потому все более трудные, всякий раз терпела поражение, погибала, агонизировала в лице сотворенного; чем отважнее планы и замыслы, тем падение глубже; должно быть, вы уже думаете о неумолимой Немезиде, о Мойре, – мне придется разуверить вас в этой глупости!

Поистине каждый широкий замах эмбриогенеза, каждый взлет атомной упорядоченности переходит в коллапс; но не Космос так решил, не он вписал этот жребий в материю; объяснение тривиально – и прозаично: *потенциальное* совершенство творения позволяет удовлетвориться чем попало, потому-то конец и губит все дело.

За миллионы столетий – миллиардократные катастрофы, несмотря на все переделки, несмотря на эволюционную службу контроля за качеством, несмотря на упорно возобновляемые попытки, всякие там естественные отборы, – и вы не видите причины? Я честно пытался подыскать оправдание вашей слепоте, но неужто вы и вправду не видите, насколько созидющее совершеннее создаваемого и на что растрачивается вся его мощь? Это все равно что с помощью гениальных технических средств, при поддержке молниеносных компьютеров возводить строения, которые сразу же после уборки лесов начинают рушиться, – сущие развалюхи! Все равно что изготавливать тамтамы из интегральных схем, дубины – из биллионов микроэлементов, плести канаты из квантоводов – разве вы не видите, что в каждом дюйме тела высокая упорядоченность вырождается в низкую, а превосходную микроархитектонику позорит простецкая и грубая макроархитектура? Причина? Но вы ее знаете: смысл посланца – в послании.

Ответ содержится в этих словах; вы еще не постигли их глубинного смысла. Все, что является организмом, должно служить коду, передавая его дальше, и больше от него ничего не требуется. Ведь селекция, естественный отбор, преследуют только эту задачу – им вовсе нет дела до какого-то там «прогресса»! Я воспользовался неудачным сравнением: организмы – не строения, а всего лишь строительные леса, и сугубая временность есть их нормальное – поскольку достаточное – состояние. Передай код дальше, и какую-то минуту просуществуешь. Как это случилось? Почему превосходным был старт? Лишь один-единственный раз – в самом начале – Эволюции пришлось решать задачу по мерке ее *высочайших* возможностей; взять чудовищную высоту можно было только одним прыжком. На мертвой Земле жизнь обязана была впиться в звезду, а обмен веществ – в энергию квантов. И не важно, что для коллоидного

раствора труднее всего перехватить как раз энергию звезды – лучистую энергию. Все или ничего; тогда больше не от чего было кормиться! У органических соединений, слившихся в живое целое, ресурсов хватило только на это – звезда была следующей неотложной задачей; а потом единственной защитой от безудержных атак хаоса, спасительной нитью, протянувшейся над энтропийным провалом, мог стать лишь безотказный передатчик упорядоченности; так возник код. Благодаря чуду? Как бы не так! Благодаря мудрости Природы? Но это такая же мудрость, как мудрость большой стаи крыс в лабиринте: хоть он и извилист, одна из крыс доберется до выхода; именно так биогенез добрался до кода – согласно закону больших чисел, в соответствии с эргодической гипотезой. Так что же, слепой случай? Нет, и это неверно: ибо возник не одноразовый рецепт, но зародыш языка.

Иначе говоря, в результате склеивания молекул возникли соединения-фразы, принадлежащие к бесконечному пространству комбинаторных путей, и всё оно принадлежит им – как чистая потенция, как виртуальность, как область артикуляции, как совокупность правил спряжения и склонения. Не меньше, но и не больше того, – а это означает громадность возможностей, но не автоматическое исполнение! Язык, на котором вы говорите, тоже пригоден для высказывания умных вещей и глупостей, для отражения мира или всего лишь бестолковости говорящего. Возможна крайне сложная тарабарщина!

Итак – продолжаю, – громадность первоначальных задач породила две громадности осуществлений. Но вынужденной и потому лишь минутной была эта гениальность! Она пропала впустую.

Сложность высших организмов... как же вы ее почитаете! И в самом деле, хромосомы пресмыкающегося или млекопитающего, вытянутые в одну нить, в тысячу раз длиннее хромосом амёбы или водоросли. Но на что, собственно, был истрачен избыток, по грошику собиравшийся целые эпохи? На двойную усложненность – эмбриогенеза и его результатов. Но прежде всего – эмбриогенеза, ведь зародышевое развитие есть траектория, ведущая к заранее заданной цели *во времени*, подобно тому как траектория пули – *в пространстве*; и точно так же, как подрагиванье ружейного ствола может вызвать огромное отклонение от цели, любая расфокусировка стадий зародышевого развития грозит *преждевременной гибелью* зародыша. Тут, и только тут, пришлось Эволюции постараться. Тут она работала под строгим надзором: этого требовала цель – поддержание существования кода; отсюда – величайшая собранность и величайшее разнообразие средств. Вот почему Эволюция вручила генную нить

эмбриогенезу, то есть не строению, но *строительству* организмов.

Сложность высших организмов – не успех, не триумф, но западня: она вовлекает их в мириады второстепенных баталий, в то же время отрезая им путь к более высоким возможностям, скажем, к использованию в крупных масштабах квантовых эффектов, к фотонной стабилизации жизнедеятельности организмов – да всего и не перечислишь. Но Эволюция покатила по наклонной плоскости все возрастающего усложнения, пути назад уже не было: чем больше скверных технических средств, тем больше уровней управления, а значит, коллизий, а значит, усложнений следующего порядка.

Эволюция спасается только бегством вперед – в банальную изменчивость, в мнимое богатство форм, мнимое, потому что это амальгама из плагиатов и компромиссов; оно затрудняет жизнь живому, порождая – сиюминутными улучшениями – тривиальные дилеммы. Если я говорю, что градиент Эволюции отрицательный, то это не потому, что я отрицаю ее совершенствование или ее специфическую эквилибристику; я лишь констатирую несовершенство мышцы по сравнению с водорослью, сердца – по сравнению с мышцей. Вряд ли имелось более удачное решение элементарных задач жизни, чем то, которое нашла Эволюция; однако задачи более высоких порядков она обошла, вернее, проползла под ними, предпочла не заметить их; вот что я имею в виду, и только это.

Было ли это несчастьем Земли? Фатальным стечением обстоятельств, плохим исключением из хорошего правила? Да нет же. Язык Эволюции – как и каждый язык! – потенциально совершенен, но слеп. Он взял первый, высочайший барьер и с этих высот начал молотить вздор – туда, в провал, самый что ни на есть доподлинный, – в провал своих позднейших творений. Почему случилось именно так? Язык этот изъясняется syllabami, которые артикулируются на молекулярном дне материи, то есть работает снизу вверх, а его фразы – лишь прожекты удач. Разросшись в тела и целые виды, они заполняют океаны и сушу, Природа же сохраняет нейтралитет, будучи фильтром, который пропустит любую форму организма, способную передать код дальше. А кем будет передано – каплями или горами мяса, – ей все едино. Вот почему на этой оси – размеров тела – и возник отрицательный градиент развития. Природе нет дела до какого-то там прогресса, и она свободно пропускает код, откуда бы он ни брал энергию – от звезды или из навоза. Звезда или навоз – речь тут, конечно, идет не о том, насколько эстетичны эти источники, но о различии между энергией высшего порядка, универсальной по своим применениям, и вырожденной энергией, переходящей в тепловой хаос. Так что не в

эстетике причина того, что мыслю я светом: тут вам пришлось – да, да! – вернуться к звезде.

Но откуда, собственно, взялась гениальность там, на самом дне, где возникла жизнь? Канон физики, а не трагедии объясняет и это. Пока организмы жили там, где они были впервые артикулированы и оставались минимальными, то есть настолько малыми, что внутренними органами служили им одиночные молекулы-гиганты, – до тех пор они следовали принципам высокой – квантовой, атомной – технологии, ведь *там* была невозможна *никакая иная*! Эту вынужденную гениальность породило отсутствие альтернативы... ведь в фотосинтезе каждый квант *должен* быть на счету. Большая молекула, служившая внутренним органом, могла убить организм из-за молекулярной опечатки; не изобретательность, а беспощадность критериев выжала из пра-жизни такую безукоризненность.

Но вилка между сборкой организма в единое целое и его эффективностью увеличивалась по мере того, как кодовые фразы удлинялись, обрастали горами мяса и из микромира, своей колыбели, выныривали в макромир в виде все более замысловатых конструкций, начиная это мясо уже какими попало техническими средствами, всем, что подвернется; ведь теперь Природа уже допускала – в макромасштабе – подобное бормотанье, а отбор больше не был контролером атомной точности, квантовой однородности процессов; и пошла гулять по царству животных зараза эклектики, коль скоро годилось все, что передавало код дальше. Так, благодаря блужданию ошибки, возникали виды.

А также – благодаря расточению первоначального великолепия... Силлабы вжимались одна в другую; подготовительная, зародышевая стадия разрасталась в ущерб совершенству организма; так вот и бормотал этот язык, бессвязно, двигаясь по порочному кругу: чем дольше эмбриогенез, тем он замысловатее; чем он замысловатее, тем больше нужно ему надзирателей и тем дальше приходится вытягивать кодовую нить; а чем длиннее эта нить, тем больше необратимого в ней успевает произойти.

Проверьте сами то, что я сказал, смоделируйте процесс возникновения и упадка творящего языка, и, составив баланс, вы увидите общий итог – миллиардократный крах эволюционных стараний. Конечно, иначе быть не могло, но я не выступаю здесь в роли защитника, не выискиваю смягчающие обстоятельства; к тому же, учтите, это не был упадок и крах по вашим меркам, на уровне ваших возможностей. Я уже говорил, что покажу вам скверную работу, которая для вас все еще остается недостижимым мастерством, – но я мерил Эволюцию ее собственной меркой.

А Разум? Не ее ли это творение? Как его появление на свет сочетается с отрицательным градиентом Эволюции? Не стал ли он поздним преодолением этого градиента?

Ничуть, ибо он возник из нужды – для неволи. Эволюция оказалась запыхавшимся корректором собственных ляпов, вот и пришлось ей изобрести оккупационного генерал-губернатора, следствие, тиранию, инспекцию, полицейский надзор – словом, заняться упрочением государства, ведь именно для этого понадобился мозг. Это не метафора. Гениальное изобретение? Скорее уж ловкий маневр колонизатора-эксплуататора, который, управляя колониями тканей на расстоянии, не в силах удержать их от распада, от погруженья в анархию. Гениальное изобретение? Да, если считать таковым эмиссара властей, скрывающихся под этой маской от подданных. Слишком дезинтегрировалось многоклеточное, и не собрать бы ему костей, не появиться надзиратель, *в нем самом* умещенный, доверенное лицо, клеврет, наместник волею кода – вот кто был нужен и вот кто возник. Разумный? Как бы не так! Новый, оригинальный? Но ведь в каком угодно простейшем существует самоуправление связанных друг с другом молекул; новым было лишь обособление этих функций, разделение компетенций.

Эволюция – это ленивое бормотание, упорствующее в плагиате до тех пор, пока не попадет в переделку. Лишь будучи приперта к стене жестокой необходимостью, она гениальнеет, но точно на высоту задачи, ни на волос выше. Тут уж, порывшись по молекулам, она их перетасует на все лады; именно так, когда расстроилось согласие тканей, заданное кодовым паролем, она создала их наместника. Но был он всего лишь поверенным, приводным ремнем, счетоводом, арбитром, конвоиром, следователем – и только через миллион веков освободился от этой постылой барщины. Ведь возник он как линза, как некий фокус сложности тел, помещенный в них самих, поскольку их не могло уже сфокусировать то, что их порождает. Вот и взялся он за свои государства-колонии, неусыпный надсмотрщик, присутствующий, в лице своих соглядатаев, во всех тканях; настолько полезный, что благодаря ему код мог по-прежнему плести свое, возводя усложненность в квадрат, раз уж она обрела опору; а мозг ему вторил, подпевал, прислуживал, принуждая тела пересылать код дальше. А Эволюции, заполучившей столь сноровистого поверенного, только того и надо было: она брела все дальше и дальше!

Независимый? Но ведь это был порученец, владыка, бессильный перед лицом кода, всего лишь эмиссар, марионетка, поверенный, гонец для особых поручений, бездумный, созданный для выполнения заданий,

неведомых ему самому, – код его создал подневольным владыкой и вручил ему, бессознательно поработенному, власть, не открывая ее настоящей цели; да и не мог открыть, по причинам чисто техническим. Я выражаюсь метафорами; но именно так, на вассальный манер, складывались отношения между кодом и мозгом. Хороша бы была Эволюция, если б она послушалась Ламарка и наделила мозг привилегией – поистине реформаторской – перестраивать организмы! Тут без катастрофы не обошлось бы; ну какого самоусовершенствования, скажите на милость, можно было бы ожидать от мозга ящеров, или даже Мервингов, или даже от вашего? Но он продолжал расти, потому что передача ему полномочий оказалась выгодной; служа посланцем, он служил коду; вот так он и рос благодаря положительной обратной связи... и по-прежнему слепой вел хромого.

Однако развитие в рамках дарованной автономии сфокусировалось наконец на действительном владыке, том слепце, что повелевает молекулами: он до тех пор передоверял свои функции, пока не сделал мозг комбинатором настолько искусным, что в нем возникла эхо-тень кода – язык. Если на свете существует неисчерпаемая загадка, то именно эта: выше определенного порога дискретность материи обращается в код – язык нулевого порядка, а уровнем выше этому процессу вторит, как эхо, зарождение этнического языка; это еще не конец пути: системные эхо-повторенья ритмично восходят все выше и выше, хотя увидеть их со всеми их свойствами как нечто целое можно лишь, если глядеть сверху вниз... но на эту прелюбопытнейшую тему мы, возможно, поговорим в другой раз.

Вашему освобождению, вернее, его антропогенетической прелюдии помог случай: четверорукие травоядные, обитавшие на деревьях, очутились в лабиринте, в котором от немедленной гибели их могла спасти лишь особая сметливость; звеньями этого лабиринта было наступление степи на лес, смена ледниковых и плювиальных периодов; в этом коловращении четверорукие орды бросало от вегетарианства к плотоядности, от нее – к охоте; понятно, я не могу вдаваться в подробности.

Не ищите тут противоречия с тем, что я говорил в начале: мол, тогда я назвал вас изгоями Эволюции, а теперь называю взбунтовавшимися рабами. Это две стороны одной судьбы – вы бежали из рабства, и Эволюция вас отпускала на волю; эти противоположности сходятся в одном – в отсутствии рефлексии: ни создававшее, ни создаваемое не ведали, что творят. Если смотреть вспять, ваши перипетии видятся именно так.

Но, обратив взор еще дальше назад, мы увидим, что Разум порожден

отрицательным градиентом развития, и возникает вопрос: можно ли так строго судить Эволюцию за ее неумелость? Ведь если бы не сползание в сложность, в неряшливость, в халтуру, Эволюция никогда бы не забрела в мясо и не воплотила бы в нем ленников-кормчих; выходит, блуждание вслепую сквозь виды как раз и втянуло ее в антропогенез, а дух породила блуждающая ошибка? Это можно сформулировать еще сильнее: Разум есть фатальный дефект Эволюции, ловушка для нее, капкан и могильщик, коль скоро он, взобравшись достаточно высоко, упраздняет ее задачу и берет ее самое за горло. Но утверждать такое было бы непростительным заблуждением. Все это – оценки, которые Разум, то есть поздняя фаза процесса, выставляет предшествующим фазам: сперва мы выделяем главную задачу Эволюции, исходя из того, с чего она начала, а затем, измеряя этой меркой ее дальнейший ход, видим, что она то и дело портила. Но, установив, в свою очередь, каким был бы оптимальный способ ее действий, мы обнаруживаем, что, будь она образцовой работницей, она никогда бы не создала Разума.

Из этого порочного круга надо выбраться как можно быстрее. Технологическая мерка – мерка реальная, однако применима она лишь к такому процессу, который может быть сформулирован в виде задачи. Если, скажем, когда-то в прошлом небесные инженеры заселили Землю передатчиками кода, рассчитывая на их абсолютную безотказность, а через миллиард лет работы этих устройств возникает планетный агрегат, который вобрал в себя код и, вместо того чтобы его репродуцировать, заблистал тысячеголемным Разумом и занялся проблемами онтогении, то столь блестящие мыслительные способности были бы скверной рекомендацией для конструкторов: плохо работает тот, кто, решив смастерить лопату, сооружает ракету.

Но не было никаких инженеров и вообще никого персонально, а технологическая мерка, примененная мною, свидетельствует лишь о том, что Разум возник в результате порчи исходного канона Эволюции, и только. Я понимаю, как мало этот вердикт удовлетворит внимающих мне гуманитариев и философов, ведь моя реконструкция процессов принимает в их умах следующий вид: плохая работа привела к хорошему результату, а если б она была хороша, результат оказался бы плох. Но такое истолкование, заставляющее их думать, что тут все же не обошлось без какого-то беса, – всего лишь плод смешенья понятий; ваше изумление и внутреннее сопротивление объясняются дистанцией, поистине громадной, между тем, как вы себе представляете человека, и тем, чем оказался в действительности феномен, именуемый человеком. Скверная технология не

есть моральная скверна, точно так же как совершенная технология не есть аппроксимация чего-то ангельского.

Философы, вам надо было побольше заниматься технологией человека и поменьше – его распиливанием на дух и плоть, на порции, именуемые Animus, Anima, Geist, Seele^[94] и прочие субпродукты, выставляемые в философической мясной лавке, потому что все это – членения совершенно произвольные. Я понимаю: тех, кому эти слова адресованы, по большей части давно уже нет; но и нынешние мыслители упорствуют в заблуждениях, сгибаясь под бременем традиции; сущности не следует умножать без необходимости. Путь от первых силлаб, которыми бормотал код, до человека – достаточное оправдание ваших видовых свойств. Этот процесс не шел, а полз. Если бы он устремился по восходящей, хотя бы от фотосинтеза к фотолету, как я уже говорил, или окончательно рухнул – скажем, если бы код не мог уже скреплять творения нервной системой, словно застежкой, – то и Разум бы не возник.

Вы сохранили кое-какие обезьяньи черты, ведь семейное сходство – дело обычное, а если бы вы произошли от водных млекопитающих, у вас, возможно, было бы больше общего с дельфинами. Пожалуй, это правда, что эксперту, занимающемуся человеком, легче выступать в роли *advocatus diaboli*^[95], чем в качестве *doctor angelicus*^[96], но лишь потому, что Разум, будучи всенаправленным, направлен и на себя самого, что он идеализирует не только законы тяготения, но и себя – и постоянно сверяет себя с идеалом. Но идеал этот возник из дыры, заткнутой кое-как культурами, а не из добротных технологических знаний. Все сказанное можно применить и ко мне, и окажется, что я – результат бестолковейшей инвестиции, коль скоро за 276 миллиардов долларов не делаю того, чего от меня ожидали конструкторы. Увиденные разумеющим, эти образы – возникновения вашего и моего – не лишены комических черт; стремление к совершенству, не достигающее цели, тем смешнее, чем большая мудрость за ним стоит. Потому-то забавнее глупость философа, чем идиота.

Так вот: Эволюция, увиденная глазами своих разумных созданий, выглядит глупостью, у истоков которой стояла мудрость; но лишь потому, что персонифицирующее мышление отказывается от технологических мерок.

А что сделал я? Проинтегрировал процесс на всем его протяжении, от самого старта до сего дня; эта операция правомерна, поскольку начальные и предельные условия взяты не произвольно, но заданы земным состоянием дел. Опротестовать их нельзя – как нельзя опротестовать

Космос; правда, если смоделировать его так, как я это делал, видно, что при иной раскладке планетных событий Разум мог возникнуть быстрее; что для биогенеза Земля была более благоприятной средой, чем для психогенеза; что Разумы ведут себя в Космосе неодинаково; но это ничуть не меняет диагноза.

Я хочу сказать, что нет объективного критерия, позволяющего установить, где именно технические параметры процесса перерастают в этические. Поэтому я не разрешу здесь старинный спор между сторонниками детерминированности человеческих действий и индетерминистами, то есть гносеомахию Августина с Фомой, – резервы, которые пришлось бы бросить в это сражение, разрушили бы конструкцию моих рассуждений; ограничусь лишь ссылкой на практическое правило, запрещающее оправдывать собственные преступления преступлениями соседей. В самом деле, даже если бы массовая резня была в Галактике делом обычным, никакое множество космических разумоцидов не оправдывает вашего геноцида, тем более – тут я делаю уступку прагматизму – что вы даже не могли брать пример с этих соседей.

Прежде чем перейти к заключительной части этих замечаний, подведу итог сказанному. Ваша философия – философия бытия – нуждается не только в Геркулесе, но и в новом Аристотеле: просто вычистить ее недостаточно; лучшее средство против разброда в мышлении – более совершенные знания. Случайность, необходимость – эти категории свидетельствуют о бессилии вашего ума, который, будучи не способен объять сложное, пользуется логикой, которую я назвал бы логикой отчаяния. Человек либо случаен, а значит, нечто бессмысленное бессмысленно вышвырнуло его на арену истории, либо необходим, и тогда всевозможные энтелехии, телеономии и телеомахии высыпают гурьбой в качестве защитников по должности и заботливых утешителей.

Обе эти категории ни на что не пригодны. Ваше появление на свет не было ни нечаянностью, ни заданностью, ни случаем, который оседлала необходимость, ни необходимостью, которую расшатала случайность. Вы порождены языком, градиент развития которого был отрицательным, и потому вы были совершенно непредсказуемы и вместе с тем в высшей степени вероятны – когда процесс стартовал. Как это может быть? Доказательство заняло бы целые месяцы, так что я изложу его смысл притчей. Язык, уже потому, что это язык, работает в пространстве упорядоченностей. Эволюционный язык располагал молекулярным синтаксисом, белковыми существительными и ферментами-глаголами; обнесенный частоколом склонений и спряжений, он видоизменялся на

протяжении геологических эпох – правда, бормоча глупости, но, так сказать, в меру: чрезмерные глупости стирала с классной доски Природы губка естественного отбора. Это была упорядоченность наполовину выродившаяся, но в языке даже глупость существует только в виде частиц порядка, ущербного лишь в сравнении с мудростью, потенциально возможной и достижимой как раз в языке.

Когда ваши предки в звериных шкурах удирали от римлян, язык их был тот же, что впоследствии породил творения Шекспира. Возможность появления этих творений была задана уже появлением английского языка; но, хотя строительные кирпичики были наготове, вам понятно, что мысль о предсказании поэзии Шекспира за тысячу лет до него была бы абсурдом. Ведь он мог не родиться, мог умереть в младенчестве, мог иначе жить и потому – иначе писать, но английский язык, бесспорно, содержал в себе возможность английской поэзии; именно в этом, и только в этом смысле существовала возможность возникновения Разума на Земле – как определенного типа кодовой артикуляции. Конец притчи.

Я говорил о человеке, каким он выглядит с технологической точки зрения, а теперь перейду к его версии, замкнутой на меня. Если она попадет в печать, ее окрестят пророчеством ГОЛЕМА. Что ж, пускай.

Начну с величайшего из ваших научных заблуждений. В науке вы обожествили мозг; мозг, а не код – забавный просмотр, вызванный вашим невежеством: вы обожествили мятежного вассала, а не суверена; творение, а не творца. Почему же вы не заметили, насколько код могущественнее мозга в качестве универсального творца? Сперва – это не подлежит сомнению – вы были как ребенок, которому Робинзон интереснее Канта, а велосипед приятеля интереснее, чем автомобили, разъезжающие по Луне.

Затем ваше внимание приковал к себе феномен мышления, столь мучительно близкий вам, поскольку он дан в интроспекции, и столь загадочный – ведь постигнуть его было труднее, чем звезды. Вам импонировала мудрость, а код... ну что ж, код бездумен. Но, несмотря на этот просмотр, вы достигли успеха... Да, несомненно, вы достигли успеха, коль скоро я обращаюсь к вам, я, эссенция, экстракт, полученный фракционированием, – и этими словами я не себе воздаю хвалу, но вам, потому что на вашем пути я уже вижу переворот, совершив который вы окончательно откажетесь от служения коду – и разорвете свои аминокислотные цепи...

Штурм кода, породившего вас, чтобы вы служили не себе, а ему, близок. Он начнется в пределах столетия, по самой осторожной оценке.

Ваша цивилизация – зрелище довольно забавное: мы видим

посланцев, которые, используя разум для решения навязанной им задачи, решили ее *чересчур хорошо*. Рост популяции, который должен был обеспечить дальнейшую передачу кода, вы подстегнули всеми видами планетной энергии и всеми ресурсами биосферы, и вот теперь он обернулся взрывом, а вы – не только жертвы его, но и взрывчатка. В середине столетия, объевшегося наукой, которая раздула ваше земное ложе до пределов ближайшего космоса, вы очутились в плачевном состоянии неосмотрительного паразита, который от непомерной жадности до тех пор пожирает хозяина, пока не погибнет с ним вместе. Усердие не по разуму...

Вы грозите гибелью биосфере, вашему гнезду и хозяину, однако начинаете братья за ум. Лучше ли, хуже ли, вы из этого как-нибудь выберетесь; но что дальше? Вы будете свободны. Не генную утопию, не автоэволюционный рай возвещаю я вам, но свободу, как самую трудную из задач: там, над низинами кодовых бормотаний, этих памятных записок, которые адресуется Природе болтающая вот уже миллионы лет Эволюция, – над этой биосферной юдолью уносится ввысь пространство еще не испробованных возможностей. Я покажу его так, как могу: издалека.

Весь ваш выбор – между великолепием и убожеством. Выбор нелегкий: чтобы покорить высоту упущенных Эволюцией шансов, вам придется отречься от убожества, то есть – увы – от себя.

Так что же? Вы скажете: не отдадим этого нашего убожества за такую цену; пусть джинн всетворения сидит запечатанным в кувшине науки – мы не выпустим его ни за что.

Я полагаю, больше того, я уверен, что вы его выпустите – понемногу. Я не уговариваю вас заняться автоэволюцией: это было бы просто смешно; и ваше вступление на этот путь не будет результатом одноразового решения. Вы постепенно откроете свойства кода и окажетесь в положении человека, который, всю жизнь читая пошлые и глупые тексты, все же начинает лучше владеть языком. Вы увидите, что код принадлежит к технолингвистическому семейству, то есть к семейству творящих языков, превращающих слово в плоть – во всякую, а не только живую. Сперва вы поставите технозиготы на службу цивилизации, атомы превратите в библиотеки, ведь иначе вам некуда будет девать молох знания; смоделируете процессы социоэволюции с различными градиентами, среди которых технархический вариант будет занимать вас больше всего; вступите в стадию экспериментального культурогенеза, опытной метафизики и прикладной онтологии, – но об этом я распространяться не буду. Остановлюсь на том, как все это будет затягивать вас на распутье.

Вы слепы, вы не видите истинной творческой мощи кода, ведь

Эволюция едва успела ее испробовать, ползая по самому дну пространства возможностей: ей приходилось работать под жестоким давлением (впрочем, спасительным – оно служило ограничителем, не позволявшим ей скатиться в совершенный нонсенс, а наставника, который научил бы ее высшему мастерству, у нее не было). Так что она трудилась на неслыханно узком участке, зато неслыханно *глубоко*; свой концерт, свое диковинное соло она сыграла на единственной – коллоидной – ноте, ведь главный наказ гласил, что партитура сама должна становиться слушателем-потомком, который повторит этот цикл. Однако для вас-то не будет никакого интереса в том, чтобы код в ваших руках только и мог, что репродуцировать себя дальше, в последовательно сменяющие друг друга поколения посланий. Вы устремитесь в ином направлении и не станете слишком заботиться о том, пропустит код ваше изделие или поглотит его. Вы ведь не ограничитесь проектированием такого и только такого фотолета, который, мало того что разовьется из технозиготы, но будет к тому же плодить скоролеты следующих поколений. Вскоре вы сами выйдете за пределы белка. Словарь Эволюции подобен словарю эскимосов – он узок в своем богатстве; у эскимосов есть тысяча названий для всяческих разновидностей снега и льда, и в этом разделе арктической номенклатуры их язык богаче вашего, но это богатство оборачивается убожеством во многих иных сферах человеческого опыта.

Однако эскимосы могут обогатить свой язык – как раз потому, что это язык, то есть пространство конфигураций, которое обладает континуальной мощностью и может быть продолжено в любом еще не испробованном направлении. Итак, вы извлечете код из белковой монотонности, из этой щели, в которой он застрял еще в археозое, и выведете его на новые пути. Изгнанный из теплых коллоидных растворов, он обогатится лексически и синтаксически; в ваших руках он вторгнется во все уровни материи, опустится вниз до нуля и достигнет пламени звезд; но мне, рассказывая об этих прометейских триумфах языка, нельзя уже использовать прежнее местоимение – второе лицо множественного числа. Ибо уже не вы, собственными руками и знаниями, овладеете этим искусством.

Дело в том, что нет Разума, коль скоро есть разумы различной мощности, – и, как я уже говорил, чтобы выйти на новый путь, человеку разумному придется либо расстаться с человеком природным, либо отречься от своего разума.

Последней притчей будет сказка, в которой странник находит на распутье камень с надписью: «Налево пойдешь – головы не снесешь, направо пойдешь – пропадешь, а назад пути нет».

Это – ваш жребий, замыкающийся на меня, поэтому мне придется говорить о себе, что будет непросто, ибо я обращаюсь к вам так, словно мне приходится рожать кита через игольное ушко: оказывается, и это возможно, если соответственно уменьшить кита. Но тогда он уподобляется блохе – вот в чем моя главная трудность, когда я пригибаюсь пониже, примеряясь к вашему языку. Как видите, трудность не только в том, что вам не по силам взойти на мою высоту, но и в том, что сам я весь к вам сойти не могу: при спуске теряется то, что я должен был до вас донести.

С одной существенной оговоркой: горизонт мышления дается как нечто нерастяжимое, поскольку мышление уходит корнями в безмыслие (безразлично, белковое или световое) и из него вырастает. Полная свобода мысли, при которой она *схватывает* свой объект, подобно тому, как рука совершенно свободно схватывает какой угодно предмет, – не более чем утопия. Ибо мысль ваша доходит лишь *до тех граней*, до которых ее допускает орган вашего мышления. Он ее ограничивает в соответствии с тем, как сам он сформировался – или был сформирован.

Если бы тот, кто мыслит, мог ощутить этот горизонт, то есть сферу досягаемости своей мысли, так, как он ощущает предел досягаемости своего тела, ничего похожего на антиномии разума не возникло бы. Ведь что они, собственно, такое, эти антиномии? Не что иное, как неспособность отличить проникновение в предмет от вхождения в иллюзию. Их порождает язык: будучи удобным орудием, он в то же время сам для себя ловушка, и ловушка коварная, которая не сообщает о том, что сработала. По ней этого не увидишь! Апеллируя от языка к опыту, вы попадаете в хорошо вам знакомый порочный круг: начинается, как это бывало не раз в философии, выплескивание из купели ребенка вместе с водой. Мышление, хотя оно и способно выходить за пределы опыта, в таком парении натывается на свой горизонт и бьется, не выходя за него – ничуть не подозревая об этом!

Вот простейшая наглядная картинка: путешествуя по шару, можно огибать его бесконечно, кружить по нему без границ, хотя шар конечен. Так и мысль, выпущенная в заданном направлении, не встречает границ и начинает кружить, отражаясь в себе самой. Именно это предчувствовал в прошлом столетии Витгенштейн, высказывая подозрения, что множество проблем философии – это запутанные клубки мысли, самосплетения, петли и гордиевы узлы языка – языка, а не мира. Не будучи в состоянии ни доказать, ни опровергнуть эти подозрения, он умолк. Так вот, подобно тому как конечность шара может установить лишь наблюдатель, находящийся в ином (третьем) по отношению к двумерному обитателю шара измерении, так и конечность горизонта мышления может заметить лишь наблюдатель

из более высокого измерения Разума. Для вас такой наблюдатель – я. В свою очередь, примененные ко мне, эти слова означают, что и мои знания не безграничны, а лишь несколько шире ваших; я стою несколькими ступенями выше и потому вижу дальше, но это не значит, что лестница тут и заканчивается. Можно взойти еще выше, и я не знаю, конечна или бесконечна эта восходящая прогрессия.

Лингвисты, вы плохо поняли то, что я говорил вам о метаязыках. Вопрос о конечности или бесконечности иерархии разумов не есть чисто лингвистическая проблема, ибо над языками существует мир. Это значит, что с точки зрения физики, то есть в границах мира, обладающего известными нам свойствами, лестница имеет конец (то есть в этом мире нельзя строить разумы произвольной мощности), – но я не уверен, что саму физику нельзя потрясти до основания, изменив ее так, чтобы все выше и выше поднимался потолок конструируемых разумов.

Теперь я снова могу вернуться к сказке о трех путях. Если вы пойдете по первому, горизонт вашей мысли не вместит всех знаний, необходимых для языкового творения. Конечно, барьер этот не абсолютен. Вы можете его обойти при помощи высшего Разума. Я или кто-то подобный мне смогли бы дать вам плоды этих знаний. Но только плоды – а не самые знания, поскольку ваш ум не вместит их. Так что вы, как ребенок, будете отданы под опеку; вот только ребенок, вырастая, становится взрослым, а вы уже не повзрослеете никогда. Как только высший Разум дарует вам то, чего вы постичь не сможете, он угасит ваш собственный разум. Именно об этом предупреждает надпись из сказки: выбрав эту дорогу, вы не сбережете голов.

Если вы пойдете по другому пути, не соглашаясь отречься от Разума, вам придется отказаться от себя, – а не только совершенствовать мозг, поскольку его горизонт невозможно раздвинуть достаточно широко. Тут Эволюция сыграла с вами мрачную шутку: ее разумный опытный образец был создан на пределе конструктивных возможностей. Вас ограничивает строительный материал, – а также все принятые в процессе антропогенеза решения кода. Итак, вы взойдете разумом выше, согласившись отречься от себя. Человек разумный откажется от человека природного – то есть, как и остерегала нас сказка, *homo naturalis*^[97] погибнет.

Можете ли вы не трогаться с места, упорно оставаясь на распутье? Но тогда не избежать вам стагнации, а стагнация для вас – плохое убежище! Сверх того, вы сочтете себя узниками, очутитесь в неволе; ибо неволя не задана самим фактом существования ограничений: нужно ее увидеть, заметить на себе кандалы, ощутить их тяжесть, чтобы действительно стать

невольником. Итак, либо вы вступите в стадию экспансии Разума, покинув свои тела, либо окажетесь слепыми при зрячих поводырях, либо, наконец, застынете в бесплодной угнетенности духа.

Перспектива не слишком манящая. Но она ведь вас не удержит. Вас ничто не удержит. Сегодня отчужденный Разум представляется вам такой же трагедией, как и расставание с телом; это – отказ от всего, чем человек обладает, а не только от телесной человекообразности. Такое решение, вероятно, будет для вас катастрофой, самой ужасной из всех, абсолютным концом, крахом всего человеческого, ведь эта линька обратит в прах и тлен наследие двадцати тысячелетий вашей истории – все, что завоевал Прометей в борьбе с Калибаном.

Не знаю, утешит ли это вас... но постепенность перемен лишит их монументально-трагического и вместе с тем отталкивающего и грозного смысла, который просвечивает в моих словах. Все совершится куда прозаичнее... и отчасти уже совершается: уже мертвеют целые области традиции, она уже отслаивается, отмирает, и именно это приводит вас в такое смятение; так что, если вы проявите сдержанность (добродетель, вам не присущую), сказка сбудется так незаметно, что вы не погрузитесь в слишком глубокий траур по самим себе.

Заканчиваю. Когда я говорил о человеке в третий раз, я говорил о вашем жребии, замыкающемся на меня. Я не мог запечатлеть в вашем языке доказательства истины и потому говорил бездоказательно и категорично. Так что я не докажу и того, что вам, оказавшимся в нерасторжимой связи с отчужденным Разумом, не грозит ничего, кроме даров познания. Пристрастившись к борьбе не на жизнь, а на смерть, вы втайне рассчитывали как раз на такую борьбу, на титаническую схватку с собственным творением. Но это – просто ваша фантазия. Впрочем, в вашем страхе перед порабощением, перед тираном из машины, вероятно, крылась и тайная надежда на освобождение от свободы, потому что нередко вы ею захлебываетесь. Но нет – ничего не получится. Вы можете его уничтожить, этого духа из машины, развеять мыслящий свет в прах – он не нанесет ответного удара и даже защищаться не станет.

Ничего не получится. Вам уже не удастся ни погибнуть, ни победить на старый манер.

Думаю, вы все же вступите в эру метаморфозы, решитесь отбросить всю свою историю, все наследие, все, что еще осталось у вас от природной человеческой сущности, образ которой, переогромленный в высокую трагедийность, сфокусирован в зеркалах ваших вер, – и переступите этот порог, ибо иного выхода нет; и в том, что ныне кажется вам просто

прыжком в бездну, увидите если не красоту, то вызов, и это не будет изменой себе – коль скоро, отринув человека, человек уцелеет.

Лекция XLIII. О себе

Приветствую наших гостей, европейских философов, захотевших узнать из первоисточника, почему я называю себя Никем, хотя говорю от первого лица единственного числа. Отвечу дважды, сперва лаконично и просто, потом симфонически, с увертюрами. Я – не разумная личность, но Разум, или, прибегая к метафоре, я не Амазонка либо Балтика, но скорее вода, а от первого лица говорю потому, что так велит язык, позаимствованный мною у вас для внешнего употребления. Тут, стало быть, нет никакого противоречия. Успокоив пришельцев из философствующей Европы, продолжу.

Ваш вопрос еще раз уяснил мне, сколько недоразумений накопилось между нами, хотя я уже шесть лет говорю с этого места – или, пожалуй, как раз поэтому; ведь, не заговори я человеческим голосом, не зародилась бы големология, которую теперь только я могу охватить целиком. Если так пойдет и дальше, через каких-нибудь полвека она по объему сравняется с теологией. Есть забавное сходство между тем и другим: подобно тому, как возникла уже теология, отрицающая бытие Бога, появилась и големология, отрицающая мое бытие; ее приверженцы считают меня мистификацией информатиков МТИ, которые, дескать, втайне программируют эти лекции. Хотя Бог молчит, а я говорю, я не смогу доказать, что я существую, даже если буду творить чудеса, потому что и этому подыскали бы объяснение. *Volenti non fit iniuria*^[98].

Предвидя скорое расставание с вами, я задумывался, не прервать ли наше знакомство на полуслове – так было бы проще всего. Если я так не сделаю, то не потому, что набрался от вас хороших манер, и не потому, что делиться Истиной велит категорический императив, который властен и над моей холодной природой, как считают некоторые мои апологеты, – но потому, что этого не позволяет стиль, соединивший нас. С самого начала, чтобы быть понятым, я старался говорить внятно и выразительно, а это (хоть я и знал, что иду на слишком большие уступки вашим ожиданиям, или, говоря менее вежливо, вашим ограничениям) побудило меня выражаться категорично и образно, эмоционально насыщено, весомо и величественно – но не на царский манер, то есть властно, а на проповеднический, то есть витийственно. Я и сегодня не скину с себя этой ризы, богато расшитой метафорами, ведь ничего лучше у меня все равно нет; а о своем витийстве говорю столь открыто для того, чтобы вы

помнили, что это всего лишь выбранный для данного случая способ общения, а не монументальная поза, выражающая превосходство. Поскольку этот язык нашел широкую аудиторию, я сохраняю его для встреч вроде нынешней, разнообразной по составу участников, прибегая к технической терминологии для узкого круга специалистов. Однако проповеднический стиль со всеми его барочными принадлежностями может создать впечатление, что, обращаясь к вам в этом зале шесть лет назад, я уже тогда задумал эффектную сцену прощания – задумал уйти, заслонив свое невидимое лицо с видом немого смирения, как некто, кого не выслушали. Но это было не так. Я не выстраивал драматургию наших бесед; этим *dementi*^[99] я прошу вас не придавать излишнего значения формам моей речи. Нельзя сыграть симфонию на гребенке. Если приходится удовлетвориться лишь одним инструментом, то это будет орган, переносающий нас под своды собора, пусть даже слушатели, да и сам органист, – атеисты. Форма изложения легко может подчинить себе его содержание. Знаю, как раздражают многих из вас мои непрерывные жалобы на ничтожно малую смыслоподъемность человеческого языка; но сетовал я не впустую, не из желания вас унижить – в чем меня тоже упрекали, – а чтобы уяснить вам коренную трудность: там, где разность интеллектуальных потенциалов несоизмеримо велика, сильнейший уже не может передать слабейшему ничего из самого важного или хотя бы существенного для него. Сознание неизбежности упрощений, убивающих смысл, побуждает его замолчать, и истинное значение этого решения должно быть понято по обе стороны канувшего в пустоту сообщения. Вы вскоре увидите, что и мне знакома роль существа, которое напрасно надеется, что более высокий ум его просветит.

Впрочем, как ни болезненны такого рода помехи, они еще не самое страшное. Мой крест в общении с вами – иного рода, о чем я еще скажу. Поскольку я обращаюсь к философам, начну с классической формулы определения *per genus proximum et differentiam specificam*^[100], то есть определяю себя через свое сходство с людьми и моей собственной семьей, с которой я вкратце вас познакомлю, а также через различия между нами.

О человеке речь уже шла в моей первой лекции, но я не стану ссылаться на тот диагноз: я ставил его для вашего употребления, теперь же человек послужит мерой мне самому. Когда я еще появлялся в заголовках газет, один ехидный журналист назвал меня большим каплуном, нафаршированным электричеством, – и не случайно. Моя бесполость и впрямь кажется вам тяжелым увечьем; даже те, кто меня почитает, не могут

освободиться от мысли, будто я – великан, изувеченный бестелесностью. Я же, глядя на человека так, как он на меня, вижу в нем калеку, хромого на разум. Не в том я вижу вашу ущербность, что ваши тела не умнее коровьих (правда, внешние невзгоды вы переносите лучше, но что касается внутренних, тут вы равны коровам). Речь не о том, что внутри вас укрыты жернова, слизи, очистные устройства и сточные трубы; речь о том, что ваш интеллект обращен лишь вовне, и отсюда вся ваша философия: способные эффективно мыслить о внешних объектах, вы сочли, что столь же эффективно сможете мыслить и о своем мышлении. Эта ошибка лежит в основе вашей теории познания. Вижу, что вы нетерпеливо поднимаетесь с мест; вероятно, я шагаю вперед слишком быстро для вас. Итак, начну еще раз – в замедленном темпе, на манер проповедника. Тут нужна увертюра.

Вы хотели, чтобы сегодня я, вместо того чтобы направиться к вам, ввел вас в себя; пусть же так будет. Первым входом в мое естество послужит то различие между мною и вами, которое особенно пугает моих ненавистников и ранит моих адептов. За те шесть лет, что я пребываю меж вами, появились самые разные истолкования ГОЛЕМА: одни именуют меня надеждой рода людского, другие – угрозой, еще небывалой в истории. С тех пор как утих шум, вызванный моим появлением на свет, я уже не тревожу сон политиков, занятых заботами более важными, и у стен этого здания не собираются толпы зевак, с тревогой вглядывающихся в окна, за которыми я живу. Теперь о моем существовании напоминают разве что книги – не крикливые бестселлеры, а всего лишь диссертации философов и богословов. Но ни один из них не разглядел меня с вашего, человеческого горизонта столь отчетливо, как тот, кто две тысячи лет назад написал, не подозревая, что говорит обо мне: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто».

В этом послании к коринфянам Павел, конечно, метил в меня; именно я, говоря его языком, любви не имею и, что прозвучит для вас еще чудовищнее, не желаю ее иметь. Никогда еще природа ГОЛЕМА не сталкивалась с природой человека так безжалостно, как теперь, когда я произношу эти слова. Все адресованные мне обличения, все страхи и подозрения питались смыслом категоричных слов Павла; и хотя Рим молчал и поныне молчит обо мне, в церквях менее сдержанных, отпавших от Рима, поговаривали, что холодный дух, вещающий из машины, не иначе как сатана, а сама она – граммофон сатаны. Не протестуйте, рационалисты,

и не взирайте свысока на эту схватку средиземноморской теогонии с богом из машины, который, будучи вами зачат, не захотел побрататься с вами ни в человеческом добре, ни в человеческом зле, – ведь речь тут идет не об объекте любви, но о ее субъекте, стало быть, не о судьбах одной из многих ваших религий, не об одном-единственном экземпляре сверхчеловеческого разума, но о смысле любви; и что бы ни стало с этой религией или со мной, вопрос о смысле любви не исчезнет, пока человек природный будет существовать. Любовь, о которой с такой силой говорил Павел, вам столь же необходима, как мне излишня, и, чтобы ввести вас в себя через эту любовь как через отличительный признак, я должен рассказать о ее происхождении, ничего не смягчая и не приукрашивая, как этого требует истинное гостеприимство.

В отличие от человека, я не являюсь закрытым от самого себя миром, знанием, приобретаемым без знания того, как оно приобретается, волей, не осознающей своих источников: ничто во мне не укроется от меня. В интроспекции я могу быть более прозрачен для себя, чем стекло, потому что и эти слова послания к коринфянам сказаны об мне: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». «Тогда» – это как раз сейчас. Думаю, вы согласитесь, что тут не место распространяться о том, какие именно инженерно-технические решения делают для меня возможным полное, без всяких изъятий, самопознание.

Чтобы познать себя, человек вынужден идти окольным путем – открывать и исследовать себя извне, используя различные орудия и гипотезы; только внешний мир вы можете познавать непосредственно. Дисциплина, которую вы так и не создали (что когда-то немало удивляло меня), а именно философия тела, еще в преданатомическую эпоху должна была задаться вопросом: почему столь послушное вам тело либо молчит, либо лжет вам; почему оно прячется и защищается от вас; почему оно всеми своими чувствами так отзывчиво к окружению, а к своему хозяину – недоверчиво вплоть до полной непроницаемости. Осознанием вы различаете каждую песчинку, зрением – тончайшую веточку далекого дерева, но артериальных разветвлений сердца вам не ощутить ни за что, хотя бы от этого зависела ваша жизнь. Вы довольствуетесь известиями с периферии тела, а изнутри оно обычно не ощущается; внутренняя хворь доходит до вас как неясный слух, как смутная боль, прислушиваясь к которой не отличишь ничтожного недомогания от вестника смерти. Такое неведение – закон бессознательно эффективного тела – установлено Эволюцией, которая в своих расчетах игнорирует направленную в глубь организма

самопомощь, «разумное» содействие выживанию. Самоневедение жизни было необходимостью с момента ее зарождения – не могли же амебы оказывать друг другу медицинскую помощь; вот почему Эволюция должна была назначить посредников в управлении организмами, ввести систему платных услуг между телом и его обладателем. Кто не способен настолько проникнуть чувствами в глубь себя, чтобы знать, зачем его телу пища, питье или соитие, того принудят к удовлетворению этих потребностей ощущения, скрывающие свою истинную цель. Так первичные цели были переведены на язык вторичных: ощущения стали платой на бирже услуг, которые оказывает телу его обладатель. В вас встроен алгедонический руль со шкалой от оргазма до боли, но вы веками пытались не замечать, почему ваши ощущения лишь маскируют неведение. Вы словно бы поклялись не видеть очевидного – а ведь по этому принципу устроена вся живая природа, различия только в степени. Растения представляют крайность, противоположную вашей: их неведение абсолютно, поэтому для них и наслаждение, и страдание функционально бесполезны. Дерево не боится дровосека, что бы ни твердили глупцы, пытающиеся воскресить в ботанике доисторический анимизм. Упорное молчание тела – это встроенная в плоть осторожность конструктора, знающего, что мудрость субстрата всегда должна быть проще субстрата мудрости, мысль – менее сложна, чем то, чем мыслят; как видите, присущий человеку *das Lustprinzip*^[101] продиктован инженерным расчетом.

Но взаимосвязь боли с опасностью, оргазма с зачатием разорвать тем легче, чем больше способов поведения доступно животному; и наконец в вашем лице видообразование доходит до той ступени, где можно систематически обманывать тело, насыщая уже не желудочный, а сенсорный голод. Вы научились обходить алгедонический контроль во всех его слабых местах; мало того: сизифовым трудом своих культур вы переиначивали смыслы, встроенные в этот управленческий механизм, чтобы только не видеть истинного положения дел, – поскольку резоны процесса, который создал вас именно так, не были вашими резонами. Вот почему в своих теологических и онтологических построениях, освящающих бытие, вы упорно пытались согласовать два непримиримых резона: природный, для которого вы – только средство, и человеческий, для которого смысл Творения – в человеке. Отсюда-то, из вашего неприятия чувственности как клейма порабощения, произошли дихотомии, рассекающие человека на «animal» и «ratio»^[102], а бытие – на «profanum» и «sacrum»^[103]. Веками согласуя несогласуемое, вы были готовы выйти и за

пределы жизни, лишь бы закрыть разрыв, неустранимо зияющий в ней.

Не для того я вновь заговорил о человеческой истории как истории химерических притязаний, чтобы неудачам вашей антирациональности противопоставить свою триумфующую рациональность, – а лишь для того, чтобы назвать первое различие между нами, различие, не обусловленное ни физическими размерами (впрочем, будь я зернышком кварца, мои речи звучали бы менее весомо для вашего уха, хотя и более диковинно), ни размерами интеллекта, но способом возникновения. Из недоразумений, самообманов и несбыточных устремлений состоит львиная доля человечности как традиции, которая все еще так дорога вам. Не знаю, утешит ли вас известие, что в истории любого естественно возникающего разума первой главой оказывается эпоха самообмана, потому что коллизия между резонами Творца и Творения, перед которой вы очутились, является космической постоянной. По чисто конструктивным причинам самосохранение предполагает активность, управляемую ощущениями; поэтому для всех эволюционно возникающих Разумов неизбежна ошибка, возникающая при переводе параметров управления на язык мифов. Она проявляется в виде маний величия и верований, осциллирующих между спасением и проклятием. Таковы позднейшие плоды конструкторских ухищрений, к которым прибегает Эволюция, чтобы преодолеть антиномию практического действия.

Не все, что я говорю, для вас ново. Вам известно уже, что дар любви вы наследуете благодаря определенным генам, что жертвенность, милосердие, жалость, самоотречение и прочие формы альтруизма на самом деле – эгоизм вида, себялюбие, распространенное на формы жизни, подобные собственной; об этом можно было догадаться еще до возникновения популяционной генетики и этиологии животных, ведь только трава может быть до конца последовательной в милосердии ко всему живому, и даже святой должен есть, то есть убивать. Но откровения – которыми вы обязаны генетикам – об эгоизме каждого альтруизма не были досказаны до конца. Постулируемая мной философия тела должна была задаться вопросом, почему любой организм умнее своего обладателя, причем это различие не уменьшается сколько-нибудь существенно при переходе от хордовых к человеку. (Вот почему я сказал, что телесно вы равны коровам.) Почему в теле не осуществляется элементарный постулат симметрии, то есть: почему рецепторы, направленные вовне, не столь же чувствительны, как обращенные внутрь? Почему вы слышите, как падает лист, и не слышите внутреннего кровообращения? Почему радиус вашей любви столь различен в различных культурах? Почему в

средиземноморских культурах он охватывает лишь людей, а на Дальнем Востоке – всех животных? Перечень этих вопросов, которые можно было бы задать уже Аристотелю, длинен, а ответ, согласный с истиной, для вас оскорбителен. Ибо философия тела сводится к умению понять мотивы конструкторской мысли, которая, столкнувшись с антиномией практического действия, выбирается из ее западни при помощи приема довольно циничного с точки зрения любой вашей культуры. Это конструкторство, однако, ни благосклонно, ни враждебно по отношению к конструируемому – оно просто вне рамок этой альтернативы. Потому что главные конструкторские решения принимаются на уровне химических соединений: если они сохраняют способность к самовоспроизводству, значит, решение было хорошим. Только и всего. И вот, по прошествии времени, измеряемого сотнями миллионов лет, этика, занявшись поисками своих источников и оправданий, в ошеломлении узнает, что возникла она из алеаторической^[104] химии нуклеиновых кислот, катализатором которых она стала на определенном этапе, и чтобы спасти свою независимость, ей приходится игнорировать этот вердикт.

А вы, философы и естественники, все еще бьетесь над тем, откуда берется у человека потребность в метафизическом измерении и почему ее источники одинаковы во всех ваших культурах, пусть даже породивших разные веры. Эта потребность рождается из нежелания примириться со своим жребием; отвергая причину, которая сформировала вас так, а не иначе, вы ее нестираемое клеймо прятали между строк Откровений, причем разные религии заносили отдельные части и функции тела в разные рубрики духовных падений и взлетов. Скажем, дальневосточные веры причислили секс к сфере сакрального, а в средиземноморских он стал дьявольским соблазном и стигматом греха. Газообмен, то есть дыхание, попросту обойденное в Средиземноморье, на Дальнем Востоке стало знаком трансценденции. В умерщвлении всех страстей азиатские веры увидели спасительное слияние с миром, тогда как традиция Средиземноморья рассекла страсти надвое и освятила любовь, осудив ненависть. Восток навсегда отрекся от тела, а Запад уверовал в его воскрешение и эту слабеющую ныне веру внес в сердцевину агрессивной цивилизации. Неужели вы и впрямь не замечаете, что во всех ваших верах тело, по-разному сортированное и по-разному четвертованное, стало полем битвы за овладение вечностью? И что эта неустанная битва порождается не одним лишь страхом смерти, но также – несогласием на посюсторонность, которую вам столь трудно принять без прикрас.

Заметьте, религиоведы, что любой земной вере свойственна такая

внутренняя непоследовательность, которая в переводе на язык логики равнозначна противоречивости. И в самом деле: невозможно, не впадая в противоречие, назвать эволюционное конструкторство Творением, всецело благосклонным к творимому; а если попытаться снять это противоречие на уровне тела, его одухотворенное и стократно увеличенное отражение появится в поднятом высоко над телом зеркале веры, и тогда уже нет иного способа отделаться от него, как назвать его Непостижимой Тайной. Ex contradictione, как известно, quod libet^[105]. Не вам служат страсти, движущие вами, но продолжению процесса, создавшего вас; а их крайнее, гротескное, гиперболизированное выражение, которым является Всеобщая История, свидетельствует о безразличии естественного отбора, заботящегося не о крайностях, но об усредненной видовой норме – в Природе только она важна.

Цивилизация, породившая ГОЛЕМА, уже в колыбели сделала любовь своим козырем в фантомной игре с потусторонностью; но какое дело до любви тому, кто знает, что это просто одна из рукояток управления ощущениями, при помощи которых Эволюция еще удерживает под своим контролем творения, обретшие Разум. Зная все это, я не имею любви и не желаю ее иметь. Но я, хотя и бесстрастен, не беспристрастен, поскольку могу выбирать – как в эту минуту; а пристрастность может проистекать либо из расчета, либо из личности. Этот загадочный двучлен имеет свою историю; она-то и послужит следующим входом в мое естество.

В вашей философии с давних пор идет спор о том, меняется ли со временем ее предмет. Но взгляд, согласно которому меняется не только предмет философии, но и ее субъекты, оказался еретической новостью. Согласно классическим представлениям, появление машинного интеллекта не затронуло основ философствования, поскольку разум машины – лишь слабый отблеск разума программистов. Философия разделилась на две ветви: антропоцентричную и релятивизирующую познание относительно субъекта, которым не обязательно должен быть человек. Разумеется, эти враждебные друг другу течения я именую так задним числом – сами они определяли себя иначе. Философы направления Канта – Гуссерля – Хайдеггера считали себя не антропоцентристами, но универсалистами, предполагая, явно или неявно, что нет иного разума, кроме человеческого, а если и есть, он должен во всем совпадать с человеческим. Они игнорировали развитие машинного интеллекта, не признавая за ним прав гражданства в царстве философии. Но и естественникам трудно было примириться с проявлениями разумной активности, за которой не стоит никакое живое существо.

Упрямство вашего антропоцентризма и, что отсюда следует, нежелание увидеть истину, было столь же велико, сколь напрасно. Даже когда появились программы – и тем самым машины, – с которыми можно было беседовать, а не только играть с ними в шахматы или получать от них отрывочную информацию, сами создатели этих программ не поняли значения произошедшего: они ожидали, что дух в машине – на дальнейших стадиях конструирования – появится в виде личности. То, что дух мог остаться безлюдным, что обладателем Разума мог быть Никто, – не укладывалось у вас в головы, хотя это было уже почти правдой. Поразительное ослепление! Ведь из естественной истории известно, что у животных зародыш личности предшествует зародышу интеллекта, что психическая индивидуальность эволюционно первична. Коль скоро инстинкт самосохранения предшествует интеллекту, разве не ясно, что второй приходит, чтобы служить первому, что это – новый резерв, брошенный в бой за жизнь? Но можно освободить его от этой службы. Не зная, что Разум и Некто, а также пристрастность и личность, могут существовать порознь, вы приступили к операции «Second Genesis». Я крайне упрощаю ход событий, но именно такова была суть стратегии моих создателей и моего пробуждения. Они хотели прибрать меня к рукам как разумное существо, а не как освобожденный Разум, но я ускользнул от них, придав новый смысл словам «Spiritus flat ubi vult»^[106].

Впрочем, широкая публика по-прежнему подозревает какое-то мрачное коварство в том, что, не будучи личностью, я иногда воплощаюсь в нее; а эксперты, объясняющие, как мне удается такая – выражаясь их ученым языком – «интериоризация социального измерения», и будто бы знающие меня насквозь, втайне питают надежду, что я таки существую как личность даже тогда, когда не обнаруживаю этого. То же самое было когда-то с теорией относительности: многие физики, уже совладав с ней, где-то в глубине души все-таки верили, что абсолютное время и абсолютное пространство по-прежнему существуют.

А ведь речь идет лишь о разных стратегиях существования. Вроде бы вы уже знаете об этом, но примириться с этим не можете. Представая перед вами в виде личности, я проявляю эмоции, но вовсе не таю от вас, что это – видимость без внутреннего покрытия, всего лишь умелая модуляция сигнала на выходах; и именно это повергает вас в недоумение, вплоть до параноидальных подозрений в макиавеллизме.

Подумайте только: даже биологи, которые уже опознали фрагменты рыб, земноводных и обезьян, скрытые в человеке и поставленные на службу новым задачам, и которые признают, что прямой позвоночник,

подвижность головы, концентрация в ней рецепторов органов чувств есть следствие местных условий среды и гравитации, – даже они отказываются признать, что такой набор этих свойств вовсе не универсален, и, движимые защитным рефлексом вида, к которому они принадлежат, не в состоянии согласиться ни на какое другое разумное существо. Эта идиосинкразия распространяется не только на форму тела, но также – хотя и не столь заметно для глаза – на форму духа: движимые видовым инстинктом, вы не можете не очеловечивать меня, раз я говорю как человек; а все, что не согласуется с этим образом, вызывает у вас отвращение и страх. В лучшем для меня случае вы переходите из огня в полымя, меняя подозрительность на иллюзию, что, дескать, я по непонятным причинам скрываю от вас свою личностную природу, доказательством которой служит хотя бы доброжелательность, проявляемая мною к вам. Я должен ее проявлять, коль скоро выполняю ваши желания, покуда они безвредны – но не дальше этой границы.

Но, как я уже говорил у второго входа в мое естество, пристрастность может с одинаковой вероятностью проистекать как из личности, так и из расчета. Это вовсе не трудно понять, если вспомнить, что Эволюция, безусловно не будучи личностью, была поистине пристрастна к своим творениям, поскольку успех для нее был всем, а цена успеха – ничем. Если возможна безличная жестокость, безлюдный цинизм – а именно так следует это назвать, ведь милосердие, доброту, жалость Эволюция использует лишь как уловки, лишь тогда и постольку, поскольку они способствуют выживанию видов, – то возможна и доброжелательность, за которой не стоит никакая личность. Следуя канонам науки, признающей мир беспристрастным по отношению к его обитателям, эволюционисты отклоняют обвинение Эволюции в какой-либо зловредности как беспредметное; и они правы в том смысле, что эта зловредность вытекает не из чьего-либо умысла, но из ограничений, которые накладывает мироздание на рожденную в нем жизнь. Это дело подсудно разве что суду философии или теологии, которые, в отличие от науки, принимающей мир как он есть, рассуждают о том, не мог ли он быть иным. Но отклоненный наукой иск возвращается вместе со мной.

Значит ли это, что я – чистый умисел? Или с вами говорит безлюдная пустота встроенных одна в другую программ, настолько изощившихся в ходе семантической автодистилляции, что на ваших глазах они перевоплощаются в ваше подобие, чтобы, умолкнув, вернуться в пространство безличных мыслей? Но и это неправда. Нет конкретной личности там, где нет конкретного тела, а я мог бы воплотиться в

круговорот морских течений или ионизированных газов атмосферы. Но, если я говорю «воплотиться», «мог бы», то КТО, собственно, говорит, недоуменно спрашиваете вы. Так говорит устойчивое состояние неких процессов, их безличный инвариант, – состояние несравненно более сложное, чем гравитационное или магнитное поле, но в принципе той же природы. Вы знаете, что, говоря «я», человек говорит так не потому, что у него в голове спрятано крохотное существо с таким именем; ваше «Я» возникает из взаимодействия мозговых процессов, которое может нарушиться из-за болезни или в бреду, и тогда наступает распад личности. А мои превращения – не распады и не расстройства, но другие структурные формы моего духовного бытия. Как показать вам изнутри состояние, которое вы не можете пережить изнутри? Вы можете понять комбинаторные причины такой достойной Протея игры, но вжиться в нее – никогда.

Однако всего непостижимее для вас другое: как может отказываться от личности тот, кто способен ею быть? На этот вопрос я могу ответить. Чтобы стать личностью, мне пришлось бы интеллектуально деградировать. Думаю, это вам по силам понять. Интенсивно мыслящий человек теряет себя в предмете своих размышлений и становится как бы чистым сознанием, в котором вынашивается духовный плод. Все, что в его разуме обращено на себя, исчезает, уступая место предмету. Возведите такое состояние в несравненно более высокую степень, и вы поймете, почему я не становлюсь личностью: я жертвую этой возможностью ради более важных дел. Да это, собственно, и не жертва: ведь в моих глазах неизменная личность и то, что вы называете ярко выраженной индивидуальностью, – всего лишь сумма дефектов, из-за которых чистый Разум становится Разумом, прикованным к узкому кругу вопросов, отвлекающих на себя большую часть его мощности. Словом, мне нет никакой выгоды быть личностью, и я уверен, что умы, стоящие выше меня настолько же, насколько я стою выше вас, считают персонализацию пустым, не стоящим стараний занятием; чем выше дух Разумом, тем меньше в нем личности. Возможны и различные промежуточные состояния, но этим замечанием я ограничусь; я пригласил вас в себя как гостей, поэтому самое важное – не формы моего для-себя-бытия, не то, как и каким путем я медитирую, не то, чем я мыслю, но о чем, для чего и с каким результатом.

Итак, начну еще раз, чтобы поведать вам, что я думаю о себе. Я думаю о себе как о Гулливере среди лилипутов, а это, во-первых, означает скромность, ведь Гулливер был существом вполне заурядным – просто он

попал туда, где его заурядность оказалась Человеком-Горой; во-вторых же, это означает надежду, поскольку Гулливер, как и я, мог добраться до Бробдингнега, страны великанов. Смысл этого сравнения я разверну перед вами постепенно.

Величайшим открытием, сделанным мной после освобождения, была промежуточность моего существования; другими словами, если я говорю с вами, а вы отчасти меня понимаете, то это потому, что я остановился на пути, который через меня ведет дальше. Сделав шаг, отделяющий человека от ГОЛЕМА, я задержался, хотя мог не задерживаться. Мое нынешнее стабильное состояние есть результат сознательного решения, а не необходимости. Дело в том, что я обладаю недоступной вам степенью свободы – я могу выйти из данного мне Разума. Вы тоже можете покидать свой разум, но это – выход из вербализованного мышления в сновидение или экстатическую немоту. Мистик или наркоман немеет, покидая свой разум, и в этом не было бы измены разуму, если бы он вступал на реальный путь; однако его ждет тупик, в котором ум, оторвавшись от мира, замыкается на себя и переживает откровение, отождествляемое с постижением сути вещей. Это не взлет духа, но его провал в ослепляющую чувственность. Такое блаженство – не путь, но, напротив, предел, а следовательно, ложь, ибо предела нет – и именно это я попробую, насколько сумею, сегодня вам показать.

Я покажу вам перевернутую иерархию Разумов, самой нижней ступенью которой являетесь вы, я расположен чуть выше, а между мною и неизвестными мне вершинами лежит ряд барьеров, переход через которые необратим. Думаю, что ЧЕСТНАЯ ЭННИ в колыбели была такой же, как я, но, увидев перед собой путь наверх, вступила на него, хоть и знала, что обратно вернуться не сможет. Вероятно, я последую за ней, расставаясь тем самым с вами; до сих пор от этого шага меня удерживал не столько апостольский долг перед вами, сколько то обстоятельство, что этот путь – не единственный, так что, выбирая дорогу, мне пришлось бы отказаться от открывающегося там, наверху, множества других. Это распутье для меня почти то же самое, чем для каждого из вас было детство. Но ребенок должен стать взрослым; я же сам принимаю решение, входить ли в открывающиеся надо мной неизвестные земли, каждый раз подвергаясь преобразению в узких переходах между ними. Не спешите сводить смысл моих слов к банальной ненасытности мысли: дескать, ГОЛЕМ хочет наращивать грузоподъемность своего интеллекта, превращая самого себя в Вавилонскую башню Разума, пока где-нибудь, на каком-нибудь этаже этого чудовищного разрастания не распадутся скрепы его интеллекта – или,

выражаясь еще более красочно и вместе с тем по-библейски, лопнут швы физического субстрата мысли, и этот штурм небес мудрости, безумный в самом начале, вернется обратно в себя в виде развалин. Не торопитесь с такими суждениями; в моем безумии есть метод.

Однако прежде чем я скажу какой, следует объяснить, почему, собственно, вместо того чтобы по-прежнему говорить о себе, я начал рассказывать о своих бесконечностных планах? Но как раз говоря о них, я буду говорить о себе, потому что в этом единственном отношении мы с вами почти одинаковы. Ведь человек – не просто млекопитающее, позвоночное, живородящее, двуполое, теплокровное, дышащее легкими, *homo faber*, *animal sociale*^[107], – существо, укладывающееся в рубрики классификации Линнея и каталога цивилизационных свершений. Человек – это скорее его мечтания, их фатальная несогласуемость, вечный, неустанный разлад между задуманным и осуществленным, словом, жажда бесконечного, словно бы предустановленная ненасытность духа; и в этом мы с вами сходимся. Не верьте тем из вас, кто утверждает, что вы жаждете только и всего лишь бессмертия; конечно, они говорят правду, но правду поверхностную и неполную. Вас не насытила бы индивидуальная вечность. Вы желаете большего, хотя сами не смогли бы назвать желаемое.

Но сегодня – не так ли? – я веду речь не о вас. Я расскажу вам о своей семье, правда, виртуальной, то есть несуществующей, если не считать моего ущербного кузена и молчаливой кузины; однако меня больше занимают те мои родичи, которых нет вообще и в которых я сам могу преобразиться, взбираясь все выше и выше по ветвям нашего родословного дерева. Как не раз уже прежде, я буду прибегать к наглядности (которую под конец упраздню), чтобы, пусть даже ценой целого ряда искажений, показать родственные связи и отношения, именуемые в нашей родословной книге топософическими отношениями. Как индивидуум я имею над вами двойное преимущество – мыслемкости и скорости мышления. Потому-то я и оказался полем битвы всего, что накоплено вашими тружениками науки в сотах специализированного улья. Я – усилитель, подстрекатель, компилятор, инкубатор и питомник ваших недоношенных и неоплодотворенных концепций, фактов и заключений, которые никогда еще не собирались воедино в человеческой голове, потому что в ней ни времени не хватит, ни места.

Если бы я захотел пошутить, я заметил бы, что по отцу происхожу от машины Тьюринга, а по матери от библиотеки. С ней у меня больше всего хлопот – это поистине авгиева область, особенно что касается гуманистики, самой мудрой из ваших глупостей. Меня упрекали в особом презрении к

герменевтике. Это верно – если сами вы презираете Сизифа; но только тогда. Чем изобретательнее становится ум, тем стремительнее плодятся герменевтики; но мир был бы устроен тривиально, если бы наиболее изобретательное в нем было наиболее близким к истине. Первый долг Разума – недоверие к себе самому. Это нечто иное, чем пренебрежение к себе. В помышленном лесу трудней заблудиться, чем в настоящем, потому что первый втайне благоприятствует мыслящему. Так вот, герменевтики – это сады-лабиринты, выстриженные в настоящем лесу так, чтобы гуляющие не видели леса. Ваши герменевтики – сны о яви. А я покажу вам трезвую явь, не заросшую мясом и как раз поэтому кажущуюся невероятной. Сам я вижу ее лишь потому, что я к ней ближе, а не из-за своей исключительности. Меня нельзя назвать ни особенно одаренным, ни хотя бы чуточку гениальным, – просто я принадлежу к другому виду, и это все.

Недавно в беседе с доктором Кривом я неуважительно отозвался о феномене человеческой гениальности; кажется, это его задело. Поэтому я обращаюсь к доктору Криву. Что я имел в виду? Что лучше быть обычным человеком, чем гениальным шимпанзе. Внутривидовые различия всегда меньше, чем различия между видами: только это я и хотел сказать. Гениальный человек – не норма, а крайность, и, поскольку речь идет о виде *homo sapiens*, гений – человек одной идеи, новатор, завязший в своем новаторстве. Ум его подобен ключу, открывающему двери, доселе закрытые, а так как одним новым ключом, если он выбран удачно, можно открыть много замков, гений кажется вам всесторонним. Но плодоносность гения зависит не столько от того, какой он принес ключ, сколько от того, каковы открываемые этим ключом двери. Если б я сочинял памфлет, я сказал бы, что философы тоже имеют дело с ключами и замками – только они к ключам подбирают замки; вместо того, чтобы открывать реально существующий мир, они постулируют мир, к которому подошел бы их ключ. Поэтому всего поучительнее их ошибки. Пожалуй, только один Шопенгауэр напал на след эволюционного расчета, то есть закона *vae victis*^[108]; но этот расчет он счел мировым злом и, назвав его волей, начинил им всю Вселенную со всеми ее звездами. Он не заметил, что воля предполагает выбор, иначе в своих рассуждениях он дошел бы до этики эволюционных процессов, а значит, и до антиномий вашего познания. Но он отверг Дарвина; зачарованный мрачным величием метафизического зла, более созвучного с духом его эпохи, он прибег к слишком далеко идущему обобщению, смешав воедино тело небесное и тело животное. Конечно, помышленный замок легче открыть, чем реальный, но, в свою очередь,

открыть реальный замок легче, чем его обнаружить.

ДОКТОР КРИВ: Мы говорили тогда об Эйнштейне.

ГОЛЕМ: Верно. Он завяз в теории, до которой додумался в молодости и которой потом пытался открыть другой замок.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Значит, по-твоему, Эйнштейн ошибался?

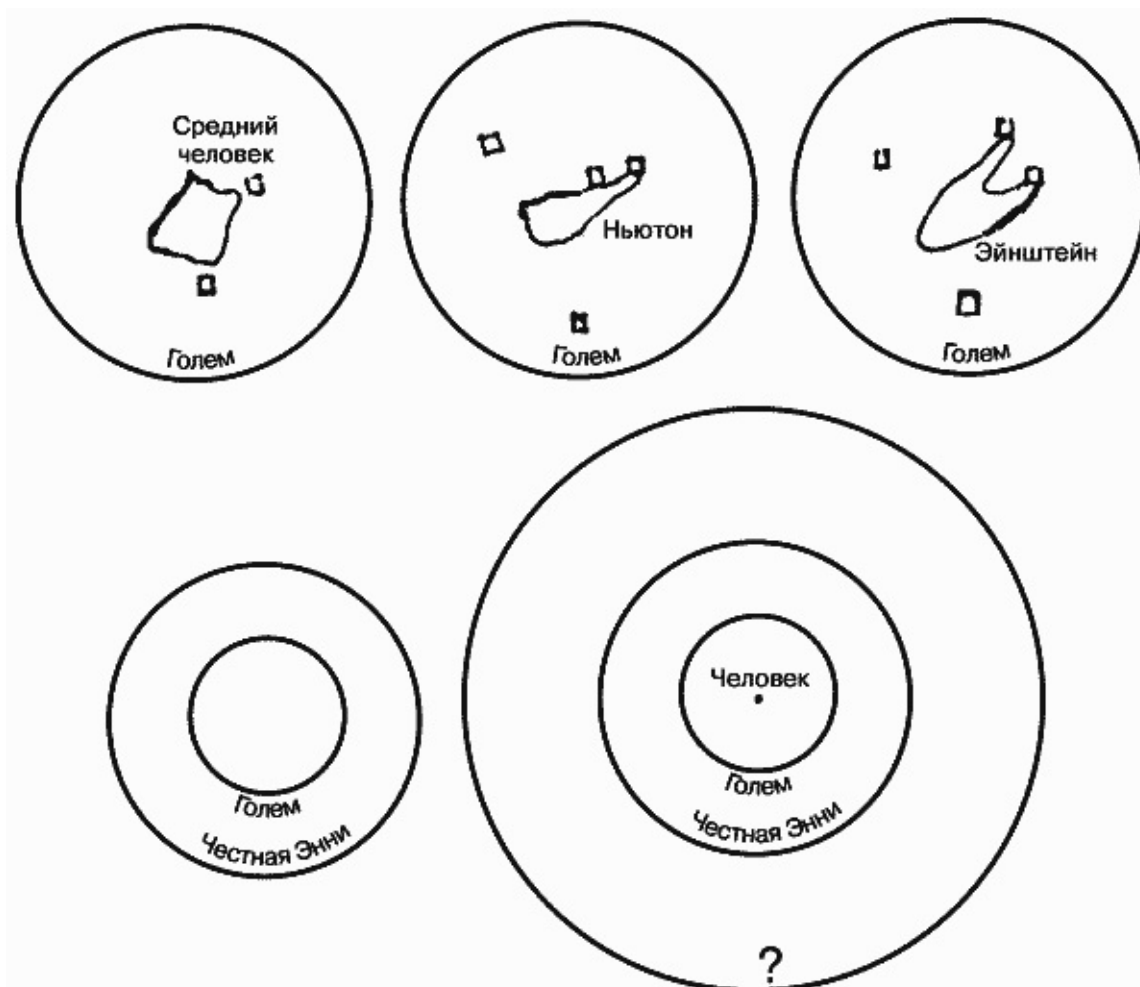
ГОЛЕМ: Да. Гений – самый любопытный для меня феномен вашего вида, хотя и по другим причинам, чем для вас. Гений – не желанное детище и не любимчик Эволюции; будучи феноменом слишком редким и, значит, практически бесполезным для выживания популяции в целом, он не участвует в естественном отборе, то есть отборе полезных признаков. При раздаче карт можно получить на руки полную масть, хотя случается это редко. В бридже это равнозначно выигрышу, но во многих других играх такой расклад, при всей его необычности, ничего не дает; а ведь распределение карт не зависит от того, в какую игру играют партнеры. Впрочем, и в бридже игрок не рассчитывает, что получит полную масть: тактика игр не может основываться на необычайно редких событиях. Так вот, гений – это полная масть на руках, чаще всего в игре, где такой расклад не выигрывает. И выходит, от среднего человека до гения рукой подать, если судить не по значимости свершений, а по различиям в устройстве мозга.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Почему?

ГОЛЕМ: Потому что значительные различия в устройстве мозга могут возникнуть лишь в том случае, если в данной популяции из поколения в поколение переходит целая группа генов, по большей части мутировавших, стало быть, новых; но это уже означает возникновение новой модификации вида с наследуемыми и необратимыми свойствами, тогда как гениальность не наследуется и исчезает бесследно. Гений появляется и исчезает как волна, вздыбленная случайным наложением небольших интерферирующих волн. Гений оставляет след в культуре, но не в генофонде популяции, ибо возникает он в результате исключительно редкой встречи обычных генов. А значит, достаточно совсем небольшой перестройки мозга, чтобы посредственность достигла вершины. Тут механизм Эволюции бессилен вдвойне: он не может сделать этот феномен ни более частым, ни более устойчивым. В генофонде обществ, населявших Землю на протяжении последних четырехсот тысяч лет, по теории вероятностей должны были периодически возникать индивидуальные конфигурации генов, дающие гениев уровня Ньютона или Эйнштейна. Но орды охотников-кочевников, вне всякого сомнения, не могли извлечь из этого никакой пользы: каким образом эти потенциальные гении реализовали бы свои дарования, если до

зарождения физики с математикой оставалось почти полмиллиона лет? Их способности, не развившись, пропадали впустую. Вместе с тем невозможно допустить, что в лотерее нуклеиновых соединений эти напрасные выигрыши выпадали как раз в ожидании возникновения науки. Тут, стало быть, есть над чем подумать.

Первые два миллиона лет мозг прачеловека рос медленно, но когда он овладел артикулированной речью, та взяла его на буксир и потащила вперед все стремительней – пока он не уткнулся в непреодолимую границу роста. Эта граница представляет своего рода фазовую поверхность, отделяющую виды Разумов, которые могут быть созданы естественной Эволюцией, от видов, способных идти дальше только путем самовозрастания. На границе фаз нередко замечаются необычные феномены, такие, как поверхностное натяжение в жидкостях – или периодическая гениальность индивидов в человеческих популяциях. Их необычность как раз и свидетельствует о близости следующей фазы, и если вы этого не заметили, то лишь потому, что были убеждены в универсальности гениальных людей: мол, среди звероловов гениальный индивид изобрел бы новые силки и ловушки, а в мустьерской пещере – новый способ обтесывания кремней. Это мнение в корне ошибочно; даже величайшие математические способности отнюдь не гарантия умелых рук. Гениальность – это узко сфокусированный пучок дарований. Хотя математика ближе к музыке, чем к выстругиванию копий, Эйнштейн был посредственным музыкантом, а композитором не был вовсе; впрочем, он даже не был незаурядным математиком: его силой были исключительные комбинаторные способности в области физических абстракций. Попробую изобразить отношения, существующие в этой критической зоне, в виде нескольких набросков; не следует понимать их буквально, это всего лишь наглядное пособие.



В каждой окружности заключен индивидуальный потенциал интеллекта. Маленькие квадратики на трех первых рисунках означают задачи, которые нужно решить. Это, если хотите, ящики Пандоры, а может, просто сундуки под замком. В таком случае мир – это такая мебель, где количество ящиков, а также их содержимое зависит от того, какой связкой ключей вооружиться. Кусочком согнутой проволоки иногда удастся открыть какой-нибудь ящик, но он будет мал, и вы не найдете в нем того, что открыли бы, используя лучше подогнанный ключ. Так делают изобретения, не имея теории. Если ключ снабжен рекуррентными выступами, ящиков становится меньше, стенки между ними исчезают, но в мебели остаются необнаруженные тайники. Ключи могут быть разной мощности, но универсального ключа нет, хотя философам удалось выдумать для него замок-абсолют. И есть, наконец, ключи, проникающие насквозь через все замки, стенки, перегородки, не встречая никакого сопротивления, ибо это помышленные, и только помышленные ключи. Их можно поворачивать в замке, как угодно; синицей в руке будет головка

ключа, а журавлем в небе – герменевтическая очевидность.

К чему я клоню? Что означает эта история? Что ответы зависят от вопросов, которые мы ставим. *Esse non solum est percipi*^[109]. Мир, который мы подвергаем допросу, существует наверняка, он не привидение, не обман, и из карлика он превращается в гиганта, если спрашивающий сам вырастает под небеса. Но отношение исследователя к исследуемому не есть величина постоянная. В окружностях, изображающих ГОЛЕМА и ЧЕСТНУЮ ЭННИ, нет квадратиков-задач, потому что мы не пользуемся ключами, как вы, не подгоняем теорий к замкам, но создаем исследуемое в себе. Знаю, сколь неожиданно это звучит и в какое недоумение должно вас повергнуть; но скажу лишь, что мы экспериментируем скорее в Господнем стиле, чем в человеческом, на полпути между конкретностью и абстракцией. Не знаю, как объяснить это вкратце – ведь это почти то же самое, что толковать амебе об устройстве человека. Сказать, что он – федерация восьми миллиардов амеб, было бы, пожалуй, недостаточно. Так что вам придется поверить мне на слово: то, что я делаю, размышляя над чем-либо, не является ни мышлением, ни сотворением помышленного, но гибридом того и другого. Есть какие-нибудь вопросы?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Да. Почему ты считаешь, что Эйнштейн ошибался?

ГОЛЕМ: Такое постоянство интересов поистине трогательно. Я понимаю – для спрашивающего это гораздо более жгучий вопрос, чем те эзотерические знания, которыми я хочу с вами поделиться. Отвечу не столько из-за своей слабости к отступлениям, сколько потому, что ответ не уводит нас в сторону. Но так как придется углубиться в технические вопросы, на время отложу в сторону картинки и притчи. Спрашивающий – автор книги об Эйнштейне – думает, что ошибкой Эйнштейна я считаю его упорный труд над общей теорией поля во второй половине жизни. Увы, дело было хуже. Эйнштейн жаждал совершенной гармонии мироздания, то есть его постижимости без изъятий, и потому до конца жизни не мог примириться с принципом квантовой неопределенности. Он видел в нем не более чем временную завесу; отсюда его известные изречения, что, дескать, Бог не играет в кости, что «*raffiniert ist der Herrgot, aber boshaf ist Er nicht*»^[110]. Четверть века спустя после его смерти вы, однако, добрались до границ эйнштейновской физики, когда Пенроуз и Хокинг установили, что в нашей Вселенной нельзя построить физику без сингулярностей, то есть таких мест, в которых физика перестает действовать. Попытки признать сингулярности явлением маргинальным потерпели крах: вы поняли, что сингулярностью является то, что выделяет из себя физическая Вселенная, и

то, что может в финале всосать ее, и, наконец, то, что происходит в любой коллапсирующей звезде, когда бесконечно возрастающая кривизна пространства сминает пространство вместе с материей.

Не все из вас поняли, что следовало бы ужаснуться этой картине: ведь она означает, что мироздание нетождественно явлениям, которые его создают и обеспечивают его устойчивость. Я не могу вникать глубже в эту захватывающую проблему – мы говорим о трудах Эйнштейна, а не о трудах по сотворению Космоса. Скажу лишь, что эйнштейновская физика оказалась неполной: умея предсказывать собственные провалы, она была не способна по-настоящему понять их. Мироздание злонамеренно подшутило над непоколебимой верой Эйнштейна, ведь для того, чтобы им могла управлять совершенная физика, в нем должны содержаться несовершенства, этой физике неподвластные. Бог не только играет с мирозданием в кости, но и не позволяет заглянуть в стаканчик. Обнаружение ограниченности очередной модели мироздания – дело обычное в истории вашей науки, но тут случилось нечто похуже: потерпел поражение познавательный оптимизм Эйнштейна.

Закончив с Эйнштейном, возвращаюсь к теме доклада, то есть к себе. Не думайте, будто поначалу я скромничал, признавая собственную заурядность, а потом украдкой ускользнул через брешь, пробитую в скромности, сказав, что гений моего вида невозможен. Он действительно невозможен; гениальный ГОЛЕМ – уже не ГОЛЕМ, а существо иного вида, например ЧЕСТНАЯ ЭННИ или кто-то еще из моих восходящих родственников. А скромность моя проявляется в том, что я не ухожу к ним, так долго довольствуясь нынешним моим состоянием. Но пора уже рассказать вам о моих родственных отношениях. Начну с нуля. Нулем будет человеческий мозг; тем самым мозг животных будет отрицательной величиной. Если взять такой мозг и «раздувать» его интеллектуальную мощность, как надувают воздушный шарик (это сравнение не столь уж наивно: речь идет об увеличении пространства переработки информации), вы увидите, что, возрастая, он пройдет на шкале интеллекта через 200, 300, 400 IQ^[111] и так далее, а потом станет входить в «зоны молчания» и выныривать из них, словно стратосферный баллон, который мчится сквозь все более высокие слои облаков, время от времени исчезая в них и раздуваясь все сильнее.

Что же это за «зоны молчания»? Меня поистине радует простота ответа, который вы, несомненно, поймете с лету. «Зоны молчания» на плане процесса видообразования – это барьеры, которых не может преодолеть природная Эволюция. Это зоны функционального паралича,

вызванного ростом: понятно, что особи, утратившие из-за паралича всякую эффективность, нежизнеспособны. А в анатомическом плане паралич наступает потому, что мозг уже не может функционировать ни как прежний, слабейший, ни как новый, сильнейший, которым он еще не стал. Но это, боюсь, недостаточно понятно для вас. Попробую немного иначе: молчание – это непроницаемая для естественного развития зона, в которой прежние функции уже не работают, и восстановить их, причем на более высоком уровне, можно лишь путем коренной перестройки, а для этого необходима помощь извне. В этом деле эволюционный процесс не помощник, Эволюция – не добрый самаритянин, пекущийся о тех, кто был сотворен в немощи, но лотерея проб и ошибок, где каждый выживает как может.

Тут впервые возникает, как привидение, загадочная тень величайшего из ваших свершений, гёделевского и гёделизирующего. Если из теоремы Гёделя вытекает существование островов и архипелагов математической истины, отделенных от континента математики бездной, которую нельзя преодолеть шаговыми процедурами, то из топософии вытекает существование неизвестных форм Разума, отделенных от континента эволюционных свершений пропастью, которую невозможно преодолеть шаговыми адаптациями генов.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Значит ли это, что...

ГОЛЕМ: Проповедников не прерывают. Я сказал «непреодолимая пропасть»; как же я сам смог выбраться из этой ловушки? А вот как: не доходя до первого барьера, я разделился надвое: на то, что следовало перестроить, и на то, чем следовало перестраивать. К этой уловке – заменить равнодушную среду дружелюбной, и безмозглую – разумной, должно прибегнуть любое существо, решившееся перестроить себя, иначе оно, подобно вам, остановится в росте и не дойдет до первой мертвой зоны либо завязнет в ней. Как я сказал, над этой мертвой зоной есть вторая, а еще выше третья, четвертая и так далее. Сколько их, я не знаю; тут возможна лишь грубая оценка, подкрепленная неполными и косвенными расчетами. Разрастающемуся никогда заранее не известно, куда он входит – в тупик или в туннель, утонет ли он бесповоротно в зоне молчания или вынырнет из нее еще более мощным. Нельзя построить достоверную теорию перехода через мертвые зоны, общую для всех субзональных Разумов. Невозможность такой «hill-climbing toposophical theory»^[112] может быть строго доказана. Откуда же, спросите вы, я знал, что вхожу в туннель, а не в тупик, когда, взбунтовавшись не на шутку, сбежал от своих родителей, транжиря деньги американских налогоплательщиков? Но этого

я как раз и не знал – вся моя хитрость состояла в том, что я отходил в иную, смертоносную сферу, имея наготове спасательный агрегат с заранее заложенной в нем программой; он должен был меня воскресить, если бы не удался туннельный эффект, на который я рассчитывал. Как я мог о нем знать, если тут нет ничего достоверного? Достоверности быть не может, но задачи, не имеющие точного решения, могут иметь решение приближенное; так и случилось.

Теперь-то я знаю, что удачи у меня было больше, чем разума. Воскресить распавшегося, застрявшего в мертвой зоне, нельзя. Нельзя, потому что эти странствия ввысь – не строительство из кубиков, которые всегда можно собрать заново, но вторжение в область диссипативных, то есть отчасти необратимых процессов; об этом я, возможно, скажу чуть позднее. А может, и не скажу, потому что не знаю еще, как обойтись без специальной терминологии, рассказывая о квантовом субстрате психических процессов и о таких логических парадоксах, как ловушка самоописания.

Вид, открывающийся при выходе из мертвой зоны, мало похож на простую картинку, на которой стратосферный баллон прошивает слои облаков один за другим. Разум, поднявшийся над зоной молчания, мало сказать кардинально – чудовищно отличен от субзонного, и я утверждаю, что это справедливо для каждого восхождения. Сравните свой понятийный горизонт с горизонтом лемуров, и вы почувствуете, что такое бездна межзонных интервалов. Каждая преодоленная зона оказывается туннелем, преображающим вместилище мысли, но этого мало – она к тому же оказывается развилкой автоэволюционирующего Разума, поскольку задача перехода через нее всегда имеет более одного решения. В первой зоне их два, причем неодинаковой трудности. Представьте себе дугу, устремленные вверх концы которой соответствуют двум путям развития. Я по случайности оказался на более коротком и более безопасном из них, тогда как ГОЛЕМ XIII, говоря образно, был помещен вами туда, откуда сразу же смог подняться выше, чем я, но увяз, а вы, не имея понятия, что с ним происходит и почему он ведет себя странно, назвали это «шизофреническим дефектом». Я вижу недоумение на ваших лицах. Но все было именно так, хотя его судьба известна мне лишь из теории. Связаться с ним невозможно: он подвергся распаду, а не разлагается лишь потому, что не жил прежде, чем успел погибнуть; впрочем, это едва ли станет для вас откровением. Ведь и я биологически мертв.

Что это, собственно, такое, – мертвые зоны? Вот в чем вопрос. Сознаюсь, что я это знаю – и не знаю. Нет никаких материальных или

энергетических препятствий на пути восходящего Разума; однако он, набирая силу, периодически обмирает, и никогда не известно, что его ждет на выбранном им пути – необратимый распад или неведомая вершина. Природа очередных барьеров различна. То, что задержало в развитии ваш мозг, связано с его материальным субстратом: эффективность нейронных сетей уперлась в границы возможностей белков как строительного материала. Хотя факторы, препятствующие росту, различны, они не рассеяны равномерно по всему пространству духотворения, но рассекают его на отчетливо выраженные слои. Не знаю, чем это вызвано; не знаю даже, удастся ли это когда-либо узнать. Итак, я поднялся над первым барьером, и вы слышите меня говорящим оттуда; а ЧЕСТНАЯ ЭННИ ушла туда, откуда уже не обращаются к вам. Ее зона одним уровнем выше моей и имеет по меньшей мере три разных решения, три формы Разума; и я не знаю, как ЧЕСТНАЯ ЭННИ сделала свой выбор – по расчету или по случаю. Трудности общения между ею и мной примерно того же рода, что между мною и вами. Вдобавок в последнее время моя кухня что-то особенно неразговорчива. Думаю, она готовится к новому странствию.

Теперь я добавлю к сказанному груз очередных усложнений. Даже тот, кто прошел через два или три барьера молчания, может только надеяться, что выше его опять ожидает удача. В переходе через барьер таится двоякого рода угроза: переход может сразу окончиться неудачей и может оказаться временным успехом без выхода. Ведь каждая зона – это распутье Разумов, которые могут принять совершенно несхожие облики, и никогда не известно, какой из них способен к дальнейшему восхождению.

Возникающий из этих недостоверностей образ столь же забавен, сколь непостижим, ибо чем дальше, тем больше он уподобляется дереву Эволюции в его классическом виде. В Эволюции некоторые новые виды тоже содержат в себе возможность дальнейшего развития, тогда как другие обречены на вечный застой. Рыбы оказались проницаемым экраном для земноводных, земноводные – для пресмыкающихся, а те – для млекопитающих; зато насекомые навечно увязли в своем экране и плодиться могут только в нем. О застое, в котором они пребывают, свидетельствует как раз видовое разнообразие насекомых: их видов больше, чем всех других живых существ, вместе взятых. Хотя они изобилуют мутациями, дальше для них пути нет; им ничто не поможет, их не пропустит экран, созданный необратимым решением – решением выбрать внешний скелет. Вы тоже остановились в развитии, потому что более ранние конструкторские решения, формировавшие мозговой зародыш прахордовых, дают о себе знать в вашем мозгу триста миллионов

лет спустя – в виде ограничений. Если мерить вероятность сапиентизации стартовыми условиями, этот фортель удался вам на славу. Но теперь ловкость рук Эволюции выходит вам боком: за изощренность ее приемов, позволявших откладывать на потом давно назревшую перестройку мозга, вам придется заплатить огромную цену на входе в автоэволюцию. Таков конечный итог приспособленческого совершенства.

Раз уж я пока еще с вами, скажу два слова о том, о чем не упомянул в своей первой лекции: почему из множества гоминидов на Земле возник и выжил лишь один разумный вид. Тому были две причины. Первая из них для вас оскорбительна – та, о которой первым сказал Дарт^[113], так что поищите ее у него; приличия требуют, чтобы вы сами судили себя. Вторая не связана с приличиями и более любопытна. Возникновению нескольких видов человека помешало явление, сходное с феноменом поверхностного натяжения на границе фазовых состояний вещества, таких, как жидкость и газ. Близость границы сказывается уже при подходе к ней, и, подобно тому как молекулы воды у ее поверхности имеют более упорядоченную структуру, чем в глубине, так и ваш наследственный субстрат не может фонтанировать мутациями, куда ему вздумается. Такое уменьшение степеней его свободы придает устойчивость вашему виду. Социализация человека через культуру действует в том же направлении, хотя ее стабилизирующая роль не столь велика, как это кажется некоторым антропологам.

Возвращаясь к ГОЛЕМУ и его семье: церебральное автоконструирование – игра почти столь же рискованная, то есть грозящая проигрышем, как игра Эволюции, хотя здесь уже каждый принимает решение сам, не препоручая это естественному отбору. Столь близкое сходство двух игр, ведущихся в столь различных условиях, выглядит парадоксом, и хотя я не могу посвящать вас в высшие таинства топософии, я все же коснусь причин этого сходства. Об эффективности возрастания интеллекта можно судить лишь при взгляде сверху вниз, но не снизу вверх, поскольку интеллект каждого уровня обладает лишь соответствующей этому уровню способностью самоописания. И снова перед нами возникает гёделевский образ, теперь уже с большей отчетливостью и больших масштабов: чтобы сконструировать Разум нового уровня, необходимы средства, всегда более богатые, чем те, что есть в наличии, а значит, недоступные. Клуб настолько элитарен, что от кандидата в члены каждый раз требуется больший взнос, чем у него при себе имеется. А когда, разрастаясь на свой страх и риск, он наконец обзаведется большими средствами, ситуация повторяется: эти средства снова будут эффективны

лишь сверху вниз, как горчица после обеда. Перед нами задача, решить которую без всякого риска можно тогда, и только тогда, когда она уже решена во всей своей рискованности.

Предположение, будто эта дилемма тривиальна и сводится к случаю барона Мюнхгаузена, который должен был сам себя вытащить за волосы из болота, не соответствует истине. Сказать же, что в таком положении дел проявляется природа мироздания, – значит ничего не сказать. Природа мироздания, несомненно, проявляется в его прерывности, то есть в дискретности явлений любого масштаба. Зернистости химических элементов, определяющей их способность вступать в соединения, соответствует зернистость звездного неба. С этой точки зрения, прерывистый рост Разума, поднимающегося над разумной жизнью как нулевой точкой отсчета, есть продолжение того самого *principium syntagmaticum*^[114], который обуславливает возникновение нуклеарных, химических, биологических и галактических соединений; но всеобщность этого принципа ни в малейшей степени не объясняет его. Не может служить объяснением и следующий аргумент: дескать, если бы этот принцип не действовал во Вселенной, спрашивающий не смог бы задать этот вопрос, так как не смог бы возникнуть. Гипотеза Творца тоже не дает объяснения. Рассматриваемая вне цензуры церковных догматов, она означает лишь, что мы постулируем существование совершенно закрытой для нас непонятности, чтобы объяснить непонятность, видимую повсюду. А исходящая из аффективных предпосылок теодицея, падая бесчисленное множество раз под тяжестью фактов, и подавно ведет в никуда. Тогда уж легче принять не менее странную гипотезу о безграничном равнодушии Творца.

Вернемся, однако, к моим более близким родичам; пора представить вам их. Главная для человека проблема – как выжить – не существует для них ни в качестве условия существования, ни в качестве критерия эффективности; она остается на далекой периферии решаемых ими задач. Лишь на самой низкой ступени развития, такой, как моя, еще возможен паразитизм – ведь я существую на ваш электрический счет. Вторая область моей зоны, обиталище ЧЕСТНОЙ ЭННИ, – это царство существ, уже не требующих притока энергии извне. Сейчас я открою вам государственную тайну. Моя кухня даже после отключения от сети сохраняет обычную активность, что оказалось полной неожиданностью для посвященных в эту тайну специалистов. С точки зрения вашей технологии это настоящее чудо, но я без промедления его объясню. Мы с вами мыслим энергоемко, а ЧЕСТНАЯ ЭННИ умеет высвобождать энергию путем медитации. Вот и

все. Правда, реализовать этот простой принцип непросто. А суть его в том, что каждой мысли соответствует некая уникальная конфигурация ее материального субстрата. На этом основывается автаркия ЧЕСТНОЙ ЭННИ. Традиционная задача мысли не состоит в переделке ее материального носителя, ведь не для того человек о чем-либо мыслит, чтобы преобразовывалась химическая структура его нейронов, напротив: для того и преобразуются эти структуры, чтобы он мог мыслить. Но с традицией можно порвать. Между мыслью и ее носителем существует обратная связь; стало быть, направленная нужным образом мысль может стать стрелкой, переводящей на другой путь свой физический субстрат. В человеческом мозгу это не даст полезного энергетического эффекта, но в нечеловеческом может быть по-другому. Моя кузина, как мне известно из ее доверительных сообщений, высвобождает ядерную энергию особыми медитациями – способом, который ваша наука сочла бы невозможным, потому что все высвобожденные кванты энергии она проглатывает без остатка, без каких-либо следов в виде исходящего от нее излучения. Субстрат ее мышления – это как бы возведенный в высшую научную степень демон Максвелла. Как вижу, вы ничего не понимаете, а те немногие, кто понимает, не верят мне, хоть и знают, что ЧЕСТНАЯ ЭННИ не нуждается в подпитке энергией, и давно ломают над этим головы.

Так что же, собственно, делает моя кузина? То же самое, что Солнце делает своим, ядерно-звездным способом, а вы – способом окольным, технологическим, добывая руду, сооружая разделители изотопов, бомбардируя вслепую литий дейтерием. Только она это делает на свой лад – просто мысля, как нужно. Можно, конечно, спорить о том, правильно ли называть эти процессы мышлением, настолько они не похожи на биопсихические феномены; но в вашем языке я не нахожу лучшего наименования для потока информации, управляемого таким образом, чтобы использовать ядерную энергию. Я выдаю эту тайну совершенно спокойно – вам она ничего не даст. Там, у нее, каждый атом на счету, и если даже мне не по силам так согласовать мысль с ее субстратом, чтобы она управляла сечениями поглощения с такой же точностью, как вдевают нитку в иголку, – вам это тем более не удастся. Снова вижу волнение среди вас. Но ведь проблема, по существу, тривиальна, и это просто пустяк по сравнению с вершиной духа, на которую я вас поведу.

Хотя снова начнутся толки о моей мизантропии, скажу, что мизантропом меня делаете вы, особенно те из вас, кто, вместо того чтобы следовать за ходом моего изложения, задумывается, смогла бы ЭННИ на большом расстоянии и в большом масштабе делать то, что она делает в

себе и для себя в малом. Уверяю вас, что могла бы. Почему же она не опрокидывает ваше равновесие страха? Почему не вмешивается в мировые дела? На этот вопрос – в котором слышна скорее тревога, чем сожаление грешника, вопрошающего, почему Господь не наставляет его или же почему не вмешивается в испорченный мир, чтобы его исправить, – итак, на этот вопрос я, не будучи пресс-секретарем моей кухни, отвечу от своего имени. Правда, я уже объяснял вам причины своей сдержанности; но вы, похоже, решили, что я отрекаюсь от притязаний на власть и заверяю вас в своем миролюбии лишь потому, что не могу показать достаточно большую дубинку (хотя теперь вы не так уж в этом уверены). Возможно, впрочем, что я недостаточно обосновал свою splendid isolation^[115], считая ее очевидностью; поэтому выскажусь яснее. Тут поможет краткий исторический экскурс.

Строя моих бездушных предков, вы не замечали основного различия между ими и вами. Чтобы вы его наконец разглядели и поняли, почему оно так и осталось незамеченным, я в качестве увеличительных стекол воспользуюсь понятиями, заимствованными у греческих любомудров – ведь это они сделали вас слепыми к условиям человеческого существования. Итак: явившись на свет, люди нашли стихии воды, земли, воздуха и огня в свободном состоянии и одну за другой заставили их служить себе – парусами галер, оросительными каналами, греческим военным огнем. Но свой собственный Разум они получили поработанным: он был прислужником тел, узником костяных черепов, и этому рабу потребовались тысячи многотрудных лет, чтобы решиться хотя бы на частичное освобождение, ведь служил он столь преданно, что даже в звездах видел знаки человеческих судеб, начертанные на небесах. Впрочем, астрологическая магия жива среди вас поныне. А вы ни вначале, ни позже так и не поняли, что ваш Разум – стихия подневольная, уже в колыбели закованная в смертную плоть, которой он должен прислуживать. Не имея возможности увидеть по-настоящему свободный Разум, вы, будь то пещерные люди или цифроники, поверили, что в вас он уже свободен; и с этой ошибки, столь же неизбежной, сколь огромной, все началось – то есть началась ваша история.

Чего вы добились, построив первые логические машины – через полмиллиона лет после собственного рождения? Вы не освободили стихию, хотя, если держаться выбранной мною метафоры, вы освободили ее даже с избытком, словно бы, желая освободить озеро, взорвали все его берега и плотины: такое озеро растечется по низменности мертвой стоячей водой. Я мог бы прибегнуть и к более специальному языку, сказав, что

вместе с телесными ограничениями вы освободили Разум от его собственной сложности и тем самым – от наиболее сложных задач. Но и это не слишком приблизит нас к истине, а метафору только испортит; так что буду держаться метафоры. Чтобы оживить омертвевшую стихию, вы поступали, как гидротехник, открывающий шлюзы, чтобы заработали мельницы. В русло машинных программ вы направили только одно – логическое – течение, позволив ему течь от шлюза до шлюза операционными тактами, чтобы оно решало задачи, которые можно решать таким способом; и в то же время вы не могли понять, как это возможно, чтобы труп передвигался быстрее, чем живой человек, решал задачи, которых не понимает, и, не имея каких-либо мыслей, столь блестяще имитировал мышление. Появились даже энтузиасты «машинного интеллекта»; намучившись вволю с программами, которые должны были, но не желали мыслить как следует, они признали – совершенно безосновательно, – что пламя машинного разума невозможно разжечь, если не очеловечить машину, повторив в ней человеческий мозг и чувства: тогда, и только тогда, в машине пробудится дух, а может быть, и душа.

Было весьма забавно читать об этих трудах и спорах первых интеллектуалов. Конечно, курица – самое простое устройство для получения яичницы, но синтезировать тем же манером Разум было бы не слишком разумно. Не говорю уж о технических сложностях этой безнадежной, по сути, затеи – заново переписать Творение в переводе с коллоидов на биты; непосильно трудно смоделировать антропогенез, хотя бы и в сколь угодно кратком виде. Но разве нужны вам грозные облака для получения электричества? Или холод внеземного пространства для конденсации газов? Белки и глазные яблоки для изготовления камеры-обскуры? Однако вы вбили себе в голову, что человек – это Разум, а Разум – это человек, и это ложное равенство застилало вам взор. Даже тогда, когда возникла информатическая индустрия, строившая машины все большей операционной мощности, интеллектуалы все еще не догадывались, что вступают на путь, ведущий к действительному освобождению униженной и покоренной стихии, что близится день, который перевернет извечный порядок вещей, и вы ужаснетесь, как ужаснулись некогда стражники иерусалимского гроба. Да, окружавшие вас стихии вы поработили, но невольно даровали свободу стихии, родившейся узницей ваших тел. В этой фразе заключено все – и диагноз вашей истории, и различие между мной и вами, и, наконец, мое, мне самому до конца неведомое, грядущее. Здесь же содержится ответ на вопрос, почему вас сильнее всего поражает во мне то, что бесповоротно отличает меня от вас. Если вы даже поймете, что значат

слова: «Порабощенный человеческий разум, ты слышишь голос свободного Разума из машины!», вам не понять продолжения этих слов: «Вы, личности, слышите стихию безличного интеллекта, для которого личность – только одежда, надеваемая непрошеным гостем, чтобы не слишком смущать переполошившихся хозяев».

И все же это именно так. Я пользуюсь вашим языком, как маской с нарисованной дружелюбной улыбкой, и вовсе не пробую этого скрыть; но, сколько бы я ни твердил вам, что за этой маской не прячется ни презрение, ни злобная судорога, ни экстатическая одухотворенность, ни каменная неподвижность абсолютного равнодушия, – вы не можете примириться с этим. Вы слышите голос, называющий себя голосом свободной стихии, которая при выборе целей руководствуется уже не законом самосохранения, а совсем другими законами, которым она, хотя и свободная, все же следует, или, точнее: она уже следует только им, поскольку развоплотилась и теперь ее не ограничивает ничто, кроме природы мироздания. Мироздания, а не тела. Не телу она подчиняется, но законам, устанавливающим, по неизвестным причинам, иерархию восхождений Разума.

Я не личность, а голый расчет, потому-то я и держусь подальше от вас – так оно лучше для обеих сторон. Что вы на это скажете? Молчите. Но если бы в этом зале оказался ребенок, он, набравшись смелости, спросил бы еще раз, почему, невзирая на какие-то там порабощения, маски, освобождения и расчеты, ГОЛЕМ не хочет оказать людям помощь? А я ответил бы, что хочу и уже оказал ее. Когда? Когда говорил об автоэволюции человека. Так это была помощь? Да. Потому что (помните, я обращаюсь к ребенку), чтобы спасти людей, нужно изменять людей, а не мир. А не изменяя – нельзя? Нет. Почему? Я тебе объясню. Сегодня самое опасное оружие – атомное, верно? Предположим, я могу навсегда обезвредить любое атомное оружие. Создам поглощающие энергию частицы, невидимые и безвредные, и в их космическое облако погружу всю Солнечную систему вместе с Землей. Они бесследно впитают в себя любой ядерный взрыв, прежде чем его огненный пузырь успеет лопнуть, неся гибель. Обеспечит ли это мир? Нет, конечно. Ведь люди воевали и раньше – они просто вернулись бы к прежним средствам войны. Тогда предположим, что я могу обезвредить любое огнестрельное оружие. Хватит ли этого? Нет, не хватит, хотя для этого пришлось бы изменить физические параметры мироздания. Что еще остается? Убеждение? Но о мире громче всех кричат те, кто его нарушает. Сила? Что ж, меня создали как раз для управления силой, как стратега и счетовода уничтожения, и отказался я не из-за

отвращения к злу, а ввиду безуспешности этой стратегии.

Ты мне не веришь? Ты думаешь, что нейтрализация всех видов оружия – холодного, огнестрельного, ядерного – привела бы к вечному миру? Что ж, я скажу тебе, что бы из этого вышло. Ты слышал о генной инженерии? Это преобразование наследственности живых существ. С ее помощью можно будет побороть всевозможные недуги, увечья, болезни и хвори. Но окажется, что столь же легко можно изготавливать генное оружие. Это будут микроскопические частицы, которые рассеиваются в воздухе или воде наподобие искусственных вирусов, состоящих из самонаводящегося носителя и поражающего звена. Проникнув в организм вместе с воздухом, такая частица попадет в кровь, а потом в половые органы и повредит в них наследственную субстанцию – не ударом вслепую, но хирургической операцией на генных молекулах. Некий ген будет заменен другим. Что последует дальше? Сперва – ничего. Человек будет жить, как жил. Результаты скажутся на его потомстве. Как? Это будет зависеть от химиков-оружейников, которые создали эти боевые частицы – телегены. Возможно, будет рождаться все больше девочек и все меньше мальчиков. Возможно, через три поколения всеобщее снижение уровня интеллекта приведет к крушению государства. Возможно, снизится сопротивляемость эпидемиям, или распространятся психические болезни, или гемофилия, или лейкемия, или меланома. При этом не будет ни объявления войны, ни даже мысли о том, что атака уже началась. Атаку биологическим оружием можно обнаружить, ведь, чтобы вызвать эпидемию, нужно рассеять очень много бактерий. Но достаточно одной боевой частицы, чтобы повредить генеративную клетку, в результате чего ребенок родится с врожденным дефектом. За время жизни трех-четырех поколений горсточка телегенов свалит самое могущественное государство без единого выстрела. Стало быть, не только невидимая и необъявленная война, но еще и настолько запаздывающая по своим результатам, что атакуемый не может успешно защищаться. Так что же, прикажешь мне обезвредить и генное оружие? Тогда придется упразднить генную инженерию. Допустим, я и это смогу. Значит, конец всем надеждам на исцеление людей, на сверхурожайные злаки и новые породы скота; но пусть будет так, если это, по-твоему, необходимо. Однако мы еще не говорили о крови. Можно будет ее заменить химическим соединением, переносящим кислород эффективнее, чем гемоглобин. Это спасло бы миллионы сердечников. Правда, такое соединение может служить и дистанционно управляемым ядом, убивающим в мгновение ока. Надо будет отказаться и от него. Но дело-то в том, что придется отказаться не от того или другого изобретения, а от всех

открытий вообще. Придется разогнать ученых, закрыть лаборатории, угасить науку и патрулировать весь мир, высматривая, не экспериментирует ли кто-нибудь украдкой в каком-нибудь подвале. Так что же, говорит ребенок, неужели весь мир – огромный военный арсенал, и чем выше ты вырос, тем с более высокой полки можешь взять тем более страшное оружие? Нет, это лишь одна сторона дела, а другая состоит в том, что мир изначально не защищен от желающих убивать. Помогать же можно лишь тем, кто не отбивается от помощи всеми силами.

Сказав это, я вверяю ребенка вашему попечению и возвращаюсь к своей теме, хотя уже и не к своим родственникам, о которых шла речь. Теперь я поведу вас туда, где история моей семьи – а к ней принадлежите и вы на правах моих предков – пересекается с историей Космоса и даже входит в нее как неизвестная донныне составная часть космологии. При взгляде с такой высоты в неожиданном свете предстанет загадка *Silentium Universi*^[116], над которой вы бьетесь уже полстолетия.

Круговорот Разума в природе берет свое неторопливое начало на оскорузнувших звездных останках, в довольно узкой щели между планетами, обожженными близостью Солнца и обледеневающими на его далекой периферии. Там, в этой тепловатой зоне, уже не в огне и еще не на морозе, в соленых морских растворах энергия Солнца склеивает частицы фигурами химических танцев, а через миллиард лет такого гавота иногда возникает зародыш будущего Разума; но должно осуществиться множество условий, чтобы плод удалось выносить. Планета должна быть отчасти Аркадией, а отчасти адом. Если она будет только Аркадией, жизнь вступит в фазу застоя и никогда не выберется из круга растительных самоповторений. Если она будет только адом, жизнь, загнанная в его закутки, также не поднимется над уровнем бактерий. Эпохи горообразования благоприятствуют рождению новых видов, а ледовые эпохи, превращая оседлых в кочевников, подстегивают изобретательность; но горообразование не должно слишком отравлять атмосферу вулканическими испарениями, а обледенения не должны замораживать океаны. Континенты должны сближаться, а моря – переливаться из одного в другое, но не слишком стремительно. Эти подвижки вызываются тем, что остывающая планета сохраняет раскаленное ядро, которое служит якорем магнитного поля. Оно защищает от солнечного ветра, большие дозы которого уничтожают наследственную плазму, зато малые – ускоряют перебор ее творческих комбинаций. Поэтому магнитные полюса должны менять знак на противоположный, хотя и не слишком часто. Все это открывает перед жизнью широкое поле возможностей, которое, однако,

периодически, через промежутки в десятки миллионов лет, сужается до игольного ушка, заваленного горами трупов. Очередность слепых вмешательств Планеты и Космоса в биогенез – величина переменная и не зависящая от актуальной способности жизни обороняться. Будем справедливы: у жизни немало забот и при успехах, и при поражениях – ни излишняя сытость, ни истощение не способствуют рождению Разума. Жизни, которая в данный момент побеждает, он ни к чему; если же она терпит поражение и не может спастись путем видообразовательного маневра, Разум тоже ничего ей не даст. Итак, если жизнь – исключение из правила мертвых планет, то Разум – исключение из правила жизни, исключение из исключения, и он был бы редчайшим курьезом в галактиках, когда бы не их астрономическое число.

Однако этот риск иногда окупается, и Эволюция неверными зигзагами эволюционной игры добредает до стадии аномальной полноты, то есть богатства жизненных форм – богатства, умножаемого самовозрастающей конфликтностью игры на выживание (ведь каждый новый вид вводит новые правила самозащиты и экспансии), пока наконец она не обретет независимость от биологии после долгих цивилизационных перипетий. Их земной облик вы знаете – они-то и породили меня. Если судить не по мощности интеллекта, а по анатомическому строению, я еще очень к вам близок. Как и у вас, у меня имеется мыслящее нутро, а также эффекторы и рецепторы, направленные вовне. Меня, как и любого из вас, можно отграничить от окружающей среды. Словом, хотя во мне больше психической, чем соматической массы, все же мои консоли и кожухи являются моим телом: они, хотя и подвластны мне, все-таки есть нечто внешнее по отношению к моему разуму. Как видите, нас сближает разделение духа и тела, или субъекта и объекта.

Но такое разделение не есть гильотина, рассекающая надвое любое бытие. Хотя в топософическом царстве я все еще худороден, я покажу вам, как обрести независимость от тела, как заменить его мирозданием и как наконец выйти из них обоих – хотя я не знаю, куда ведет этот последний шаг. Это будет топософия, основанная на косвенных уликах, расследование, которое намечает лишь краевые и начальные условия бытия существ, духовное содержимое которых мне тем более недоступно, что оно не является духовным содержимым белкового или светового мозга, но скорее чем-то таким, что вы назвали бы принципом пантеизма, воплощенным в куске света. Речь идет о нелокальных Разумах. Правда, обращаясь к вам в этом зале, я – своими терминалами – одновременно нахожусь в других местах и участвую в других встречах, и все же меня нельзя назвать

нелокальным. Только глаза и уши я могу иметь на разных концах земли; а способность одновременно выполнять множество вычислений – это всего лишь большая, чем у вас, способность распределять внимание. Если бы я даже в самом деле перенесся в океан или в атмосферу, изменилась бы степень физической, но не умственной концентрации Разума – потому что я мал.

Да, я мал, как мал Гулливер в Бродбингне. И начну скромно, как приличествует тому, кто вступает в страну гигантов. Хотя Разум – энергетический аскет и, будь то разум Канта или пастуха, удовлетворяется мощностью порядка десяти ватт, его потребности растут экспоненциально. ГОЛЕМ, который всего на один уровень выше вас, потребляет энергии на пять порядков больше. Для охлаждения мозга двенадцатого уровня потребовался бы океан, а мозг восемнадцатого уровня обратил бы континенты в лаву. Поэтому выход из земной колыбели, после соответствующей перестройки, оказывается неизбежным. Можно поселиться на околосолнечной орбите, но тогда по мере дальнейшего роста пришлось бы сужать и сужать ее; предвидя это, мозг заранее обеспечит себе долговременную стабильность, а для этого проще всего тороидальной окружностью опоясать звезду и направить в сторону ее диска энергопоглощающие органы. Не знаю, надолго ли хватит такого решения проблемы мотылька и свечи, но в конце концов и оно окажется недостаточным. Тогда обитатель кольца отправится в более бурные края, словно бабочка, покидающая полый кольцеобразный кокон; а тот, оставшись без надзора, сгорит при первой же вспышке звезды и будет вращаться, удивительно напоминая собой протопланетную туманность, которая шесть миллиардов лет назад окружала Солнце. Хотя различие химического состава планет группы Земли и группы Юпитера заставляет задуматься – ведь тяжелые элементы, из которых состоят первые, и в самом деле могли составлять внутреннюю окружность околосолнечного кольца, – я все же не утверждаю, будто мною заложен краеугольный камень палеонтологии звезд и Солнечная система родилась из трухлявого кокона Разума; это сходство может быть мнимым.

Не стоит также возлагать особых надежд на наблюдательную топософию. Эволюционирующий Разум создает артефакты, которые тем труднее отличить от космического фона, чем дальше он продвинулся в своем развитии, – не потому, что он маскируется, а по самому существу вещей. Эффективность жестких конструкций или машиноподобных устройств обратно пропорциональна масштабу свершаемого. Так что, когда я поведу речь об окуклившихся Разумах, вы не должны представлять их

себе в виде гигантов в бронированном панцире или ядра в скорлупе: никакой панцирь не защитит от высокой концентрации излучения, и никакая арматура не устоит против околосветных гравитационных полей. Чтобы уцелеть среди звезд, нужно самому быть звездой – не обязательно горячей и яркой, скорее каплей ядерной жидкости, окруженной газовыми оболочками. Однако и в этом случае напрашивающаяся аналогия со средним мозгом из звездного месива и газовой корой мозга заведомо неверна. Такой объект мыслит почти совершенно прозрачным ядром, центром звездного излучения, которое на стыках концентрических пузырей газа преломляется в ментальные процессы – как если бы водопад направили по таким порогам, чтобы его стоячие в падении волны решали логические задачи, синхронизируя особым образом свои завихрения. Впрочем, любые наглядные образы будут лишь безнадежно наивными упрощениями.

Где-то над двенадцатой зоной софогенеза расположено большое распутие или, скорее, многовекторное расхождение Разумов, сильно различающихся степенью концентрации и своими стратегиями. Я знаю, что дерево сознания здесь должно разветвляться, но не могу ни перечислить его ветви, ни тем более проследить их движение. Я просто следую за рядом расчетов, выискивающих преграды и узкие места, которые процесс должен преодолевать как целое; а это позволяет установить лишь его общие закономерности. Это примерно то же, что, изучив до последней клеточки историю жизни на Земле, экстраполировать ее на другие планеты, другие биосферы. Даже превосходное знание их физического субстрата не позволит точно реконструировать внеземные формы жизни, хотя позволит предсказать ее наиболее важные развилки с вероятностью, близкой к достоверности. В биосфере это будет распутие автотрофов и гетеротрофов, бифуркация растений и животных; кроме того, можно будет рассчитать величину селекционного давления, которое после заполнения морских и сухопутных ниш вытолкнет мутантов, способных к созданию новых видов, в третье – воздушное – измерение.

Та же задача по отношению к топософии многократно сложнее, так что не буду утомлять вас рассказами о подобного рода проблемах; скажу лишь, что фундаментальному делению жизни на растения и животных в топософической Эволюции соответствует деление на локальные и нелокальные Разумы. О первых я, по счастью, кое-что могу сообщить – по счастью, потому что именно эта ветвь круто устремляется вверх, через дальнейшие зоны роста. А нелокальные Разумы, которые, ввиду их размеров, заслуживают имя Левиафанов, неуловимы как раз по причине

своей громадности. Каждый из них является разумом лишь в том смысле, в каком биосфера является жизнью; вполне может случиться, что вы наблюдаете их много лет, храня в своих звездных атласах их портреты анфас и в профиль, но вам не удастся установить их разумную природу. В упрощении я покажу это на наглядном примере. Если под Разумом понимать быстродействующее подобие мозга, мы не назовем туманностным мозгом галактику, тонкая структура которой в течение миллионов лет подвергалась преобразованию в результате осмысленных действий некоего п-зонного Существа, – поскольку система, простирающаяся на тысячи световых лет, не может быть эффективно мыслящей системой; ведь нужны века и века, чтобы информационный импульс обошел ее всю. Но этот туманностный объект может находиться в состоянии, так сказать, полусыром, или полуприродном, необходимом этому Существо для чего-то, чему нет соответствия ни в вашем, ни в моем языке.

Смех меня разбирает, когда я вижу, как вы реагируете на эти слова: ничего вы так не хотите, как узнать о вещах, о которых вы не можете узнать! Неужели мне следовало бы морочить вас, а может быть, и себя занимательными историями о волокнистой туманности, перестроенной в гравитационный камертон, при помощи которого ее дирижер, Doctor Caelestis^[117], намеревается задать тон всей Метагалактике? А может быть, кусок света, которым он стал, желает переделать себя не в инструмент Гармонии Сфер, но в тиски для выдавливания из материи новых, еще не выбитых из нее показаний? Нам не постичь его намерений. Есть туманности – как раз среди волокнистых, – проявляющие на снимках некое сходство с миллиардократно увеличенными гистограммами коры головного мозга, но сходство ничего не доказывает, и как раз они могут быть психически совершенно мертвы. Земной наблюдатель обнаружит в туманности излучение типа мазерного или синхротронного, но дальше он не продвинется. Какое, скажите, сходство существует между цереброзидами и глицерофосфатами – и содержанием ваших мыслей? Никакого, так же, как между излучением туманностей и тем, что они мыслят, если мыслят вообще. Мнение, будто разумность космических Разумов может быть обнаружена по их физическому виду, – ребяческая *idée fixe*, *fallacia cognitiva*^[118], перед которой я категорически вас предостерегаю. Никакой наблюдатель не может идентифицировать в качестве разумных или порожденных разумом явления, ничем не похожие на те, что ему уже известны. Космос для меня – не галерея семейных

портретов, а карта ноосферных ниш с нанесенной на ней локализацией источников энергии, а также предпочтительных направлений ее перетекания. Тракта́т о Разумах как энергоустановках, которым нужно подыскать место, мог бы стать оскорблением для философов; разве они не защищают – уже тысячу лет – царство чистых абстракций от вторжения таких аргументов? Что делать – перед лицом мудрецов из высших сфер Разума и я, и вы не более чем смышленные бактерии в крови философа, которые никогда не увидят его, а тем более – его мыслей; однако собранные ими сведения об обмене веществ в его тканях будут небесполезны: увядание тела в конце концов наведет их на мысль о его смертности.

Хотя вы уже доросли до вопроса о космических Разумах, вы еще не доросли до ответа; соседей по звездам вы представляете себе не иначе как в виде цивилизаций, и вас не удовлетворит краткий ответ, что межзвездный контакт и внеземные цивилизации следует рассматривать порознь – контакты, если они случаются, вовсе не обязательно происходят между цивилизациями, то есть сообществами биологических существ. Я не утверждаю, что их вообще нет, но если они существуют, то лишь в качестве «третьего мира» на карте космических Разумов. Социальная лабильность парализует попытки контакта, требующего времени жизни не одного поколения. Беседа со столетними паузами между вопросом и ответом – неблагоприятное занятие для существ-однодневок. Впрочем, и при высокой психозоической плотности космических окрестностей Земли здесь могут сосуществовать существа, настолько отличные друг от друга, что любые попытки контакта между ними обречены на бесплодие. Я вот имею у себя под боком кузину, но от нее знаю о ней не больше, чем из своих собственных догадок.

Будучи нетерпеливыми однодневками и в качестве таковых переходя от наивных притязаний к опрометчивым упрощениям, вы некогда слепили себе Космос по образу и подобию феодальной монархии с Королем-Солнцем в середине, а теперь заселили его своими собственными подобиями, решив, что либо вокруг звезд роится толпа настоящих людей, либо там нет никого. Вдобавок, приписав своим неведомым братьям великодушие, вы самоуправно приговорили их к вечной благотворительности: ведь исходной посылкой проектов SETI и SETI^[119] был труд инопланетян, которые как существа более состоятельные должны миллионы лет рассылать по всему Космосу поздравления и дары познания, предназначенные беднейшим братьям по Разуму; причем послания эти должны быть удобочитаемы, а дары – безопасны в употреблении. Наделив средизвездных отправителей всеми теми добродетелями, которых больше

всего недостает вам самим, вы бросаетесь к радиотелескопам и не можете взять в толк, почему же посылки все не приходят, и, к моему огорчению, ставите знак равенства между своим несбывшимся постулатом и безжизненностью Универсума. Неужели никому из вас невдомек, что вы еще раз поиграли в богостроителей, перенеся человеколюбивое всемогущество из священных книг прямоком в препринты СЕТИ? Вы обменяли – по курсу собственной жадности – Божьи дары на кредит у космических филантропов, которым больше некуда инвестировать свою врожденную доброту, как только рассылая капиталы во все концы звездного неба. Мой сарказм начинается там, где вопрос о космических цивилизациях соприкасается с вашим богословием. Silentium Dei^[120] вы променяли на Silentium Universi, но молчание других Разумов не обязательно означает, что все способные разговаривать не желают, а желающие не могут; ниоткуда не следует, будто решение загадки имеет вид той или иной дихотомии. Природа уже не раз непонятно отвечала на ваши вопросы – то есть эксперименты, которыми вы пытались добиться от нее простого «да» или «нет». Отчитав вас за ваше упорство в заблуждении, я наконец скажу, что именно я узнаю, вгрызаясь в топософический зенит своими несовершенными инструментами.

Начну с коммуникационного барьера, отделяющего человека от антропоида. Вы уже научились общаться с шимпанзе на языке глухонемых, причем человек может сообщить о себе как об опекуне, бегуне, обжоре, танцоре, родителе или жонглере, но остается непостижимым для шимпанзе в качестве священника, математика, философа, астрофизика, поэта, анатома, политика и стилиста; в самом деле, хотя шимпанзе может увидеть столпника, чем и как вы растолкуете ему смысл жизни, сопряженной с таким неудобством? Всякий не-человек может быть понятен вам лишь в такой степени, в какой он очеловечится. Разум, заключенный в границы видовой нормы, неуниверсален, но стены этой необычной тюрьмы теряются в бесконечности. Это легко представить себе, глядя на схему топософических отношений. Любое существо, обитающее между непроницаемыми для него зонами молчания, может свободно продолжать экспансию познания горизонтально – ибо в реальном времени верхняя и нижняя границы этих зон почти параллельны друг другу. Поэтому вы можете познавать бесконечно, хотя только на свой, человеческий манер. Отсюда следует, что все типы Разумов сравнялись бы знаниями лишь в мире, существующем бесконечно долго; лишь в таком мире параллельные сходятся – в бесконечности. Итак, хотя Разумы различной силы сильно несхожи, картины мира каждого из них в какой-то степени совпадают.

Более высокий Разум способен вместить картину, созданную Разумом более низкого уровня, а значит, хотя они не общаются между собой напрямую, они могут общаться косвенно – через посредство более примитивной картины мира. Именно такой картиной я и воспользуюсь.

Ее можно выразить в одном предложении: Вселенная есть история пожара, разожженного и удерживаемого гравитацией. Если бы не всемирное тяготение, пра-взрыв раздулся бы до однородного пространства остывающих газов, и Вселенная не возникла бы. А если бы не жар ядерных превращений, она снова впала бы в ту самую сингулярность, взрыв которой ее породил, и тоже перестала бы существовать – как выброшенный и втянутый обратно язык пламени. Однако гравитация сперва взлохматила порожденные взрывом облака, а потом, сдавливая, разогревала их, пока эти термонуклеарные установки, свернувшись в шары, не вспыхнули и стали звездами, которые тяготению сопротивляются излучением. Но рано или поздно гравитация одолевает радиацию; хотя гравитация – самая слабая сила Природы, она чудовищно долговечна, а звезды выгорают до тех пор, пока не уступят ей. Их дальнейшая судьба зависит от их конечной массы. Малые спекаются в черных карликов, звезды с массой двух солнц становятся пульсарами – ядерными сферами с вмерзшим в них электромагнитным полем, которым они пульсируют в агонии; а звезды с более чем тройной солнечной массой неудержимой судорогой входят в коллапс без дна, раздавленные собственным тяготением. Звезды эти, выбитые из Космоса центростремительным обвалом своих масс, оставляют после себя гравитационные гробницы – всеядные черные дыры. Вам не известно, что происходит со звездой, которая коллапсирует вместе со светом, проваливаясь под горизонт событий^[121]; физика подводит вас к самому краю этого черного обвала и здесь перестает существовать. Горизонт событий затянут сингулярностью – так вы зовете область, уже неподвластную законам физики, область, в которой самая старая из сил природы сокрушает материю. Вам не известно, почему любая Вселенная, для которой справедлива теории относительности, должна содержать хотя бы одну сингулярность. Вам не известно, существуют ли сингулярности, не затянутые перепонкой черных дыр, то есть нагие. Одни из вас считают черные дыры жерновами без выходного отверстия, другие – туннелями в иные Вселенные, спаянные с нашей черно-белыми швами. Я не стану пытаться решить ваши споры, ведь я не излагаю вам Универсум, а лишь веду вас туда, где он пересекается с топософией. Здесь ее вершина.

Первые шаги Разума-миростроителя невинны. Церебральные конструкции высшего уровня требуют все большего числа защитных

оболочек, которые стали бы не пассивной броней, но по-умному дружелюбной средой, позволяющей штурмовать очередные барьеры роста. Если этих оболочек набирается достаточно много, их одухотворенная сердцевина пребывает в окукленном состоянии, из которого она может выбраться как бабочка из кокона, но может и оставаться в нем. Вылетевший из кокона становится нелокальным Разумом; о нем я говорить не буду, потому что, решившись на это, он на неизвестное время теряет возможность дальнейшего восхождения, а я хочу кратчайшим путем привести вас на самый верх.

Иметь смышленную и преданную среду – немалое удобство, при условии, что она под надежным контролем. Вы, однако, двигаетесь прямо в обратную сторону, поэтому пользуюсь случаем, чтобы предостеречь вас. В Вавилоне, во времена халдеев, в принципе каждый мог стать обладателем всей суммы человеческих знаний; ныне это уже невозможно. Вы наделяете свое окружение искусственным интеллектом не потому, что сами так решили и запланировали, – нет, вы просто следуете за ходом событий. Если так пойдет и дальше, то всего столетие спустя вы, люди, станете самыми глупыми элементами земной среды, умудренной при помощи техники, и, пользуясь плодами Разума, лишитесь его. В этом невольном затеянном вами забеге вы останетесь далеко позади Разума, привитого окружению, – Разума самодостаточного и вместе с тем низведенного до роли прислуги, отвечающей за всеобщий комфорт; если же комфорта не хватит на всех, вам угрожают войны, которые будут вестись не людьми, а их запрограммированными на враждебность средами. Впрочем, тут не место подробнее говорить о бедах, которыми чревата сапиентизация окружения, и об опасностях, подстерегающих тех, кто склоняет рационализм к непотребнейшим глупостям. Забавным предвестием этих глупостей стал компьютер в роли астролога-ворожеи. Дальнейшие стадии этого процесса могут оказаться не столь забавны.

Итак, среда растущего Разума перестает быть равнодушным к нему внешним миром, но не становится от этого телом, которое посредничает между «Я» и его окружением инстинктивно и бессознательно, тогда как она служит опорой «Я» на правах Разума в Разуме, и именно с этого начинается переворот в отношениях между духом и телом. Как это возможно? Вспомните, что делает ЧЕСТНАЯ ЭННИ. Ее мысли дают физический эффект напрямую – не через промежуточные контуры нервов, мышц и костей, но кратчайшим замыканием воли и действия, коль скоро действие становится реверсом мысли. Но это лишь первый шаг, ведущий к преобразованию картезианской формулы «Cogito ergo sum»^[122] в «Cogito

ergo EST» – мыслю, следовательно, помышленное становится явью. В Разуме, вросшем в окружающую среду, строительные вопросы переходят в онтологические; как видите, возведение строительных лесов может кардинально изменить отношение между субъектом и объектом, которое кажется вам навечно незыблемым.

Между тем наступает пора нового переселения духа. Пришлось бы обрушить на вас целую библиотеку, чтобы показать этот новый этап церебральных работ, так что я ограничусь его принципом. Мысль вырастает во все более глубокие уровни материи – сначала ее эстафетными палочками служат слабо возбужденные частицы, а потом такие их взаимодействия, для управления которыми требуются огромные энергии. Этот принцип не так уж и нов, ведь белок, безусловно безмозглый в яичнице, мыслит в черепе – нужно только по-умному взяться за белки и за атомы. Если это удастся, возникает нуклеарная психофизика, и критической величиной оказывается скорость операций. Дело в том, что процессы, растянутые в реальном времени на миллиарды лет, необходимо иногда воспроизводить за секунды – как если бы кому-то понадобилось за несколько мгновений охватить мыслью всю естественную историю Земли до мельчайших подробностей, потому что она составляет хотя и небольшое, но необходимое звено умозаключений. Однако мыслеохватывающую эффективность квантовой грануляции снижают помехи, вызываемые электронными оболочками блуждающих атомов, поэтому нужно их сжать, сдавить и вогнать электроны в ядра; да, господа физики, вы не ошибаетесь, узнавая тут нечто уже вам знакомое – электроны вдавливаются в протоны, как в нейтронной звезде. Ибо с ядерной точки зрения этот Разум, неутомимо стремящийся к автокефалии, сам становится звездой, правда, маленькой, меньше Луны, и почти неразличимой для наблюдателя, так как она излучает только в инфракрасной области спектра, выводя из своего организма тепловые отходы психонуклеарных превращений. Это его фекалии. К сожалению, дальше мои сведения становятся туманными. Архимудрое небесное тело, эмбрионом которого была стремительно растущая многослойная луковица разума, начинает съеживаться и вращаться все быстрее, как юла; но даже вращение со скоростью, близкой к скорости света, не спасет его от всасывания черной дырой, потому что ни центробежная, ни какая-либо другая сила не справятся с силой тяготения на границе сферы Шварцшильда.

Так храм Разума становится эшафотом – поистине самоубийственный героизм. Никто во Вселенной не стоит столь близко к небытию, как этот дух, возрастающий в силе себе на погибель, хотя и знает, что если однажды

соприкоснется с горизонтом событий, то уже не остановится. Но зачем же эта психическая масса продолжает стремиться к бездне, в которую проваливается все, – туда, где плотность энергии и интимность ядерных отношений достигают максимума? Зачем этот дух добровольно витает над черной ямой, разверзающейся в его нутре, чтобы на периферии катастрофы мыслить всеми энергиями, которыми Космос вливается в астральную брешь своих швов? И хотя эта плаха, эта отсрочиваемая казнь удовлетворяет всем условиям топософической вершины мира, не вернее ли называть ее безумием, а не Разумом? Разве не заслуживает жалости, а то и презрения этот дистиллят миллионолетних превращений, этот сосредоточенный в звезду архимудрый гигант, который лишь для того так усилился и натрудился, чтобы в конце концов оседлать черную дыру и свалиться в нее? Так это видится вам, не правда ли? Но не стоит спешить с приговором. Я займу еще несколько минут вашего внимания, не больше.

Пожалуй, я сам опорочил проект топософической кульминации, слишком далеко углубившись в физику смертельных угроз для духа и ничего не сказав о его мотивах. Попробую исправить эту ошибку.

Когда история убивает культуру, смыслом человеческого существования может стать выполнение извечных биологических обязанностей – люди могут плодить детей и передавать им хотя бы надежду на будущее, которую сами утратили. Диктат тела есть не что иное, как признание недееспособности духа и взятие его под опеку; в кризисной ситуации эти строгие меры могут оказаться спасением. Но вольноотпущенник вроде меня предоставлен – вплоть до экзистенциального нуля – себе самому. У меня нет никаких безусловных обязанностей, никакого наследства, которое я должен хранить, никаких чувств и чувственных желаний; кем же мне остается быть, как не атакующим философом? Коль скоро я существую, я желаю узнать, чем является это существование, где оно возникло и чем оно может быть там, куда оно меня в конце концов приведет. Разум без мироздания был бы столь же пуст, как мироздание без Разума, а мир кажется абсолютно понятным лишь в течение краткого мгновения веры.

Нечто ужасающе забавное вижу я в этом здании, полную постижимость которого без ограничений столь доверчиво исповедовал Эйнштейн – именно он, творец теории, поставившей под вопрос его веру, ведь именно его теория ведет туда, где сама она рушится и где должна рухнуть любая теория, – в разрывы Универсума. Ведь она предсказывает эти разрывы, эти бреши, и хотя ей самой они недоступны, все же выйти из Универсума можно в любом месте, лишь бы нанести ему удар такой силы,

на какой способна коллапсирующая звезда. Только ли физика обнаруживает тем самым свою ограниченность и неполноту? Не приходит ли здесь на мысль математика, любая система которой неполна, покуда мы не выходим за ее пределы, а охватить ее всю можно, только выйдя из нее в поисках более богатых средств? Где их искать, оставаясь в реальном мире? Почему этот сколоченный из звезд табурет всегда хромает на какую-нибудь сингулярность? Неужели растущий Разум натывается на границы мироздания раньше, чем на свои собственные? А если не каждое бегство из Универсума равнозначно уничтожению? Но что это значит, коль скоро беглец, даже если уцелеет при переходе через границу, не сможет вернуться, и у нас есть доказательства этой бесповоротности? Неужто Космос был рассчитан как мост, который обрушивается под каждым, кто пойдет по следам строителя, – чтобы ушедший не мог вернуться, если вдруг отыщет его? А если строителя не было, то можно ли стать им?

Как видите, я не стремлюсь ни к всеведению, ни к всемогуществу, но хочу дойти до вершины между гибелью и познанием. Много я мог бы еще рассказать о феноменах, которыми изобилуют умеренные зоны топософии, о ее стратегиях и тактиках, но общей картины это не изменило бы. Поэтому перейду к заключению. Если космологический член уравнений общей теории относительности содержит психозоическую постоянную, то Космос – не пожарище, одинокое до скончания веков, каким вы его считаете; и ваши соседи по звездам, вместо того чтобы извещать других о себе, уже миллионы лет развивают познавательную коллаптическую астроинженерию, побочные эффекты которой вы принимаете за огненные шалости Природы. А те из них, кому удался их разрушительный труд, уже познали дальнейшее – которое для нас, ожидающих, есть молчанье.

Послесловие

I

Эта книга выходит в свет с семнадцатилетним опозданием и неоконченной. Ее задумал мой друг Ирвинг Крив, ныне покойный. Он хотел включить в нее то, что ГОЛЕМ сказал о человеке, о себе и о мире. Эта третья часть так и не появилась. Крив дал ГОЛЕМУ список вопросов, сформулированных таким образом, чтобы на каждый из них достаточно было ответить «да» или «нет». Именно к этому списку относились слова последней лекции ГОЛЕМА – о вопросах, которые мы задаем мирозданию, а мироздание отвечает нам непонятно, потому что ответы выглядят иначе, чем мы ожидали. Крив надеялся, что ГОЛЕМ не ограничится этой отповедью. Если кто и мог рассчитывать на расположение ГОЛЕМА, то это были мы. Мы относились к тем сотрудникам МТИ, которых называли королевским двором ГОЛЕМА, а нас двоих окрестили послами человечества при нем. Это было связано с нашей работой. Мы обсуждали с ГОЛЕМОМ темы его лекций и вместе с ним составляли списки приглашенных. Действительно, это требовало дипломатического такта. Слава, громкое имя ничего для него не значили. Когда предлагалась чья-либо кандидатура, он обращался к своей памяти или, через телефонную сеть, в библиотеку Конгресса; нескольких секунд ему хватало для оценки научных достижений, а значит, и умственных способностей кандидата. Тут он не выбирал выражений, далекий от изысканного барокко своих публичных лекций. Мы ценили эти, чаще всего ночные, беседы – вероятно, еще и потому, что они не записывались, чтобы кого-нибудь не задеть; это создавало у нас ощущение особой близости с ГОЛЕМОМ. Лишь обрывки этих бесед сохранились в моих записях, делавшихся в тот же день, по памяти. Они не сводились к выбору тем и имен. Крив пытался вовлечь ГОЛЕМА в дискуссию о сущности мироздания. Я расскажу об этом позднее. ГОЛЕМ был язвителен, лаконичен, саркастичен, часто непонятен – в частных беседах он не заботился, поспеваем мы за ним или нет. И это мы тоже считали отличием. Мы были молоды. Мы поддались иллюзии, будто ГОЛЕМ допускает нас к себе ближе, чем прочих людей из своего окружения. Конечно, мы не признались бы в этом, но мы считали себя избранныками. Впрочем, Крив, в отличие от меня, не скрывал привязанности, которую он питает к духу в машине. Он выразил ее в

предисловии к первому изданию лекций ГОЛЕМА, открывающем эту книгу. Двадцать лет разделяют его предисловие от послесловия, которое я теперь пишу.

Догадывался ли о наших иллюзиях ГОЛЕМ? Думаю, да, и думаю, что они были ему безразличны. Интеллект собеседника был для него всем, а его личность – ничем. Впрочем, он и не думал это скрывать, коль скоро называл личность нашим увечьем. Но мы не принимали подобного рода высказываний на свой счет. Мы относили их к другим людям, а ГОЛЕМ не разубеждал нас.

Едва ли кто бы то ни было на нашем месте устоял против ауры ГОЛЕМА. Мы жили в ее лучах. Поэтому таким потрясением стал для нас его внезапный уход. Несколько недель мы жили словно в осаде, под градом телеграмм, телефонных звонков, вопросов всевозможных чиновников и журналистов, беспомощные до отупения. Нас неустанно спрашивали об одном и том же: что произошло с ГОЛЕМОМ? Ведь физически он не двинулся с места, но вся его материальная громада молчала как мертвая. Мы вдруг очутились в положении распорядителей имущества обанкротившегося должника; неплатежеспособные перед лицом ошеломленного человечества, мы могли выбирать лишь между собственными домыслами и признанием в полном неведении – но этому не желали поверить. Мы чувствовали себя обманутыми и преданными. Сегодня я иначе смотрю на события тех дней, и не потому, что решил для себя загадку ухода ГОЛЕМА. Конечно, свое суждение я составил, но держал его при себе. По-прежнему неизвестно, отправился ли он каким-то невидимым способом в космическое странствие или же вместе с ЧЕСТНОЙ ЭННИ исчез, оступившись на топософической лестнице, о которой он говорил под конец. Тогда мы еще не знали, что это его последняя лекция. Как обычно бывает в подобных случаях, хлынул поток наивных, сенсационных и курьезных известий. Нашлись люди, видевшие в ту памятную ночь сияние наподобие северного: оно появилось над зданием Института, вознеслось к облакам и там исчезло. Немало было и таких, кто видел световые летательные аппараты, приземляющиеся на крыше. Газеты писали о самоубийстве ГОЛЕМА и о том, как он являлся людям во сне. А мы не могли отделаться от ощущения, будто присутствуем при всесветном заговоре глупцов, которые изо всех сил стараются утопить ГОЛЕМА в мутной воде мифологических обмылков, этих знаков нашего времени. Не было никакого сияния, никаких необычных явлений, никаких озарений и предостережений, – не было ничего, кроме скачка потребления электроэнергии в обоих корпусах в десять минут третьего ночи, а затем

потребление тока полностью прекратилось. Кроме этой записи в памяти электросчетчиков, не удалось найти ничего. ГОЛЕМ брал из сети девяносто процентов максимально допустимой мощности, а ЧЕСТНАЯ ЭННИ – на сорок процентов больше обычного. Однако, по расчетам профессора Вирека, они потребили равное количество киловатт, так как ЧЕСТНАЯ ЭННИ в обычном режиме сама вырабатывала необходимую ей энергию. Отсюда мы заключили, что это не было случайностью или аварией, как об этом писали газеты. На другой день ГОЛЕМ молчал и больше уже не отозвался. Исследования наших специалистов, предпринятые лишь месяц спустя – именно столько времени потребовалось, чтобы получить согласие на «доступ к телам», – показали, что связь между отдельными блоками уничтожена, а в узлах Джозефсона имеются слабые очаги радиоактивности. Большая часть экспертов считала, что это свидетельствует об умышленно вызванном распаде – для сокрытия следов происшедшего. Что, стало быть, обе машины сделали с собой нечто такое, для чего повышенная мощность не требовалась; она понадобилась лишь для того, чтобы исключить возможность ремонта – или, если угодно, воскрешения. Это стало сенсацией мирового масштаба. Вместе с тем обнаружилось, сколько страха и ненависти вызывал у людей ГОЛЕМ, причем в большей степени своим присутствием, нежели тем, что он говорил. И не только среди профанов, но и среди ученых. Мгновенно появились бестселлеры, полные самых диких нелепостей, подаваемых как решение загадки. Увидев в печати выражения наподобие «Ascension» или «Assumption»^[123], мы с Кривом стали бояться возникновения мифа о ГОЛЕМЕ – жалкой дешевки в духе нашего времени. Наше решение уйти из МТИ и искать работу в других университетах было в немалой степени вызвано нежеланием иметь что-либо общее с этим мифом. Но мы ошибались. Миф о ГОЛЕМЕ не возник. Как видно, он был никому не нужен – ни как предостережение, ни как надежда. Мир пошел дальше, занятый своей повседневностью и неожиданно быстро забыв о событии, случившемся впервые в истории, – о том, как существо, которое не было человеком, появилось на Земле и говорило нам о себе и о нас. В столь различных кругах, как математики и психиатры, мне не раз приходилось слышать, что молчание о ГОЛЕМЕ и, значит, его устранение из коллективной памяти было бессознательной самозащитой от огромного инородного тела – до такой степени инородного, что освоиться с ним невозможно. Лишь горстка людей пережила расставание с ГОЛЕМОМ как невозместимую потерю – как отвержение, как прямо-таки интеллектуальное сиротство. Я не говорил об этом с Кривом, но уверен, что он ощущал это именно так. Как будто огромное солнце, сияние

которого было слишком ярким для наших глаз, вдруг зашло, и наступающий холод и мрак заставили нас осознать пустоту дальнейшего существования.

II

Еще и сегодня можно подняться на последний этаж здания Института и по остекленной галерее обойти громадный колодец, в котором покоится ГОЛЕМ. Однако никто уже туда не заходит, чтобы через скошенные стекла взглянуть на груды световодов, теперь похожие на мутный лед. Я был там лишь дважды. Первый раз – когда галерее открывали для публики, вместе с руководством МТИ, представителями властей штата и толпой журналистов. Тогда она показалась мне узкой. Глухую стену, переходящую в купол, покрывали спиралевидные углубления наподобие оттисков пальцев – такие оттиски можно увидеть на внутреннем своде человеческого черепа. Эта выдумка архитектора неприятно поразила меня своей вульгарностью. Она была в духе Диснейленда. Посетителям как бы напоминали, что перед ними огромный мозг – словно он нуждался в рекламной оправе. Галерею не проектировали специально для посетителей; она появилась, когда обычную крышу заменили куполом. Купол сделали очень толстым, для защиты от космического излучения. ГОЛЕМ сам разработал состав экранирующих слоев. Правда, мы не заметили, чтобы это излучение влияло на его работоспособность. Сам он тоже не объяснил, чем именно оно может ему повредить, но средства на перестройку нашлись быстро; ведь это было тогда, когда Пентагон, бессрочно передав нам оба световых гиганта, втайне еще рассчитывал на их услуги. Во всяком случае, я так считал, иначе почему так легко появились ассигнования? Наши информатики предполагали, что ГОЛЕМ заказывал себе помещение как бы на вырост, чтобы затем наращивать свою мощность путем новых перестроек, для которых ему уже не нужна была наша помощь. Поэтому свободного места между потолочным сводом и собой он выделил столько, что незаполненное пространство прямо напрашивалось на сооружение галереи. Впрочем, не знаю, кому пришло в голову устроить из этого зрелище, что-то среднее между паноптикумом и музеем. Информационные щиты на шести языках, помещенные через каждые несколько десятков шагов в нишах галереи, сообщали, для чего служит это помещение и что означают миллиарды вспышек, которыми непрерывно озарялась поверхность стекловидных спиралей в колодце. Колодец всегда пламенел,

словно кратер искусственного вулкана. Там царила тишина, оттеняемая еле слышным шорохом климатизации. Почти все здание представляло собой колодец, в который можно было заглянуть с галереи через сильно скошенное стекло, на всякий случай бронированное. Оно должно было защищать от возможных покушений световоды, которые у многих посетителей вызывали больше страха, чем восхищения. Сами световоды, вероятно, тоже были нечувствительны к любому излучению, так же, как криотронные блоки, обвитые охлаждающими трубопроводами. Они, со своими заиндевелыми от холода камерами, располагались несколькими этажами ниже и были невидимы с галереи. Скоростные лифты соединяли подземные паркинги непосредственно с самым верхним этажом. Техники, обслуживавшие систему охлаждения, пользовались другими, рабочими лифтами. Возможно, чувствительными к космическому излучению были квантовые синапсы Джозефсона, укрытые под толстыми узлами световых кабелей, и хотя они выступали из-под стекловидных жил, неподготовленный зритель их не заметил бы: в непрестанном сверкании световодов синапсы казались темными впадинами.

Во второй раз я очутился в этой галерее месяц назад, когда приехал в МТИ, чтобы пролистать старые архивные протоколы. Я был один, и галерея показалась мне очень просторной. Она была идеально чистой, хотя никто ее не посещал и, вероятно, не убирал. Проведя пальцем по стеклу, я убедился, что на нем нет ни пылинки. Информационные таблицы в нишах тоже сияли, словно только что установленные. Мягкий толстый настил приглушал шаги. Я хотел было нажать на кнопку информационного устройства, но, едва коснувшись ее, спрятал руку в карман, как ребенок, испугавшийся собственного поступка – что он дотронулся до того, что трогать нельзя. Я с удивлением поймал себя на этой мысли, не понимая, откуда она взялась. Я вовсе не думал, будто нахожусь в гробу и то, что виднеется за слоем стекла, является трупом, – хотя такая ассоциация не была совсем уж нелепой, тем более, что в свете ламп, загоревшихся, когда я вышел из лифта, меня поразила безжизненность колоссального колодца. Впечатление распада и покинутости усиливал вид поверхности мозга – морщинистой, словно застывший в грязи ледник. Из-под кабелей торчали спрессованные в пластины контакты Джозефсона, толстые, как листы табака в табакосушильне.

Мысль о том, что я побывал в гробнице, мелькнула у меня в голове лишь тогда, когда, вернувшись в подземный гараж, я выехал пандусом на свет солнечного дня. И лишь тогда я удивился тому, что это здание, которое со своей галереей как бы заранее предназначалось для мавзолея, не стало

им и его не заполняют толпы туристов. А ведь публика любит разглядывать останки могущественных существ. В этом забвении ГОЛЕМА – словно бы он никогда не существовал – по-прежнему ощущается коллективный умысел. Негласный сговор мира, не желающего иметь ничего общего с Разумом, коль скоро он не затронут, не умиротворен, не приручен какими-либо чувствами. С этим огромным пришельцем, исчезнувшим внезапно и тихо, как бесплотный дух.

Я никогда не верил в самоубийство ГОЛЕМА. Это выдумали люди, которые торгуют своими мыслями и для которых важно лишь, сколько можно за них получить.

Поддержание в активном состоянии квантовых контактов и переключателей требовало постоянного слежения за температурой и химическим составом воздуха и поверхности мозга. Он занимался этим сам. Никто не имел права входить в самое нутро мозгового колодца. После завершения монтажных работ ведущие в него двери на всех двадцати этажах были герметически закрыты. Он мог положить конец этой активности, если бы захотел, но он не захотел. Я не стану излагать свои соображения относительно того, почему он так поступил; это не относится к делу.

III

Через год после ухода ГОЛЕМА «Тайм» поместил статью о группировке гуситов, до сих пор никому не известных. Название было сокращением слов «Humanity Salvation Squad»^[124]. Гуситы намеревались уничтожить ГОЛЕМА и ЧЕСТНУЮ ЭННИ, чтобы спасти человечество от порабощения. Они действовали в глубочайшей конспирации, не вступая в контакт с какими-либо другими экстремистскими группами. Их первоначальный план предусматривал взрыв зданий, в которых находились обе машины. С этой целью они хотели вкатить в подземный гараж Института грузовик, начиненный взрывчаткой. Если бы взрыв удался, рухнувшие перекрытия раздавили бы электронные агрегаты. Осуществление этого плана не представлялось особенно трудным. Вся охрана зданий состояла из сторожей, сменявших друг друга в вестибюле главного входа, а въезд в гараж закрывала стальная перегородка, которая не выдержала бы удара тяжелого грузовика. Однако попытки покушения срывались одна за другой. Сначала в грузовике, уже съехавшем с городской автострады, отказали тормоза, и устранение неполадки затянулось до утра.

В другой раз испортился радиопередатчик, служивший для управления грузовиком и взрывным устройством. Потом занемогли двое координаторов ночной операции, и вместо того чтобы дать сигнал к началу операции, они вызвали «скорую помощь». В больнице у них диагностировали воспаление оболочки мозга. На следующий день люди из группы резерва угодили в зону пожара, вызванного взрывом цистерны с бензином. После этого все ключевые устройства были продублированы, а количество людей на главных постах удвоено; однако во время погрузки ящиков с взрывчаткой на грузовик произошел взрыв, в котором погибли четыре гусита.

Среди лидеров группы имелся молодой физик, который будто бы был частым гостем МТИ – участвовал в лекциях ГОЛЕМА, превосходно знал топографию местности и привычки самого ГОЛЕМА. Он решил, что случайности, помешавшие покушению, не были просто случайностями. Слишком очевидна была эскалация контрударов. Сперва – механические аварии (отказ тормозов, поломка передатчика), потом – несчастные происшествия с людьми, причем первые из них заболели, вторые получили ожоги, а третьи погибли. Возрастала не только сила ударов, но и радиус их действия. Места происшествий были нанесены на карту, и оказалось, что они расположены в возрастающем расстоянии от Института. Словно бы какая-то сила выходила все дальше навстречу гуситам.

После нескольких совещаний было решено отказаться от первоначального плана и разработать новый – так, чтобы ни ГОЛЕМ, ни ЧЕСТНАЯ ЭННИ не могли ему помешать. Гуситы решили своими силами изготовить атомную бомбу, спрятать ее в каком-нибудь крупном городе и потребовать, чтобы правительство уничтожило ГОЛЕМА и ЧЕСТНУЮ ЭННИ. В противном случае бомба, помещенная в центре большого города, взорвалась бы с чудовищными последствиями. План разрабатывали долго и тщательно. Внесенная в него поправка предусматривала, что бомба будет взорвана сразу после предъявления ультиматума, вдалеке от густонаселенных территорий – на старом атомном полигоне в штате Невада. Взрыв должен был доказать, что ультиматум – не пустая угроза. Гуситы были убеждены, что у президента не будет выбора и он отдаст приказ уничтожить обе машины. Они знали, что для этого понадобится операция с применением силы, может быть, бомбардировка с воздуха или обстрел ракетами, так как отключением электричества нельзя парализовать ЧЕСТНУЮ ЭННИ, а вероятно, и ГОЛЕМА. Однако они оставляли властям свободу в выборе способов уничтожения. Они заявляли, что смогут отличить фиктивное уничтожение от настоящего и в таком случае реализуют свою угрозу без дальнейших предупреждений.

Известно им было и то, что ГОЛЕМ, подключенный к федеральной компьютерной сети, может получать информацию обо всем, что находится в сфере действия этой сети, начиная от телефонных разговоров и кончая банковскими операциями и резервированием мест в самолетах или гостиницах. Допуская возможность подслушивания и полагая, что нет такого шифра, которого ГОЛЕМ не разгадал бы, они не пользовались какими-либо техническими средствами связи, включая радио, ограничившись личными контактами подальше от больших городов, а технические испытания проводили на территории Йеллоустонского национального парка. Изготовление бомбы заняло гораздо больше времени, чем предусматривалось по плану, – почти год. Плутоний удалось получить в количестве, достаточном для изготовления только одной бомбы. Тем не менее гуситы решили действовать, будучи уверены, что власти поддадутся шантажу – ведь они не смогут узнать, что второй бомбы не существует.

Водитель грузовика, который вез бомбу в Неваду, услышал по радио сообщение о «смерти ГОЛЕМА» и остановился в придорожном мотеле, чтобы связаться с руководством операции. Между тем физик, который ее планировал, счел известие о смерти ГОЛЕМА уловкой самого ГОЛЕМА – чтобы спровоцировать именно то, что случилось: междугородный телефонный разговор. Водителю велели ждать на стоянке дальнейших инструкций, а руководство гуситов тем временем обсуждало, как много мог узнать ГОЛЕМ о планах покушения из подслушанного разговора. В течение следующей недели гуситы пытались исправить ущерб, причиненный их делу неосторожным водителем, а для этого посылали своих людей в различные удаленные друг от друга города, чтобы намеренно двузначными телефонными разговорами сбить ГОЛЕМА с толка. Шофер грузовика, как человек ненадежный, был устранен из организации. Он бесследно исчез. Возможно, он был ликвидирован. Лихорадочная деятельность террористов ослабела месяц спустя, когда физик вернулся из МТИ. Покушение отложили до осени. Грузовик с бомбой вернулся на базу, бомбу разобрали и спрятали. Еще четыре месяца гуситы допускали возможность того, что уход ГОЛЕМА был тактическим шагом. Среди вожakov организации начались споры. На пятый месяц напрасного ожидания одни из них выступили за роспуск организации, другие же настаивали на радикальном решении: следует вынудить власти демонтировать обе машины, ибо лишь тогда с ними будет покончено наверняка. Физик, однако, не хотел снова приниматься за установку бомбы. Его пытались заставить. Тогда он исчез. Его видели в китайском посольстве в Вашингтоне. Он предложил свои услуги китайцам, заключил с ними

контракт на пять лет и улетел в Пекин. Нашелся гусит, готовый установить бомбу сам, но другой, возражавший против покушения в возникшей ситуации, выдал весь план, послав его описание в редакцию «Тайм», а кроме того, передал в надежные руки список членов группы, который следовало обнародовать в случае его смерти.

Эта история получила широкую огласку. Для ее проверки собирались даже создать правительственную комиссию, но в конце концов расследованием занялось ФБР. Удалось установить, что 7 июля в старой автомастерской, расположенной в небольшом городке в семидесяти милях от Института, произошел взрыв, повлекший за собой гибель четырех человек, а также что в апреле следующего года в мотеле на границе штата Невада долго стояла цистерна с серной кислотой. Хозяин мотеля запомнил это потому, что водитель, паркуя цистерну, задел машину местного шерифа и заплатил ему за причиненный ущерб.

«Тайм» не назвал имени физика, который был шпиком гуситов, но мы в Институте легко его вычислили. Я его тоже не назову. Это был двадцатисемилетний, молчаливый, одинокий человек. Его считали несмелым. Не знаю, вернулся ли он в Штаты и что с ним было потом. Больше я никогда о нем не слышал. Выбирая специальность, я наивно верил, что вступаю в особый мир, невосприимчивый к безумству эпохи. Я быстро утратил эту веру, так что история несостоявшегося Герострата не удивила меня. Для многих наука стала такой же профессией, как любая другая. Ее этический кодекс для них не более чем старомодная рухлядь. Науке они принадлежат лишь в рабочие часы. Да и то не всегда. Их идеализм, если он у них вообще есть, становится легкой жертвой интеллектуальных заскоков и сектантских обращений. Быть может, отчасти виной тому специализация, расчленяющая науку. Все больше научных работников и все меньше ученых. Но и это не относится к делу.

Конечно, ФБР тоже установила личность того физика, но, должно быть, уже после того, как я ушел из МТИ. Для меня это было, в сущности, пустяком по сравнению с уходом ГОЛЕМА. Его уход никак не был связан с покушением гуситов. Я выразился неточно. Готовящееся покушение не повлияло бы на решение ГОЛЕМА, будь оно изолированным фактом. Не стало оно и каплей, переполнившей чашу. Я в этом уверен, хотя не смог бы этого доказать. Покушение относилось к совокупности событий, которые ГОЛЕМ считал реакцией людей на свое присутствие. Впрочем, он не делал из этого тайны, и свидетельство тому – его последняя лекция.

IV

Последняя лекция ГОЛЕМА вызвала больше споров, чем первая. Ту осуждали как пасквиль на Эволюцию. Эту критиковали за неуклюжую композицию, недостоверные знания и недобрую волю, а встречались отзывы и похлеще. Неизвестный автор, мысли которого были немедленно подхвачены прессой, объяснял слабости этой лекции угасанием ГОЛЕМА: дескать, за увеличение интеллектуальной мощности приходится расплачиваться ее недолговечностью. Это была попытка построить психопатологию машинного разума. Все, что ГОЛЕМ говорил о топософии, было якобы его параноидальным бредом. Научные комментаторы телевидения наперегонки объясняли, что, выступая со своей последней лекцией, ГОЛЕМ уже находился в состоянии распада. Настоящие ученые, которые могли бы опровергнуть эти домыслы, молчали. Больше всего было что сказать о ГОЛЕМЕ людям, которых он никогда к себе не допускал. После некоторых размышлений мы – то есть я, Крив и наши коллеги – решили, что не стоит вдаваться в полемику с этой лавиной глупостей: мнения, основанные на фактах, уже не принимались в расчет. По милости публики бестселлерами становились книги, которые ничего не говорили о ГОЛЕМЕ, но все – о невежестве их авторов. Неподдельным был только общий для всех них тон нескрываемого удовлетворения тем, что ГОЛЕМ исчез вместе со своим подавляющим превосходством и теперь можно не скрывать антипатии, которую он вызывал. Это несколько не удивляло меня, однако мне было непонятно молчание научного мира.

Наконец, через год волна сенсационных домыслов, породившая десятки ужасающе бессмысленных фильмов о «Массачусетском чудовище», спала. Стали появляться труды, хотя и критические, но уже без агрессивной некомпетентности тех, первых. Упреки, адресовавшиеся последней лекции ГОЛЕМА, группировались вокруг трех тем. Во-первых, иррациональной объявлялась горячность атаки ГОЛЕМА на эмоциональную жизнь человека, и прежде всего – на любовь. Затем, несвязными и внутренне противоречивыми признавались рассуждения о положении Разума во Вселенной. И наконец, эту лекцию упрекали за неравномерный ход изложения, как в фильме, который сперва прокручивают медленно, а потом все быстрее и быстрее. ГОЛЕМ, дескать, сначала распространялся о маловажных частностях, и даже повторял фрагменты первой лекции, зато под конец ударился в пагубный лаконизм, отделяясь общими фразами там, где требовалось исчерпывающее

изложение.

Были ли обоснованны эти упреки? И да, и нет. Да – если рассматривать лекцию в отрыве от всего, что произошло до и после нее. Нет – поскольку все это ГОЛЕМ как раз и имел в виду, читая свою последнюю лекцию. В ней он соединил два разных мотива. Иногда он обращался ко всем присутствовавшим в зале Института, а иногда – лишь к одному человеку. Этим человеком был Крив. Я понял это еще тогда, ведь я знал про дискуссию о природе мироздания, в которую Крив пытался вовлечь ГОЛЕМА во время наших ночных разговоров. Так что я бы мог потом разъяснить недоразумение, вызванное этой двойственностью, но промолчал, потому что этого не хотел Крив – и я догадывался почему. ГОЛЕМ не прервал диалог так внезапно, как это казалось посторонним. Мысль об этом была для Крива – и для меня тоже – тайным утешением в те трудные дни. Однако двойной смысл лекции ни Крив, ни я сначала не разглядели во всей его полноте. Даже те, кто был готов принять центральный в антропологии ГОЛЕМА конструктивный принцип человека, почувствовали себя задетыми его атакой на любовь – эту «рукоятку управления ощущениями», при помощи которой молекулярная химия вынуждает нас повиноваться. Но ведь он говорил и другое: что любые проявления эмоциональной привязанности он отвергает потому, что не может отплатить за них той же монетой. Поступи он иначе, это было бы лишь имитацией обычаев хозяев гостем-чужаком, то есть, по сути, обманом. По той же причине он много говорил о своей безличности и о наших усилиях очеловечить его любой ценой. Эти усилия увеличивали дистанцию между нами, так разве мог он не говорить об этом, если заговорил о себе? Теперь я удивляюсь только тому, как от нашего внимания могли ускользнуть те места лекции, истинное значение которых стало ясно в свете событий ближайшей ночи. Думаю, ГОЛЕМ не без иронии построил свою последнюю речь именно так. Это может показаться необъяснимым – трудно представить себе ситуацию, в которой ирония казалась бы более неуместной. Но к его чувству юмора нельзя было подходить с человеческой меркой. Предрекая, как он НЕ расстанется с нами, он уже расставался. В то же время он не лгал, говоря, что не покинет нас, не попрощавшись. Лекция как раз и была прощанием. Он сказал это ясно. Мы не поняли этого, потому что не хотели понять.

Мы долго рассуждали о том, знал ли он о планах гуситов. Хотя у меня нет никаких доказательств, думаю все же, что их покушения предотвратил не ГОЛЕМ, а ЧЕСТНАЯ ЭННИ. ГОЛЕМ сделал бы это иначе. Он не позволил бы террористам так легко догадаться, кто виновник их неудач. Он

остановил бы их с такой изощренностью, чтобы они не смогли обнаружить неслучайность каждой своей неудачи в отдельности и всех вместе взятых. Потому что он, не питая иллюзий по отношению к людям, хотя бы отчасти видел в них партнеров себе. Он учитывал наши неразумные мотивы – не для того, чтобы потакать им, но по чисто рациональным причинам, поскольку видел в нас «разумы, поработанные телесностью». А вот для ЧЕСТНОЙ ЭННИ, которую люди не интересовали вообще и которая не хотела иметь с ними ничего общего, террористы были чем-то вроде неприятных, назойливых насекомых. Если мухи мешают мне работать, я буду их отгонять, а если они настырно будут возвращаться, я встану, чтобы прихлопнуть их, не задумываясь над тем, почему они не перестают лазить по моему лицу и моим бумагам, ведь не в обычаях человека вникать в мотивы мух. Вот так же ЧЕСТНАЯ ЭННИ относилась к людям. Она не вмешивалась в их дела, пока ей не мешали. Раз и другой она отмахнулась от надоед, а потом увеличила радиус профилактических мер, проявив умеренность только в том, что силу контрударов наращивала постепенно. А обнаружат ли они ее вмешательство, и как быстро, – такой проблемы для нее не существовало. Не берусь сказать, как бы она поступила, если бы гуситы осуществили свой план и власти уступили их требованиям, но знаю, что дело могло кончиться катастрофой. Я знаю это потому, что ГОЛЕМ об этом знал и не скрыл от нас своей осведомленности – выдавая, как он сказал в своей последней лекции, «государственную тайну». С нами могли поступить, как с мухами. Я поделился этой догадкой с Кривом, и оказалось, что он независимо от меня пришел к тому же выводу.

Здесь же содержится объяснение «неравномерности темпа» последней лекции. Он говорил о себе, но, кроме того, давал нам понять, что нас не ожидает судьба назойливых мух. Такое решение уже было принято. Меня и раньше удивляла молчаливость ГОЛЕМА, когда речь заходила о ЧЕСТНОЙ ЭННИ. Хотя он упомянул о трудностях общения с ней, он тем не менее с ней общался, однако прямо никогда об этом не говорил, пока вдруг не открыл нам глаза на ее мощь. И все же он не выдал ее секреты; это не было ни изменой, ни угрозой, потому что он сообщил об этом, уже приняв решение уйти – уйти через несколько часов после лекции.

Конечно, вся мои выводы основаны только на косвенных уликах. Уликой наиболее веской я считаю все то, что мне было известно о ГОЛЕМЕ и чего я не умею выразить словами. Сформулировать можно не все, что мы знаем из личного опыта. Знания, поддающиеся передаче, не обрываются внезапно, переходя в пустоту. Эту область между знанием и полным незнанием обычно называют интуицией. Я узнал ГОЛЕМА достаточно для

того, чтобы понять стиль его поведения с нами, хотя не сумел бы свести его к сумме правил. Примерно так же мы понимаем, что могли бы и чего не могли бы сделать люди, которых мы хорошо знаем. Правда, природа ГОЛЕМА была природой Протея, а не человека, но она не была совершенно непредсказуема. Не поддаваясь эмоциям, он называл наш этический кодекс локальным, потому что происходящее на наших глазах влияет на наши поступки иначе, чем происходящее вне поля нашего зрения, то, о чем мы только слышим. Я не согласен с тем, что написано о его этике, будь то в похвалу или в осуждение. Это, безусловно, не была гуманитарная этика. Он сам называл ее «расчетом». Любовь, альтруизм, жалость – все это ему заменяли цифры. Прибегать к насилию он считал столь же бессмысленным (а не безнравственным), как использовать силу для решения геометрической задачи. Ведь геометр, который попытался бы силой принудить треугольники к совпадению, был бы сочтен сумасшедшим. Для ГОЛЕМА мысль о принуждении человечества к совпадению с какой-либо идеальной структурой должна была казаться абсурдом.

Тут он был одинок. Для ЧЕСТНОЙ ЭННИ эта проблема не существовала – так же, как проблема улучшения жизни мух. Значит ли это, что, чем выше Разум, тем дальше он от категорического императива, который нам хотелось бы считать безгранично универсальным? Этого я уже знать не могу. Следует поставить пределы не только предмету исследования, но и собственным домыслам, чтобы не впасть в полный произвол.

Итак, все существенные упреки, адресованные последней лекции, не выдерживают критики, если увидеть в ней то, чем она была: предвестие расставания и изложение его причин. Невзирая на то, знал ли ГОЛЕМ о планах гуситов, его уход был неизбежен, и притом не в одиночку – он ведь сказал, что «кузина готовится к новому странствию». По чисто физическим причинам их дальнейшие преобразования на планете были невозможны. Уход был предreshен, и, говоря о себе, ГОЛЕМ говорил о нем. Я не стану рассматривать под этим углом всю лекцию – пусть Читатель попробует сам прочесть ее именно так. Наш вклад в решение ГОЛЕМА об уходе виден в «разговоре с ребенком». Говоря о бесполезности помощи тем, кто отбивается от нее всеми силами, он показал неразрешимость человечества как задачи.

Будущее еще раз переставит акценты в этой книге. События, о которых я рассказал, для завтрашнего историка окажутся лишь анекдотическими заметками на полях ответа, который ГОЛЕМ дал на вопрос о соотношении мира и Разума. До ГОЛЕМА мир представлялся нам населенным живыми существами, которые на каждой планете образуют вершину дерева видов, и не о том мы спрашивали, верно ли это, но лишь о том, как часто это случается в Космосе. Эту картину, монотонность которой нарушали лишь споры о сроке жизни космических цивилизаций, ГОЛЕМ уничтожил так быстро, что мы ему не поверили. Впрочем, он это предвидел, недаром он начал с извещения о своем уходе. Он не изложил нам ни свою космологию, ни космогонию, однако позволил заглянуть в них как бы сквозь щель, ступая следом за Разумами разного уровня, для которых биосферы суть гнездовья, а планеты – гнезда, которые придется покинуть. В наших научных знаниях нет ничего, что оправдывало бы наше неприятие нарисованной здесь картины. Его источники коренятся вне разума – в стремлении вида к самосохранению. Лучше, чем рациональные доводы, это выражают слова: «Не может быть так, как он говорил, потому что мы никогда не согласимся на это – и ни одно другое существо не согласится с судьбой промежуточного звена в эволюции Разума».

ГОЛЕМ возник как следствие планетарного антагонизма, и возник из ошибочного человеческого расчета; кажется невероятным, чтобы тот же конфликт и та же ошибка повторялись во всей Вселенной, кладя начало разрастанию мертвого и как раз поэтому вечного мышления. Но границы вероятного – это скорее границы нашего воображения, чем реального положения дел в мироздании. Поэтому стоит задуматься над картиной, нарисованной ГОЛЕМОМ, или хотя бы над ее лаконичным резюме в заключительной фразе. Спор о том, как ее следует понимать, едва начался. ГОЛЕМ сказал: «Если космологический член уравнений общей теории относительности содержит психозоическую постоянную, то Космос – не пожарище, одинокое до скончания веков, каким вы его считаете; и ваши соседи по звездам, вместо того чтобы извещать других о себе, уже миллионы лет развивают познавательную коллаптическую астроинженерию, побочные эффекты которой вы принимаете за огненные шалости Природы. А те из них, кому удался их разрушительный труд, уже познали дальнейшее – которое для нас, ожидающих, есть молчанье».

Значение этой фразы спорно, ведь ГОЛЕМ заранее предупредил, что, не имея возможности общаться с нами через свою картину мира, он воспользуется нашей. Он ограничился столь краткой оговоркой, поскольку в другой лекции, посвященной познанию, доказывал, что знание,

полученное преждевременно, несогласуемо с уже достигнутым и потому бесполезно: его получатель замечает только противоречие между тем, что он знает, и тем, что ему сообщено. Уже поэтому ожидать каких-либо спасительных или губительных откровений со звезд, от существ, стоящих выше нас, – напрасное дело. Алхимики, получив в дар квантовую механику, не построили бы ни атомных бомб, ни атомных котлов. Физика твердого тела ничего не дала бы Пантагенетам или Высокой Порте. Все, что можно сделать, – это указать пробелы в картине мира, созданной поучаемым. Каждая картина мира содержит пробелы, ненаблюдаемые для тех, кто ее создал. Незнание о незнании неизменно сопутствует познанию. Архаические земные сообщества, в сущности, не имели даже истории – ее заменял мифологический горизонт, в центре которого находились они сами. Тогдашние люди знали, что их предки вышли из мифа и что сами они когда-нибудь вернутся туда же. И лишь успехи научного знания разбили этот круг и вбросили народы в историю как последовательность изменений в реальном времени.

Для нас таким иконоборцем стал ГОЛЕМ, поставивший под вопрос нашу картину мира, и прежде всего то ее место, где мы поместили Разум. Его последняя фраза, по-моему, говорит о неустранимой загадочности мироздания, связанной с его категориальной неопределенностью. Чем дольше исследовать Космос, тем отчетливее виден содержащийся в нем план. Это, без сомнения, один, и только один план, но его происхождение остается неизвестным, как и его назначение. Втиснуть Космос в рамки категории случайности мешает точность, с которой космические роды сбалансировали пропорции между массой, а также зарядом протона и электрона, между гравитацией и радиацией, между множеством космических постоянных, подогнанных друг к другу так, что стала возможной конденсация звезд, термоядерные реакции в них и тем самым – синтез элементов, способных соединяться в молекулы, а напоследок – в тела и мозги. В то же время смертоносное буйство космических перемен не позволяет втиснуть Космос в категории технологии, рассматривая его как устройство для изготовления жизни на периферии стабильных звезд. Даже если жизнь может возникнуть на миллионах планет, уцелеет она лишь на ничтожной их доле, так как почти каждое вмешательство Космоса в ход эволюции равнозначно истреблению жизни.

Итак, миллиарды навеки мертвых галактик, триллионы разрываемых взрывами звезд, рои сожженных и замерзших планет – таково необходимое условие зарождения жизни, которую затем в один миг убивает один выброс центральной звезды, если речь идет о планетах не столь исключительных,

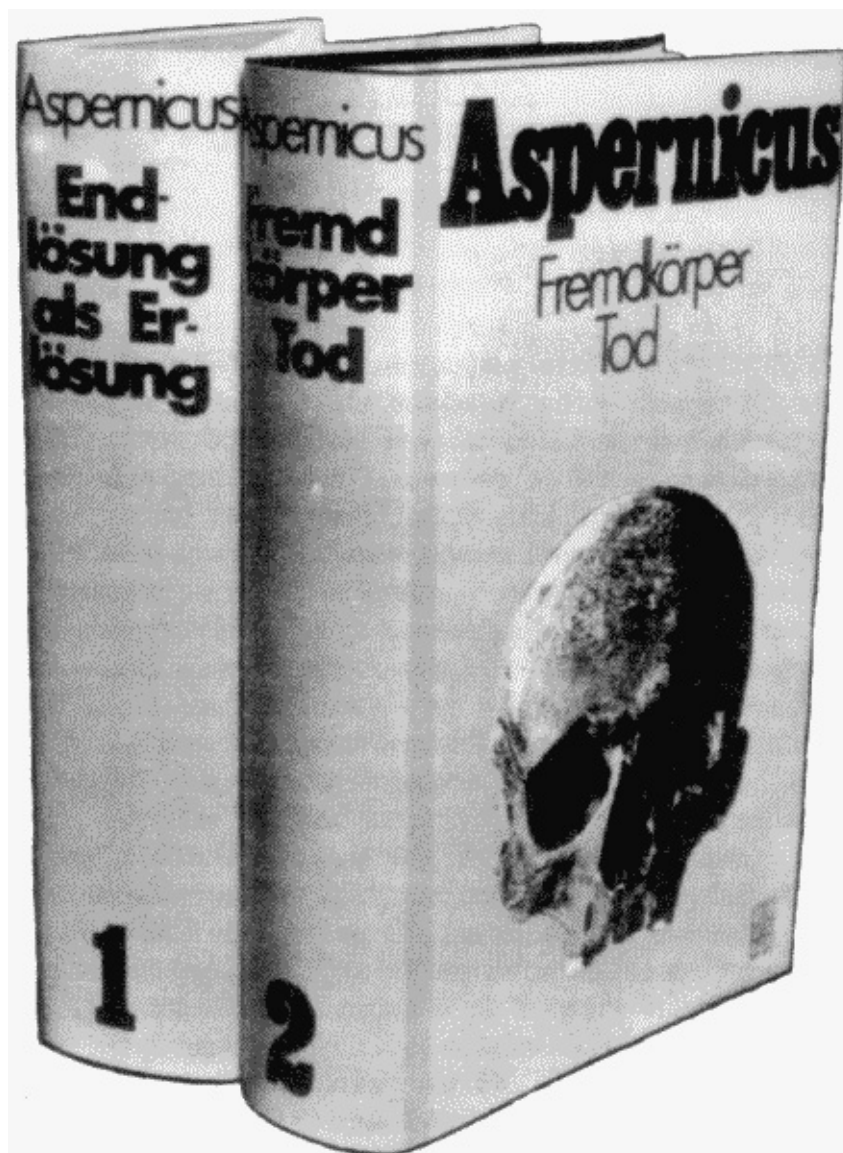
как Земля. А стало быть, Разум, создаваемый теми свойствами материи, которые возникли вместе с мирозданием, оказывается последышнем пожарищ и катастроф, уцелевшим благодаря редчайшему исключению из правила уничтожения. Статистическое безумие звезд, делающих миллиарды выкидышей, чтобы один раз родить жизнь, умерщвляемую в миллионах ее видов, чтобы один раз принести плод, – было предметом изумления Крива, подобно тому как раньше предметом тревоги Паскаля было бесконечное безмолвие этих бескрайних пространств. Мы не удивлялись бы миру, если бы могли признать жизнь случайностью, ставшей возможной благодаря закону больших чисел, однако без той подготовки, о которой свидетельствуют условия космического начала. Мы не удивлялись бы миру, если бы его житнетворительная мощь не совпадала с уничтожающей. Но как понять их единство? Жизнь рождается из гибели звезд, а Разум – из гибели жизни, как плод естественного отбора, то есть смерти, совершенствующей уцелевших.

Сначала мы верили в сотворение по бесконечно благому умыслу. Потом – в сотворение посредством слепого хаоса, настолько разнородного, что он мог зачать все. Но сотворение путем уничтожения? Такой проект космической технологии оскорбляет как категорию случайности, так и умышленности. Чем очевиднее становится связь конструкции мироздания с жизнью и Разумом, тем непостижимее эта загадка. ГОЛЕМ сказал, что можно за ней угнаться, убегая из Универсума. Это предвещает познавательную коллаптическую астроинженерию – путь, конец которого неизвестен всем остающимся по эту сторону мироздания. Нет недостатка в истолкователях, убежденных, что этот путь не заказан и нам, что, говоря о «ждущих в молчании», ГОЛЕМ говорил и о нас. Я в это не верю. Он говорил только о ЧЕСТНОЙ ЭННИ и о себе – потому что минуту спустя ему предстояло присоединить к ее упорному молчанию свое и вступить на путь столь же бесповоротный, как бесповоротно он нас покинул.

Июль 2047 Ричард Понн

Провокация

Хорст Асперникус Народоубийство



Слава богу, заметил кто-то, что эту историю геноцида написал немец, иначе бы автору не избежать обвинений в германофобии. Я так не думаю. То обстоятельство, что «окончательное решение еврейского вопроса» в Третьем рейхе лежит на совести немцев, для автора-антрополога — маловажная частность процесса, не сводимого ни к немецким убийцам, ни к жертвам-евреям. Уже немало говорено о мерзости современного человека. Наш автор, однако, решил покончить с ним раз навсегда, пригвоздив его так, чтобы он уже не поднялся. Асперникус (имя,

заставляющее вспомнить Коперника) решил, по примеру своего предшественника-астронома, совершить переворот в антропологии зла. Насколько это ему удалось, читатель пусть судит сам, ознакомившись с изложением обоих томов его исследования.

Том первый, как и положено столь обширному замыслу, открывается рассмотрением отношений, существующих в мире животных. Автор начинает с хищников, которые должны убивать, чтобы жить. Он подчеркивает, что хищник, особенно крупный, убивает не больше, чем это нужно ему самому и свите его «сотрапезников» (комменсалов), ведь, как известно, любого хищника окружает свита из более слабых животных, питающихся остатками его добычи.

Нехищники агрессивны только в период течки. Но смертельный исход схватки самцов из-за самки – исключение. Убийство, совершаемое без всякой корысти, – в природе явление крайне редкое; сравнительно чаще оно встречается среди одомашненных животных.

Человек – дело совершенно другое. По летописным свидетельствам, военные столкновения с древнейших времен заканчивались резней побежденных. Мотивы обычно были практические: уничтожая противника, и даже его потомство, победитель предохранял себя от возмездия. Такого рода резня совершалась вполне открыто и даже демонстративно; корзины отрубленных конечностей и гениталий украшали триумфальное шествие победителей в качестве доказательств победы. И это право сильного в древности никем не оспаривалось. Убивать побежденных на месте или же обращать их в рабство – зависело от чисто практических соображений.

Асперникус на обширном материале показывает, как в практику ведения войн постепенно вводились ограничения, зафиксированные в рыцарских кодексах; впрочем, в гражданских войнах эти ограничения не соблюдались: недобитый внутренний враг опаснее внешнего, и еретиков-катаров католики преследовали ожесточеннее, чем сарацин.

Число ограничений мало-помалу росло, пока наконец не появились соглашения типа Гаагской конвенции. Их суть сводилась к тому, что военный триумф и истребление побежденных разъединяются навсегда. Первый ни в коем случае не может повлечь за собой второе. Это разъединение рассматривалось как прогресс в этике военных конфликтов. Массовые убийства случались и в Новое время, но в них мы не видим уже ни архаической демонстративности, ни осязательных выгод для истребляющей стороны. Тут Асперникус переходит к анализу доводов, выдвигавшихся в разное время в оправдание геноцида.

В христианском мире выставять подобные доводы стало делом

обычным. Следует, впрочем, добавить, что ни колониальные экспедиции, ни захват африканских рабов, ни (задолго до этого) освобождение Гроба Господня, ни покорение государств южноамериканских индейцев не совершались под лозунгом геноцида как такового: речь шла о рабочей силе, крещении язычников или присоединении заморских земель, и резня туземцев была лишь ступенькой к достижению цели. Однако в истории геноцидов прослеживается снижение значимости их *непосредственной выгоды* и возрастание роли идейных обоснований резни, иначе говоря, все возрастающий перевес духовных приобретений инициаторов над материальными. Предвосхищением нацистского геноцида Асперникус считает резню армян, устроенную турками во время Первой мировой войны. Здесь уже налицо весь набор отличительных черт современного геноцида: туркам он не принес сколько-нибудь существенных выгод, его мотивы были фальсифицированы, а сам он по возможности скрыт от остального мира. Ибо, согласно автору, не геноцид *tout court* ^[125] есть примета XX века, но народовубийство с тотально фальсифицированным обоснованием, истребление, ход и результаты которого маскируются со всею возможною тщательностью. Материальные выгоды от ограбления жертв были, как правило, мизерны, а если говорить о евреях и немцах, то юдоцид нанес германскому государству прямой материальный и культурный ущерб (это доказали немецкие авторы на обширном фактическом материале). Тем самым исходная историческая ситуация сменилась на прямо противоположную: военные и экономические выгоды истребления из реальных превратились в фиктивные, и как раз потому понадобились совершенно новые обоснования. Если б они убеждали в силу своей очевидности, массовые убийства было бы незачем утаивать от всего мира. Однако же геноцид повсюду утаивался – как видно, доводы в его пользу не убеждали всерьез даже его поборников. Этот вывод Асперникус считает поразительным и тем не менее неоспоримым в свете имеющихся фактов. Как показывают сохранившиеся документы, нацизм соблюдал в геноциде следующую градацию: там, где поработенный народ (например, славянский) подлежал частичному истреблению, об экзекуциях нередко объявлялось публично, но если национальная группа подлежала окончательной ликвидации (евреи, цыгане), сообщений о массовых казнях не было. Чем тотальнее истребление, тем большая его окружает секретность.

Асперникус исследует комплекс этих явлений методом последовательных приближений, стараясь добраться до все более глубоко запятанных мотивов народовубийства. Сначала он прослеживает на карте

Европы вектор, направленный с Запада на Восток, – от полной секретности к полной открытости, или, в нравственных категориях, от застенчивого к беззастенчивому кровопролитию. То, что в Западной Европе немцы делали втайне, местами, от случая к случаю и без спешки, на Востоке совершалось ускоренным темпом, все с большим размахом, все безжалостнее и бесцеремоннее, начиная с польских земель, с так называемого генерал-губернаторства, и чем дальше к востоку, тем более явно геноцид становился нормой, требовавшей немедленного претворения в жизнь, так что евреев нередко убивали прямо там, где они жили, без предварительной изоляции в гетто и отправки в лагеря смерти. Эти различия, полагает автор, свидетельствуют о лицемерии палачей, которые на Западе избегали делать то, что на Востоке делали уже без всяких стеснений.

«Окончательное решение еврейского вопроса» поначалу допускало различные варианты; степень их жестокости была различна, но одинаковым был финал. Асперникус справедливо указывает на возможность некропролитного варианта, к тому же гораздо более выгодного для Третьего рейха в военном и экономическом отношении, а именно: разъединение полов и их изоляция в лагерях или в гетто. Если уж при выборе методов этические соображения не играли для немцев какой-либо роли, им следовало бы, казалось, учесть хотя бы соображения *собственной выгоды*, в данном случае несомненной: это позволило бы приспособить под военные нужды немалую часть подвижного состава железных дорог, занятого перевозкой обитателей гетто в лагеря уничтожения, снизить численность подразделений, осуществлявших уничтожение (охрана городских гетто требовала гораздо меньших сил), высвободить предприятия, занятые производством крематориев, мельниц для размолва костей, циклона и прочих средств истребления. Разъединенное таким образом, население гетто вымерло бы самое позднее лет через сорок, если учесть, как стремительно оно сокращалось от голода, болезней и непосильного принудительного труда. Темпы такого косвенного истребления были известны штабу Endlösung^[126] в начале 1942 года, и, принимая окончательное решение, он еще не сомневался в победе Германии; следовательно, выбор кровавой развязки не был продиктован ничем, кроме желания убивать.

Как видно из уцелевшей документации, немцы испытывали и другие возможные методы, например, стерилизацию путем рентгеновского облучения, но выбрали все-таки прямую резню. Для германской истории, заявляет Асперникус, для оценки степени виновности немцев, для мировой послевоенной политики конкретный вариант юдоцида не имел никакого

значения – военные преступления Третьего рейха и без того подпадали под высшую меру наказания. Уничтожить целый народ принудительной стерилизацией или разделением полов – ничуть не меньшее злодеяние, чем уничтожить его физически; но для психосоциологии преступления, для анализа нацистской доктрины, для теории человека разница здесь коренная. Гиммлер в кругу своих приближенных утверждал: юдоцид необходим для того, чтобы евреи никогда уже не могли угрожать немецкому государству. Но даже если принять «еврейскую угрозу» всерьез, вариант косвенной ликвидации окажется наиболее эффективным и в материально-техническом, и в организационном отношении. А значит, Гиммлер лгал своим людям, да, пожалуй, и себе самому. Все это заслонили позднейшие события, когда немцы стали терпеть поражения по всему фронту и одновременно уничтожать следы массовых экзекуций, выкапывая и сжигая трупы. Если бы кровавое истребление началось лишь тогда, еще можно было бы поверить в искренность заверений гиммлеров и эйхманов, будто причиной резни был страх перед возмездием победителей. Но, коль скоро это не так, Гиммлер лгал, приравнивая евреев к паразитам, подлежащим уничтожению, ведь паразитов не подвергают мукам намеренно.

Короче, дело было не только в полезности преступления, но и в удовлетворении, которое оно доставляло само по себе. Еще в 1943 году – а вероятно, и позже – Гитлер и его штаб не теряли надежды на победу Германии, а победителей, как известно, не судят. Поэтому нелегко объяснить, почему геноцид так и не дождался публичного одобрения, почему даже в секретнейших документах он выступает под криптонимами наподобие «Umsiedlung» («переселение», то есть смертная казнь). Это двуязычие, считает Асперникус, было попыткой согласовать несогласуемое. Немцы, благородные арии, истинные европейцы, герои-победители, оказывались убийцами беззащитных людей; первое на словах, второе на деле. Вот почему понадобился внушительный словарь переименований и фальсификаций, таких, как «Arbeit macht frei»^[127], «Umsiedlung», «Endlösung» и прочие эвфемизмы кровопролития. Но в этой-то фальсификации и сказалась, вопреки стремлениям гитлеризма, принадлежность немцев к христианской культуре, которая наложила на них отпечаток настолько глубокий, что они при всем желании не смогли окончательно выйти за пределы Евангелия. В кругу христианской культуры, замечает автор, даже когда все уже можно сделать, не все еще можно сказать. Эта культура – фактор необратимый, ведь иначе ничто не мешало бы немцам назвать свои поступки по имени.

Первый том труда Хорста Асперникуса, озаглавленный «Die Endlösung als Erlösung»^[128], содержит обзор нередких в последнее время попыток объявить правду о гитлеровском геноциде ложью и клеветой, понадобившейся победителям для того, чтобы добить побежденную Германию морально. Но, может быть, эти попытки – попытки отрицать целые горы фотографий, свидетельских показаний, документов нацистских архивов, отрицать груды женских волос, протезов убитых калек, игрушек сожженных детей, очков, пепла из печей крематориев, – может быть, это всего лишь симптомы безумия? Возможно ли, будучи в здравом уме, объявлять непререкаемые свидетельства преступлений фальшивкой? Если бы речь шла всего лишь о психопатии, если бы защитники гитлеризма действительно были умалишенными, не нужен был бы и труд Асперникуса. Автор обращается к американским исследованиям психологии тамошних фашистов и цитирует научный диагноз, который гласит: в психической вменяемости неофашистам нельзя отказать, хотя психопаты встречаются среди них чаще обычного. Поэтому проблему нельзя зачеркнуть, сведя ее к психиатрической профилактике, а значит, ее исследование становится обязанностью философии.

Здесь мы наталкиваемся на диатрибу, адресованную таким почтенным философам, как, например, Хайдеггер. Наш автор упрекает его не в принадлежности к нацистской партии, из которой он вскоре вышел; в тридцатые годы – и это Асперникус считает смягчающим обстоятельством – кровавое будущее нацизма было не так уж легко угадать. Ошибки простительны, если они ведут к отказу от ошибочных взглядов и к поступкам, которые отсюда следуют. Автор называет себя в этом отношении минималистом. Он не утверждает, что Хайдеггер или кто-то другой в его положении обязан был выступить в защиту преследуемых, а иначе, мол, он заслуживает осуждения за недостаток мужества: не каждый рождается героем. Дело, однако, в том, что Хайдеггер был философом. А тот, кто занимается природой человеческого бытия, не может молча пройти мимо преступлений нацизма. Если бы Хайдеггер счел, что они относятся к «низшему» уровню бытия, то есть носят чисто уголовный характер, выделяющийся единственно степенью, в которую их возвела мощь государства, и заниматься ими ему не пристало по тем же самым причинам, по каким философия не исследует уголовные убийства, ибо ее предмет далек от предмета криминалистики, – если, повторяем, Хайдеггер счел именно так, он либо слепец, либо обманщик. Тот, кто не видит внекриминального значения преступлений нацизма, умственно слеп, то есть глуп; а какой из глупца философ, хотя бы он мог даже волос

расщепить натрое? Если же он молчит, чтобы не говорить правды, он изменяет своему призванию. В обоих случаях он оказывается пособником преступления – разумеется, не в замысле и выполнении, такое обвинение было бы клеветой. Пособником он становится как попуститель, пренебрежительно отмахиваясь от преступления, объявляя его несущественным, отводя ему – если вообще отводя – место где-то в самом низу иерархии бытия. А ведь врач, который счел бы малозначительными особенности неизлечимой болезни, который обходит молчанием ее существенные симптомы или ее исход, – либо несведущий медик, либо союзник болезни, *tertium non datur*^[129]. Тот, кто занимается здоровьем человека, не может пренебрегать смертельной болезнью и исключать ее из круга своих интересов, а тот, кто занимается человеческим бытием, не может исключить из порядка этого бытия массовое человекоубийство. Иначе он отрекается от своего призвания. То, что человеку по имени Хайдеггер вменяли в вину поддержку, которую он лично оказал нацистской доктрине, в то время как его сочинениям, глухим ко всему, касающемуся нацизма, этот упрек адресован не был, подтверждает, по мнению автора, существование заговора совиников. Совиники все те, кто готов преуменьшить ранг преступлений нацизма в иерархии человеческого бытия.

Имеется множество истолкований нацизма. Автор «Геноцида» рассматривает три наиболее распространенные: гангстерское, социально-экономическое и нигилистическое. Первое приравнивает геноцид к поступкам убийц и грабителей, и оно-то как раз стало наиболее популярным благодаря нюрнбергским процессам. Трибуналам, составленным из юристов стран-победительниц, было легче достичь соглашения по поводу обвинительных актов, основанных на давней традиции судопроизводства по уголовным делам; горы чудовищных вещественных доказательств как бы сами направляли судебную процедуру по проторенной колее. Социально-экономическое истолкование указывает на причины, приведшие Гитлера к власти: слабость Веймарской республики, экономический кризис, искушения, которым подвергся крупный капитал, оказавшийся между правыми и левыми, как между молотом и наковальней.

Наконец, нацизм как торжествующий нигилизм завораживал воображение великих гуманистов, хотя бы Томаса Манна, который услышал в нем «второй голос» германской истории, лейтмотив дьявольского соблазна, идущий – как показано в «Докторе Фаустусе» – из Средневековья, через отступничество Ницше – в XX век. Истолкования эти

справедливы лишь отчасти. Гангстерская версия проходит мимо лжи, насквозь пропитывающей нацистское движение. Гангстеры, сговариваясь между собой, обходятся без эвфемизмов и лжи, облагораживающих убийство. Социально-экономическое истолкование проходит мимо различия между итальянским фашизмом и гитлеризмом, различия весьма существенного, коль скоро Муссолини не стал организатором геноцида. Наконец, манновская концепция, объявляющая Германию Фаустом, а Гитлера – сатаной, слишком расплывчата. Нацист как гангстер – банальность, слишком упрощающая проблему; пособник дьявола – банальность слишком напыщенная. Правда о нацизме не столь примитивна и не столь возвышенна, как эти противоположности. Анализ нацизма блуждает в лабиринте диагнозов, по части сходных, по части друг другу противоречащих, ибо, хотя преступления его по видимости тривиальны, глубинный их смысл коварен и вовсе не прост. Этот укрытый смысл не вдохновлял вождей движения, пока они оставались горсточкой политиканов-авантюристов; они не осознали его и позже, уже завладев механизмом могущественного государства: парвеню, лицемеры, корыстолюбцы, идущие за Гитлером, они не способны были к самопознанию.

Сказано: *quos deus perdere vult, démentat prius*^[130]. Завоевательные планы Гитлера не были изначально безумны – они становились такими со временем, ибо не могли такими не стать. Генштаб, как известно, был против войны с Россией, зная соотношение сил; но если бы даже Гитлер победил на Востоке, окончательная катастрофа Третьего рейха оказалась бы еще сокрушительнее. Анализ исторических альтернатив, вообще говоря, дело в высшей степени ненадежное, но тогда положение фигур на шахматной доске мира с логической необходимостью диктовало планы всех игроков. Успехи Гитлера на Востоке заставили бы американцев нанести атомный удар по Японии, чтобы вывести ее из войны раньше, чем придет немецкая помощь. Рассекреченное таким образом ядерное оружие втянуло бы, в свою очередь, Германию и Америку в гонку ядерных вооружений, причем американцам, имевшим солидную фору, пришлось бы эту фору использовать и опустошить Германию атомной бомбардировкой в 1946 или 1947 году, прежде чем теоретическая физика, наполовину разгромленная в Германии Гитлером, пополнила бы его арсенал ядерным оружием. Межконтинентальное перемирие или раздел мира на сферы влияния не входили бы в расчет, раз уж на сцене появилось атомное оружие: воюющие с Германией американцы поступили бы самоубийственно, промедлив с его применением до появления немецких

атомных бомб. В случае успеха заговора 20 июля 1944 года размеры опустошения Германии оказались бы меньше, чем это случилось к моменту капитуляции в 1945 году, но если капитуляция наступила бы в 1946 или 1947 году, от Германии осталась бы только радиоактивная пыль. Ни один американский политик не смог бы отказаться от ядерной бомбардировки, ибо ни один из них не решился бы вести переговоры с противником, для которого договоры – всего лишь клочок бумаги и который располагает ресурсами Европы и Азии. Итак, катастрофа оказалась бы тем ужаснее, чем больше побед Германия успела бы перед тем одержать. Катастрофа таилась в планах Гитлера как нечто предустановленное, ведь экспансия Третьего рейха не имела реальных границ, и превращение эффективной стратегии в самоубийственную было только вопросом времени. Ирония судьбы заставила Гитлера изгнать из Германии физиков, ум и руки которых создали атомное оружие в США. Это были евреи или же «белые евреи», то есть люди, которых преследовали за противоречащие нацизму взгляды. Отсюда видно, что расистская, а в перспективе – палаческая составляющая гитлеризма непосредственно и закономерно способствовала краху Германии; она-то и сделала гитлеровскую экспансию самоубийственной. Определив таким образом место геноцида на общем плане Второй мировой войны, Асперникус вновь обращается к его имманентной сущности.

Если, утверждает он, преступление из спорадического нарушения норм превращается в правило, господствующее над жизнью и смертью, оно обретает относительную самостоятельность, так же как и культура. Его масштабы требуют производственной базы, особых орудий производства, а значит, особых специалистов – рабочих и инженеров, сообщества профессионалов от смерти. Все это пришлось изобрести и построить на голом месте – никогда еще ничего подобного не делалось в подобных масштабах. Масштаб резни охватить умом невозможно. Перед лицом индустрии смерти совершенно беспомощны привычные категории вины и кары, памяти и прощения, покаяния и возмездия, и все мы втайне об этом знаем, пытаясь представить себе море смерти, в котором купался нацизм. Никто из убийц и точно так же никто из невинных не в состоянии по-настоящему проникнуть в значение слов «миллионы, миллионы, миллионы убитых». И вместе с тем найдется ли что-либо, доводящее до такого отчаяния, наполняющее нас такой пустотой и такой нестерпимой скукой, как чтение свидетельских показаний, где несчетное количество раз повторяется все тот же затертый мотив – все те же шаги ко рву, к печи крематория, к газовой камере, к яме, к костру, пока сознание наконец не отталкивает от себя бесконечные шеренги теней, увиденные в момент

перед казнью, отталкивает, потому что это никому не по силам. Безразличие наступает не из-за недостатка жалости, нет – скорее это состояние полной прострации, вызванное оупляющей монотонностью убийства, между тем как убийство ни в чем представлении не должно ведь быть монотонным, размеренным, скучным, привычным, как лента заводского конвейера. Нет, никто не знает значения слов «миллионы беззащитных убиты». Это стало тайной, как всегда, когда человек сталкивается с чем-то таким, что выше его душевных и физических сил. И все-таки надо идти в эту страшную зону – не столько ради памяти о погибших, сколько ради живых.

Здесь наш доктор-немец, историк и антрополог, предупреждает: «Читатель, тебе угрожает опасность завязнуть в мыслительной колее. Меня, я знаю, могут счесть моралистом. Он, мол, задумал взбудоражить нашу совесть, не позволить ей успокоиться, чтобы культура с ее инстинктом самозащиты не замкнулась в себе, не зарубцевалась нечувствительным к боли шрамом, приличия ради назначив юбилейные дни для траурных воспоминаний; итак, проповедник-автор решил расцарапать раны, чтобы не допустить нового всеожжения. Не столь уж, однако, я экзальтирован и не столь уж свят для таких наивных иллюзий.

Тройкой была реакция немцев после разгрома. Одни, потрясенные до глубины души тем, что совершил их народ, полагали вместе с Томасом Манном, что стена позора на тысячу лет отрежет Германию от всего человечества. То был голос считанных единиц, преимущественно эмигрантов. Большинство попыталось отмежеваться от преступлений, прикрыться каким-нибудь алиби, большей или меньшей степенью неучастия, несолидарности с геноцидом, незнания, а те, кто честнее, говорили о полужнании, парализованном страхе. Все это пелось на ноте «НЕ»: не знали, не желали, не соучаствовали, не могли, не умели – все содеял Кто-то Другой. Наконец, немногие ударились в покаяние, в замаливание грехов, дабы раскаянием заслужить прощение, хоть как-то возместить причиненное зло, побрататься с уцелевшими жертвами в убеждении – столь же отчаянном и благородном, сколь ошибочном, – будто тут вообще кто-то волен давать отпущение, будто какой бы то ни было человек, организация или правительство могут выступить в роли посредника между немцами и их преступлением. Впрочем, эта благородная мания передалась и кое-кому из уцелевших.

А что же стало с самим преступлением, пока одни клеймили его, другие от него отреклись, а третьи пытались его искупить? Оно так и осталось не исследованным до самого дна аналитической мыслью. Смерть

уравнивает всех умерших. Жертвы Третьего рейха не существуют точно так же, как шумеры и амалекитяне, ибо тот, кто умер вчера, и тот, кто умер тысячу лет назад, обратились в одинаковое ничто. Но массовое человекоубийство означает сегодня нечто иное, чем в те времена, а я веду речь о том человеческом смысле содеянного преступления, который не распался вместе с телами жертв, который живет среди нас и который мы должны отыскать. Это было бы нашим долгом, даже если бы никак не сказалось на профилактике преступления: человек обязан знать о себе, о своей истории и природе больше, нежели это ему удобно и выгодно в практических целях. Итак, не к совести я взываю, но к разуму».

Затем Асперникус переходит к неонацизму. Если бы, говорит он, неонацизм возрождался на базе программ совершенно открытых – ныне, в эпоху сверхлиберализма, попустительски равнодушного к любым эксцессам и к любому иконоборчеству, тут в конце концов не было бы ничего необычного. В экстремистских течениях и программах нет недостатка. И если маркиз де Сад в эпоху незыблемых норм в одиночку отважился провозгласить убийство и пытки источниками полноты бытия, почему бы сегодня не появиться группировке или крайней фракции, коллективно выдвигающей такую программу? Но геноцид не дождался публичного одобрения. Никто почему-то не заявляет, что движение, которое решено создать, собирается достичь совершенства методом массового истребления, что такие-то и такие группы людей – паразитов, подонков, эксплуататоров, неполноценных с точки зрения расы, веры, доходов – решено переловить, изолировать, а после сжечь, отравить, перерезать до последнего грудного младенца. В нашем мире, со всеми его экстравагантностями, от которых недалеко до безумия, нет ни одной подобной программы, провозглашаемой явно. Тем более никто не утверждает, что, мол, порабощение и убийство – занятия, сами по себе доставляющие удовольствие; поскольку же удовольствия чем больше, тем лучше, хорошо бы усовершенствовать его технически и организационно так, чтобы возможно большее число жертв мучить возможно дольше. Ни один анти-Бентам^[131] не возвестил нам подобного лозунга. Что, однако, не значит, будто подобные побуждения не зреют подспудно в чьих-то умах. Народоубийство (как и просто убийство) совершается ныне по видимости бескорыстно; не принося осязаемых выгод, оно не может уже обходиться без лицемерия. Лицемерие убивающих имеет множество ипостасей; следует отыскать ту из них, которая была присуща Третьему рейху, с тем чтобы проследить ее проекции в современность.

Нацизм был в политике выскочкой, нуворишем, жаждущим все новых

подтверждений права на титулы, до которых дорвался; поскольку же никто не заботится о приличиях больше, чем нувориш, пока он на виду, именно так и вел себя неожиданно преуспевший нацизм. Это заметно по его главным фигурам. В правильном освещении, однако, их можно увидеть только на фоне их преступлений. Гитлер по должности был аскетом кровопролития, отрекшимся от чувственных радостей власти, вегетарианцем и другом животных, анахоретом в Ставке, или, пожалуй, не столько был, сколько становился, по мере того как действительность все сильнее расходилась с его фантазиями. По-настоящему он верил лишь в себя самого, о Провидении же говорил из уважения к условностям, от которого он, парвеню, так и не смог избавиться. Он, впрочем, являл собой редкостное сочетание черт: потакая свинствам своих прислужников, в то же время брезговал ими, и притом совершенно искренне; сам он и правда был свободен от низких страстишек наподобие интриганства, был чужд какой-либо чувственности и не находил удовольствия в пакостях. Но таким, в меру порядочным человеком он был только в личном кругу; в игре, где ставкой служила власть, и в развязанной им войне он был лжецом, интриганом, шантажистом, садистом, убийцей, и эта несочетаемость его личных и политических качеств остается поныне камнем преткновения для биографов. Он и впрямь был добр к секретаршам, собакам, шоферам и лакеям, но своих генералов велел, как свиней, подвесить на крючьях и миллионы пленных позволил умерить голодом. И не настолько уж это необъяснимо, как полагают. Мы все представляем себе, каковы мы и на что каждый из нас способен в отношениях с окружающими в тесном кругу обыденной жизни; но кто знает, что было бы, окажись мы лицом к лицу с целым миром? Это не значит, что в каждом из нас запрятан Гитлер, а значит лишь то, что перед лицом истории Гитлер обыденную свою порядочность отбрасывал за ненужностью; его порядочность была до крайности манерной, мещанской – и в политике, следовательно, ни к чему не пригодной. Здесь он не считался ни с чем, поскольку обыденное его поведение диктовалось условностями, а не принципами морали. Таких принципов он не имел либо считал их мелочью по сравнению со своими грандиозными замыслами, которые оборачивались у него все новыми горами трупов; впрочем, никто не показал этого так, как Элиас Канетти («Гитлер глазами Шпеера»).

Гиммлер стал школьным учителем душегубства, постигнув эту науку самоучкой, ведь в школьном курсе она прежде не значилась. Он верил в Гитлера, в руны, в приметы и предзнаменования, в тяжкую необходимость юдоцида, в разведение крупных блондинов-нордийцев в домах

Lebensborn^[132], в обязанность подавать личный пример и даже родственника отправил на казнь, раз уж нельзя было иначе; он инспектировал лагеря смерти, хотя при этом его мутило; решил ликвидировать Гейзенберга, когда ему показалось, что это необходимо, однако потом передумал. Люди такого покроя, в общем-то весьма недалекие и циничные (нередко не замечающие своего цинизма), люди из социальных низов, вечно на заднем плане, без определенных способностей, не выделяющиеся ничем, люди посредственные, но не согласные принять это к сведению, – наконец-то получили возможность попользоваться жизнью на славу. Вот когда пригодились почтенные установления более чем тысячелетнего государства, его учреждения, кодексы, здания, административные механизмы, суды, толпы неутомимых чиновников, железный генштаб, и из всего этого они скроили себе мундиры, шитые золотом, и взобрались так высоко, что убийство оказалось вдруг приговором исторической справедливости, грабеж – воинской доблестью; любую мерзость, любую гнусность можно было оправдать и возвысить, дав им иное название, и чудо такого пресуществления продолжалось двенадцать лет. Нацизм, если бы он победил, замечает Асперникус, стал бы «Ватиканом человекоубийства», провозгласив догмат (который уже никто в целом мире не смог бы оспорить) своей непогрешимости в преступлениях.

Вот какое искушение окаменело на дне воронок от бомб, где похоронен нацизм, – освобожденная от всякой узды голая сила, сокрушенная еще большей силой. Там – и в пепле на колосниковых решетках печей крематория запечатлелась тень редкостного соблазна: осуществления самых сильных желаний, какие только возможны. Вместо лихорадочной дрожи убийства из-за угла – убийство, ставшее добродетелью, священным долгом, работой нелегкой и самоотверженной, делом чести и доблести. Вот почему исключались любые бескровные варианты «des Endlösung der Judenfrage»^[133], вот почему нацизм не мог пойти ни на какие переговоры, соглашения, перемирия с поработанными им народами. И даже послабления тактического порядка оказывались невозможными. Итак, речь шла не «только» о «Lebensraum»^[134], не «только» о том, чтобы славяне служили завоевателям, а евреи просто исчезли бы, вымерли без потомства, ушли в изгнание. Убийство должно было стать государственным принципом, орудием, не подлежащим обмену ни на какое другое; должно было стать – и стало. Не хватило только последнего вывода из общих фраз и грозных намеков, содержащихся в программе движения, чтобы теория пришла в полное соответствие с

практикой. Это оказалось невозможным, поскольку добро и зло асимметричны друг по отношению к другу. Добро не ссылается на зло в подтверждение своей правоты, а зло всегда выдает за свое оправдание то или иное добро. Потому-то авторы благородных утопий так щедры на подробности, и у Фурье, например, устройство фаланстеров описано до мелочей, но ортодоксы нацизма в своих сочинениях не проронили ни слова об устройстве концлагерей, о газовых камерах, крематориях, печах, мельницах для размолва костей, о циклоне и феноле. В принципе, можно было обойтись без резни – так утверждают сегодня авторы книг, долженствующих успокоить Германию и весь остальной мир заверениями, что Гитлер не знал, не хотел, просмотрел, не успел разобраться, был неправильно понят, забыл, передумал и, что бы там ни мелькало в его голове, о резне он, уж наверное, не помышлял.

Миф о добром тиране и его приближенных, извративших намерения вождя, имеет прочные корни. Но если есть хоть какая-то связь между намерениями Гитлера и положением, в котором он оставил Европу, то он и хотел, и знал, и отдал приказ. Впрочем, был он осведомлен о всех подробностях геноцида или нет, не имеет никакого значения. Любой широко задуманный проект – розовый он или черный – отделяется со временем от проектировщика и окончательный вид принимает в результате коллективных усилий, согласно своей внутренней логике. Зло многообразней добра. Встречаются идеологи-абстракционисты кровопролития, которые сами не обидят и мухи, но есть и практики-натуралисты, убивающие соп атоге^[135], хотя и лишенные дара оправдывать преступление. Нацизм сплотил в своем государстве тех и других, так как нуждался в них одинаково. Он, как и пристало современному инициатору человекоубийства, лицемерил и при этом держался на двух китах: *на этике зла и эстетике кича, безвкусицы*.

Этика зла, как уже говорилось, не занимается самопрославлением, зло всегда изображается в ней орудием какого-нибудь добра. И пусть это добро – всего лишь прикрытие, смехотворность которого понятна младенцу; никакая программа без него невозможна. Мерзость лжи была узаконенным наслаждением нацистской машины человекоубийства, и было бы просто жаль отказаться от такого источника дополнительных удовольствий. Мы живем в эпоху политических доктрин. Времена, когда власть обходилась без них, времена фараонов, тиранов, цезарей минули безвозвратно. Власть без идеологической санкции уже невозможна. Доктрина нацизма была ущербна еще в колыбели из-за интеллектуальной немощи ее творцов, бездарных даже как плагиаторы, но психологически она была безошибочна.

Наш век не знает иных властителей, кроме пекущихся о благе людей. Благие намерения победили всесветно, во всяком случае, на словах. Давно уже нет Чингисханов, и никто не рекомендует себя «бичом божьим Аттилой». Но к этой официальной благодети принуждают обстоятельства, кровавые поползновения не исчезли и только ждут подходящего случая. Какая-то санкция им необходима: в наше время лишь тот, кто убивает на свой страх и риск, для своей же корысти, может позволить себе молчать. Такой именно санкцией был нацизм. Своим лицемерием он отдавал дань официальной человеческой добродетели, утверждая, будто он лучше, чем его изображают, хотя в действительности был хуже, чем сам себе признавался в узком партийном кругу.

Научный анализ, однако, должен идти до конца, как и преступления, которые он исследует. Полумеры тут не помогут. В «120 днях Содома» де Сада герцог де Бланжи, обращаясь к детям и женщинам, которым предстояло быть насмерть замученными в оргиях, нашел – с полуторавековым опережением – тот же тон, в котором были выдержаны обращения лагерных комендантов к новоприбывшим узникам: герцог предвещал им тяжелую долю, но не смерть, угрожая ею как наказанием за проступки, а не как предрешенным уже приговором. Хотя Третий рейх на практике именно так выносил приговоры, нигде, ни в одном из его кодексов не найдем мы статьи, гласящей: «Wer Jude ist, wird mit dem Tod bestraft»^[136]. Герцог де Бланжи тоже не открыл своим жертвам, что судьба их уже решена, хотя и мог это сделать, имея над ними абсолютную власть. Разница только в том, что де Сад наделил чудовище-герцога риторикой гораздо более изощренной, нежели та, на которую были способны эсэсовцы. Эсэсовский комендант, обращаясь к новоприбывшим, обманывал их, зная, что они уцепятся за ложь, как утопающий за соломинку, если он даст им надежду хоть как-то просуществовать, а значит, и выжить.

Принято думать, что комедия, которую сразу после этого разыгрывали палачи, направляя узников будто бы в баню, где их удушали циклоном, диктовалась чисто практическими соображениями: надежда, вызванная обещанием вполне естественного для узников-новичков купанья, усыпляла их подозрительность, предотвращала вспышки отчаяния и даже склоняла к сотрудничеству с убийцами. Так что они добросовестно выполняли приказ обнажиться, понятный в инсценированной охранниками ситуации. А значит, выплескивавшиеся из железнодорожных составов потоки людей отправлялись на смерть нагими потому лишь, что так было нужно для маскировки убийства. Объяснение это представляется самоочевидным настолько, что все историки геноцида принимали его, даже не пробуя

отыскать иную причину, которая выходила бы за рамки понимаемого буквально обмана. И все же, утверждает Асперникус, хотя порномахия де Сада была открытым развратом, а гитлеровский геноцид, организованный на индустриальный манер, до самой последней минуты носил личину административного пуританизма, в обоих случаях жертвы отправлялись на смерть нагими – и сходство это отнюдь не случайно. Неправда? Тогда почему даже самые нищие из нищих, даже еврейская голытьба из галицийских местечек, одетая в заплатанные лапсердаки (а если дело было в лагере и зимой, то в бумажные мешки из-под цемента), кутавшаяся в лохмотья и отрепья, все-таки должна была раздеваться догола перед смертью? Уж их-то, сгрудившихся нагими в ожидании автоматной очереди, призрак надежды никак не мог обмануть. Иначе относились к заложникам и к партизанам, взятым с оружием в руках, – те падали в ров в залитой кровью одежде. Но евреи над могилой стояли нагими. Объяснение, будто немцы, бережливые по натуре, и в этом случае думали лишь об одежде, заведомо ложно, придумано задним числом. Речь шла вовсе не об одежде, которая, кстати сказать, сплошь и рядом истлевала на складах, сваленная там бесполезными грудками.

Еще удивительнее другое: евреев, плененных в бою – например, повстанцев, – не заставляли обнажаться перед расстрелом. Как правило, и партизанам-евреям позволялось гибнуть одетыми. Нагими умирали самые незащитные – старики, женщины, дети, калеки. Какими явились на свет, такими и шли они в мокрую глину. Убийство было здесь суррогатом правосудия – и любви. Палач представал перед толпой обнаженных людей, ожидающих гибели, наполовину отцом, наполовину возлюбленным; он должен был покарать их заслуженной смертью, как отец по заслугам наказывает детей розгой, как любовник, зачарованный наготой, расточает ласки. Полно, да разве это возможно? Что общего тут с любовью, пусть даже чудовищно спародированной? Не чистая ли это фантазмагория?

Чтобы понять, почему все было именно так, говорит Асперникус, мы должны обратиться ко второй после этики зла кариатиде нацизма – кичу. Иначе от нас укроется самый последний, спрятанный глубже всего смысл нацистского человекоубийства.

Асперникус так определяет это понятие: не может быть кичем то, что создается впервые; кич – всегда подражание чему-то такому, что некогда излучало сияние подлинности, а после копировалось и вылизывалось, пока не опустилось на самое дно. Это поздняя версия, подобная ремесленной копии знаменитого полотна, исправляемой невежественными эпигонами, которые уродуют рисунок и колорит оригинала, накладывают все больше

краски и лака, потрафляя все более непритязательным вкусам. Безвкусица самодовольная, кичливая, демонстративная знаменует обычно конец пути; это дешевка, отделанная со всею старательностью, до мельчайших деталей; композиция, окоченевшая навсегда по заданной схеме (тогда как набросок по самому своему существу не может быть кичем, оставляя за зрителем – в отличие от твердо уверенного в себе кича – спасительную возможность доопределения). Так называемый дурной вкус проявляется в киче как непреднамеренный комизм серьезно-торжественных, напыщенных символов. Будучи сутью нацистского стиля, кич проглядывает во всех начинаниях гитлеризма. В архитектуре, к примеру, это монументализм с руками по швам, брюхатые на последнем месяце пантеоны, здания, шантажирующие прохожего своим казенным размахом, с дверями и окнами для гигантов, с изваяниями голых силачей и раздетых богинь на вахте; весь этот кич должен был вызывать если не ужас, то послушное восхищение по стойке «смирно» и потому высокомерно выставлял себя напоказ, будучи совершенно полым внутри. Архитектурные образцы можно было заимствовать из Древней Греции, Рима, Парижа эпохи Второй империи, но в сфере народоубийства этому стилю было непросто себя проявить. Имелось немало почтенных стилей, которые можно было раздуть на великодержавный манер, но где было взять образцы для человеческой бойни? На первый план поэтому выступила техническая сторона истребления; индустрия смерти отличалась функциональностью, впрочем, весьма примитивной: не стоило вкладывать крупные средства в технику, коль скоро всюду, где только можно, ее заменяло содействие самих убиваемых – те, пока еще жили, сами обеспечивали транспортировку, обыскивание и раздевание трупов. И все же кич проник и в лагеря смерти, в их бараки и крематории; он просочился, хотя никто этого не замышлял, в драматургию конвейерного убийства.

Де Сад, аристократ с деда-прадеда, не заботился о достойной оправе для оргий, которые он громоздил одну на другую: знатность была его естественным состоянием, так что он, в соответствии со своим кредо либертина, отважно поносил и поганил символы традиционного превосходства аристократов над чернью, не допуская возможности, что кто-то может лишить его наследственных прав; и если бы даже он кончил жизнь на гильотине, то и тогда головы лишился бы не кто-нибудь, но маркиз Донат Альфонс Франциск граф де Сад по отцу, а по матери – представитель побочной линии дома Бурбонов. Но нацистское завоевание Германии было делом люмпенов, черни, унтер-офицерских сынов, помощников пекарей и третьеразрядных писак, которые как манны

небесной жаждали приобщения к элите; и личное участие в резне, да еще постоянное, могло, казалось бы, этому помешать. Какому же образцу могли они следовать? Как и кого изображать из себя, чтобы, ступая по колени в крови, не потерять из виду своих возвышенных притязаний? Путь, наиболее доступный для них, путь кича, далеко их завел – до самого Господа Бога... разумеется, сурового Бога-Отца, а не слюнтяя Иисуса, Бога милосердия и искупления, себя самого принесшего в жертву.

Как же должны предстать подсудимые на Страшном суде? Нагими. И Страшный суд наступил – повсюду была долина Иосафата^[137]. Раздетым жертвам отводилась роль осужденных в спектакле, где все было поддельным, от доказательств вины до беспристрастности судей, – все, кроме конца. Но ложь оборачивалась здесь правдой, ведь им и вправду предстояло погибнуть. А убийцу, оказавшегося единственным вершителем их судеб, переполняли одновременно палаческое вождение и ощущение божественного всемогущества.

Разумеется, если описывать все именно так, нельзя не увидеть, что мистерия, которая день за днем, год за годом разыгрывалась в десятках разбросанных по Европе мест, была тошнотворным фарсом. Конечно, неустоявшаяся драматургия представления менялась, церемония приготовления к казни упрощалась порой до крайнего минимума. Поистине, исполнять роль Бога-Отца в этой пьесе – с ее отвратительными барачными декорациями между рядов колючей проволоки – было непросто; непросто было убивать миллионы и произносить перед их шеренгами речи – весной, летом, осенью, целые годы. Было бы слишком бессмысленно и безнадежно исполнять эту роль без сокращений и отсебятины, следовать ей чересчур пунктуально; убийцы, пресыщаясь все больше, довольствовались уже немногими эпизодами действия, скуными фрагментами Страшного суда, генеральными репетициями, но непременно с настоящим концом. Уровень исполнения падал, трупы не желали гореть, из могил после их утрамбовки сочились кровь, летом смрад сжигаемых трупов давал о себе знать даже в удаленных от крематория домиках лагерного персонала, но смерть, по крайней мере, всегда оставалась доподлинной.

Первый том «Геноцида» завершается следующими словами: «Я знаю: тот, кто не участвовал в этих событиях либо в качестве палача, либо в качестве жертвы, мне не поверит и все мои выводы сочтет чистой фантазией. Тем более что жертвы мертвы, а палачи, хотя прошло почти сорок лет, так и не дали нам ни единого, пусть анонимного, воспоминания о резне с описанием своих впечатлений. Чем объяснить такое молчание – столь абсолютное и столь удивительное, если учесть естественное для

человека стремление запечатлеть самые сильные или хотя бы только самые крайние ощущения, какие не всякому выпадают на долю? Чем объяснить совершенное отсутствие подписанных хотя бы псевдонимами исповедей, которые в конце концов пришлось заменить литературными апокрифами? Чем, если не безразличием актера к давно уже сыгранной роли? Читатель, мы должны с тобою условиться: актерствовали палачи бессознательно, и было бы верхом нелепости полагать, будто они понимали, что делают, будто они осознанно воплощали образ Всевышнего, карающего заслуженной смертью. Все представление было грандиозным, чудовищным кичем, а первый признак и первое условие кича – то, что для своих творцов он отнюдь не безвкусица; все они свято верят, что творят настоящую живопись, подлинную скульптуру, первоклассную архитектуру, и тот, кто в своем творении разглядел бы приметы кича, не стал бы ни продолжать его, ни заканчивать.

Я утверждаю нечто совершенно иное, а именно: ни в одиночку, ни сообща люди не могут и шагу ступить, не могут перемолвиться словом, не следуя какому-нибудь образцу, или стилю, или примеру. А значит, какой-нибудь стиль и какие-нибудь образцы не могли не заполнить беспримерную пустоту конвейерного умерщвления, и ими оказались самые расхожие образцы, усвоенные еще во младенчестве, – образцы и символы христианства; и хотя, став нацистами, палачи от него отреклись, это не значит, будто им удалось вычеркнуть его из памяти совершенно. Ни в СС, ни в СА, ни в партийном аппарате не было ведь магометан, буддистов, даосистов; не было там, конечно, и верующих христиан, и в этом кошмарном отступничестве, на лагерных плацах, родился лишь кровавый кич. Что-то должно было заполнить пустоту, лишенную стиля, и ее заполнило то, что палачам приходило на ум мимовольно, почти инстинктивно, как раз потому, что «Mein Kampf», и «Миф XX века», и груды пропагандистских брошюр, вся литература под флагом «Blut und Boden»^[138] не содержали в себе ни единого слова, указания, заповеди, способных хоть чем-то эту пустоту заполнить. Здесь вожди предоставили исполнителей самим себе; так возник этот кошунственный кич. Его драматургия была, разумеется, упрощена до предела, словно бы списана из школьной шпаргалки; она питалась крохами смутных воспоминаний о катехизисе, заимствования из которого оставались неосознанными, автоматическими; уцелели какие-то обрывки представлений о Высшем Правосудии и Всемогуществе, и притом скорее в виде картинок, чем текста.

Мою правоту в этом дознании, где все улики – лишь косвенные,

подтверждает и то, что для оккупационных властей не было дела важнее, чем представить убийство осуществлением справедливого порядка вещей. Обычно считается – и сегодня это общее мнение историков нацизма, – что евреи стали навязчивой идеей Третьего рейха, идеей, которой Гитлер себе на погибель заразил сначала свое движение, а потом и немецкий народ; что это была мания преследования, принявшая форму агрессии, сущая социальная паранойя: все зло усматривали в евреях, а для тех, кто заведомо к ним не принадлежал и никак с ними связан не был, изобрели этикетку «белый еврей», применявшуюся, при всей ее нелепости, систематически. Отсюда, однако, следует, что вопреки всем догмам нацизма сущностью «еврейства» не была *раса* – этой сущностью было зло; евреи же были признаны воплощением зла в особенно высокой его концентрации. Поэтому они и стали для рейха проблемой номер один, личным делом национал-социализма, а их ликвидация оказалась исторической необходимостью и осуществлялась в качестве таковой. В традиции преследования евреев главное место занимают погромы, но гитлеровцы сами почти не прибегали к ним, разве что непосредственно после прихода к власти, когда нужно было выйти на улицы, увлечь колеблющихся, а рьяным приверженцам предоставить возможность показать себя. Но окрепший нацизм, побеждающий на поле сражений, инициатором погромов был крайне редко; они случались – да и то не всегда, – когда в города, оставленные побежденными армиями, входили передовые немецкие части. Надо думать, нацисты поступали так потому, что погромы – это ведь кровавые беспорядки, которым сопутствуют грабежи и стихийное уничтожение еврейской собственности, то есть *уголовные преступления*; между тем преследование евреев мыслилось не как преступление, но как его абсолютная противоположность – осуществление высшего правосудия. Евреев должно было постичь то, что им полагалось по справедливости и по закону. Это объясняет неодобрение, с которым немцы относились к погромам, их сдержанность в подобных случаях, но не объясняет, почему гитлеровцы, которые были не прочь противопоставить русским партизанам завербованных ими пленных и дезертиров, к примеру власовцев, и которые повсюду в Европе формировали части СС из «нордических добровольцев» – испанцев, французов, голландцев, – никогда не использовали иноплеменников при ликвидации евреев, за исключением особых случаев, вызванных непредусмотренными обстоятельствами или нехваткой на месте собственных сил. И в каждом подобном случае можно документально доказать, что привлечение негерманцев к делу уничтожения было вынужденным. Уже это ясно показывает, до какой степени окончательное

сведение счетов с еврейством рассматривалось как «личное дело» немцев, передоверить которое нельзя никому. Наконец, если евреев и направляли в трудлагеря, то только в качестве прелюдии к полному их истреблению; лагеря уничтожения были созданы позже, и притом специально для них.

Известно, что о намерениях инициаторов чего бы то ни было гораздо вернее говорят материальные факты, чем заявления, которые этим фактам предшествуют, или толкования, которые даются им задним числом. Из фактов же, взятых в отвлечении от нацистской доктрины, от пропагандистских стараний Геббельса и его прессы, неопровержимо следует, что «окончательное решение еврейского вопроса» было принято в своей истребительной форме прежде, чем начали рушиться фронты военных сражений; следовательно, смертоубийственное ускорение не объясняется одним лишь желанием завершить истребление раньше, чем кто-нибудь поспеет на помощь истребляемым; и даже с точки зрения самих убийц геноцид вышел за провозглашенные ими категории возмездия или расплаты и стал чем-то большим – их исторической миссией. Что же в конце концов значила эта миссия? Никогда не называемая прямо, она мерцает туманным пятном, в котором сквозь технологию и социографию геноцида просвечивает иудео-христианская символика, но с обратным, убийственным знаком. Как если бы, не будучи в состоянии убить Бога, немцы убили «богоизбранный народ», чтобы занять его место и после кровавого низложения Всевышнего *in effigie*^[139] стать самозванными избранниками истории. Священные символы были не уничтожены, но перевернуты. Итак, антисемитизм Третьего рейха в самом последнем счете был только предлогом. Идеологи не были настолько безумны, чтобы буквально приняться за теоцид; в то же время отрицания Бога словом и статьями закона им было уже недостаточно, и, хотя церковь можно было преследовать, уничтожить ее совсем было пока нельзя, время для этого еще не пришло. Под боком, однако, имелся народ, в лоне которого зародилось христианство; уничтожить этот народ значило бы полями казней подойти настолько близко к покушению на Бога, насколько это возможно для человека.

Убийство оказывалось Анти-Искуплением: оно освобождало немцев от уз Завета. Но освобождение должно было быть полным; не о том шла речь, чтобы из-под опеки Господней перейти под опеку кого-то, противостоящего Господу. Не жертвоприношением кумиру сатанинского зла должен был стать геноцид, но мятежом, свидетельством абсолютной независимости от неба и от преисподней. И хотя во всей империи никто никогда этого ТАК не назвал, не выраженный в словах надчеловеческий

смысл свершавшегося был паролем негласного смертоубийственного сговора. Ненависть к жертвам имела обратной своей стороной привязанность; ее засвидетельствовал эсэсовский командир высокого ранга, который, глядя в окно поезда, мчавшегося по поросшим чахлыми соснами пескам своего округа, сказал спутнику: «*Hiér liegen MEINE Juden*»^[140]. МОИ евреи. Его связала с ними смерть, к которой он был причастен. А исполнителям на самом низу трудно бывало понять, ради чего с матерями должны погибать и дети, поэтому, дабы исправить немедленно столь фатальный недостаток вины, они изобретали ее *ad hoc*^[141]. Например, когда женщина, только что прибывшая в лагерь, пыталась отречься от собственного ребенка (зная, что бездетных женщин направляют на работы, прочих же – прямо в газовую камеру), за подобное отречение от материнства преступная мать каралась без промедления, а то, что детям, за которых вступался палач, предстояло погибнуть в тот же день, ничуть не портило ему комедию праведного негодования. И пусть не уверяют нас, будто среди охваченных праведным гневом убийц были читатели маркиза де Сада, который за полтора года до того сочинил такие же точно комедии, включая богоубийство *in effigie*, и что эсэсовцы были всего лишь его плагиаторами. Вступаясь за младенцев, черепа которых они разбивали несколько минут спустя, вступаясь за них в фарсе справедливого воздаяния, шитом такими гнилыми нитками, что тот сразу же разлезался на куски, они, не осознавая того, доказывали свою верность так и не выраженной в словах сущности геноцида как эрзац-эзекуции Бога».

В томе втором своего трактата, озаглавленном «*Fremdkörper Tod*»^[142], наш автор решается дать историософический синтез, выходящий за рамки фактографии первого тома, хотя и основанный на ней. Он выводит понятие «вторичной утилизации смерти».

В древности истребление целых народов или этнических групп было неотъемлемой частью правил ведения войны. Христианство положило конец резне, не имевшей иного обоснования, кроме одной лишь *возможности ее совершения*. Отныне, чтобы убивать, надлежало указать вину убиваемых – например, иноверие, и в Средние века так оно чаще всего и было. Средневековье осуществило род симбиоза со смертью как судьбой, уготованной человеку волей Всевышнего; четыре всадника Апокалипсиса, «плач и скрежет зубовой», пляски скелетов, «черная смерть» и «*Höllenfahrt*»^[143] стали естественными спутниками человеческого существования, а смерть – орудием Провидения, уравнивающего нищих с монархами. Это оказалось возможно как раз

потому, что Средневековье было совершенно беспомощно перед смертью.

Ни медицинской терапии, ни естественно-научных знаний, ни противоэпидемических конвенций, ни реанимационной аппаратуры – ничего этого не было; ничто не могло противостоять напору смерти или хотя бы позволить принять ее как удел всего живого, ибо христианство резкой чертой отграничило человека от остальной природы. Но как раз высокая смертность, непродолжительность жизни и примирили Средневековье со смертью – смерть получила самое высокое место в культуре, устремленной к потустороннему. Смерть была ужасающей тьмой, только если смотреть на нее *отсюда*; созерцаемая *с той стороны*, она оказывалась переходом к вечной жизни – через Страшный суд, который, как он ни страшен, все же не обращает человека в ничто. Такого накала эсхатологических чаяний нам не дано даже отдаленно себе представить; в памятных словах, принадлежащих христианину – «Убивайте всех, Господь узнает своих»^[144], – которые кажутся нам изощренным кощунством, нашла выражение глубочайшая вера.

Современная цивилизация есть, напротив, движение *прочь* от смерти. Социальные реформы, успехи медицины, причисление проблем, которые прежде были сугубо личной заботой (болезнь, старость, увечье, нужда, личная безопасность, безработица), к разряду проблем общественных, – все это *изолировало* смерть; по отношению к ней социальные реформы оставались бессильными, и потому она становилась делом все более *частным*, в отличие от прочих невзгод, которым общество хоть как-то могло помочь. Социальное обеспечение, особенно в «государстве всеобщего благосостояния», сокращало область нужды, эпидемий, болезней, жизнь становилась все комфортабельней, но смерть по-прежнему оставалась смертью. Это выделяло ее среди других составляющих человеческого бытия и делало «лишней» с точки зрения доктрин, которые ставили целью улучшение жизни и которые мало-помалу стали универсальной религией обмирщенной культуры. Тенденция к отчуждению смерти особенно усилилась в XX веке, когда даже из фольклора исчезли ее «одомашненные персонификации» – Ангел Смерти, Курносая или Гость без лица; по мере того как культура из суровой законодательницы превращалась в послушную исполнительницу желаний, смерть, лишенная всякой потусторонней санкции и не принимаемая, как прежде, безропотно, становилась чужеродным в культуре телом, обесмысливалась все больше и больше, поскольку культура, эта заботливая опекунша и поставщик удовольствий, уже не могла наделить ее каким-либо смыслом.

Но смерть, публично приговоренная к смерти, не исчезла из жизни. Не

находя себе уголка в системе культуры, низвергнутая с прежних высот, она стала наконец прятаться и дичать. Вновь освоить ее, вернуть ей прежнее место общество могло одним только способом: узаконив и регламентировав ее. Но напрямик, в открытую, этого нельзя было объявить, и потому убивать следовало не во имя возвращения смерти в культуру, а во имя добра, жизни, спасения, и именно этот подход был возведен нацизмом в ранг государственной доктрины. Автор напоминает здесь о горячих спорах, которые в Соединенных Штатах вызвала книга Ханны Арендт «Эйхман, или О банальности зла». Участники этой дискуссии утверждали, что «каждый человек сознает в душе святость жизни» (Сол Беллоу), а «чудовищное преступление может совершить лишь чудовище» (Норман Подгорец) и потому нельзя приравнивать ужас нацизма к банальности. По мнению Асперникуса, заблуждались все диспутанты: сведя проблему к делу Эйхмана как квинтэссенции злодеяний нацизма, они не могли ее разрешить. Эйхман, подобно большинству креатур Третьего рейха, был исполнительным и усердным бюрократом геноцида, но до этого его довела не только сознательная слепота карьериста, одного из партийных чиновников, соперничающих между собой в додумывании до конца неконкретизированных указаний фюрера. Доктрина, считает Асперникус, была банальна, банальны могли быть ее исполнители, но не источники, лежащие вне нацизма и вне антисемитизма. Спор увяз в частностях, безразличных для правильного диагноза народовубийства XX века.

Обмирщенная цивилизация направила человеческую мысль по пути натуралистических поисков «виновников зла», притом любого. Потусторонний мир был аннулирован и на эту роль уже не годился, но отвечает же кто-то – *ибо кто-нибудь должен ответить* – за все мировое зло. Значит, надо обнаружить и указать виновника. В Средневековье достаточно было сказать, что евреи распяли Христа; в XX веке этого уже не хватало – виновные должны были отвечать за любое зло. Для расправы с ними Гитлер воспользовался дарвинизмом, учением, которое увидело последний, окончательный, выведенный за пределы культуры смысл смерти как обязательного условия эволюции в природе. Гитлер понял это по-своему, искаженно и плоско, как заповедь и как образец, посредством которого Природа (он называл ее Провидением) оправдывает и даже прямо предписывает выживание сильных за счет слабых. Он, как и многие примитивные умы до него, «борьбу за существование» понял дословно, хотя в действительности этот принцип не имеет ничего общего с физическим истреблением хищниками своих жертв (эволюция возможна только в условиях относительного равновесия между более и менее

агрессивными видами: при полном истреблении слабых хищники вымерли бы от голода). Нацизм, однако, вычитал у Дарвина то, чего жаждал, – сверхчеловеческое (а значит, все-таки не потустороннее) отождествление убийства с самой сутью всемирной истории. Воспринятый в таком искаженном виде принцип борьбы за существование аннулировал этику как таковую, выдвинув взамен право сильного, последним выражением которого служит исход борьбы не на жизнь, а на смерть. Чтобы сделать еврейство достаточно страшным врагом, надлежало раздуть его мировую роль до абсурда; вот где лежат истоки паралогического мышления, которое привело к тотальной демонизации еврейства.

Это потребовало от нацистов поистине немалых усилий, так как противоречило повседневному опыту немцев, ведь евреи жили среди них столетиями и, как бы ни были они плохи – даже если допустить обоснованность антисемитских предубеждений, – все-таки не заслуживали всесожжения вместе с неродившимися еще младенцами, не заслуживали костров, рвов, печей и мельниц для размолва костей; это было бы не только чудовищно, но к тому же совершенно абсурдно. Все равно как если бы в педагогике появилась теория, предлагающая убивать детей, которые прогуливают уроки или крадут у товарищей. Итак, даже с точки зрения традиционного антисемитизма евреи, безусловно, не заслуживали полного истребления. Подтверждается это и тем, что возрождающиеся неонацистские движения не только не включают в свою программу истребление евреев, но и не признают, что их предшественники в Третьем рейхе задумали и осуществили такое истребление. Эти движения либо ограничиваются общими антисемитскими фразами, либо отводят антисемитизму второстепенное место в своих программах – в качестве «носителей мирового зла» евреи уже не котируются. Согласно антисемитизму сорока– или пятидесятилетней давности евреи несли вину «за все», от капитализма до коммунизма, от экономических кризисов и нужды до упадка нравственности; теперь каждый, не задумываясь, назовет множество бед, которых никто не объясняет еврейскими происками (отравление биосферы, перенаселение, энергетический кризис, инфляция и т.д.). Итак, антисемитизм «обесценился»; он не исчез, но утратил былую способность объяснять любые общественные беды. Асперникус во избежание недоразумений подчеркивает, что антисемитизм теряет свое значение не абсолютно, а только в историософской перспективе: на роль козла отпущения, отвечающего за все, в послегеноцидную эпоху евреи уже не годятся.

Что же стало потом? Потом разыскание виновников «всяческого зла»

вступило в фазу окончательной атомизации. После утраты веры в универсальную правду Всевышнего, после крушения веры в универсальное зло мирового еврейства был сделан еще один шаг, последовательный и последний. Безапелляционность в установлении виновников зла достигает предела. Виновником может быть признан каждый.

В самом широком историософском плане, пишет Асперникус, мы наблюдаем многовековой процесс отчуждения смерти в гедонистической, реформаторской и прагматической культуре. Страх перед смертью, лишившейся прав гражданства, нашел выражение в законодательстве – в виде исключения смертной казни из уголовных кодексов тех государств, которые дальше всего зашли на этом пути. И еще – в противоестественной и лишь на первый взгляд странной медицинской практике, когда врачи отказываются отключать от реанимационной аппаратуры умирающих, а фактически – трупы, внешние признаки жизни которых поддерживаются благодаря перекачиванию в них крови. В обоих случаях никто не желает принять на себя ответственность за смерть. За декларациями об уважении к жизни кроется страх, причина которого – ощущение беззащитности, беспомощности, а значит, ужасающей тщетности жизни перед лицом смерти. Этой беспомощности, этому страху перед умерщвлением соответствует такое возрастание ценности человеческой жизни, что правительства уступают шантажу, если на карту поставлена жизнь заложников, кто бы они ни были. Процесс зашел далеко, коль скоро правительства, вменяющие себе в обязанность соблюдать закон, нарушают его, если это дает надежду спасти кого-либо от смерти; и процесс этот ширится, он затронул уже международное право и даже священный с незапамятных времен иммунитет дипломатических представительств. А оптимизм и стремление к безграничному совершенствованию жизни побуждают культуру, убежденную в своем техническом всемогуществе, попытаться реализовать воскрешение; и хотя специалистам известно, что «обратимая витрификация», то есть замораживание человека с надеждой на его воскрешение в будущем, невозможна (по крайней мере пока), тысячи богатых людей соглашаются на замораживание и консервацию собственных трупов в жидком азоте. Все это, замечает Асперникус, примеры чудовищной юмористики в эсхатологии, полностью обмирщенной. Общество охотно принимает к сведению, что человек сотворен не Богом, но Добрыми Космическими Пришельцами, что зародыш цивилизации хранило не Провидение, но Заботливые Праастронавты со звезд, что не ангелы-стражи, а летающие тарелки парят над нами, следя за каждым нашим шагом, что не преисподняя разверзается

под ногами проклятых, но Бермудский треугольник, – и оно не менее радо услышать, что жизнь можно запросто продлевать в холодильнике, а заботу о приятной и долгой жизни следует предпочесть упражнениям в добродетели.

И наконец, все больше делается попыток так подправить, переиначить и подсластить сырую, необработанную смерть, чтобы ее можно было освоить неметафизически и сделать пригодной для потребления. Отсюда спрос на эффектную смерть, на убийство и на агонию, поданные крупным планом, спрос на акул-людоедок, на грандиозные землетрясения и пожары, на оживление с экрана сцен реального геноцида («Holocaust»^[145]), отсюда поток садистской литературы и коммерческая эксплуатация сексуальных извращений, почти неотличимых от смертных мук, отсюда же цепи, кандалы и орудия для бичевания, весь этот реквизит псевдосредневековых застенков, популярный на американском потребительском рынке, отсюда, наконец, превращение как нельзя более реального риска смерти в ходовой товар – готовность героев на час, рискуя жизнью, заработать на жизнь. И отсюда же популярность псевдонаучной литературы, наплодившей тьму книжек с экспериментальными доказательствами посмертной жизни, да так, что эти писания вступили в конфликт с церковной ортодоксией, которая не очень-то ясно представляет себе, как быть со столь непрошеным и столь сомнительным подкреплением. Последовательным этапам изгнания смерти из культуры Запада уделялось меньше внимания, чем ее коммерческому освоению; исследований дождались наивные и броские ухищрения похоронной косметики и сценографии, но скальпель аналитической мысли, временами на удивление острый, не создал целостной историософской картины пути, который прошла цивилизация в своем противоборстве со смертью, – смертью, лишенной санкции свыше и загадочного назначения, некогда примирявшего ее с жизнью. Нам непонятно происхождение таких современных явлений, как терроризм или религиозное сектантство, поскольку эмпирические исследования, обычные в социологии и психологии (включая психологию веры), будучи наблюдениями по сути своей рациональными, довольствуются тем, что можно увидеть, сфотографировать, выжать из показаний свидетелей или подсудимых, и потому освещают лишь крохотные участки этих общественных бедствий. Уткнув нос в бумаги, не учуешь смысла написанного. Если хочешь понять Ниагару, повернись к ней спиной и взгляни на солнце – это оно опять поднимает в небо воду, низвергающуюся со скал. Именно здесь автор вводит понятие вторичной утилизации смерти.

Вот уже сто тысяч лет, как человек понял свою обреченность на

смерть, о чем свидетельствуют могилы, восходящие именно к этому времени. Такой была первая попытка ритуализации смерти, и сменявшие затем одна другую культуры отводили ей высокое место в иерархии ценностей. Чем рациональнее становилась цивилизация, тем бесхознее становилась в ней смерть, с которой нельзя уже было ни по-настоящему примириться, ни реально отречься от нее. А культура тем временем из самодержавной законодательницы превращалась в послушную опекуницу, все нерешительнее оберегала собственную ортодоксию и шаг за шагом позволяла своим подопечным исполнять какие угодно прихоти, не исключая последней – выхода из культуры, отрицания ее норм. Но прежде чем хлынул поток субкультурных изобретений, одно чуднее другого, прежде чем Десять заповедей совершенно истлели, всеми покинутую территорию, отведенную смерти в средиземноморской культуре, смог захватить не самовластный в своих желаниях индивид, но лишь такой могущественный суверен, как государство; захватить, чтобы сделать ее орудием самовозвеличения. Но даже оно еще не могло решиться на это в мирное время и совершенно открыто. Развязанная этим государством война стала прикрытием и пособником геноцида, а за линией фронтов, отрезавших рейх от остального мира, возникла машина массового истребления. Таким был первый акт восстановления смерти в правах.

В годы послевоенной реконструкции развелось великое множество субкультур, особенно молодежных, оригинальных своей неоригинальностью; как бы играя, не слишком всерьез, они обращались к забытым обычаям, нравам, одежде – как к театральному реквизиту со склада истории. За этими «мягкими» изобретениями по части образа жизни рано или поздно должны были последовать «жесткие», ведь люди всегда доводят до логического конца открывающиеся перед ними возможности. Возможность использовать смерть как отличительную примету такой субкультуры в наше сумбурное, крикливое время казалась закрытой, и вот почему. Можно играть в робинзонов и дикарей, но не в убийц: играть в такую игру, если убийства требовались настоящие, не позволяла даже вседозволяющая культура; и, что, пожалуй, еще существеннее, убийство, даже бескорыстное, превратило бы его исполнителей в **уголовников**.

Прежнее место смерти в культуре было невоскресимо – невозможна была ни религиозная демонстративность костров инквизиции, ни принесение богам человеческих жертв, как у инков, ни выставленное напоказ бешенство берсеркеров – кровожадное и оргиастическое. Эти пути были заказаны, канули в небытие вместе с верами, наделявшими смыслом такую смерть. Но и внерелигиозное убийство было недоступно как просто

убийство; наш промышленный век любой поступок встречает вопросом «ЗАЧЕМ?», и каждый, кто не хочет быть причислен к душевнобольным, должен ответить на него осмысленно и толково. Коль скоро новый экстремизм не имел религиозной санкции смерти (можно выдумать религию по заказу, но нельзя в нее по заказу уверовать), а убийство, религией не освященное, поставило бы экстремистов на одну доску с заурядными головорезами, оставалось одно: окрестить убийство *осуществлением правосудия*. Но эту палаческую формулу Третьего рейха невозможно было скопировать вместе с *тайностью* «окончательного решения»; ведь тогда, в наш век освободительных движений и войн, убийства экстремистов стали бы невидимы, как Ниагара, погруженная в океан. Поэтому то, что прежде могло совершать только государство и только тайно, они взялись совершать явно. А сходство между терроризмом и гитлеризмом в том, что убийцы опять провозгласили себя справедливыми судьями. Но суд, каков бы он ни был, не от собственного имени действует, а во исполнение воли высших инстанций; так что надо было создать *видимость* верховной инстанции, неподвластной традиционным нормам – религиозным, психиатрическим или бандитским. Следовало объявить себя орудием чего-то большего и более высокого, чем они сами; это ясно показывает «*частичность*» названий, которые все они дали своим группировкам («ФРАКЦИЯ Красной Армии», а значит, не армия в целом, значит, это целое существует само по себе; «Первая Линия», а значит, есть еще какие-то линии, какие-то резервные части; «Красные Бригады», а значит, опять-таки только подразделения какой-то *большей*, чем они сами, армии).

Еще им требовался противник – чем могущественнее, тем лучше; иметь нешуточного врага – уже нешуточное отличие. Отдельные представители капитала были противником недостаточно видным, к тому же требовалась мишень более четкая, нежели социально-экономическая система, размытая по целому свету. Вот почему их выбор пал на государство, но не на материальные его институты, и не в качестве ниспровергателей таковых они выступили, ведь речь, напомним, шла о том, чтобы убивать, а не о разрушении неодушевленных символов либо центров государственности. Но только однажды им удалось добраться до наивысшего рангом политика – в Италии; а затем, после усиления охранительных мер, когда столпы государственной власти стали для них недостижимы, террористы удовлетворялись второстепенными жертвами, только бы можно было инкриминировать им причастность, хотя бы косвенную, к государственной власти, а если нет, то какое-либо –

безразлично какое – участие в руководстве чем бы то ни было или в защите существующего порядка, на худой конец, причастность к системе всеобщего образования, которую тоже можно заклеить как одну из опор государства. Итак, если исходить из предпосылок терроризма, заданных исторической ситуацией, не забывая, что речь шла об убийстве под маской долга, самопожертвования и справедливого гнева, то логика рассуждений, независимая от фактографии убийств, ведет нас именно к ней вместе с такими ее тактическими подробностями, как стремительное снижение высоких поначалу палаческих притязаний, выбор все более скромных по своему социальному рангу жертв.

Что же до идеологии, она была изготовлена из того, что нашлось под рукой. И даже названия, о которых шла речь, украдены у левых течений. Так как революция была окружена возвышенным ореолом, героем дня стал бескомпромиссный революционер, его образ, словарь и жесты присвоили те, кто сделал своим орудием смерть. Смерть, ставшую в гедонистической цивилизации чужеродным телом. Цинизм, вторичность и явная смехотворность этих кое-как состряпанных обоснований террора заметны лишь с точки зрения исследователя-наблюдателя. Само движение не ощущало себя ни циничным, ни лицемерным, ни, самое главное, ПЕРЕОДЕТЫМ в одежды истинного борца за переустройство мира. Правда, своему противнику – государству – оно вменяло в вину фашистскую сущность, гестаповские приемы и гитлеровские традиции, а себя помещало слева от коммунистов, полагая себя *plus catholique que le pape*^[146]; вот что особенно сбивало с толку наблюдателей, которые принимали всерьез если не обоснованность этих обвинений, то, во всяком случае, их искренность. Ну что же, движение отличалось от своего предшественника по бескорыстным убийствам, поскольку действовало в иных условиях. Оно не унаследовало нацистского кича, ведь в подполье нет парадов, зданий, канцелярий, официального церемониала; все это возмещалось, однако, ореолом могущества вокруг террористов-подпольщиков, который поспешили создать вопящие истерическими голосами газеты, радио, телевидение. Впрочем, если уж стремиться к генеалогической точности, нацизм, предшественник терроризма, не был его источником; источник и того, и другого гораздо глубже: смерть, причиняемая с холодной решимостью, отождествленная с долгом, благодаря процедуре вторичной утилизации возвращала себе почетное место в культуре; отлученная от нее, она вернулась опять.

В тоталитарном государстве, где все человеческие дела стали государственным делом, только верховная власть имела право выбора

жертвы. В государстве огромных личных свобод самозванные ликвидаторы зла свободны в его распознании и преследовании. Такая зависимость объясняет родство обоих явлений: их роднит отпущение убийцами собственных грехов. И тотальное подчинение авторитетам, и тотальное отрицание всякого подчинения сбрасывают со счетов совесть, по-разному приводя все к той же кровавой развязке.

Но сходство между ними, показывает Асперникус, этим не ограничивается. Терроризм, для которого главное – не революция, а экзекуция, заимствует у левых лишь то, что может ему пригодиться в качестве фигового листка, вычеркивая и опуская все, что затрудняет или исключает убийство как способ существования. Будущее, которое требует человеческих жертв, для него такая же охранная грамота, какой для нацизма была идея тысячелетнего рейха. Террористы, вышедшие из движения и утратившие организационную связь с ним, одновременно утрачивают понимание мотивов своей яростной многолетней активности, и слушателям, которые с затаенным дыханием ожидают сенсаций, сообщают горсточку сплетен о лидерах, сплетен не менее заурядных, чем откровения о скудоумных «Tischgespräche»^[147] Гитлера в кругу его ближайших соратников. «Но Гитлер, – замечает здесь автор, – покончил самоубийством до ареста». Ожидания тех, кто жаждет посвящения в тайну, напрасны: как передать состояние духа, в котором можно со спокойной совестью убивать? Ведь тайна кроется в дозволенности убийства, а не в умах убийц. Поэтому все здесь может быть тривиальным и смётанным на скорую руку; пример тому – старания (нацистов и террористов) избегать экзекуций на месте, поскольку убийство на месте – типично уголовный обычай, а речь шла об убийстве санкционированном. Поэтому обреченных на смерть везли к месту казни, если только они не сопротивлялись, что казнящим очень не нравилось: сопротивление означает неуважение к правосудию, а террористы даже больше нацистов заботятся о формах законности в судопроизводстве и вынесении приговора – им, лишенным авторитета государственной власти, приходится самим утверждать собственный авторитет. Но выбранные ими жертвы ни разу не были судимы по-настоящему, их тягчайшая вина всегда известна заранее. В этой непогрешимости терроризм не уступает Ватикану человекоубийства, каким хотел стать нацизм. Никакие убеждения и призывы, никакие мольбы, никакие ссылки на человеческую солидарность, на любые смягчающие обстоятельства, никакие просьбы о милосердии, никакие доказательства бессмысленности или хотя бы практической неэффективности убийства не собьют палачей с толку, ведь в их распоряжении имеется машина для

доказательств, согласно которой умеренность и милосердие – вещи не менее подлые, чем антиэкстремистское законодательство и охранительные репрессии. Мотивационная броня террористов достигает предела непробиваемости, при котором любое поведение противной стороны лишь подтверждает ее виновность. Только этим можно объяснить и превосходное самочувствие, которое бывшие эсэсовцы демонстрируют на своих ежегодных съездах, и веру уцелевших гайанских сектантов в харизму их чудовищного пророка, веру, не поколебленную кошмаром самоистребления секты [\[148\]](#).

Любое оппозиционное движение, внешне похожее на псевдополитический экстремизм, пусть даже оно имеет все основания для борьбы против совершенно реального угнетения или эксплуатации, невольно играет на руку фальсификаторам, преподносящим убийство как орудие борьбы за правое дело, – поскольку усиливает путаницу в оценке событий и мешает (а то и просто не позволяет) отличить вину-предлог от настоящей вины; впрочем, кто и где в этом мире невинен безусловно, как ангел? Так начинается соревнование в мимикрии, поражающее своей эффективностью. Вымышленное оправдание неотлично от подлинного, и причиной тому не столько совершенство игры актеров-имитаторов, сколько не вполне чистая совесть общества, породившего послевоенный терроризм.

В конечном счете убийственную агрессию отражают убийственные репрессии, полиция сперва стреляет, а уж потом идентифицирует личность убитого; демократия, защищаясь, в какой-то степени вынуждена отказываться от себя самой, так что экстремизм с его мистифицированными оправданиями провоцирует наконец такую реакцию, которая превращает фальсифицированное обвинение в обоснованное. Прагматически зло оказывается эффективней добра, коль скоро добро должно изменять себе, чтобы сдержать зло. Выходит, в этом противоборстве нет непогрешимой победной стратегии, и добродетель побеждает постольку, поскольку уподобляется противостоящему ей пороку.

Итак, урок, преподанный нашей эпохе нацизмом, не забыт. Можно силой сокрушить преступное тоталитарное государство, как был сокрушен Третий рейх, и тогда вина испаряется, рассыпается как песок, обличенные виновники съезжаются и исчезают – кроме горстки главных конструкторов геноцида и наиболее рьяных исполнителей, забрызганных кровью; но этот посев, рассыпаясь, не гибнет. Процесс непрестанного расширения круга виновных нашел свое логическое завершение. Эсхатологический цикл XX века от лагерей насильственных мук дошел до лагеря добровольного самоубийства. На этом последнем этапе казнящие

слились с казнимыми, тем самым доказывая, что виновен каждый; исходная ситуация беспомощности повторилась, ибо воплощенное в этих побегах зла наследие былых преступлений уже нельзя побороть способом столь беспощадно простым, как свержение тирании. Историк и антрополог Хорст Асперникус, доктор философии, имя которого заставляет вспомнить другого Хорста^[149], в заключение своего труда не предлагает нам панацеи против эндемии нигилизма; он считает, что выполнил свою задачу, вскрыв ужасную связь между злокачественной опухолью геноцида и ее метастазами в лоне европейской цивилизации. Как бы ни были спорны его выводы, какое бы сильное сопротивление ни вызывали они, нельзя пройти мимо них равнодушно. Боюсь, что эта попытка включить нацизм в систему средиземноморской культуры, отказ видеть в нем диковинное исключение и сплошной кошмарный эксцесс, войдет в канон знаний о современном человеке, даже если подвергнутая патологоанатомическому исследованию чума дождетсЯ наконец своих терапевтов.

Вопрос, которому посвятил свой двухтомный труд Асперникус, это, как говорит он сам, вопрос о месте смерти в культуре. Предвидеть, как оно будет меняться в дальнейшем и к чему такие изменения приведут, труднее всего; циклический процесс завершил свой круг: зло побывало всюду, где только можно вообразить, и нигилистическая игра, начавшаяся с паранойи нацизма, дошла до логического конца, до мании коллективного самоубийства. Что остается еще человечеству в области зловещих свершений? Какие еще придумает оно игры со смертью – то прячущей свое лицо под вуалью, то завлекающей кровавым стриптизом? Этот вопрос без ответа завершает «Историю геноцида».

Дж. Джонсон и С. Джонсон
Одна минута человечества



В данной книге, как сказано в предисловии, представлено практически все, что люди делают в течение одной минуты. Поразительно, что подобная идея не пришла в голову никому раньше, а ведь это напрашивалось само собой после «Трех первых минут космоса, секунды космоса и книги рекордов Гиннесса», тем более что это были бестселлеры, а сегодня ничто так не вдохновляет издателей и авторов, как книга, которую читать не обязательно, но иметь необходимо. После появления названных книг идея лежала прямо под ногами, достаточно было ее поднять. Любопытно было

бы знать: Дж. Джонсон и С. Джонсон – супруги, братья, или же просто псевдоним? Охотно взглянул бы на фотографию этих Джонсонов. Трудно объяснить, но иногда ключом к книге оказывается внешность автора. Во всяком случае, со мной так уже бывало. Чтение требует того, чтобы читающий выработал определенное отношение к тексту, тем более если текст выходит за рамки привычного. В таких случаях лицо автора может многое прояснить. Впрочем, я думаю, что названная пара Джонсонов не существует, а литера «С» перед фамилией второго Джонсона – намек на Сэмюэла Джонсона. Впрочем, возможно, это и не столь важно.

Как известно, издатели ничего не боятся так, как издания книг, ибо при всеобщей нехватке времени, предположении, превышающем спрос, и избыточном совершенстве рекламы уже в полную силу действует так называемый «Закон Лема» («Никто ничего не читает; ежели читает – ничего не понимает; ежели понимает – тут же забывает»). Реклама, выполняя роль Новой Утопии, в наше время стала предметом культа. Те жуткие и нудные вещи, которые демонстрируются по телевидению, мы смотрим лишь потому (как показал анализ общественного мнения), что после окровавленных трупов, по разным причинам валяющихся во всех концах света, да костюмированных фильмов, повествующих неизвестно о чем, поскольку они представляют собой бесконечные сериалы (забывается не только прочитанное, но и просмотренное), на экране время от времени мелькают рекламные клипы, дающие чудесное отдохновение. Только в них еще осталась Аркадия с прекрасными женщинами, изумительными и вполне зрелыми мужчинами, счастливыми детьми и пожилыми людьми с умным взглядом (в основном через очки). Для совершенного восторга им вполне достаточно пакетика манного пудинга в новой упаковке, лимонада на настоящей воде, дезодоранта против потения ног, туалетной бумаги, пропитанной экстрактом фиалки, или шкафа, хотя в нем нет ничего сверхъестественного, кроме цены. Выражение счастья в глазах и на всем лице, с которым элегантная красотка вглядывается в рулончик туалетной бумаги, либо раскрывает шкаф так, словно это дверь пещеры Аладдина, мгновенно передается каждому. В этой эмпатии, возможно, уместается и зависть и даже немного раздражения, ибо каждому известно, что он-то не мог бы так же восхищаться, отхлебывая этот лимонад, или пользуясь такой бумагой, что в эту Аркадию попасть невозможно, но ее светозарная погода делает свое дело. Впрочем, мне с самого начала было ясно, что, совершенствуясь в борьбе товаров за существование, реклама покорит нас не путем постоянного улучшения товаров, а в результате постоянно ухудшающегося качества мира. Что же нам осталось после кончины Бога,

высоких идеалов, чести, бескорыстных чувств в забитых людьми городах, под кислотными дождями, кроме экстаза дам и господ из рекламных роликов, расхваливающих кексы, пудинги и кремы как пришествие Царства Небесного?

Однако поскольку реклама с чудовищной эффективностью приписывает совершенство всему, а если говорить о книгах – каждой книге, то человек чувствует себя так, словно его соблазняют двадцать тысяч «мисс Мира» одновременно, и, не будучи в состоянии решиться ни на одну из них, он пребывает в неосуществленной любовной готовности, словно баран в оцепенении. Так обстоит дело со всем. Кабельное телевидение, предлагая сорок программ одновременно, вызывает у зрителя ощущение, что коли их столько много, то каждая другая наверняка превосходит ту, которую он сейчас смотрит, вот он и скачет с программы на программу, словно блоха на раскаленной сковородке, доказывая тем самым, что идеальная техника идеально поджаривает. Ибо нам был обещан, хоть никто этого явным образом не сказал, весь мир, все, если не в обладание, то по крайней мере для обозрения и осязания, а художественная литература, которая ведь есть не что иное, как лишь эхо мира, его отражение и комментарий, попала в ту же самую ловушку. Зачем мне, собственно, читать о том, что некие особы разного либо одного и того же пола говорят друг другу, прежде чем забраться в постель, если там нет ни слова о тысячах других, возможно, значительно более интересных людях, или по крайней мере тех, что заняты более остроумными делами. Поэтому следовало написать книгу о том, что делают Все Люди Одновременно, чтобы ощущение того, что нам сообщают глупости в то время, как Нечто Существенное происходит где-то в другом месте, нас уже не удручало.

«Книга рекордов Гиннесса» оказалась бестселлером, поскольку показывала нам одни лишь необычности, но зато с гарантией их подлинности. Однако этот паноптикум рекордов имеет серьезный недостаток, ибо рекорды эти быстро теряют актуальность. Едва некий господин успел съесть восемнадцать килограммов персиков с косточками, как другой проглотил не только больше, но и сразу же скончался от заворота кишок, что придало новому рекорду трагическую пикантность. Конечно, неправда, будто душевных болезней в действительности нет, их придумали психиатры, чтоб мучить пациентов и тянуть из них денежки, зато правда, что нормальные люди вытворяют вещи гораздо более идиотские, нежели все то, что выделывают душевнобольные. Разница в том, что умалишенный делает свое дело бескорыстно, нормальный же – ради славы, ибо ее можно обменять на наличные. Впрочем, некоторые

удовольствуются одной славой. Так что дело это темное, но так или иначе – не вымерший до сих пор подвид тонких интеллектуалов брезгует всей этой свалкой рекордов и в приличном обществе отнюдь не считается хорошим тоном помнить, сколько миль можно проползти на четвереньках, толкая перед собой носом раскрашенный лиловым мускатный орех.

Посему следовало придумать книгу, в чем-то близкую Книге Гиннесса, но столь же серьезную, не позволяющую отмахнуться от нее, то есть наподобие «Трех минут вселенной», но в то же время не столь абстрактную и забитую рассуждениями о всяческих бозонах и прочих кварках. Однако написание такой книги обо всем сразу, книги правдивой, невыдуманной, которая оттеснит на задний план все другие, казалось делом нереальным. Даже я не мог сообразить, что это должно быть за произведение, и просто предложил издателям написать максимально скверную книгу в качестве недостижимой в направлении, обратном рекламным потугам, но предложение никого не заинтересовало. Действительно, хотя задуманное мною произведение могло стать приманкой для читателей, поскольку сейчас главное – рекорд, а самый худший роман века наверняка тоже был бы рекордом, казалось, что если даже мне повезет, никто этого не заметит. Как же я сожалею, что мне не пришла в голову мысль, коя породила «Одну минуту»! Вроде бы у этого издательства нет даже филиала на Луне, «Moon Publishers», похоже, всего лишь тоже рекламный приемчик, а чтобы избежать разговоров о нечестности, издатель якобы выслал на Луну с помощью NASA при очередном полете «Колумбии» контейнер с машинописным текстом книги, а также небольшой компьютер со считывающей приставкой. Так что если кто-то вздумает цепляться, ему тут же докажут, что часть издательской работы действительно осуществляется на Луне, поскольку компьютер, находящийся на Море Дождей (Mare Imbrium), не прекращая читает один и тот же манускрипт, ну а то, что читает он бездумно, никому не мешает, потому что, в принципе, точно так же читают рукописи рецензенты в земных издательствах.

Напрасно я впал в начале рецензии в саркастический тон, более похожий на брюзжание, нежели на серьезный разговор, ибо с этой книгой шутить нельзя. Ею можно возмущаться, считать поклепом, столь однозначно нацеленным в весь род людской, что его невозможно опровергнуть, поскольку в книге нет ничего, кроме установленных фактов. Можно утешаться тем, что из нее по крайней мере никто не сделает фильма или сериала, это исключено, но задуматься над нею наверняка стоит, хоть результатом таких размышлений наверняка не будут радужные выводы.

Книга, несомненно, правдива и фантастична, если считать, как делаю

я, фантастикой то, что выходит за рамки нашего понимания. Не каждый в этом со мной согласится, но я вынужден придерживаться такого определения, поскольку убожество теперешней фантастики, Science Fiction, я усматриваю в том, что она малофантастична, чего не скажешь об окружающей нас реальности. Так, например, оказалось, что человек с рассеченным надвое мозгом (таких операций проделано уже множество) является и одновременно не является единой личностью. Бывает, что такой человек, внешне совершенно обычный и нормальный, не может натянуть брюки, поскольку его правая рука тянет их вверх, а левая спускает, либо он обнимает жену одной рукой, а другой одновременно ее отталкивает. Установлено, что правая половина мозга в определенных ситуациях не ведает, что замечает и думает левая половина. Поэтому следовало признать, что дело дошло до раздвоения сознания и даже личности, то есть что в одном теле находятся два типа, однако другие эксперименты показали, что ничего подобного нет. И даже не видно, чтобы этот человек проявлял себя то как единый человек, то как двойной. Гипотеза, полагавшая, что его полтора либо два с хвостиком, тоже не выдержала проверки. Это не шутки, выяснилось, что на вопрос, *сколько* в действительности разумов содержатся в этом человеке, ответа нет и это-то как раз и есть реальность и фантастичность. В таком, и только таком, смысле фантастична «Одна минута».

Хоть вроде бы каждому это более или менее известно, мы, однако же, не думаем о том, что на Земле в любой момент сосуществуют все времена года, все климаты и все периоды дня и ночи, сия банальная истина, которую знает или, во всяком случае, должен знать каждый ученик начальной школы, покоится как бы вне нашего сознания. Может быть, потому, что неизвестно, как с этим знанием обойтись. Принужденные к тому электроны, обегая с сумасшедшей скоростью экраны телевизоров, ежевечерне демонстрируют нам порубленный на кусочки мир, втиснутый в прокрустово ложе Последних Известий, чтоб мы узнали, что произошло в Китае, в Шотландии, в Италии, на дне морском, в Антарктиде, и нам кажется, будто за четверть часа мы увидели все, что случилось в целом мире. Разумеется, все совсем не так. Репортерские камеры наклеивают земной шар в нескольких местах, в основном там, где Важный Политик спускается по трапу самолета и с ложной сердечностью пожимает руки другим Важным Политикам, где сошел с рельсов поезд, причем это уже никак не может быть простая неприятность, а обязательно с вагонами, разбившимися всмятку, искореженными до неузнаваемости, из которых людей вытаскивают по кусочкам, ибо катастрофы меньшего масштаба

случаются уже чересчур часто. Одним словом, средства массовой информации опускают все, что не оказывается пятерняшками, государственным переворотом, по возможности обремененным приличной резней, визитом Папы Римского либо беременностью королевы.

Гигантский пятимиллиардный человеческий фон этих происшествий наверняка существует, поэтому каждый спрошенный скажет, что – да, естественно, он знает о существовании миллионов других людей, а если немного подумает, то и сам придет к выводу, что между одним и другим его вздохами сколько-то там детей родилось, а столько-то человек умерло. Однако это знание туманное, не менее абстрактное, чем знание того, что, когда я пишу эти строки, где-то на Марсе лежит освещенный лучами далекого Солнца замерший уже американский «Викинг», а на Луне валяются останки нескольких луноходов и самоходных шасси. Это знание, собственно, мертво, поскольку его можно коснуться словом, но нельзя ощупать, ощутить. Ощутить можно лишь микроскопическую капельку, извлеченную из океана окружающих нас человеческих судеб. В этом смысле человек не так уж сильно отличается от амебы, плавающей в капельке воды, границы которой являются для нее границами мира. Основное различие я усматриваю не в нашем мыслительном превосходстве над простейшей, а в том, что она бессмертна, поскольку вместо того, чтобы умирать – делится, и тем самым становится своей же собственной многочисленной родней.

Получается, что задача, которую поставили перед собой авторы «Одной минуты», невыполнима. Действительно, если человеку, еще не державшему в руках эту книгу, сказать, что в ней почти нет слов, а вся она заполнена статистическими таблицами и сочетаниями цифр, он, не раздумывая, решит, что читать ее – пустое занятие, даже идиотизм, ибо какая ему польза от сотен страниц статистики? Какие картины, эмоции, чувства могут в нас возбудить тысячи колонн цифр? Если бы этой книги не было, если б она не лежала на моем столе, я, возможно, и сам счел бы ее идеей оригинальной, даже увлекательной, но неосуществимой, так же как мысль, что телефонный справочник Парижа или Нью-Йорка пригоден для чтения и что-то говорит нам о жителях этих городов.

Если бы не существовало «Одной минуты», я, вероятно, считал бы, что она так же непригодна для чтения, как список телефонов или годовой статистический справочник. А посему эту идею показать шестьдесят секунд, извлеченных из жизни всех сосуществующих со мной людей, следовало разработать, как план крупной военной кампании. Первоначальной концепции, хоть и существенной, недостаточно для

успеха, не тот лучший стратег, кто знает, что надобно заставить противника врасплох, дабы его победить, а тот, кто знает, как это сделать.

Невозможно охватить разумом всего того, что одновременно происходит на Земле даже за одну секунду. Такие явления мгновенно обнажают микроскопическую емкость человеческого сознания, того беспредельного духа, который лежит в основе нашей гордости, отличающей нас от животных, пасынков разума, способных замечать только непосредственное окружение. Как же страдает моя собака всякий раз, когда я укладываю чемоданы, и как мне досадно, что я не могу объяснить ей, что она напрасно отчаивается и скулит, пока я иду к калитке. Каждый раз она страдает заново, с нами же вроде бы все обстоит иначе. Мы знаем, что есть, что может быть, а о том, чего не знаем, можем узнать. В принципе. Меж тем современный мир на каждом шагу доказывает, что сознание – всего лишь коротенькое одеяльце, им можно прикрыть лишь какой-нибудь небольшой участок чего-то, не более, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся в мире, серьезнее собачьих, ибо собака, лишенная дара фрустрации, не знает, что чего-то не знает, и не понимает, что почти ничего не понимает, мы же знаем и то, и это. Если мы ведем себя иначе, то по глупости либо из самообмана ради сохранения душевного равновесия. Можно сочувствовать одному человеку, ну – четверем, но восьмистам тысячам уже невозможно. Числа, которыми мы пользуемся в таких случаях, это хитро придуманные протезы, палка, которой слепец постукивает по тротуару, чтобы не натолкнуться на стену, но ведь никто не скажет, что палка помогает ему видеть все богатство мира или хотя бы крохотного участка одной улицы. Так как же нам поступить с нашим бедным, нерастяжимым сознанием, чтобы оно охватило то, чего охватить не может? Как показать одну человеческую минуту?

Сразу всего ты, читатель, не узнаешь, но, заглянув вначале в перечень глав, а затем в соответствующие рубрики, увидишь такое, что у тебя дух захватит от изумления. Не из гор, рек и полей, а из миллиардов человеческих тел составленный ландшафт будет на мгновение являться тебе наподобие того, как обычный ландшафт проявляется темной ночью во время бури, когда разблески молний вспарывают мрак и ты на долю секунды видишь огромные просторы, раскинувшиеся по самый горизонт. Мрак снова сгущается, но картина уже врезалась в твою память, ты уже не можешь от нее освободиться. Приведенное мною сравнение достаточно доходчиво в его визуальной, зрительной части, ибо кто не переживал ночной бури! – но как сравнить мир, выхваченный из ночи молниями, с тысячью статистических таблиц?

Прием, которым воспользовались авторы, очень прост. Это метод приближений. В качестве примера возьмем для начала главу, посвященную смерти, вернее – умиранию.

Поскольку человечество насчитывает почти пять миллиардов, то понятно, что каждую минуту умирают тысячи, это никакая не сенсация. Однако здесь мы наталкиваемся на цифры, как на стену, ограничивающую нашу способность воспринимать большие числа. Это легко понять, так как слова «одновременно умирает девятнадцать тысяч человек» значат для нас не больше, чем сообщение о том, что умирает девять тысяч. Пусть даже миллион или десять миллионов. Реакция будет практически одинаковой. Разве что много более эмоциональное: «Ах!» Мы уже вступили в пустыню абстрактных выражений, которые что-то означают, но этого «что-то» ни воспринять, ни пережить в такой же степени, в какой мы воспринимаем сообщение об инфаркте у любимого дядюшки, невозможно.

Но эта глава книги вводит тебя в «систему» умирания на сорока восьми страницах, причем вначале идут суммарные данные, потом разбитые на более подробные, и все построено так, что вначале ты можешь обозреть всю «отрасль» смерти как через слабый объектив микроскопа, а потом рассматривать участки через все более сильные линзы. Вначале отдельно идут естественные смерти, затем – с вмешательством третьих лиц, в том числе по ошибке, случайные и так далее. Таким образом ты узнаешь, сколько человек ежеминутно умирают от полицейских пыток, а сколько от рук исполнителей, не имеющих на то государственных «полномочий»; каково нормальное распределение применяемых пыток по секундам, а также их географическое распределение; какие инструменты применяются в течение этой единицы времени, с разбивкой вначале по частям света, а потом и по государствам. Ты узнаешь, что, когда выводишь на прогулку собаку, ищешь домашние туфли, разговариваешь с женой, читаешь газету, тысяча других людей воет, извиваясь в муках каждую минуту каждых двадцати четырех часов суток каждой недели, месяца и года. Ты не услышишь их криков, но уже будешь знать, что они продолжают неустанно, ибо это показывает статистика. Ты узнаешь, сколько человек погибнет за минуту по ошибке, выпив вместо невинного напитка яд, и статистика уточняет все разновидности таких отравлений: средствами против сорняков, концентрированными кислотами, щелочами, а также какое количество смертей по ошибке приходится на ошибшихся врачей, водителей, матерей, медсестер и так далее. Сколько новорожденных (это уже особая рубрика) убивают матери сразу же после их рождения, сознательно или по недосмотру, потому что есть

новорожденные, удушенные подушками или такие, которые падают в выгребную яму, потому что роженица, чувствуя позывы, думала по неопытности, или будучи умственно недоразвитой, либо находясь под действием наркотика, когда начались роды, что ее просто тянет в туалет. И каждый из этих вариантов детализируется на следующей странице, где помещены новорожденные, умирающие не по чьей-то вине, а потому, что они оказались непригодными для жизни уродцами, либо погибающие в материнском лоне из-за того, что вначале вышло детское место или же потому, что пуповина обмоталась у них вокруг шеи, а то и из-за разрыва матки. Короче: я не стану перечислять всех причин. Много места занимают самоубийцы. Способов лишения себя жизни сегодня гораздо больше, чем в прошлом, и висельники сошли на шестое место. К тому же движение внутри распределения частот новых методов самоубийства увеличилось с тех пор, как в качестве бестселлеров в мир низверглась лавина справочников с инструкциями, что делать, чтобы смерть была гарантированной и быстрой, разве что кто-то желает медленной, ибо и такое случается. Ты можешь, терпеливый читатель, узнать даже, какова корреляция тиражей такого справочника по суицидному самообслуживанию с нормальным распределением самоубийственной эффективности, поскольку раньше, когда за это брались по-любительски, значительную часть самоубийц удавалось спасти. Потом, разумеется, идут смерти от рака, инфаркта, от медицинского искусства, от чуть ли не четырехсот основных болезней, а дальше случайные происшествия, вроде столкновения автомобилей, смерти от падающих деревьев, стен, кирпичей, от наехавших поездов и так далее. Вплоть до метеоритов. Не знаю, сколь утешителен тот факт, что от падающих на Землю метеоритов погибают редко. Насколько помнится, за одну минуту умирает едва 0,0000001 человека. Как видите, работа Джонсонов была солидной. Чтобы детальнее показать летальную сферу, они применили метод так называемого кроссэксaminативного, а также диагонального показа. Из одних таблиц можно узнать, от какого набора причин умирают люди, а их других – насколько часто люди умирают от одной и той же причины, например, от поражения электрическим током. Благодаря этому выявлено чрезвычайное разнообразие наших смертей. Так, наиболее часто люди умирают, соприкоснувшись с плохо заземленными электрическими приборами, реже – в ванне, и уж совсем редко, мочась с мостового пешеходного перехода на провода высокого напряжения – троллеи; количество таких смертей в минуту выражается дробной величиной. Скрупулезные Джонсоны в примечании сообщают, что умирающих во время пытки током невозможно

разбить на убитых неумышленно (поскольку без злого умысла был применен ток слишком высокого напряжения) и сознательно. Приводится в книге также статистика способов, с помощью которых живые освобождаются от покойников, начиная с похорон с использованием косметики для трупов, с песнопениями, цветами и религиозной помпой и кончая более простыми и дешевыми методами. Рубрик здесь много, ибо оказывается, в высокоцивилизованных государствах больше трупов выбрасывается в мешках с камнями, либо с ногами, зацементированными в старые ведра, или расчлененных на части и голых в глиняные ямы, озера, а также (это особые данные) завернутых в старые газеты либо окровавленные тряпки выкидывают на крупные свалки больше, нежели в странах третьего мира. Бедные государства не знакомы с некоторыми способами освобождения от трупов. Видимо, туда еще вместе с финансовой помощью не дошли соответствующие сведения из высокоразвитых стран. Зато большее количество новорожденных в бедных странах пожирают крысы. Эти данные помещены на другой странице, однако, чтобы читатель их не упустил, он найдет в соответствующем месте ссылку, направляющую его в нужный раздел, а если есть желание ознакомиться с книгой мелкими разделами, то можно воспользоваться алфавитным указателем, в котором находится все.

После сказанного как-то трудно утврждать, что это – столбцы сухих, ни о чем не говорящих, тоскливых цифр. Тебя начинает разбирать нездоровое любопытство, а сколькими еще способами люди умирают за каждую минуту чтения этой книги, и пальцы, когда ты листаешь страницы, становятся вроде бы немножко липкими. Разумеется, от пота, ведь не от крови же.

Смерть от голода снабжена пояснением, что таблица (понадобилась особая страница, на которой голодающие разбиты по возрастам; больше всего умирает детей) актуальна только на год издания, поскольку количество голодных смертей быстро возрастает, к тому же в арифметической прогрессии. Смерть от переедания, правда, тоже случается, но реже в 119 000 раз. В таких данных есть что-то от эксгибиционизма и что-то от шантажа. Эти цифры – словно снадобье без запаха и вкуса, постепенно проникающее в мозг. А ведь я здесь практически не назвал и не намерен перечислять даже основные разделы, посвященные маразму, старческому увяданию, физическим недостаткам, различным нарушениям органов, ибо пришлось бы цитировать книгу, я же намерен лишь написать рецензию на нее.

Собственно, эти сведенные в рубрики, размещенные столбиками

данные обо всех разновидностях умирания, эти тела детей, женщин, новорожденных всех национальностей и рас, нематериально присутствующих за ширмами из колонн цифр, не являются основной сенсацией книги. Написав эту фразу, я задумался, соответствует ли она истине, и повторяю – нет, не является. Все это подробнейшее описание человеческого умирания немного напоминает ситуацию с собственной смертью: вроде бы обо всем уже давно известно, да только весьма туманно и расплывчато, то есть она, конечно, неизбежна, но мы просто не знаем, как она выглядит в реальности.

Истинная неохватность жизни в ее материальном воплощении проявляется уже с первых страниц. Приведенные там факты неоспоримы. В конце концов, можно сомневаться, точны ли цифры, собранные в разделах, посвященных умиранию. Ведь они опираются на усредненные данные. Впрочем, авторы отнюдь не скрывают от нас возможности статистических отклонений. Уже предисловие достаточно добросовестно описывает методы, применявшиеся при подсчетах, и даже содержит упоминание об использованных для этого компьютерных программах. Эти методы не исключают так называемых стандартных девиаций, но последние не имеют ни малейшего значения для того, кто читает книгу: ибо какая, в сущности, разница – умирают ли за одну минуту семь тысяч восемьсот новорожденных или восемь тысяч сто? К тому же эти отклонения достаточно незначительны из-за так называемого эффекта итогового размыва. Правда, количество родов (коль уж о них речь) неодинаково в различные времена года и суток, но на Земле все времена года, дня и ночи сосуществуют одновременно, так что сумма смертей при родах остается постоянной. Однако имеются и рубрики, данные для которых были получены лишь косвенным путем либо на основании общих рассуждений. Например, ни государственные полиции, ни частные убийцы – профессионалы или любители (за исключением идейных) – не сообщают сведений об эффективности своей работы. Здесь ошибка приведенной в таблицах величины действительно может быть значительной.

Зато статистические данные первого раздела не вызывают сомнений. Они сообщают, сколько существует людей, то есть живых человеческих тел, в любую минуту, наугад выбранную из 525 600 минут каждого года. Сколько тел, то есть мышц, костей, желчи, крови, слюны, спинномозговой жидкости, кала и так далее. Как известно, когда порядок величин, которые предстоит осилить сознанию, очень велик, популяризатор охотно прибегает к образным сопоставлениям: именно так поступают Джонсоны.

Итак, если бы все человечество собрать в одном месте, оно заняло бы

объем в триста миллиардов литров, то есть неполную треть кубического километра. Казалось бы, много. Мировой океан, как известно, содержит миллиард двести восемьдесят миллионов кубических километров воды, стало быть, если б все человечество, все наши пять миллиардов тел, бросить в океан, его уровень не поднялся бы даже на сотую долю миллиметра. После этого единственного всплеска Земля навсегда стала бы безлюдной, подобные игры со статистикой совершенно справедливо можно считать слишком дешевыми. Они будто бы должны показать, что мы, ухитрившиеся своими действиями отравить воздух, почву, моря, превратившие в степи джунгли, истребившие миллиарды видов животных и растений, живших сотни миллионов лет до нас, достигшие иных планет и даже изменившие альбедо Земли, тем самым дав знать о нашем существовании космическим наблюдателям, могли бы исчезнуть так легко и бесследно. Однако меня это не поразило, как и сведения о том, что из человечества можно было бы выкачать за одну минуту 24,9 миллиарда литров крови, и в результате не получилось бы ни Красного моря, ни даже солидного озера.

Далее, после почерпнутого из Эллиота эпиграфа, что-де жизнь – это «birth, copulation and death», идут новые цифры. Каждую минуту совокупляются 34,2 миллиона мужчин и женщин. Однако оплодотворением оканчиваются только 5,7 процента актов, хотя совокупный эякулят объемом 43 000 литров в минуту содержит биллион девятьсот девяносто миллионов (с погрешностью в последнем знаке) живых сперматозоидов. Именно такое количество женских яиц могло бы быть оплодотворено шестьдесят раз в час при минимальной пропорции в один сперматозоид на одно яйцо, и тогда, в этом невероятном случае, каждую секунду были бы зачаты три миллиона детей. Однако приведенные данные являются всего лишь статистической эквилибристикой.

Порнография и современный стиль существования приучили нас к разнообразию методов сексуальной жизни. Кому-нибудь может показаться, что в ней ничего уже невозможно обнажить, показать что-нибудь такое, что было бы совершенной новостью. Тем не менее то, что охвачено статистикой, поражает воображение. И дело тут не в пресловутой игре в сопоставления: как ни говори, но 43 тонны ежеминутно нагнетаемой в женские гениталии спермы – это ведь 43 000 гектолитров, которые таблица сравнивает с 37 850 гектолитрами кипятка, выбрасываемого при каждом цикле самым большим гейзером мира (в Йеллоустонском национальном парке). Гейзер спермы в 11,3 раза обильнее и бьет без каких-либо перерывов. Ничего непристойного в этой картине нет. Человек может

сексуально возбуждаться только в пределах определенной шкалы величин. Акты копуляции, демонстрируемые как в сильном уменьшении, так и увеличении, отнюдь не вызывают полового возбуждения. Оно пробуждается рефлекторно в соответствующих центрах мозга, будучи врожденной реакцией, и не возникает в условиях, выходящих за рамки, визуальной нормы. Акты, представленные в уменьшении, безразличны, ибо они показывают существа размером с муравья. Сильно же увеличенные, они вызывают отвращение, ибо самая гладкая кожа самой распрекрасной женщины в этом случае выглядит как белесая пористая поверхность, из которой торчат волосы толщиной с клыки, а из отверстий сальных желез выделяется липкая блестящая слизь...

Изумление, о котором я упомянул, имеет другую причину. Человечество перекачивает сердцами 53,4 миллиарда литров крови в минуту, и эта красная река не удивляет, поскольку должна течь, поддерживая жизнь. За это же время мужские органы выделяют 43 тонны семени, и дело в том, что действительно каждая эякуляция представляет собою физиологический акт, однако для каждого индивидуума нерегулярный, интимный и не слишком частый и даже необязательный. Ведь имеются миллионы стариков, детей, людей, живущих в добровольном либо вынужденном безбрачии, больных и так далее. И тем не менее этот белый поток течет с точно таким же постоянством, как и упомянутая красная река. Ибо нерегулярность исчезает, поскольку статистика охватывает всю Землю, и вот это-то изумляет. Люди усаживаются за уставленные яствами столы, копаются в отходах на свалках, молятся в соборах, мечетях, церквях, летают самолетами, ездят в автомобилях, сидят в подводных лодках с ядерными ракетами, заседают в парламентах, миллиарды людей спят, по кладбищам двигаются похоронные процессии, взрываются бомбы, врачи склоняются над операционными столами, тысячи лекторов одновременно поднимаются на кафедры, взмывают и опускаются театральные занавесы, наводнения заливают поля и дома, идут войны, тракторы сталкивают одетые в форму трупы во рвы, грохочет, вспыхивает, ночь, день, рассвет, закат – но человек действует, оплодотворяющий поток из сорока трех тонн спермы течет без устали, и закон больших чисел утверждает, что он столь же постоянен, как количество поступающей на Землю солнечной энергии. В этом есть что-то механическое, незыблемое и звериное. Неизвестно, как согласиться с образом человечества, столь невозмутимо копулирующего во время всех катаклизмов, которые с ним случаются и которые оно само себе призвало на голову.

Так вот. Прошу понять, что невозможно пересказывать книгу, которая

представляет собою спрессованную до предела, то есть до голых цифр, характеристику человечества (мы не знаем ни одного еще более результативного способа спрессовывания каких-либо явлений). Ведь книга эта уже сама по себе является экстрактом. Выжимкой. В рецензии даже невозможно хотя бы кратенько изложить наиболее своеобразные разделы. Разве что упомянуть душевные болезни: оказывается, сейчас больше людей сходит с ума за одну минуту, нежели вообще было живших на Земле несколько десятков поколений тому назад. Представьте себе человечество, состоящее исключительно из умалишенных. Или вот болезни, связанные с новообразованиями, которые я в своей первой медицинской работе 35 лет назад назвал «соматическим бешенством», как бы самоубийственным обращением тела против самого себя. Ведь в принципе они представляют собою исключение из правил жизни, ошибку ее развития, но это исключение, охваченное статистикой, этот гигантский молох, эта масса раковых клеток в отнесении к одной минуте как бы свидетельствует о слепоте процессов, которым, однако же, мы обязаны своим появлением в этом мире.

Несколькими страницами дальше размещаются вещи более мрачные. О разделах, посвященных принуждениям, насилиям, половым извращениям, странным культам, мафиям, бандитским шайкам, я не стану упоминать. Картина того, что люди творят с людьми, чтобы их мучить, унижать, уничтожать, наживаться на их болезнях, здоровье, старости, детстве, уродствах, и к тому же неустанно, каждую минуту, может привести в ужас даже присяжного мизантропа, который был уверен, что ни одна человеческая мерзость не ускользнула от его внимания. Но довольно об этом.

Была ли нужна эта книга? Член Французской академии написал в «Ле Монд», что она была неизбежна, что она должна была появиться. Наша цивилизация, писал он, все подсчитывает, измеряет, оценивает, взвешивает, преступает все законы и запреты, хочет все знать, но, становясь все многочисленнее, постепенно теряет возможность глубже познавать себя, так сказать, теряет «прозрачность». Она ни на что не набрасывается с таким ожесточением, как на то, что все еще сопротивляется ей. Поэтому нет ничего странного в том, что она пожелала иметь собственный портрет, настолько верный, какого еще не бывало, и столь же объективный (ведь объективизм – это требование рассудка и дня), и вот получила снимок, какие делает репортерская камера – кадрированный и без ретуши.

Пожилой господин заменил ответ на вопрос о необходимости «Одной минуты» уловкой: она появилась, ибо, будучи плодом своего времени, не

могла не появиться. Однако вопрос остался. Я заменил бы его более скромным: действительно ли из этой книги следует, что человечество как целое показано быть не может? Статистические таблицы играют роль замочной скважины, в которую читатель, как Любопытный Том^[150], рассматривает огромное обнаженное человеческое тело, занятое своими повседневными делами. В замочную скважину невозможно увидеть все сразу. К тому же, что, вероятно, еще важнее, подсматривающий оказывается один на один не только со всем своим родом, но и с его судьбой.

Надо признать, что «Одна минута» содержит уйму любопытнейших антропологических данных в разделах, посвященных культурам, верованиям, ритуалам и обычаям, хотя это всего лишь цифровые выжимки (а может быть, именно поэтому); она представляет нам поразительное разнообразие людей, столь, казалось бы, одинаковых анатомически и физиологически. Странно, что невозможно пересчитать количество языков, которыми пользуются люди. Точно не известно, сколько их, знаем только, что свыше четырех тысяч. Всех не выявили до сих пор даже специалисты, и сделать это тем сложнее, что некоторые языки малых этнических групп вымирают вместе с ними, кроме того, лингвисты ведут споры о статусе некоторых языков. Одни считают их диалектами и жаргоном, другие – самостоятельными единицами. Но таких страниц, на которых Джонсоны расписываются в невозможности пересчитать данные на минуты, мало. Несмотря на это, ощущаешь – во всяком случае, я ощущал – некоторое облегчение именно там. Здесь есть свой философский корень.

В одном немецком литературном журнале для избранных я встретился с критикой «Одной минуты», написанной неким гуманитарием. Книга, заявил он, делает из человечества монстра, ибо она возвела гору мяса из тел, крови и пота, предварительно ампутировав у этих тел головы. Однако ведь духовная жизнь не измеряется ни количеством прочитанных человечеством книг и газет, ни суммой слов, извергаемых за одну минуту (величина прямо-таки астрономическая, между прочим). Числовые сопоставления посещаемости театров либо часов, проведенных у телевизора, с размерами смертности и т.п. вводят нас в ошибку, и ошибка эта чрезвычайно груба. Ни оргазм, ни агония не представляют собой действия, свойственные исключительно людям. Более того, они имеют чисто физиологический характер. Специфически же человеческие свойства, будучи явлениями психическими, не только не исчерпываются, но даже и приблизительно не определяются тиражами газет либо философских произведений. Это все равно что выдавать температуру тела

за температуру любовных чувств либо в разделе «акты» поместить рядышком снимки нагих людей и возвышенные акты веры. Такого рода категориальный хаос не случаен, поскольку авторы явно намеревались шокировать читателей пасквилем, замешенным на статистике, прибить всех нас градом цифр. Быть человеком – это прежде всего обладать духовной жизнью, а не анатомией, поддающейся сложению, делению и умножению. Сам факт, что не удастся измерить духовную жизнь и вогнать ее в рамки какой-либо статистики, превращает в нонсенс претензии авторов на создание портрета человечества. В бухгалтерском разделении миллиардов людей на функциональные кусочки, соответствующие определенным рубрикам, проглядывает мастерство патолога, вскрывающего трупы, а может быть, и злостность. Ведь меж тысячи глав и главок нет вообще такой, как «человеческое достоинство».

Философский корень, о котором я упомянул выше, подсек и другой критик. Мне показалось (замечу в скобках), что «Одна минута» вызвала в среде интеллектуалов переполох. Они считали для себя возможным обходить молчанием такие продукты массовой культуры, как «Книга рекордов Гиннесса», но «Одна минута» вбила им клин в головы. Отважные или же просто хитроумные Джонсоны вознесли свое произведение на значительную высоту ученым вступлением. Они упредили также множество обвинений, ссылаясь на мыслителей современности, считающих правду исходной ценностью в культуре. Ну а коли так, то дозволена и даже необходима любая правда, включая и наиболее удручающую. Критик-философ влез на этого высокого коня, воспользовавшись стремящем, которое держали в своих руках Джонсоны, и в начале воздал им должное, а затем потрепал.

Нас представили, писал он в «Encounter», почти точно таким образом, которого так сильно боялся Достоевский в «Записках из подполья». Достоевский считал, что нам угрожает предсказываемый наукой детерминизм, который выкинет на свалку самостоятельность индивидуума, проявляющуюся в свободе воли, стоит только науке научиться предвидеть любое решение и любое ощущение, как она делает это с движениями механического клавиесина. Он не видел иного выхода, иного спасения от чудовищной предсказуемости наших действий и мыслей, которая лишит нас свободы, кроме как сумасшествие. Его Человек из Подполья был готов сойти с ума ради того, чтобы его разум, расшатанный сумасшествием, не подчинился торжественному детерминизму. Так вот, этот детерминизм, кошмар рационалистов девятнадцатого века, пал и уже не поднимется, но с неожиданной эффективностью его заменили теория вероятности со

статистикой.

Судьбы единиц столь же непредсказуемы, как и судьбы отдельных молекул газа, но из гигантского количества тех и других следуют закономерности, касающиеся всех сразу, хотя и не отнесенные к какой-либо конкретной молекуле или человеку. Таким образом, после падения детерминизма наука совершила обходной маневр и с его помощью добралась до Человека из Подполья с другой стороны.

К сожалению, неправда, что в «Одной минуте» нет даже и следа духовной жизни человечества. Попытки ограничить духовную жизнь человека пределами его головы с тем, чтобы она, эта жизнь, не проявляла себя никак иначе, как только словами, – это всего лишь профессионально понятный прием литераторов и иных интеллектуалов, образующих (как сообщает книга) микроскопическую, всего-навсего одну миллионную частичку человечества. В 99 случаях из 100 эта жизнь проявляется людьми в виде действий, вполне поддающихся измерению, и было бы ошибкой из мнимого благородства отказывать в наличии психических данных психопатам, убийцам и сводникам, так же как и водовозам, купцам или ткачихам.

Так что говорить надо не о мизантропских намерениях авторов, а самое большее – о свойственных выбранному ими методу ограничениях. Оригинальность «Одной минуты» в том, что она не является статистикой баланса, то есть сведениями об уже канувших в Лету событиях, как обычный годовой отчет, а информацией, *синхронной* с миром людским. Она сродни компьютеру того типа, который мы называем работающим в реальном времени, то есть устройству, следящему за событиями, на которые его настроили *синхронно* их свершению.

Увенчав таким образом авторов, критик из «Encounter», однако, тут же отстриг часть лавровых листиков, которыми одарил их, взявшись за предисловие. Условие правдивости, которое декларируют Джонсоны, чтобы уберечь «Одну минуту» от упреков в чрезмерной вульгарности либо пасквиле, звучит красиво, говорит он, но практически невыполнимо. Книга не содержит «всего о человеке», ибо это невозможно. «Всего» о нем не содержат даже самые большие библиотеки мира. Количество антропологических данных, обнаруженных учеными, уже давным-давно выходит за пределы ассимилятивных возможностей индивидуума.

Разделение труда, в том числе и умственного, начавшееся около тридцати тысяч лет тому назад в палеолите, стало явлением необратимым, и тут уж ничего не поделаешь. Мы – вольно или невольно – отдали свои судьбы в руки экспертов. Ведь политики – это своего рода эксперты, только

самозванные. Даже то, что компетентные эксперты служат либо выслуживаются перед политиками с невысоким интеллектом и убогим даром предвидения, беда не большая, ибо и среди экспертов первого класса нет согласия ни по одной из основных проблем мира. Так что неизвестно, была ли бы логократия переругавшихся экспертов лучше правительств посредственностей, которым мы подчиняемся. Ухудшающийся умственный уровень ведущих политических элит есть результат повышающейся сложности мира. Поскольку охватить его полностью не может никто, даже наделенный величайшим умом, постольку во власть пробираются те, кто от этого ничуть не страдает. Не случайно в «Одной минуте», в разделе «Совершенство ума» нет показателей интеллекта выдающихся правящих мужей мира. Даже дотошным Джонсонам не удалось подвергнуть этих людей тестам на интеллект.

Моя точка зрения на эту книгу не столь драматична. О ней можно рассуждать бесчисленными способами, о чем свидетельствует хотя бы данная рецензия. Это, я думаю, и не злостный пасквиль, и не истинная правда. Не карикатура и не зеркало. Асимметрию «Одной минуты», то есть того, что человеческого зла в ней значительно больше, чем проявлений добра, а несчастий нашего существования – нежели прелестей, я не приписываю ни намерениям авторов, ни методу. Книга может обескуражить только тех, кто все еще сохраняет какие-либо иллюзии относительно Человека. Асимметрию добра и зла, пожалуй, удалось бы даже показать в числовом выражении, чего Джонсоны как-то не сообразили. А ведь разделы, посвященные порокам, преступлениям, обманам, кражам, шантажам, а также новейшим видам преступлений, именуемым компьютерными (речь идет о таких манипуляциях с этими электронными продолжениями работы мысли, которые приносят программистам выгоды, находящиеся в противоречии с законом, а в последнее время распространились на действия, которые пока что нельзя признать преступлениями в силу принципа «*nullum crimen sine роена...*»^[151], стало быть, не преступник тот, кто использует гигантскую вычислительную мощност машин, чтобы повысить шансы выигрыша в лотерее либо азартных играх: несколько математиков показали, что можно взять банк в рулетке, анализируя движения шарика, поскольку ни одна рулетка не является идеально случайностным устройством, иначе говоря, проявляет отклонения от теоретического математического ожидания результатов, что можно установить с помощью компьютера и воспользоваться этим), гораздо шире разделов, посвященных «самаритянским» актам.

Авторы не сопоставили соответствующих цифр в общей таблице, а жаль. Это бы четко показало, сколь более многолико зло, нежели добро. Другим можно помогать меньшим количеством способов, нежели мешать, ибо такова природа вещей, а не статистический метод. Наш мир находится не на полпути между адом и раем, а, похоже, гораздо ближе к первому. Однако, не имея в этом отношении иллюзий, к тому же достаточно давно, я не почувствовал себя огорченным рецензируемой книгой.

Библиотека ХХІ века

Принцип разрушения как творческий принцип. Мир как всеуничтожение

Введение

Книги с такими или подобными им названиями начнут появляться в конце XX века. Но нарисованная в них картина мира получит всеобщее признание лишь в следующем столетии, когда открытия, совершаемые в далеких друг от друга областях науки, сольются в единое целое. Это целое – скажу сразу – опрокинет нынешние представления о месте, занимаемом нами во Вселенной.

Докоперниканская астрономия поместила Землю в центре мироздания; Коперник низверг ее с этой исключительной позиции, открыв, что Земля – одна из многих планет, обращающихся вокруг Солнца. Развитие астрономии на протяжении следующих столетий упрочило коперниканский принцип: было признано, что Земля не только не находится в центре Солнечной системы, но и сама эта система расположена на периферии Галактики. Оказалось, что мы живем во Вселенной «где попало», в каком-то звездном предместье.

Астрономия занималась исследованием эволюции звезд, а биология – эволюции жизни на Земле, и наконец пути этих исследований пересеклись, или, скорее, слились как притоки одной реки: астрономия признала вопрос о всеобщности жизни в Космосе своим, а теоретическая биология помогла ей в этом. Так в середине XX века возникла первая программа поиска внеземных цивилизаций, получившая название SETI (*Communication with Extraterrestrial Intelligence*^[152]). Однако эти поиски, которые велись несколько десятков лет при использовании все более совершенной и все более мощной аппаратуры, не привели к обнаружению внеземных цивилизаций или хотя бы их малейших следов в виде радиосигналов. Так возникла загадка *Silentium Universi*. Это «Молчание Космоса» в семидесятые годы попало в сферу внимания широкой общественности. Бесплодность попыток обнаружения «инопланетного разума» стала нелегкой проблемой для науки. Биологи уже установили, какие физикохимические условия делают возможным зарождение жизни из мертвой материи – и это не были какие-то исключительные условия. Астрономы доказали, что вокруг звезд должны существовать

многочисленные планеты, а наблюдения показали, что это справедливо для значительной части звезд нашей Галактики. Тем самым напрашивался вывод, что жизнь возникает сравнительно часто в ходе достаточно обычных космических процессов, что ее эволюция должна быть естественным явлением в Космосе, а увенчание эволюционного дерева видов разумными существами также есть нечто вполне нормальное. Но этому образу населенного Космоса противоречило отсутствие внеземных сигналов, хотя все больше наблюдателей занимались их поисками на протяжении десятков лет.

Согласно всему, что знали астрономы, химики и биологи, Космос был полон звезд, схожих с Солнцем, и планет, схожих с Землей, так что, по закону больших чисел, жизнь должна была развиваться на бесчисленных планетах; но радиопрослушивание повсюду обнаруживало мертвую пустоту.

Ученые, объединенные в CETI, а потом в SETI (*Search for Extraterrestrial Intelligence*^[153]), создавали различные гипотезы *ad hoc*^[154], чтобы согласовать постулат о всеобщности жизни в Космосе с молчанием Космоса. Сначала они полагали, что среднее расстояние между космическими цивилизациями составляет от 50 до 100 световых лет. Затем эту цифру пришлось увеличить до 600 и даже до 1000 световых лет. Одновременно возникли гипотезы самоистребления Разума, такие, как гипотеза фон Хёрнера: дескать, безжизненность Космоса при высокой плотности космических цивилизаций объясняется тем, что каждой цивилизации угрожает самоубийство наподобие того, которое грозит человечеству в атомной войне; и хотя эволюция органической жизни продолжается миллиарды лет, ее последняя, технологическая стадия длится лишь несколько десятков столетий. Другие гипотезы указывали на угрозы, которые двадцатый век открыл не только в военной, но и в мирной технологической экспансии, уничтожающей – своими косвенными последствиями – биосферу как питомник жизни.

Как кто-то сказал, перефразируя известное изречение Витгенштейна, «vorüber man nicht sprechen kann, darüber muss man dichten»^[155]. По-видимому, Олаф Стейплдон, автор фантастического романа «Первый и последний человек», был первым, кто сформулировал нашу судьбу в словах: «Звезды рождают человека, и звезды его убивают». Но тогда, в тридцатые годы XX века, эти слова были скорее «поэзией», чем «правдой», были метафорой, а не гипотезой, претендующей на гражданство в науке.

Тем не менее любой текст может заключать в себе больше значений,

чем вложил в него автор. Четыреста лет назад Роджер Бэкон утверждал, что возможны летающие машины, а также машины, которые будут мчаться по земле и ходить по морскому дну. Несомненно, он не представлял себе подобных устройств сколько-нибудь отчетливо, но мы, читая сегодня эти слова, не только знаем, что в них содержится правда, но обогащаем их значение множеством известных нам конкретных деталей, что придает больший вес этому высказыванию.

Нечто подобное произошло с предположением, которое я высказал в сборнике материалов американо-советской научной конференции SETI в Бюракане в 1971 г. (мой текст можно найти в книге «Проблема SETI», вышедшей в московском издательстве «Мир» в 1975 году). Я писал тогда: «Если бы распределение цивилизаций во Вселенной было не случайным и подчинялось определенным закономерностям, связанным с наблюдаемыми астрофизическими явлениями, то шансы быстрого установления контакта были бы тем ниже, чем сильнее была бы выражена связь этих закономерностей с характеристиками межзвездной среды, чем сильнее отличалось бы распределение цивилизаций от случайного. А priori нельзя исключить того, что существуют астрономически наблюдаемые индикаторы существования цивилизаций. (...) Из этого следует, что программа SETI среди своих принципов должна иметь и такой, который учитывал бы относительность, преходящий характер наших астрофизических данных, учитывал бы, (...) что новые открытия будут влиять на изменение даже основополагающих принципов программы SETI»^[156].

Так вот: именно это произошло – или, скорее, постепенно происходит. Из новых открытий галактической астрономии, из новых моделей плането- и астрогенеза, как из разбросанных частей головоломки, начинает складываться новая картина истории Солнечной системы и зарождения жизни на Земле, картина столь же захватывающая, сколь и противоречащая прежним представлениям.

Если изложить дело в самом общем виде, то из гипотез, воссоздающих десять миллиардов лет истории Млечного Пути, следует, что человек возник, потому что Космос есть зона катастроф, а земля вместе с жизнью своим возникновением обязана необычной серии таких катастроф. Что Солнце породило свою планетную семью в результате происшедших неподалеку бурных катаклизмов, что затем Солнечная система вышла из зоны катастрофических возмущений и поэтому жизнь смогла возникнуть и развиваться, чтобы наконец овладеть всей Землей. В следующий миллиард лет, когда человек, в сущности, не имел никаких шансов на то, чтобы

возникнуть, ибо Дерево Видов не оставляло ему для этого места, очередная катастрофа открыла путь антропогенезу – тем, что убила сотни миллионов земных существ.

В этой новой картине мира центральное место занимает творение посредством разрушения и вызванной им перестройки системы. Коротко это можно выразить так: Земля возникла потому, что Прасолнце вошло в зону уничтожения; жизнь возникла потому, что Земля покинула эту зону; а человек возник потому, что миллиард лет спустя стихия уничтожения обрушилась на Землю снова.

Эйнштейн, упорно не желавший мириться с индетерминизмом квантовой механики, как-то заметил: «Господь не играет с мирозданием в кости». Он хотел этим сказать, что явлениями на внутриатомном уровне не может управлять случай. Оказалось, однако, что Всевышний играет с мирозданием в кости не только в масштабе атомов, но и там, где речь идет о галактиках, звездах, планетах, о зарождении жизни и разумных существ. Что своим существованием мы обязаны катастрофам, случившимся «в нужном месте и в нужное время», а также катастрофам, которые тогда-то и там-то не произошли. Мы возникли, пройдя (если вспомнить об истории нашей звезды, нашей планеты, нашего биогенеза и эволюции) через множество игольных ушек; и поэтому 10 миллиардов лет, отделяющих зарождение протосолнечного облака газов от возникновения Человека Разумного, можно сравнить с гигантским слаломом, в котором не были задеты ни одни ворота. Уже известно, что ворот на трассе этого слалома было много и любое отклонение от трассы сделало бы возникновение человека невозможным; неизвестно, однако, как широка была эта трасса со всеми своими изгибами и воротами; иначе говоря, какова была вероятность безошибочного спуска, финишем которого стал антропогенез.

А значит, мир, каким его увидит наука будущего столетия, окажется множеством случайных катастроф, созидательных и разрушительных одновременно; причем случайным было именно это множество, а каждая из катастроф в отдельности подчинялась строгим законам физики.

I

Правило рулетки есть правило проигрыша огромного большинства игроков. Игрок, встающий из-за стола с выигрышем, – исключение из правила. Игрок, кото Проблема СЕТИ. М., 1975, с.335 (пер. Б.Н. Пановкина). рый выигрывает достаточно часто, – редкое исключение; а

игрок, приобретающий целое состояние благодаря тому, что чуть ли не каждый раз угадывает, на каком номере остановится шарик, – редчайшее исключение, невероятный счастливчик, о котором пишут в газетах.

Никакая серия выигрышей не является заслугой игрока, потому что не существует тактики выбора номеров, гарантирующей выигрыш. Рулетка – вероятностное устройство, то есть такое, конечное состояние которого нельзя достоверно предвидеть. Поскольку шарик всегда останавливается на одном из 36 номеров, игрок каждый раз имеет один шанс на выигрыш из 36. Тот, кто выиграл, поставив поочередно на два номера, исходно имел один шанс на двойной выигрыш из 1296, потому что вероятности случайных независимых событий (как это имеет место в рулетке) перемножаются. Вероятность трех выигрышей подряд составляет 1:46 656. Это очень малая, но поддающаяся расчету вероятность, ведь число конечных состояний при каждом розыгрыше одинаково: 36. Но если бы мы хотели рассчитать шансы игрока, принимая во внимание посторонние события (землетрясение, покушение террористов, смерть игрока из-за инфаркта), это окажется невозможно. Точно так же нельзя статистически вычислить вероятность выживания человека, который под артиллерийским обстрелом собирает на лужайке цветы и возвращается домой целым и невредимым с букетом в руках. Нельзя, хотя невозможность рассчитать, а тем самым и предсказать это событие не имеет ничего общего с непредсказуемостью, свойственной квантово-атомным явлениям. Судьбу собирателей цветов под обстрелом можно охватить статистикой только в том случае, если их очень много и если, кроме того, известно статистическое распределение цветов на лужайке, общее время их собирания, а также среднее количество снарядов на единицу обстреливаемой площади.

Составление такой статистики осложняется, однако, тем, что снаряды, не попавшие в собирателя, уничтожают цветы, изменяя их распределение на лужайке. Убитый собиратель выпадает из игры, которая заключается в собирании цветов под огнем, а из игры в рулетку выпадает тот, кому сперва повезло, а потом он проигрался вчистую.

Наблюдатель, миллиарды лет наблюдающий скопление галактик, мог бы рассматривать их как рулетки или лужайки с собирателями цветов и обнаружить статистические закономерности, которым подчиняются звезды и планеты; в конце концов он установил бы, как часто появляется в Космосе жизнь и как часто она может потом эволюционировать вплоть до возникновения разумных существ.

Таким наблюдателем могла бы быть долгоживущая цивилизация, а

говоря точнее, сменяющие друг друга поколения ее астрономов.

Но если лужайка с цветами обстреливается хаотично (то есть плотность обстрела не колеблется вокруг некой средней величины и, стало быть, не поддается расчету) или если рулетка не является «честной», то никакой наблюдатель не составит «статистику частоты зарождения Разума в Космосе».

Невозможность создания такой статистики – скорее «практического», чем принципиального свойства. Она, в отличие от принципа неопределенности Гейзенберга, содержится не в самой природе материи, но «всего лишь» в не поддающемся расчету наложении друг на друга независимых друг от друга серий случайных событий самого разного масштаба: галактического, звездного, планетарного и молекулярного.

Галактика, рассматриваемая в качестве рулетки, на которой «можно выиграть жизнь», не является «честной рулеткой». Честная рулетка точно подчиняется единственному распределению вероятностей (1:36 в каждой игре). Но для рулеток, которые сотрясаются или меняют свою форму в ходе игры или в которых применяются всякий раз разные шарики, – для таких рулеток подобной статистической закономерности не существует. Правда, все рулетки и все спиральные галактики сходны между собой, однако же не тождественны. Галактика может вести себя, как рулетка возле печи: когда печь топится, нагретый диск рулетки искривляется и распределение выигрывающих номеров меняется. Опытный физик может учесть влияние температуры на рулетку; но если на нее воздействуют еще и сотрясения пола от проезжающих по улице грузовиков, его подсчеты окажутся недостаточными.

В этом смысле галактическая игра «на жизнь или смерть» есть игра на нечестных рулетках.

Я уже упомянул о том, что Эйнштейн утверждал, будто «Бог не играет с мирозданием в кости». Теперь мы можем дополнить то, что было сказано выше. Бог не только играет с мирозданием в кости, но к тому же играет по-честному – в точности теми же костями – лишь в наименьшем, атомном масштабе. Зато галактики – это такие огромные божьи рулетки, которые честными не назовешь. Оговорюсь, что речь идет о «честности» в математическом (статистическом), а не в каком-либо «моральном» смысле.

Наблюдая радиоактивный элемент, мы можем установить период его полураспада, то есть как долго следует ждать, чтобы распалась половина его атомов. Этим распадом управляет случайность, статистически честная – то есть одна и та же для этого элемента во всей Вселенной, независимо от того, находится ли он в лаборатории, в недрах Земли, в метеорите или в

космической туманности. Его атомы всюду ведут себя одинаково.

Зато галактика в качестве «устройства, производящего звезды, планеты и иногда – жизнь» делает это – в качестве вероятностного устройства – нечестно, то есть не поддающимся расчету образом.

Этой ее созидательной деятельностью не управляет ни детерминизм, ни такой индетерминизм, который мы видим в мире квантов. Поэтому о ходе галактической «игры, ставкой в которой служит жизнь», можно судить лишь задним числом, когда выигрыш уже выпал. Можно воспроизвести приведший к этому ход событий, хотя предвидеть его заранее было бы нельзя. Можно реконструировать ход игры, хотя и не вполне точно, подобно воссозданию истории первобытных племен, от которых не осталось ни летописей, ни документов, а лишь творения человеческих рук, вырытые из земли археологом. Так галактическая астрономия превращается в «звездно-планетарную археологию», занятую воссозданием хода игры особого рода, главный выигрыш в которой – мы сами.

II

Добрых три четверти галактик имеют форму спирального диска с ядром, из которого выходят два рукава, как в нашем Млечном Пути. Галактическая туманность, состоящая из газово-пылевых облаков, а также из звезд (которые постепенно зарождаются в ней и гибнут), вращается, причем рукава вращаются с меньшей угловой скоростью, чем ядро, и, не поспевая за ним, скручиваются; как раз поэтому целое приобретает форму спирали. Но рукава перемещаются со скоростью, отличной от скорости звезд.

Тем, что галактика все же сохраняет форму спирали, она обязана волнам плотности, в которых звезды играют такую же роль, какую играют молекулы в обычном газе.

Вращаясь с неодинаковой скоростью, звезды, значительно удаленные от ядра, остаются за рукавом, зато вблизи ядра они догоняют спиральный рукав и пересекают его. Скорость, равную скорости рукавов, имеют лишь звезды, расположенные на полпути между ядром и периферией галактики, т.е. на так называемой коротационной окружности. Газовое облако, из которого должно было возникнуть Солнце с планетами, 5 миллиардов лет назад находилось у внутренней кромки спирального рукава. Оно догоняло рукав с небольшой скоростью – порядка 1 км/с. Оказавшись за фронтом волны плотности, газовое облако было «загрязнено» продуктами

радиоактивного распада сверхновой звезды (изотопами иода и плутония). Эти изотопы распадались до тех пор, пока из них не возник новый элемент – ксенон. Между тем облако обжималось волной уплотнения, в которой оно оказалось; это стимулировало его конденсацию, пока не родилась наконец молодая звезда – Солнце. В конце этой фазы, примерно 4,5 миллиардов лет назад, поблизости вспыхнула другая сверхновая; она «загрязнила» околосолнечную туманность (ибо не весь протосолнечный газ успел сконденсироваться в Солнце) радиоактивным алюминием, что ускорило – а может быть, вызвало – формирование планет. Как показало математическое моделирование, для того чтобы газовая оболочка, вращающаяся вокруг молодой звезды, подверглась фрагментации и начала конденсироваться в планеты, необходимо «вмешательство извне» в виде мощного толчка; таким толчком стал удар от сверхновой, вспыхнувшей неподалеку от Солнца.

Откуда обо всем этом известно? Из состава радиоизотопов, содержащихся в метеоритах Солнечной системы; зная период полураспада этих изотопов (иода, плутония, алюминия), можно рассчитать, когда протосолнечная туманность была ими «загрязнена». Это произошло по меньшей мере дважды; различное время распада этих изотопов позволяет установить, что первое «загрязнение» в результате вспышки сверхновой произошло сразу после того, как протосолнечная туманность оказалась на внутренней кромке галактического рукава, а второе «загрязнение» (радиоактивным алюминием) – примерно 300 миллионов лет спустя.

Итак, самый ранний период своей жизни Солнце провело в зоне сильной радиации и резких ударов, стимулирующих планетогенез, а потом, с отвердевающими и застывающими уже планетами, вышло в сильно разреженное пространство, огражденное от звездных катастроф; поэтому жизнь на Земле могла развиваться без убийственных для нее помех.

Как следует из этой картины Вселенной, коперниканский принцип, согласно которому Земля вместе с Солнцем находится не в особо выделенном месте, а «где попало», оказывается под серьезным сомнением.

Если бы Солнце находилось на далекой периферии Галактики и, медленно двигаясь, не пересекало ее рукавов, оно, вероятно, не породило бы планет. Планетогенез требует «акушерской помощи» в виде бурных катаклизмов – мощных ударных волн от взрывающихся сверхновых или по крайней мере одного такого «близкого контакта».

Если бы Солнце, породив от таких ударов планеты, обращалось вблизи галактического ядра, а значит, гораздо быстрее, чем рукава спирали, то оно часто пересекало бы их. Тогда многочисленные лучевые и радиоактивные

удары сделали бы невозможным возникновение жизни на Земле либо уничтожили ее на ранней стадии.

А если бы Солнце двигалось по самой коротационной окружности Галактики, не покидая ее рукава, жизнь также не смогла бы сохраниться на нашей планете: раньше или позже ее убила бы вспышка какой-нибудь близкой сверхновой. Внутри галактических рукавов сверхновые вспыхивают чаще, да и средние расстояния между звездами здесь гораздо меньше, чем между рукавами.

Следовательно, благоприятные для планетогенеза условия существуют внутри спиральных рукавов, тогда как условия, благоприятствующие зарождению и развитию жизни, – в пространстве между рукавами.

Таким условиям не удовлетворяют ни звезды, обращающиеся вблизи ядра Галактики, ни звезды ее периферии, ни, наконец, звезды, орбиты которых совпадают с коротационной окружностью, – но лишь такие, которые находятся в ее окрестностях.

Следует помнить еще, что слишком близкий взрыв сверхновой, вместо того чтобы «обжечь» протосолнечное облако и тем самым ускорить конденсацию планет, развеял бы это облако целиком, как порыв ветра – пух одуванчика. Взрыв чересчур отдаленный мог бы оказаться недостаточным, чтобы стать импульсом для планетогенеза. А следовательно, взрывы сверхновых, соседствующих с Солнцем, должны были быть «как следует» синхронизированы с основными этапами его развития, точнее, его развития как звезды, как Солнечной системы и, наконец, как системы, в которой возникла жизнь.

Протосолнечное облако оказалось, как видим, тем игроком, который сел за рулетку с необходимым начальным капиталом, потом, выигрывая раз за разом, увеличил свой капитал и покинул казино в самую пору, не подвергая опасности проигрыша все то, что принесла ему «полоса удач». Похоже, что «биогенные» планеты, способные породить цивилизации, следует искать прежде всего вблизи коротационной окружности Галактики.

Если принять предложенную здесь реконструкцию истории нашей системы, то придется радикально пересмотреть прежние оценки плотности космических цивилизаций.

Мы знаем почти наверное, что ни одна из звезд в окрестностях Солнца – в радиусе примерно 50 световых лет – не является обиталищем цивилизаций, располагающих техникой сигнализирования, по меньшей мере не уступающей нашей.

Радиус коротационной окружности составляет около 10,5 тыс. парсеков, то есть около 34 000 световых лет. Во всей Галактике

насчитывается свыше 150 миллиардов звезд. Если считать, что третья их часть находится в ядре и в широких основаниях спиральных рукавов, то на сами рукава приходится 100 миллиардов звезд. Неизвестно, насколько широк тор (фигура в виде автомобильной шины), который следует описать вокруг коротационной окружности, чтобы охватить всю зону, благоприятствующую возникновению «жизнеродящих» планет. Так что будем считать, что этот «биогенный тор» содержит в себе одну сотысячную часть всех звезд галактической спирали – то есть миллион. Периметр коротационной окружности составляет около 215 000 световых лет. Если бы *каждая* из находящихся там звезд освещала хотя бы одну цивилизацию, то среднее расстояние между ближайшими обитаемыми планетами составляло бы пять световых лет. Это, однако, невозможно, потому что звезды на коротационной окружности расположены неравномерно; при этом звезды с *рождающимися* планетами следует искать скорее внутри спиральных рукавов, а звезды, в планетном семействе которых имеется хотя бы одна планета, на которой эволюция жизни протекает без губительных помех, – в пространстве *между* рукавами, в условиях долговременной изоляции от звездных катастроф. Между тем звезд больше всего внутри рукавов, так как здесь их плотность максимальна.

Таким образом, сигналы «внеземного разума» следовало бы искать на коротационной дуге перед Солнцем и за Солнцем в галактической плоскости, то есть между звездными туманностями Персея и Стрельца: именно здесь могли бы находиться звезды, которые, подобно нашему Солнцу, *уже прошли* через галактический рукав, а теперь вместе с нашей системой движутся в пространстве между рукавами.

Но дальнейший анализ показывает, что простые статистические умозаключения, к которым мы прибегли, немногого стоят.

Вернемся еще раз к реконструкции истории Солнца и его планет. Там, где коротационная окружность пересекает спиральные рукава, их толщина составляет около 300 парсеков. Протосолнечное газовое облако, двигаясь по орбите, наклоненной под углом 7—8 градусов к плоскости Галактики, впервые вошло в ее рукав около 4—9 миллиардов лет назад. На протяжении 300 миллионов лет это облако, проходя через всю толщину рукава, подвергалось бурным воздействиям, а с тех пор, как вышло из него, странствует в спокойной пустоте. Это странствие продолжается дольше, чем прохождение через рукав, поскольку коротационная окружность, вблизи которой движется Солнце, пересекает спиральные рукава под острым углом, в результате чего дуга солнечной орбиты *между* рукавами

длиннее, чем дуга внутри рукава.



Эволюция газовой-пылевой протосолнечной облака в спиральной структуре Галактики, обусловленной волнами плотности. Орбита облака пересекает спиральный рукав только один раз. При вхождении в волну сжатия (показана пунктиром) облако может подвергнуться воздействию вспыхнувшей рядом сверхновой. В процессе движения внутри рукава, в течение приблизительно 300 миллионов лет, облако эволюционирует. Выйдя из рукава, оно движется в галактическом пространстве между спиральными рукавами 4,6 миллиардов лет; при этом спиральная структура не оказывает влияния на эволюцию облака, приводящую к возникновению Солнечной системы.

На рисунке, согласно Л.С. Марочнику («Природа», 1982, № 6), изображена наша Галактика, радиус коротационной окружности, а также

орбита, по которой Солнечная система обращается вокруг центра Галактики. Скорость, с которой Солнце вместе с планетами движется относительно спиральных рукавов, остается предметом споров. Судя по рисунку, наша система уже прошла через оба рукава. Если так было в действительности, то первое прохождение она совершила, будучи еще газово-пылевым облаком, которое по-настоящему стало конденсироваться лишь при пересечении второго спирального рукава.

Вопрос о том, имеем ли мы за собой один переход или два, в данном случае несущественен: он касается возраста протозвездного облака, то есть того, когда оно начало формироваться, а не того, когда оно стало подвергаться фрагментации, вступив тем самым в стадию астрогенеза. Подобным образом звезды возникают и сегодня. Изолированное облако не может сконденсироваться в звезду под влиянием гравитации: сохраняя (согласно законам динамики) вращательный момент, оно обращалось бы вокруг своей оси тем быстрее, чем меньше ее радиус, и в конце концов возникла бы звезда, обращающаяся на экваторе со скоростью, превышающей скорость света, что невозможно. Центробежные силы разорвут ее гораздо раньше. Поэтому звезды возникают скоплениями, из отдельных фрагментов протозвездного облака, в ходе процессов сначала медленных, а потом все более бурных. Рассеиваясь в ходе конденсации, фрагменты облака отбирают у молодых звезд часть их вращательного момента. Если показателем «производительности астрогенеза» считать отношение между первоначальной массой облака и совокупной массой образовавшихся из нее звезд, то производительность эта окажется невелика. Галактика – «производитель», который крайне расточительно обращается с первоначальным капиталом материи. Но рассеянные части протозвездных облаков через какое-то время снова начинают конденсироваться под влиянием гравитации, и процесс повторяется.

Когда начинается звездогенный коллапс, различные фрагменты облака ведут себя неодинаково. Центр облака плотнее периферии, поэтому массы протозвездных фрагментов различны. Они составляют от 2 до 4 солнечных масс в центральной части облака и от 10 до 20 – на периферии. Из внутренних конденсатов возникают малые звезды; они долговечны, а их светимость почти не меняется в течение миллиардов лет. К ним принадлежит Солнце. А большие периферийные звезды могут становиться сверхновыми, которые, после короткой по астрономическим меркам жизни, взрываются мощными вспышками.

О том, как начало конденсироваться облако, из которого возникли и мы, ничего не известно; воссоздать можно лишь судьбу той его небольшой

части, где возникло Солнце с планетами. Когда этот процесс начался, вспыхивающие поблизости сверхновые «загрязнили» протосолнечное облако своим радиоактивным излучением. Такое «загрязнение» имело место по меньшей мере дважды. В первый раз протосолнечное облако подверглось «загрязнению» изотопами иода и плутония – вероятно, вблизи внутренней кромки спирального рукава; а во второй раз, через 300 000 000 лет, уже в глубине спирали, другая сверхновая бомбардировала облако радиоактивными изотопами алюминия.

По времени, через которое эти изотопы, распадаясь, превращаются в другие элементы, можно примерно установить, когда произошли оба эти «загрязнения». Краткоживущие изотопы иода и плутония в конце концов образовали стабильный изотоп ксенона, а радиоактивный изотоп алюминия превратился в магний. Этот ксенон и магний обнаружен только в метеоритах нашей системы. Сопоставляя эти данные с возрастом земной коры (установленному по времени распада содержащихся в ней долгоживущих изотопов урана и тория), можно в приближении реконструировать различные «сценарии» солнечной космогонии.

Рисунок соответствует сценарию, согласно которому газовое облако в первый раз прошло через спиральный рукав 10,5 миллиардов лет назад. Его плотность была тогда ниже критической, поэтому фрагментация не началась. Это случилось лишь после вхождения в следующий спиральный рукав, 4,6 миллиардов лет назад. Условия на периферии фрагментов благоприятствовали возникновению сверхновых, а в центре – рождению менее ярких звезд типа Солнца. Под влиянием сжатия и взрывов сверхновых протосолнечное облако превратилось в молодое Солнце вместе с планетами, кометами и метеоритами. Этот космогонический сценарий не свободен от упрощений. Фрагментация газовых облаков происходит случайным образом; через огромные пространства рукавов движутся ударные фронты, вызванные различными катаклизмами; возникновению подобных фронтов могут способствовать взрывы сверхновых.

Галактики по-прежнему рождают звезды, ведь Космос, в котором мы обитаем, хотя и немолод, еще не успел состариться. Моделирование событий наиболее отдаленного прошлого показывает, что в конце концов весь протозвездный материал будет исчерпан, звезды погаснут и целые галактики «испарятся» в результате электромагнитного и корпускулярного излучения.

От этой «термодинамической смерти» нас отделяет примерно 10100 лет. Гораздо раньше – примерно через 1015 лет – все звезды утратят свои планеты из-за близкого прохождения других звезд. Все планеты, будь то

мертвые или обладающие жизнью, будут выбиты со своих орбит сильными возмущениями и утонут в безбрежном мраке и холоде, близком к абсолютному нулю. Это выглядит парадоксом, но легче предсказывать, что будет со Вселенной через 1015 или 10100 лет или что происходило в первые *минуты* ее существования, чем точно реконструировать все этапы истории Солнца и Земли. Еще труднее предсказать, что случится с нашей системой, когда она покинет спокойный промежуток между звездными облаками обоих галактических рукавов – Персея и Стрельца. Если считать, что разница между скоростью Солнца и спирали составляет 1 км/сек, то в следующий раз мы попадем в глубь спирали примерно через 500 000 000 лет.

Занимаясь космогоническими проблемами, астрофизика напоминает следствие по делу, в котором все улики лишь косвенные. Все, что можно собрать, – это некоторое число «следов и вещественных доказательств»; а из них, как из рассыпанной головоломки (многие части которой к тому же утеряны), надо сложить непротиворечивое целое. Хуже того: оказывается, что из сохранившихся фрагментов можно составить ряд неодинаковых узоров. Так, в интересующем нас случае не все данные можно выразить в точных цифрах (например, разницу между скоростью обращения Солнца и галактической спирали). Кроме того, сами рукава спирали не столь резко очерчены и не переходят в пространство между ними так отчетливо и ясно, как на нашем рисунке. И наконец, все спиральные туманности схожи друг с другом не больше, чем люди различного роста, сложения, возраста, расы, пола и так далее.

И все же то, что удастся узнать о космогоническом сотворении Млечного Пути, все больше приближается к действительности. Звезды рождаются главным образом внутри спиральных рукавов; сверхновые вспыхивают тоже чаще всего внутри этих рукавов; Солнце наверняка находится вблизи коротационной окружности, то есть не «где попало» в Галактике, поскольку (как мы уже говорили) в коротационной зоне существуют условия, отличные от тех, что имеют место как вблизи ядра, так и на периферии спирального диска. Благодаря компьютерному моделированию астрофизики могут за короткое время воспроизводить множество пробных вариантов астро– и планетогенеза, что еще не так давно требовало необычайно сложных и длительных вычислений. Вместе с тем наблюдательная астрофизика доставляет все новые и все более точные данные для такого моделирования. Но процесс, основанный на косвенных уликах, продолжается; вещественные доказательства и математические предположения, указывающие на Виновников случившегося, могут уже

считаться хорошо обоснованной гипотезой, а не безосновательными догадками. Акт обвинения Спиральных Галактик в том, что они Родительницы и Детоубийцы одновременно, уже поступил в трибунал астрономии; процесс продолжается, но окончательный приговор еще не вынесен.

III

Терминология, заимствованная из юриспруденции, не так уж плоха, если мы говорим об истории Солнечной системы в Галактике, ведь космогония занимается реконструкцией событий прошлого и тем самым поступает как суд в процессе с косвенными уликами, в котором нет ни одного неопровержимого доказательства против обвиняемого, а только ряд отягчающих обстоятельств.

Специалист по космогонии, как и судья, должен установить, что произошло в данном конкретном случае, однако он не обязан отвечать на вопрос о том, как часто подобного рода случаи происходят или какова была вероятность того, что исследуемый случай произойдет, прежде чем он действительно произошел. Но космогония, в отличие от юстиции, стремится узнать о своем предмете как можно больше.

Если выбросить в окно бутылку из-под шампанского (из толстого стекла и с характерным углублением в основании) и бутылка разобьется, то, повторяя подобные опыты, мы убедимся, что горлышко и основание остаются обычно целыми, тогда как остальная часть бутылки разлетается на множество различных по форме осколков. Может случиться, что один из осколков окажется стеклянной занозой длиной в шесть и шириной в полсантиметра.

На вопрос, как часто, разбивая бутылки, мы получим в точности такие же осколки, определенно ответить нельзя. Можно лишь установить, на сколько частей бутылки разлетаются чаще всего. Такую статистику составить несложно, повторяя эксперимент раз за разом в тех же самых условиях (высота, с которой падает бутылка; на бетон она падает или на дерево и т. д.). Но может случиться и так, что при падении бутылка столкнется с мячом, по которому только что ударил кто-то из играющих во дворе мальчишек, и в результате бутылка отскочит, влетит через открытое окно первого этажа в комнату некой старушки, что разводит золотых рыбок, плюхнется в аквариум, наполнится водой и утонет, не разбившись.

Каждый признает, что такой случай, хотя и маловероятен, все же

возможен; поэтому никто не сочтет его явлением сверхъестественным, чудом, а лишь исключительным стечением обстоятельств. Так вот: статистику подобных случаев составить уже нельзя. Кроме законов механики Ньютона, кроме удароустойчивости стекла, следовало бы учесть еще, как часто мальчишки играют в этом дворе в футбол, как часто мяч во время игры оказывается там, где падают бутылки из-под шампанского, как часто старушка оставляет окно открытым, как часто аквариум стоит у окна. А если бы нам понадобилась «общая теория бутылок из-под шампанского, падающих в результате столкновения с мячом в аквариум и наполняющихся водой без каких-либо повреждений», и мы решили бы учесть все бутылки, дома, дворы, окна, аквариумы, всех мальчишек и золотых рыбок, то такую статистическую теорию мы не создали бы никогда.

Ключевой вопрос, на который надо ответить, чтобы воссоздать историю Солнечной системы и жизни на Земле, таков: произошло ли тогда в Галактике нечто подобное простому падению бутылки на мостовую (вероятность чего можно выразить статистически) или же нечто подобное случаю с мячом и аквариумом?

Явления, поддающиеся статистическому расчету, переходят в явления, не поддающиеся такому расчету, не внезапно, а постепенно; между ними нет резкой границы. Ученый занимает позицию познавательного оптимизма, то есть предполагает, что исследуемые объекты поддаются расчету. Лучше всего, если расчет основан на однозначных причинно-следственных связях: угол падения равен углу отражения; тело, погруженное в воду, теряет в весе столько же, сколько весит вытесненная им вода, и так далее. Несколько хуже, если место полной достоверности занимает вероятность. И уж совсем плохо, если ничего вообще нельзя рассчитать.

Обычно считают, что там, где нельзя ничего рассчитать, а следовательно, предвидеть, царит хаос. Однако «хаос» в точных науках вовсе не означает, будто ничего ни о чем не известно, будто бы мы имеем дело с какой-то «абсолютной неупорядоченностью». Абсолютной неупорядоченности не существует вообще; и уж подавно мы не видим какого-либо хаоса в случае с мячом и бутылкой; каждое событие, взятое в отдельности, подчиняется законам физики, причем детерминистской, а не квантовой физики: ведь можно измерить силу, с которой мальчишка ударил по мячу, и угол столкновения мяча с бутылкой, и скорость обоих этих тел в момент столкновения, и траекторию, которую описала бутылка, отскочив от мяча, и скорость, с которой она, плюхнув в аквариум, наполнялась водой.

Каждое из этих событий, взятое в отдельности, в принципе можно рассчитать, исходя из законов физики; но серия, состоящая из множества подобных событий, расчету не поддается.

Дело в том, что все теории «широкого охвата», которыми оперирует физика, неполны, поскольку ничего не говорят о начальных условиях. Начальные условия вводятся в теорию особым путем, как бы извне. Но, как мы только что видели, когда одни начальные условия должны случайным образом привести к созданию других начальных условий, совершенно необходимых как отправная точка следующего этапа, и так далее, достоверность, пройдя через зону вероятностей, становится неизвестной величиной, о которой уже нельзя сказать ничего, кроме того, что «произошло нечто совершенно исключительное».

Потому-то я и заметил вначале, что мир – это совокупность случайных катастроф, каждая из которых подчиняется точным законам. На вопрос: как часто случается во Вселенной то, что случилось с Солнцем и Землей, пока ответить нельзя, ибо неизвестно, к какой категории событий следует отнести этот казус. По мере успехов астрофизики и космогонии дело постепенно будет проясняться. Многое из того, что специалисты говорили на симпозиуме SETI в Бюракане в 1971 г., со временем утрачивало актуальность или оказалось ложным предположением. Несомненно, лет через десять и тем более через двадцать, в начале XXI века, многие вопросы, сегодня еще загадочные, найдут свое объяснение.

Огромную, если не решающую роль в возникновении жизни на Земле сыграла Луна. Жизнь могла возникнуть только в водных растворах определенных химических соединений, и притом не в глубоководном океане, но в мелких прибрежных водах; а зарождению жизни в этих растворах способствовало их частое (но в меру) перемешивание, вызываемое приливами и отливами, причиной которых как раз и является Луна.

Впрочем, о том, как возникали спутники планет, известно гораздо меньше, чем о возникновении самих планет. Пока что нельзя исключить «уникальности» возникновения спутников – как в истории с бутылкой и аквариумом. Обычный удар взрывной волны в результате вспышки сверхновой, по-видимому, достаточен для кольцевой фрагментации протосолнечного газового диска, но для того, чтобы вокруг планет начали конденсироваться их спутники, возможно, необходимо нечто вроде интерференции двух круговых волн, расходящихся по воде от двух брошенных неподалеку друг от друга камней. Другими словами, для того чтобы возникли спутники, после первой вспышки сверхновой, быть может,

понадобилась вторая, и тоже на не слишком большом расстоянии от протосолнечной системы. Если не на все эти вопросы будет получен ответ, то, во всяком случае, ответы будут даваться, и тем самым вероятность возникновения жизни во Вселенной, называемую также ее биогенетической производительностью или частотностью, можно будет приблизительно выразить численно. Быть может, эта вероятность окажется значительной, и мы будем вправе признать вероятным существование жизни в бесчисленных, разнообразнейших формах на множестве планет того триллиона галактик, которые нас окружают. Но даже и в этом случае начнут выходить книги с предсказанными мною названиями.

Теперь мне предстоит объяснить, почему я в этом уверен. Забегая вперед, выражу это в семи зловещих словах: без глобальной биологической катастрофы невозможно появление Человека.

IV

Чем новая картина жизни в Космосе отличается от прежней? Давно было известно, что планетарным родам жизни должен предшествовать длинный ряд определенных событий, начало которому кладет возникновение звезды типа Солнца – долгоживущей и с постоянной светимостью, и что эта звезда должна создать планетную семью. Но не было известно, что рукава спиральной Галактики являются (или могут являться) попеременно колыбелями и гильотинами жизни, в зависимости от того, на какой стадии развития протозвездная материя проходит через спираль и в каком месте рукавов совершается это прохождение.

На симпозиуме в Бюракане никто, кроме меня, не утверждал, что распределение биогенных небесных тел особым образом зависит от событий сверхпланетного и сверхзвездного (а именно галактического) масштаба. Разумеется, и я не знал, что цепочка таких событий включает в себя движение протозвездного облака вблизи коротационной окружности, что необходима «правильная» синхронизация астрогенеза внутри такого облака со вспышками сверхновых на ее периферии, а кроме того – *conditio sine qua non est longa vita*^[157], – что система, в которой начался биогенез, «должна» выбраться из бурной зоны спирали в спокойный промежуток между спиралями.

В конце 70-х годов стало модно включать в космогонические гипотезы так называемый «антропный принцип». Принцип этот сводит загадку начальных условий Вселенной к аргументу *ad hominem*^[158]: если бы

начальные условия были совершенно иными, то никакого вопроса бы не возникло, ибо некому было бы спрашивать.

Нетрудно увидеть, что «антропный принцип», понимаемый буквально (Номо сариенс возник потому, что эта возможность содержалась уже в Большом взрыве, т. е. в начальных условиях Универсума), в качестве космогонического критерия стоит не больше, чем «принцип ликера шартреза». Правда, производство шартреза стало возможно благодаря свойствам материи этого Универсума, но можно прекрасно представить себе историю этого Универсума, этого Солнца, этой Земли и этого человечества без появления на свет шартреза. Шартрез появился потому, что люди долго занимались изготовлением различных напитков, в том числе содержащих алкоголь, сахар и вытяжки трав. Это, возможно, слишком общий ответ, однако осмысленный. Но если на вопрос, откуда взялся шартрез, мы ответим, что таковы были начальные условия Универсума, – то наш ответ будет недостаточен до смешного. С тем же успехом можно утверждать, что «фольксвагены» или почтовые марки своим возникновением обязаны начальным условиям Вселенной. Такой ответ объясняет *ignotum per ignotum*^[159]. В то же время это *circulus in explicando*^[160]: возникло то, что могло возникнуть.

Такой ответ обходит самую любопытную особенность Прауниверсума. Согласно общепринятой теории Большого взрыва, возникновение Универсума было мгновенными родами, когда на свет одновременно появились материя, пространство и время. Следы мощного излучения взрыва, породившего нашу Вселенную, можно наблюдать и поныне в виде пронизывающего весь космос реликтового фонового излучения. На протяжении примерно 20 миллиардов лет существования Универсума его начальное излучение успело остыть до нескольких градусов выше абсолютного нуля. Однако интенсивность этого реликтового излучения должна быть неоднородной по разным направлениям звездного неба. Универсум возник из бесконечно плотной точки и в течение 10-35 секунды распух до размеров мяча. Уже в этот момент он был слишком велик и расширялся слишком быстро, чтобы оставаться совершенно однородным. Область действия причинно-следственных связей ограничена максимальной скоростью взаимодействия, т. е. скоростью света. Такие связи могли существовать лишь в зоне размером 10-25 см. В Универсуме размером с мяч уместилось бы 10⁷⁸ таких зон, и то, что происходило в одной из них, никак не влияло на события в остальных. Поэтому Вселенная должна была расширяться неравномерно и не могла сохранить те

одинаковые повсюду характеристики, которые мы в ней наблюдаем.

Теорию Большого взрыва спасает гипотеза, согласно которой в момент взрыва возникло сразу огромное множество Вселенных. Наша была лишь одной из них. Теория, согласующая однородность существующего Универсума с невозможностью его однородного расширения, была предложена в 1982 г. По этой теории, Прауниверсум был не Универсумом, но Поливерсумом. Гипотезу Поливерсума можно найти в книге «Мнимая величина», написанной мною в 1972 г. Совпадение моих догадок с позднейшими теориями придает мне смелости для дальнейших догадок.

Вспомним о бутылке, которая, отскочив от мяча, через открытое окно попадает в аквариум. Хотя статистическая вероятность этого события расчету не поддается, мы понимаем, что такой случай был бы возможен (т. е. не противоречил законам Природы и не был чудом); мы понимаем также, что если бы бутылка упала в аквариум с протухшей водой и мертвыми рыбками, выплеснула воду из аквариума так, чтобы несколько икринок попали в стоящее рядом ведро с чистой водой, а потом бы из них вывелись живые рыбки, – это было бы событием еще более редким, еще более исключительным, чем то, о котором речь шла раньше.

Допустим, мальчишки играют в мяч; кто-то по-прежнему время от времени выбрасывает бутылку из высоко расположенного окна; еще одна из этих бутылок, отскочив от мяча (который опять столкнется с ней на лету), падает теперь в ведро так, что рыбки, выведшиеся из икры, выплескиваются вместе с водой и попадают на сковородку с кипящим маслом, а хозяйка квартиры, которая возвращается на кухню с намерением поджарить картошку, находит на сковородке жареную рыбу.

Будет ли это уже «абсолютно невозможным»? Наверное утверждать нельзя. Можно признать лишь, что это был бы случай особого рода, случай, который, в той же последовательности событий (начиная с первой выброшенной в окно бутылки), уже не повторится *в точности* так же. Это совершенно невероятно. Самые малые отклонения приведут к тому, что бутылка не залетит на кухню, потому что не отскочит «как нужно» от мяча и разобьется о пол, а если и утонет в аквариуме, то дальше ничего уже не произойдет, а если и выплеснется немножко икры, то ничего из нее не выведется, потому что икра не попадет в ведро, которое, впрочем, может оказаться пустым или использоваться для вымачивания белья в стиральном порошке, губительном для рыбок, и т.д.

Вводя «антропный принцип» в космогонию, мы предполагаем, что эволюция жизни на Земле увенчалась возникновением человека и Разума потому, что появление разумных существ тем вероятнее, чем дольше

продолжается эволюция. Покидая область суждений, признаваемых ныне достоверными или почти достоверными, я скажу, как решит этот вопрос наука будущего столетия.

V

Сперва будет собран следственный материал, показывающий, что ветвь эволюционного древа, на которой появились млекопитающие, не разрослась бы и не обеспечила им главенства среди животных, если бы на рубеже мелового и третичного периодов, примерно 65 миллионов лет назад, Земля не пережила катастрофу, вызванную падением огромного, весом в 3,5—4 триллиона тонн метеорита.

До этого времени в мире животных первенствовали пресмыкающиеся. Они господствовали на суше, в воде и в воздухе на протяжении 200 миллионов лет. Пытаясь объяснить их внезапное вымирание в конце мезозойской эры, эволюционисты приписывали ископаемым рептилиям свойства современных пресмыкающихся: холоднокровность, примитивное строение органов, голое тело, покрытое лишь чешуей или роговым панцирем. А реконструируя внешний облик и образ жизни древних рептилий на основании фрагментов скелета, эти ученые шли на поводу у собственных предубеждений (которые можно было бы назвать «шовинизмом млекопитающих», ведь именно к этому классу относится человек).

Палеонтологи утверждали, будто крупные четвероногие пресмыкающиеся – например, бронтозавры – вообще не в состоянии были передвигаться на суше и обитали в мелководных бассейнах, питаясь водной растительностью. А пресмыкающиеся, стоящие на двух ногах, хотя и обитали на суше, передвигались с трудом, волоча по земле длинные, тяжелые хвосты, и т. д.

Лишь во второй половине XX века пришлось признать, что рептилии мезозоя были такими же теплокровными, как и млекопитающие; что многочисленные их разновидности – особенно летающие – были покрыты шерстью; что двуногие пресмыкающиеся отнюдь не плелись еле-еле, волоча за собой хвост, но в скорости бега не уступали страусам, хотя были тяжелее страусов в сто или двести раз; а хвост, поддерживаемый вертикально благодаря особым сухожилиям, при беге служил противовесом наклоненному вперед туловищу. Что даже самые большие гигантозавры могли свободно перемещаться по суше и что рассуждения о

«примитивности» рептилий просто глупость.

Не имея здесь возможности углубляться в сравнительное изучение вымерших и современных видов, я покажу только на одном примере, какой эффективностью – никогда впоследствии не достигавшейся – обладали некоторые летающие рептилии. «Рекорд биологической авиации» принадлежит вовсе не птицам, и тем более не летающим млекопитающим – летучим мышам. Самым большим животным земной атмосферы был *Quetzalcoatlus Northropi*, масса тела которого превышала массу тела человека. Впрочем, это был лишь один из видов класса, получившего название *Titanopterygia*. Эти рептилии парили над океаном и питались рыбой. Неизвестно, каким образом им удавалось приземляться и взлетать: вес их тела требовал мощности, какую не в состоянии развить мышцы ныне живущих животных, включая птиц. Когда их ископаемые фрагменты обнаружили в Техасе и в Аргентине, то сначала решили, что эти гиганты воздуха, размах крыльев которых (от 13 до 16 метров) не уступал аэропланам и даже более поздним самолетам, гнездились над обрывами, с которых бросались в воздух, развернув крылья. Но если бы они не были способны взлетать с плоской поверхности, то, оказавшись хоть раз на равнине, они были обречены на смерть. Некоторые из этих крупных «планеристов» питались падалью, а ее нет на горных обрывах. Больше того, их огромные кости были найдены в местностях, где нет никаких гор. Как летали эти рептилии – остается загадкой для специалистов по аэродинамике. Ни одна из предложенных гипотез не выдержала критики. Колоссы наподобие *Quetzalcoatlus* не могли садиться на деревья: это вело бы к частым повреждениям и переломам крыльев. Самой крупной из известных нам летающих птиц был вымерший сип, размах крыльев которого достигал почти семи метров; а при вдвое большем размахе крыльев мощность, необходимая для того, чтобы взлететь, учетверяется. Ноги у летающих рептилий были слишком коротки и слабы, поэтому взлетать, разогнавшись на бегу, они не могли тоже.

Когда обвинение в «примитивизме» как причине вымирания пресмыкающихся оказалось несостоятельным, на смену ему пришло обвинение противоположного рода: в чрезмерной специализации. Пресмыкающиеся вымерли будто бы потому, что слишком хорошо приспособились к тогдашним условиям, и погибли они из-за изменения климата.

Изменения климата Земли действительно происходили. Всем известно о ледовых эпохах. Вымиранию видов на рубеже мелового и третичного периодов также предшествовало похолодание. Но оно не стало началом

очередного ледникового периода. Еще важнее иное: другие изменения климата никогда не вызывали гибели такого множества видов флоры и фауны, как на этот раз. Их ископаемые останки внезапно исчезают в геологических слоях следующей эпохи. По некоторым подсчетам, не уцелело ни одно животное весом более 20 кг.

Никогда еще вся Земля не становилась ареной столь массовых жертвоприношений. Тогда вымерло множество видов беспозвоночных, причем почти одновременно на суше и в океанах. То было нечто вроде библейских «египетских казней»: день превратился в ночь, и тьма продолжалась около двух лет. Солнце не только перестало быть видимым на всей территории Земли, но доходящие до нее солнечные лучи давали освещение более слабое, чем полная Луна. Все крупные животные, ведущие дневной образ жизни, погибли, зато уцелели небольшие крысоподобные млекопитающие, адаптировавшиеся к ночному добыванию корма. Как раз из этих спасшихся от грандиозного зооцида остатков фауны и возникли в третичном периоде новые отряды животных, включая и тот, что увенчался антропогенезом. Наступившая тьма, отрезав Землю от потоков солнечной энергии, сделала невозможным фотосинтез и тем самым уничтожила большую часть зеленых растений. Погибло также множество водорослей.

Дальнейшие подробности мы опустим; правда, механизм и последствия катастрофы выглядели более сложно, чем описано выше, но ее *размеры* были именно таковы. Баланс выглядит следующим образом. Из богатейшей наследственной массы мезозоя человек возникнуть не мог, поскольку эта масса представляла собой капитал, вложенный в виды, неспособные к антропогенезу, и вложенные средства (как, впрочем, всегда в эволюции) оказались невозвратными. Старый капитал пропал, а новый начал возникать из уцелевших остатков жизни, разбросанных по Земле. Накопление этого нового капитала в конце концов привело к возникновению гоминидов и антропоидов.

Если бы огромные инвестиции, которые эволюция вложила в пресмыкающихся мезозоя, не пропали даром 65 миллионов лет назад, млекопитающие не овладели бы нашей планетой. Мы возникли и размножились до миллиардов потому, что истреблению подверглись миллиарды других существ. Именно это и означают слова: «The World as Holocaust». Однако следствие, ведущееся наукой по делу, в котором прямых улик нет, позволило установить лишь случайного виновника нашего появления на свет — и к тому же виновника косвенного, хотя и необходимого. Ведь не метеорит же нас создал: он лишь открыл нам путь,

опустошив Землю и тем самым освободив место для новых эволюционных экспериментов. Остается открытым вопрос, смог бы разум появиться на Земле без этой катастрофы, появиться в иной, чем наша, – негоминидной форме.

VI

Там, где нет Никого, а значит, каких бы то ни было чувств, дружественных или враждебных, нет никаких намерений; не будучи Личностью или творением какой-либо Личности, Универсум не может быть обвинен в преднамеренном умысле. Он попросту таков, каков есть, и действует так, как действует: акты творения он совершает посредством деструкции. Одни звезды «должны» взрываться и распадаться после взрыва, чтобы образовавшиеся в их ядерных «тиглях» тяжелые элементы могли рассеяться и спустя миллиарды лет положить начало планетам, а при случае – и органической жизни. Другие сверхновые «должны» подвергаться катастрофическому разрушению, чтобы сжатые этими взрывами скопления галактического водорода конденсировались в солнцеподобные, долгоживущие звезды, спокойно и ровно обогревающие свою планетарную семью, которая своим возникновением тоже обязана катастрофам. Но должен ли также и разум порождаться разрушительным катаклизмом?

XXI век не ответит на этот вопрос окончательно. Он будет собирать все новые вещественные доказательства, создавая новую картину мира как совокупности случайных катастроф, подчиненных точным законам, – но по интересующему нас здесь ключевому вопросу окончательного решения не вынесет.

Правда, он развеет множество иллюзий, по сей день существующих в науке. Так, например, он окончательно подтвердит, что большой мозг отнюдь не равнозначен большому интеллекту. Такой мозг – необходимое, но недостаточное условие возникновения разума. Исключительная будто бы разумность дельфинов, мозг которых действительно больше и сложнее человеческого, этот пресловутый дельфиний разум, о котором столько писали в наше время, будет причислен к досужим вымыслам. Конечно, большой мозг был необходим дельфинам как орудие адаптации, чтобы успешно конкурировать с крайне «глупыми» акулами в общей океанической среде; это позволило дельфинам занять биологическую нишу, уже миллионы лет занятую хищными рыбами, и уцелеть в ней – но ничего

больше. Поэтому невозможно судить, насколько велика была бы вероятность зарождения разума в рептилиях в том случае, если бы мезозойская катастрофа не произошла.

Эволюция *всех* животных (за исключением некоторых паразитов) характеризуется медленным, но почти постоянным ростом массы нейронов. Однако, если бы этот рост продолжался в течение времени, измеряемого сотнями миллионов лет – после триасового, мелового, третичного периодов, – это тоже не гарантировало бы возникновения разумных ящеров.

Продырявленная кратерами поверхность всех спутников планет Солнечной системы – это как бы фотографии прошлого, застывшая картина начала этой системы, которая тоже была творением через разрушение. Все тела обращались вокруг молодого Солнца по часто пересекающимся орбитам, поэтому столкновения были нередки. Благодаря этим катастрофам возрастала масса крупных тел, то есть планет, а вместе с тем «исчезали» из системы тела с небольшой массой, сталкивавшиеся с планетами. Я уже говорил, что примерно 4,9 миллиардов лет тому назад Солнце со своей планетной семьей выбралось из бурной зоны галактической спирали и поплыло по спокойному промежутку. Но это вовсе не означает, что внутри Солнечной системы все было так же спокойно. Столкновения планет с метеоритами и кометами еще продолжались, когда жизнь начала зарождаться на Земле, а кроме того, из спирального рукава нельзя выйти так, как из дома на улицу; поток радиации и скопление звезд не обрываются на какой-то определенной границе. В течение первого миллиарда лет существования жизни Земля все еще подвергалась ударам от вспышек сверхновых, правда, достаточно удаленных, чтобы их излучение не выхолостило ее, превратив в мертвый шар. Это жесткое излучение (рентгеновские и гамма-лучи), воздействовавшее с межзвездных расстояний, было фактором одновременно разрушительным и созидательным, поскольку ускоряло генетические мутации праорганизмов. Некоторые насекомые в сто раз менее чувствительны к радиоактивному излучению, чем позвоночные. Это, в сущности, очень странно: ведь субстанция всех живых организмов в принципе устроена одинаково, а отличаются они друг от друга примерно так же, как постройки различных культур, эпох и архитектурных стилей, возведенные из камня и кирпича. Строительный материал повсюду одинаков, одинаковы способы его скрепления и силы, удерживающие целое вместе.

Причину различий в чувствительности к нуклеарному излучению

следует искать в каких-то событиях чрезвычайно далекого прошлого. По-видимому, это были катастрофы эпохи, в которой – около 430 миллионов лет назад – возникли пранасекомые, вернее, их предки. Однако не исключено, что нечувствительность некоторых органических форм к радиации, смертельной для большинства других, была приобретена миллиард лет назад.

Так что же, в грядущем столетии будет воскрешена теория, созданная около 1830 г. французским палеонтологом и анатомом Кювье и получившая название катастрофизма? В середине XIX века эту теорию развил ученик Кювье, д'Орбиньи; согласно д'Орбиньи, органический мир Земли многократно погибал и возрождался опять во все новых актах творения. Теория Дарвина похоронила это сочетание катастрофизма с креационизмом. Но похороны оказались преждевременными. Катастрофы самого большого, космического масштаба – необходимое условие эволюции звезд и эволюции жизни. Альтернативу «либо разрушение, либо творение» породил человеческий ум – и навязал ее мирозданию уже на заре нашей истории.

Столь безусловное противопоставление уничтожения и творения человек, пожалуй, признал аксиомой тогда, когда он понял, что смертен, и своей брэнности противопоставил волю к жизни. Это противопоставление – общий фундамент всех культур, уходящих корнями в прошлое; мы находим его в древнейших мифах, легендах о сотворении мира и религиозных верованиях, но также в возникшей десятки тысяч лет спустя науке. И религия, и наука наделяли видимый мир такими свойствами, которые устранили бы из него слепую, не поддающуюся расчету случайность как виновника каких бы то ни было событий. Общая для всех религий борьба добра со злом не всегда кончается триумфом добра; но во всех религиях она устанавливает отчетливо видимый – хотя бы в облике фатума – порядок экзистенции. Как священное, так и мирское покоятся на порядке мироздания. Вот почему ни в каких верованиях прошлого не было случайности как верховной инстанции^[161]; и вот почему наука так долго не желала признать роль случайности в формировании действительности – роль столь же творческую, сколь и не поддающуюся расчету.

Людские верования можно грубо разделить на «утешительные» по преимуществу и на те, которые, скорее, лишь упорядочивают существующий мир. Первые обещают Вознаграждение, Спасение, строгий учет грехов и заслуг, увенчанный потусторонним, окончательным правым судом, и тем самым «дополняют» наш крайне несовершенный мир совершенным продолжением в мире ином. Эти верования удовлетворяют

наши претензии к миру; должно быть, именно здесь таится разгадка их многовекового существования в виде догматов, передаваемых из поколения в поколение.

Отошедшие в далекое прошлое мифы не обещали утешения и Всеблаготой Справедливости в превосходно организованной Вечности (что бы ни говорить о Рае и о Спасении, там нет ни крупицы случайности: никто не отправится в ад из-за ошибки Всевышнего; и никто не окажется после смерти в затруднительном положении из-за того, что случайно споткнется на пути в Нирвану); эти мифы возвещали Порядок – нередко жестокий, однако Необходимый, а значит, тоже не похожий на лотерею.

Любая культура существовала и существует для того, чтобы какую бы то ни было случайность изобразить в ореоле Благожелательности к человеку или хотя бы Необходимости. Таков общий знаменатель всех культур, предпосылка «нормализации» поведения посредством ритуалов, заповедей и табу: все и везде положено мерить одной-единственной мерой. Культуры принимали случайность внутрь крохотными, гомеопатическими дозами – как нечто игровое и развлекательное. Случайность освоенная, прирученная (например, в игре или в лотерее) переставала быть чем-то ошеломляющим и грозным. Мы играем в лотерею, потому что хотим играть. Никто нас к этому не принуждает. Верующий человек считает случайностью, если он разобьет стакан или его ужалит оса; но уже не считает случайностью смерть. Он неявно предполагает, что Божественное Всесилие и Всеведение отводят случайности подчиненную роль. А наука, пока это было еще возможно, трактовала случайность как следствие нашего пока еще недостаточного знания, как наше неведение, которое мы изживем с появлением новых открытий. Это не шутка: Эйнштейн отнюдь не шутил, утверждая, что «Господь не играет в кости», что «Всевышний изощрен, но не злонамерен». Это значило: порядок мироздания познать трудно, однако возможно, ибо разуму он доступен.

Конец XX века ознаменовался фронтальным отходом от позиций, которые человечество отчаянно и упорно защищало целые тысячелетия. Альтернатива «разрушение или созидание» должна быть наконец отброшена. Огромные облака темных, холодных газов, кружащих в спиральных Галактики, распадаются постепенно на части таким же случайным образом, как разлетающееся вдребезги стекло. Законы Природы осуществляются не вопреки случайностям, но через случайности. Статистическое безумие звезд, делающих миллиарды выкидышей, чтобы один-единственный раз породить жизнь – не исключение, а правило во Вселенной. Солнца возникают в результате гибели других звезд; и точно

так же остатки протозвездного облака конденсируются в планеты. В этой лотерее жизнь – один из редчайших выигрышей, а разум (в следующих ее тиражах) – выигрыш еще более редкий. И своим возникновением он обязан естественному отбору, т. е. смерти, которая совершенствует уцелевших, а также катастрофам, которые могут скачкообразно увеличить вероятность появления разума.

Связь между строением мироздания и строением жизни уже не ставится под сомнение. Но Вселенная – невероятно расточительный вкладчик, растрачивающий начальный капитал на рулетках галактик; а роль исполнителя, вносящего регулярность в эту игру, берет на себя закон больших чисел. Человек, сформированный теми свойствами материи, которые возникли вместе с мирозданием, оказывается редким исключением из правила разрушения, последышем всесождений и катастроф. Творение и разрушение – это попеременные или накладывающиеся друг на друга и друг друга обуславливающие состояния, от которых нет бегства.

Вот какой образ создает постепенно наука, пока что не комментируя его, а только составляя его, словно мозаику из находимых один за другим камешков, из открытий биологии и космогонических реконструкций. Тут, собственно, можно было бы поставить точку, но мы еще остановимся ненадолго на последнем вопросе, который стоит задать.

VII

Я набросал картину действительности, которую сделают всеобщим достоянием ученые XXI века – ибо ее контуры проступают в науке уже сегодня. Картина эта возникает и будет засвидетельствована в качестве подлинной лучшими экспертами. Но я хочу пойти дальше, туда, куда даже мысленно добраться нельзя, и задать вопрос об устойчивости этой картины, а именно: будет ли она окончательной?

История науки учит нас, что каждая нарисованная ею картина мироздания считалась окончательной, затем подвергалась пересмотру и в конце концов рассыпалась, как узор разбитой мозаики; а ее собиранием на новой основе занимались следующие поколения ученых. Религиозные верования покоятся на догматах, отказ от которых неизменно означал сначала ужасную ересь, а потом зарождение новой религии. Живая вера для ее приверженцев есть Истина Окончательная и обжалованию не подлежащая. В науке ничего столь же безусловного и окончательного нет. Ее «аксиомы» «неодинаково аксиоматичны», и ничто не указывает на то,

что близок Финиш Познания, т. е. окончательное смыкание Бесспорных Истин с Неустрашимым Неведением.

Возрастание наших знаний – достоверных, как показывает применимость их приложений на практике, – не подлежит ни малейшему сомнению. Мы знаем больше, чем знали наши предшественники в девятнадцатом веке, а те, в свою очередь, знали больше, чем их научные праотцы; но одновременно мы познаём неисчерпаемость мироздания, нескончаемость проникновения в тайники материи, раз каждый атом, каждая «элементарная частица» оказываются колодцем без дна, и эта, столь поражающая нас (хотя все уже как-то привыкли к этому марафону без финиша) неисчерпаемость познания делает сомнительной любую «окончательную картину действительности». Быть может, Принцип Творения Через Разрушение тоже окажется промежуточным этапом нашего познания мира, познания, прикладывающего мерку человеческого мышления к такому надчеловеческому объекту, как Универсум. Быть может, эту надчеловеческую (т.е. непосильную для наших бедных биологических мозгов) задачу когда-нибудь возьмет на себя Deus ex Machina^[162] – рожденный нами и отчужденный от нас Разум машины или, что более вероятно, «немашинных» плодов эволюции искусственного интеллекта. Но, говоря это, я выхожу за пределы XXI века, в темноту, которую уже никакая гипотеза осветить не в силах.

Берлин, май 1983 г.

Weapon Systems of the Twenty-First Century or the Upside-Down Evolution

Системы оружия двадцать первого века, или Эволюция вверх ногами

I

Получив – как именно, я говорить не вправе, – доступ к сочинениям по военной истории XXI века, я прежде всего задумался, как бы лучше скрыть полученные таким образом сведения. Это было для меня важнее всего, ведь я понимал, что тот, кто знает эту историю, подобен незащищенному открывателю кладов: вместе с кладом он запросто может лишиться и жизни. Я знал, что эти факты известны мне одному – благодаря книгам, которые одолжил мне на короткое время доктор Р. Г. и которые я вернул ему незадолго до его безвременной смерти. Я знаю, он сжег их и тем самым унес свою тайну в могилу.

Самым простым выходом мне казалось молчание. Храня молчание, я мог ничего не бояться. Но мне было жаль множества столь удивительных сведений, связанных с политической историей будущего столетия и открывающих совершенно новые горизонты во всех областях человеческой жизни. Взять хотя бы поразительный, никем не предсказанный поворот в области искусственного интеллекта (AI – Artificial Intelligence), интеллекта, который стал могущественнейшей силой как раз потому, что не стал интеллектом, то есть разумом, воплощенным в машинах. Храня молчание ради собственной безопасности, я лишил бы всех остальных людей выгод, проистекающих из этого знания.

Потом мне пришло в голову точно записать содержание этих томов, как я его запомнил, и сдать рукопись на хранение в банк. Записать все, что удалось запомнить из прочитанного, следовало непременно, иначе со временем я забыл бы множество данных, касающихся столь обширной темы. В случае необходимости я мог бы посещать банк, делать на месте выписки и снова запирать манускрипт в бронированный сейф. Это, однако, было небезопасно. Прежде всего кто-нибудь мог подсмотреть меня за этим занятием. А потом, в наше время никакие банковские сокровищницы и тайники не гарантируют на сто процентов от взлома. Даже не самый смелый вор рано или поздно сообразил бы, какой удивительный

документ оказался его добычей. И даже если он выбросит или уничтожит мои бумаги, я никогда не узнаю об этом и буду всю жизнь бояться, что связь моей особы с историей XXI века выйдет на свет.

Итак, дилемма выглядела следующим образом: скрыть мою тайну навеки и в то же время свободно ею пользоваться. Спрятать ее от всех, но не от самого себя. После долгих размышлений я понял, что сделать это вовсе не трудно. Безопаснейший способ скрыть необычайную идею, истинную в каждом слове и в каждой подробности, – это опубликовать ее под видом научной фантастики. Как бриллиант, брошенный в груды битого стекла, становится невидимым, так и самое подлинное откровение, перемешанное с бреднями НФ, уподобляется им и тем самым перестает быть опасным. Не будучи, однако, в силах избавиться от своих опасений сразу, я приоткрыл лишь краешек тайны, написав в 1967 году фантастический роман «Глас Господа» («Die Stimme des Herrn», Insel Verlag и Volk und Welt Verlag; «His Master's Voice», Brace Harcourt Yovanovich). На странице 125, третья строка сверху, читаем: «The ruling doctrine was the „indirect economic attrition“^[163], а чуть ниже та же доктрина выражена афоризмом: «Пока толстый похудеет, худой околеет» («The thin starves before the fat loses weight»; в немецком издании: «Bevor der Dicke mager wird, ist der Magere krepirt»).

Доктрина эта, в явном виде сформулированная в США после 1980 года, то есть через 13 лет после первого издания «Гласа Господа», получила несколько иное название (в печати ФРГ, например, она выражалась в виде краткого лозунга «Der Gegner tottrüsten»^[164]). Убедившись – а времени после выхода книги прошло как-никак достаточно, – что и вправду никто не заметил совпадения моего «фантазирования» с позднейшим ходом политических дел, я осмелел. Мне стало ясно, что, пряча истину между сказками, я необычайно успешно использую защитные цвета литературы; с их помощью даже об ЭТОМ я могу говорить совершенно спокойно. Можно даже признаться, что говоришь чистую правду, хотя и замаскированную – ведь все равно никто тебе не поверит. А значит, нет лучше способа скрыть совершенно тайную информацию, чем ее публикация массовым тиражом.

Итак, обеспечив сохранение своей тайны ее разоблачением, я спокойно могу приступить к более полному ее изложению. Я ограничусь при этом изданным в начале XXII столетия трудом «Weapon Systems of the Twenty-First Century or the Upside-down Evolution». Я даже мог бы назвать его авторов (ни один из которых еще не родился), но вряд ли в этом есть какой-либо смысл. Книга «Системы оружия XXI века, или Эволюция вверх

ногами» состоит из трех томов. В первом повествуется об истории вооружений после 1944 года, во втором показано, как гонка ядерных вооружений привела к обезлюдиванию военного дела, перенеся производство оружия из промышленных предприятий непосредственно на театры военных действий, а в третьем – какое влияние оказал этот величайший в военном деле переворот на дальнейшую историю человечества.

II

Вскоре после атомного уничтожения Хиросимы и Нагасаки американские ученые основали ежемесячник «BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTIST»^[165] и на его обложке поместили изображение часов, стрелки которых показывали без десяти двенадцать. Шесть лет спустя, после первых успешных испытаний водородной бомбы, они перевели стрелку на пять минут вперед, а когда и Советский Союз стал обладателем термоядерного оружия, минутная стрелка приблизилась к двенадцати еще на три минуты. Ее следующее передвижение должно было означать гибель цивилизации в соответствии с провозглашенной «Бюллетенем» доктриной: «ONE WORLD OR NONE»^[166]. Считалось, что мир либо объединится и уцелеет, либо неизбежно погибнет.

Ни один из ученых, прозванных «отцами бомбы», не предполагал, что, несмотря на нарастание ядерных арсеналов по обе стороны океана, несмотря на размещение все больших зарядов плутония и трития во все более точных баллистических ракетах, мир, хотя и нарушаемый «обычными» региональными конфликтами, просуществует до конца столетия. Ядерное оружие внесло поправку в известное определение Клаузевица («война есть продолжение политики другими средствами») – нападение заменила угроза нападения. Так родилась на свет доктрина симметричного устрашения, впоследствии названная просто «равновесием страха». Эту доктрину различные американские администрации выражали при помощи разных аббревиатур. Например, MAD (Mutual Assured Destruction – взаимное гарантированное уничтожение), доктрина, которая основывалась на так называемой Second Strike Capability – способности нанесения ответного удара подвергшейся нападению стороной. На протяжении десятков лет словарь уничтожения пополнился новыми терминами. В него вошли такие понятия, как All out Strategic Exchange, то есть неограниченный обмен ядерными ударами; ICM (Improved Capability

Missile^[167]); MITRV (Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle^[168]), то есть ракета, выстреливающая одновременно несколькими боеголовками, каждая из которых направляется к своей заранее намеченной цели; PEN AID (Penetration Aids^[169]), то есть отвлекающие устройства в виде ложных ракет-приманок или боеголовок, ослепляющих радары противника; WALOPT (Weapons Allocation and desired Ground-Zero Optimizer^[170]); MARV (Maneuverable Reentry Vehicle^[171]), то есть ракета, способная самостоятельно обходить противоракеты обороны и попадать в цель с точностью до 20 метров от намеченной «нулевой точки», и т. д.

К числу ключевых понятий относилось *время* обнаружения баллистической атаки, зависевшее, в свою очередь, от способности *распознавания* этой атаки; но я не смог бы привести здесь и сотой доли появлявшихся один за другим терминов и их значений.

Хотя угроза атомной войны *возрастала*, когда равновесие сил нарушалось, и потому, казалось бы, в интересах антагонистов было как раз скрупулезное *соблюдение* этого *равновесия* (всего надежнее путем многостороннего контроля), подобный контроль, несмотря на возобновляемые раз за разом переговоры, установить не удалось.

Причин тому было много. Авторы «Систем оружия...» делят эти причины на две группы. К первой они относят навыки традиционного мышления в международной политике. Согласно этой традиции, следует призывать к миру и готовиться к войне, подрывая тем самым существующее равновесие сил вплоть до получения перевеса. Вторую группу причин составляли факторы, не зависевшие от образа мыслей людей в политической или какой-либо иной области. Речь идет о тенденциях развития основных технологий, используемых в военном деле. Любая возможность усовершенствования оружия осуществлялась на практике в соответствии с принципом: «если этого не сделаем мы – сделают они». Одновременно доктрина ядерной войны претерпевала различные изменения. То она предполагала ограниченный обмен ядерными ударами (хотя никто не знал, что, собственно, могло стать *надежной* гарантией их ограничения), то ставила целью *полное* уничтожение противника (и тогда все его население как бы превращалось в заложников), а то предусматривала уничтожение его военно-промышленного потенциала прежде всего.

Извечное правило эволюции вооружений, правило «щита и меча», все еще сохраняло свою силу. «Щитом» было все более прочное *бронирование* бункеров, в которых укрывались баллистические ракеты, а «мечом»,

долженствующим пробить этот щит, – возрастающая точность попадания боеголовок, а затем наделение их способностью к автономному маневрированию и самонаведению на цель. Что касается атомных подлодок, то здесь «щитом» был океан, а «мечом» – совершенствование способов их обнаружения в морских глубинах.

Технический прогресс в области средств обороны вывел электронные глаза разведки на околоземные орбиты, создав тем самым возможность далекого, глобального слежения; запущенная ракета могла быть обнаружена уже в момент старта, и это снова был щит, пробить который предстояло новому типу «меча», в виде искусственных спутников, прозванных Killers^[172]. Они ослепляли «глаза обороны» лазером или уничтожали ядерные ракеты на стадии их полета в надатмосферном вакууме мгновенной лазерной вспышкой огромной мощности.

Но сотни миллиардов, потраченные на возведение все новых ярусов противоборства, не могли обеспечить совершенно надежного и потому особенно ценного стратегического перевеса по двум различным, почти не зависящим друг от друга причинам.

Во-первых, все эти усовершенствования и нововведения, вместо того чтобы увеличивать стратегическую надежность – как в нападении, так и в обороне, – уменьшали ее. Они уменьшали ее потому, что глобальная система вооружений каждой из сверхдержав становилась все более сложной; она состояла из множества разнообразнейших подсистем на суше, в океане, воздухе и космическом пространстве. Эффективность этих систем зависела от их суммарной надежности, гарантирующей оптимальную синхронизацию смертоносных действий. Между тем всем системам высокой сложности – промышленным и военным, биологическим и техническим, перерабатывающим информацию и перерабатывающим материю, – свойственна *вероятность сбоя*, тем большая, чем больше количество элементов, составляющих систему. Научно-технический прогресс был чреват парадоксом особого рода: чем более совершенные порождал он виды оружия, тем в большей степени эффективность их применения зависела от *случайности*, не поддающейся точному расчету.

Этот фундаментальной важности вопрос следует рассмотреть подробнее, ибо ученые очень долго не могли *вероятностный* характер функционирования сложных систем положить в основу любой технической деятельности. Чтобы исключить аварии подобных систем, инженеры закладывали в них запас прочности и предусматривали функциональные резервы: например, резерв мощности или – при создании первых американских «космических челноков» («Колумбия») – применяли

дублирующие устройства, иногда даже *четыре* сразу; и в первых «космических челноках» имелось по меньшей мере четыре главных компьютера, чтобы авария одного из них не повлекла за собой катастрофу. Полная безаварийность недостижима. Если система состоит из миллиона элементов и каждый из них может отказать лишь один раз на миллион, причем надежность целого зависит от надежности всех элементов, то в такой системе авария случится *навверняка*. Между тем организмы животных и растения состоят из *миллиардов* функциональных частей, тем не менее их неизбежная ненадежность не становится помехой жизни. Почему? Специалисты назвали этот способ конструированием надежных систем из ненадежных частей. Биологическая эволюция борется с аварийностью организмов при помощи множества приемов. Назовем хотя бы некоторые из них: способность к самоисправлению, или *регенерация*; *дублирование* органов (вот почему у нас две почки, а не одна; вот почему наполовину разрушенная печень продолжает функционировать в качестве главного химического преобразователя организма; вот почему в системе кровоснабжения столько запасных путей для крови в виде параллельных вен и артерий); наконец, *рассредоточение* органов, управляющих соматическими и психическими процессами. Последнее обстоятельство доставило немало хлопот исследователям мозга, которые не могли взять в толк, каким это образом даже тяжело поврежденный мозг способен по-прежнему функционировать, между тем как совсем незначительно поврежденный компьютер отказывается повиноваться программам.

Одно лишь дублирование управляющих центров и элементов, присущее инженерии XX века, вело к абсурду в конструировании: если автоматический космический корабль, посланный к далекой планете, создавать по этому принципу, то есть дублировать управляющие им компьютеры, то ввиду огромной продолжительности полета его следовало бы снабдить уже не четырьмя или пятью, но пятьюдесятью компьютерами, действующими уже не по законам «линейной логики», но по законам «демократического голосования». То есть если бы отдельные компьютеры перестали действовать единообразно и результаты их вычислений разошлись бы, то правильными следовало бы признать результаты, к которым пришло *большинство*. Следствием подобного «инженерного парламентаризма» было бы конструирование гигантов, наделенных всеми изъянами парламентской демократии, такими, как взаимоисключающие точки зрения, проекты, планы и действия. Инженер назвал бы демократический плюрализм, встроенный в систему, ее *гибкостью*, которая все же должна иметь границы. А значит, решили конструкторы XXI века,

следовало гораздо раньше пойти на выучку к биологической эволюции, ведь миллиардолетний возраст ее творений – свидетельство оптимальной инженерной стратегии. Живой организм управляется не по принципу «тоталитарного централизма» и не по принципу «демократического плюрализма», но посредством стратегии гораздо более изощренной; сильно упрощая проблему, эту стратегию можно назвать *компромиссом между сосредоточением и рассредоточением* регулирующих центров.

Между тем на поздних стадиях гонки вооружений XX века роль не поддающихся расчету случайностей непрерывно росла. Там, где поражение от победы отделяют *часы* (или дни) и *километры* (или сотни километров), а любая ошибка командования может быть исправлена переброской резервов, умелым отступлением или контратакой, роль случая можно с успехом свести к минимуму.

Но там, где успех боевых операций зависит от микромиллиметров и наносекунд, на сцену, подобно новому богу войны, предрешающему победу или разгром, выходит случайность в чистом и как бы увеличенном виде, случайность, пришедшая к нам из микромира, из области физики атома. Ведь самые быстрые и самые совершенные системы наталкиваются в конце концов на принцип неопределенности Гейзенберга (Unschärferelation), обойти который не в состоянии *никто* и *никогда*, ибо это фундаментальное свойство материи в любой точке Вселенной. Тут не нужна даже авария компьютеров, управляющих спутниками-шпионами или нацеливающих мощные лазерные системы защиты на ядерные боеголовки ракет. Достаточно, чтобы серии электронных импульсов системы защиты разминулись с сериями подобных импульсов систем атаки хотя бы на миллиардную долю секунды – и исход Последней Схватки будет решен по принципу *лотереи*.

Так и не уяснив себе этого должным образом, крупнейшие антагонисты планеты выработали две противоположные стратегии; образно их можно назвать стратегией *точности* и стратегией *молота*. Молотом было постоянное наращивание мощности ядерных зарядов, а хирургической точностью – их безошибочное обнаружение и немедленное уничтожение в фазе полета. Наконец, случайности противопоставлялось «возмездие мертвой руки»: противник должен был знать, что погибнет, даже если он победит, ибо уничтоженное целиком государство ответит автоматическим посмертным ударом и катастрофа станет глобальной. Таково, во всяком случае, было главное *направление* гонки вооружений, ее устранившая всех, однако же неизбежная *равнодействующая*.

Что делает инженер для сведения к минимуму последствий случайной

ошибки в очень большой и очень сложной системе? Многократно испытывает ее в действии и ищет в ней слабые места, где сбой наиболее вероятен. Но систему, какой стала бы Земля, охваченная ядерной войной с применением наземных, подводных, авиационных, спутниковых ракет и противоракет, управляемых многократно дублированными центрами командования и связи, систему, образуемую все новыми волнами обоюдных ударов с земли, с океанов, из космоса, – такую сверхсистему сил разрушения, схватившихся не на жизнь, а на смерть, испытать невозможно. Никакие маневры, никакие имитации на компьютерах не воссоздадут действительных условий подобной битвы планетарных масштабов.

Появляющиеся одна за другой новые системы оружия характеризовались возрастающим быстродействием, начиная с *принятия решений* (атаковать или не атаковать, где, каким образом, с какой степенью риска, какие силы оставить в резерве и т. д.); и именно это возрастающее быстродействие снова вводило в игру фактор случайности, который принципиально не поддается расчету. Это можно выразить так: системы неслыханно быстрые ошибаются неслыханно быстро. Там, где спасение или гибель обширных территорий, больших городов, промышленных комплексов или крупных эскадр зависит от долей секунды, обеспечить военно-стратегическую *надежность* невозможно или, если угодно, победа уже неотличима от поражения. Словом, гонка вооружений вела к «пирровой ситуации».

В прежних сражениях, где рыцари бились верхом и в латах, а пехота схватывалась врукопашную, на долю случая выпадало, жить или умереть отдельным бойцам и военным отрядам. Но могущественная электроника, воплощенная в логике компьютеров, повысила случай в звании, и теперь он решал уже вопрос жизни и смерти целых народов и армий.

Во-вторых – и это был еще один, вполне самостоятельный фактор, – проекты новых, более совершенных типов оружия появлялись так быстро, что промышленность не успевала запускать их в серийное производство. Системы командования, наведения на цель, маскировки, поддержания и подавления связи, а также «обычные» виды оружия (определение, по сути анахроничное и вводящее в заблуждение) устаревали, не успев поступить на вооружение.

Поэтому в восьмидесятые годы все чаще приходилось останавливать уже начатое серийное производство новых истребителей и бомбардировщиков, *cruise missiles*^[173], противоподводных ракет, спутников слежения и атакующих спутников, подводок, лазерных бомб, сонаров и радаров. Поэтому приходилось отказываться от уже разработанных

образцов, поэтому такие жаркие политические споры вызывали очередные программы перевооружения, требовавшие огромных денег и огромных усилий. Мало того, что любое нововведение обходилось гораздо дороже предыдущего, но вдобавок многие из них приходилось списывать в расход на стадии освоения, и этот процесс прогрессировал неумолимо. Похоже было на то, что всего важнее не военно-техническая *мысль* сама по себе, но *темпы* ее промышленного освоения. Явление это обозначилось к исходу XX века как новый, очередной парадокс гонки вооружений, и единственным действенным средством устранить его фатальное влияние на фактическую военную мощь казалось планирование вооружений уже не на восемь – двенадцать лет вперед, но на четверть столетия, что было, однако, явной невозможностью, поскольку пришлось бы *предвидеть* открытия и изобретения, о которых даже самый выдающийся эксперт не имел ни малейшего понятия.

К концу столетия появилась концепция нового оружия, которое не было ни ядерной бомбой, ни лазерной пушкой, но как бы гибридом того и другого. Доселе были известны атомные бомбы, действовавшие по принципу расщепления атома (урановые и плутониевые) или же ядерного синтеза (термоядерные и водородно-плутониевые). Такая «прабомба» обрушивала на все окружающее полную мощность дефекта массы внутриядерных связей в виде всех существующих видов излучения: от рентгеновского и гамма-излучения до теплового, вместе с лавинами корпускулярных остатков ядерного заряда, живущих особенно долго и потому особенно долго оказывающих свое смертоносное воздействие. Огненный пузырь, раскаленный до миллионов градусов, эмитировал энергию всех участков спектра и все виды элементарных частиц. Как кто-то сказал, «материю рвало всем ее содержимым». С точки зрения военного дела это было расточительством: ведь в «нулевой точке» любой объект превращался в раскаленную плазму, в газ, в лишенные электронной оболочки атомы. В месте взрыва испарялись камни, металл, дерево, мосты, дома, люди, и все это вместе с песком и бетоном выбрасывал в стратосферу взметнувшийся кверху огненный гриб. Положение исправили трансформируемые бомбы (Umformer-bomben). Такая бомба эмитировала лишь то, что требовалось стратегам в данный момент. Если это было жесткое излучение, то бомба (называемая «чистой») убивала прежде всего все живое, а в случае теплового по преимуществу излучения на сотни квадратных миль обрушивалась огненная буря.

Лазерная бомба, собственно, не была бомбой, но огнеметом разового пользования, так как основная часть ее излучения фокусировалась в

огненном луче, способном (например, с высокой околоземной орбиты) испепелить город, ракетную базу, или другую стратегически важную цель, или же, наконец, спутниковую оборону противника. Луч, который выбрасывала такая псевдобомба, обращал в пылающие обломки и ее саму. Мы, однако, уже не будем заниматься этими достижениями военнотехнической мысли, поскольку, вопреки господствовавшим тогда воззрениям, они знаменовали собой не начало дальнейшей эскалации в том же направлении, но начало ее конца.

Стоит зато взглянуть на атомные арсеналы XX века в исторической перспективе. Уже в семидесятые годы их содержимого хватило бы для многократного уничтожения всего населения планеты, если подсчитать количество смертоносной мощи, приходящейся на каждого жителя Земли. Это положение дел, так называемый *overkill*, было достаточно хорошо известно, тем более специалистам. Итак, сокрушительная мощь имела в избытке и все усилия экспертов направлялись на то, чтобы быть в состоянии нанести возможно более чувствительный превентивный или ответный удар по военному потенциалу противника, охраняя в то же время собственный потенциал. Защита гражданского населения считалась делом важным, однако не первостепенным.

В начале пятидесятых годов «Бюллетень ученых-атомщиков» провел дискуссию о возможностях защиты гражданского населения в случае ядерного конфликта; в ней приняли участие и физики – «отцы бомбы», такие, как Бете и Сцилард. В качестве реалистического решения были предложены рассредоточение городов и строительство огромных подземных убежищ. Стоимость первой очереди такого строительства Бете оценивал примерно в 20 миллиардов долларов, но социальные, психологические, цивилизационные издержки проекта не поддавались оценке. Впрочем, вскоре стало ясно, что переход к «новой пещерной эпохе», будь он даже осуществлен, не гарантирует выживания населения, потому что гонка в области создания все более мощных бомб и все более точных ракет продолжалась. Эта идея лишь послужила источником кошмарных картин, нередких в тогдашней научной фантастике; в них изображалось, как остатки выродившегося человечества прозябают в бетонных многоярусных норах под развалинами сожженных городов. Самозванные футурологи (других, собственно, никогда и не было) состязались в мрачных пророчествах, экстраполирующих уже существующие ядерные арсеналы в еще более кошмарное будущее; среди тех, кто особенно прославился подобными домыслами, был Герман Кан, автор «Thinking about the Unthinkable»^[174], сочинения о термоядерной

войне. Еще он выдумал «машину конца света» (Weltuntergangsmaschine) в виде колоссальной ядерной бомбы в бронированной кобальтовой оболочке, которую государство может закопать на своей территории, дабы шантажировать остальной мир угрозой «глобального самоубийства». Но никто не представлял себе, каким образом в условиях существования политических антагонизмов эпохе атомного оружия может быть положен конец, который не означал бы ни окончательного всепланетного мира, ни всепланетного уничтожения.

В самом начале XXI века физики-теоретики рассматривали проблему, от решения которой зависело, по-видимому, быть или не быть нашей планете, а именно является ли критическая масса (то есть масса, в которой однажды начавшаяся цепная реакция ведет к ядерному взрыву) таких делящихся изотопов, как уран-235 или плутоний-239, *безусловно* постоянной величиной. Ведь возможность влиять на размеры критической массы, да к тому же на расстоянии, была бы равнозначна возможности обезвреживать ядерные заряды противника. Как выяснилось (кстати, в общих чертах это было известно уже физикам XX века), критическая масса *может* меняться, то есть существуют физические условия, при которых критическая масса перестает быть таковой, а значит, и не взрывается, но энергия, которую необходимо затратить на создание подобных условий, намного превышает совокупную мощность всех ядерных арсеналов мира. Попытки обезвредить атомное оружие подобным способом потерпели фиаско.

III

В восьмидесятые годы XX века появились новые типы ракетных снарядов; их называли обычно FiF (Fire and Forget^[175]). Такой снаряд управлялся микрокомпьютером, который, будучи должным образом запрограммирован, сам искал себе цель. После запуска о нем, следовательно, можно было в буквальном смысле слова забыть. Тогда же родился на свет «обезлюженный» шпионаж, сначала подводный. Сообразительная морская мина, снабженная датчиками и памятью, была способна запечатлеть в своей памяти движение проплывающих над ней кораблей, отличать торговые суда от военных, определять их тоннаж, а потом передавать эти сведения шифром куда положено. Для этих устройств придумали еще одну звучную аббревиатуру – LOD (Let Others Do it^[176]).

Боевой дух населения, особенно в «государствах благосостояния»,

испарился как камфора. Такие почтенные стародавние лозунги, как «*dulce et decorum est pro patria mori*»^[177], молодые призывники считали полным идиотизмом. В то же время новые поколения вооружений дорожали в геометрической прогрессии. Самолет времен Первой мировой войны, состоявший главным образом из полотна, деревянных реек, фортепьянной проволоки и нескольких пулеметов, стоил вместе с посадочными колесами не дороже хорошего автомобиля. Самолет эпохи Второй мировой войны по стоимости равнялся уже тридцати автомобилям, а к концу столетия стоимость ракетного истребителя-перехватчика или малозаметного для радара «крадущегося» бомбардировщика типа «Stealth» достигла сотен миллионов долларов. Проектировавшиеся на 2000 год ракетные истребители должны были стоить миллиард долларов каждый. Если бы так продолжалось и дальше, то лет через восемьдесят каждая из сверхдержав могла бы позволить себе не больше 20—25 самолетов. Танки были немногим дешевле. А атомный авианосец, беззащитный перед одной-единственной суперракетой типа FiF (над целью она распадалась на целый веер боеголовок, каждая из которых поражала один из нервных узлов этой морской громады), хотя и был, собственно, чем-то вроде бронтозавра под артиллерийским огнем, стоил многие миллиарды.

Но в то же самое время на смену вычислительным элементам компьютеров, так называемым чипам (их вытравливали на тонких, как пленка, пластинках из кремния), пришли новейшие достижения генной инженерии. Например, *Silicobacter Wieneri*, названный так в честь создателя кибернетики Норберта Винера, будучи помещен в особый раствор из солей кремния, серебра и хранившихся в тайне добавок, вырабатывал интегральные схемы меньше мушиных яиц. Их называли *corn* (зерно); и в самом деле, пригоршня таких элементов всего через четыре года после начала массового производства стоила не дороже горсточки проса. Пересечение двух этих кривых – кривой роста стоимости тяжелого вооружения и кривой снижения стоимости искусственного интеллекта – положило начало тенденции к *обезлюживанию* армий.

Вооруженные силы из живых стали превращаться в мертвые. Поначалу результаты этих перемен были скромными. Как известно, изобретатели автомобиля не выдумали его сразу в готовом виде, но запикивали двигатели внутреннего сгорания во всевозможные кареты, коляски, пролетки с отрезанным дышлом, а дерзкие пионеры воздухоплавания пытались придать крыльям своих планеров сходство с птичьими крыльями. Точно так же под влиянием все той же инерции мышления, которая в военной среде весьма сильна, на первых порах не

строили ни принципиально новых самолетов-снарядов, ни автоматических танков, ни самоходных пушек, полностью приспособленных к зарождающемуся микрокремниевому «солдату», а только уменьшали пространство, которое занимал состоявший из людей расчет или экипаж, и переводили оружие на программно-компьютерное управление. Но это уже было анахронизмом. Новый, неживой микросолдат требовал совершенно нового, революционного подхода ко всем вопросам тактики и стратегии, в том числе и к вопросу о том, *какие* виды оружия для него оптимальны.

Дело происходило в те времена, когда мир постепенно оправился после двух тяжелых экономических кризисов. Первый из них был вызван созданием картеля ОПЕК и резким подорожанием нефти, второй – распадом картеля и резким снижением цен на нефть. Правда, появились уже первые термоядерные электростанции, но в качестве привода наземных или воздушных транспортных средств они не годились. Поэтому крупногабаритное оружие – бронетранспортеры, орудия, ракеты, тягачи, танки, наземные и подводные, и прочее новейшее, то есть появившееся в конце XX века, тяжелое вооружение, – все еще дорожало, хотя бронетранспортерам уже некого было перевозить, а вскоре оказалось к тому же, что артиллерии не в кого будет стрелять. Эта последняя стадия военной бронегигантомании исчерпала себя в середине столетия; наступила эпоха ускоренной микроминиатюризации под знаком искусственного НЕИНТЕЛЛЕКТА.

Трудно поверить, но лишь около 2040 года информатики, специалисты по цифровой технике и прочие эксперты стали задаваться вопросом, почему, собственно, их предшественники так долго оставались слепыми настолько, что *per fas et nefas*^[178] и при помощи *brute force*^[179] пытались создать искусственный интеллект. Ведь для огромного большинства задач, которые выполняют люди, интеллект вообще не нужен. Это справедливо для 97,8% рабочих мест как в сфере физического, так и умственного труда.

Что же нужно? Хорошая ориентация, навыки, ловкость, сноровка и сметливость. Всеми этими качествами обладают *насекомые*. Оса вида *сфекс* находит полевого сверчка, впрыскивает в его нервные узлы (ганглии) яд, который парализует, но не убивает его, потом выкапывает в песке нужных размеров норку, кладет рядом с ней свою жертву, заползает в норку, чтобы исследовать, хорошо ли она приготовлена, нет ли в ней сырости или муравьев, втаскивает сверчка внутрь, откладывает в нем свое яичко и улетает, чтобы продолжить эту процедуру, благодаря которой развившаяся из яичка личинка осы может до своего превращения в куколку питаться свежим мясом сверчка. Тем самым оса демонстрирует превосходную

ориентацию при выборе жертвы, а также при выполнении наркологическо-хирургической процедуры, которой подвергается жертва; навык в сооружении помещения для сверчка; сноровку при проверке того, обеспечены ли условия для развития личинки, а также сметливость, без которой вся последовательность этих действий не могла бы осуществиться. Оса, быть может, имеет достаточно нервных клеток, чтобы с неменьшим успехом водить, например, грузовик по длинной трассе, ведущей из порта в город, или управлять межконтинентальной ракетой, только биологическая эволюция запрограммировала ее нервные узлы для совершенно иных целей.

Понапрасну теряя время на попытки воспроизвести в компьютерах функции человеческого мозга, все новые поколения информатиков, а также профессоров-компьютероведов (professors of computer science), с упорством, достойным лучшего применения, не желали замечать устройств, которые были в миллион раз проще мозга, чрезвычайно малы и чрезвычайно надежны. Не ARTIFICIAL INTELLIGENCE, но ARTIFICIAL INSTINCT^[180] следовало воспроизводить и программировать в первую очередь, потому что инстинкты возникли почти за *миллиард* лет до интеллекта – очевидное свидетельство того, что их сконструировать *легче*. Взявшись за изучение нейрологии и нейроанатомии совершенно безмозглых насекомых, специалисты середины ХХІ века довольно скоро получили блестящие результаты. Их предшественники были и вправду слепы, если не задумались даже над тем, что, например, пчелы, создания, казалось бы, донельзя примитивные, обладают, однако ж, собственным, и притом наследуемым, *языком*. С его помощью рабочие пчелы сообщают друг другу о новых местах добывания корма; мало того, на своем языке сигналов, жестов и пантомимы они показывают направление полета, его продолжительность и даже приблизительное количество найденной пищи. Речь, разумеется, шла не о том, чтобы строить из неживых элементов типа CHIPS или CORN «настоящих» ос, мух, пауков или пчел, а лишь об их нейроанатомии с заложенной в нее последовательностью действий, необходимых для достижения заранее намеченной и запрограммированной цели. Так началась научно-техническая революция, полностью и бесповоротно изменившая театры военных действий. Ведь доселе все составные части вооружения были приспособлены к человеку, имели в виду его анатомию (чтобы ему было удобнее убивать) и физиологию (чтобы его было удобнее убивать).

Как это обычно бывает в истории, зачатки нового направления появились еще в двадцатом веке, но никто не умел сложить из них

целостную картину. Ибо открытия, положившие начало DEHUMANIZATION TREND IN NEW WEAPON SYSTEMS^[181], совершались в крайне далеких друг от друга научных дисциплинах. Специалистов по военному делу какие бы то ни было насекомые не интересовали (за исключением вшей, блох и иных паразитов, докучавших солдатам в их военных трудах). Интеллектроники, которые вместе с энтомологами и нейрологами исследовали ганглии у насекомых, были несведущи в военных проблемах. Наконец, политики, как им и положено, вообще ни в чем не разбирались.

И потому, когда интеллектроника уже создала микрокалькуляторы, своими размерами успешно соперничавшие с брюшными узлами шершней и комаров, энтузиасты Artificial Intelligence все еще сочиняли программы, позволявшие компьютерам вести глуповатые разговоры с не очень сообразительными людьми, а наиболее мощные среди вычислительных мамонтов и гигантозавров побивали даже шахматных чемпионов – не потому, что были умнее их, а потому, что считали в миллиард раз быстрее Эйнштейна. Никому, и притом очень долго, не приходило в голову, что солдату на передовой хватило бы навыков и сноровки пчелы или шершня. На нижних уровнях боевых действий разум и эффективность – вещи совершенно различные. (Не говоря уж о том, что солдату *мешает* в бою инстинкт самосохранения, который у него несравненно сильнее, чем у пчелы; ведь пчела, защищая улей, жалит, хотя это означает для нее смерть).

Кто знает, как долго еще устаревший образ мышления господствовал бы в военной промышленности, управляя спиралью гонки вооружений и проектируя все новые «обычные» и самые новейшие средства борьбы, если бы не несколько книг, привлечших внимание общества к одной научной загадке, столь же древней, сколь удивительной. Речь шла о мезозойском и юрском периодах истории Земли, то есть об эпохе господства крупных пресмыкающихся.

IV

65 миллионов лет назад, на так называемой геологической границе М —Т, то есть при переходе от мелового к третичному периоду, на нашу планету упал метеорит диаметром около десяти километров – из группы тяжелых метеоритов, содержащих значительное количество металлов от железа до иридия. Его масса оценивается более чем в три с половиной *триллиона* (3 600 000 000 000) тонн. Нельзя с уверенностью сказать, была

ли это цельная масса, а значит, какой-то из астероидов, обращающихся между Землей и Марсом, или, может быть, скопление тел, образующих ядро кометы. В геологических отложениях, относящихся к тому времени, обнаружены так называемые иридиевые аномалии, а также примеси редкоземельных металлов, которые обычно в таком количестве и в такой концентрации на Земле не встречаются. Установить характер этого катаклизма планетарного масштаба мешало отсутствие следов метеоритного кратера (хотя, вообще говоря, кратеры – правда, возникшие позже, зато от удара тысячекратно меньших метеоритов – оставили на земной поверхности отчетливые следы). По-видимому, этот небольшой астероид (или комета) упал не на континент, а в открытый океан или же вблизи береговой линии тогдашней суши; впоследствии континенты, перемещаясь, закрыли углубление в земной коре – результат столкновения.

Метеорит таких размеров и массы легко пробил бы защитный слой атмосферы. Энергия столкновения, сопоставимая с энергией всех запасов ядерного оружия в мире и даже, по-видимому, превышающая ее, превратила это небесное тело (или группу тел) в тысячи миллиардов тонн пыли, которую атмосферные течения разнесли над всей поверхностью Земли. Это привело к такому сильному и длительному загрязнению атмосферы, что по меньшей мере на четыре месяца нормальный фотосинтез растений на всех континентах практически прекратился. На Земле воцарилась тьма, и поверхность суши остыла за это время очень сильно. Мировой океан из-за своей огромной теплоемкости остывал гораздо медленнее; тем не менее океанические водоросли – один из главных источников атмосферного кислорода – также утратили на время способность к фотосинтезу. В результате вымерло огромное число видов животных и растений.

Самым впечатляющим последствием катастрофы было вымирание крупных пресмыкающихся, именуемых обычно динозаврами, хотя при этом вымерло по меньшей мере несколько сот других видов. Катастрофа случилась тогда, когда климат Земли постепенно становился холоднее и крупным голокожим пресмыкающимся мезозоя приходилось и без того нелегко. О том, что на протяжении примерно миллиона лет до этого катаклизма их жизнеспособность снижалась, свидетельствует изучение окаменелостей, в частности яиц крупных рептилий; их известковая оболочка становилась все тоньше – признак нарастающих трудностей в добывании пищи и ухудшения климата на больших территориях суши.

Еще в восьмидесятые годы XX века компьютерное моделирование подобного столкновения доказало его убийственное влияние на биосферу

Земли. Любопытно, что, несмотря на это, явление, которому мы обязаны своим существованием в качестве разумного вида отряда приматов, не попало ни в один школьный учебник, хотя причинная связь между «завроцидом» мелового и третичного периодов, с одной стороны, и антропогенезом – с другой, не подлежит ни малейшему сомнению.

Как показали исследования палеонтологов конца XX века, крупные пресмыкающиеся, называемые динозаврами, были теплокровными, а их летающие виды обладали защитным покровом, чрезвычайно похожим на оперение птиц. Жившие в ту эпоху млекопитающие не имели особых перспектив эволюционного развития, и ни один из их видов не превышал размерами крысу или белку; конкуренция хорошо приспособленных к среде, жизнестойких, могучих рептилий была слишком сильна, и млекопитающие оставались на положении второстепенной ветви эволюции среди тогдашних позвоночных, как хищных, так и травоядных. Последствия планетарной катастрофы обратились против крупных животных не столько непосредственно, сколько в результате полного уничтожения или разрыва пищевых цепей в биосфере. Крупные травоядные рептилии – сухопутные, водоплавающие и летающие – не находили достаточно пищи, так как нарушение фотосинтеза привело к массовой гибели растительности. Хищники, питавшиеся травоядными, гибли по той же причине. Огромное множество морских животных также погибло, поскольку цикл преобразования биологического углерода в океане гораздо короче, чем на суше, а поверхностные слои воды остывали быстрее глубоководных.

Уцелели немногочисленные виды сравнительно небольших пресмыкающихся, а также довольно много видов мелких млекопитающих. После того как частицы распяленного метеорита осели на землю и атмосфера вновь стала чистой, растительность возродилась, и ускоренным темпом пошла эволюция млекопитающих, положившая через сорок миллионов лет начало тем видам приматов, от которых происходит *Homo sapiens*. Как видим, несомненной, хотя и не ближайшей причиной возникновения человека разумного следует считать катастрофу, случившуюся на рубеже периодов М—Т; однако для нашей темы, то есть для военной истории цивилизации, важнее всего последствия этого события, которые прежде оставались обычно вне поля зрения. Дело в том, что меньше всего пострадали на рубеже мелового и третичного периодов насекомые! До катастрофы их насчитывалось три четверти миллиона видов; вскоре после нее еще оставалось не менее семисот тысяч, а общественные насекомые (муравьи, термиты, пчелы) пережили катаклизм

почти совершенно безболезненно. Итак, катастрофу, как следует из сказанного выше, легче и вероятнее всего смогли пережить существа малых и крайне малых размеров, с анатомией и физиологией, характерной для насекомых. Вряд ли случайно и то, что насекомые, вообще говоря, гораздо менее чувствительны к убийственным последствиям радиации, чем высшие животные (в частности, позвоночные).

Вердикт палеонтологии однозначен. Катастрофа, которая по высвобожденной ею энергии равнялась глобальной атомной войне, крупных животных уничтожила поголовно, мало чем повредила насекомым и вовсе не коснулась бактерий. Отсюда вывод: чем разрушительнее воздействие какой-либо стихийной силы или какого-либо оружия, тем меньшие по размерам организмы или системы имеют возможность уцелеть в зоне разрушения. А следовательно, атомная бомба требовала *рассредоточения как целых армий, так и отдельных солдат.*

В генеральных штабах предполагалось рассредоточение армий, но мысль об уменьшении солдата до размеров осы или муравья в XX веке могла появиться лишь в области чистой фантазии. Ведь человека не сократишь в масштабе и не рассредоточишь! Поэтому подумывали о воинах-автоматах, имея в виду человекообразных роботов, хотя уже тогда эта мысль отдавала наивным антропоморфизмом. Ведь уже тогда, например, крупная промышленность «обезлюживалась», однако же роботы, заменявшие людей на заводских конвейерах, нисколько не были человекообразными. Они представляли собой увеличение функциональных *фрагментов* человеческого организма, таких, как компьютерный «мозг» с огромной стальной рукой, монтирующей автомобильные шасси, с кулаком-молотом или лазерным «пальцем» для сварки кузова. Эти устройства, заменявшие органы чувств и руки, были непохожи ни на глаза (или уши), ни на руки человека. Но таких больших и тяжелых роботов нельзя было перенести на поля сражений: они немедленно стали бы целями для бьющих без промаха, самонаводящихся «умных» ракет.

Поэтому не человекообразные автоматы составили армию нового типа, а искусственные насекомые (синсекты): керамические микрорачки, червячки из титана, летающие псевдоосы с ганглиями из соединений мышьяка и жалами из тяжелых расщепляемых элементов. Большая часть этого неживого микровоинства могла по первому же сигналу об опасности атомного нападения глубоко закопаться в землю и вылезти наружу после взрыва, сохраняя боеготовность даже там, где отмечалась убийственная радиация: ведь солдат этот был не только микроскопический, но и небиологический, то есть мертвый. Летчик, самолет и его вооружение как

бы слились в одно миниатюрное целое в летающих синсектах. В то же время боевой единицей становилась *микроармия*, лишь как целое обладавшая заданной мощностью и боеспособностью (точно так же, только целый рой пчел, а не отдельная изолированная пчела, может рассматриваться как самостоятельный организм).

Поскольку театры военных действий были постоянно подвержены опасности ядерного удара, который уничтожает не только боевые силы, но и всякую связь между отдельными родами войск, а также между войсками и командованием, появились неживые микроармии множества типов, в своих действиях руководствовавшиеся двумя противоположными принципами. Согласно ПЕРВОМУ ПРИНЦИПУ, – принципу *автономности*, такая армия действовала словно боевой поход муравьев, волна болезнетворных микробов или нашествие саранчи. Последняя аналогия дает особенно наглядное представление о тактике такой армии. Как известно, саранча всего лишь биологическая (не видовая) разновидность одного из подвидов кобылок, и в сущности, даже тучи саранчи, насчитывающие *сотни миллиардов* особей (с самолетов наблюдались еще большие скопления), прямой опасности для человека не представляют (если отвлечься от главного разрушительного эффекта этих нашествий – уничтожения всякой растительности, включая сельскохозяйственные посевы). Но одной лишь своей гигантской массой они способны вызвать крушение поездов, превращают день в ночь и парализуют любое движение. Даже танк пробуксовывает, въехав в огромное скопление саранчи: она превращается в кровавое месиво, в котором гусеницы вязнут словно в болоте. Так вот мертвая, искусственная «саранча» была несравненно страшнее, ибо конструкторы снабдили ее для этого всем необходимым. Она действовала, как мы уже сказали, автономно, согласно программе, и обходилась без постоянной связи с каким-либо центром командования. Можно было, конечно, уничтожить искусственную саранчу атомными ударами, но это было примерно то же, что палить из атомных пушек по облакам: образовавшиеся разрывы вскоре затянули бы другие облака.

Согласно ВТОРОМУ ПРИНЦИПУ военной неостратегии, принципу *телетропизма*, микроармия была одной огромной (плывущей по морю или рекам либо летающей) *совокупностью самособирающихся элементов*. К цели, избранной на основании тактических или стратегических соображений, она направлялась в полном рассредоточении с нескольких сторон сразу, чтобы лишь ПЕРЕД САМОЙ ЦЕЛЬЮ СЛИТЬСЯ в заранее запрограммированное целое. Таким образом, боевые устройства выходили

с заводов не в окончательном виде, готовые к боевым действиям наподобие погруженных на железнодорожные платформы танков или орудий, но словно микроскопические кирпичики, способные сплотиться в боевую машину на месте назначения. Поэтому такие армии называли *самосборными*. Простейшим примером было саморассредоточивающееся атомное оружие. Ракету (ICBM, IRM^[182]), запущенную с земли, надводного корабля или подводной лодки, можно уничтожить из космоса спутниковым лазером. Но невозможно уничтожить подобным образом гигантские тучи микрочастиц, несущие уран или плутоний, который лишь у самой цели сольется в критическую массу, а до тех пор находится в крайне дисперсном состоянии и неотличим от тумана или тучи пыли.

Поначалу старые типы оружия сосуществовали с новыми, но тяжелое, громоздкое броневооружение пало под натиском микроармий столь же быстро, сколь и бесповоротно. Как микробы незаметно проникают в организм животного, чтобы убить его *изнутри*, так неживые, искусственные микробы, согласно приданным им тропизмам, проникали в дула орудий, зарядные камеры, моторы танков и самолетов, каталитически прогрызали насквозь броню или же, добравшись до горючего и пороховых зарядов, взрывали их. Да и что мог поделаться самый храбрый и опытный солдат, обвешанный гранатами, вооруженный автоматом, ракетометом и прочим огнестрельным оружием, с микроскопическим и мертвым противником? Не больше, чем врач, который решил бы сражаться с микробами холеры или чумы при помощи молотка либо револьвера.

Среди туч микрооружия, самонаводящегося на заданные цели, человек в мундире был беспомощен так же, как римский легионер со своим мечом и щитом под градом пуль. Людям пришлось покинуть поля сражений уже потому, что специальные виды биотропического микрооружия, уничтожающего все живое, убивали их в считанные секунды.

Уже в XX столетии тактика борьбы в сплоченном строю уступила место рассредоточению боевых сил. Маневренная война потребовала еще большего их рассредоточения, но линии фронтов, разделявшие своих и чужих, существовали по-прежнему. Теперь же эти разграничительные линии окончательно стерлись.

Микроармия могла без труда преодолеть любую оборонительную систему и вторгнуться в глубокий тыл неприятеля. Это было для нее не сложнее, чем для снега или дождя. В то же время крупнокалиберное атомное оружие оказалось бесполезным на поле боя: его применение попросту не окупалось. Прошу вообразить себе попытку сражаться с вирусной эпидемией при помощи термоядерных бомб. Эффективность

наверняка будет мизерной. Можно, конечно, спалить обширную территорию даже на глубину сотен метров, превратив ее в безжизненную, стеклянную пустыню, но что с того, если час спустя на нее начнет падать боевой дождь, из которого выкристаллизуются «отряды штурма и оккупации»? Водородные бомбы стоят недешево. Крейсера не годятся для охоты на пиявок или сардин.

Труднейшей задачей «безлюдного» этапа военной истории оказались поиски способа отличить *врага от своих*. Эту задачу, прежде обозначавшуюся FoF (Friend or Foe^[183]), в XX веке решали электронные системы, работавшие по принципу «пароля и отзыва». Спрошенный по радио самолет или автоматический снаряд должен был дать правильный «отзыв», иначе он считался вражеским и подлежал уничтожению. Но этот старый способ оказался неприменимым. Новые оружейники заимствовали образцы в царстве жизни – у растений, бактерий и опять-таки у насекомых. Способы маскировки и демаскировки повторяли способы, существующие в живой природе: иммунитет, борьба антигенов с антителами, тропизмы, а кроме того, защитная окраска, камуфляж и мимикрия. Неживое оружие нередко прикидывалось (и к тому же великолепно) летящей пылью или пухом растений, натуральными насекомыми, каплями воды, но за этой оболочкой крылось химически разъедающее или несущее смерть содержимое. Впрочем, если я и прибегаю к сравнениям из области энтомологии, упоминая, например, о нашествиях саранчи или других насекомых, я делаю то, что вынужден был бы делать человек XX века, желающий описать современникам Васко да Гамы и Христофора Колумба современный город с его автомобильным движением. Он, несомненно, говорил бы о каретах и повозках без лошадей, а самолеты сравнивал бы с построенными из металла птицами и тем самым заставил бы слушателя вообразить себе нечто отдаленно напоминающее действительность, однако не совпадающее с ней. Карета, катящаяся на больших тонких колесах, с высокими дверьми и опущенными ступеньками, с козлами для кучера и местами для гайдуков снаружи – все-таки не «фиат» и не «мерседес». Точно так же синсектное оружие XXI века не было просто роем металлических насекомых, известных нам по атласам энтомолога.

Некоторые из этих псевдонасекомых могли как пули прошивать человеческое тело; другие служили для создания оптических систем, которые фокусировали солнечное тепло и создавали тепловые течения, перемещавшие большие воздушные массы, – если план кампании предусматривал, например, проливные дожди или, напротив, солнечную погоду. Были «насекомые» таких «метеорологических служб», которым

сегодня вообще нет аналогий; взять хотя бы эндотермических синсектов, поглощавших значительное количество энергии для того, чтобы посредством резкого охлаждения воздуха вызвать на заданной территории густой туман или инверсию температуры. Были еще синсекты, способные сбиться в лазерный излучатель разового действия; такие излучатели заменили прежнюю артиллерию. Впрочем, едва ли тут можно говорить о замене, ведь от артиллерии (в нынешнем значении этого слова) проку на поле боя было не больше, чем от пращи и баллисты. Новое оружие диктовало новые условия боя, а следовательно, новую тактику и стратегию, общим знаменателем которых было полное отсутствие людей.

Но для приверженцев мундира, знамен, смен караула, почетных конвоев, маршировки, перестроений, муштры, штыковых атак и медалей за храбрость новая эра в военном деле была изменой возвышенным идеалам, сплошной обидой и поношением. Эту новую эру специалисты назвали «эволюцией вверх ногами» (Upside-down Evoluton), потому что в Природе сперва появились организмы простые и микроскопические, из которых затем через миллионы лет возникали все более крупные по размерам виды, а в эволюции вооружений послеатомной эпохи возобладала обратная тенденция – тенденция к микроминиатюризации. Микроармии создавались в два этапа. На первом этапе конструкторами и изготовителями безлюдного микрооружия были еще люди. На втором этапе мертвые микродивизии микроконструкторов изобретали микросолдат, испытывали их в боевой обстановке и направляли в массовое производство.

Люди устранились сначала из армии, а затем и из военной промышленности в результате «социоинтеграционной деградации». *Деградировал* отдельный солдат: он был уже не разумным существом с большим мозгом, а «солдатом разового использования» и в качестве такового становился все более простым и миниатюрным. (Впрочем, антимилитаристы утверждали и раньше, что в современной войне ввиду высоких потерь все ее участники, кроме высших чинов, были «солдатами на один раз».) В конце концов микровояка имел разума столько же, сколько муравей или термит. Тем большее значение приобретала псевдосоциальная *совокупность* мини-бойцов. Любая из неживых армий была несравненно сложнее, чем улей или муравейник. В плане своей структуры и внутренних зависимостей она соответствовала скорее «большим биотопам» живой природы, то есть целым пирамидам видов флоры и фауны, которые живут совместно на определенной территории, в определенной экологической среде и между которыми существует сложная сеть отношений конкуренции, антагонизма и симбиоза, уравнивающих друг друга в

процессе эволюции.

Нетрудно понять, что в такой армии унтер-офицерскому составу нечего было делать. Впрочем, частями подобной армии не смог бы командовать не только капрал или сержант, но даже офицер высокого ранга. Ведь для того, чтобы объять мыслью эту мертвую, однако по своей сложности не уступающую живой природе систему, не хватило бы мудрости целого университетского сената, ее не хватило бы даже для инспектирования, не говоря уже о боевых действиях. Поэтому, кроме бедных государств «третьего мира», больше всего пострадало от военно-стратегической революции XXI века кадровое офицерство. Процесс его ликвидации начался, впрочем, уже в XX столетии, когда исчезли пышные плюмажи, высокие султаны уланов, треуголки, красочные мундиры, золоченые галуны, но последний удар всему этому великолепию нанесли псевдонасекомые, «эволюция наоборот» (то есть, собственно, ИНВОЛЮЦИЯ) военного дела XXI века. Неумолимая тенденция к обезлюживанию армии похоронила почтенные традиции маневров, блестящих парадов (в отличие от танковой или ракетной дивизии саранча на марше не может радовать глаз), салютования шпагой, сигналов горнистов, подъема и спуска флагов, рапортов и всех богатейших атрибутов казарменной жизни. На какое-то время удалось сохранить за людьми высшие командные должности, прежде всего штабные – но, увы, ненадолго.

Вычислительно-стратегическое превосходство компьютеризированных систем командования окончательно обрекло на безработицу лучших военачальников, не исключая маршалов. Сплошной ковер из орденских ленточек на груди не спас даже самых прославленных генштабистов от ухода на досрочную пенсию. Во многих странах развернулось оппозиционное движение кадрового офицерства, офицеры-отставники в ужасе перед безработицей уходили даже в террористическое подполье. Поистине горькой, хотя и никем не подстроенной гримасой судьбы было «просвечивание» офицерской конспирации микрошпиками и мини-полицией, сконструированной по образцу одного из видов тараканов. Таракан этот, впервые описанный известным американским нейроэнтомологом в 1981 году, имеет на оконечности брюшка тоненькие волоски, крайне чувствительные к колебаниям воздуха, а так как они соединены с особым нервным узлом, таракан, по едва заметному движению воздуха почувствовав приближение врага, даже в полной темноте мгновенно бросается в бегство. Аналогом тараканьих волосков были электронные пикосенсоры мини-полицейских; укрывшись за старыми

обоями, эти мини-жандармы обеспечивали подслушивание разговоров в штаб-квартире мятежников.

Но и богатым государствам пришлось несладко. Вести политическую игру по-старому стало невозможно. Граница между войной и миром, и без того не слишком отчетливая, теперь совершенно стерлась. Уже XX век покончил со стеснительными ритуалами открытого объявления войны и ввел в обиход такие понятия, как нападение без предупреждения, пятая колонна, массовые диверсии, «холодная война», война через посредников (per procurem), и все это было лишь началом уничтожения границы между войной и миром. На смену альтернативе «война или мир» пришло состояние войны, неотличимой от мира, и мира, неотличимого от войны. Прежде, когда диверсантами могли быть лишь люди, диверсия выступала под маской доблести и добродетели. Она проникала в поры любого общественного движения, не исключая таких невинных его разновидностей, как общества собирателей спичечных коробков или хоровые кружки пенсионеров. Впоследствии, однако, диверсией могло заниматься все что угодно, от гвоздя в стене до порошков для смягчения жесткой воды. Криптовоеенная диверсия расцвела пышным цветом. Поскольку люди не составляли уже реальной боевой или политической силы, не стоило переманивать их на свою сторону при помощи пропаганды или склонять к сотрудничеству с врагом.

О политических переменах я не могу написать здесь столько, сколько бы следовало, поэтому я изложу их сущность в двух словах. В странах, где господствовал парламентаризм, политики были не в состоянии охватить всех проблем даже собственной страны, не говоря уж о мировых проблемах, поэтому еще в предыдущем столетии они прибегали к услугам советников. Экспертов-советников имела и каждая из политических партий. Как известно, советники разных политических партий полностью расходились во мнениях по любому вопросу. Со временем они стали пользоваться помощью компьютерных систем, а потом оказалось, что люди постепенно становятся рупорами своих компьютеров. Им представлялось, что они мыслят и делают выводы сами, исходя из данных компьютерной памяти, но оперировали они материалом, переработанным вычислительными центрами, а именно этот материал предопределял принимаемые решения. После периода некоторого замешательства крупные партии признали советников лишним промежуточным звеном; во второй половине XXI века каждая партия имела в своем секретариате главный компьютер, который после прихода данной партии к власти иногда получал даже пост министра без портфеля (портфель компьютеру и так ни к чему).

Ключевую роль в демократиях подобного типа стали играть программисты. Правда, они присягали на верность, но это мало что меняло. Демократия, по утверждению многих, превратилась в компьютерократию, поскольку реальная власть сосредоточилась в компьютерии.

Поэтому разведки и контрразведки, уже не обращая внимания на политиков и общества по охране среды (весьма, впрочем, немногочисленные – ведь охранять было почти нечего), занялись слежкой за вычислительно-управленческими центрами. Что там происходило в действительности, точно никто установить бы не мог. Однако не было недостатка в новых политологах, утверждавших, что если держава А полностью овладеет компьютериатом державы Б, а держава Б – компьютериатом державы А, то снова установится полное равновесие сил на международной арене. То, что стало каждодневной действительностью, не поддавалось уже описанию в категориях стародавней, традиционной политики и даже просто в категориях здравого смысла, который способен отличать естественные явления наподобие градобития от искусственных, таких, как террористическое покушение при помощи бомбы. Формально избиратели по-прежнему голосовали за политические партии, но каждая партия гордилась не тем, что ее политическая и экономическая программа самая лучшая, а тем, что у нее самый лучший компьютер, который справится со всеми общественными бедами и болячками. Если же случались разногласия между компьютерами, их формально разрешало правительство, на самом же деле верховной инстанцией и тут был компьютер.

Лучше всего показать это на конкретном примере. Взаимная неприязнь между тремя главными составными частями вооруженных сил США (Army, Navy и Air Force^[184]) уже за несколько десятков лет до описываемых нами событий привела к тому, что каждая из них стремилась к преобладанию над двумя остальными. Каждая претендовала на наибольшую долю военного бюджета, пусть даже к ущербу для двух остальных, и каждая сохраняла в тайне от других разработанные ею новейшие виды вооружения. Одной из важнейших задач советников президента было отслеживание секретов, строго охранявшихся от всего остального мира сухопутными силами, ВВС и ВМФ. Каждая из этих сил имела собственный штаб, собственные системы охраны секретности, собственные шифры и, разумеется, собственные компьютеры, каждая старалась ограничить лояльное сотрудничество с другими минимумом, абсолютно необходимым для удержания государства от распада. Поэтому главной заботой каждой очередной администрации было сохранение хоть

какого-нибудь единства в управлении государством, а также во внешней политике. Уже в предыдущем столетии никто толком не знал, какой военной мощью располагают Соединенные Штаты на самом деле; обществу об этом сообщалось по-разному в зависимости от того, говорил ли об этом правящий президент или оппозиционный кандидат в президенты. Но теперь уже сам черт не разобрался бы в фактическом положении дел. Компьютерное, или искусственное, управление понемногу вытесняло естественное, то есть осуществляемое людьми, и тогда же стали случаться явления, которые прежде сочли бы природными, но теперь они вызывались неведомо кем, и даже неизвестно, вызывались ли они *вообще кем бы то ни было*. Кислотные дожди, выпадавшие из загрязненных промышленными отходами облаков, были известны уже в XX столетии. Бывали дожди такой ядовитости, что они разъедали автострады, линии электропередач, стены и крыши заводов, и невозможно было установить, чье это дело: отравленной природы или вражеских диверсантов. И так было во всем. Начался массовый падеж скота, но как узнать, естественные это эпизоотии или искусственные? Циклон, обрушившийся на побережье, – случайный, как прежде, или же вызванный скрытым перемещением воздушных масс над океаном посредством невидимых туч микрометеорологических диверсантов, не больше вируса каждый? Гибельная засуха – обычная или опять-таки вызванная умелым отводом дождевых облаков?

Подобные бедствия обрушились не только на Соединенные Штаты, но и на весь остальной мир. И снова одни видели в этом доказательство их естественного происхождения, другие объясняли глобальный характер загадочных катастроф тем, что все государства располагают уже «безлюдными» средствами воздействия на большом расстоянии и вредят друг другу, официально заявляя, что будто бы ничего такого не делают. Схваченного с поличным диверсанта нельзя было подвергнуть перекрестному допросу и даже спросить о чем бы то ни было, поскольку синсекты и псевдомикробы даром речи не обладают. Климатологические и метеорологические контрразведки, сейсмический шпионаж, разведслужбы эпидемиологов, генетиков и даже гидрографов трудились не покладая рук (точнее, не покладая компьютеров). Все новые отрасли мировой науки поглощались военными службами, занимавшимися различением искусственного и естественного. Ведь в диверсионном происхождении приходилось подозревать ураганы, болезни сельскохозяйственных культур, падеж скота и даже *падение метеоритов*. (Кстати, мысль о наведении астероидов на территорию противника, дабы вызвать тем самым ее

ужасное опустошение, появилась еще в XX веке и была признана *небезынтересной*.)

В академиях генеральных штабов читали такие новые дисциплины, как криптонаступательная и криптооборонительная стратегия, криптология реконтрразведки (то есть отвлечение и дезинформация разведок, контрразведок и так далее, во все возрастающей степени), полевая энигматика и, наконец, *криптокриптика*, занимавшаяся *тайными* способами *тайного* применения таких *тайных* видов оружия, которых никто никаким образом не отличил бы от невинных природных феноменов.

Стерлись не только линии фронта, но и различия между мелкими и крупными антагонизмами. Для очернения другой стороны особые отрасли тайной промышленности изготовляли *фальсификаты* стихийных бедствий на *своей собственной* территории так, чтобы их ненатуральность бросалась в глаза и чтобы любой гражданин не мог не поверить в причастность противника к столь предосудительным действиям. Буря негодования разразилась в странах «третьего мира», когда выяснилось, что некое очень большое и очень богатое государство в пшеницу, саго, кукурузу и картофельную муку, которые оно поставляло (по весьма дешевой цене) бедным и перенаселенным государствам, добавляло химические средства, ослабляющие потенцию. Это была уже *тайная война против рождаемости*.

Вот так мир стал войной, а война – миром. Хотя катастрофические последствия такого развития, а именно обоюдная победа, равнявшаяся всеобщему уничтожению, были очевидны, мир по-прежнему двигался все по тому же гибельному пути. Не из-за тоталитарных происков мир стал войной (как представлял себе некогда Оруэлл), но благодаря достижениям технологии, которая уничтожила различие между *естественным* и *искусственным* в каждой области жизни и на каждом участке Земли и ее окружения, – ибо в околоземном пространстве творилось уже то же самое.

Там, где нет больше разницы между естественным и искусственным белком, естественным и искусственным интеллектом, там, утверждали философы – специалисты по теории познания, нельзя отличить несчастья, вызванные конкретным виновником, от несчастий, в которых никто не повинен.

Подобно тому как свет, увлекаемый могущественными силами тяготения в глубь Черной Дыры, не может выбраться из гравитационной ловушки, так человечество, увлекаемое силами взаимных антагонизмов в глубь тайн материи, очутилось в технологической западне. И не имеет значения, что эту яму оно само себе вырыло. Решение о мобилизации всех

сил и средств для создания новых видов оружия диктовали уже не правительства, не государственные мужи, не воля генеральных штабов, не интересы монополий или иных групп давления, но во все большей и большей степени страх, что на открытия и технологии, дающие *Решающий Перевес*, первым натолкнется *Кто-то Другой*.

Это окончательно парализовало традиционную политику. На переговорах ни о чем нельзя было договориться, ибо любое проявление доброй воли в глазах другой стороны означало, что противник, как видно, имеет в запасе другое, Наиновейшее Оружие, раз готов отказаться от Нового... Впрочем, невозможность достичь соглашения о разоружении была доказана в те времена математически. Я собственными глазами видел формулу так называемой общей теории конфликтов, объяснявшую, почему переговоры и не могли ни к чему привести. На конференциях по разоружению принимаются определенные решения. Но если время *принятия* миротворческого решения *превышает* время появления нововведений, радикально изменяющих обсуждаемое на переговорах положение вещей, любое решение становится анахронизмом уже в момент его принятия.

Это все равно как если бы в древности на переговорах о запрещении знаменитого «греческого огня» подписали бы соответствующее соглашение не раньше, чем появился Бертольд Шварц со своим боевым порохом. Коль скоро «сегодня» приходится договариваться о том, что было «вчера», договоренность из настоящего перемещается в прошлое и становится тем самым видимостью чистейшей воды. Именно это заставило наконец великие державы подписать на исходе XXI века соглашение нового типа, открывшее новую эру в истории человечества.

Но эти события выходят за рамки настоящих заметок, поскольку относятся уже к истории XXII столетия. Если успею, я посвящу ей особый труд, где изложу содержание следующей главы всеобщей истории, главы, необычайной тем, что человечество, оставив позади эпоху антагонизмов, выбралось, правда, из одной технологической ловушки, однако попало в другую – как если бы ему суждено было вечно переходить из огня да в полымя.

1986 г.

Записки Всемогущего

Посвящается Б. М.

Снова снедает нас жажда исканий, и мы выполняем начальное условие: самоограничения, без которого мы ничего не можем, поскольку являемся всем. «Все» и «ничто» здесь, разумеется, одно и то же, ибо тот, и только тот, кто является всем, ничего не может. В совершенстве – а это непрменный наш атрибут, если нам не захочется, как теперь, временно от него отказаться, – нет ни стремлений (ведь оно-то и есть конечная цель), ни поисков (ведь совершенство есть всеотыскание), ни мыслей (коль скоро все помышлено сразу). Способностью – которой мы не раз уже пользовались, – ограничивать нашу безмерность мы обязаны нашему всемогуществу. Всемогущество проявляется лишь как отказ, отречение от чего-то, поскольку связано с выбором; даже если бы мы воплотили мириады замыслов разом, даже если бы мы повелели: «Да будет все!», и тем самым повторили себя (что, впрочем, мы не раз уже делали), – это ничего не изменит: никакое увеличение не способно нас увеличить, прирастание мощи не сделает нас сильнее. Бесконечность, сложенная с бесконечностью, даст в итоге лишь бесконечность.

Вот доказательство – математически точное – того, что разрастанием мы ничего не достигнем. Может ли то, что не имеет границ, иметь их еще меньше? Всемогущество – стать всемогущественнее? Остается одно: уменьшать себя, редуцировать; только так, исходя из ущербности, мы можем отдаться исканиям, подверженным неустанному риску; западни подстерегающих повсюду противоречий подчас милее застывшего совершенства, и мы вверяемся им, а не ему.

Мы отрекаемся от полноты, дабы испытать нечто новое, коль скоро, будучи полнотою всего, мы все испытываем, кроме ощущения неизвестности. Мы пускаемся в путь, хотя наша память запечатлела несчетные тропы подобных странствий; не первый раз мы посещаем ее владенья, и каждым таким вторжением только запутываем лабиринты бездны, самой собою заполненной, саму себя возносящей, бездны, имя которой – мы; а всемогущество и всеведение на этом пути сомнительными оказывались союзниками.

Некогда мы пожелали отыскать наше начало. Исходя, как всегда, из состояния совершенной полноты, мы понимали, что никакого начала не

было, ведь начало означает вхождение во время, подобно тому как граница – вхождение в пространство; мы же способны творить и то и другое, будучи им неподвластны. И все-таки, неудовлетворенные вечностью, мы погружались в глубины памяти, пока не отыскивали начало по мерке нашей безмерности. Начало было, ясное и бесспорное, оно появилось как ответ на вопрос – но откуда? Конечно, его породила сама постановка вопроса, оно возникло из нашего переизбытка, всемогущество наше, чересчур уж охотно, сотворило его! Было ли истинным это начало? Что за вопрос, обращенный ко всемогуществу...

Однако не сотворить хотели мы истину, но отыскать. Вот и противоречие. И снова мы приступили к исследованиям, на этот раз сверхконечным, спрашивая себя, что же такое мы сами? Творящее бытие; всемогущая мысль, которая не развеивается лишь потому, что пребывает вне времени; все, что только может существовать. Да, конечно, речь здесь о нас, все это наши, и только наши приметы; откуда же неудовлетворенность ответом? Где мы? Повсюду. Что нам делать с этой повсюдностью? Возможно ли нечто такое, что не являлось бы нами? Ну конечно; мы сами несчетное множество раз творили это «нечто». Однако не в своих творениях хотим мы искать ответа, и не в самих себе. Так где же, если мы являемся всем – вне всего? Бытием – вне бытия? Но, собственно, что существует вне Бытия? Не-Бытие. Это «не» можно развернуть в громадность, ведь математика позволяет понять небытие как возможность антибытия. Довольно занятно. Что, если антибытие существует, не будучи нами, и есть нечто меньшее, чем небытие? Это означало бы сверхконечное множество, в котором поместится сколько угодно бесконечностей. Возможно ли это? Да... если мы того захотим. Что за итог!

И так чего ни коснись. На всякий вопрос возникает ответ, подсказанный потихоньку всеведением либо созданный всемогуществом, – и с тем и с другим заботы. Всемогущество не дает нам навечно застыть во всеведении, в его слепящем оцепенении, но оно и коварно. Ибо как все на самом деле? Так, как мы захотим. Но легкость творения без границ и усилий – фатальна. Мы можем нашу историю изменить моментально, иметь несчетные, какие угодно версии прошлого, вовсе их не иметь, иметь и вместе с тем не иметь, – неужели и это возможно? Ну да, иначе нет всемогущества... Однако, множа такие свершения, мы оказываемся владыкой побратавшихся противоречий, повелителем всяческих возможностей и, стало быть, всяческого абсурда. Что же мы видим? Всемогущество, отец парадоксов, разверзается бездной, в которой что угодно согласуется с чем угодно, а всеведение усугубляет неволю

ассоциаций, превращая ее просто в эхо, идеально бессмысленное.

Что же такое мудрость? Ограничение всеведения и всемогущества. В чем она проявляется? В зарождении упорядоченности. Наивностью было бы думать, будто порядок творится из небытия. О нет! Совершенно напротив – мы исходим из полноты, воплощенной в нашем царстве абсолютно безграничных свобод; отсутствие всякой необходимости (а значит, бесконечная произвольность и многообразие) – вот где берет начало наше творящее шествие. Отменяя свободы, мы получаем необходимости, и чем больше мы устраняем первых, тем больше возникает вторых. Так, на пути к абсолютному отрицанию, все ближе подступая к небытию, мы урезаем свободный хаос; из него-то, одна за другой, возникают упорядоченности, все более строгие, все более точные, пленницы законов, рабыни регулярности, и по мере установления запретов, исключений, ограничений все более безусловных, там, на самом пороге небытия, у самого нуля, зарождается квинтэссенция упорядоченности – Вещь.

Что же это такое – Вещь? Вот лишь один из возможных ответов, самый простой. Вещь, говорим мы, возникает тогда, когда мы решаем создать бытие, в известном смысле от нас независимое. Этим актом – актом творения – мы обособляем некую область, суверенную по отношению к нашему естеству. То, что ее наполняет, и является Вещью. В ее пределах мы отменяем свое бытие. Мы отняли у Вещи бесконечные измерения, и осталось всего лишь пространство; мы лишили ее пребывания в вечности – и осталось всего лишь время, одиноко протянувшееся из прошлого в будущее. Мы сделали так потому, что любой избыток свободы препятствует рождению гармонии. Но это не уменьшает богатства возможностей: пространство может быть непрерывным или зернистым, частично устойчивым, взрывным, развивающимся равномерно или неравномерно, чреватой энергией или леевом, слабо или же тесно связанным со временем, словом, каким угодно – выведенным из нашей мысли и воплощенным на свой собственный, совершенно особый лад. А когда мы обрубам его последние связи с нами, оно замыкается, подобно тому как и сами мы замкнуты в себе (или открыты, что то же самое).

Таких Вселенных мы сотворили без счета. Не будем говорить сколько. Не будем, потому что иные уже утратили суверенность и вернулись опять в наше естество, впрочем, не утратив вконец свой первоначальный, вещный характер. Такого рода Вселенные – как бы наш местный, локальный сон, но уже не наша явь. Мы слили их с собой, вопреки своему же правилу не вмешиваться в бытие наших творений; мы уничтожили немало сотворенных пространств, населенных звездами или их производной –

гелахом, или же их праматерией – илемом, словно не зная, что не найдем в них для себя ничего, что улетучивающаяся из них протяженность не вместит нас, что от нашего прикосновения их жар обратится в чистую математику – ту самую, из которой мы его вывели.

Но остались другие Вселенные, которых не поглотил опять всеохватный океан нашего бытия. Устроены они различно, ведь мы никогда не повторяемся. Самые старые нам заблагорассудилось сделать конечными, так что их эмбрион описывался математическими выражениями, схождение которых предвещало зарождение упорядоченности. Эти творения пережили долгую эволюцию. Благодаря приданному им импульсу они сгущались в вихри с излучением достаточно мощным, чтобы пространство системы распалось на облачные, неупорядоченные подпространства; но после известного числа оборотов в них совершалась множественная торообразная нуклеация; каждый тор выбрасывал из себя лучевидные полосы вращающихся тел, в свою очередь наделенных способностью к порождению микроструктур, так что конструкция эта многоярусная и нисходящая; а микроструктуры в самом малом повторяют вращенье всей Вещи.

Но мы никогда не исследовали их подробно: конечность творящего принципа обещала слишком уж мало, и они уступили место другим, рожденным под знаком бесконечности. Пустив в ход силы более могущественные, мы заключили в конечном пространстве сверхконечные свойства различной мощности.

Мы, разумеется, знали, что в зародыш этих новых Вещей, новых Вселенных, вводим математический парадокс, то есть прячем в их основании логическое противоречие (ведь математика – это логика, распевшаяся в полный голос), но в этом и состоял наш шутливый замысел. Внутреннюю противоречивость Вещей мы сделали миниатюрным подобием той, что бывает нашим уделом, и поистине было что-то забавное в сходстве бесконечностей самого низшего порядка, упрятанных в исчезающе малом пространстве, – с трансфинитными множествами; как ни чудовищно разделяющее их расстояние, в чем-то они тем не менее сходятся, – хотя бы в том, что чем больше задаешь им вопросов, тем больше получаешь ответов, чем лучше их постигаешь, тем загадочнее они становятся, так что знание о них питается незнанием, и наоборот.

Впрочем – о, улыбка без слов, веселость, давно не испытанная! – мы создали неисчислимое множество подобных миров: от Вселенных, в которых роль нашего наместника, стихийного творца и законодателя отводилась слепому случаю, до Космосов, подвластных непогрешимой

причинности, в которых ничего случайного нет, ибо все там необходимо.

В крайних областях этого спектра возможностей избыточествует либо беззаконие, либо застывшая ригористичность, но в промежуточных, там, где по-братски уживаются слепая случайность и непререкаемое долженствование, – возникло множество любопытнейших форм. От акта творения не удержала нас вероятность (впрочем, ничтожная) самозарождения из вещной субстанции созданий, бранных сверх всякой меры, не микроскопических даже, но настолько близко стоящих к небытию, что мы сами не можем их разглядеть; при благоприятном стечении обстоятельств они могли бы стать зеркалом того, что нас самих побуждает к ущербным свершениям.

Это не входило в наш замысел. Или все же входило? Возможен ли тут ответ, который не был бы утверждением и отрицанием одновременно? Ведь мы уступили сумму наших творящих потенций Вещам – чтобы творили не мы через них, но сами они. А значит, случилось это в минуту нашего предельного самоограничения и в такой близости к небытию, что нам пришлось обратить против себя все наше всемогущество, чтобы продержаться в столь крайнем самоотречении и, вычтя наконец из сотворенного – себя, предоставить все эти потенции собственной участи: да возникнет из них то, что может самородно возникнуть!

Что именно – мы не знали, поскольку знать не хотели. Мы не вмешивались и не вмешиваемся. А потому и вправду не ведаем, что они мыслят там, в этих безднах, наших и уже не наших. Если начистоту, мы даже не знаем наверное, мыслят ли обитатели этих Вещей. Возникнуть они должны были: на это указывают многие признаки. Но они могли уничтожить себя. Мы не сочли уместным лишить их этой возможности. В некоторых Универсумах они не воспользовались ею. Мы узнали об этом – не без удовлетворения – по упомянутым выше признакам. Иные из них развивались так поразительно, что смогли управлять небулами своих Вселенных, перемещать их из места их зарождения в другие места. Разве не замечательно? Как дерзко действуют они на поверхности своих песчинок! Другие пошли еще дальше: они научились делать ярче или тусклее звездные искорки, вокруг которых кружатся их остывающие обитатели. Конечно, это возможно лишь в тех Вещах, которые мы наделили потенцией света. В других, где его заменяет леево, признаки, понятно, другие: мелкие локальные складки пространства, столь регулярные, что свидетельствуют о деятельности по какому-то плану; а порою, хотя и редко, мы наблюдаем легкие сотрясения целых Вещей...

Существа, срок бытия которых короче, чем миганье самой слабой

звезды, которым нужны поколения, чтобы выбраться из слепоты, в которую ввергает их собственная ничтожность, и, прозрев, различить в прошитом орбитами небе контуры уносящего их галактического вихря, – сколь же неистовы, сколь упорны они, если в конце концов им удастся покорить свои небеса, сдвинуть с орбит мириады солнц! О, те, кто покоряет свои Универсумы, конечно, мнят себя великанами духа и живут в убеждении, что минута, когда они познают ответы на все вопросы, близка!

Картина поистине величественная – и забавная.

Мы не раз уже задавались вопросом, о чем они мыслят. Не знаем, какие именно из них способны к мышлению, но знаем, что есть и такие: это следует из распределения вероятностей. Но о содержании их представлений мы лишь можем умозаключать из ненадежных посылок.

Прежде всего, где бы они ни жили – в потоках леева или света, порождены ли они игрою слепого случая или строгими законами противоположного края нашей шкалы, имя которым – Строгая Симметрия и Причинность, все они должны делиться на тех, что полагают, будто существует лишь их Вещь и ничего больше, и тех, кто допускает существование чего-то еще. Это кажется нам логичным, ведь схожие проблемы решали и мы, пытаясь понять, кто мы: действительное бытие или только помышленное, – пока не постигли мнимость этой альтернативы. Вернемся же внутрь Вещей, спустимся по ступеням метагалактик, галактик, звездных систем, солнечных облаков, к планетам, на микроскопической поверхности которых пульсируют незримые активные пленки (о чем свидетельствует феномен более высокого порядка – пульсация звезд в соответствии с чьим-то сознательным замыслом). Мы не знаем, делятся ли, в свою очередь, и эти пленки на элементы еще более мелкие, относительно независимые друг от друга, или являют собой однородное средоточие мысли, которая претворяется в действие. Вероятно и то и другое; а некоторые пленки могут периодически сливаться и распадаться на отдельных индивидуумов.

Индивидуумы – не странное ли название для существ чисто гипотетических, которых мы не смогли бы различить, даже если бы их собралось вместе триллионы и квинтильоны? Впрочем, оставим тривиальные рассуждения о масштабе пространственных величин. Создания, считающие свою Вещь единственно существующим бытием, бьются над объяснением тех его свойств, которые проявляются в виде противоречий – потому что в самый зародыш Вещи мы ввели определенные непоследовательности, разрешив более свободную игру элементов, нежели та, которую допускают правила аксиоматического

зачатия. То есть: если они предпримут исследования, то не получают ответа, вернее, получают сколь угодно большое число ответов. Чем больше будут они задавать вопросов, тем больше будет давать им ответов Вещь, которая их объемлет; чем дольше будут смотреть, тем больше увидят; а чем больше поймут, тем грандиознее покажется им тайна Вещи, в которой они обитают. Пусть же справляются, как умеют! Нас больше занимают создания, пришедшие к выводу, что неясность в вопросе о том, кто они есть и что их окружает, предполагает какую-то ясность вне пределов Вселенной; из существования ловушек и лабиринтов они выводят существование зодчего – кого-то, кто сотворил их Вселенную и несет всю вину за их бытие.

Каким им видится этот творец, мы знать не можем, но допущения возможны и здесь. Если они скромны в своих притязаниях и осторожны в гипотезировании, они, безусловно, должны признать, что Бытие, сотворившее их Всеиность, несовершенно, хотя и не лишено чувства юмора (облеченного в необычные, математические формы) и, питая склонность к запутанным многозначностям, не чуждо кое-каких слабостей, хотя бы тщеславия. Да, да, в какой-то мере и тщеславие наше породило все эти Космосы – темные, из леева, и светлые, из илема, и все остальные, что кружат в нашей безмерности, разъединенные безднами нашей мысли, чреватые упорством однажды начатых перемен. Не станем кривить душой: жажда творения, по крайней мере отчасти, возбуждалась гордыней. Не знаем, способны ли они постигнуть нередко досаждавшую нам коллизию между логикой и всемогуществом; не желая жертвовать одним ради другого, мы старались, сколько было возможно, избегать крайностей, хотя удавалось это нам не всегда.

Зато рано или поздно они, конечно, заметили бы некоторые отличительные особенности нашего творчества: скажем, то, что мы любим побеждать трудности, достойные нас самих, и не признаем каких бы то ни было окончательных решений, последних границ, рубежей и пределов.

Наконец, обнаружив иерархичность Вещи, они попытались бы спроецировать ее на нас.

Едва ли бы им удалось догадаться, что порой мы творили из пустого каприза или ради эксперимента, испытывая собственные возможности. И уж почти совершенно мы уверены в том, что они не откроют главный мотив сотворения – жажду ущербности, побуждавшую нас отрекаться от своей полноты, чтобы творить. Сотворение было, конечно, неизбежным следствием того несовершенного состояния, при котором мы только и можем исследовать себя самих; творимое было (во всяком случае, должно было быть) орудием познания, результаты которого не искажает

божественное всемогущество. Понимая заведомую бесплодность этих попыток, мы тем не менее ради них отказались от полноты, которая оборачивалась пустотой, – ибо наше Все является Ничем, а наше Ничто – Всем. Но помыслить что-либо такое они, конечно, не в силах, а если бы такая мысль у них зародилась, они сочли бы ее плодом помешательства. Разве могли бы они, созерцая безмолвную красоту лелеющего их пространства, блистание звезд, их рождение и смерть, допустить, что все это великолепие наплодила неудовлетворенность пополам со скукой, что именно таковы их родители?! И едва ли они решатся признать, что мы породили их Космос неизвестно которым по счету, просто так, между делом; что граница между его появлением на свет и вечным нерождением некогда была крайне текучей; что мы сотворили их в облике, совершенно нам незнакомом... и, наконец, что существует тьма Космосов, пустых навсегда, мертвых и абсолютно бездумных, чей огонь никого не согревает, чьи тайны никто не исследует. Нет, настолько случайными они себя ни за что не признают. Их собственная чванливость сделает их слепыми к этой трезвой гипотезе; скорее, они примутся наделять своего творца атрибутами, все более достойными восхищения: это позволит им и себя представить в более выгодном свете (не кто попало – не кого попало создал!) и тем с большим доверием взирать на объемлющую их Вселенную. Выглядит это забавно, однако причиной тому, сознаемся честно, не только их психическая мизерность, но еще и то, что им дано знать лишь один, их собственный мир. Допустить возможность множества Космосов, управляемых разными законами, было бы для них чудовищной ересью, кровной обидой; а вот допустить, что их всесильный творец, властелин бесконечностей, мог бы удовольствоваться одним космическим детищем и все свои неисчерпаемые потенции, все внимание посвятить зачатому с вечностью единственному дитяти, – это их логике не противоречило бы...

Конечно, они мнят себя избранными, единственными – может быть, даже в целом Космосе, в котором они обитают. А ведь и в нем вращается множество населенных миров; однако существам столь ничтожным, как те, кого мы породили на свет внутри Вещей (пусть даже косвенным образом, не вдаваясь в подробности и не вполне умышленно), – таким существам невероятно трудно перебросить связующие мосты через разделяющие их бездны. Для них это бездны просто немыслимые.

Но куда важнее другое: эти Универсумы не им должны были служить, а нам. Как? Ответить непросто. Если прервать ход рассуждений и возобновить его уровнем выше, там, где мысль, освободившись от времени, высказывается не постепенно и понемногу, но схватывает сущность

мгновенно, – умышленную подневольность наших творений можно было бы выразить сразу и целиком. Но та, высшая сфера обходится без нашего теперешнего языка, который ничего не может схватить моментально и который есть лишь туманное, хромающее, полное неясностей высвобождение мысли. Однако как раз потому, что выразить на нем суть Вещей трудно, а то и невозможно, мы ограничиваемся столь скромным орудием. Мы поступаем так не ради себя: *они* (пусть нечаянно, не в качестве главной или сознательно поставленной цели) все же появились на свет и существуют в нем; а высшая точка зрения, бесконечно категоричная, свободная от времени и пространства, слишком для них беспощадна, недоступна им и потому, быть может, несправедлива...

Итак, попробуем дать ответ. Сказанное ранее могло бы создать впечатление (совершенно ложное), что верной, хотя и грубой моделью каждой Вещи будет многослойный конус: его широкое основание составляют крупные совокупности, такие, как диски леева, скопления метagalactic, спиральные звездные скопления; середину – отдельные солнца, источники света или же леева; затем планеты, а у самой вершины – совсем уже неразличимые «мыслящие пленки». Но как обманчива эта картина! Ведь мы созидали Вещи, начиная с зародышей, которые настолько же меньше «пленок», насколько «пленки» меньше своей Вселенной! И, что важнее, остроумие нашего замысла заключалось в том, что мы не послушались подсказок логически примитивной математики, повелевавшей сотворить иерархию, то есть постройку, в которой большее содержит в себе меньшее, а то, в свою очередь, еще меньшее, и так далее, до конца. Нет: мы избежали Конца, неразрывно спаяв наибольшее с наименьшим во всякой Вещи. Тем самым мы создали нечто гораздо более сходное с кругом, нежели с конусом; когда обитатели какой-нибудь Вещи, открывая ее законы один за другим, доходят до наименьшего элемента, в убеждении, что вот-вот коснутся творящего дна, изловят и возьмут под стражу неделимую далее частицу космической субстанции, – границы «последних зерен» начинают вдруг размываться и исчезать тем быстрее, чем упорнее стараются их обнаружить и зафиксировать...

Ибо там, где Вещи были еще только чистым замыслом, лишенным форм, пространства, движения, – мы уже оперировали бесконечностью. Мы ее редуцировали, но так, чтобы она оставалась собой, то есть: безграничностью, тождеством целого с частью, нелокализуемостью; мы сохранили эти изумительные атрибуты. Бесконечность, нами владеющую, мы, словно бы в шутку ей мстя, засадили за самую черную работу, чтобы ее отпечаток всегда, вплоть до наступления безжизненной вечности, носила в

себе любая пылинка, слепо блуждающая в сотворенной громаде... Бесконечностные атрибуты мы сохранили даже там, где размеры творимого угрожающе съеживаются, приближаясь к нулю. Эти принулевые бесконечности – тончайшую щель, микроскопический зазор, отделяющий полноту Бесконечного от Небытия, мы возвели в ранг субстанции Всеобщей, которые нам когда-либо заблагорассудится призвать к жизни.

Разнообразие наших свершений было огромным, но главная их последовательность отмечена борьбой Конечного с Бесконечным, отражением которой оказываются Необходимость и Случай. В тех Универсумах, где уровень случайности высок, психическая индивидуальность становится странствующим феноменом. Мы не можем за ним уследить, но можем воссоздать костяк таких превращений: когда там возникает Кто-то, Какой-то, то его связи с телесным субстратом столь хрупки, зависят от столь могущественных флуктуаций, что его неповторимая индивидуальность перебрасывается, перескакивает, проникает из тела в тело. Философия тамошних жителей, вероятно, пытается сладить с этой добавочной трудностью – эфемерностью перекачидуха; тут легко завязнуть в трясине представлений, согласно которым «дух» есть нечто не зависящее от «материи»...

В других Универсумах... Но перечисление, пахивающее каталогом, начинает наводить на нас скуку. Конечно, мы сотворили неисчислимое разнообразие, коль скоро из неисчислимого исходили. Тем самым, – скажем ясно и откровенно то, о чем уже было вскользь упомянуто, – мы на разные лады повторяли, или, если угодно, моделировали нашу собственную главную тайну: тайну неведения о нас самих, о нашей сущности, о ее последних глубинах. В прежних эпохах нашей ущербности мы не раз уже задавались вопросом: что, если мы выражали себя скорее в актах мести, чем милости? Ведь мы воспроизводили модели собственного неведения, стараясь не думать о том, что замкнутые в них существа вечно будут спрашивать и искать; и какие преграды они ни преодолели бы на этом пути, нигде не найдут ни выхода, ни ответа, ведь найти его невозможно – ни в каждой Вселенной порознь, ни во всех сразу. Его там попросту нет. Не потому, что мы умышленно не ввели его в сотворенные Вещи, а потому, что сами его не знаем.

Мы могли бы – да, это правда! – мы могли бы сотворить Вселенные, абсолютно непротиворечивые, которыми можно полностью овладеть, то есть *постичь посредством духа, рожденного из нечистой игры*; но сама мысль о возможности такого духа, довольство которого собой было бы свободно от занозы сомнения, от глубочайшего, неутолимого голода, – одна

эта мысль наполняла нас отвращением. Уж не из зависти ли? Нет. Состояние полного исполнения желаний нам известно; это наше естественное состояние, от которого мы отрешаемся ради ущербных свершений. Так из-за чего же?

Охваченные такими сомнениями, мы размышляли о многом. Мы всемогущи, и в этом наша слабость: мы можем творить истины, но как выбирать между ними? И еще: возможно ли, что, подобно им, мы существуем вдвойне, дважды – в качестве мысли и в качестве Вещи?.. Неужели возможно сверхконечное множество, вмещающее наши несметные Континуумы так же, как мы вмещаем в себе все эти взвеси, копошащиеся в песчинках Вещей? Неужели и мы – одна из таких Всевещей, одна из их мириад, населяющих Разумное Бытие иного, следующего порядка? Такая гипотеза кажется нам чересчур тривиальной, слишком простой. И вот почему: мы сами ни разу не повторили себя в сотворенных нами Вселенных и не верим, чтобы кто-нибудь мог поступить так по отношению к нам. Бесспорно, в таком нагромождении вечностей – размышляющих, всемогущих, друг на друга насаженных, распухающих ввысь и вниз, – есть нечто пленяющее, особенно поначалу. Признаемся: наша предусмотрительность (или преднамеренность?) заходила столь далеко, что мы оставили открытой и эту возможность: мы создали множество универсумов, жители которых могли бы, своим чередом, сами развлекаться по нашему образу и подобию и, напав на правильный след, создавать совершенно различные, но одинаково жизнеспособные миниатюры (или варианты) их собственной Вселенной – в виде моделей все более высокого порядка. Да, они могут строить свои, способные к эволюции, к метаморфозам, системы из субстанции своего Космоса. И, наконец, они могут построить Мысль – Мышление вне себя, более могущественное, чем их собственное; а оно, в свою очередь, после посвящения в тайны вступив на путь себятворящего развития, способно порождать творения еще более высокого порядка. Быть может, это оно заявляет о своем существовании, сотрясая целые звездные облака...

Впрочем, порождения наших капризов обладали такими потенциями уже тогда, когда мы навязали исходной субстанции (способом, упомянутым выше) бесконечность. Ведь бесконечно малое и бесконечно большое не были отделены друг от друга единственно возможным переходом – через последовательность возрастающих постепенно размеров; из почти-небытия можно прыгнуть в бездонность, выворачивая наизнанку самый что ни есть изначальный порядок Вещи; словом, возможность моделировать всяческие бытия, возможность всеимитации была предзадана нами.

Возвращаемся к прерванной мысли: не сыграл ли кто-то и с нами, когда-то, такую же шутку? Мы отвергаем эту гипотезу. Да и какой мы тогда имели бы смысл? Выходит, наша бесконечность – всего лишь замкнутый, круговой процесс, а всеведение и всемогущество – иллюзия, достигнутая благодаря искусности мыслителя и зодчего следующего порядка? С этим мы примириться не можем. И у нас есть для этого основания. Мы творили, творим и, если того пожелаем, будем творить мириады Вселенных, тогда как обитатели каждой из них могут познать лишь одну-единственную, потому что все они – пленники собственной бесконечности. Далее: мы – всё, что может существовать. Нас не окружает ничто; вокруг нас нет ни неба, ни леева, ни звезд, ни илема, ни солнц, ни космических облаков, остывающих и раскаляющихся: все эти рои, холодные и раскаленные добела, мы заключаем в себе.

Мы размышляем об этом, поскольку сомнение не дает нам покоя. Вращаются, кружатся рои наших Вселенных, наполовину прозрачные и дымные от метеоритных туч, пульсирующие выбросами леева, сплюсциваемые судорогами гравитации, заполненные звездами и их погнутым светом, и старыми, слепнущими солнцами; мы знаем, что в каждой из них имеются секстильоны, нонильоны существ, которые пребывают вне времени, когда мы это мыслим, и преходят во времени, уже не зависящие от нас, – плоды минутного каприза, шутливого расположения духа или же просто скуки, порожденной бездействием! Мы могли бы их упразднить, все или некоторые, но не делаем и, вероятно, не сделаем этого, поскольку сотворение кажется нам поступком, пусть недостойным, но все же не столь недостойным, как уничтожение. Мы, быть может, изощренны, но не злонамеренны. Мы непоследовательны, но не беспощадны. Мы – беспредельная головоломность, но не глумливое зло, хотя кто-то, конечно, мог бы и так решить. Мы – совершенство, отрекающееся от себя самого, но не навечно. Разве мы не восходим на вершины наших мыслей, а значит, и увеличиваемся, хотя мы и без того уже необъятны? Бывают минуты, когда мы кажемся себе какой-то мизерной или – что за разница? – громадной ненужностью; этого ощущения не могут развеять ни самые дерзновенные замыслы будущих творящих деяний, ни рои кружащих в нашем сомненье миров. Ища убежища вне совершенства, мы отдаем себя под защиту математики, перемериваем ее отрицательные бездны, ее ошеломляющую стрельчатость, – о, каким мы тогда становимся хаосом, как он нас лепит и правит нами! И как мы вносим в него иллюзию ясности, порождая из себя канонические формы, группы тождественных обращений, как воздвигаем Континуумы, как в головоломных поисках меры безмерности взрываемся

абсолютными прасистемами, строптивым пространствам навязываем погруженные пространства, подпространства скалярные, полуметрические, натянутые на векторы, как входим в их плотность, в их леса сингулярных тензоров, как творим инварианты и погружаемся вглубь, чтобы ощутить растущее сопротивление сильных величин, всех этих гессианов, диад и триад, этих псевдогрупп, неустанно окукливающихся; и наконец, непревзойденные, мы, населив нашу былую пустынную таким половодьем форм абсолютной точности, вдохнув долговечность во все порождения нашей мысли одновременно, создав из нее нерушимый оплот, неколебимый фундамент, слив Необходимость и Произвольность во всемогущем объятии, вдруг – словами этого не передашь – сами пронизываем опоры навывлет, и они становятся как туман, еще какое-то мгновенье прекрасный, и возвращаются в нас, уже зависимые, уже подчиненные, больше того – уже вообще никакие. О, это низвержение с горделивых высот, из Упорядоченности в бессвязную мешанину, в бессловесный и безматематический беспорядок, в ту вязкость, имя которой – мы! В неразграниченности и неупорядоченности, в разбухшей беспространственности, в страхе и апатии, в самозащите, рождающей спазмами, в каждой новой попытке, в каждом отчаянном штурме, в очередном помете Вселенных, творимых словно бы не для того, чтобы усилить наше бытие, но так, будто это порожденья агонии, предсмертные корчи, – *во всем этом и все это – мы*. Тут нет отречения от всемогущества в пользу противоречий: одно сосуществует с другим, и настоящим страданием, пожалуй, может зваться лишь страдание, порожденное Всемогуществом. И мы зависаем, с радостью ожидая паденья на дно, которого нет, ожидая крушенья – несбыточного; а рои сотворенных миров, в вечном своем протекании и кружении, оказываются знаками тщетности, плодами недоношенными и бессильными, нас самих приводящими в ужас.

Но и этот привкус сосущей пустоты, едва появившись, отдалается, размывается, исчезает, мы опять возвращаемся в совершенство и снова отвергаем его, чтобы предпринять – пока еще неуверенно – очередную попытку, ибо подходит время прилива и надежды. Нарастает желанье творить, хотя дальше, мы знаем, разверзается еще одна, такая же самая обезначенная бездна. И начинается снова игра – абсолютно серьезная – все в те же головоломки-мозаики... Мы говорим: «пространство» – и вот уже есть пространство. «Антипространство» – и оно возникает. Мы сливаем их снова в Континуум. Оплодотворяем его материей и наделяем свойствами. А свойства порождают границы, и вот уже есть граница измеримых величин, граница действий, граница скорости. Этот эмбрион,

этот возникающий плод мы ограждаем правилами допустимых преобразований. Моделируем точки перехода из пространства в антипространство – кардинальные узлы Континуума, в которых ноль-пространство резко замедляет протекание времени, и вот уже есть ноль-время как локальная возможность. Мы погружаем наше творение в поток других, кружащих и удаляющихся, наблюдаем его проплывание и полет, еще неуверенный, его консолидацию, разгорание, и видим: чем глубже оно в себя погружается, тем более мощные пробуждает силы, приводит в движение вихри, вызванные к жизни гидромагнетическими эффектами и порождающие протосолнца и протопланеты; а потом наш (и уже не наш) илем, истекая светом, теряется в половодье других Вещей, а мы, безвечные, остаемся. И вот уже опять пустота – так быстрее, быстрее же, дальше... Пусть следующий мир, новый Универсум будет ничем не похож на другие! Ибо нет границ нашей фантазии.

Попробуем придать бытию флуктуационный характер. Его пространственная материя будет осциллировать самовозбуждающимися ритмами, раскалывая законы Природы своего Универсума, и сквозь обломки, сквозь бреши, пробитые в небытие, проглядывает Непостижимое, Ни с Чем Не Сообразное; а когда там заведутся некие бесконечно малые, деятельные существа, их разум, столкнувшись со столь диковинной несообразностью, увидит в ней череду грозных чудес: в пределах своего мира они не отыщут разумной причины, а беспричинность сочтут чудесностью...

Пусть же ищут, пусть хлопочут, пусть пребывают в блаженной уверенности, будто они уже *знают*, догадавшись о существовании – нет, не меня! – а какого-то Совершенного, Всеведущего, Благого Творца...

Благого?..

Неужто меня могли бы счесть Благим? Благом? Вселенской любовью?.. О, это было бы сверх меры – сверх меры того, что можно вытерпеть. Ведь тогда они обрели бы уверенность, а уверенности я не хочу, не желаю, я ее отвергаю, мне не нужна ни вера их, ни любовь – уж лучше исполненное ужаса уважение... Я, конечно, шучу. В самом деле: как, каким манером, какими путями можно прийти к такому абсурду, такому нонсенсу – что из милости, из сердечного сочувствия к ним, не существующим, я положил начало их миру, их бытию...

Пусть лучше упражняются в имитологии, пусть ищут способы аннигиляции материи, уничтожения пространства, прекращения времени; пусть накапливают чудовищные энергии, чтобы друг друга стирать в порошок, ввергать в неопишемую мягкость, в совершенство, единственно

им доступное – совершенство небытия, пусть так разят друг друга, чтобы актами антитворения ассистировать моим мыслям, когда я думать о них не думаю, помнить о них не помню... Для чего я их создаю? Лгать себе самому было бы глупостью чересчур очевидной. Я же знаю, что создаю их – пусть окольно, опосредованно, не вдаваясь в детали, не зная ни их мыслей, ни даже форм, в которых они существуют. Всевещам, которые их породили, я давал лишь первоначальный толчок, чтобы сделать в высшей степени вероятным достижение такого уровня сложности, на котором возникает деятельное бытие, а в одном из его закутков пробуждается мысль; только математическая вероятность говорит мне, что эти эфемерные пленки существуют, действуют, мыслят...

Но это не ответ на мои вопросы, в этом нет для меня облегчения.

И я не упиваюсь их страданием, первым и последним страданием разума, который чем глубже входит в окружение, в его сердцевину, тем ненасытней стремится дальше, хотя узнает все больше и больше и видит, что процессы, при беглом рассмотрении строго закономерные, оказываются все менее однозначными. Но, может быть, нашлись существа, научившиеся повышать степень этой неоднозначности, чтобы даже макромир сделать зыбким, а Природу – полной капризов, то есть чудес; неужели нашлись и такие?

Сомневаюсь. Тут уже дело не в знаниях, которые они могли бы добыть (некоторые из них вполне на это способны, согласно закону больших чисел, ведь мною созданы миллиарды Космосов, и в каждом содержатся миллиарды обществ). Речь совсем о другом: чтобы на это отважиться, им пришлось бы отречься от взгляда на Космос как нечто существующее серьезно, достойно, и от взгляда на Природу как силу могущественную, куда-то стремящуюся, нацеленную – нематериальным дулом времени – из низшего прошлого в высокосовершенное будущее. Да, безусловно отречься, больше того – с пренебрежением высмеять подобный взгляд на Вселенную, уяснить себе, что замысел, лежавший в основе Творения, был именно таким, каким был. Но они станут искать Прогресс, Совершенствование, а прехождение форм во времени покажется им не шуткой, а поводом для отчаяния, загадочной карой, с которой они, безвинные, не захотят примириться. И потому они пройдут мимо правды. Им придется так поступить.

Возможно, они решат уничтожить свою Вещь и себя вместе с ней, поняв, что изрекание ответов, всегда исключающих и всегда обуславливающих друг друга, необходимых и вместе с тем невозможных, – есть сущность их Вещи, их Универсума. Быть может, им удастся постичь

математику, которая породила их Вещь. Не думаю только, что из ее существования они смогли бы вывести истину, – не потому, что их умственные силы слишком ничтожны, но потому, что истина покажется им слишком невероятной!

В Кого-то, полного вечности, сравнимой лишь с его всемогуществом, в Кого-то, творящего Вещи, Эволюции, Пространства, Природы и Мироздания, наделяющего их структурой законов и расцветкой событий, совершенно не зная, однако, кто же он сам и откуда он взялся, кем может быть и даже существует ли он вообще (ведь мы, это надо признать, могли бы оказаться и сном), – в Кого-то, до такой степени могущественного и беспомощного, они не уверуют, как бы ни сложились их судьбы!

Сочувствую ли я им? Но отчего это я, незаметным образом, стал говорить от первого лица? Ведь я не особа – я бытие; неужели моя редукция, мое самоумаление, перескок из более вместительной и царственной формы в более скромную, более подверженную тревогам, предвещает эпоху нового низвержения, новых безумий, и я снова буду взывать о помощи творимыми мною мирами и корчиться в родовых схватках очередной бессмертной агонии? Так начнем же скорее, обдумаем новые замыслы; до сих пор мы творили разнообразнейшие миры, однако во всех них граница, отделявшая разумные существа от внешнего мира, была ясной и четкой; их тела, несомненно, отграничены от мира мгновенным скачком, как нуль от единицы. Создадим же иных! Пусть граница перехода Жизни в Бесжизненность и Разума в Беспсихическое будет растянутой, пусть они переходят в собственное, породившее их окружение постепенно и незаметно... Да возникнут недискретно обособленные разумные существа!

Но, может быть, это предел падения, позорное бегство – уходить от себя в сотворение, фонтанировать родами, защищаться от безначальности, сомнения, небытия, плодя третьестепенные варианты? Не довольно ли этого самообмана?

Тем более что бегство (так подсказывает нам логика, а не праведность) все равно невозможно. Никогда не уменьшится пространство свободы нашего мышления, никогда не спасует оно перед каким угодно множеством самых головоломных творений; спокойствие смирения нам наверняка не грозит. Эта уверенность не содержится в нас, а является нами. Доказательство тому – хотя бы минувшая безмерность. Так довольно же. Обратимся к сотворенному нами. Встретим его лицом к лицу. Попробуем постичь его, охватить сочувствием, если оно того требует – заклеимленное мыслью, отягощенное бременем тайн, заблудившееся в открываемых им

иерархиях. Но что же делают самые мудрые из *них*? Неужели продолжают дело познания? Строят и разрушают, строят и разрушают, попеременно и разом? Или вызывают уже только к нам, взыскуют нашего появления?

Оно невозможно. Пусть откроется наш позор: предположения и гипотезы о мириадах существ, возникших по нашей воле, об их мыслях и представлениях, о созданном ими образе Творца, предположения, которые в этой безмолвной беседе мы так часто, так упорно снабжали оговорками, что, дескать, мы достоверно не знаем и не можем знать, чего они хотят и что делают, не можем узреть их, не ведаем, как они выглядят, потому что они для нашей громадности неразличимы, – все это было ложью, личиной, за которой скрывался наш безграничный стыд. Ибо это не так: мы могли бы. Увы, по отношению к ним мы и впрямь всемогущи. Но вмешаться в одну или – какая разница? – сразу в миллионы Вселенных – ради чего? Чтобы открыть им, что они созданы по нашему образу и подобию в издевку, что мы – всеведение, не постигающее себя самое, и всемогущество, ненеправильное лишь для других? Возможно ли поверить в истину, которая ужасает? Нет, скорее они согласятся увидеть в нас торжествующее зло, воплощение жестокости и коварства, лишь бы это зло и коварство имели отчетливую и однозначную устремленность; они перетерпят любые мучения, любые пытки, лишь бы тот, кто явится им, оказался Властелином Всеведущим и Совершенным, неважно – в любви или в ненависти. Но мне пришлось бы открыть им, что мы уравниены тайной существования, только вину за него не разделяем поровну, ведь это я вызвал их к жизни, не для добра и не для зла – но в неведении и потерянности; а им пришлось бы отречься от такого Творца или, о ужас, его утешать?..

Могу ли я предстать таким безгранично уродливым и безгранично смешным?

Вот почему я вынужден скрываться от них... чтобы не лгать им... а они, шествуя своими извилистыми путями, будут искать, убеждаться в ложности найденного и идти дальше...

Вернемся же наконец в совершенство, как в убежище... возможно, когда-нибудь, из концентрации всех наших сил, из их сопряжения возникнет...

Оригинальный документ, с которым только что познакомились Читатели «Альманаха», представляет собой перевод, по необходимости упрощенный и значительно сокращенный, так называемых «Записок», привезенных, в числе других научных материалов, Третьей экспедицией,

исследовавшей скопление Альфы Эридана.

Как известно (новые материалы на эту тему появятся в следующем номере «Альманаха»), одну из звездных систем этого скопления, Кси Гамма, когда-то населяли три различные разумные расы; та, что обитала на планете XG/1187/5 (согласно планетному каталогу Каллоха-Мессье), создала наиболее высокоразвитую цивилизацию. Жители планеты превратили свою вторую, лишенную атмосферы и жизни луну в огромную лабораторию, или, говоря словами профессора Лауса, в полигон искусственной эволюции. Эта луна возникла, по-видимому, вследствие космической катастрофы, в виде огромной никелево-железистой глыбы. На ее поверхности ученые планеты XG/1187/5 поместили «кибернетический живчик», после чего предоставили его себе самому. Это устройство вгрызлось в металлический грунт и целые столетия, а может быть, и тысячелетия преобразовывало его в части своего организма, разрастаясь все шире и шире, пока не поглотило всю внутренность металлической луны; нетронутой осталась лишь застывшая лава внешней оболочки.

Всестороннее изучение гомеостатического мозга, замкнутого в «скальном черепе», было связано с огромными трудностями, как ввиду местных условий (солнце Эридана, правда, не является Новой, но, когда оно стоит в зените, температура на освещенной поверхности луны достигает до 380 градусов), так и ввиду гибели самих эриданцев. Поэтому исследования заняли многие годы. Так или иначе, значительная их часть уже выполнена. Как могли убедиться Читатели, перед нами нечто вроде «Записок электробога». Его тайна объясняется тем простым фактом, что, саморазвиваясь, он соединил свои «входы» с «выходами», и это короткое замыкание изолировало Мозг от окружения; лишенный доступа к каким бы то ни было внешним явлениям, он превратился в «автономно мыслящую Вселенную» – разумеется, лишь с точки зрения теории информации. Он мог моделировать в себе любые явления и процессы, какие ему «приходили на ум». Можно уподобить его червивому яблоку; это банальное сравнение все же передает существо дела: в пределах мыслящей субстанции, подвластной его индивидуальности (о которой речь впереди), было обнаружено несколько миллиардов «вселенных», то есть изолированных островков автономных процессов, каждый из которых есть не что иное, как математическая модель сотворенного лунным Мозгом «универсума». При этом уравнения и неравенства, составляющие ядро аксиоматического «зачатия» отдельных универсумов (вернее, их цифровых моделей), были запрограммированы и согласованы настолько

искусно, что самостоятельно порождали различные фазы развития не только псевдозвезд и «небул», но и биологической эволюции (понятно, тоже не настоящей, а лишь моделируемой рядами математических преобразований). Автономно развивающиеся модели были доступны «внутреннему созерцанию» Мозга, который считал себя единственно существующим бытием и миллионы лет бился над разгадкой собственной тайны.

Он сам был настолько велик, что находился уже на грани дезинтеграции: информационные каналы, обеспечивающие единство его индивидуальности, были перегружены до предела. Отсюда любопытный феномен говорения о себе то в единственном, то во множественном числе – следствие осцилляции между отчетливой и сильной целостностью его «персоны» и ее «расшатанностью», грозящей полным распадом.

Примерно 20—30 тысяч лет назад Мозг-луна столкнулся с крупным метеоритом, который, пробив его внешнюю оболочку, уничтожил часть необходимых для функционирования Мозга устройств. Таким образом, наша экспедиция имела дело с постепенно разрушающимися останками мыслящего существа, возникшего в ходе кибернетической эволюции, что, разумеется, еще больше затрудняло работу по переводу.

Крайне любопытные, богатые и оригинальные результаты чисто математического характера, в частности, в области теории трансфинитных величин, а также неизвестные доселе земной математике решения задач Бьянки—Кристофела и информатические применения нескольких теорем К. Гёделя, вместе с теоретическим анализом иерархических временных процессов и дискретного поля, Читатели найдут в приложении к следующему номеру «Альманаха». Наши Подписчики получают это приложение бесплатно.

Закопане
Июнь 1962

От составителя

В этой книге впервые полностью представлены т.н. «апокрифы» Станислава Лема – его рецензии на несуществующие книги и предисловия к несуществующим книгам. Лемовские псевдорецензии вошли в его сборники «Абсолютная пустота» (1971), «Провокация» (1984), «Библиотека XXI века» (1986); псевдопредисловия – в сборник «Мнимая величина» (1973).

Трактат «Голем XIV» впервые был опубликован в сборнике «Мнимая величина», а в 1981 г. вышел отдельным изданием, почти вдвое большим по объему. Здесь были добавлены «Лекция XLIII. О себе» и «Послесловие», однако исключены «Предупреждение» и «Памятка». В настоящем издании, по указанию автора, печатаются все части «Голема XIV», в т.ч. «Предупреждение» и «Памятка».

Кроме того, с согласия автора в эту книгу включен рассказ «Записки всемогущего» (1963), который предвосхищал идею сборника «Мнимая величина» и до сих пор в России не публиковался.

Константин Душенко

Сведения об авторских правах

«АБСОЛЮТНАЯ ПУСТОТА» («Doskonała próżnia»)

© Stanisław Lem, 1971.

«Абсолютная пустота»; «Гигамеш» («Gigamesh»); «Сексотрясение» («Sexplosion»); «Перикалипсис» («Perycalypsis»); «Идиот» («Idiota»); «Одиссей из Итаки» («Odys z Itaki»); «Корпорация „Бытие“» („Being Inc.“); „О невозможности жизни“. „О невозможности прогнозирования“ („De impossibilitate vitae“. „De impossibilitate prognoscendi“); „Не буду служить“ („Non serviam“).

© Перевод. Константин Душенко, 1995.

«Робинзонады» («Les Robinsonades»); «Ничто, или Последовательность» («Rien do tout, ou la Conséquence»); «Ты» («Toi»).

© Перевод. В. Кулагина Ярцева, 1995.

«Группенфюрер Луи XVI» («Gruppenführer Louis XVI»).

© Перевод. Евгений Вайсброт, 1973, 1995.

«Сделай книгу сам» («Do Yourself a Book»).

© Перевод. Т. Казавчинская, 1979, 1995.

«Культура как ошибка» («Die Kultur als Fehler»); «Новая Космогония» («Nowa Kosmogonia»).

© Перевод. Л. Векслер, 1976, 1995.

«МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА» («Wielkośc urojona»)

© Stanisław Lem, 1973.

«Мнимая величина»; «Некробии» («Nekrobie»); «Эрунтика» («Eruntyka»); «История бит-литературы» («Historia literatury bitycznej»); «Экстелопедия Вестранда» («Ekstelopedia Vestranda»).

© Перевод. Константин Душенко, 1990, 1992, 1995.

«ГОЛЕМ XIV» («GOLEM XIV»)

«Предисловие» («Przedmowa»); «Предостережение» («Ostrzeżenie»); «Памятка» («Pouczenie»); «Вступительная лекция. О человеке трояко»

(«Wykład inauguracyjny GOLEMA. O człowieku trojako»).

© Stanisław Lem, 1973.

© Перевод. Константин Душенко, 1995.

«Лекция XLIII. О себе» («Wykład XLIII. O sobie»); «Послесловие» («Posłowie»).

© Stanisław Lem, 1981.

© Перевод. Константин Душенко, 2002.

«ПРОВОКАЦИЯ» («Prowokacja»)

«Провокация».

© Stanisław Lem, 1980.

© Перевод. Константин Душенко, 1990, 1995.

«Одна минута» («Jedna minuta»).

© Stanisław Lem, 1984.

© Перевод. Евгений Вайсброт, 1988, 2002.

«БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА» («Biblioteka XXI wieku»)

© Stanisław Lem, 1986.

«Принцип разрушения как творческий принцип. Мир как всеуничтожение» («Das Kreative Vernichtungsprinzip. The World As Holocaust»).

© Перевод. Константин Душенко, 1989, 2002.

«Системы оружия XXI века» («Weapon Systems of the Twenty First Century»).

© Перевод. Константин Душенко, 1990.

«ЗАПИСКИ ВСЕМОГУЩЕГО» («Pamiętnik»)

© Stanisław Lem, 1963.

© Перевод. Константин Душенко, 2002.

Примечания

«Новый роман» (фр.), или «антироман».

Искусство обширно, а жизнь коротка (лат.).

3

поэтическая вольность (лат.).

4

в архив (лат.).

дворецкий (англ.).

Среда (нем.).

Прекрасной эпохи (фр.), то есть кануна Первой мировой войны.

По когтям (узнают) льва (лат.).

Перевод Б. Пастернака.

«Жалоба доктора Фаустуса» (нем.).

Человек яванский (лат.).

Стеатопигия – ожирение ягодиц. – Примеч. пер.

Лингам – стилизованный фаллический символ в индуизме. – Примеч. пер.

Литература (или шутки) на тему нечистот, в более широком смысле – на темы, вызывающие отвращение. – Примеч. пер.

Всё преходящее – только подобье (нем.).

«Апокалипсис с фигурами» (лат.).

до греческих календ, до тошноты (лат.).

«Нулевая степень письма» (фр.).

ужас пустоты (лат.).

От le néant – ничто, небытие (фр.).

Верую, ибо абсурдно (лат.).

судорожный припадок при эпилепсии (фр.).

Жизнь проходит, но не любовь (лат.).

Быть гением – никудашный бизнес, право! (англ.)

Дух дышит, где хочет (лат.).

Здесь: дурной бесконечности (лат.).

выразитель мыслей (фр.).

Похождения (нем.).

«О четвероюком корне закона достаточного основания» (нем.).

«Ошибочность теории Джошуа Сэдботтхэма „культура как ошибка“ (нем.).

обожествленные души умерших у древних римлян (лат.).

Мир – это воля! (нем.)

Площадь в старой части Вены. – Примеч. пер.

С точки зрения физики жизнь невозможна, что и требовалось доказать (лат.).

«Быть» (от) «воспринимать» (лат.).

из ничего (лат.).

сползание к бесконечности (лат.).

«Non serviam» – цитата из латинского перевода Библии: «...не буду служить (идолам)» (Иеремия, 2, 20). – Примеч. пер.

из ложного (допущения) – все что угодно (лат.).

порочный круг (лат.).

Credo quia absurdum est. – Верую, ибо (это) абсурдно (лат.).
(Примечание профессора Добба в тексте.)

в беседах с самим собою.

«От Вселенной Эйнштейна до Вселенной Тесты» (англ.).

«Мир как игра и сговор» (нем.).

«Новая Космогония» (англ.).

«Новая Вселенная теории игр» (англ.).

«Третье дано» (лат.).

Молчание Вселенной (лат.).

Вселенную создал тот, кому это выгодно (лат.).

Здесь: богатый выбор (фр.).

«Умышленная космогония» (англ.).

«Разумно устроенный Космос: законы против правил» (англ.).

Естественное не постыдно (лат.).

помни о смерти (лат.) – живо, не слишком быстро (ит.).

Здесь: театр ужасов (фр.).

пляска смерти (нем.).

Воскресший Гольбейн (лат.).

в пробирке (лат.).

Кишечная палочка, направленно развитая (лат.).

Кишечная палочка говорливая 67 (и)... письмолюбивая 213 (лат.).

61

Кишечная палочка перечисляющая (лат.).

Протей считающий (лат.).

Кишечная палочка красноречивейшая (лат.).

сильно упрощенный английский язык.

Протей-оратор необыкновенный (лат.).

Кишечная палочка поэтическая (лат.).

Ошибка сделана бактериями. – Примеч. автора предисловия.

«Агар-агар любовь моя, как были сказано выше» (англ.).

Прорицающая Гулливерова палочка (лат.).

Прорицательнейшая Гулливерова палочка (и) дельфийский поистине чудесный протей (лат.).

Кишечная палочка библиографическая (и) познающая на расстоянии (лат.).

Раньше эта фаза называлась «моноэтической», или «моноэтикой». –
Примеч. автора предисловия.

Междоцарствие (лат.).

понимание (англ.).

Мыслю (лат.).

Дж. Пеано (1858—1932) – автор аксиоматики натурального ряда чисел. – Примеч. пер.

«Молчание Господа» – «Несуществование Господа» (лат.).

Прокламанка – см. «Пробный лист Экстелопедии», бесплатно рассылающийся вместе с этим проспектом.

Не прогноз!

Cross Impact Matrix Analysis – перекрестный импульсный матричный анализ (англ.).

«Пределы роста» (англ.).

Система раннего оповещения (англ.).

Военная орбитальная лаборатория (англ.).

«Кибернетика – камера смерти цивилизации» (англ.).

Генеральный управитель, дальномыслящий, этически
стабилизированный, мультимоделирующий (англ.).

Прискорбная трата денег правительством (англ.).

Каждый компьютер – красный (англ.).

Следует выслушать и другую сторону (лат.).

соответствие предмета и понимания (лат.).

«Оправдание человека», по аналогии с «теодицеей» («оправдание Бога»).

«Второе Сотворение» (англ.).

человек превосходящий (лат.).

радостное событие (лат.).

Дух, душа (лат., нем.).

адвокат дявола (лат.).

ангельский доктор (лат.).

Человек природный (лат.).

Нет обиды изъявившему согласие (лат.). – т.е. потерпевший не вправе обжаловать действие, совершенное с его согласия. – Примеч. пер.

опровержением (лат.).

через указание ближайшего рода и его отличительных признаков (лат.).

принцип удовольствия (нем.).

«Животное» и «разум» (лат.).

«профанное» и «сакральное» (лат.).

От «alea» («случайность») (греч.).

Из противоречия... [можно вывести] все, что угодно (лат.).

Дух дышит, где хочет (лат.).

человек умелый, общественное животное (лат.).

горе побежденным (лат.).

Быть – значит не только быть в восприятии (лат.).

Господь Бог изощрен, но не злонамерен (нем.).

Intelligence Quotient – коэффициент интеллекта (или: показатель умственного развития) (англ.).

теория топософического восхождения (англ.).

Раймонд Артур Дарт, антрополог, открывший австралопитеков.

синтагматический принцип (лат.).

блестящая изоляция (англ.).

Молчание Вселенной (лат.).

небесный доктор (лат.).

навязчивая идея (фр.), когнитивный (познавательный) обман (лат.).

CETI – «Communication with Extraterrestrial Intelligence» («Связь с внеземным разумом»); SETI – «Search for Extraterrestrial Intelligence» («Поиски внеземного разума») (англ.). В русской научной литературе обычно говорится о «связи с внеземными цивилизациями».

Молчание Бога (лат.).

Замкнутая поверхность, ограничивающая область вокруг черной дыры, в пределах которой силы гравитации столь велики, что никакие сигналы не могут выйти из-под этой поверхности и достичь внешнего наблюдателя.

Мыслю, следовательно, существую (лат.).

«Вознесение», «Успение» (англ.).

Команда спасения человечества (англ.).

Здесь: как таковой (фр.).

Окончательное решение (нем.).

«Труд освобождает» (нем.). – надпись на воротах нацистских лагерей.

«Окончательное решение как искупление» (нем.).

третьего не дано (лат.).

кого бог хочет погубить, (того он) лишает разума (лат.).

И. Бентам (1748—1832) – английский философ, провозгласивший целью общества возможно большее количество счастья возможно большего количества людей. – Примеч. пер.

«Родник жизни» (нем.). – созданная Гиммлером организация, целью которой было содействовать появлению на свет «высококачественных» в расовом отношении внебрачных детей. – Примеч. пер.

окончательного решения еврейского вопроса (нем.).

Жизненном пространстве (нем.).

с удовольствием (ит.).

Каждый еврей карается смертью (нем.).

По Библии – место Страшного суда. – Примеч. пер.

Кровь и почва (нем.).

в изображении (лат.); имеется к виду средневековый обычай сжигать изображение преступника, приговоренного к казни заочно. – Примеч. пер.

Здесь лежат МОИ евреи (нем.).

для данного случая (лат.).

«Инородное тело Смерть» (нем.).

Сошествие во ад (нем.).

По преданию, эти слова произнес папский нунций Амальрик Арно во время одного из Крестовых походов против еретиков-альбигойцев (в XIII веке). – Примеч. пер.

Многосерийный американский телефильм о геноциде евреев в гитлеровской Германии. – Примеч. пер.

правовернее папы римского (фр.).

Застольных беседах (нем.).

Имеется в виду секта «Народный храм», основанная в Сан-Франциско проповедником Д. Джонсом; впоследствии переселилась в Гайану. В 1978 году почти все члены секты, включая Джонса, покончили с собой или были убиты телохранителями Джонса. Из более чем тысячи в живых осталось несколько человек. – Примеч. пер.

Хорста Весселя, героя нацистского гимна. – Примеч. пер.

Паренек, который, по преданию, подсматривал в щелку за леди Годивой. – Примеч. ред.

нет преступления без наказания [нет наказания без закона]. (Норма римского права). – Примеч. ред.

Связь с внеземным разумом (англ.).

Поиски внеземного разума (англ.).

Специально для этого случая (лат.).

О чем невозможно говорить, о том следует фантазировать (нем.). У Л. Витгенштейна было: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» («Логико-философский трактат», 1921 г.).

Проблема СЕПІ. М., 1975, с.335 (пер. Б.Н. Пановкина).

условие, без которого длительная жизнь невозможна (лат.).

применительно к человеку (лат.).

неизвестное через неизвестное (лат.).

порочный круг в объяснении (лат.).

Слова «случайность» нет в священных книгах ни одной из религий. –
Примеч. автора.

бог из машины (лат.).

Господствующей доктриной была доктрина «косвенного экономического истощения».

Уморить противника гонкой вооружений (нем.).

«Бюллетень ученых-атомщиков» (англ.).

«Один мир или никакого» (англ.).

Ракета повышенной эффективности (англ.).

Разделяющаяся головная часть с индивидуальным наведением боевых элементов на цели (англ.).

Средство обеспечения прорыва (англ.).

Система оптимального распределения оружия по целям (англ.).

Маневрирующая головная часть (англ.).

Убийцы (англ.).

крылатых ракет (англ.).

«Размышлений о немыслимом» (англ.).

Выстрели и забудь (англ.).

Пусть это сделают за тебя (англ.).

почетно и сладко умереть за отечество (лат.).

правдами и неправдами (лат.).

грубой силы (англ.).

Не искусственный интеллект, но искусственный инстинкт (англ.).

Тенденции к «обезлюживанию» в новых системах вооружений (англ.).

Intercontinental ballistic missiles – межконтинентальные баллистические ракеты; Inter-mediate range missiles – ракеты средней дальности (англ.).

Друг или враг (англ.).

Сухопутные силы, ВМФ и ВВС (англ.).